ВЕЛИКИЕ

ЖЕНЩИНЫ

в романах

ПРАВИТЕЛЬНИЦЫ РОССИИ

SHOUT
SHARE
IT

Annotation

За всю многовековую историю России на долю женщин выпало править чуть больше ста лет. В нелёгкое для страны время приходили они к власти, и нужно было немало мужества и сил, чтобы сохранить государство и уберечь общество от великих смут.

Княгиня Ольга и Елена Глинская, Софья Алексеевна и Екатерина I, Анна Ивановна и Елизавета Петровна и, наконец, Екатерина Великая — героини нашей книга. Автор не ставил перед собой задачи нарисовать полную историческую картину происходивших событий. Главная цель книги — показать личные судьбы и жизнь российских правительниц, их характеры и склонности, достоинства и недостатки. Перед нами — живые, мятущиеся натуры, чьи личные качества, симпатии и антипатии во многом определяли и ход событий в государстве, и сложные, противоречивые ситуации в очень непростом российском обществе.

- Правительницы России
  -
  - Предисловие
  - ПРЕПОДОБНАЯ ОЛЬГА, ВЕЛИКАЯ КНЯГИНЯ КИЕВСКАЯ
    -
    - «В год 6453 от Сотворения мира...»
    - Во имя Руси великой
    - Мать и сын
    - Святая провозвестница
  - ЕЛЕНА ГЛИНСКАЯ, МАТЬ ИВАНА ГРОЗНОГО
    -
    - Туровский заговор
    - Война
    - Путь в Московию
    - Третий Рим
    - Дела семейные и государственные
    - Предсмертные хлопоты
    - Последняя крамола
  - ТЯЖКИЙ ЖРЕБИЙ ПРЕМУДРОЙ СОФЬИ АЛЕКСЕЕВНЫ
    -
    - Из рода Романовых
    - На свободу!
    - «Изволила восприять правление...»

- Во главе государства
- Орлёнок расправляет крылья
- «Третье зазорное лицо»
- Не Сусанна, а Софья!

○ ЕКАТЕРИНА, ПЕРВАЯ ИМПЕРАТРИЦА

-
- Бедная сиротка Марта
- Наперсница и жена
- Трагедии в царском доме
- Финал семейной жизни
- На престоле

○ ИМПЕРАТРИЦА АННА ИВАНОВНА

-
- Весёлая вдова и отвергнутая невеста
- Император Пётр II
- Неожиданный поворот судьбы
- Всё — во имя власти

○ «ИМПЕРАТРИКС ЕЛИСАВЕТ»

-
- Анна Леопольдовна, «Великая княгиня, Императорское Высочество»
- Комплот в действии
- «Любезная весёлая царевна»
- Переворот
- Начало нового царствования
- Коронация и венчание
- Принцесса Фике
- Вокруг трона
- «Присутствие исполнителя теперь было бы вредно...»
- Готовясь к великой роли
- Войны внутренние и внешние
- Братья Орловы
- Болезнь и смерть Елизаветы

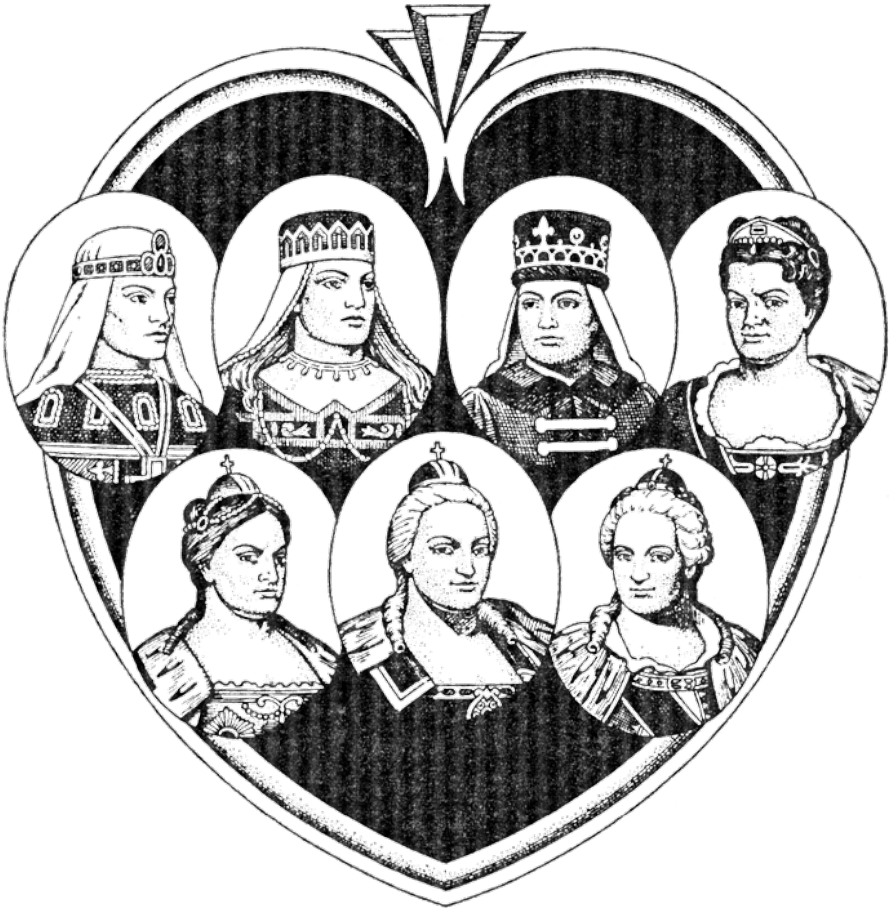
○ ЕКАТЕРИНА ВЕЛИКАЯ

-
- «Отличительные черты и умоначертания двора...»
- Августейшая заговорщица
- Разрублен «гордиев узел»
- «Революция» и её последствия
- Похороны и «чудесные спасения» Петра
- «Пять предметов» государыни
- Джентльмен, исполненный высоких чувств

- «Мать Отечества»
- Новые увлечения, новые заботы
- Царь без титула и короны
- Кончина и свадьбы
- Внуки подрастают
- Новые звёздочки на дворцовом небосклоне
- По России...
- Свято место пусто не бывает
- Последний бал Потёмкина
- Кому быть наследником?
- Последний год

○ Коротко об авторе

Правительницы России



Посвящаю светлой памяти моей любимой сестры Елены Николаевны Шлеминой, прекрасного человека и замечательной журналистки

Предисловие

В тысячелетней истории самодержавной России женщины правили всего 103 года. Они семь раз занимали троны в Древнем Киеве, Москве и Петербурге, нося титулы великих княгинь, правительниц и императриц. По-разному складывались их судьбы, разными были и периоды их царствований — от одного года, как это было с регентшей Анной Леопольдовной, до трети столетия, когда трон занимала Екатерина II. Если с IX по XVII век три женщины: Великая Киевская княгиня Ольга и две регентши — Елена Васильевна, мать Ивана Грозного, и Софья Алексеевна, сестра царя Петра I — правили 36 лет, то в XVIII столетии пять женщин занимали российский престол 67 лет.

Эти 67 лет с лёгкой руки проживавшего во Франции историка Казимира Валишевского (1849-1935) назвали «Царством женщин». «Царство женщин» — так была озаглавлена одна из многих его книг, посвящённых истории России, впервые изданная на русском языке в Москве в 1911 году. Иногда XVIII век именовали проще и грубее — «Бабье царство».

А из этих 67 лет ровно половину — 33 с лишним года, с 1762-го по 1796-й — заняло правление Екатерины II. Вспомните, что Пётр I, фактически начав царствовать с 1689 года, после заточения Софьи в Новодевичий монастырь, находился на троне 35 лет, то есть всего на полтора года дольше Екатерины II. Для чего приводится это сопоставление? Для того чтобы, сравнив продолжительность царствования великого императора и великой императрицы, утверждать, что результаты их деятельности, по-видимому, равнозначны, ибо как в эпоху Петра I, так и в эпоху Екатерины II Россия добилась наивысшего могущества.

Немалую роль сыграла Екатерина II — смелая, умная, образованная женщина, превратившаяся на своей новой родине, в России, из провинциальной немецкой принцессы, каких были сотни, в великую государыню и убеждённую русскую патриотку.

Особенностью книги «Правительницы России» является и повышенное внимание к такой стороне истории, как фаворитизм, когда возникали и сохранялись порядки, при которых почти всё обусловливалось влиянием любимцев властительницы, когда не только второстепенные вопросы, но и судьбоносные государственные проблемы решались не в кабинетах министров, не в залах Государственного Совета или правительствующего Сената, а в альковах монарших спален.

В таких случаях очень многое зависело от любви, и это ещё раз доказывало, что любовь — самая сильная из всех страстей,

потому что она одновременно овладевает и головой, и сердцем, и телом.

И нередко любовь отнимала ум у того или у той, кто его имел, и, наоборот, давала разум тому или той, у кого его не было. А отсюда происходили самые неожиданные коллизии, вплоть до перемены политической ориентации и неожиданного возникновения войны. Так что пример Елены Спартанской оказывался одним из самых живучих в мировой истории.

Французский историк-романист Ги Бретон так писал во вступлении к своей прекрасной книге «Истории любви в истории Франции»: «Степенные историки, которые создают школьные учебники, превращают историю страны в очень нудный роман, устраняя из неё любовные пассажи... Во имя спасения морали извращается истина и затеняется главное действующее лицо истории — то, которое, испытав райское наслаждение, перевёртывает судьбу человечества».

В истории России любовь тоже играла огромную роль, и именно с этим, уважаемый читатель, вы много раз столкнётесь, читая эту книгу.

Восемь героинь нашей истории предстанут перед вами не только как властительницы Руси, но и как любящие женщины, и тогда многие события получат особенную романтическую окраску.

Эта книга состоит из семи самостоятельных повестей, пронизанных одной идеей: любовь в истории — не менее значительный фактор, чем дипломатия или шпионаж, только материя ещё более тайная и часто совершенно невидимая для многих и многих. От любви редко остаются какие-либо свидетельства, кроме стихов и писем, да и они говорят далеко не обо всём. И всё же автор построил эту книгу на наиболее достоверных источниках, не допуская никакого вымысла, потому что история сама по себе — настолько интересная наука, что действительность меркнет перед самым смелым вымыслом. Только в одной повести — «Преподобная Ольга, Великая княгиня Киевская», амурные сюжеты практически отсутствуют, потому что ни один из источников не содержит сведений о личной жизни нашей первой святой. А так как автор ставил перед собой задачу правдиво изложить жизнь и деятельность всех восьми героинь, то и для Ольги не было сделано исключения.

И ещё. Героинь, как вы уже знаете, — восемь. А повестей — семь. Потому что история жизни Анны Леопольдовны, регентши при малолетнем Иване Антоновиче, вошла в повесть о Елизавете. Ведь время правления Анны Леопольдовны заняло очень короткий период — всего один год. А вот повесть о Екатерине

Великой — самая объёмная. И это оправдано тем, что она находилась у власти более 33 лет, и царствование её было столь сильно насыщено разными событиями, что достойно десятков романов. И вся её жизнь как нельзя лучше свидетельствует о том, что женщины, занимая трон, правят ничуть не хуже мужчин.

ПРАВИТЕЛЬНИЦЫ РОССИИ

ИСТОРИЧЕСКИЕ ПОВЕСТИ

ПРЕПОДОБНАЯ ОЛЬГА, ВЕЛИКАЯ КНЯГИНЯ КИЕВСКАЯ

«Предание нарекло Ольгу Хитрою, церковь Святою, история Мудрою... Великие князья до времён Ольгиных воевали; она правила государством. При Ольге Россия стала известной и в самых отдалённых странах Европы» — так писал о княгине Ольге русский историк Н. М. Карамзин.

О жизни и деяниях великой княгини и расскажет наша повесть. И ещё о том, как скрупулёзно, буквально по крупицам, собирали сведения о ней древние летописцы, чтобы донести до нас правду о делах давно минувших лет.

«В год 6453 от Сотворения мира…»

В это утро Нестор — черноризец Федосьева Печерского монастыря — проснулся раньше обычного — болело сердце и оттого будто кто-то шептал: «Вставай, время дорого! Бог ведает сколько ещё отпущено тебе, Нестор!»

А вслед за тем пришла к нему первая осознанная мысль — какой сегодня день и что надлежит за этот день сделать. «По народному счислению нынче — травень, а по календарю Юлия Цезаря — май», — подумал он.

И по давно заведённому ещё учителями его — Никоном да Иваном — обычаю, исполняемому даже раньше утренней молитвы «Отче наш», сказал он себе: «Ныне же по календарю от сотворения мира идёт год 6620-й, а по Рождеству Христову — 1112-й, как вычислил честный мних Дионисий Малый». Мысленно произнеся это, Нестор добавил: «А месяц от начала года — третий, число же дней одиннадцатое». И не было то некоей блажью или причудой, а объяснялось главным занятием старца — он был летописателем, и в счёте временных лет ошибаться ему было никак нельзя: в реке времени надлежало ему плыть верно — от одного маяка к другому, следуя за надёжным кормчим — хотя и язычником, — богом времени Кроносом, отцом самого Зевса.

И далее, как обычно, давно заведённым порядком пошли одна за другою привычные думы: кому из святых ныне память и с чего надобно начать работу?

«А день сегодня равноапостольных преподобных мужей Кирилла и Мефодия», — без всяческого труда вспомнил он, ибо этот день был для него, как и для каждого книгочея, великим праздником.

«Хорошо бы с утра в храм сходить да свечи в честь преподобных поставить», — подумал Нестор, но тут же суетно помыслил, что с утра лучше писать, а свечи поставить и молитву вознести можно и в литургию.

И перед мысленным его взором всплыла последняя фраза, написанная накануне вечером: «Игорь же начал княжить в Киеве, мир имея ко всем странам. И пришла осень, и стал он замышлять поход на древлян, желая взять с них ещё больше дани».

«Вот теперь-то и начнётся самое главное», — сказал сам себе Нестор и, подумав немного, мысленно проговорил следующую фразу, которой должно было продолжиться повествование: «В год 6453 от сотворения мира и в 945 от Рождества Христова…»

Нестор тихонечко встал, осторожно, чтобы не будить келейника — отрока-послушника, прошёл в сенцы, где стояла кадь с водою, зачерпнул глечик, подхватив чистый рушник, и вышел за дверь — на вольный воздух.

Ещё не проснулись птицы, не кричали на птичьем дворе петухи, ещё стоял в блёкло-голубом небе золотой подковой начинающий бледнеть месяц, но уже тускнели звёзды, и ангелы отрывали эти серебряные гвоздики с бархатного покрова ночи, унося его за окоём, откуда вскоре должно было пожаловать солнце.

Нестор умылся и неспешно вернулся в келью. Так же сторожко подошёл к иконе евангелиста Иоанна, единственной бывшей в его покое, ибо был Иоанн вознесён в сердце его превыше прочих святых, и молча прочитал «Отче наш», а потом и все остальные молитвы символа веры. А после обратил он свой взор к книжным полкам, где стояли книги и лежали свитки — бесценные сокровища, с коими не могли сравниться даже драгоценности монастырской ризницы.

Взяв пуховое опахало, Нестор бережно провёл им по харатейным спискам и, сняв с полки один из них — сочинение византийского императора Константина Багрянородного «Об управлении империей», чтобы свериться с ним при сегодняшней работе, любовно погладил книгу по кожаному переплету, положил на стол, на коем покоилось любимое его детище — «Повесть временных лет» и стояли чернильница и песочница, лежали аккуратно очиненные перья и листы чистого пергамента.

«Господи, благослови», — прошептал Нестор. И тотчас же с чувством гораздо более сильным, чем молитвы символа веры, произнёс, как заклинание, любимое своё изречение, с коего начиналось Евангелие от Иоанна: «Вначале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог. Оно было вначале у Бога. Всё через Него начало быть, что начало быть. В Нём была жизнь, и жизнь была свет человеков. И свет во тьме светит, и тьма не объяла его».

Нестор взглянул на образ Иоанна, перекрестился и, вздохнув, положил на лист первую строку сегодняшнего урока: «В тот год сказала дружина Игорю: «Отроки Свенельда изоделись оружием и одеждой, а мы наги. Пойдём, князь, с нами за данью, да и ты добудешь и мы». И послушал их Игорь — пошёл к древлянам за данью и прибавил к прежней дани новую, и творили насилие над ними мужи его. Взяв дань, пошёл он в свой город. Когда же шёл он назад, поразмыслив, сказал своей дружине: «Идите с данью домой, а я возвращусь и пособираю ещё». И отпустил дружину свою домой, а сам с малою частью дружины вернулся, желая

большего богатства. Древляне же, услышав, что идёт снова, держали совет с князем своим Малом: «Если повадился волк к овцам, то вырежет всё стадо, пока не убьют его. Так и этот: если не убьём его, то всех нас погубит». И послали к нему, говоря: «Зачем идёшь опять? Забрал уже всю дань». И не послушал их Игорь. И древляне, выйдя из города Искоростеня против Игоря, убили Игоря и дружину его, так как было её мало». Нестор положил перо, подумал немного и добавил: «И погребён был Игорь, и есть могила его у Искоростеня в Древлянской земле и до сего времени». Нестор ещё раз отложил перо и подумал: «Может быть, написать, как убивали древляне Игоря?» И живо представил всё, что было.

...Древляне напали на сорок дружинников Игоря из засады. Те и охнуть не успели, как почти всех их перебили, а раненых в полон не взяли, добив до смерти мечами и копьями. Однако же, прежде чем учинили над увечными отроками Игоря смертоубийство, повязали их вервием и заставили глядеть, как убивают их князя.

Игоря Рюриковича, в устрашение всем, кто пожелал бы, хотя и через много лет после, пойти по его стопам, повалили на землю и привязали к каждой из его ног вершину гибкой и молодой, но уже сильной и крепкой берёзы.

Нестор ясно видел, как багроволицые от натуги древлянские воины числом не менее дюжины повисли на склонённых к земле, трепещущих вершинах деревьев; как ещё полдюжины других стали привязывать Игоря к макушкам согнутых берёз, как хрипел и неистовствовал князь, понимая, что произойдёт с ним через самое краткое время, но ничего не мог поделать, и оттого сначала был от ярости красен, а в самом конце — побледнел, ибо ощутил неминуемую ужасную свою кончину...

И раненые воины его, хотя и сами ждали собственной смерти, всё же закрыли глаза, страшась глянуть на разорванное надвое тело своего князя...

Увидел Нестор и голодных вранов, бросившихся клевать растерзанную плоть Игоря, и окровавленные тела зарубленных отроков... и содрогнулся летописец.

«Нет, не стану я о том писать», — решил Нестор — и, взяв перо, продолжил: «Ольга же была в Киеве с сыном своим ребёнком Святославом, кормилец его был Асмуд, а воеводой Свенельд — отец Мстиши».

И снова отложил перо в сторону Нестор, подумав, а надо ли писать о том, кто таков Мстиша? «Хорошо бы было сказать, что Мстиша, сиречь, Мстислав, был сыном Свенельда, старого Игорева воеводы, и что именно он убивал Игоря Рюриковича. А

что же тогда Свенельд? Едва ли он, отец убийцы, был в стороне от всего этого. Однако же, с той поры, как княжили Игорь и Ольга, как происходило всё это, прошло уже почти двести лет. Так можно ли говорить, что всё это было на самом деле, когда и событие, коему сам являешься современником, а то и свидетелем, порой нельзя распознать до конца и наверное. И потому не стану я писать того, что сомнительно — такового в старых временах предостаточно, — а постараюсь писать только то, что считаю достоверным. И хотя каждое слово моё станет потомкам дорогим откровением, ибо они будут жить от описываемых лет ещё далее моего, всё же не резон мне писать того, что точно не знаю».

Нестор макнул перо в чернила и вывел следующую фразу: «Сказали же древляне: «Вот убили мы князя русского. Возьмём жену его Ольгу за князя нашего Мала, и Святослава возьмём и сделаем ему, что захотим». И послали древляне лучших мужей своих, числом двадцать, в ладье к Ольге. И пристали в ладье под Боричевым подъёмом».

«Ну, здесь-то потомки и впрямь изумятся, ибо и ныне каждый киевский гражданин добре ведает, что ладьи, и струги, и насады пристают к Подолу», — подумал Нестор, — и приписал: «ибо вода тогда текла возле Киевской горы, а на Подоле не сидели люди, но на горе».

Поставив точку, Нестор оглянулся. Хотя никакого шума не было, но он почувствовал чей-то взгляд и понял: «Это Володя». Так оно и оказалось — из маленького бокового покоя вышел отрок-послушник, приставленный к нему для услужения и обучения грамоте.

Мальчик был смышлён, книголюбив, только больно уж вспыльчив и не зело покорен. И оттого, что летами годился он Нестору во внуки, держал его летописец не в чёрном теле, как другие старцы своих послушников, сокрушая им рёбра посохами и таская за волосы при малейшей оплошке, а увещевал мальца кротостию и собственным примером труженика и человеколюбца. Но сие не всегда достигало цели. И сейчас, увидев Володю, Нестор улыбнулся мальчику, а тот, стыдясь того, что сегодня выказал себя лежебокой и восстал ото сна намного позже старца, покраснел до корней рыжих своих волос и не знал, куда девать от великого стыда зелёные свои очи. Да и как было не стыдиться отроку пред столь почтенным старцем?

Знал Володя, что его благодетель прославлен неусыпными своими трудами не только в их собственной честной обители, но знаменит и во всех концах славянских земель, и в Греции — на далёкой Святой горе Афонской, и в Византии, и даже во Фряжских монастырях, кои подвластны Римскому Папе.

— Благослови, отче праведный, — смущённо проговорил Володя и подошёл к наставнику, низко склонив голову.

«Вот что значит молодость, — подумал старец. — Никаких забот, никаких дум — лёг и уснул, проснулся — и опять хорош», — и, чуть завидуя мальчику, сказал:

— Поди к келарю, возьми какую ни есть еду. Мне попроси молочка да сухарей, а себе — чего-нибудь иного скоромного, хотя и говяды.

Послушники-келейники часто выбирали себе в исповедники старцев, с коими делили келью. Был духовником Володаря и Нестор, и потому у мальчика не имелось от него никаких тайн. Да и как им быть, когда не только весь божий день, но и все ночи находился послушник возле своего наставника?

И потому в их отношениях чистосердечие было неписаным законом. Зная это и не желая неловкости из-за того, что ныне выглядел он лежебокой, Володя сказал:

— Проспал я, честный отче, оттого что уснул только под утро.

— Чего так?

— Да вчерась, с благословения твоего, ходил я в Киев встречать Ярослава Святополковича с воями его, а возвернувшись, так из-за всего, что видел и слышал, взволновался, что и заснуть до самого утра никак не мог.

— Чего так? — удивился Нестор.

— Разгорячился я, — признался Володя, — как вспомнил князя Ярослава, молодого, сильного да красивого, в зеркальном доспехе, в алом плаще, на белом коне дивных статей. А за ним воев его, радостных, горделивых, а за ними множество пленных ятвягов да иных пруссов, кои станут теперь их рабами, да табун коней, да возы с добром. А тут ещё услышал, как люди вокруг стали говорить, что княжич Ярослав завтра зашлёт сватов к Мстиславу Владимировичу, в Новгород, чтобы взять дочь его за себя.

«Вот и роднятся ещё более Святополк с Мономахом, ибо Мстислав Новгородский — старший его сын, — подумал Нестор. — Да вроде бы неладно, что берёт Ярослав за себя свою двоюродную сестру. Ну, ин ладно, какое нам дело до княжеских утех да союзов? Стало быть, так надо, да и Руси от того никаких проторей нет».

А Володя меж тем продолжал:

— И вспомнил я, в обитель возвернувшись, зело громкий колокольный звон, да клики «Слава!*, да цветы, что бросали юницы и девы ратникам Ярослава. — И помолчав немного, вдруг сказал: — Любо мне, отче, ратное строение и часто мню я себя

дружинником, от того и горячусь и приходят ко мне видения суетные, чернецу невместные. — И раскрываясь до конца, немного стыдясь того, о чём хотел сказать, Володя проговорил: — Приходят ко мне во снах и архангелы, мечами опоясанные, и отроковицы, очами и телесами вельми смущающие меня.

«Вот что значит молодость», — снова подумал Нестор, но уже не добавил к сему, что нет у неё никаких забот и никаких дум.

Ещё раз, как-то по-новому взглянув на Володаря, увидел вдруг Нестор не отрока, но юношу, вспомнил себя в такую же пору и соединил лета его с тем, что было на дворе. А за стенами обители стоял месяц травень, и смерды сеяли в тёплую землю рожь и овёс, начиная с Егория весеннего, и шли юницы и юноши в зеленеющие рощи слушать соловьиные трели. И глядели старики, какова на Николин день трава, а мальцы начинали выгонять лошадей в ночное и сидели от заката солнца до восхода у жарко горящих костров, учиняя игрища, в коих, что греха таить, немало было и языческого.

Прилетали в эту пору ласточки, стригли и касатки, а вместе с ними с берегов русского моря приносили тёплые полуденные ветры первых комаров. Старики же с интересом глядели на дубы, примечая, появился ли на них пух. Если появился, то, стало быть, уродится к осени добрый овёс, и возьмётся земля за свой род. А всё живое переполнялось любовной истомой, и от лягушек до человеков всякая тварь влеклась к себе подобной, чтобы продолжить своё потомство. И думали человеки о земном и плотском, забывая о небесном и божественном. Старики же, что ждали уже скорого вознесения на небеса, а с ними вместе и подобный им черноризец Нестор, о греховном не помышляли.

И потому спросил с любопытством летописец Володаря:

— А как же грядущее твоё иночество?

— Не знаю, правый отче, — с растерянностью и печалью проговорил Володя.

— Ну, ин ладно. Иди, Володя, сначала к отцу келарю, а таким, Бог даст, надоумит он нас, грешных, как поступить тебе. Одно знаю: неволею иноческий подвиг не свершишь и насильно Господу мил не будешь. О том скажу я и отцу-настоятелю, замолвлю за тебя слово.

Мальчик подбежал к старику, порывисто поцеловал ему руку и выскочил за порог.

А Нестор, вздохнув, склонился над пергаментом. Писал он легко, свободно, ибо так же легко и свободно и чувствовал себя, хотя такое состояние души пришло к нему не сразу, а только после многих лет послушничества, строгого монашества и бесконечных дневных и ночных бдений в храме и в келье, где чуть

ли не всё время проводил он за чтением и письмом.

Печерский монастырь, в который пришёл он ещё юношей полвека назад, был не простой обителью, но светочем христианской учёности; и именно там стал он знаменитым летописцем, коему выпала завидная доля обессмертить своё имя, создав великий исторический труд — «Повесть временных лет».

Прежде чем Нестор взялся за её составление, он написал уже два труда: о житиях первых русских святых — князьях Борисе и Глебе, и о знаменитом игумене Печерского монастыря, тоже святом, Феодосии.

Нестор не просто переписал Летописи Никона и Ивана, но переделал их на свой лад, созвучный ладу князя Святополка, и выдвинул на первый план не византийцев, а славян, а среди князей первым стал благодетель Печерской обители — благоверный и мудрый Киевский князь Святополк.

В таком же тоне преподносил Нестор и его предков: Рюрика и Игоря, Ольгу и Святослава. Нестор ещё застал первого печерского летописца преподобного Никона и его последователя — черноризца Ивана. Сам же Нестор был уже третьим коленом учёных мнихов, посвятивших себя созданию повестей о начале Русской земли.

И Никон, и Иван, а потом и сам Нестор гордились тем, что не были слугами ни князей, ни бояр, но признавали над собою власть одного лишь Бога, а служили одной лишь Божьей правде. И потому считали они Русскую землю не чьим-нибудь уделом, а царством матери Божьей, Пресвятой Девы Марии. А коли так, то не высилась над Русью ничья рука, хотя бы и багрянородных византийских базилевсов. На том стояли и многие русские князья.

Киевский Великий князь Святополк особенно откровенно стал противоборствовать византийским императорам и патриархам. Для начала он увёл из-под власти киевского митрополита, поставленного константинопольским патриархом, Печерский монастырь, назначив туда своею волей не просто игумена, но — впервые на Руси — архимандрита. И потому, хотя и был монастырь Божьей обителью, более прочих земных владык зависел он от Великого Киевского князя, и хотя не явно, но должен был соразмерять дела своих иноков с его волей. Потому же и «Повесть временных лет», где каждая запись хоть и в малой степени, но непременно касалась родственников Святополка Изяславича, как давно усопших, так и ещё живых, писалась Нестором с немалым бережением и глубоким смыслом.

И всё, что написал Нестор до этого и что собирался он писать впредь, составлялось так, будто стоял у него за спиной Святополк

Изяславич и глядел на кончик пера, следя за тем, как появляются на листе пергамента одна за другою затейливые буквицы Кирилловой глаголицы.

Нестор перечитал последнюю фразу и добавил:

«Город же Киев был там, где ныне двор Гордяты и Никифора, а княжеский двор был в городе, где ныне двор Воротислава и Чудина, а ловушка для птиц была за городом; был за городом и другой двор, где стоит сейчас двор Уставщика позади церкви Богородицы Десятинной; над горою был теремной дворец — был там каменный терем».

Меж тем подоспело время обедни. «Пора, — подумал Нестор, — пойти в храм, поставить свечи за Кирилла и за Мефодия».

Он встал из-за стола, перекрестился, как и всякий раз, когда собирался выйти за дверь, и сам себе сказал:

— Добро есть, коли в храм идёшь натощак, — тогда вдвойне будет угодно Господу твоё моление.

И с тем вышел на монастырский двор.

Храм Успения был уже заполнен братией и мирянами. Нестор привычно окинул молельников взором и пошёл к парной иконе преподобных Кирилла и Мефодия, возле которой сегодня горело множество свечей — больше, чем перед каким-либо другим образом.

Нестор увидел всех молящихся, но остановился взором на одном из них — своём ровеснике, старце Олимпии, который написал добрую половину всех икон в храме, ибо был лучшим иконописцем обители.

И образы Кирилла и Мефодия, стоящих под большим крестом с книгами в руках, тоже были написаны им же. Нестор подошёл к Олимпию и опустился на колени рядом с ним.

Отстояв до конца обедни и не только не перемолвившись, но и не переглянувшись друг с другом, старцы в один и тот же миг поднялись с колен и вышли из храма.

На паперти они поцеловали друг другу руки, и Олимпий спросил:

— О чём ныне писал, отче Нестор?

— Об Ольге, — ответил летописец.

И Олимпий сказал:

— Надо бы образ её написать, тем более что нет его в нашей обители.

Олимпий был не только отменный иконописец, но и вельми книжистый инок. Да и как могло быть иначе? Перо летописца и кисть живописца всегда были рядом друг с другом, так же, как соседствовали на образах строки Писания с ликами святых, а в

житиях и летописях между письменами располагались изображения того, о чём они сообщали. И не случайно это было, но во всём изначально угадывался промысл Божий, ведь известно, что Писание заповедали нам четыре апостола, коих речей и доныне «евангелистами», и среди них был и Лука, оставивший христианам и первый живописный лик Богоматери, созданный им, отцом иконописи ещё при жизни Святой Девы. И с тех пор шли христианские писатели и богомазы об руку друг с другом, каждый по-своему славя Господа и его угодников.

И Нестор, вроде бы неожиданно, но на самом деле совсем не вдруг, потому что вопрос этот давно сидел в уме у него, спросил Олимпия:

— А что знаешь ты о том, откуда и какого рода-племени была Ольга? Да и насчёт того, как звали её до крещения, я тоже не добре ведаю.

Сколько же разных слухов, порой прямо противоположных один другому, ходило об Ольге, но достоверных сведений не было. Нестор слышал, что Ольга якобы носила славянское имя — Прекраса и была болгарской царевной из города Плескова. Её забрал оттуда знаменитый воевода, князь Олег, правая рука отца Игоря — Рюрика. Взял, чтобы привезти её в Новгород и сделать невестой Игоря, а потом и женой. Прекраса приехала на Русь, но столь сильно любила свою родную Болгарию, что дала имя Плесков новому, срубленному по её воле городу.

Встал второй Плесков на реке Великой, сразу же прослыв младшим братом Новгорода и его боевым оплечьем.

Вскоре появилось у города и другое имя — Псков, а уже через много лет после смерти Ольги стали считать Псков её родиной, говоря, что не поставила она сей град, а родилась в нём.

Олимпий, услышав вопрос, сам спросил Нестора:

— А что ведомо об этом тебе?

И летописец рассказал иконописцу то, что знал.

Олимпий же, выслушав его, добавил:

— Многое свидетельствует о том, что была Ольга болгаркой. Как я слышал, близким её человеком был болгарский монах Григорий, что прибыл вместе с нею на Русь, а потом поехал вместе с нею в Константинополь, где Ольга крестилась, получив имя Елены. За то же говорит и другое, — сын её, Святослав, по крови наполовину болгарин, хотел сделать своим стольным городом Переяславец на Дунае, сказав: «Не хочу жить в Киеве, а в Переяславце, ибо здесь середина земли моей».

— Про это и я слышал, — ответил Нестор, — но слышал и кое-что ещё: говорят, что была она до того, как приехала в Новгород, невестой Константина Багрянородного, а потом,

невесть почему, свадьба императора с Ольгой расстроилась, и она поехала с Олегом Вещим на Русь.

— Я не понимаю многого, — продолжил разговор Олимпий, — но в этом ты должен знать более моего: как случилось, что Ольга, приехав в Новгород, по Рождеству в 903 году, родила единственного своего сына, Святослава, через сорок два года? Ежели было ей даже десять лет, как пишут византийцы, то всё равно выходит, что родила она сына совсем старой, тем более что не в десять же лет стала она женою Игоря.

— Признаюсь, что и мне кажется всё это нелепицей, — ответил Нестор смущённо. — И хотя написал я о том в повести моей, однако же только потому, что так писали наставники мои — Иван и Никон. Сам же я тому совсем не верю.

Вернувшись в келью, выпил Нестор молока, размочив в нём сухари, и, ещё раз перекрестившись, сел работать дальше. Прочитав последние написанные строки, Нестор вывел:

«И поведали Ольге, что пришли древляне. И призвала их Ольга к себе и сказала им: «Добрые гости пришли»; и ответили древляне: «Пришли, княгиня». И сказала им Ольга: «Говорите, зачем пришли сюда?» Ответили же древляне: «Послала нас Деревская земля с такими словами: «Мужа твоего мы убили, так как муж твой, как волк, расхищал и грабил, а наши князья хорошие, потому что ввели порядок в Деревской земле. Пойди замуж за князя нашего за Мала». Сказала же им Ольга: «Любезна мне речь ваша, — мужа моего мне уже не воскресить; но хочу вам завтра воздать честь перед людьми своими, ныне же идите к своей ладье и ложитесь в неё, величаясь. Утром я пошлю за вами, а вы говорите: «Не едем на конях, ни пеши не пойдём, но понесите нас в ладье ». И вознесут вас в ладье».

И отпустили их к ладье. Ольга же приказала выкопать на теремном дворе за городом яму великую и глубокую.

На следующее утро, сидя в тереме, послала Ольга за гостями. И пришли к ним и сказали: «Зовёт вас Ольга для чести великой». Они же ответили: «Не едем ни на конях, ни на возах и пеши не идём, но несите нас в ладье». Ответили киевляне: «Нам неволя, князь наш убит, а княгиня наша хочет за вашего князя». И понесли их в ладье. Они же уселись, величаясь, избоченившись, и в великих нагрудных бляхах. И принесли их на двор к Ольге, и как несли, так и сбросили их вместе с ладьёй в яму. И, приникнув к яме, спросила их Ольга: «Хороша ли вам честь?» Они же ответили: «Пуще нам Игоревой смерти». И повелела засыпать их живыми; и засыпали их».

Нестор вспомнил, как у одного старого летописца читал он, что князю Малу приснился перед смертью сон, — будто пришла к нему Ольга с многоценными одеждами, украшенными жемчугом, и с чёрными одеялами, расшитыми зелёными узорами, и указала ему на залитую чёрной смолой ладью, в которой должны были с почётом понести его — жениха — на свадебный пир. Жутко стало Малу от этого сна, ибо в ладье не только носили на торжества, но и хоронили покойников. Однако, подумав, не стал Нестор писать об этом, ещё раз решив сообщать лишь то, в чём был он сам совершенно уверен.

И, взяв перо, продолжил: «И послала Ольга к древлянам, и

сказала им: «Если вправду меня просите, то пришлите лучших мужей, чтобы с великою честью пойти за вашего князя, иначе не пустят меня киевские люди». Услышав об этом, древляне избрали лучших мужей, управлявших Деревскою землёй, и прислали за ней. Когда же древляне пришли, Ольга приказала приготовить баню, говоря им так: «Вымывшись, придите ко мне». И растопили баню, и вошли в неё древляне и стали мыться; и заперли за ними баню, и повелела Ольга зажечь её от двери, и сгорели все.

И послала к древлянам со словами: «Вот уже иду к вам, приготовьте меды многие у того города, где убили мужа моего, да поплачусь на могиле его и устрою ему тризну». Они же, услышав об этом, свезли множество медов и заварили их. Ольга же, взяв с собою малую дружину, отправилась налегке, пришла к могиле своего мужа и оплакала его. И повелела людям своим насыпать великую могилу и, когда насыпали, приказала совершать тризну.

После того сели древляне пить, и приказала Ольга отрокам своим прислуживать им. И сказали древляне Ольге: «Где дружина наша, которую послали за тобою?» Она же ответила: «Идут за мною с дружиною мужа моего».

И когда опьянели древляне, велела отрокам своим пить за их честь, а сама отошла прочь и приказала дружине рубить древлян, и иссекли их 5000. А Ольга вернулась в Киев и собрала войско против оставшихся древлян».

Нестор задумался над тем, как следует продолжить повествование, но не успел додумать до конца, как вдруг кто-то постучал в дверь.

«Кто бы это?» — недовольно подумал летописец и громко проговорил:

— Володя! Пойди прими гостя.

Близко к вечеру подъехал к Святым воротам монастыря княжеский тиун Иван Кривой. Передав повод сопровождавшему его стремянному, неспешно пошёл к игумену обители. Соблюдая чин и вежество, спросил Иван у отца-настоятеля позволения повидаться с Нестором. Чтобы не было кривотолков, откровенно сказал Иван архимандриту, что прислан он от великого князя Святополка Изяславича просить Нестора пожаловать завтра поутру в Берестово, а для чего надобно сие Святополку Изяславичу, он, тиун Иванец, того не ведает.

Архимандрит посопел недовольно: мог бы князюшка и его самого призвать на совет или по какой иной нужде, — да видать, по учёному делу занадобился ему черноризец, а то что же ещё? — а он, игумен, в тех делах не горазд.

А после того направился Иван-тиун к Нестору. Войдя в келью,

перекрестился на икону Иоанна-евангелиста и подошёл под благословение черноризца.

Почтительно передав приглашение князя, Иван двинулся было обратно, да вдруг в дверь постучали ещё раз. Теперь нежданным пришельцем оказался келейник архимандрита.

— Отец-настоятель просит тебя, Нестор, тотчас пожаловать к нему, — сообщил он, почтительно поклонившись.

«Эка важная птица, черноризец, — подумал Иван, — и владыка, и князь обойтись без него не могут. Надо будет довести о том Святополку Изяславичу».

И ещё подумал: «А что за нужда у архимандрита? Хорошо бы узнать. Да вот как?»

И вдруг будто кто шепнул черноризцу, тот проговорил резко, раздражённо:

— Да что за дело ко мне у владыки Феоктиста?

— Только что довели владыке, что вот-вот будет в обители некий старец с Афона, именем Лаврентий, — проговорил посланец быстро, с неудовольствием покосившись на тиуна. «И сие доведу князю, — тотчас же решил Иван. Не любит он афонских шатунов, всякий раз ждёт от них некоего подвоха».

И, радуясь неожиданной удаче, ещё раз поклонившись, Кривой борзо юркнул за порог.

Вернувшись от Феоктиста, Нестор долго не мог заснуть, мысленно возвращаясь к состоявшемуся меж ними разговору. Настоятель сказал, что Лаврентий, скорее всего, пожалует в Почайну дня через два-три с торговым насадом, который отправился из Корсуни и поплыл в устье Днепра ещё в самом начале нынешнего года, — в марте месяце.

— Пришёл Лаврентий в Корсунь в конце прошлой осени да и зазимовал на своём афонском подворье. А за зиму узнали мы от верных людей, что идёт он в Киев с небольшим кусочком нетленной ткани, кою некогда Антоний, сподобившийся прийти в Киев и основать здесь нашу обитель, — проговорил Феоктист с заученной елейной благостью в голосе, хотя и был искренен, ибо святых отцов Антония да Феодосия, первых игуменов из монастыря, всякий печерский инок почитал не менее святых апостолов.

Нестор, давно знавший Феоктиста, в глубине души недолюбливал архимандрита за то, что, внешне безукоризненно исполняя монашеский устав, носил он чёрный клобук по обязанности, помышляя, как казалось Нестору, о суетном, мирском, греховном.

— Богоугодное дело, — опустив глаза, тихо проговорил

Нестор. — Да только, может быть, старец плывёт в Киев и ещё по какому иному поводу?

— Хитёр старец, опаслив, — тут же смекнул настоятель, — и ни про какое иное дело никому ни слова не говорил.

— Да это завсегда так, приходят с мощами, уходят с вещами, — чуть улыбнувшись, проговорил Нестор.

— Сколь я могу судить, — ответил настоятель, — идёт Лаврентий для некоей учёной беседы, ибо слывёт Лаврентий великим книжником и более всего прилежен к постижению минувших событий, особенно же на Руси и вокруг неё происходивших. Да ты и сам это знаешь не хуже меня. Потому и призвал я тебя, Нестор, что в этих делах ты у нас — первый, а слово твоё о житии и погублении Бориса и Глеба, а тако же, чаю, о преподобном Феодосии, читал и сам Лаврентий.

— Всё это ладно, отче, да только какой может выйти толк от беседы двух иноков? — с печальной усталостью проговорил Нестор.

Игумен усмехнулся:

— Когда ведомый тебе греческий мудрец Пифагор открыл свою теорему, он принёс в жертву языческим богам сто быков. Значит, открытие истины того стоило, — а ведь сиракузец был неглупым человеком.

— «Музы» первого историка, грека же Геродота, не есть цифирная наука Пифагора, — не сдавался Нестор.

— Тогда ответь, чего ради собирались шесть Вселенских соборов, если не для того, чтобы торжествовала истина?

Нестор не нашёл возражения и молчал. А игумен продолжал:

— А ведь и в Никею, и в Царьград, и в Эфес приезжали из всех епархий десятки, а то и сотни высокоучёных богословов и решали дела не только церковные, но и мирские, ибо в каждом мирском деле всегда незримо присутствует небесное начало, правда, не всегда божественное, порой и вражеское. А уж тем более в делах суетных, когда речь идёт о власти, о законе, о первородстве, о правах на земли и троны.

— Мнится, как Пифагор говаривал, что следует быть другом истины, хотя бы пришлось принять мученический венец, — ответил Нестор, согласием своим окончательно признавая правоту Феоктиста.

Вернувшись в келью и прочитав вечернюю молитву, лёг он в постель, однако вслед за разговором у архимандрита пришли к нему раздумья о завтрашнем дне, когда надлежало ему пойти в Берестово, где в большом, изукрашенном резьбой тереме, жил в летнюю пору Святополк Изяславич.

Нестор представил Берестово, с рощей вокруг, с цветами по

всему двору, с клетками, в коих томились всякие звери — от лисиц и белок до волков и медведей, с голубятнями и птичником, большими конюшнями и лежащим за ними скотным двором, и мысленно прошёл в терем — крепкий, похожий на детинец, со сторожевой башней в самом центре, с отроками у сеней, — и так же мысленно вошёл во дворец, прошёл по нижним палатам, а потом поднялся в княжеские покои, куда вела пологая и широкая каменная лестница.

А далее представил он и самого князя — высокого, горбоносого, похожего на деда своего Ярослава Владимировича, прозванного Мудрым, и, увидев, будто живого, прямо здесь стоящего возле него, в келье, подумал: «А ведь скоро двадцать лет, как знаю я его». И вспомнил, будто это было вчера, как в 1093 году по Рождеству въехал в Киев дотоле правивший в Турове новый Великий князь Киевский, сорокатрёхлетний Святополк Изяславич, как все горожане с радостью высыпали ему навстречу, потому что сами позвали его для защиты от опасных степных хищников — половцев.

Вспомнил, как на следующий же день пожаловал князь в их монастырь, принеся многие дары, как истово молился и в храмах обители, и в пещерах — над могилами Антония и Феодосия — святых заступников и первых игуменов обители.

Нестор и Святополк были ровесниками, а это кое-что значило, ибо в памяти их отложились события одного и того же времени и оттого чаще всего сердца их бились согласно: в один тон и один лад.

Каждого из них, конечно же, по-своему — один был князем, воином и правителем, другой — книгочеем и писателем, жизнь очень часто заставляла волноваться из-за одного и того же, любить и ненавидеть, пугаться и радоваться в связи с одними и теми же событиями.

Нестор помнил, какие несчастья обрушились на Русь после того, как великокняжеский стол в Киеве занял Святополк. В 1093 году войско Святополка и его братьев Владимира Мономаха и Ростислава разбили половцы. Во время бегства Ростислав утонул в реке, Владимир, отдав Чернигов союзнику половцев князю Олегу Тмутараканскому, ушёл далеко на восток — в Переяславль-Залесский.

А на следующий год ещё одна беда — не меньшая, чем половецкое разорение, — пришла на Русь: 26 августа солнце закрыли густые тучи неведомой дотоле летучей твари — саранчи. И оттого был на Руси неурожай и голод. А потом несколько лет подряд шли кровавые распри между многочисленными князьями-Рюриковичами за столы в важнейших городах, которые потому и

назывались «стольными».

Княжеские междоусобицы ловко использовали степняки и не имевший в душе ничего святого коварный предатель князь Олег Тмутараканский, который сжёг городов и вытоптал нив больше, чем половцы.

Поднялись на Олега многие князья, но сильнее прочих негодовал на него крестник его — Мстислав Владимирович, сидевший в Новгороде. Он-то и побил войско своего крестного отца, однако, когда победил его, решил, что пора положить конец родственным сварам, и, оставив Олегу Муром, помирил его с другими Рюриковичами.

И в том же 1097 году братья — родные, двоюродные и троюродные, дядья и племянники, крестные отцы и сыновья, но все происходившие от одного корня — от Рюрика, собрались в маленьком городке Любече, на Днепре, близ Чернигова, чтобы твёрдо договориться об окончании свар и наконец-то встать заедино супротив половцев.

Нестор вспомнил, как тогда, пятнадцать лет назад, подумалось ему, что само Божественное Провидение предназначило Любеч для такого съезда, ибо не было на Руси другого города, называвшегося именем, в коем звучало бы слово «любовь».

Так оно поначалу вроде бы и вышло. Святополку оставили Киев, а вместе с тем и великокняжеский стол, а также и Туров, откуда пришёл он в Киев, и соседний с Туровым Пинск, и тем утвердили его в чине старшего из всех русских князей. Полюбовно, хотя и не без споров, отдали второй по величине надел двоюродному брату его Владимиру Всеволодовичу Мономаху, уже тогда слывшему среди сородичей своих великим умником, отменным храбрецом и удачливым полководцем. Из-за всего этого получил Мономах не меньше городов, весей и земель, чем Святополк, став князем Переяславским, а кроме того приобрёл Суздаль и Ростов, Смоленск и Белоозеро.

Святославичам Олегу, Ярославу и Давиду отдали Чернигов и Северскую землю, Рязань, Муром и Тмутаракань. Давиду Игоревичу — Владимир на Волыни и Луцк, а братьям Ростиславичам — Васильку и Володарю — Теребовль, Червень и Перемышль.

Чтобы не было у князей искушения к переделу столов и земель, в един глас постановили все Рюриковичи, что отныне каждый станет «держать отчину свою» и передавать её будет только своим детям.

Вспомнил Нестор и ту радость, какая охватила его, когда узнал он о сём установлении и подумал тогда: «Истинно сказано,

что дочерями Софии, сиречь Божественной Премудрости, были святые Вера, Надежда и Любовь». Да совсем недолго радовался Нестор и иные просвещённые Божией Премудростию христиане миру и покою, наступившему на истерзанной Русской земле. Минуло менее года, как пришла страшная весть, которой он не поверил, но к несчастью и ужасу всех, кто любил всю Русь и мир в ней, оказалась сия весть жестокою и ужасною правдой — Давид Игоревич схватил и ослепил соседа своею, князя Василька.

И что ещё хуже, в том чёрном деле упоминали и потатчика вероломного Давида Игоревича — двоедушного корыстолюбца Святополка Изяславича, который заманил Василька в Киев, где того и схватили. Не хотел тому верить Нестор, а пришлось. Слава Богу, что об ту пору шёл Нестору к концу уже пятый десяток и был разум его сильнее чувств, кои, как известно, идут от плоти, разум же — от духа.

И потому призвал к себе Нестор смирение и, как подобает истинному христианину, не осудил Святополка, но — простил. И помолился за несчастного грешника, а заодно вознёс молитву и за злополучного страдальца Василька. Однако в душе его, как оказалось, навсегда осела неприязнь к Святополку и недоверие ко всякому его слову. Воистину, выходило по Писанию, что слово, им речённое, было ложью.

Это чувство ещё более окрепло после того, как уже на следующий год по свершению злодеяния пошёл Святополк Изяславич войной на своего союзника, ибо двинулись на того войной и другие Рюриковичи, а Святополк всегда был на стороне тех, у кого была сила.

И подумал тогда Нестор: «Метит Господь человеков знаком судьбы, и с купели несёт сие предвестие всяк, кому дано имя его. Ведь назвали же князя Святополком и, видать, не напрасно, ибо, подобно тёзке своему Святополку Владимировичу, прозванному Окаянным, оказался и другой Святополк — Изяславич во многом ему подобен: зол, двоедушен, хитёр и жесток. И стал вторым Иудою, прикидываясь праведником».

И ещё было нечто важное, о чём знали не только книжные люди и приближённые князя, но и, почитай, вся Русь. Не пошёл бы Святополк в поход, если бы не двинулся на Киев со своими полками праведный муж, опора Русской земли, великий воитель и заступник православных Владимир Всеволодович Мономах.

Нестор помнил, как малодушный пакостник Святополк попробовал бежать из града, но был пойман киевлянами и притащен на вече. Нестор был на том вече, видел и слышал всё: и единодушный рёв многотысячной толпы, негодовавшей против трусливого князя, и его, жалкого, виноватого, бледного, с

бегающими глазами, с руками, повисшими вдоль тела, как сухое лыко, приготовленное смердами к плетению лаптей.

Вече заставило Святополка повиниться и перед ним, и перед Мономахом, уже подошедшим к Киеву.

Святополку ничего иного не оставалось, как повиноваться. Скрепя сердце и скрежеща зубами, но задушив в себе на время волчий свой нрав, Святополк покорился Мономаху и пошёл вместе с ним против любезного друга Давида.

Казалось бы, добились граждане Киева и русские князья, что встал их старейшина на праведный путь, да не тут-то было.

Иудино существо вылезло у Изяславича наружу и в этом походе: лишь побил он, вместе со всеми Рюриковичами, вчерашнего своего друга Давида, как тут же обуяло его новое окаянство — пошёл он искать добычу в земле несчастного Василька и брата его Володаря.

Однако ж Ростиславичи не дрогнули. Они с яростью обрушились на обидчика — причём в бою против Святополка участвовал даже слепой Василько, — и разгромили окаянного. Святополк послал за помощью к венгерскому князю Иштвану Арпаду, но тогда на помощь Ростиславичам выступили все Рюриковичи во главе с Мономахом и в битве под Перемышлем снова побили Святополка. И бежал он в Киев.

После того собрались князья на новый съезд в Витичеве. Случилось это в августе 1100 года. И хотя отняли они у Давида Игоревича стол на Волыни, но всё же решили не лишать его куска хлеба и отдали ему небольшие городки — Острог-на-Буге, Дубен да Черторыйск, образовав для этого новую волость.

После недолгих споров дали ему ещё и полтора тура серебра.

И оказалось, что Господь не оставил Русь, как только её князья переменили брань на согласие и, сплотившись, всем миром ополчились на половцев. Потом ещё не раз съезжались все русские князья, чтобы договариваться о совместных походах на степняков. Было это и после первых побед над ними в 1100 году, и после съезда на озере Долобском тремя годами позже.

А в 1111 году разбили русские князья извечных врагов своих — половцев — на притоке Дона реке Сал.

Не было дотоле такой великой победы над степняками. Одних только половецких князей пало на поле брани два десятка, а овец, быков и прочего скота взято было неисчислимо.

Очевидцем торжественного въезда великого князя в Киев был и Нестор. И хорошо всё помнил, потому что было это менее года тому назад. И был также свидетелем того, как искренне и горячо радовались киевляне победе и, казалось, — да нет, не казалось, а и было на самом деле! — простили князю все его прошлые

смертные грехи.

Так, перемежая живые картины, роившиеся в памяти, с записями, вставшими с листов пергамента, лежал Нестор в тёмной келье, размышляя и о делах, кои описал он и в двух житиях, и в «Повести временных лет», и о собственной своей жизни. Однако в эту ночь, перед скорым свиданием с великим князем, он много размышлял о нём. Правду сказать, Нестор и раньше нередко думал о Святополке Изяславиче и столь же часто ловил себя на мысли, что Великий князь Киевский одновременно и нравится ему, и до предела неприятен, а то и ненавистен. Как простой смертный Святополк был покрыт грехами с головы до ног, а как государь он поражал многих, и Нестора в их числе, тем, что, вроде бы петляя, как заяц, которого со всех сторон травили охотничьи псы, всякий раз уходил от погони, в конце концов оказываясь на большой дороге.

И была та дорога тем, что более прочего ценил Нестор в светских русских владыках — верностью великому, трудно осуществимому замыслу: достичь единства всех земель Руси под одним началом.

А что же было делать, если волею Провидения на Киевском великокняжеском столе сидел он сам, Святополк, и, стало быть, защищая сие основание всего государствования, отстаивал он, прежде всего, и самого себя?

Единая и нераздельная, избавленная от распрей Русь была и для Нестора превыше всего. Поэтому и коварный, часто низкий в поступках своих, порой просто бесчестный Святополк из-за несокрушимой верности единству Русской земли становился для Нестора ближе и дороже многих прочих князей, хотя бы и благостных, и добрых сердцем, и прямодушных, и бескорыстных.

Получалось, что одна у него и у Святополка Изяславича дорожка, по которой, хотят они этого или не хотят, суждено им идти вместе до самого конца.

Проснувшись позже обычного, Нестор быстро собрался и, не завтракая, пошёл в Берестово. Он потихонечку, не без усилий, спустился с одного холма и поднялся на другой. А когда подошёл ко княжескому терему, то с усмешкой подумал: «Вот и продолжается моё сновидение, да только наяву всё прекраснее, чем во сне».

Не успел Нестор подняться на крыльцо, как навстречу ему вышел сам князь: не то увидел он его из окна, когда шёл черноризец к усадьбе, не то случайной оказалась их встреча. Однако хорошо зная князя, Нестор подумал, что Святополк нарочно встретил его у крыльца, чтобы не приглашать к столу,

ибо был давно болен утробой и мало ел, а вина и мёда не пил совсем. И угощение гостей было для него всякий раз сущей мукой. Потому был он худ, почти всегда мрачен и чаще всего зол на весь белый свет и, кажется, даже на самого себя. К тому же слыл он человеком жадным, корыстолюбивым, а единственными близкими к нему людьми были ростовщики, мытари и менялы.

Нестор помнил, как вскоре после своего вокняжения в Киеве Святополк силой забрал из монастыря соль, потому что в городе она вдруг сильно вздорожала.

Зная всё это, Нестор всё же отдавал Святополку должное за его цепкий ум, хотя и был он направлен сугубо на собственную выгоду.

Святополк, увидев Нестора, вопреки своему обычаю даже улыбнулся в густую окладистую бороду, но, быстро согнав улыбку с лица, подошёл под благословение и спросил:

— Скажи, честной отец, охота ли будет тебе повести разговор не в тереме, а в саду, на вольном воздухе?

— Как тебе будет угодно, княже, — согласился Нестор, усмехнувшись про себя тому, что догадка его оказалась верной. И Святополк, взяв его под руку, неспешно пошёл мимо клеток со зверьем в яблоневый сад, к малой беседке, увитой начинающим зеленеть ползунком.

Справившись о здоровье и заодно посетовав на свои старческие немочи, Святополк быстро перешёл к делу.

— Я хочу, отче, совещаться с тобой, ибо сказано: «Не вкушу ничтоже зде донеже поставите и совещаетеся со мною», — и пристально посмотрел Нестору в глаза.

— Воюют многих руками, — ответил Нестор, — и немногих — советом. Однако же ты, княже, и на брани силён, и давно уже слывёшь мудрым, как и славный дед твой, а я скудоумный, пошто тебе?

— Дед мой, Ярослав Владимирович, потому и прозывался Мудрым, что со многими умными боярами, воеводами, а особливо книжниками любил совет держать.

— Слушаю, княже, — проговорил Нестор тихо, опустив глаза.

— Вестимо тебе, отче, что идёт к нам из Корсуни Лаврентий-мних. А мне от верных моих людей ещё зимою стало ведомо, что идёт он в Киев для некоего подыскания. Желает Лаврентий, чтоб рука патриарха Константинопольского Иоанна Гапита над Русью высилась.

Всего второй год занимает Иоанн патриарший стол и потому обуян гордыней, желая властвовать, как и всякий новый государь. А наш митрополит Никифор, хотя сам родом и грек, но в деле

том патриарху не помощник, потому как, заняв митрополичий стол в Киеве, ни о чём ином не мечтает, сильно дорожа тем, что имеет. И потому, чаю я, придёт Лаврентий не к Никифору, а к тебе и станет лестью и коварством подвигать тебя на дело, угодное патриарху Иоанну.

— С тем, что сказал ты, княже, согласен я, да только не уразумею, какой во всём этом от меня, убогого, толк?

— В том и толк, и прок, отче, что знаешь ты то, чего никто, кроме тебя, не знает. А ведовство есть великая сила, сказано же у царя Соломона: «Я — разум, и у меня сила».

Услышав из уст князя во второй раз слова из Писания, Нестор понял, что Святополк, не зело сильный в церковных словесах, видимо, хорошо подготовился, прежде чем встретился с ним сегодня. «Видать, архимандрит наставлял его перед беседою со мной», — подумал Нестор.

«А что до Лаврентия, то его ожидаемое появление просто-напросто заставило и князя и архимандрита упредить грека, как упреждают противника, когда загодя узнают о скором его приходе на поле брани, — подумал Нестор. — Да, видать, и повесть моя, хотя не мечом и не копьём, а гусиным пёрышком пишется, тоже есть поле брани, а я в том поле — воевода».

И всё, что дальше говорил ему князь, стал Нестор расценивать, как стратиг, и вскоре же оказалось, что такой образ действий есть самый верный.

А Святополк Изяславич, как и во всяком сражении, начал с того, что послал немногочисленных лёгких разведчиков.

— О ком же ты ныне пишешь, отче? — спросил князь.

— Об Ольге, жене Игоря и матери Святослава.

— И что же написал ты о ней?

Нестор рассказал, а князь вдруг спросил:

— А какого она у тебя кореню?

И Нестор поведал Святополку всё, о чём думал сам, о чём накануне говорил с Олимпием, чистосердечно признавшись, что говорить-то говорил и думать — думал, но писать из-за великой во многом сумнительности не стал.

Святополк внимательно, ни словом не перебивая его, слушал, а когда Нестор замолк, строго и назидательно проговорил:

— А теперь слушай, что я тебе скажу, твой князь. — И скрипучим каким-то голосом, вроде бы начиная свариться, проговорил, будто был Нестором недоволен: — От Бога я всем вам князь, ибо сказано: «Нет власти да не от Бога».

— Говори, кесарь, — то ли шутливо, то ли с обидой проговорил Нестор, желая, чтоб понял Святополк, что не след ему возноситься, а след помнить, что и кесарю воздаётся только

кесарево, а Богу — божье. И что он, Нестор, сначала слуга Господу, а уж потом ему — князю, хотя бы и Великому. Святополк понял и, положив руку на колено ему, проговорил совсем другим тоном — мягким и доверительным:

— Сколько лет знали мы друг друга, Нестор? — И, не дожидаясь ответа, сам же сказал: — На следующий год станется двадцать. И, признаюсь, не пожалел я ни разу, что доверил тебе писать «Повесть временных лет», ибо почитаю тебя мужем великого знания и обширной учёности и не знаю, кроме тебя, никого, кто бы мог так лепо и со столь завидным тщанием творить сие многотрудное и вельми непростое дело.

А что ты сказал о Боге и о кесаре, то я сие разумею так: Бог — один, а кесарей много, и все они розны, и нет меж ними мира. А потому и правда у каждого из них — своя. И одна правда у кесаря византийского Алексея Комнина, другая — у германского короля Генриха, третья — у короля франков Роберта, а четвёртая — у меня, грешного. Да что там немцы! У каждого русского князя — своя правда. У Олега Святославича, у Давида Игоревича, у Владимира Всеволодовича и опять же у меня, грешного, — у каждого своя правда. А ты, Нестор, хотя и Божий человек, но всё же не ангел, не бесплотный дух, и потому должен не в облаках витать, а, крепко на земле стоя, за ту правду воевать, на чьей земле живёшь. А живёшь ты, Нестор, на моей земле, и потому нет для тебя другой правды, кроме моей.

«Правда одна — Божья», — хотел возразить князю Нестор, но не стал, подумав: «Если скажу так, получится уже две правды — Божья, сиречь моя, и княжья, Богу противная. А тогда чья же, диаволова?»

А многоопытный князь будто прочитал мысли его и сказал:

— А я тебе изъясню, отче, что и Божья правда для человеков недоступна есть. Инако, как прикажешь мыслить: отчего это у нас, крестиан, один Бог, у хазар — другой, у половцев — третий? И всяк в своего Бога верит и токмо ему повинуется, и чаще прочего своим единоверцам на подмогу идёт. — Святополк вдруг улыбнулся: — А помысли, отче, что стало бы, если бы прадед мой, Владимир Святославович, не крестианскую веру избрал для Руси, а мухаммеданскую ал и же — хазарскую — иудейскую. Стояли бы в наших градах мечети али иудейские капища, как их там?

— Синагоги, — подсказал Нестор и тоже улыбнулся: больно диковинной показалась картина сия, совсем по-иному пошла бы жизнь и на Руси и вокруг неё.

Святополк к сказанному добавил:

— Ты поди думаешь: «Правда токмо у Господа, а у смертных нет её». Ан нет, Нестор, есть. Поразмысли: родственные

друг другу слова — правда, право, правление, — а разве не дед мой, Ярослав Владимирович Мудрый дал всей державе своей «Русскую правду», и разве не в своих руках держу я ныне правление Русью? Стало быть, и правда там, где закон и власть. А остальное — от лукавого, ибо сказано: «Нет власти, стало быть, правды, да не от Бога».

Речь Святополка показалась Нестору сколоченным строем закованных в цареградскую броню дружинников. Не было ни одной щёлочки в их тесном железном ряду.

А князь, воодушевившись от собственного красноречия, которое бурным потоком несло его вперёд, сказал, как меч вогнал в горло язычника:

— Божья правда, Нестор, в Святом Писании да в царстве небесном есть, а на грешной земле нет её. Даже в обителях Божьих часто бывает она увечна — то слепа, то глуха, то колченога.

Нестор вспомнил братию из своей обители, вспомнил многих иных иноков, не нашёл, что мог бы возразить вроде бы и непристойным, но правосудным речам Святополка.

— Да где уж, княже, ангелов-то взять? — проговорил он примирительно, сводя всю речь собеседника к последней бесспорной истине о греховности человеков. Истине бесспорной, абсолютно верной, которую богословы называли греческим словом «аксиома».

— Вот и слава Богу, — проговорил Святополк с радостным облегчением. — А теперь послушай, какую жду я от тебя подмогу. Царь Византийский да патриарх его, Никифор, хотят утвердить на Руси своё владычество, отыскивая корни его в нашей старине. И потому всячески благоволят к тем, кто им в том пособляет и держит их руку. Паче иных любы им те князья наши, что повязаны с Византией кровью, и насупротив тому нелюбие своё распростирают на тех, кто родственными узами повязан с иными домами — с варяжским, либо со славянскими, аль с иными какими.

И мнится мне, что придёт тот Лаврентий-афонец с некиим замышлением переспорить тебя, доказывая, что и власть, и свет на Руси от Византии, а Ольга-княгиня, прежде чем стала женой Игоря, была пурпуроносной невестой их царя и первой на Руси крестилась, и тем была супротивна варварам-варягам — идолопоклонникам и язычникам. А ведь имя её — Ольга, таковое же есть, как и у Вещего Олега, и слышал я, когда был князем в Новгороде, что изначально на варяжский лад прозывался он Хельгом, а она — Хельгою, и только потом стали новгородцы звать его Олегом, а её — Ольгою, а что до болгарского её

происхождения, то, чаю я, измышлено сие царьградскими греками.

Князь встал, давая знать, что беседа закончена. Встал и Нестор. Так же, как и пришли они сюда — под руку, так же и вышли.

Нестор проводил Святополка до терема, и по дороге князь не говорил уже о старине, о прошлых делах, а спрашивал его, каково живётся в обители, достаточны ли монахи, есть ли у него самого, Нестора, в чём либо какая нужда, и даже спросил об убогих и нищебродах, что прибивались к монастырской богадельне.

Расстались они вполне довольные друг другом, а Нестор всю дорогу до обители думал о князе, в котором и Бог и черти намешали поровну и добра и зла.

Направляясь в обитель, Нестор ещё раз, шаг за шагом, воскрешал в своей памяти, объёмной и цепкой, только что отзвучавшую беседу со Святополком. Не пропуская ничего, он старался понять то, о чём князь предпочёл говорить не прямо, а с недомолвками и скрытым смыслом.

И отбирая такие княжии словоизъявления, остановил себя Нестор на том, что говорил ему Святополк о неких «иных, что повязаны с Византией кровью и кого хотят царь и патриарх утвердить на Руси владыками». Кого не прямо, окольно, не называя по имени, зачислил Святополк в свои недруги, а византийцам в пособники?» — подумал Нестор и тут же смекнул: «Да это ж Мономах!» И тут же в уме у него возникло множество связанных друг с другом картин, воспоминаний, видений. Первым вспомнился ему Великий Киевский князь Всеволод Ярославич — дядя Святополка, чей великокняжеский стол унаследовал его сегодняшний собеседник.

Воспоминание о Всеволоде было приятно Нестору: был князь любезен ему от того, что слыл велемудрым, знал пять языков, превыше всего ценил знание обо всём сущем и о сокрытом — небесном. Женился Всеволод на дочери Византийского императора Константина Мономаха, родившей ему трёх дочерей и двух сыновей. Один из них — Ростислав, князь Переяславский, — двадцати трёх лет пал в битве с половцами под городком Треполем, а оставшийся в живых старший его брат — Владимир Всеволодович, прозванный из-за деда Мономахом, — потом с лихвою отомстил степнякам за погибшего своего сородича, разгромив их полки во многих сражениях. И тут же пришло к Нестору ещё одно соображение: а ведь жена Святополка Изяславича — это дочь половецкого князя Тугоркана, и взял он её, чтобы обезопасить себя от набегов степняков. Конечно же, византийским кесарям ближе семья Мономашичей, чем

наполовину половецкий род Святополка. К тому же дом Мономаха был изобилен потомством: одарила его супруга восемью сыновьями и, стало быть, ожидало Мономашичей большое будущее. А византийцы смотрели в грядущее, где видели Царьград вторым Римом, и потому выбирали себе в союзники умного и храброго победителя язычников-половцев, а не кровника-степняка, хотя бы и был тот Великим Киевским князем.

«Вот и ещё одна загадка разрешилась», — подумал Нестор и с некоторым сокрушением сердца признался себе, что стезя, по которой пошёл он, бытописатель старины, кого греки называют историком, — стезя сия путана, проходит через многие западни и ловушки, через сугубые хитросплетения, а паче того, часто встаёт на пути историка сам князь тьмы, ибо предлагает простому смертному отыскивать многие грехи ему подобных, чем навлекает на него великую и всеконечную пагубу».

Мать и сын

Придя в келью, Нестор сел за рукопись, но сразу писать не стал, а ещё раз вспомнил всё, о чём говорил с ним князь, и вдруг явственно почувствовал, что стоит Святополк Изяславич за его правым плечом и пристально смотрит на кончик его пера. Пробормотав «Свят, свят», как от некоего наваждения, Нестор быстро трижды перекрестился и, прочитав последнюю фразу, написал:

«Начало княжения Святослава, сына Игорева.

В год 6454-й. Ольга с сыном своим Святославом собрала много храбрых воинов и пошла на землю древлян, и вышли древляне против нас. И когда сошлись оба войска для схватки, Святослав бросил копьё в древлян, и копьё пролетело между ушей коня и ударило ему в ногу, ибо был Святослав ещё ребёнок. И сказали Свенельд и Асмуд: «Князь уже начал: последуем, дружина, за князем», и победили древлян.

Древляне же побежали и затворились в своих городах. Ольга же устремилась с сыном своим к городу Искоростеню, так как жители его убили её мужа, и стала с сыном своим около города, а древляне затворились в нём и крепко боролись, ибо знали, что, убив князя, не на что им надеяться после сдачи. И стояла Ольга всё лето и не могла взять города.

И замыслила так: послала она к городу, со словами: «До чего хотите досидеться: ведь все ваши города уже сдались мне и обязались выплачивать дань, и уже возделывают свои нивы и земли, а вы, отказываясь платить дань, собираетесь умереть с голода». Древляне же ответили: «Мы бы рады платить дань, но ведь ты хочешь мстить за мужа своего». Сказала же им Ольга, что де: «Я уже мстила за обиду своего мужа, когда приходили вы к Киеву в первый раз и во второй, а в третий раз мстила я, когда устроила тризну по своему мужу. Больше уже не хочу я мстить, хочу только взять с вас небольшую дань и, заключив с вами мир, уйду прочь». Древляне же спросили: «Что хочешь от нас? Мы рады дать тебе мёд и меха». Она же сказала: «Нет у вас теперь ни мёду, ни мехов, поэтому прошу у вас немного: дайте мне от каждого двора по три голубя да по три воробья. Я ведь не хочу возложить на вас тяжкой дани, как муж мой, поэтому-то и прошу у вас мало. Вы же изнемогли в осаде, оттого и прошу у вас этой малости». Древляне же, обрадовавшись, собрали от двора по три голубя и по три воробья и послали к Ольге с поклоном. Ольга же сказала им: «Вот вы и покорились уже мне и моему дитяти. Идите в город, а я

завтра отступлю от него и пойду в свой город». Древляне же с радостью вошли в город и поведали обо всём людям, и обрадовались люди в городе. Ольга же, раздав воинам — кому по голубю, кому по воробью, — приказала привязывать каждому голубю и воробью трут, завёртывая его в небольшие платочки и прикрепляя ниткой к каждой птице.

И, когда стало смеркаться, приказала Ольга своим воинам пустить голубей и воробьёв. Голуби же и воробьи полетели в свои гнезда: голуби в голубятни, а воробьи под стрехи. И так загорелись где голубятни, где клети, где сараи и сеновалы. И не было двора, где бы не горело. И нельзя было гасить, так как сразу загорелись все дворы. И побежали люди из города, и приказала Ольга воинам своим хватать их. И так взяла город и сожгла его, городских же старейшин забрала в плен, а других людей убила, третьих отдала в рабство мужам своим, а остальных оставила платить дань.

И возложила на них тяжкую дань. Две части дани шли в Киев, а третья — в Вышгород Ольге, ибо был Вышгород городом Ольги. И пошла Ольга с сыном своим и с дружиною по Древлянской земле, устанавливая распорядок дани и налогов. И существуют места её стоянок и охот до сих пор. И пришла в город свой Киев с сыном своим Святославом и пробыла здесь год».

Едва успел Нестор окончить погодную запись, как услышал жидкий, высокий голос маленького колокола и по количеству ударов — а было их три — понял, что начался третий час обедни и дьякон-кадиловозжигатель только что взял благословение от архимандрита.

Нестор пошёл в храм и ещё часа два стоял на службе, которая шла в обители почти непрерывно.

Вернулся он незадолго перед ужином и застал за столом, на том месте, кое занимал сам, сидящего будто в оцепенении Володаря. Мальчик сидел, прилежно склонившись над рукописью, и даже не обратил внимания на то, что наставник вошёл в келью. Тёплое чувство подступило к сердцу Нестора: он ощутил себя творцом, уверившимся в том, что созданное им произведение кому-то нужно и даже может заставить замереть, как замерла жена праотца Лота, превратившись по воле Бога в соляной столп.

Взглянув из-за плеча мальчика на рукопись, Нестор увидел, что Володарь читает то место, где описал он поход Ольги со Святославом против древлян. Володарь вздрогнул, почувствовав появление наставника, обернулся, и Нестор увидел его глаза — испуганные и печальные.

— Что случилось, хлопчик? — спросил он участливо. Володарь не ответил, будто не расслышал. Нестор ждал. Наконец

мальчик, повинуясь духовному отцу своему, произнёс тихо:

— Отпусти меня в ратную службу, преподобный отче. Дух у меня захватывает, когда читаю я о походах и бранях.

«Вот ведь напасть какая, — подумал Нестор со смешанным чувством досады и гордости за себя, способного столь сильно повлиять на чувства человека, что тот готов враз переменить свою участь», — и сказал Вол одарю:

— Разве я недруг тебе? Как могу я, грешный, решать судьбу твою? Однако же и сам ты тоже не смеешь на сие решиться, потому как ещё слишком юн. В послушники пошёл ты по воле отца и матери, по их же повелению сможешь ты и переменить поприще своё.

— Так что же, должен идти я к родителям за позволением?

— Да, Володарь, — к ним, ибо сказано: «Если кто отца или матери не послушает, то смерть примет».

— Когда же идти мне к ним, отче?

— Завтра поутру спрошу я о том отца-настоятеля, и если он позволит, то и пойдёшь, благословясь, к родителям своим. А потом вернёшься и скажешь мне, какою оказалась воля их.

Мальчик еле слышно вздохнул и, подойдя к наставнику, быстро поцеловал ему руку.

Феоктист разрешил Володарю пойти к родителям, жившим неподалёку от Киева, в трёх днях пешего пути, в городке Родня, вверх по течению Днепра, где располагалась последняя пристань перед Киевом.

Нестор проводил мальчика за ворота обители, благословил его и долго мелко крестил, пока Володарь не скрылся за поворотом дороги.

Вернувшись в келью, сел он за стол, и начал писать новую погодную статью, поставив обычное:

«В год 6455-й. Отправилась Ольга к Новгороду и установила по Мете погосты и дани и по Луге — оброки и дани. Ловища её сохранились по всей земле и свидетельства о ней, и места её, и погосты, а сани её стоят во Пскове и поныне, и по Днепру есть места её для ловли птиц, и по Десне, и сохранилось село её Ольжичи до сих пор. И так, установив всё, возвратилась к сыну своему в Киев, и там пребывала с ним в любви».

Написав это, Нестор подумал: «Может быть, установление погостов и даней, оброков и ловищ, станов и детинцев, застав и острогов значит больше, чем покорение племён и городов? Ведь всё это сохранилось и через двести лет, и сегодня это и есть Русь, её вечная основа, её изначальный костяк? А потомки её и Святослава лишь добавляли к наследству её новые погосты,

станы, крепости и остроги, раздвигая пределы Руси во все стороны света, а первооснова оставалась её, Ольгина. И верно, надобно историку отыскивать во глубине веков то, что не подвержено гибельному воздействию времени и являет собою нетленное достояние вечности».

А ещё подумал о Володаре и о том, как подвигнули его пойти по иной стезе воинские повести, кои вычитал он в летописи.

Сначала Нестор решил: его вина, что мальчик меняет крест инока на меч ратника. Однако ж, помыслив ещё немного, пришёл к выводу, что это не так: мало ли людей будут читать его летопись, но одни найдут в ней для себя одно, другие — другое. И, может быть, другой грамотный юноша, прочитав то, что напишет он сегодня — наприклад, как ездила Ольга в Царьград, — решит, что нет судьбы лучше, чем служение Господу, и с восторгом изберёт себе участь инока. «Душа человека, — подумал Нестор, — подобна вспаханной ниве, но всходит на ней не рожь, а то, для чего оказывается она пригодной. Для Володаря пригодным стало зерно воинское».

Окончив запись года 6455-го, а от Рождества 947-го, и отрешившись от раздумий о Володаре, черноризец вздохнул, ибо знал, что далее идёт досадный пробел и нет ничего, о чём бы мог он написать за целых семь лет — до года 6463-го, сиречь по Рождеству — 955-го.

Не было известий о том ни у предшественников его — честных иноков-летописцев Ивана и Никона, живших ранее него здесь, ни у византийцев, ни у латинян.

И потому поставил Нестор далее: «В год 6463-й» и написал: «Отправилась Ольга в греческую землю и пришла к Царьграду». Он вспомнил многое из того, о чём рассказывали ему странники по святым местам, бывавшие и на Афоне, и в Иерусалиме, и в Царьграде. Немало их прошло через обитель, а в богадельне, созданной игуменом Феодосием, и ныне жили два усердных паломника — калики перехожие, да одна древняя странница, с коими любил Нестор поговорить на досуге о том, что видели они в дни своей молодости.

Был, по их словам, Царьград, называемый греками-византийцами Константинополем, велик и богат паче всех иных городов. Был, говорили странники, сей Новый Рим, даже больше Киева, а в Киеве одних церквей да часовен было четыреста.

Пришла Ольга в гавань Суду и вскоре была позвана во дворец к императору Константину, рекомому Багрянородным, а книги им написанные хранились и в вивлиофике Нестора. Одна из них — «Описание царского церемониала» — лежала прямо на столе, под рукой у него. Прочитав Багрянородного и вспомнив кое-что из

того, о чём говорили ему странники, Нестор будто воочию увидел, как входит корабль Ольги во внутреннюю гавань, пройдя через распахнутые железные ворота. За ними на морской глади стоят триста огромных галер-катархов, на каждой из которых имеется от двух до трёх сотен весел. Представил Нестор, как с жадным интересом смотрят на боевые катархи спутники Ольги, ибо ходит на тех галерах по морю византийская рать, с коей доводилось в прежние времена сражаться и Вещему Олегу и мужу Ольги Игорю Рюриковичу. Представил Нестор и то, как, сойдя наконец на берег, едет в роскошной колеснице по Царьграду княгиня Ольга. Едет она мимо дивного, видного ещё издалека, столпа Юстиниана Великого, на вершине которого восседает сей император верхоконно, будто живой, одетый в сарацинский доспех, а в левой руке держит яблоко злато, велико, а на яблоке — крест; правою же рукою указывает Юстиниан на полдень, на сарацинскую землю, на святой град Иерусалим.

И много ещё мраморных столпов, покрытых сверху и донизу позлащёнными словами, выбитыми в камне, встречают Ольгу. Но более прочего вызывает восхищение храм Святой Софии — Премудрости Божьей. Недаром через сто лет после того были воздвигнуты подобные храмы и в Киеве, и в Новгороде, и стали они самыми почитаемыми храмами Русской земли.

Святая София вознесла над Царьградом свой огромный золочёный купол на тридцать, а стены храма протянулись на сорок саженей: не было в мире другого такого христианского храма, и только в далёкой стране солнцепоклонников, в почти неведомой земле фараонов, есть, говорят, капища ещё более высокие и громоздкие.

От Святой Софии повезли Ольгу царёвым путём — мимо столпа Константина Великого, изваянного из красного мрамора и привезённого из Рима в незапамятные времена. Затем увидела она летний дворец константинопольских патриархов, а неподалёку две огромные церкви — Святой Ирины и женского монастыря святой Богородицы, в коем покоилась глава Иоанна Златоуста.

«В церкви Святой Ирины, — поведал Ольге ехавший с нею в карете придворный толмач, бойко говоривший и по-гречески и по-славянски, — стоят мраморные гробницы многих восточноримских императоров». Рассказал ей толмач и о подземном хранилище воды, кою назвал он «цистерною Филоксена». Толмач сказал, что вода хранится на глубине в семь саженей, в гигантском бассейне, окружённом более чем двумя сотнями колонн. Оттого, что сам Нестор в Царьграде не бывал, он не мог представить себе, в какой последовательности видела всё

это Ольга. Однако знал, что в конце царёва пути ждал её императорский дворец.

Взяв в руки «Описание царского церемониала», узнал Нестор, что было с нею более ста человек мужчин и женщин, и знатных и незнатных, плывших вместе с княгиней в Царьград. И было это, как свидетельствовал император Константин, 9 сентября 957 года по Рождеству.

Нестор снова взялся за перо и вывел: «И царствовал тогда цесарь Константин Багрянородный, сын Льва Философа, и пришла к нему Ольга, и увидел царь, что она очень красива лицом и разумна, подивился её разуму, беседуя с нею, и сказал ей: «Достойна ты царствовать с нами в столице нашей». Она же, уразумев смысл этого обращения, ответила цесарю: «Я язычница. Если хочешь крестить меня, то крести меня сам, — иначе не крещусь». И крестил её царь с патриархом.

Просветившись же, она радовалась душой и телом. И наставил её патриарх в вере, и сказал ей: «Благословенна ты в жёнах русских, так как возлюбила свет и оставила тьму. Благословят тебя русские потомки в грядущих поколениях внуков твоих». И дал ей заповеди о церковном уставе и о молитве, и о посте, и о милостыне, и о соблюдении тела в чистоте. Она же, наклонив голову, стояла, внимая учению, как губка напояемая, и поклонилась патриарху со словами: «Молитвами твоими, владыка, пусть буду сохранена от сетей дьявольских».

И было наречено ей в крещении имя Елена, как и древней царице — матери Константина Великого. И благословил её патриарх, и отпустил».

«После крещения призвал её царь и сказал ей: «Хочу взять тебя в жёны себе». Она же ответила: «Как ты хочешь взять меня, когда сам крестил меня и назвал дочерью. А у христиан не разрешается это — ты сам знаешь». И сказал ей царь: «Перехитрила ты меня, Ольга». И дал ей многочисленные дары, золото и серебро, и паволоки, и сосуды различные; и отпустил её, назвав своею дочерью. Она же, собравшись домой, пришла к патриарху и попросила у него благословения вернуться, и сказала ему: «Люди мои язычники, и сын мой — язычник, да сохранит меня Бог от всякого зла». И сказал патриарх: «Чадо верное! В Христа ты крестилась и в Христа облеклась, и Христом сохранит тебя и избавит тебя он от дьявола и от сетей его».

И отправилась она с миром в свою землю, и пришла в Киев. И прислал к ней греческий царь послов со словами: «Много даров я дал тебе. Ты ведь говорила мне: когда возвращусь в Русь, много даров пришлю тебе: челядь, воск и меха и воинов в помощь».

Отвечала Ольга через послов: «Если ты постоишь у меня в

Почайне, как я в гавани твоей Суду, то тогда дам тебе». И отпустила послов с этими словами. Нестор хотел было добавить, что Почайна — речка под Киевом, но не стал, подумал: «Зачем сие писать, ведь и через сто лет Почайна Почайной и останется».

А потом написал он: «Жила же Ольга вместе с сыном своим Святославом, и учила его мать принять крещение, но он и не думал и не прислушивался к этому; но если кто собирался креститься, то не запрещал, а только насмехался над тем. Ибо полагал, что для неверующих вера христианская юродство есть... Ибо не знают, не разумеют те, кто ходят во тьме и не ведают славы Господней... Огрубели сердца их, с трудом уши их слышат, а очи видят... Ибо сказал Соломон: «Дела нечестивых далеки от разума... Потому что звал вас и не послушались меня, направил слова и не внимали мне, но отвергли мои советы, и обличений страха Божьего не избрали для себя, не приняли совета моего, презрели все обличения мои». Так и Ольга часто говорила: «Я познала Бога, сын мой, и возрадуюсь, если и ты познаешь — тоже станешь радоваться». Он же не внимал тому, говоря: «Как мне одному принять иную веру. А дружина моя станет насмехаться». Она же сказала ему: «Если ты крестишься, то и все сделают то же». Он же не послушался матери, продолжая жить по языческим обычаям, не зная, что кто матери не послушает — в беду впадёт, ибо сказано: «Если кто отца или матери не послушает, то смерть примет».

Святослав же притом гневался на мать. Однако Ольга любила своего сына Святослава и говаривала: «Да будет воля Божья; если захочет Бог помиловать род мой и народ русский, то вложит им в сердце то же желание обратиться к Богу, что даровал и мне». И, говоря так, молилась за сына и за людей всякую ночь и день, руководя сыном до его возмужалости и до его совершеннолетия».

И, написав это, снова опечалился Нестор, ибо ничего не знал о событиях восьми последующих лет, — с года 6464-го до года 6471-го от Сотворения мира, а по Рождеству Христову — от года 956-го до года 963-го. Не сообщали об этом старые летописцы.

И лишь потом говорили они о летах воинской доблести и успехов Святослава. И потому написал Нестор далее: «В год 6472-й. Когда Святослав вырос и возмужал, стал он собирать много воинов храбрых. И легко ходил в походах, как пардус, и много воевал».

Здесь хотел Нестор объяснить, что пардуса называют ещё гепардом и что гепард лучше самых умелых охотников добывает коз и антилоп, что нет зверя быстрее и беспощаднее его, что давно уже приручён пардус человеком, как и гончие псы, и охотничьи кречеты, но не стал о том писать, полагая, что и в

будущие времена будут гепарды всякому человеку вестимы и потому пояснения его лишние и никому не нужные. А потому летописец решил, что хорошо бы сказать о том, каким был Святослав перед воинами своими и перед противниками, ибо сравнение с гепардом требовало подтверждения.

Нестор подошёл к полке с книгами, взял «Историю» византийца Льва Диакона Калойского и прочёл в ней описание внешности Святослава, которого Лев видел при свидании князя с императором Иоанном Димисхием. Византиец писал: «Видом он был таков: среднего роста, с густыми бровями, с голубыми глазами, с плоским носом, без бороды и с густыми длинными усами. Голова у него была бритая, но на одной её стороне висел клок волос, означающий знатность рода. Шея у Святослава была толстая, плечи — широкие, и стан довольно стройный. Он казался мрачным и суровым. В одном ухе у него висела золотая серьга, украшенная рубином и двумя жемчужинами. Одежда на нём была простая, ничем не отличающаяся от других, кроме чистоты». И хотя Нестор понимал, что хорошо было бы вписать всё это в летопись, но из-за того, что о многих других своих героях не знал он ничего такого, то и решил не выделять из всех венценосцев одного Святослава, ибо читающий мог подумать, что Святослав занимает совершенно особое место в прошлом Руси, а это было не так — были герои и пославнее его.

Если бы не остался Святослав язычником до самой своей смерти, то, может быть, Нестор и показал бы его одним из славнейших киевских князей, но рядом с такими мужами, как первые святые из дома Рюрика — Борис и Глеб, рядом с сыном его равноапостольным князем Владимиром, даже рядом со святой Ольгой — его собственной матерью, был Святослав только великим воином. Не таким, конечно, как македонский царь Александр, и не таким, как римлянин Юлий Цезарь, но среди воинов русичей стоял он впереди других. И потому Нестор прежде всего должен был показать его ратные успехи и подвиги. И потому написал Нестор далее так: «В походах же не возил за собою ни возов, ни котлов, не варил мяса, но, тонко нарезав конину, или зверину, или говядину, и зажарив на углях, так ел. Не имел он и шатра, но спал, подостлав потник, с седлом в головах. Такими же были и все прочие его воины. И посылал в иные земли со словами: «Хочу на вас итти». И пошёл на Оку-реку и на Волгу, и встретил вятичей, и сказал им: «Кому дань даёте? » Они же ответили: «Хазарам — по щелягу от рала даём».

Следовало ли объяснять, что рало — соха, часто — суковатка? И опять воздержался, ибо подумал, что пройдёт много столетий, прежде чем люди забудут о том, что такое «рало». Ну а

щелягу всякий знает, за морем зовут её «шиллинг» — и равняется она самой малой толике серебра.

«В год 6473-й. Пошёл Святослав на хазар. Услышав же, хазары вышли навстречу во главе со своим князем Каганом, — написал Нестор, — и сошлись биться, и в битве одолел Святослав хазар и город их Белую Вежу взял. И победил ясов и касогов».

Нестор хотел дописать, кто такие эти враги русского князя и от этого добавления отказался. Кто не знает ясов и касогов — полуденных степняков? Да и куда они денутся, хотя бы и через века?

И дальше осталось в старых летописях о двух больших походах Святослава всего полдюжины строк. Чтобы уйти от ненужных домыслов, Нестор просто списал их и вздохнул досадливо: больно куце всё сие выглядело.

«В год 6474-й. Вятичей победил Святослав и дань на них возложил». И ненамного лучше выглядела запись, значащаяся под следующим годом:

«В год 6475-й. Пошёл Святослав на Дунай на болгар. И бились обе стороны, и одолел Святослав болгар, и взял городов их 80 по Дунаю, и сел княжить там, в Переяславце, беря дань с греков».

А вот дальше, слава Богу, знали Иван да Никон побольше. И Нестор, следуя своим предтечам, старательно вывел:

«В год 6476-й. Пришли впервые печенеги на Русскую землю, а Святослав был тогда в Переяславце, и запёрлась Ольга в городе Киеве со своими внуками — Ярополком, Олегом и Владимиром. И осадили печенеги город силою великой: было их бесчисленное множество вокруг города. И нельзя был выйти из города, ни вести послать. И изнемогли люди от голода и жажды. И собрались люди той стороны Днепра в ладьях, и стояли на том берегу. И нельзя было ни тем пробраться в Киев, ни этим из Киева к ним. И стали тужить люди в городе, и сказали: «Нет ли кого, кто бы смог перебраться на ту сторону и сказать им: если не подступите утром к городу, — сдадимся печенегам». И сказал один отрок: «Я проберусь», и ответили ему: «Иди». Он же вышел из города, держа уздечку, и побежал через стоянку печенегов, спрашивая их: «Не видел ли кто-нибудь коня? Ибо знал он по-печенежски и его принимали за своего. И когда приблизился он к реке, то скинув одежду, бросился в Днепр и поплыл. Увидев это, печенеги кинулись за ним, стреляли в него, но не смогли ему ничего сделать. На том берегу заметили это, подъехали к нему на ладье, взяли его в ладью и привезли его к дружине. И сказал им отрок: «Если не подойдёте завтра к городу, то люди сдадутся печенегам». Воевода же их, по имени Претич, сказал на это:

«Пойдём завтра в ладьях и, захватив княгиню и княжичей, умчим на этот берег. Если же не сделаем этого, то погубит нас Святослав». И на следующее утро, близко к рассвету, сели в ладьи и громко затрубили, а люди в городе закричали. Печенегам же показалось, что пришёл сам князь, и побежали от города врассыпную. И вышла Ольга с внуками и людьми к ладьям. Печенежский же князь, увидев это, возвратился один и обратился к воеводе Претичу: «Кто это пришёл?* А тот ответил ему: «Люди той стороны». Печенежский князь снова спросил: «А ты не князь ли уж?» Претич же ответил: «Я муж его, пришёл с передовым отрядом, а за мною идёт войско с самим князем: бесчисленное их множество». Так сказал он, чтобы пригрозить печенегам. Князь же печенежский сказал Претичу: «Будь мне другом». Тот ответил: «Так и сделаю». И подали они друг другу руки, и дал печенежский князь Претичу коня, саблю и стрелы, а тот дал ему кольчугу, щит и меч. И отступили печенеги от города. И нельзя было вывести коня напоить: стояли печенеги на Лыбеди. И послали киевляне к Святославу со словами: «Ты, князь, ищешь чужой земли и о ней заботишься, а свою покинул. А нас чуть было не взяли печенеги, и мать твою, и детей твоих. Если не придёшь и не защитишь нас, то возьмут-таки нас. Неужели не жаль тебе своей отчины, старой матери, детей своих?» Услыша эти слова, Святослав с дружиной скоро сел на коней и вернулся в Киев; приветствовал мать свою и детей и сокрушался о том, что случилось с ними от печенегов. И собрал воинов, прогнал печенегов в поле, и наступил мир».

На том окончил Нестор дневной свой урок и вышел из кельи на монастырский двор, как и почти всегда совершенно безлюдный: по уставу всяк монах занимался своим делом и потому праздношатающихся в обители не было.

Тем более бросился ему в глаза чужой человек, и не инок, а мирянин, к тому же и не похожий на странника, быстро вышедший из Святых ворот и решительно направившийся к нему. Впрочем, никого иного на дворе не было, и незнакомцу, кроме Нестора, идти было не к кому. Нестор, бегло взглянув на него, безошибочно определил по походке, что человек этот долгое время провёл в седле, и шёл потому вразвалку, широко расставляя ноги.

Подойдя к Нестору, он поклонился и, поздоровавшись, испросил благословения. Затем полез в вырез холщовой рубахи и протянул Нестору малую грамотку, писанную на бересте.

— Прочти, отче праведный, — сказал незнакомец, — сам я грамоте не умудрён.

Нестор взглянул на первую строку и с некоторым удивлением прочёл: «Честному диакону Нестору, от Владимира, послушника

его». Не став читать дальше, он сказал:

— Да, мне эта грамотка, добрый человек, спаси тебя Христос. Скажи, откуда она у тебя?

— Дал её мне в Родне, на перевозе, некий юноша и просил отвезти в Федосьев монастырь.

— Когда же то было?

— Вчера, в обеденную пору.

Как только Нестор услышал, что грамотка дана была в Родне, сразу же понял, что писал её Володарь, потому как родители его жили именно там, а отец Володаря был перевозчиком через Днепр.

Нестор попросил, чтобы вестоноша подождал немного, сходил в келью, взял самую мелкую монетку — резану и, расплатившись с письмоносцем, стал читать грамотку. «Пришёл с насадом в Родню мних Лаврентий, и я того Лаврентия видел. И пошёл он с насадом в Киев, и будет в Киеве через два дня. А я о том, тебе, Нестор, знать даю. Сам же вскоре буду в обители. Володарь».

«Добро, — подумал Нестор, — стало быть, завтра войдёт насад в Почайну, и в тот же день будет Лаврентий в обители. Если бы был в Киеве митрополит, то пошёл бы грек к нему, но митрополит Леонтий помер несколько лет назад, а преемника ему всё не было — Константинопольский патриарх Пасхалий Второй никак не мог остановить свой выбор на ком-либо, и оттого местоблюстителем митрополичьего престола был с прошлого года архимандрит Феоктист. Значит, должен был Лаврентий прийти сразу же к игумену».

Первым делом Нестор известил настоятеля о полученной грамотке и, используя случай, рассказал о Володаре. Феоктист сразу же согласился отпустить послушника, сказав:

— Лучше служить со рвением земному хозяину, чем кое-как — небесному.

Что же касалось Лаврентия, то решили они встретить афонца с подобающим благочестием. При этом Феоктист заметил, что латыняне зовут встречу с должными почестями пиететом. Нестор, услышав разъяснения, улыбнулся про себя, он знал слабость архимандрита при случае вставлять греческие и латинские слова, выказывая собственную учёность, впрочем, вельми немалую.

...Афонский инок прибыл в Почайну 17 мая. И князь, и святые отцы знали, когда придёт в гавань насад, но пиететной встречи на берегу не устроили: Лаврентий не известил их о приезде и, таким образом, они были свободны от церемонии, которой их собрат почему-то избегал. Впрочем, понимали они и почему: неожиданное появление в монастыре было на руку хитрому греку.

Феоктист послал верхоконного монастырского холопа на берег Почайны, чтобы, как только афонец появится, тут же о том известить его. Однако насад пристал к берегу, но Лаврентия на нём не было.

Холоп оказался смышлёным малым и расспросил корабельщика об афонце. Корабельщик же поведал ему, что инок, плывший с ним от самого устья Днепра, сошёл с насада нынче утром и пошёл в Киев пешком.

Холоп, вернувшись в обитель, довёл то до архимандрита, немало сему рассказу подивившегося. Феоктист велел позвать к нему Нестора.

— С чего бы это поступил Лаврентий столь нечаянно? — спросил он Нестора.

— Мнится мне, что опасался он встречи в Почайне, полагая, что с первых же шагов станет он нашим узником, хотя и почётным. А так пройдёт он через посад, через слободы, может быть, и в город заглянет, по присловью: лучше один раз увидеть самому, чем десять раз услышать от кого-то.

— Пожалуй, ты прав, отче диакон, — раздумчиво произнёс Феоктист. — А не мыслишь, что есть у него в Киеве свой человек, с коим он сначала встретится и узнает, что ему потребно, а потом уже придёт и к нам, в Печеры?

— Может, и так, — согласился Нестор, — да только о чём станет он выведывать, коли пришёл он не соглядатаем, а учёным патриаршим апологетом?

— Афонцы более всех держат руку не патриархов, а императоров, — возразил архимандрит, — ибо монастыри афонские от власти патриарха, а у царей помимо духовных забот есть и иные хлопоты.

— Даст Бог, узнаем, — примирительно проговорил Нестор. — Всё едино никуда Лаврентий не денется, не минет он нашей обители, не завтра, так послезавтра явится.

Но и завтра не объявился гость в обители, исчез где-то в Киеве, — да и немудрено то было, ибо считали в городе и слободах, и в ближних окрестностях одних лишь церквей да часовен более трёх сот, а людей жило не менее трёх же сот, но — тысяч.

Отыскать православного монаха, к тому же отменно говорившего по-славянски, было нелегко, да и особой нужды в том не было, и потому на следующее же утро Нестор сел за работу: в преддверии встречи хорошо было побольше и получше узнать о старых делах меж Царьградом и Русью.

Внимательно перечитав всё, что относилось к Ольге, Нестор взялся за перо.

«В год 6477-й. Сказал Святослав матери своей и боярам своим: «Не любо мне сидеть в Киеве, хочу жить в Переяславце на Дунае, — там середина земли моей, туда стекаются все блага: из Греческой земли — золото, паволоки, вина, разные плоды, из Чехии и из Венгрии — серебро и кони, из Руси же — меха и воск, мёд и рабы». Отвечала ему Ольга: «Видишь — я больна: куда хочешь уйти от меня?» — ибо она уже разболелась. И продолжала: «Когда похоронишь меня, — отправляйся, куда захочешь». Через три дня, 11 июля, Ольга умерла, и плакали по ней плачем великим сын её и внуки её, и все люди. И понесли, и похоронили её на открытом месте. Ольга же завещала не совершать по ней тризны, так как имела при себе священника — этот и похоронил блаженную Ольгу».

Только поставил Нестор точку, как пришёл за ним от архимандрита послушник и велел идти к владыке, сказав, что пришёл к нему брат Лаврентий.

Когда Нестор пришёл, в келье настоятеля были уже келарь монастыря диакон Варлаам, пресвитер отец Яков, сам владыка и гость обители — немолодой человек, тощий, невысокий, носатый, с живыми умными чёрными глазами. Феоктист познакомил Нестора с афонцем, сразу же указав на малый ларец палисандрового дерева, с крестом на крышке, сказал:

— Вот, честной отец Нестор, новая святыня, кою принёс нам в дар брат Лаврентий. В ларце сем хранится нетленный лоскут одежды святого Димитрия.

Произнеся это, Феоктист перекрестился. Осенили себя крестным знамением и все, кто был у него в келье.

— Благослови, владыко, воззреть на святыню, — благолепно и распевно проговорил Нестор, подходя под благословение Феоктиста, а затем с низким поклоном, с трепетом в сердце, приблизился к ларцу, где лежало неоцененное сокровище. Верил он: благодать, обитавшая в великомученике, хоть и малой частью, но сохранилась и поныне в одежде его. Нестор знал, что святыни есть сокровища более ценные, чем драгоценные камни и золото. Мощи святого, кусок его одежды, даже щепа от гроба, поднимали храм, в алтаре которого что-либо из этого хранилось, на особо высокую ступень, ибо первые христианские церкви воздвигались либо на могилах святых, либо над их мощами. Считалось, что литургия, совершённая в таком храме, превращалась в часть божественной службы совместной с тем праведником, святыня или мощи которого хранились в алтаре или при входе в церковь, и что душа праведника торжествует во время службы вместе с причтом и прихожанами.

И потому Нестор благочестиво открыл ларчик и с умилением

посмотрел на небольшой лоскут, лежавший на дне шкатулки. Был тот хотя и древен, но выглядел как новый, ибо оставался нетленным вот уже восемьсот лет.

Все в келье молча крестились, беззвучно шевеля губами. Наконец Феоктист произнёс:

— Во имя отца, и сына, и святого духа! — И все клирики в един глас откликнулись: «Аминь!»

Тотчас же Лаврентий начал проворно ткать нить разговора:

— У нас, на Афоне, братия, различных святынь множество, и все они бесценны. Однако же для вас, единоверных братьев, не жаль нам и одной из величайших. Для того и пошёл я, недостойный, чтобы принести её вам.

Нестор, вспомнив о Димитрии то, что показалось ему полезным для будущей беседы с Лаврентием, тихо проговорил, почтительно глянув на архимандрита:

— Благослови, владыко, — и, получив согласие, продолжил: — Святый великомученик Димитрий Солунский, был, как и мы, славянином, и потому нам отрадно, что сия святыня принесена в дар нам. Тем более приятно сие, что и земляки его, равноапостольные святые Кирилл и Мефодий, тоже происходили из Солуни, и матери их также были славянского племени.

Аз, многогрешный, в повести о том, откуда есть пошла Русская земля, помянул о чуде святого Димитрия, когда рассказывал о взятии Царьграда нашим русским князем Олегом. Писал аз, недостойный, как отечестволюбец Димитрий заступил детей своих — славян, и его покровительством русские одолели греков.

Лаврентий покраснел и опустил глаза. Нестор, заметив это, подумал: «Ежели чем-либо бывает потрясён трус, то бледнеет; ежели же — храбрец, то на лице его проступает краска гнева». И не ошибся. Лаврентий поднял глаза, и все увидели не тишайшего мниха, но мужа, с коего можно было писать образ Спаса, рекомого «Ярое око».

— Негоже, брат Нестор, начинать беседу с брани: не затем я пришёл к вам, чтобы слушать словеса неприязни, за коими непременно идут следом некие ковы. Злоба исходит от нечистого и мы, греки, считаем её одним из семи смертных грехов.

— Прости, брат Лаврентий, если я ненароком обидел тебя: видит Бог, не хотел я этого, но мы, славяне, помним святого Димитрия в тех деяниях его, какие угодно было ему явить перед нами. А ведь согласись, брат, что хотя и много было явлено им чудес, однако же большего, чем у стен Царьграда, мы не ведаем.

— Ты изрядный ритор и дискутант, брат Нестор, — ответил афонец, — но сказано в послании святого апостола Иакова: «Бог

не искушается злом и сам не искушает никого, но каждый искушается, увлекаясь и обольщаясь собственною похотью. Похоть же, зачавши, рождает грех, а соделанный грех рождает смерть». И мню я, что ты, брат Нестор, возжелал брани со мною, а я того не хочу, но жажду согласия. И потому не стану отвечать тебе на удар ударом и на упрёк упрёком.

— Ответь, брат Лаврентий, не ударом и не упрёком, но едною лишь правдою, в коей, как известно, греха нет.

— Правда, брат Нестор, в том, что нет её нигде помимо Слова Божия, а его принесли вам, славянам, мы — греки. И от того соизволением Божиим являемся вашими учителями.

— Учитель у нас всех один — Господь, — возразил Нестор, но афонец, будто не расслышав сказанного им, продолжал:

— Отколе же пришла к вам вера? Из Константинополя, который вы не напрасно называете Царьградом. А отколе пришла в вашу обитель божественная благодать? С Афона. Именно оттуда, из Есфигменского монастыря, где обретаюсь и я, скудоумный, пришёл к вам благий муж Антоний, ктитор вашей обители. Преосвященный Антоний, рукоположенный в пресвитеры на Афоне, стал и отцом-основателем и, возможно, будет причислен и к лику святых.

Нестор ответил мгновенно:

— Всё это — истинно так, отче Лаврентий. Только надобно знать, что веру христианскую не принесли к нам греки, а избрал её по доброй воле наш князь, Владимир. Что же относится до Афона, то нельзя не знать, что Афон не подлежал власти константинопольского патриарха, но всегда был под рукою императоров. И, может быть, именно потому Афон чтут у нас более прочих монастырей. Подобно этому и печерская обитель не подлежит власти митрополита, но находится под рукою киевских великих князей.

Но и на эти слова Нестора Лаврентий не отреагировал. Будто ничего не слышал, взялся он за дело с другого конца, говоря:

— До святого крещения был Владимир язычником и варваром, блудником и бесчестным клятвопреступником, а сразу после крещения стал мужем честным и богобоязненным.

На сей раз Нестор пропустил слова афонца мимо ушей и, продолжая свою линию, проговорил:

— Нешто неизвестно тебе, брат Лаврентий, что Владимир подчинил русскую епархию Охридскому патриарху, не желая подчиняться патриарху Константинопольскому?

— Охрида была вельми кратковременной патриархией болгар, крестившихся вслед за царём своим Борисом, крестным отцом которого был наш император Михаил, — быстро ответил

афонец.

— Вот видишь, Лаврентий, — проговорил Нестор назидательно, — как даже в малом начинаем мы отходить друг от друга, называя одни и те же предметы разными именами.

— Объясни, Нестор, не уразумел я, о чём сейчас сказал ты.

— О болгарском патриархате, Лаврентий. Вы, греки, называете его Охридским, и я так назвал его, чтобы не задевать память вашу за живое. Но как мы, славяне, называем его Доростольским, ибо помним, как три месяца осаждал его в 971 году император ваш Иоанн Цимисхий, ополчившийся и на князя нашего Святослава Игоревича, и на союзных нам болгар и угров, как склонил он непокорную главу Святослава и принудил его подписать унизительный для Руси договор. А потом, когда ушёл Святослав из Доростола в Киев и был уже на Днепре, вдруг напали на него печенеги, Бог весть как прознавшие об отходе его из Доростола. И убили Святослава, а печенегский князь повелел сделать из черепа его чашу и пил из неё кумыс и меды, и брашна, похваляясь перед сотрапезниками, сколь славного мужа победил он.

— Злоба всё же ослепила тебя, Нестор, — с видимым сокрушением проговорил Лаврентий, — при чём здесь мы, греки?

— Вестимо мне, что не без вашего пособия узнали обо всём том печенеги, — пояснил Нестор, пристально глядя в глаза собеседнику.

И снова, ещё более сокрушаясь, чем ранее, проговорил афонец тихо:

— Злоба поселилась в сердце твоём, а ведь она есть один из семи смертных грехов, и не подобает христианину допускать её в сердце своё. Вот ты, Нестор, возмущаешься злом, произошедшим полтора века назад, которое никто давным-давно не может устранить, а свою собственную ненависть не только не утишаешь, но всё более и более распаляешь, хотя смирение и добро столь же во власти твоей, как и злое лихо, ибо и то, и другое живёт у тебя в собственном сердце.

И напрасно будешь ты соблюдать обряды, поститься и молиться, если гнездится в голове твоей и в душе твоей лютость. Да к тому же на кого? На единоверных братьев.

Все остальные с интересом следили за спором, порой не понимая того, о чём говорили Лаврентий и Нестор, но чувствуя, что за их словами стоит нечто понятное им одним, представляющее собою неохватную область, называемую греческим словом история.

В ней, как в бескрайнем море, могут плавать только высокоучёные и опытные кормчие, посвящённые в тайны мощных

подводных течений, знающие, где стоят спасительные маяки, а где таятся невидимые другим рифы и мели.

Они чувствовали, что Лаврентий хотел идти от маяка к маяку, а Нестор, напротив, сбивал его с курса, наводя то на одно гиблое место, то на другое. И странно, благорасположение их — не простых непросвещённых смертных, а опытных христианских богословов — было на стороне их собрата Нестора.

Чувствовали это и оба спорщика, но, раз начав, не сходили с тропы соперничества, на которую встали с самого начала. Чем дальше шёл спор, тем более и более горячились они, перескакивая с одного предмета на другой, благо предметов этих было ох как немало.

Лаврентий, держа свой курс, выставлял византийцев вечными и неизменными друзьями славян, в особенности русских, приводя примеры того, как просвещали они Русь и защищали её от многочисленных врагов — иноверцев.

— Греки много помогали русским? — усмехнулся его словам Нестор. — Оставим сие на твоей совести. А вот, пожалуй, брат Лаврентий, послушай, как русские помогали грекам. Ещё в 989 году по Рождеству, Владимир Святославович прислал в Царьград первый русский отряд. И с тех пор помощь русских вашим базилевсам была постоянной. Скажи, за что в 1016 году император ваш, Василий Второй, отдал треть пленных болгар в Киев? За то, что усилия их в войне на стороне византийцев были сопоставимы с долей добычи, им доставшейся. А тремя годами позже, в битве при Каннах, русские побили варягов, сильно докучавших грекам. В 1040 году русские под водительством принца Гаральда, за которого потом была отдана дочь Ярослава Мудрого, вернули императору остров Сицилию, изгнав оттуда варягов.

Лаврентий неожиданно перебил Нестора:

— Какими верными союзниками были русские, ты, видать, знаешь и сам, однако же не говоришь. А может быть, и не знаешь, так я тебе напомню: через семь лет после того Владимир Ярославич неожиданно вступил в Пропонтиду и потребовал баснословный выкуп. Император выступил навстречу сотням их лодок с десятками судов, на коих в изобилии находился греческий огонь, и с Божьей помощью рассеял и сжёг их флот.

— Однако же, — возразил Нестор, — и после этого русские много раз выручали ваших базилевсов, а что до Владимира Ярославича, то не указывал он воевать с кесарем, а случилось то не по соизволению нашего князя, а из-за самоволия воев его.

— Как бы то ни было, — проговорил Лаврентий раздражаясь, — после Алексея Комнина вот уже полвека нет

русских на службе у греков, а место их заступили англы и франки и даже печенеги и сарацины, оказавшиеся не столь вероломными, как русские. И заметь, Нестор, чем дальше отходит Русь от Византии, тем более уязвимой становится она для всяческих антихристианских поползновений и попыток противопоставить себя всем другим народам и племенам.

И если так пойдёт дальше, то станут врагами Руси и язычники, и магометане, и иудеи, и христиане-паписты, и, не дай Бог, даже мы, византийцы, ваши единоверные братья. Ибо не может существовать неистовая в крамоле своей, бунтарская епархия — всего-навсего одна из множества митрополий, которая возносит себя и выше всех старых патриархий, и даже выше вселенской патриархии — Константинопольской.

— А почему Царьград выше Киева? — неожиданно выпалил Нестор. Никого не удивила такая непоследовательность в споре, ибо давно уже господствовали в нём страсти, а истина удалилась от диспутантов, с самого начала накрепко забывших о ней.

— По соизволению Божьему, — тихо и умиротворённо проговорил Лаврентий в манере, присущей ханжам, которых на Руси называли пустосвятами. — Иначе как сие объяснить, если возник он под именем Бизантинума, а в 330 году по Рождеству стал называться Константинополем в честь своего основателя — императора, цесаря Константина, коего по смерти причислили к лику святых, а град его стал Вторым Римом. Константин был главою церковного собора в Арле и двух соборов в Никее.

А когда в августе 476 года по Рождеству язычники взяли и разграбили Рим, то вселенской столицей стал Константинополь. И пребудет он Вторым Римом вечно.

— Дай Бог, — проговорил Нестор, — однако же и Первый Рим был велик и могуществен, но рухнул тоже по воле Всевышнего за грехи людей, населявших его, как погибли Содом и Гоморра. И так как пути Господни неисповедимы, то неизвестно, не появится ли когда-нибудь ещё один, новый Рим.

— Уж не Киев ли то будет? — спросил Лаврентий не без ехидства.

— Будет то, как и ты только что говорил, по соизволению Божьему, а пути его, вестимо, неисповедимы, — вдруг вступил в разговор архимандрит, — и никто не знает, будет ли то Киев или какой другой град.

— Всё в воле Божьей, — примирительно проговорил Лаврентий. — Однако всё сие уповательно, а сегодня надобно всем христианам сплотиться, чтобы поганская рука не высилась над христианами. И самою главною твердыней остаётся ныне вселенский град — Константинополь, воистину Царь всех градов

земли.

— Царь-то он царь, да всякое царство сильно тогда, когда крепки все члены его. Любое царство-государство подобно большой семье: в одной семье — лад и покой, в другой — свары и распри, — возразил Нестор.

Лаврентий молча, но многозначительно поглядел на Нестора, и все поняли, что он спрашивает: «Ну, брат Нестор, скажи, пожалуй, какова же наша семья?»

И Нестор бесстрашно продолжил:

— А наша семья, брат Лаврентий, — та, что со сварами да распрями: у старого и уже немощного отца — много молодых, здоровых сынов, и каждый из них тяготится его властью. А старик не хочет упускать бразды правления из своих уже ослабевших, но ещё достаточно сильных рук и не хочет признавать их равными себе, а они того не терпят. Иные молчат, но в душе негодуют, а другие даже берутся за мечи.

— Император есть цесарь и принцепс, — ответил Лаврентий, — и если попустится он властью, что у него останется?

— Может, так оно и есть, — примиряюще ответил архимандрит, но в делах церкви не след бы быть ему цесарем, ибо сказано: «Цесарю — цесарево, а Богу — божье». Стало быть, не всё под солнцем подвластно царю земному, коему надлежит, помня о царе небесном, видеть и в других земных властителях собратьев да детей своих и быть к ним добрым отцом.

— А в жизни нет того, — вдруг взорвался Нестор. — Хотя бы взять наше княжество и нашу епархию. Да что говорить, возьмём, наприклад, нашу обитель. Здесь ввели мы строгий общежительский устав, коим руководствовались иноки монастыря Фёдора Студита. Тот устав, из-за суровости его, византийские иноки давно перестали исполнять, а мы, ещё неофиты, вчерашние варвары, стали в соблюдении правил монашеских для всех них недосягаемым образцом. Нет! — воскликнул Нестор, — не гордыня говорит устами моими — истина! И что же? Разве признали кого-либо, кроме праведного мужа Феодосия, достойным причисления к лику святых? Нет! Да и про него скажу: ох, какие немалые усилия понадобились нам, чтобы добиться торжества очевидной истины — причисления к лику праведных честного мужа Феодосия, творившего чудеса ещё при жизни! Не хотели вы, греки, чтобы были на Руси свои святые, отвергли и Владимира, крестившего Русь, и Ольгу, — бабку его, первую христианку. Только невинно убиенных, святых мучеников, Бориса да Глеба позволили вы причислить к сонму святых, а Феодосия, скрепя сердце, вписали в синдик лишь через тридцать

пять лет после кончины его. Да и то если бы не нынешний наш великий князь, то и сегодня едва ли поминали бы Феодосия на соборных службах. Скорее всего почти тайно молились бы ему по малым церквушечкам в сёлах да острожках.

— Вот, оказывается, сколь много злобы скопили вы на империю и патриархию, — с глубокой грустью, не то искренней, не то поддельной, произнёс афонец.

Архимандрит, желая положить конец уже не спору, но откровенной сваре учёных братьев, произнёс миротворяще:

— Братия! Гость наш только что с дороги: надобно ему отдохнуть, а нам договориться, как будем мы великую святыню, им принесённую, с торжеством и радостью принимать, какой чин службы сотворим, когда всё сие праздновать станем.

Все согласились, немногословно одобряя слова Феоктиста.

И только Нестор, ещё, видно, не остыв, заключил:

— Много мы с братом Лаврентием говорили, ещё больше переговаривали, да всё без толку. А надобно бы нам об истории Руси и Византии сказать, о базилевсах и наших князьях, о патриархах и митрополитах, о настроениях и приязни, да и о многом ином-прочем.

— Вдругорядь, вдругорядь, — быстро проговорил Феоктист, не желая возобновления спора, в котором брани было намного более, нежели спокойного и достойного отыскания истины.

Лаврентий молча поклонился, соглашаясь с архимандритом. И Нестору тоже ничего другого не осталось, как сделать то же самое.

Не то из-за нелюбия, выявленного с первых часов пребывания его в монастыре, не то от какой иной хвори, до поры до времени притаившейся в бренной его плоти, только брат Лаврентий на другой же день сказался больным. Он лежал в келье монастырской больницы, построенной ещё при Феодосии.

Для странников, приходивших на поклонение мощам преподобного ктитора обители и вдруг занедуживших, был отстроен общежительный госпиталь, а богатым паломникам, пожелавшим оставить в обители вклад, предоставлялись небольшие отдельные кельи. В одной из них и пребывал теперь Лаврентий. Нестор, грешным делом, думал, что афонец заболел мнимо, не желая дальнейшего спора, но монастырский целитель, брат Пантелеймон, сказал ему, что болезнь грека доподлинная и нешуточная — скорбен стал Лаврентий главою, впал в кратковременное беспамятство, а после того онемела у него левая рука, и стал он ещё и коснеть языком.

Нестор, чем становился старше и оттого недужнее, всё более

интересовался врачеванием и из рассказа Пантелеймона понял, что с Лаврентием приключился удар. А удар нередко настигал человека после сильного волнения. Так не был ли он сам, Нестор, причиной внезапной хвори гостя? Промучившись двое суток, пошёл Нестор к больному с повинной головой. Поздоровавшись, подошёл он к постели Лаврентия и смиренно поцеловал ему руку, попросив прощения за недавнюю свою необузданность.

— Бог простит, — проговорил Лаврентий кротко, с трудом выговаривая слова.

«Э, дело его, видать, худо», — подумал Нестор, но сказал другое, памятуя, что святая ложь — во спасение. — Мнилось мне, что плох ты, брат Лаврентий, а вижу, что вскоре встанешь ты с одра и болезнь, Бог даст, минет тебя.

Лаврентий лишь улыбнулся — жалко, криво, потому что удар перекосил лицо ему. Нестору стало очень жаль афонца, и он неожиданно для себя самого выпалил:

— А что, брат Лаврентий, угодно ли тебе прочесть то, что написал я в моей «Повести временных лет»?

Лаврентий подумал недолго и, благодарно улыбнувшись, согласно еле-еле качнул головой.

Святая провозвестница

Вернувшись в келью, Нестор решил дописать об Ольге всё, что знал и считал нужным, с тем, чтобы завтра принести повествование о ней Лаврентию.

Писать осталось немного, ибо всё о жизни её он уже сочинил, осталось лишь сказать о её достоинствах и отдать великой княгине справедливость в последнем слове о ней.

Очинив перо и не ставя на сей раз даты, единым духом выплеснул он на пергамент то, о чём говорило ему собственное сердце:

«Была она предвозвестницей христианской земле, как денница перед солнцем, как заря перед светом. Она ведь сияла, как луна в ночи, так и она светилась среди язычников, как жемчуг в грязи; были тогда люди, загрязнённые грехами, не омыты святым крещением. Эта же омылась в святой купели и сбросила с себя греховные одежды первого человека Адама, и облеклась в нового Адама, то есть Христа. Мы же взываем к ней: «Радуйся, русское познание Бога, начало нашего с ним примирения». Она первая из русских вошла в царство небесное, её и восхваляют сыны русские — свою начинательницу, ибо и по смерти молится она Богу за Русь. Ведь души праведных не умирают; как сказал Соломон: «Веселится народ похваляемому праведнику». Память праведника бессмертна, так как признается он и Богом, и людьми. Здесь же её все люди прославляют, видя, что она лежит много лет, не тронутая тлением, ибо сказал пророк: «Прославляющих меня прославляю». О таких ведь Давид сказал: «В вечной памяти будет праведник, не убоится дурной молвы, готово сердце его уповать на Господа, утверждено сердце его и не дрогнет». Соломон же сказал: «Праведники живут вовеки, награда им от Господа и попечение о них у Всевышнего. Посему получат они царство красоты и венец доброты от руки Господа, ибо он покроет их десницею и защитит их мышцею». Защитил ведь он и эту блаженную Ольгу от врагов и супостата — дьявола».

На следующий день всё написанное им, с того, как пошёл Игорь с дружиной на сбор дани к древлянам, и до последнего куска, где пропел он хвалу Ольге, отнёс Нестор Лаврентию, и тот попросил не оставлять летопись, а частями читать ему, если это будет Нестору угодно.

Нестор понял, что чтение для больного затруднительно, и согласился. Три дня подряд, от заутрени до обедни, читал ему Нестор о деяниях Ольги и Святослава, а Лаврентий,

доброжелательно слушая, дополнял его рассказ тем, что знал сам.

В первый день Лаврентий рассказал Нестору то, что летописцу было уже известно. Афонец утверждал, что Ольга, носившая имя Прекрасы, была царского болгарского рода из стольного города Плиски и восьми лет была просватана за императора Византии Константина Седьмого Багрянородного. Из всего сказанного Нестор не твёрд был лишь в одном — он не знал счета византийским цесарям и числил Багрянородного Константином Пятым.

Но самым ценным указанием грека, сильно смутившим Нестора, было сообщение о том, что в жёны Игорю Ольгу привезли не в 903 году по Рождеству, как он считал, а на добрых тридцать лет позже.

— Подумай, — говорил афонец, — могла ли Ольга родить сына своего, Святослава, через сорок лет после замужества, даже если выдали её за Игоря в десятилетнем возрасте и, стало быть, рожала его в пятьдесят? И если это так, то и сватовство Константина, увидевшего Ольгу в Царьграде, происходило, когда матери Святослава было уже шестьдесят.

Они долго обсуждали, могло ли такое статься, и расстались, так и не придя к единому воззрению.

На следующий день Нестор попытался вызнать у грека то, чего сам не знал. Нестор слышал, что церемонию приёма при дворе Константина Багрянородного описал, кроме византийского императора, ещё и посол итальянского короля Бергарда епископ Лиутпранд. Однако Лаврентий ответил, что записок епископа не читал, а вот сказал ли он Нестору правду или же что-то от него утаил, русский летописец так и не узнал, подумав: «Ох и хитро летописание, и изрядно замысловато, и гораздо затейливо. И вряд ли есть какое-либо иное знание столь опасное, подобное отправленной стреле, кою до поры до времени прячет в колчане коварный лучник. И нет ли чего вредного для византийцев и полезного для славян в писаниях Лиутпранда, как, прочем, и в иных писаниях, которые таим мы друг от друга?»

Когда же стали они подробно обсуждать приём её императором и сватовство его, то Лаврентий вновь поставил Нестора в тупик, сказав:

— Да Бог с ним, что было невесте шестьдесят лет. Дело в ином: император Константин был женат, так как же мог он при живой жене, которая была к тому же вместе с ним на церемонии приёма, делать предложение Ольге?

А вот на том, что Ольга крестилась и что крестным отцом её был сам император Константин, оба инока сошлись без спора, ибо

и византийские документы, и старые русские летописи были согласны друг с другом, наверное потому, что событие это почитали выгодным для обеих сторон и русы, и греки.

На третий день Нестор завёл речь о делах почти ему неизвестных. Он знал, что вскоре после крещения Ольга отправила послов в землю саксов, к их королю Оттону. Оттон долго воевал со славянами, жившими на Лабе, но славяне те были язычниками, а Оттон — христианином. Нестор не мог взять чью-либо сторону: хотя был он славянином, но прежде всего — христианином, и сердце его не могло болеть за поганых язычников, даже и единоплеменных и единокровных.

Нестор ведал, что послы Ольги шли к Оттону с миром и искали с ним союза и что в ответ пришёл в Киев посол Оттона — епископ Адальберт, но за что-то киевляне выгнали его из города.

Он спросил об этом у афонца, и тот снова отговорился незнанием. И снова засомневался Нестор, верить ему или не верить.

И вдруг подумал: «А ведь может быть и так, что не знает Лаврентий о посольстве Ольги к Оттону, а ему, Нестору, лишь мнится, что он злокозненно скрывает от него своё знание, ибо поприще истории подобно полю битвы, где каждый полководец таит от своего противника свой замысел и свои силы, особенно же — засадный полк, ибо история человеков намного темнее воды во облаце, и всякий себе на пользу норовит представить её так, как выгодно его государю, его отечеству, ему самому. А разве может он, простой смертный, или не он, а кто угодно другой, забыть обо всём этом и говорить правду, вопреки своей вере и тому делу, какому служит он всю свою жизнь? Вот говорят: «Служи верой и правдой». И истинно — должно человеку служить Богу и государю и верой и правдой. Так ведь сколько их на земле государей-то — и королей, и князей, и даже императоров, и то — сразу два: один в Царьграде, другой — в Риме. Владык земных много, а правда-то всего одна. Истинно сказано: «Правда — божья». И, видно, иной правды под солнцем нет». И подумав так, решил Нестор всё, только что пришедшее ему на ум, сказать Лаврентию — ведь он был брат ему по вере их и собрат по промыслу: и он, и афонец служили одному делу, как занимаются одним ремеслом ткачи и плотники, оружейники и гончары, муравли и богомазы. Да только тех, кто отыскивает в харатьях и грамотах, в летописях и хрониках давно минувшие события и кончиком пера останавливает их ход, на века запечатлевая на листе рукописи, — таких мастеров ох как мало! — и если и они будут таить друг от друга секреты своего ремесла, то вскоре и сами станут нищими и знаниями и духом, и тем, для кого пишут,

сослужат совсем никудышную службу.

Выслушав его, Лаврентий улыбнулся понимающе и чуть лукаво.

— А вот теперь, брат Нестор, изволь, послушай, что я тебе скажу. Поверь, что об этом не говорил я никому, сокрыв раздумья свои даже от духовного отца моего, ибо и он, исповедник мой, едва ли правильно понял бы меня. А тебе всё скажу как на духу: ты меня поймёшь, потому что посвящён в тайну одного со мной дела.

Я не рассказывал тебе, Нестор, что ещё молодым человеком решил совершить паломничество в Святую землю. Не буду много говорить о том, потому что не в этом главное, хотя всё там и началось. Когда пришёл я в Иерусалим, то от тамошних монахов узнал, что первым иноком почитают они ктитора отшельников, Антония Великого, родившегося через два с половиной века после Вознесения Христова. Я расспросил, где он родился и где совершал свои подвиги. И мне ответили: «Родился он в Египте, в деревне Кома, неподалёку от города Фивы, а первый свой подвиг совершал сначала в гробнице, а потом среди языческих развалин на берегу реки Нил. И прожил он там двадцать лет. А потом пришли к нему ученики, и они-то и стали первыми иноками на Земле.

Я ходил по Вечному городу, а сам мыслями был далеко и от гроба Господня, и от Голгофы, и от иных неисчислимых его святынь. По ночам приходили ко мне светлые мужи и говорили: «Иди, раб Божий Лаврентий, в Египет, иже там обретёшь спокойствие духу своему».

Я знал, что путь неблизок и нелёгок, но в помощь мне было то, что и Спаситель, и Богородица, и Иосиф странствовали по Египту, так почему бы и мне не побывать в той стране? Я выспросил у паломников-христиан, как пройти мне в Фивы, и они сказали о том, и даже пригласили меня идти с ними до города Миср аль-Кахира, который они для кратости называли Каир. Опасности долгого пути страшили меня, и я пошёл с ними, хотя знал, что они нетвёрдые христиане, а отколовшаяся от вселенской церкви частичка всё-таки верующих во Христа египтян-коптов.

— А что это за копты, и в чём их отступничество? — спросил Нестор.

— Они считают Христа не Бого-человеком, а только Богом, но некоторые из них ходят ко гробу Господню, а некоторые более привержены магометанству и стоят в храмах с шапками на головах, однако, как и магометане, снимают сапоги и постолы.

Нестор подумал: «Эка беда — шапка на голове, а ноги босы,

лишь бы Христос был в душе, а Бог он или же ещё и человек, — разве то важно?» Однако промолчал, а Лаврентию сказал:

— Продолжай, брат, дюже занятно всё это: сколько живу, сколько книг перечитал, а всякий раз узнаю нечто новое, диковинное. Воистину, велик Божий мир и несть в нём числа чудесам.

— Ну так слушай. Пришли мы в Миср аль-Кахир, а оттуда по Нилу сплавились в область коптов. Только деревни той, где родился Антоний, уже и в помине не было, да и от гробницы, где он жил отшельником, тоже осталась куча камней. Я пожил возле тех камней недели две. Слушал ночами волчий вой, а днём видел огромных крокодилов, гревшихся на песке под нещадным солнцем. Я живо вообразил, как пребывал он здесь, в гробнице, как прятался потом двадцать лет в камнях, где водятся только гады ползучие да черепахи, где не было жилья человеческого на много стадий вокруг, и не было ни хлеба, ни лекарств, и дал зарок: когда вернусь на Афон, то всё, что смогу об Антонии узнать, непременно узнаю, и всё, что о нём где-либо и кем-либо написано, прочту.

Десять лет собирал я по крохам известия о нём. Чтобы прочесть всё это, выучил я латынь, и наизусть затвердил житие Святого Антония, составленное знавшим преподобного отца епископом Александрийским Афанасием. Кроме этого прочитал я книги блаженного Иеронима, учёных священников-богословов Руфина, Созомена и Сократа, коего часто путают с его однофамильцем, жившим ещё до Рождества Христова.

И вот, собрав всё воедино, написал и я, многогрешный, историю жизни Антония Великого и навсегда запомнил тот день, когда поставил я последнюю точку на последнем листе рукописи. Это было 26 сентября, в день святого евангелиста, апостола Иоанна Богослова. Я занимал тогда малую келийку в надвратной церкви нашего монастыря. И когда кончил писать, с великим облегчением подошёл к окну и поглядел на Божий мир, что лежал предо мною как на ладони. Скажу тебе, что обитель наша стеснена с трёх сторон горами и сама подобна крепости, оттого с высоты надвратной церкви хорошо видна ведущая в наш Есфигменов монастырь дорога. И вот увидел я нескольких богомольцев, которые шли цепочкой, взявшись за пояса друг друга. А впереди их шёл поводырь с клюкой, колченогий и, кажется, не больно хорошо видевший дорогу. Калики шли медленно и остановились у малого родничка, что бил из-под земли, как говорят латиняне, фонтаном.

Здесь стоял монастырский профос, наблюдавший за порядком. А нужно сказать, что в день святого Иоанна Богослова

в обитель всегда приходило много паломников. Слепые окружили фонтан, и я увидел, как вдруг один из них оттолкнул другого и тот упал. Слепые часто бывают злыми, а здесь показались они мне совершеннейшими фуриозами. Упавший вскочил и, не разбирая, где правый, где виноватый, ударил первого, подвернувшегося ему под руку. Завязалась драка, которую профос быстро пресёк, вытащив буяна из свалки и вместе с дюжими помощниками — монахами оттащил его в сторону, а так как тот всё ещё бушевал, отвёл его в холодную. «А что же не забрал он истинного виновника драки, того, который первым толкнул этого несчастного? » — подумал я, но тут же забыл об этом, пока вечером не встретил случайно профоса. А как увидел я нашего стража порядка, то и спросил его, почему не забрал он истинного зачинщика свары и драки.

Профос же вопросу моему удивился и сказал, что никакого другого виновника не было: он сам стоял у фонтана и всё прекрасно видел — слепой сам упал, но подумал, что его толкнули и беспричинно учинил драку.

Я знал профоса как человека спокойного и справедливого. К тому же нельзя было подумать, что он намеренно держит одну сторону в ущерб другой: калики были для него равны и никакой корысти в этом ничтожном деле он не искал. Я же сам видел всё иначе и сказал ему об этом. Профос пожал плечами и ответствовал:

— Достопочтенный отец диакон, какие мне нужны свидетели, если я сам всё видел собственными глазами?

И тогда я подумал, Нестор: «Как же так? Мы, двое, оба честных человека, видели только одно и то же, но совсем по-разному оценили его? А как же я могу на основании обрывков чуть ли не тысячелетней давности судить о том, что было? Да нет, не могу!» И я вернулся в келию и хотел бросить рукопись в печь, но подумал: «А другие пишут хуже». И, смалодушничав, этого не сделал. Вот, Нестор, цена нашему ремеслу.

Нестор промолчал: он был потрясён, ибо рассказанное афонцем было ужасно: оно ставило летописцев и его, Нестора, в ряд лжецов, причём не сиюминутных врунов, а в разряд мастеров лжи на все времена, пока будут читать написанное им.

— Спаси тебя Христос, Лаврентий, спасибо тебе, — взволнованно проговорил Нестор и вышел за порог, обескураженный и потрясённый.

Вскоре после всего случившегося пришёл в монастырь Володарь и был отпущен игуменом на службу к великому князю. Был взят он в младшую дружину, где учились ратному мастерству

дети и отроки.

В марте наступил год 1113-й, а от сотворения мира 6621-й. 19 марта — видать, не к добру — в час пополудни затмилось солнце, и днём стало темно, как ночью. И точно — сразу же после Пасхи сильно заболел Святополк Изяславич и вскоре же преставился. Случилось это 16 апреля, за Вышгородом, и тело его привезли в ладье в Киев.

В конце апреля ушёл на Афон выздоровевший Лаврентий. А через месяц со дня смерти Святополка настало время звать на опустевший Киевский стол нового князя. К тому же началось среди простых людей некое шатание, что всегда перерастает в гилевщину, татьбу, а то и воровство.

И тогда лучшие люди — посадник Путята, архимандрит Прохор, богатые гости да старшие дружинники послали добрых людей в Переяславль, к двоюродному брату Святополка, князю Владимиру Всеволодовичу Мономаху.

Был Мономах великим воином и наделён довольно книжным разумением, слыл среди братии своей — иных князей, сидевших на своих прародительских уделах, — ревнителем единства земли Русской, крепким щитом и острым мечом её.

Было Мономаху о ту пору шестьдесят лет, и за спиной у него было восемьдесят победоносных сражений и множество княжеских съездов, где он, а не великие киевские князья, коих пережил он четверых: Святослава, Изяслава и Всеволода Ярославичей, да в конце ещё и Святополка Изяславича, — так вот, не они, а он, Мономах, имел первый голос, к которому все прислушивались. И потому теперь не было на Руси князя, какой был бы равен ему в уме и доблести, и потому били ему киевляне челом, чтобы пришёл он в Киев и занял трон великого князя.

И Мономах прибыл в Киев в воскресенье, и встретили его митрополит Никифор с епископами, все киевляне с великой честью.

И все были рады, и мятеж улёгся.

К этому времени Нестор довёл свою «Повесть временных лет» до смерти Святополка Изяславича, описав последние события уже не по старым спискам, а как их очевидец и современник.

Приехав в Киев и утвердившись на великокняжеском столе, Мономах с первых же часов занялся множеством дел и только через три года удосужился прочитать «Повесть временных лет», которую усердный диакон Нестор закончил писать за два года до того, как обратил на неё своё внимание Великий Киевский князь.

Черноризец Нестор умер в 1114 году, пережив Святополка Изяславича всего на один год. Было ему тогда пятьдесят восемь лет — возраст по тем временам весьма почтенный.

Летопись Нестора лежала среди других манускриптов никем не тревожимая, пока Владимир Мономах — великий книгочей, не чуравшийся и писания собственных книг, не взялся за неё. А когда начал листать рукопись, то с удивлением и неприязнью прочитал панегирики Нестора о своём долголетнем сопернике Святополке, коего высокоумный летописец ставил в пример ему, Владимиру Мономаху, и этого было довольно, чтобы он повелел отобрать у старика-черноризца его труд и отдать «Повесть» в Михайлов-Вырубецкий монастырь, игумен которого смотрел из его рук и никогда не стал бы прославлять кого бы то ни было, кроме него самого.

В 1116 году по Рождеству, когда получил Сильвестр Нестерову «Повесть», он переписал её до 1110 года, а события самых последних шести лет описал заново, оставив от старого текста лишь незначительные куски.

В 1119 году был Сильвестр рукоположен в епископы и занял кафедру в Переяславле, бывшем тогда третьим по величине и богатству городом Руси после Киева и Великого Новгорода.

Умер Сильвестр в начале 1123 года, доведя летопись до последних дней своей жизни.

С тех пор прошло более восьми веков, но ни одно сочинение по древней русской истории не было написано без использования труда Нестора и Сильвестра. Использовано было каждое слово, сказанное о Великой Киевской княгине Ольге.

ЕЛЕНА ГЛИНСКАЯ, МАТЬ ИВАНА ГРОЗНОГО

В трудный час для земли Российской легла на женские плечи Елены Глинской ответственность за судьбу государства. Страх, что же будет после безвременной кончины Василия III, волновал души подданных. Никогда Россия не имела столь малолетнего властителя, никогда — если исключить древнюю, почти баснословную Ольгу — не видала своего кормила государственного в руках юной жены и чужеземки литовского ненавистного рода. Опасались Елениной неопытности, естественных слабостей, пристрастия к Глинским, коих имя напоминало измену, — свидетельствовал Н. М. Карамзин.

О том, как складывалась судьба Елены Глинской, которую многие не раз сравнивали с супругой князя Игоря — великой княгиней Ольгой, мы и расскажем в предлагаемой повести.

Туровский заговор

1508 год начался тёплыми ветрами, звонким крошевом рушащихся сосулек, ломким хрустом оседающего наста.

Вскоре после Рождества Великий князь литовский Сигизмунд Казимирович уехал из Вильнюса в Краков на коронацию, после которой Литва и Польша должны были вновь соединиться под одним скипетром, ибо на коронации в Кракове добавлял он к титулу Великого князя Литовского и титул короля Польши.

Когда весть о том, ещё задолго до отъезда Сигизмунда Казимировича в Краков, дошла до Турова — невеликого городка, спрятавшегося в болотах Полесья, владелец замка, города и всех окрестных земель, можновладец и бывший вельможа, высокородный князь Михаил Львович Глинский, совсем недавно блиставший и при дворе императора Священной Римской империи Максимилиана I, и в Париже, и в Риме, сильно запечалился. И пребывая в сугубой меланхолии, в задумчивой тоске, а порою даже впадая и в смертный грех — уныние, вспомнил он событие, случившееся всего семь лет назад. Перед мысленным взором его предстал осиянный тысячью свечей собор, увидел он одетых в парчу и золото сотни знатнейших персон из Литвы и Польши, роящихся у подножия трона, и самого себя, стоящего рядом с ныне покойным королём и великим князем Александром Казимировичем, себя — единственного, кто олицетворял на коронации всех литовских дворян и кому было позволено стоять не в зале собора, а прямо возле короля, как если бы он, Глинский, был его братом или сыном.

А теперь затерялся он в глуши пинских болот, и другие теснились у трона нового короля, другие ждали милостей и наград, но не он, Глинский, вчерашний щит и меч королевства!

«Неловко будет сидеть тебе между двумя тронами, — подумал Глинский, переполняясь злобой к Сигизмунду. — Довольно будет с тебя и одного». И — в который уже раз! — вернулся к потаённейшей из тайн: вновь стал прикидывать, как всегда делал перед каждым сражением, хватит ли у него сил отобрать у Сигизмунда Виленский стол?

«На Москву и на Крым надеяться можно: по весне и Василий, и Гирей выведут своих воинов в поле. На волохов надежда слабая, да и не в них дело. Ближе всех — Орден тевтонов. Если и Изенбург сдержит слово, то против таких сил Сигизмунду не устоять».

И от дерзких замыслов перехватывало дыхание и кругом шла

голова.

Устав от беспрестанных дум об одном и том же, уходил Михаил Львович в книгоположницу. Тихо вздыхая, листал древних мудрецов.

«Людям, решившимся действовать, — советовал ему Геродот, — обыкновенно бывают удачи; напротив, — предостерегал старый грек, — они редко удаются людям, которые только и занимаются тем, что взвешивают и мерят».

Геродоту возражал мудрец и странник Демокрит: «Лучше думать перед тем, как действовать, чем потом».

Глинский читал, думал, прикидывал. На третий день наконец решился. Позвал управителя своего — Панкрата, коего шутя называл «майордомом Пантократором», и велел разослать по округе холопов — звать гостей.

«Послушаем, что люди скажут, — думал Михаил Львович. Где народ увидит, там и Бог услышит. Если они готовы, то и за мной дело не станет».

А пока решил придать затее видимость простой встречи со старыми друзьями, благо в январе один праздник сменял другой и совсем уж на носу было Крещенье.

Полесские помещики, засидевшиеся в своих деревеньках, отозвались на зов Михаила Львовича с готовностью. Рады были приглашению и местные малые, и обедневшие, хотя и высокородные, мужи — князья и их многочисленные отпрыски и челядинцы.

Трёх дней не прошло — гостей у князя Михаила оказались полны и дом и двор.

Встречал их Глинский как родных, для всякого нашёл душевное слово, любого-каждого обласкал и обогрел.

На Крещенье начался в Турове великий праздник. Не только гости — все мещане со чады и домочадцы, да и прочий градской люд, были взысканы щедротами и милостями хозяина. Утром 19 января княжеские слуги выкатили и к православной церкви, и к католическому костёлу по двенадцати бочек вина. Туда же притащили в корзинах, плетёнках, кошницах, на холстинах, на рогожах горы мяса и рыбы, пирожков и хлебов, солений и варений.

Панкрату князь строго наказал следить, чтоб всего было довольно, а буде чего не станет — вина ли, яств ли — добавлять тот же час вдоволь, чтоб всякому было и сыто и пьяно.

В помощь Панкрату отряжены были молодые холопы и казаки — глядеть, чтоб не было у церкви и костёла буйства, чтоб неумеренных питухов разводили бы с миром по домам.

На поварне и во дворе у Михаила Львовича крутилось

целыми днями столько народу — не сосчитать.

Утро в Крещенье выдалось ясное, чистое. Высыпавшие на улицы туровчане крестились, радовались, обменивались мнениями:

— Глянь-ко, небо-то какое ныне — синее да высокое.

— Молитесь, православные, истинно сказано: коли перед крещенской заутреней небо чистое, то молитва до Господа дойдёт, и ни за какой облак не зацепится, и о чём попросишь, то и сбудется.

Многие, ещё не дойдя до церкви, уже просили у спасителя кому что было потребно.

Заутреню князь Михаил вместе с братьями Василием и Иваном, со всеми гостями и домочадцами, истово отстоял в храме. Молился жарко, коленопреклонённо. Низко клал поклоны, перецеловал чуть ли не все образа, когда же повернулся к народу, чтоб из храма пойти, все видели: у князюшки от благостного молитвенного умиления по щекам слёзы текли.

В народе шептались:

— Слышь, иные брехали, что князь наш греческий закон оставил и в католическую папёжскую веру перешёл. А он, гляди-ка, с нами, с православными, в нашем храме-то службу отстоял.

К двери Михаил Львович шёл благолепно, тихо, ни одной старухи не коснувшись полой бархатного охабня.

На паперти нищую братию оделил по-царски. Нищие загомонили громко, возликовали. Теснились у ног благодетеля, кричали:

— Спаси тебя Богородица, орёл наш сильный!

— Многая тебе лета, солнце красное, князь Михайла Львович!

Нищеброды хватали Михаила Львовича за ноги, касались губами сапог, целовали полы охабня.

Возле бочек с вином, у снеди, крутились ничтожные, пытались урвать кусок.

Принарядившиеся холопы, не подпуская, покрикивали:

— Осади назад, бояре! Не пора ещё к столу звать!

— Когда ж, ирод, пора-то будет? — слезливо выспрашивали жаждущие. Сказано ведь: в праздник и у воробья — пиво!

— После Иордани милости просим, воробьи залётные!

— До Иордани-то дух испустим, ждавши да жаждавши.

— Более ждали — подождёте.

Михаил Львович глянул на кучку оборванцев, сверкнул каменьем на перстнях:

— Дай им по глотку, Панкрат. А уж остальное — после Иордани.

Ничтожные возликовали.

Панкрат, недовольный, тыкал каждому в морду кружку, закусить не давал — не было на то хозяйского указа: сказано — по глотку, по глотку и дадено.

После заутрени народ повалил от церкви к реке: свершать над прорубью главное действо — поминать Иоанна Крестителя, иже приобщил святых таинств самого Спасителя. А как сошли к воде, увидели: туман стоит над Припятью, и прорубь полна. Вдруг набежала хмарь и пошёл снег — густой, пушистый.

— Ну и дела! — ахали все.

Старики крутили головами, божились:

— Ей-богу, сколь живём, не упомним такого: все приметы к урожаю.

— И всю ночь нынче собаки брехали, — добавляли иные. — К хорошей охоте это, много зверя будет в лесу.

Отслужив молебен у воды, пошли праздновать.

Веселье шло по всему городу и даже выплёскивало за его пределы. Веселились не только в замке и на площади у собора — «на Владычье». Ряженые парни и молодайки, пунцовые от мороза ребятишки плясали да играли и в княжеской дубраве, и вокруг загородного дворца Глинских, что стоял в княжеской дубраве: лес в ней был отменно красив, в загонах бродили медведи, лоси, туры, меж дерев стояли железные клетки, в клетках суетились и волки, и белки, и лисицы, а уж зайцев, барсуков и прочей мелкой живности было не перечесть.

Михаил Львович на площади у церковной паперти вместе со всеми выкушал чарку медовухи и, низко поклонившись обществу, пеший двинулся к себе на двор. Рядом с ним, прихрамывая, шёл белоглазый немец Христофор Шляйниц, тень его, телохранитель, преданный князю как собака. За ними степенно и важно шествовали другие гости: князья Иван Озерецкий, Михаил Гагин, Жижемские Дмитрий и Василий да дворян с полсотни, а то и поболе.

А как расселись все за столами, то и в самой большой горнице замка стало тесно.

Михаил Львович гостей обласкивал взором, привечал учтивою речью.

Пока мало выпили, рассказывал о юности своей, о дальних странствиях по Гишпании, по Франкской земле, о житье-бытье в Болонье, в Риме, в иных городах и землях. О многом рассказывал, однако о перемене веры, о чём многие туровчане болтали, и словом не обмолвился.

Об обидах своих, о делах государственных речей не заводил и других тотчас же на иные разговоры переводил, если кто о таком

что-либо пытался помянуть.

— Сегодня у нас праздник, други мои, пейте, гуляйте, думайте о хорошем — весела дума осветляет сердце.

А сам, и за столом, и после застолья, с каждым поодиночке не по одному разу переговорил, и как-то так вышло, что хоть и не держал возле себя князь никого, никто со двора его не съезжал: жили и два дня, и три, и четыре.

Собирались с утра, сидели за столом дотемна, и уж каждый перед всеми — за четыре-то дня всё, что было на сердце, сумел не раз до донышка высказать и сотоварищам представить.

И получалось, хоть люди все разные — и возрастом, и достатком, и званием, а есть у всех одно общее: обида на панов-католиков и на католика-короля, которые позастили православным все пути-дороги и не дают из-за веры их и из-за русского православного происхождения никакого им хода.

Случилось так, что утром 20 января, как раз в тот день, когда на голову Сигизмунда была возложена корона Польши, друзья Михаила Львовича решили, что польского трона для Сигизмунда Казимировича вполне довольно, а на литовский трон может найтись и более достойный претендент. Михаил Львович молчал, подперев щёку рукой, будто мнения, звучавшие за столом, его и вовсе не задевали. А между тем весь день разговор только и шёл, что о нынешнем короле и о королях минувших. Как и всегда, нынешний монарх был, по мнению собравшихся, намного хуже своих предшественников, хотя, видит Бог, и среди тех, кто был до него, всякие попадались — и грозные, и свирепые, и глупые, и жадные. Но жадный, хотя кроме того был и глуп, однако же свирепостью превосходил всех, а другой — глупый, хотя и расточителен был, но зато уж грозен как никто. А всё выдающееся, хотя бы и уродливое, низким душам во все времена весьма нравилось.

Сигизмунд же пока что особой свирепости не проявил и щедрости большой не выказал, да и откуда она могла у Сигизмунда проявиться, когда он ещё два года назад ходил в штопаных чулках и мечтал о приглашении на обед к какому-нибудь придворному или богачу-потентату?

— Александр Казимирович, — сказал князь Дмитрий Жижемский, — ничего без совета с народом не делал.

Гости поглядели на Михаила Львовича. Глинский, опечалив очи, согласно кивнул: так де и было — ничего без совета с народом, со мною то есть, что, конечно, одно и то же, — не делал.

— А ведь недаром говорится, — продолжал князь Дмитрий: — «Царь думает, а народ ведает». Только Сигизмунду о том, что мы, народ, ведаем, зачем знать?

— Много нагрешил Сигизмунд против нас, ох много! — согласно добавил преосвященный отец Василий, соборный протопоп, обедавший у Михаила Львовича вместе со всеми. — А ведь сказано: «Народ согрешит — царь умолит, царь согрешит — народ не умолит». Только забыл Сигизмунд, что и он под небесным царём ходит!

После этого заговорили все враз, каждый хотел свою боль и свою правду высказать раньше другого и так, чтоб все услышали.

Шляйниц, сидя на противоположном от Михаила Львовича конце стола, поглядывая по сторонам, хотя и помалкивал, однако же ко всему прислушивался и всё на ус мотал.

Выбрав подходящую минуту, когда в застолье стало чуть тише, промолвил печально и тихо:

— Позвольте, господа честные, и мне слово молвить.

Гости, зная, сколь близок немец к Михаилу Львовичу, враз замолчали.

— Я есть, господа, чужой человек из земли Саксония. Я много ездил, господа, много видел. Видел разный страна, разный городы, разный народы. Смотрел, как они живут. Рассказывал, как живут православные люди в Польском королевстве и Литовском княжестве. Говорил — обижают русских, обижают белорусов — многие не верить мне: «Так не может быть, Христофор. Белые руссы есть храбрые и смелые люди, они не будут терпеть такая обида». Я говорил: «Я есть чужой человек, я и сам не могу понимать, почему все они это терпят?»

Гости злобно сопели, раздувая ноздри, и, слушая немца, не заметили, как, почти касаясь головой нижнего края образов, встал хозяин — большой, дородный, красивый. Увидев, замолкли.

Михаил Львович держал у плеча тускло поблескивавший венецианского стекла в кованом золоте кубок. Глядел сурово, властно.

— Ну что, други мои и товарищи, — сказал он глухо. — Говорили о том тайно, хоронясь в домах своих, друг от друга розно. Теперь здесь о том же скопом погомонили. А жить и дале станем, как вчера жили?

— Не будем! Не станем! Подымай нас, Михаил Львович! Веди нас! — закричали все, кто был в застолье. — Ты ни одной битвы не проиграл! А было их не менее трёх десятков!

— Нешто у схизматиков шеи крепче, чем у татар? — воскликнул старый рубака князь Иван Озерецкий.

Шляйниц сидел затаившись, прикрыв глаза ладонью.

Глинский полыхнул очами, единым духом осушил венецейский кубок. Десятки серебряных чар стукнулись враз, будто не шестьдесят человек сдвинули чаши, а двое закадычных

друзей стукнулись кубками в сердечной здравице, не побоявшись расплескать вина.

Близко к полуночи, когда почти все гости поразъехались, в опочивальню к Михаилу Львовичу пришёл брат его — Василий.

Михаил Львович сидел в спальне со Шляйницем сам-друг.

Увидев Василия, Шляйниц встал, собираясь уйти.

— Сиди! — жестом остановил его Михаил Львович.

Василий знал, что Шляйниц Михаилу Львовичу ближе всех и во многом роднее брата. Потому и решил говорить обо всём откровенно.

— Послушай, Миша, — несмело начал робкий подслеповатый Василий, — я пошёл было спать, да что-то ворочался-ворочался, а сон нейдёт.

— Хошь, чтоб я тебе колыбельную спел? — спросил Михаил Львович зло. — Так понапрасну пришёл. Пусть их тебе твоя Анна поёт.

Василий стоял молча, не зная, что ему делать, и даже не решаясь без приглашения сесть на лавку.

— Ты, Миша, на меня не серчай, — продолжал так же робко Василий, — я ведь не со злом к тебе пришёл. Родной я тебе брат, поди, одна ж кровь-то — Глинские.

— Ну говори, не тяни, — оборвал Василия Михаил Львович.

Набравшись духу, Василий выпалил:

— Боюсь я затейки твоей, Миша. Ведь это же бунт. А за бунт знаешь что бывает?

— Дурак ты, Василий, — произнёс Михаил Львович безо всякого зла, с бесконечной усталостью ли, досадой ли. — Какой же это бунт? Разве мы холопы? Бунт — это когда воры скопом на законную власть ополчаются. А я супротив короля Сигизмунда войной иду, как государь идёт на государя. Я и до того не к холопам за подмогой обращался, не у мужиков искал суда и правды — у венценосцев. И лишь когда Сигизмунд меня слушать не захотел, а старший его брат венгерский король Владислав в нашу распрю встревать отказался, только тогда я попросил помощи у других — у крымского хана, у московского царя, у волошского господаря, у Великого магистра Тевтонского ордена, у императора Максимилиана, у многих моих единоплеменников благородной крови. Вот так, брат мой Василий.

И, сощурив глаза, сказал коротко и жёстко:

— Да я и сейчас уже — государь. А не добуду литовский трон — здесь в Полесье, в Белой Руси установлю свою власть, своё государство. Для всех людей, коим худо под рукой Сигизмунда, будет прибежищем и оплотом их вольности то моё

государство.

Встав с лавки, Михаил Львович повернулся к образам, истово перекрестился, проговорил сильно и звонко:

— Переполнилась чаша терпения моего, Господи. Не о милости ко мне прошу я тебя, небесный владыка наш, но о справедливости и помощи. Пошли мне одоление на супостатов и благослови меч мой!

И так это произнёс, будто не втроём они были в тесной спалённой горенке, а в церкви стояли при великом многолюдстве единомышленников.

Василий с жалостью взглянул на брата и, будто не слыша тех бесстрашных и гордых, но бесконечно опасных слов, осторожно присел на краешек скамьи. Сунул ладони промеж колен, проговорил в противовес Михаилу Львовичу очень уж по-домашнему, словно не князь спорит с князем, а старуха малолеткам сказку сказывает:

— А я сижу вот и думаю: «Чего это тебе, Миша, с малолетства вечно всего не хватает? Где-то ты только не побывал, чего-то ты только не повидал, чего только не имел — и всё неймётся! Подавай тебе жар-птицу, да и только. А теперь вон что надумал — трон заиметь! Ты ли первый того возжелал, Миша? Только не бывало такого, чтобы трон помимо законного государя кто-либо брал, хотя бы законный король и вовсе негожим был.

— Ну и ходи под негожим дальше, — сказал Михаил Львович, зло хмыкнув, — а мне зачем велишь?

— Не в тебе дело, Миша, — примиряюще продолжал Василий. — Ты об нас подумал бы, обо мне, твоём брате, о жене моей, о детях моих малых — племянниках твоих, а их у меня, слава Богу, пятеро. Им-то каково будет, когда лишимся всего. Если уж тебе меня и Анну не жаль, и всё равно, что станется с Марией, Юрием да Иваном, то ты хоть любимицу свою Елену и Мишу пожалей, коего мы с Анною в твою честь нарекли.

Михаил Львович поглядел на брата. Перед ним сидел сутулый узкоплечий мужичонка, голова у него была маленькая, по приплюснутому плоскому затылку на тонкую бледную шею спускались редкие волосы неопределённого цвета.

Михаил Львович представил себе маленькую Олесю, Олёнку, свет очей, ненаглядную красу, ангела в образе малого дитяти, и сердце его впервые сжалось от жалости и тревоги за неё и за всех них — Глинских — родную кровь его.

Ему отчего-то представилась бесконечная залитая дождями дорога, вереница тряских телег, печальные носатые вороны, мокнущие на пустых ещё полях, покрытых серым жнивьём и грязными лохмотьями подтаявшего снега. А в телегах,

примерещилось ему, сидит он сам, Михаил Львович, братья его — Василий да Иван, племянники и племянницы.

«Племянники, — про себя проговорил Михаил Львович, будто сладкую ягоду на языке покатал. — Племянники — племя, племя моё».

И перевёл глаза на киот. Скорбно и жалостливо глядела на него Божья матерь.

«Так вот почему зовут эту икону «Утоли мои печали», — вдруг подумал Михаил Львович, и снова перевёл глаза на Василия. А тот сидел не шевелясь и ждал, должно быть, что скажет ему старший брат.

— Иди, Вася, спать, — проговорил Михаил Львович мягко. — Утро вечера мудренее. А ежели страшишься, то к делу моему не приставай.

Василий встал, шаркая подошвами обрезанных валенок, пошёл к двери.

Перед тем как выйти — обернулся. Хотел что-то сказать, но только вздохнул, вяло мазнул бессильно висевшей рукой и, ссутулившись ещё больше, молча вышел.

Война

Первым из Турова вышел конный отряд Шляйница. Сторонники Глинского только ещё собирали в ближайшей округе повстанческие ватажки, а Шляйниц уже подходил к Гродно. Сколь ни был он близок к Михаилу Львовичу, но никому не веривший князь приставил к нему своего тайного соглядатая Николку по прозвищу Волчонок.

Семь сотен отчаянных головорезов вёл саксонец в набег, и ни один из них не знал, куда они скачут и кого ищут. Шляйниц знал. Он вёл отряд в имение Заберезинского, и интересовал его сам хозяин Ян Юрьевич.

— Привези мне Заберезинского, Христофор, — сказал Глинский Шляйницу, отправляя его в путь. — Он нужен мне.

— Привезу, князь, — отрубил саксонец.

Весть о стремительном продвижении повстанцев опережала отряд. Расположенная к Заберезинскому шляхта исчезала их своих имений быстрее, чем при появлении Орды.

Отряд Шляйница мчался через пустые имения, не встречая никого, кроме лесорубов, углежогов да хуторян-пахарей.

А в Туров со всех концов Великого Литовского княжества и из многих порубежных государств мчались гонцы и послы: с письмами, грамотами, посулами помощи. Все враги Речи Посполитой с надеждой воззрились на Туров, где внезапно закипели такие страсти — не приведи Господь!

Среди прочих именитых гостей наборзе примчался и посол Сигизмунда Казимировича — королевский дворянин Ян Костевич, муж смелый, прямой, однако же не весьма далёкий умом.

Едва ли не с седла стал требовать свидания с Михаилом Львовичем, напирая на то, что он — посол самого короля.

Брат Михаила Львовича — Иван, из-за скуластости и узкоглазия прозванный Мамаем, втолковывал простодушному Яну, как если бы тот был не королевский посол, а недоросль из лесной деревни:

— Ты, Ян, пойми: Михаил Львович — божьей милостью урождённый князь и благородством не уступит твоему королю. И он ныне в своём панстве государь. И ты у него не один таков. Ждут его лицо, видать, многие послы: и от крымского царя, и от царя московского, и от многих иных властителей доброродные люди.

Ян Костевич кричал попросту:

— Ты, Мамай, брата своего с королём не равняй! И меня с

иными послами не путай! Я от его милости Сигизмунда Казимировича с любовью и миром, а с чем иные люди сюда понаехали, того я не знаю!

Иван снова повторял пану Яну то же самое. Костевич твердил своё.

Ни о чём не договорившись, разобиженный вконец пан Костевич съехал со двора и стал ждать.

Михаил Львович, собрав самых ближних — братьев Василия да Ивана, князей Жижемских и Озерецких, зятя своего Якуба Ивашенцева, — говорил раздумчиво:

— Послов в Туров понаехало довольно. Однако же, господа, посол — не полк и не тумен: в поле с ним не выйдешь. А когда обещанные царём и ханом войска поспеют, того я не ведаю. И потому сейчас надобно нам ждать и с Сигизмундом сколь можно долго большой брани не затевать. Ежели король нас упредит и выйдет против нас со всеми силами, то мы войну проиграем, не начав. И потому, говорю вам снова, сейчас главное не озлоблять короля напрасно и не ввязываться в войну с ним, прежде чем соберём все наши силы воедино.

А с Яном Костевичем завтра с утра я начну переговаривать о мире и ждать своего часа.

— Верно говоришь, брат, верно, — первым откликнулся Василий, остальные загомонили, соглашаясь.

Вдруг в дверь покоя постучали. Михаил Львович, недоумевая, приподнял брови: строго велел никого к нему не впускать, и любому, кто бы он ни был, — ждать конца совета.

Подумав немного, никому не велел спросить, кто там — за дверью. Встал сам и грузно, неспешно, пошёл к двери. Чуть приоткрыв, глянул в соседний покой. У порога стоял Пиколка — грязный, потный, худой. Видно было, что скакал напролёт дни и ночи.

Наклонившись к уху Николки, Глинский спросил еле слышно:

— Чего стряслось?

Николка выдохнул хриплым шёпотом:

— Христофор Заберезинского убил.

Михаил Львович на мгновение припал головой к дверной притолоке, закрыл глаза. Выдохнул глухо:

— Иди, Николка, ступай, отдохни с дороги.

Закрыв дверь, Михаил Львович неспешно прошёл на своё место. Сел, сложив на краю стола большие сильные руки. Сказал тихо:

— За минуту меняется судьба человека и даже целого государства. Минуту назад выходил я отсюда мироносцем,

вернулся непримиримым воителем. Надобно всем нам думать теперь о войне скорой и беспощадной.

— Что случилось?! О чём узнал, Михайла Львович?! Что сталося?! — наперебой заговорили собравшиеся.

Михаил Львович думал: «Сказать или нет?» Решил — скажу. Всё одно — самое большее завтра утром об этом будут знать все.

— Убили Заберезинского, — сказал Глинский твёрдо и громко. — Теперь скорой войны не миновать. Не простит мне этого король. Хотя, видит Бог, смерти Яна Юрьевича я не хотел.

И, встав, махнул рукой — идите, мол, потом призову.

И начал Михаил Львович — который уж раз в жизни — великий и неустанный ратный труд. Заканчивая дело, тут же брался за второе, продолжая третье и пятое, и десятое. Между делами ежечасно укреплял дух своих сообщников, показывая им, сколь много союзных государей шлют своих послов к нему в Туров.

Особенно же пышно принимал Глинский московского посла Никиту Семёновича Моклокова — Губу.

Никита Семёнович за пиршественным столом сидел по правую руку от хозяина. Брал яства с одного с Глинским блюда. Когда что-нибудь говорил, хозяин почтительно замолкал. Моклоков же, поднаторевший в посольствах умелец, басил, скромно опустив очи:

— То не мне, малому человечишке, честь, то пресветлому моему государю Василию Ивановичу честь. И за то тебе, князь Михаил Львович, государь мой воздаст сторицею. И если ты, и братие твоя, и все православные христиане из Литовской земли, под его высокую государеву руку пойти захотите, то он, государь Василий Иванович, милость вам окажет и вас, православных христиан, под его высокую руку принять повелит.

Глинский в ответ благодарил за честь, заверяя в верности прародительской православной апостольской вере, но о переходе под высокую государеву руку пока что ничего не говорил.

Может, знал, ратоборец, что рука у Василия Ивановича не только высока, но и тяжела.

Губа, заласканный и задаренный, уехал в Москву. Перед отъездом сказал Глинскому:

— В следующую пятницу велит государь великим воеводам Якову Захарьичу да Даниилу Васильевичу Щене идти к тебе, князь, на подмогу. И ты, зная то, делал бы своё дело честно и грозно. И супротив Сигизмунда-короля выступал бы со всем замышлением.

«Вот теперь-то и начнётся настоящая война», — подумал

Михаил Львович. И от такой мысли у него на душе почему-то стало тревожно и нехорошо, будто не сам он к этому шёл и не этого же больше всего хотел.

10 марта 1508 года пятидесятитысячная русская армия вышла из Москвы и двинулась к Можайску. Медленно шагали пешие ратники, неспешно двигались конные, тяжко катились многовёрстные войсковые обозы.

За Вязьмой, почитай в ста с небольшим вёрстах от Москвы, находилась граница Литовская, а Смоленск, к коему они и шли, был дальней зарубежной крепостью.

Когда армия Якова Захарьича вышла из Можайска, с севера, от Великих Лук, двинулся к Полоцку с новгородскими полками старый и многоопытный воевода Даниил Щеня. И одновременно с юга из Северской земли пошёл на помощь Глинскому двоюродный брат Великого Московского князя Василий Иванович Шемячич.

12 марта легкоконный отряд князя Александра Фёдоровича Олёнки — Алебышева, обогнав ещё у самой Москвы улитой ползущую армию воеводы Якова Захарьича, на рысях влетел в Туров.

А литовского посла Альбрехта Мартыновича Гаштольда всё ещё не было.

Михаил Львович, обняв при встрече князя Олёнку, сказал шутливо:

— Вот и собрались мы, князь Александр Фёдорович, в самое что ни есть соборное воскресенье, собором всех православных земель латынскую сигизмундову власть порушить.

А оказавшийся при встрече протопоп Власий завершил:

— Собрались, и с Богом! Чего угодное Богу дело откладывать?

Михаил Львович так на попа зыркнул — у того и язык отнялся.

Всё же через три дня Глинские пошли воевать: сам Михайла Львович с братом Иваном отправился к Мозырю, Василия послал под Киев — велел забрать для начала Житомир и Овруч, а московские воеводы — все враз — потянулись к Смоленску, отвлекая на себя главные королевские силы. Война началась всерьёз. И Михаил Львович почал своё дело супротив «полячишки Сигизмундишки» с самого начала делать со всем замышлением и к городам его приступать накрепко, и землю его жечь и зорить.

В начале марта 1508 года перед Михаилом Львовичем отворил ворота Мозырь. Успех объяснялся просто — воеводой в Мозыре был его зять Якуб Ивашенцев.

Сразу же в Мозырь повалили послы. Никита Семёнович Моклоков — Губа, приехав из Москвы, сообщил Михаилу Львовичу, что государь щедрою рукой дарует ему — Глинскому — все земли и города, которые он отобьёт у Сигизмунда. Михаил Львович, скрыв усмешечку, низко поклонился послу и сердечно поблагодарил государя.

В начале апреля сдался Клецк. И здесь дело обошлось без крови: ворота города открыли мужики — землерои, коих князь два года назад избавил от татарской неволи, отправив с поля предстоящего сражения.

Когда Глинский взял Клецк, туда наборзе примчались и молдавский посол и крымский. Хан обещал Михаилу Львовичу ещё большую милость, чем московский великий князь.

— Царь Гирей, — сказал посол, — дарит тебе, князь Глинский, Киев. И как только Киев возьмёшь, то этим городом и будешь по его царской милости править.

Услышав это, Михаил Львович подумал:

«Так бы и я мог Василию да Гирею Варшаву и Вильнюс подарить. Да только далеко до этих городов, как им, так и мне».

А в это время отряды повстанцев рассеялись по огромной территории, запалив мятеж чуть ли не на половине Великого княжества Литовского.

Под Оршей, под Житомиром, под Овручем, у Слуцка и Минска бились повстанческие отряды, ожидая обещанной русским царём подмоги. Однако, как ни велики были силы восставших, города затворились накрепко и более ни одной крепостицы мятежный князь взять не мог, ибо московские полки, хотя и направились к Смоленску в начале марта, пока ещё шли неведомо где.

Целый день заседал в Клёцке военный совет. Вместе с военачальниками сидел за столом и московский думный дьяк Иван Юрьевич Поджогин — Шигона, человек ещё молодой, незнатный, но уже входивший при государе в большую силу.

Воинники, глядя на большой чертёж государства Литовского, постеленный на столе разноцветной скатертью, водили по нему перстами, шумно дышали, спорили до хрипоты.

Иван Юрьевич сидел бессловесно, только очами посверкивал, поворачивая большую голову на тонкой шее то вправо, то влево.

Главный ратоборец, князь Михаил Львович, тоже сидел молча, уперев подбородок в кулак.

К обеду, дав высказаться каждому из советчиков, Михаил Львович взял слово сам:

— Слушал я вас чуть ли не полдня. Теперь меня

послушайте. Силы наши, — Михаил Львович плавным движением руки очертил над столом большой круг, — отстоят друг от друга на двести и на триста вёрст. И бьём мы по супостатам сразу в пяти местах. Это как если б ввязался я в драку с пятью меня слабейшими, но каждого пытался бы сбить одним перстом.

Для убедительности Михаил Львович протянул над столом руку и широко растопырил пальцы.

— А врага надобно бить кулаком! — И Михаил Львович пальцы собрал в кулак. — Посему отовсюду станем силы наши стягивать в одно место — под Минск.

— Почему под Минск? — спросил брат Михаила Львовича Иван.

— Потому что там стоят полки Василия Ивановича Шемячича, и вместе с ними мы сначала возьмём Минск, а потом пойдём на Вильнюс.

Сказав это, Глинский покосился на Ивана Юрьевича.

Поджогин, перехватив взгляд Глинского, скромно заметил:

— Я, князь, не воин. Решать здесь всем вам соборно или же тебе одному, как у вас то по обычаям вашим заведено.

Михаил Львович покраснел, сказал с досадой:

— Стало быть так: осаду повсюду снимать. Всем войскам идти к Минску. Туда же и сам я выйду со всеми моими силами не мешкая.

Военная рада, гремя оружием, пошла из горницы вон. Остался сидеть лишь государев думный дьяк Иван Юрьевич.

Уже привыкнув к тому, что человек этот в простоте не делает ничего, Глинский спросил:

— Чего сказать хочешь, Иван Юрьевич?

— Что значит: «хочу», «не хочу»? — отозвался Шигона. — Я здесь не по собственному желанию сижу. Меня сюда государь мой по великим делам послал. И я тут не своё желание, а его государскую волю сполнять обязан.

Глинский снова покраснел — во второй раз за несколько минут выслушал от велемудрого дьяка поучение, как нерадивый школяр от строгого наставника.

— Говори! — сказал Михаил Львович раздражённо.

— Я, князь Михайла Львович, человек не ратный. Меня государь держит возле своей персоны не великого умишка моего ради. Так вот и понял я, будто собираешься ты со всеми своими силами к Минску идти и там купно с государевыми воеводами к нему подступать и тот литовский городишко промышлять накрепко. Так я понял, князь Михайла Львович?

— Так, — недоумевая, куда это клонит московский лис, ответил Глинский.

— А ежели так, то надобно тебе и братьям твоим присягнуть Василию Ивановичу — государю всея Руси на верность, ибо под Минском будешь ты не столь своё дело делати, сколь государево.

Глинский почувствовал, как от этих слов у него без сил опустились руки и колоколом зазвенело в голове.

Иван Юрьевич сидел, положив тонкие слабые руки на стол, глядел на Михаила Львовича не шевелясь.

— Верно, Иван Юрьевич, — промолвил Глинский обречённо. И добавил с ухмылкой: — Недаром тебя держит возле себя государь Василий Иванович, недаром.

...Через три дня Глинские принесли присягу на верность Московскому царству.

Пятидесятитысячная армия боярина Якова Захарьича подошла к Орше и остановилась, поджидая шедшую от Великих Лук армию князя Щени. Даниил Васильевич Щеня — воин старый и не менее Якова Захарьича опытный, вёл на Литву полки новгородцев. У Орши остановился и он. Хотя Яков Захарьич должен был двигаться к Смоленску, а Щеня — к Полоцку, отвлекая на себя королевские силы и тем самым споспешествуя Глинскому, ни один из воевод дальше Орши не пошёл.

Только Новогород-Северский князь Василий Иванович Шемячич выполнил то, что обещал: прошёл с войсками к Минску и встал под его стенами.

Однако тем дело и кончилось.

Шемячич перекрыл дороги, ведущие к Минску, уставил под его стенами земляной город, где не токмо ночами, но в ненастье и днями отлёживалось его воинство — и стал ждать.

Для успокоения двоюродного братца, Московского Великого князя Василия, чтоб тот укорами особливо не докучал, — приступал не зело опасно: постреливал из пищалей, из самострелов. Из пушек не палил — берег государево пороховое зелье; паче того на стены не лез — чего зазря христианскую кровь лить?

Литовские люди в Минске в замке запёрлись накрепко — попробуй возьми.

Василий Иванович посылал им прелестные письма — уговаривал перейти под высокую руку государя Московского, перехватывал обозы, зорил в округе деревеньки.

В конце мая пришла к нему весть: в Бресте, в трёхстах пятидесяти вёрстах к юго-западу от Минска, объявился сам король с несметной воинской силой.

Василий Иванович, постреляв из пушек, учинил приступ, но,

потеряв полторы сотни людишек, города не взял.

И для того чтоб после от братца Василия укоров не выслушивать, собрал своих начальных людей на совет: что-де далее делать, и ежели делать, то как?

Ратоборцы кряхтели, чесали в затылках, сказывали нечто мудреное, отговаривались не в лад: как хошь, так и понимай.

Один, сетуя на слабость русских сил, на упорство минчан, бубнил, что-де против жару и камень треснет, второй, напротив, раззадорившись, кричал:

«Не робей, воробей — дерись с вороной!»

Иные его поддерживали, говоря: «Бог не без милости, казак не без счастья». Большинство же не мудрствуя лукаво осторожничали: знай-де край, да не падай.

Василий Иванович от таких советов вконец закручинился и решил постоять под Минском ещё недолго, однако ж, чтоб Сигизмунд на него врасплох не навалился, выслать по направлению к Бресту разъезды, а войску помаленьку грузиться на телеги.

Не прошло и дня — примчался в его воинский стан гонец, молодой, складный, нарядный.

В шатёр к Василию Ивановичу вошёл он без малейшей робости. Неспешно сняв бархатную шапку, поклонился кое-как, чуть наклонив голову.

Василий Иванович не знал, кто таков молодец по роду-племени, решил про себя: «Должно, сын боярский или служилый дворянин». Спрашивать же не стал — не по чину ему это было и не по породе.

Надменно вздёрнув курносое лицо с редкой клочковатой бородёнкой, смотрел на посланца сурово.

Гонец, шагнув к Шемячичу, вынул из кожаной сумки письмо. Было то письмо не свитком, как у русских, а в квадратном пакете — на немецкий лад. Протянув пакет князю, сказал громко:

— Казак Никола, гонец его милости.

Василий Иванович вопросительно приподнял бровь, пакета не взял. Властно поведя рукой, велел принять одному из дьяков, что в сей момент оказался в шатре. Дьяк, взломав пять сургучных печатей, вынул из пакета лист.

Молча пробежал первые строчки, быстро глянул на подпись. Сказал тихо, с немалым подобострастием:

— От князя Михайлы Львовича Глинского к твоей милости, Василий Иванович.

Шемячич надулся индюком, проговорил важно:

— Чти.

Дьяк заговорил сладкогласно:

«Высокородному господину Василию Ивановичу Шемячичу, князю Новгород-Северскому. Кланяется тебе Михаил Львович Глинский, владетельный князь земель Туровских, пинских, мозырских, клеческих и иных. Иду с полками моими и воеводами, с огневым нарядом и многими людьми к тебе, князь, на подмогу. И будем, князь, город Минск промышлять совокупно, и с Божьей помощью тот город возьмём. А ты, князь, жди меня вскорости. И ради того нашего дела совершай всё гораздо. Князь Михаил Львович Глинский».

Василий Иванович, побледнев от обиды и гнева, спросил сипло:

— И это всё?

— Всё, господине, — робко пролепетал дьяк, прекрасно понимая, что двоюродный брат московского царя ни за что не стерпит, чтобы ему писали нечто подобное. Опытный в делах, он увидел в письме Глинского многое, что уязвляло Василия Ивановича в самое сердце. Шемячича Глинский именовал только новгород-северским князем, тогда как себя именовал со многими титлами. И писал Шемячичу не как равному, но как подчинённому себе человеку, упрекая в беспомощности и заявляя в гордыне:

«Иду к тебе, князь, на подмогу».

И далее, как некий король или же великий князь, хвастливо писал: «с полками моими и воеводами», а ведь на самом-то деле воевода в его войске был всего один — он сам, князь Михайла.

Еле повернув голову в сторону дьяка, Шемячич зло и отрывисто произнёс:

— Письма князю Михайле не будет.

И с прищуром, сверху вниз глянув на гонца, проговорил с великой надменностью:

— Скажи князю Михайле: брат мой, Великий князь Московский Василий Иванович, велел мне быть под Минском большим воеводой. И я волю брата моего сполняю, как мне Бог помогает. Иных советчиков да помощников мне не надобно. А если брат мой, Василий Иванович, какого служилого человека ко мне пришлёт, то я того человека под начало к себе приму, как о том брат мой мне повелит.

И встав, гонцу рукою махнул: иди же, поезжай к своему господину не мешкая.

Между тем от Бреста к Слониму быстро двигался с большими силами Сигизмунд Казимирович. Он шёл строго по прямой — кратчайшей дорогой на северо-восток, ища брани с мятежниками.

На Троицу, 11 июня, Сигизмунд вошёл в Слоним. Глинский,

узнав, что король почти рядом, всего в ста тридцати вёрстах, учинил последний приступ. Однако и осаждённые, каким-то образом проведав, что подмога близка, держались стойко и, множество наступавших до смерти побив, город отстояли.

На другой день приехал сначала к Василию Ивановичу и затем к Михаилу Львовичу государев воевода Юрий Иванович Замятин.

— Надобно вам из-под Минска отходить, — сказал он и Шемячичу и Глинскому. — Государь велел всеми силами встать под Оршею и тот город промыслить во что бы то ни стало. Ныне там и Яков Захарьич, и Даниил Васильевич — великие воеводы стоят со многими силами.

Михаил Львович представил, как идёт он к Орше, всё дальше на восток от родных мест, как всё более тают его силы, ибо бегут обратно в свои припятские деревеньки все те его нынешние сторонники, какие ещё надеются на королевскую милость. Представил и то, как прибывают силы у Сигизмунда, ибо из освобождённых им от осады городов вливаются в его армию их гарнизоны.

И впервые понял — война проиграна.

Сигизмунд Казимирович, пройдя Минск, 13 июля встал лагерем возле Орши на виду у своих противников.

— Ох грехи наши тяжкие, — вздыхал первый воевода Яков Захарьич, — силён супостат, страх как силён!

Михаил Львович и сам это видел, и как опытный военачальник, понимая, что открытый бой может закончиться победой противника, всё же досадовал на осторожность и нерешительность московских воевод.

Глинский в трудные минуты в решениях своих был скор — иначе давно бы уже не сносить ему головы. Поразмыслив недолго, решил: нужно уходить. Потому что сколь московские воеводы ни бились, а толк — вот он: запятил их король за Оршу.

А ну как перейдёт он Днепр, что тогда?

И в ночь на 14 июля Михаил Львович велел закладывать подводы, собирать скарб, готовиться к отъезду. За себя при войске оставил Андрея Дрозда.

Утром распрощался с немало изумлёнными воеводами, но кто бы посмел его задержать? — вольный человек, и государю добре известен, потому безо всякого замешкания был отпущен с честью, да и был таков.

14 июля 1508 года для Михаила Львовича война кончилась, начиналось нечто новое, но что судьба несла ему — он не знал.

Путь в Московию

Михаил Львович сел один в большую карету, запряжённую шестериком, и велел трогать.

Ехал, забившись в угол, злой на весь мир, не желая никого видеть. Близко к полудню возле оконца показался незнакомый всадник, богато одетый, на коне чистых кровей.

Михаил Львович опустил стекло, чуть высунулся из оконца.

— Кто таков?

— Фёдор Степанович Еропкин, господин.

— Не знаю такого.

— От великих государевых воевод Якова Захарьича да Василия Ивановича по велению Великого князя Московского отряжён к тебе в пристава.

Глинский недовольно засопел — воевод о том не просил. Однако по московским обычаям пристав — не караульщик и не соглядатай, а как бы присланный ему в услужение — дорогу показывать, ночлег обустраивать, всякие докуки и помехи именем государя устранять.

— Будь здоров, Федец, — буркнул Михаил Львович, — не надобен ты мне сейчас, — и забился обратно в карету.

«Начинается, — подумал Михаил Львович — начинается татарщина. Ещё до моих вотчин в три раза ближе, чем до Москвы, а уже князь Василий руку свою ко мне протягивает. Пристав! Название-то такое недаром: пристав, значит, приставлен смотреть, стеречь, следить. «Отдать за пристава» у московитов значит под стражу отдать. Вот и у меня появился пристав, да не какой-нибудь — свой собственный! Не от кого-нибудь — от самого Великого князя Московского!»

Еропкин зло дёрнул поводья, поскакал обратно. Не знал Глинский, что дали ему в пристава не малого служебного человека, а сына боярского, близкого к государю. Ещё при покойном царе Иване Васильевиче ходил Еропкин с иными многими ближними людьми с государем в Новгород. В прошлом году, как ходили на Литву, был он послан под Смоленск из Дорогобужа вместе с окольничим и воеводой Иваном Васильевичем Шадрой и шёл у него не простым воином, а головой полка левой руки. И не помнил уже, когда называли его Федцом, даже бояре иначе как Фёдором не звали, а прочие уважительно величали и по отчеству: Фёдор Степанович.

«Загордился, немец, ой закичился, зачванился, — зло подумал Еропкин, отскочив от кареты. Ну да Москва — не

Вильна, а Василий Иванович — не литовский король. Он те спесь-то быстро сшибёт».

Отъехав назад, где поотстав двигались его люди, пристав крикнул сердито:

— Офанасей, а ну живей ко мне!

Афанасий — правая рука Фёдора Степановича — подлетел прытко, в глаза глянул с превеликою на всё готовностью.

— Скачи, Офанасей, к Якову Захарьичу, скажи — Фёдор-де Степанович колымагу просит прислать, да чтоб поприглядней колымага была, и лошади чтоб были добрые. Да не мешкай, чтоб ко полудню нагнал!

В полдень Еропкин пересел в колымагу. Ехал от обоза отдельно, знался только со своими людьми, с родичами и слугами Глинского словом не перемолвился.

Глинский тоже никакого внимания на пристава и на людей его не обращал, тем более что ехали пока что по литовской земле, а здесь московский пристав даже кочкой на болоте не был, так себе — тьфу.

Ехали быстро — а ну как учинит Сигизмунд над москвитянами одоление? Что тогда?

Ночлеги были короткими. В деревнях не останавливались, гнали к Стародубскому княжеству.

Места были безлюдные, пустые.

Только плескалась вода на бродах да тарахтели под колёсами бревенчатые настилы, мосты да гати через Проню, Сож, Волчас, Беседь, Суров, Ипуть и многие иные реки и речушки.

Приближался московский рубеж.

Когда засинела впереди речка Судость, а на другом её берегу стали видны маленькие ещё чёрные избёнки нелепого и грязного городишки Почепа, карету Глинского обогнала колымага Еропкина.

На мост через Судость царский пристав въехал первым: здесь начинались владения Василия Ивановича, Божьей милостью Великого князя всея Руси.

Михаил Львович хотел было крикнуть вознице, чтоб обошёл наглеца, но подумал — стоит ли? — и ничего не сказал, почувствовав, что болит голова и почему-то сильно клонит ко сну.

На следующее утро Еропкин явился к Глинскому чуть свет. При входе в дверь чуть склонил голову, сказал решительно:

— Пора собираться, князь.

— Куда это? — опешил Глинский.

— В Москву, к государю.

— Чего такой спех? — недоумённо спросил Глинский, и вопрос этот показался ему почему-то унизительным и постыдным, будто он у пристава чего попросил.

— Чай не в гости едешь, князь. Службу государеву едешь сполнять, — проговорил Еропкин таким тоном, каким выговаривает нерадивому недорослю строгий дядька.

— За князем Глинским служба не пропадёт! — задиристо, по-мальчишески выкрикнул Михаил Львович.

— Где ни жить — не миновать служить, — нехорошо улыбнувшись, негромко проговорил Еропкин и ушёл.

«Что это он сказал? — подумал Михаил Львович. Что значит? «Где ни жить — не миновать служить?»

«Ах сучий сын, ах шельмец! Это он мне презрение своё высказал: раньше-де полякам служил, а теперь и нам послужишь, тебе-де перевёртышу — всё едино. Доеду до государя, — молча бушевал Михаил Львович, — я тебя, Федец, гнида ты этакая, враз сотру! Поглядим тогда, где ты и кому после этого служить будешь!»

Выехали вскорости. Карета Глинского катилась впереди всех. Государев пристав ехал следом, вперёд не высовывался — понял, смерд, своё место.

А может, добившись своего, успокоился?

Девять дней обе армии стояли друг против друга, переругиваясь, перестреливаясь, чиня одна другой мелкие шкоды и пакости. 22 июля в московском стане заворошились: стали гасить костры, снимать с кольев шатры, мазать тележные оси дёгтем. Под улюлюканье и свист поляков и литовцев, огрызаясь и перебраниваясь, уходило на восток московское войско. Позади всех, понурив голову, ехал князь Андрей Дрозд.

Как только выехали из Почепа и покатили по нескончаемым просторам Русской земли, Глинский всё чаще выглядывал то в одно оконце, то в другое: смотрел с любопытством, что за страна такая — Московия? Но, не проехав и одного дня, понял, что земля эта точно такая же, как и его родная Белая Русь, как Русь Малая, как Русь Чёрная. Речь была немного иной, избы да одёжа на мужиках и бабах чуть разнилась от мест днепровских или неманских, а так — всё едино.

На второй день снова забился Михаил Львович в угол, ехал, неотрывно думая о том, что ждёт его в Москве, как встретит его князь Василий, в какую службу определит, какие волости в кормление даст и даст ли?

Ехал, вспоминая всё, что довелось слышать о самом князе

Василии, об отце его, о матери, о братьях, сёстрах, о жене и о ближних его слугах...

Сестру Василия Ивановича — литовскую великую княгиню Елену Ивановну — Глинский знал хорошо, она долгие годы была дружна с ним, потому что её муж, Александр Казимирович, любил Михаила Львовича и сам был близок с ним и откровенен, и даже, кажется, искренне любил его, что редко случается с венценосцами, ибо народная мудрость гласит: «Царь да нищий — без товарищей», а тут как будто выходило не по пословице.

От самого Александра Казимировича, от королевы Елены, от многочисленных русских, приезжающих в Литву из Москвы, знал Михаил Львович многое такое, чего другие не знали.

И так как с малых лет пришлось ему долго скитаться от одного королевского двора к другому, жизнь выработала в нём множество качеств, превратив его ещё в юности в ловкого и многоопытного царедворца: у него была прекрасная память на лица, на разговоры, ничего не значащие для другого, но для придворного составляющие смысл и суть его жизни. Он был обходителен, умён, всё схватывал на лету, из тени намёка мог сразу же соткать многокрасочную и верную картину до этого неясных и запутанных отношений.

Глинский с юных лет придавал небольшое значение вопросам веры и религии, а с возрастом и вовсе перестал интересоваться поповской белибердой — будь то более учёные католические патеры или же редко когда грамотные православные служители Божии. В юности он действительно принял католичество, отказавшись от веры своих предков, но и тогда уже сделал это не в поисках истины, а просто потому что страны, в которых он в то время жил, и правители этих стран считали бы его совсем за своего.

Глинский верил, что всё происходящее на земле творится волею, руками и умом живущих на ней. Он верил в то, что судьбами людей повелевают сильные мира сего: цари и ханы, короли и герцоги. И чем выше над другими стоит человек, тем большее влияние оказывает он на жизни и судьбы других людей, на счастье и несчастье подданных.

Себя он причислял именно к таким людям, но понимал, что есть и ещё более могущественные, чем он.

А собственные успехи и неудачи сильных мира сего зависят от того, кто из правителей окажется более могущественным. И на чьей стороне окажется больше войск и денег, тот и будет в конечном счёте победителем.

Он сознавал, что отдельные сражения иногда может выиграть и тот, кто слабее, но удачливее, опытнее, смелее своего

противника. Однако же большую войну всё-таки выигрывает сильнейший. И своё поражение он объяснял тем, что его не поддержали ни крымский хан, ни гроссмейстер Тевтонского ордена, а царь Московский хотя и вывел свои войска в подмогу ему, но воеводы Василия Ивановича — то ли по его царскому указу, то ли по собственному нерадению — действовали вяло, нерешительно и уж никак не во всю силу.

Глинский понимал, что эту маленькую войну он проиграл. Однако престолы не добываются в маленьких войнах. Его ждала великая брань, и уж её-то Михаил Львович решил выиграть у Сигизмунда во что бы то ни стало.

Да и что ему оставалось?

Всё, чем он владел — его города и замки, деревни и холопы, — оказалось под властью Сигизмунда. Сегодня он был ещё богат, но насколько хватит ему захваченного с собою золота?

Ведь не один он ехал в Москву — едва не три сотни ртов вёз с собою, да сколько ещё прибежит следом, как двинутся с литовского рубежа на восток московские воеводы?

И потому два дела представлялись ему наиважнейшими: сначала получить в кормление какой-никакой городишко с тянущимися к нему деревеньками, а вслед за тем начинать великую работу по собиранию сил против Сигизмунда, натравливая на него хоть татар, хоть турок, хоть немцев и не гнушаясь никакими союзами — хотя бы и с самим Сатаной.

И снова всё выходило так, что главной фигурой в этой игре становился великий князь Василий: от него зависело — получит ли Михаил Львович землицу и людишек, благосклонно ли отнесётся к его затее окружить Литву и Польшу кольцом врагов.

Значит, следовало прежде всего подобрать ключ к уму и сердцу Василия Ивановича и с самого же начала правильно определить, как вести себя с ним, что говорить, чем прельщать. А для того чтоб верно ответить на все эти вопросы, нужно было точно знать: кто же таков Василий Иванович?

Его отцом был Великий князь Московский Иван Васильевич, севший на трон Рюриковичей по праву крови и первородства. Предки Ивана Васильевича шесть веков правили Русью, не передавая своей власти никаким иным родам, и потому считали всю Русь своей отчиной и дединой, собинным своим государством. Они числили в своём роду первых русских святых Бориса и Глеба, крестителя Руси равноапостольного Киевского Великого князя Владимира. Рюриковичами были прославленные законодатели Ярослав Мудрый и Владимир Мономах, знаменитейшие воители Святослав Игоревич и Даниил Галицкий, Александр Невский и Дмитрий Донской.

Род Рюриковичей корнями своими уходил в такую толщу — вообразить страшно. Московские летописцы — книжные люди — выводили его от самого римского императора Августа, в царствование которого явлен был миру Христос. От брата Августа — Пруса, и пошли, по их писаниям, Рюриковичи.

Лестно было иным королям и герцогам породниться со столь знатной фамилией, и потому в стародавние времена, когда главным русским городом не Москва ещё была, а Киев, прапрабабки Ивана Васильевича — отца нынешнего Московского Великого князя — Василия Ивановича — сидели королевами во Франкском королевстве и в Норвегии, у мадьяр и у чехов, и в иных землях и государствах.

И было так до покорения Руси татарами. Согнули багатуры проклятого царя Батыги гордые выи Рюриковичей и больше двухсот лет заставляли русских платить им дань — и золотом, и серебром, и мехами, и железом, и скотом, и людьми.

И платили потомки императора Августа ордынский выход. Сами собирали его и с поклонами вручали ханским баскакам. И с тех пор не стали европейские короли искать невест на Москве, ибо кому было лестно брать себе в жёны дочь татарского раба, хотя бы и носил этот раб на себе жемчуга и алмазы? И в Московию дочерей своих христианские государи из иных стран не отдавали. И потому женили Ивана Васильевича на соседке — тверской княжне Марии Борисовне.

Мария Борисовна была обручена с семилетним Иваном Васильевичем, когда самой ей сравнялось пять лет. Через пять лет — двенадцатилетний мальчик и десятилетняя девочка — были повенчаны и стали мужем и женой. Однако супружество их было безрадостно, и хотя прожили они вместе полтора десятилетия, судьба послала им всего-навсего одного ребёнка — царевича Ивана.

Мария Борисовна умерла двадцати пяти лет. Иван Васильевич долго не женился: ждал, рассчитывал, прикидывал.

Наконец, выбор был сделан, Иван Васильевич прослышал, что в Риме, при дворе Папы Сикста, живёт бедная сирота из рода Палеологов, племянница последнего византийского императора Константина XI Драгаса; что она набожна, молода, хороша собою и твёрдо держится древнего византийского благочестия. О том-де сказал ему и появившийся в Москве грек по имени Юрий.

Иван Васильевич вдовел уже четвёртый год. Посоветовавшись с матерью, с митрополитом, с ближними боярами, велел ехать в Рим монетному мастеру Ивану Фрязину — поглядеть на невесту, послушать, что говорят о ней люди, чего не скажут — выведать...

Михаил Львович ехал, закрыв глаза, но не спал — вспоминал,

думал, снова вспоминал. О том, как Зоя Палеолог ехала в Москву, ему рассказывал весёлый старик, профессор университета в Болонье Франческо Фидельфо — седой, краснолицый, шумный любитель вина, женщин, музыки и стихов. «О Микеле, — говорил Фидельфо, и глаза его загорались от приятных и радостных воспоминаний, — это был великий двухнедельный праздник, один из самых больших в Болонье! Когда принцесса Зоя проезжала через город, всего его жители вышли на улицы. Это было летом. Не знаю, чего было больше — цветов или улыбок, вина или песен. Наш университет встретил Зою шуточным представлением. Не помню, о чём говорили артисты, помню только, что все смеялись до слёз и счастливая, весёлая Зоя — больше других. Она всем понравилась — черноглазая толстуха и хохотушка. В ней не было ничего царского, и мы все жалели её, когда она поехала дальше — в засыпанную снегами Московию».

Затем Михаил Львович вспомнил рассказ знакомого псковича — торгового человека, часто наезжавшего в Вильнюс и не раз привозившего ему разную мягкую рухлядь — шкурки куниц, соболей, лисиц.

«Осенью это было, Михайла Львович, — рассказывал псковитянин, — а вот месяц не упомню. Послал нас посадник к реке и велел тащить с собой сукна, и ковры, и ткани разные. И мы теми тканями изукрасили шесть великих насадов и пошли к гирлу озера, к Узьменю, а там на берегу уже ждала нас царевна со многими людьми. Я сам возле неё не стоял — обступили её великие люди, стали подавать ей рога с мёдом и кубки злащённые. Пила ли она, сам не видел, люди говорят — немножко пригубила».

Михаил Львович вспомнил, что спросил тогда купчину: «Хороша ли была царевна и сурова ли? » Псковичответил: «Лицом бела, кареглаза, ростом невелика. Одёжа на ней была царская — сверкала она с ног до головы. Суровости в ней не припомню, однако ж посуди сам — завтрашняя царица была среди нас, кто с ей насмелится шутки шутить, альбо зубы скалить?»

И ещё тогда понял Михаил Львович — в Болонье она была одной, в Пскове — совершенно другой.

В Болонье она прощалась с молодостью, зная, что никогда более ни один из этих людей не увидит её и она никогда никого из них более не встретит. Во Пскове же она вступала на землю своего нового царства и не добрые весёлые друзья были теперь вокруг неё, а её завтрашние покорные подданные.

Михаил Львович стал далее разгадывать, что чувствовала Зоя Палеолог в новой стране, что везла она на свою новую родину?

Ведь в какой-то мере и его и её судьбы чем-то сходились.

Она была полунищей иноземкой, вызволенной из благодатной Италии отцом нынешнего великого князя.

Он был обездоленным изгнанником, ехавшим к сыну этой смелой и предприимчивой женщины. «Как добилась она успеха?» — спрашивал себя Михаил Львович. И так как он всегда верил в то, что фортуна подчиняется или уму или силе, оставалось выяснить, каким образом взнуздала и стреножила непокорную госпожу удачу кареглазая византийская царевна.

Зоя Палеолог приехала в Москву 12 ноября 1472 года и в этот же день обвенчалась с нетерпеливым тридцатидвухлетним женихом — худым, высоким, горбоносым. Она вошла в церковь принцессой Зоей Палеолог, а вышла Великой Московской княгиней Софьей Фоминичной.

Она не принесла в приданое ни земель, ни золота. Она дала своему мужу призрачное право на византийский трон, не менее призрачное право на далёкий Царьград — Константинополь, вот уже двадцать лет принадлежавший могущественным османам, перед которыми трепетала Европа, и самый дорогой дар, не стоивший ровно ничего, — герб своих предков, императоров Византии — двухголового когтистого орла, глядевшего и на Восток и на Запад.

Софья Фоминична привезла с собою две подводы книг и три десятка ловких, быстроглазых слуг. Вместе со слугами она привезла и привычные для них, но неизвестные здесь, порядки полусказочного Царьграда: тонкие интриги, путаные отношения, двусмысленные слова, лукавые взоры, загадочные улыбки.

В первые дни жизнь её всё ещё несла на себе печать противоречий. Она всё ещё чувствовала себя не венценосной царицей одного из величайших и богатейших государств мира, а бедной пансионеркой римских кардиналов.

Для того чтобы стать настоящей царицей, ей нужно было поднести великому князю такой подарок, какой не мог бы сделать ему никто иной в мире: одна должна была родить Ивану Васильевичу сына. Сначала одного, а потом ещё и ещё, чтоб не боялся великий князь за судьбу своего трона и своей династии. А разве может быть спокоен государь, когда у него всего один сын, да и у того родной дядя — брат покойной матери — сам не прочь сесть на Московский стол?

Когда она почувствовала, как у неё под сердцем сладко повернулся тёплый родной комочек — её первенец, её чадушко, — она от счастья лишилась сознания. Очнувшись, она подумала: «Это не Рюрикович ожил во мне. Это — Палеолог, византийский

император и Великий Московский князь».

Однако судьба больно ударила Софью Фоминичну. Её первенцем оказалась девочка, которая к тому же, не прожив и нескольких недель, померла.

Через год родилась ещё одна девочка. Её, как и первую, назвали Еленой. И так же, как и первая, она почти сразу отдала Богу свою ангельскую душу.

Софья Фоминична плакала, молила Пречистую, не горстями — кошелями раздавала юродивым и нищим милостыню: молите Богородицу, да ниспошлёт мне счастье, дарует мне с супругом моим наследника.

И услышала Святая дева жаркие её моления. И снова — в третий раз — в тёплой тьме её естества завязалась новая жизнь, и некто беспокойный, ещё и не человек, а только неотторжимая часть её тела, требовательно ткнул Софью Фоминичну в бок невесть чем — то ли ручкой, то ли ножкой.

И похоже это было на то, что случалось уже с нею дважды, и непохоже: сильно стучал и толкался младенец, настойчиво, часто.

«Мальчик, — подумала она, — мальчик!»

Он ещё не родился, а Софья Фоминична уже начала великую битву за его будущее. Всю силу своей воли, всю византийскую изощрённость ума, весь арсенал великих и малых хитростей, веками копившихся в тёмных лабиринтах константинопольских дворцов, каждый день пускала в ход Софья Фоминична, чтобы обойти, оттереть в сторону, бросить тень, уличить и оставить ни с чем ненавистное ведьмино семя — сына Марии Борисовны Тверской — Ивана.

Греки, приехавшие с нею из Морей, уже через полгода почувствовали себя в Москве лучше, чем дома. Они всюду стали своими людьми.

Православные — они были желанными собеседниками у московских иерархов, видевших в них носителей древнего благочестия, почитавших в них свет афонской благодати и мудрости.

Таровые — они были незаменимыми советчиками у торговых людей, не бывавшими со своими обозами дальше Сурожа в Крыму да Казани на Волге.

Книгочеи и грамотеи — они стали толмачами и писцами у думных государевых дьяков, вершивших дела с иноземцами. Цифирные и численные — они лучше многих иных знали ремесло денежных менял, искусство сбора податей, дела мытные и ростовщические.

Софья Фоминична страдала близорукостью и плохо слышала — они, её слуги, были глазами и ушами новой царицы, и

благодаря им никто во всём государстве не знал больше, чем она.

И как сказано в летописи: «Месяца марта в 25-й, в восемь час нощи, противу дни собора Архангела Гавриила, родился великому князю Ивану Васильевичу сын от царевны Софии, и наречён бысть Василей Парийский. Крещён же бысть у Троицы в Сергиеве монастыри, А крестил его архиепископ Ростовский Васиан да игумен Паисей Троицкий апреля в 4-й, в неделю цветную».

Случилось это двадцать девять лет назад. Много воды утекло с тех пор. Не было в живых уже ни Ивана Васильевича, ни Софьи Фоминичны. Не было и соперника Василия — царевича Ивана: все они умерли. И даже сын царевича Ивана пятнадцатилетний Дмитрий безвинно вот уже третий год томился в темнице. А братья Василия — Юрий, Дмитрий, Семён и Андрей — сидели по дальним уделам, бражничали, копили на старшего брата злобу, но хотя и лезли в волки, да хвосты у них были собачьи, и они, поджав хвосты, зубы показывать не смели.

Всё это Михаил Львович знал. Знал и многое другое: кто с кем в Кремле водит дружбу, кто супротив кого ополчается, кто великим князем обласкан и взыскан, на кого положена опала.

И как в сложной шахматной партии, продумав всё возможные комбинации, Михаил Львович решил, что самым сильным его ходом будет тот, которым он заявит себя одной из главных фигур на доске большой политики, великим знатоком посольских дел и взаимных отношений между европейскими государствами.

«Аи в самом деле, — подумал Михаил Львович, — воевод на Москве и без меня довольно, а с иноземцами разбираться так, как я, никто во всей Москве не научен. И ежели сие мне удастся, то и своё собинное дело сделать мне будет много легче».

10 августа 1508 года от Рождества Христова, как числил по схизматическому латинскому счёту князь Михаил Львович, или же в 10-й день месяца серпня, в четверг перед осложиным днём, лета 7016 от Сотворения мира — по истинно христианскому древневизантийскому летосчислению, обоз Глинского подошёл к Москве.

Надеясь хоть на какую-нибудь встречу, Михаил Львович глянул из окна кареты.

Дорога была пуста, и встречающих не было.

И вспомнил он Вильнюс, и Мозырь, и Клецк, и многие иные города, в которые въезжал, сквозь тысячные толпы, под звон колоколов всех храмов.

А здесь купались в тёплой пыли куры, тёрлись о

покосившиеся заборы свиньи, козы щипали жухлую траву. Оборванные сопливые ребятишки, сунув пальцы в рот, онемело таращились на появившуюся, как в сказке, заморскую золочёную карету, кою катили шестериком сказочные же белые кони с перьями на головах, в красной сбруе, с гривами и хвостами до земли. А мужики и бабы глядели на всё это равнодушно: мало ли иноземных послов — польских, немецких, цесарских — проезжало мимо них к Кремлю чуть ли не каждый месяц. А иные, осеняя себя крестным знамением, отплёвывались, как от нечистого, веря, что встреча с иноверцем — к беде.

И чем ближе к Кремлю подъезжали, тем беспокойнее становилось на сердце у Михаила Львовича. Шумной, бестолковой, непонятной, многолюдной показалась ему Москва.

«Как-то приживусь я здесь?» — с грустью и тревогой подумал Михаил Львович. И вдруг на ум ему пришли пакостные еропкинские слова: «Где ни жить — не миновать служить».

Колеса затарахтели по бревенчатой мостовой. Посад кончился, начался город...

Третий Рим

...Отшумели царские пиры, канули в Лету, будто никогда их и не бывало, оставив горький привкус на губах, а паче того — на сердце. Неделю пировал государь, а рядом с собой дозволил сидеть только первый день. В остальные же шесть дней допустил лишь за один с собою стол, однако ж меж ним и Михаилом Львовичем сидело по пять, а то и по семь человек, и Михаил Львович иной раз почти в голос кричал государю нечто важное, но тот говорил с ближними к нему людьми, а Глинского не слушал.

И приходилось Михаилу Львовичу переговариваться с боярами, что сидели слева и справа, но те бояре, опасливо покашиваясь на государя, даже головой кивать боялись, а все следили: как ныне государь — милостив ли? А если и говорили, то будто бы невпопад, а то просто-напросто суесловия, и на всё про всё отвечая: «Знамо дело, в иных землях и многие прочее по-иному, а цесарцы они цесарцы и есть. Да и сам, Михайла Львович, посуди: как им таковыми не быть, когда они — немцы? »

Михаил Львович сникал, сидел молча, с тоской вспоминая застолья при дворах европейских потентатов, где живость речи почиталась одной из первейших добродетелей придворного и одним из основных качеств куртуазии. И хорошо было, коли гость был остроумен, весел, учтив, ещё же лучшим было, если таковыми свойствами отличался хозяин.

А здесь и гости сидели молча, испуганно и настороженно косясь на хозяина — великого князя Василия Ивановича. А хозяин сидел этаким золочёным истуканом и, почти не произнося ни слова, пошевеливал бровями да перстами. И выученные слуги, ловя на лету малую тень государева соизволения, делали всё так, как того государь желал.

Была бы его воля — встал бы Михаил Львович да и пошёл из-за стола вон. Да только не было у него воли, и потому сидел он целыми днями за царским столом и чувствовал со стыдом, что и он, как прочие, всё время ждёт — глянет ли на него государь, захочет ли с ним перемолвиться?

В последний день затянувшегося праздника пожаловал ему Василий Иванович Малый Ярославец — в вотчину, Боровск — в кормление. Да брату его, Василию, — Медынь.

Городишки стояли купно, неподалёку друг от друга, в восьмидесяти и ста двадцати вёрстах к югу от Москвы.

Неспроста именно их дал Василий Иванович братьям

Глинским, как, впрочем, и другого ничего спроста не делал.

Стояли городки неподалёку от литовского рубежа, а кроме того, шли мимо них к Москве татарские шляхи. И потому весьма пригоже было сидеть в них столь знатному ратоборцу.

И ещё одну цель преследовал Василий Иванович, поселив там братьев Глинских: были Глинские на Руси чужаками, и кроме князя Московского не было у них никого, кто помог бы им в трудную минуту. Держали они новые свои владения из его же царской милости и более всего должны были той милостью дорожить.

А с севера и юга от Боровска и Медыни испокон жили бунташные и своевольные родные братья Василия Ивановича — Андрей Старицкий да Семён Калужский.

И хоть состояли они с великим князем в кровном родстве и на верность ему крест целовали, не было у Василия Ивановича надежды в преданности их и веры им, увы, не было.

Потому-то и поселил Василий Иванович меж княжеством Калужским и княжеством Старицким своих служилых людей — Глинских, которые были здесь как бы и оком государевым, и бранной государевой десницею.

Всё это прекрасно понимал князь Михаил Львович, и оттого было ему ах как невесело.

А ведь вопреки всему хорош был Малый Ярославец в пору цветения вишнёвых садов, будто укутанный тёплой духмяной метелью. Радовали глаз синие дали под обрывистой кручей, белые лилии и жёлтые кувшинки, замершие у берегов извилистой речки Лужи, высокие холмы, заросшие ивами, осинами, берёзами. Вспомнил Глинский и трепетную жизнь лесов, полных зверья и птиц: белок, зайцев, лис, барсуков, тетеревов, рябчиков, куропаток. Вспомнил кипящую от изобилия рыбы Протву, чьё имя на языке древних племён, ныне уже исчезнувших, и означало: Протва — Рыбная Река. И дом его — полная чаша: изобилие благ земных, ясли, полные овса, амбары и подвалы с соленьями и копченьями, бочки вина и мёда, дома, бани, клуни, сараи, стада коров, табуны коней, отары овец...

Однако не рад был он всему этому, ибо нутром чувствовал: ничего ему не надо, если дадено ему кем-то и кем-то по прихоти может быть отнято. Птицей иного полёта он был, и не ему суждено было сидеть в деревенской глуши.

Потянулись для Михаила Львовича унылые дни. Европейские потентаты молчали. Великий Московский князь к себе не звал. Сидел Михаил Львович в Ярославце среди литовских беглецов, кои вместе с ним прибежали на Москву.

И если всю правду сказать, — жили не вельми весело, хотя и

собирались частенько за одним столом. Да только застолья эти были столь же похожи одно на другое, как и дни всей их здешней жизни. Всякий раз, усевшись за стол, ругали они Сигизмунда — раз от разу ленивее и беззлобнее, скорее по привычке, чем в охотку. В который уж раз перемывали кости виленским и варшавским недругам, а разойдясь по избам, печальнее, чем перед застольем, вздыхали тяжко, копя злобу на супостатов, что прибрали к рукам и всё добро их, и землицу, и людишек.

А в последнее время и этих верных ему земляков возле него поубавилось: братья Александровы — Семён да Андрей — пристроились в Москве, стали детьми боярскими. За ними утянулись Фёдор да Пётр Фурсы, Козловский Иван да Иван же Матов.

В Кремль, к сильным людям, повлеклись князья Дмитрий и Василий Жидемские, да князья же Иван Озерецкий, Михайла Гагин, Друцкий Андрей. Да и как им было в Москву не ехать?

Чего им было от Михаила Львовича ожидать, когда он сам не чаял, как день передневать и ничего уже ни от кого не ждал?

И вдруг объявился в Ярославце некий человек и тайно довёл, что едет к Михаилу Львовичу из-за литовского рубежа великородный человек. И привёз тот человек полную сумку иноземных грамот и от великого магистра Тевтонов, и от императора Максимилиана Габсбурга, и от иных европейских потентатов первого градуса, коих сплачивало одно — ненависть к Сигизмунду Казимировичу.

И после того, не раз сославшись со всеми врагами Литвы и Польши, приговорил Василий Иванович быть вкупе с ними на Сигизмунда.

И 14 ноября 1512 года многотысячные великокняжеские рати пришли в движение. Они приближались к Смоленску по трём дорогам — от Вязьмы, от Новгорода и от Великих Лук.

А 19 декабря из Москвы вышел наконец большой государев полк. В нём был и сам великий князь, и зять его — татарский царевич Кудайкул, в святом крещении Пётр, — и Даниил Щеня, и Глинский.

В начале января 1513 года Большой государев полк подошёл к Смоленску и встал перед его стенами.

Но сильна был Смоленская фортеция, высоки и крепки были стены её и башни, много людей и храбр гарнизон, и потому понадобилось ещё два похода — летом 1513-го и весной 1514-го.

В последнем походе вёл большой государев полк Михаил Львович. Он же, стараниями своих многочисленных клевретов — обывателей града Смоленска — всё так ловко учинил, что град сей пал к ногам Василия Ивановича как переспелое яблоко,

отчего польский король, шедший к смолянам на выручку, узнав о том, в бесконечном изумлении написал брату своему венгерскому королю Владиславу: «Ныне же не знаем, какими судьбами, не испытав ни штурма, ни кровопролитного сражения, Смоленская крепость отворила ворота и предалась врагу, прельщённая самыми пустыми обещаниями, благодаря низкой измене...»

Смоленск — «дорогое ожерелье царства Русского» — пал. Глинский ликовал, потому что Василий Иванович обещал в случае мирного присоединения города к России дать ему Смоленск во владение. Однако же — обманул, не дал.

Тёмной летней ночью смертельно обиженный Глинский бежал в лагерь Сигизмунда, но по дороге туда был схвачен русскими, окован по рукам и ногам кандалами и привезён в Москву.

...И впервые за всю его жизнь навалилась на сердце Михаила Львовича беспросветная, стылая печаль.

«Уж лучше б казнили, — думал он всё более и более помрачаясь душой. А то засадят в яму и будешь заживо гнить, пока не подохнешь».

От дум о неизбежности вечного заточения мысли его перебегали к оставленным в Москве родичам.

«Иван труслив. Видом только свиреп, недаром Мамаем прозвали. Василий — слеп, увечен. Они не заступа. Нет, не заступа».

Потом вспоминал о сильных мира сего: императоре Максимилиане, хане Гирее, датском короле Иоанне. И, перебрав их всех — одного за другим, понял окончательно: нет ему на Москве спасения. И решил: чашу мою изопью до конца, не порадую супостата Ваську и недругов моих печалью да слезами».

И, решив, сжался в комок.

Перед дверями тюремной палаты, прилепившейся к стене Кремля за государевой конюшней, его ждали седой старик, опирающийся на клюку, — брат Василий и девочка — русая, синеглазая.

«Олеся», — узнал Глинский, и едва удержался от слёз.

...В последний его вечер в Москве, в самый канун третьего похода на Смоленск, пришёл он проститься с братом Василием.

Василий бормотал и всхлипывал, гладил Михаила Львовича по плечам, по голове, а жена брата, княгиня Анна Стефановна, забито молчала, хотя все знали — в доме она была всему голова. Но как только появлялся шумный, весёлый деверь, Анна сникала и сидела молча.

В домах братьев Глинских, что у Ивана по прозвищу Мамай,

что у Василия Слепого, что у самого Михаила Львовича, женщины жили намного вольготнее, чем в московских боярских да княжеских теремах, оттого же и девочки жили свободнее.

Однако такого пострелёнка, такой бесовки, как дочка Василия — Олеся, а по-московски — Елена, нельзя было найти не только в Москве — не сыскать и во всей России.

В шесть лет Елена выучила «Азбуковник» и подвергала в трепет мамок и нянек, читая псалтырь не хуже иного псаломщика.

В семь лет она стала носить на голове золочёную деревянную корону, а дворовые девочки носили за нею бархатный шлейф. И хотя корона была из дерева, а бархат шлейфа сильно трачен молью, взгляд Олеси был как у настоящей королевы и разговаривала она по-королевски.

Когда же Олесе-Елене сравнялось семь лет, Михаил Львович показал своей любимице диковинную персидскую игру — шахмат, и потом, приходя к брату и устав от его стенаний, частенько расставлял фигуры на подаренной им же русской доске из рыбьего зуба, что привозили в Москву поморы с берегов полуночных морей.

Олеся морщила нос, потирала лоб и, когда проигрывала, а проигрывала она через раз, не догадываясь, что дядя Михаил нарочно ей поддаётся, огорчённо сжимала губы и не просила — требовала:

— Ещё раз, дядюшка!

Михаил Львович покорно разводил руками, сражался как лев и... проигрывал.

Радость Олеси была сдержанной, но в синих очах полыхали бесовские огоньки гордыни, ибо она верила, что победила своего знаменитого дядю, коего — не в игре — на бранном поле — только один раз из сорока побил какой-то король, да и то неправдою.

...Вечером 29 мая, накануне выступления в третий Смоленский поход, Михаил Львович выиграл у Олеси партию и больше играть не стал.

— Я больше никому не могу проигрывать, Олеся, — сказал он с печальной серьёзностью, не подходящей для разговора с ребёнком. — Завтра ухожу воевать и даже отсюда должен выступить победителем.

Олеся вспыхнула и, резко вскочив, смешала фигуры. Но тут же, сдержав себя, по-взрослому поглядела ему в глаза и сказала:

— Ты, главное, приходи победителем.

Михаил Львович прослезился и, подняв девочку, поцеловал в щёку.

...Когда на следующий день он выезжал во главе своей армии из Кремлёвских ворот, к стремени его коня кинулась синеглазая девочка, протягивая белого короля — накануне вечером он играл белыми.

Михаил Львович нагнулся, поднял Олесю и, посадив девочку перед собой, проехал с ней до самой Москвы-реки.

Олеся восхищённо смотрела то на своего дядю, то на несметные толпы народа, то оглядывалась на великое войско, которое вёл её дядя сокрушить хитроньору Сигизмунда.

У въезда на мост Глинский бережно спустил Олесю на землю.

Высокий мужик из дворни Глинских, стоявший в толпе, тут же подхватил панёночку на руки и посадил на плечо.

Михаил Львович оглянулся дважды и поехал дальше, надменно вскинув голову и крепко сжимая в левом кулаке победоносного белого короля...

Всё это он мгновенно вспомнил, увидев Олесю.

И переведя взгляд на брата, подумал с печалью и болью: «А ведь жизнь-то прошла. А может, и я со стороны тоже такой?»

Брат Василий — седой совсем и совсем слепой, шаря трепетными перстами по лицу Михаила Львовича, всхлипывая, приговаривал:

— Аль не говаривал я тебе, Мишанька, — не гонись за жар-птицей, живи тихо, смиренно, не гневи Господа? Аль не говаривал я: не о тронах королевских думай, о себе — малом, да о нас сирых — думай? Вот и добегался — в узилище ныне ввергнут по грехам твоим. Сам во тьму и в глад идеши и на муки сам себя обрекаешь.

— Да не ной ты, Вася! — брезгливо оборвал его Михаил Львович. — Не будь бабой!

И посмотрел на Олесю. Она стояла тонкая, синеокая, вспыхнувшая от горя и восторга, нимало не трепеща от страха, а гордясь тому, что этот седовласый богатырь, этот великий в несчастьях и триумфах муж — кровная родня ей, столь непохожий на своего родного брата — её несчастного и жалкого калеку отца.

— Мы ещё сыграем в шахмат, Олеся! — громко и с вызовом сказал Михаил Львович и давно небритой колючей щекой коснулся лилейной ланиты Олеси.

И повернувшись, резко провёл по глазам рукавом.

Чёрный проем двери, ведущий в подвал, раскрылся перед ним, и он, гордо выпрямившись, хотел шагнуть туда, не сгибая головы, но дверь оказалась низка, и князь Михаил Львович Глинский, именно для того, чтобы не склонить головы, чуть согнул колени и, как-то нелепо, боком, втиснулся в дверь и медленно пошёл в сырую мглу подземелья.

Опустившись ступеньки на три, он обернулся к свету и увидел прекрасное, мокрое от слёз лицо Олеси.

Встретив его взгляд, она перестала плакать и невесть из какой складки девчоночьей одёжки достала белого шахматного короля. Шагнув на самый порог тюремной двери, Олеся протянула фигурку Михаилу Львовичу и сказала столь же громко, как и он перед тем:

— Мы ещё сыграем, дядя! Я буду ждать тебя!

И Глинский хриплым шёпотом ответил:

— Сыграем, Олеся. И на этот раз ты обязательно побьёшь меня!

Дела семейные и государственные

Десять лет просидел Михаил Львович в кремлёвских застенках: постарел и исхудал страшно. За те десять лет несказанно расцвела Олеся, Алёнушка, свет его очей. И как угодно было распорядиться неисповедимому року, что за это время Парки — богини судьбы, взяв Алёнушку за белые руки, возвели её на московский Олимп, к подножию земного бога — Василий Ивановича.

А началась эта история ещё до рождения её, когда 17 апреля 1503 года умерла Софья Фоминична Палеолог, и вскоре после похорон жены Иван Васильевич составил завещание — духовную грамоту, по коей пожаловал старшему сыну Василию 66 городов, а четырём младшим всем вместе — 30, да и то владения Андрея и Семёна до их совершеннолетия передавались их опекуну, тому же Василию.

Уже тяжело больным, за полгода до смерти, Иван III решил женить своего старшего сына и в августе 1505 года приказал привезти в Москву полторы тысячи красивых и здоровых девиц из лучших семей Руси для того, чтобы выбрать из них одну и надеть ей обручальное кольцо, провозгласив Великой княгиней Московской.

Грядущая свадьба была необходима и потому, что симпатии большей части боярства были на стороне Дмитрия — внука Ивана III, которого поддерживали и его дядья — братья Василия, считавшие, что трон должен перейти именно к нему, так как Дмитрий был сыном старшего сына Ивана III — великого князя Тверского Ивана Ивановича Молодого и дочери молдавского господаря Стефана — Елены Волошанки. В феврале 1498 года Иван III венчал пятнадцатилетнего Дмитрия на великое княжение, всенародно провозгласив его наследником престола и собственным соправителем ещё при жизни своей. А когда Дмитрию исполнилось девятнадцать, то судьба его круто переменилась — дед приказал арестовать его вместе с матерью Еленой Стефановой и посадить «за пристава», сиречь под стражу. Здесь не обошлось без интриг Софьи Фоминичны и её всесильных земляков — греков. Арест Елены и Дмитрия произошёл весной 1502 года, а в апреле 1503 года Софья Фоминична умерла, оставив наследником трона своего старшего сына.

Елену умертвили в тюрьме зимой 1505 года, а её несчастный сын так и оставался в узилище, где суждено было ему умереть через четыре года.

Меж тем и сам Иван Васильевич тяжело и неизлечимо заболел, и, находясь почти уже на смертном одре, велел Василию подумать о женитьбе.

По совету печатника — грека Юрия Траханиота, прозывавшегося в Москве Малым и хранившего Большую государственную печать, а также ведавшего государевым архивом и великокняжеской канцелярией, Василий должен был выбрать невесту не из иноземок, а из числа собственных подданных. Юрий Малый надеялся, что избранницей станет его собственная дочь, но, чтобы соблюсти приличия, решил обставить выбор невесты необычным декором — свезти в Москву сотни молодых русских девиц-красавиц и устроить всем им смотрины.

Василий согласился. Из Москвы во все стороны государства помчались бирючи, отыскивая и свозя в столицу воистину звёздный сонм прекрасных претенденток.

Из полутора тысяч притязательниц на его руку, на его сердце, на место рядом с ним у великокняжеского трона отобрал Василий Иванович десять девушек — самых пригожих и прелестных. Облюбовывал он их так: став за ширмой, глядел, как входили в покои взволнованные, залитые румянцем или же как снег побледневшие искательницы своего неожиданного счастья, в роскошных сарафанах, в жемчугах и лалах, в кокошниках, в сафьяновых сапожках и, затаив дыхание, садились на лавки, что стояли напротив ширмы. Догадывались, что жених откуда-то подглядывает за ними, и потому старались сесть так, чтобы выглядеть попригожей, показать товар лицом. Иные сидели затаив дыхание, опустив очи, другие же играли взором, глядели, распахнув дивные очи, чуть улыбаясь, приоткрывая в томлении крохотные алые ротики и представляя жениху ровные жемчужные зубки. Ежели у соревновательниц особо хороши были руки, то привлекали они внимание к рукам, положив их на колени и чуть пошевеливая перстами; ежели особенно красивой оказывалась грудь, то и к персям привлекали они внимание, глубоко и прерывисто дыша и садясь слегка боком, чтобы и государь мог порадовать взор свой их прелестями; а если была девица хороша станом, то обращала она внимание и на эту привлекательность ещё только подходя к лавке, и умащивалась так, чтобы видна была и эта соблазнительная приманчивость, ибо все девицы знали, что жениху идёт 27-й год и в прелестях девиц и жён понимает он толк сообразно своему возрасту.

Так прошли перед Василием Ивановичем все соревновательницы, и отобрал он из всех только десять, а уже тех повели в баню опытнейшие бабы-повитухи, чтобы выведать

главное: не были ли сокрыта какая нелепость или порок, какая хворь или недуг и сможет ли молодая принести мужу потомство?

Разумеется, при том жениха не было, а те из десяти, что были признаны пригодными к продолжению рода, представлялись потом княжичу, и он останавливал свой выбор на одной-единственной. Этой единственной оказалась дочь боярина Юрия Константинова Сабурова — Соломония, чей отец, дед и прадед верой и правдой служили великим московским князьям и наместниками и воеводами.

Свадьбу сыграли 4 сентября 1505 года, а через полтора месяца скончался отец Василия — Иван III. Двадцатишестилетний Великий Московский князь Василий III Иванович взошёл на прародительский престол.

Молодые жили в любви и доверии, надеясь на появление первенца, но Соломония почему-то не беременела, и это ввергало супругов в сугубую печаль. Уезжая из Москвы по монастырям с молебствиями о даровании наследника, Василий оставлял жену правительницей и с нетерпением ждал возвращения домой. Однако же шёл год за годом, а наследника всё не было.

Тогда Василий Иванович в 1520 году, через пятнадцать лет после свадьбы, послал к Константинопольскому патриарху Феолепту тверского епископа Нила Грека, поручив ему получить благословение на развод с Соломонией. Однако Феолепт такого разрешения не дал.

И летом 1523 года, уже через восемнадцать лет после свадьбы, сорокачетырёхлетний Василий в очередной раз отправился в объезд по городам и святыням, решив снова прибегнуть к помощи высших сил, чтобы не оставить пустующим прародительский трон.

Дело ко всему прочему осложнялось тем, что братья Василия: Дмитровский удельный князь Юрий, Углицкий — Дмитрий, Калужский — Семён и Старицкий — Андрей — становились претендентами на престол. А это в недалёком будущем могло ввергнуть страну в междукняжеские усобицы.

В июле 1523 года Василий отправился в паломничество по святым обителям, взяв всех четырёх братьев с собою, а после того как 15 сентября возвратился в Москву, разрешил им разъехаться по уделам.

И как только это случилось, он, по выражению летописи, «начата думати со своими бояры о своей великой княгине Соломоние, что неплодна бысть». И Василий, опять же по словам летописи, говорил боярам: «Кому по мне царствовать на Русской земле и всех градах моих и пределах: братьям ли дам, но ведь братья и своих уделов не умеют устраивать». И говорили ему

бояре: «Разойдись с Соломонией, государь, и вступи в новый брак, ибо неплодную смоковницу посекают и выбрасывают из виноградника». Хотя в 1523 году дело до развода не дошло, Василий стал потихоньку отстранять от себя родственников Соломонии, занимавших важные посты в государстве, и привлекать к себе других вельмож. Вместе с Сабуровым подверглись опале и их сторонники, видные церковные богословы — афонский монах Максим Грек и Вассиан Патрикеев — инок-нестяжатель, по рождению — князь.

Осенью 1525 года, когда Василию уже шёл сорок седьмой год, да и Соломонии было около сорока, великий князь решился на развод. Самой большой сложностью в этом деле был вопрос правовой — в истории Рюриковичей не было случая, когда бы при живой жене задумывалась новая свадьба.

Австрийский дипломат барон Сигизмунд Герберштейн, подолгу живший среди русских и хорошо знавший их обычаи, писал в своих «Записках о Московии»: «Если же кто-нибудь женится на второй жене и таким образом становится двоебрачным, то они это хоть и допускают, но не считают законным браком. Жениться в третий раз они не позволяют без уважительных причин. Четвёртой же жены они никому не разрешают, считая даже, что это не по-христиански».

И всё же, опираясь на содействие митрополита Даниила, ярого врага Вассиана Патрикеева и всех нестяжателей и сторонника и друга Василия Ивановича, разрешение на развод было получено.

Вслед за тем возникло дело о колдовстве, ловко подстроенное угодливыми пособниками Василия.

23 ноября 1525 года после оговора Соломонии в «волховании» был произведён «обыск» и было установлено, что по её просьбе некая ворожея Стефанида для того, чтобы приворожить к постылой жене её мужа, вместе с Соломонией «смачивали заговорённой водой сорочку, порты и чехол и иное платье белое». После этого Василий Иванович, не передавая «колдунью» церковному суду, велел отправить её в Рождественский монастырь, что на Рву, и подготовить к пострижению. Оттуда Соломонию отвезли в Покрово-Суздальский женский монастырь и там насильно остригли волосы и надели монашеский куколь, дав ей новое имя — София. Соломония плакала, кричала и вырывалась из рук экзекуторов. А когда она сорвала с головы куколь, бросила его на пол и растоптала, то главный из дворцовых финнов, доставивших её в Суздаль — Иван Юрьевич Шигона-Поджогин, любимец Василия Ивановича, ударил её плёткой и во гневе вскричал:

— Неужели ты противишься воле государя? Неужели медлишь исполнить его повеление?

— Куколь надели мне против воли моей и по принуждению, — сказала старица София, — и я прошу Господа покарать моих обидчиков и помочь мне.

Несчастную царицу оставили в женском Покровском монастыре. Василий в глубине души раскаивался в содеянном и, желая сгладить этот грех, менее чем за год пожаловал бывшей жене два сёла, лежащие неподалёку от Суздаля, — Павловское и Вышеславское, «до её живота», то есть до конца жизни.

Резко переменил великий князь и отношение к прежнему своему любимцу Шигоне-Поджогину, отстранив его от себя и подчёркнуто охладев к нему, показав тем самым, что при высылке из Москвы Соломонии Шигона перестарался, проявив в холопском рвении усердие не по разуму.

Но все эти акты милосердия по отношению к суздальской затворнице Василий проявит весной и осенью будущего 1526 года, а через два месяца после пострижения Соломонии, 21 января, состоялась для многих совершенно неожиданная свадьба сорокашестилетнего великого князя с двадцатилетней синеокой красавицей — княжной Еленой Васильевной Глинской...

Род князей Глинских, владевших с древнейших времён городами Глинском и Глинницей, а также и соседней с ними Полтавой, происходил от знаменитого золотоордынского темника — хана Мамая, фактического полновластного правителя Золотой Орды, в руках которого остальные ханы были не более чем послушными марионетками. 8 сентября 1380 года Мамай был разгромлен Великим князем Московским Дмитрием Донским в знаменитой Куликовской битве, после чего бежал в Крым, где и был убит.

Спасаясь от мести золотоордынских врагов Мамая, сплотившихся вокруг победителя в междоусобной борьбе хана Тохтамыша, родственники погибшего темника бежали в Литву, отдавшись под власть великого Литовского князя Витольда Кейстутовича. Первым его слугою стал мурза Лексада, принявший при крещении имя Александр. По существовавшей тогда практике переходов из Орды в службу к христианским государям мурзы получали титулы князей.

Его дети, также принявшие христианство и оставшиеся на службе великих князей Литовских, по названию данных им городов стали носить фамилию Глинских.

Братья Иван и Борис Глинские в начале XV столетия уже титуловались князьями. В третьем, а может быть, и в четвёртом

колене князьями были Михаил Львович и два его брата — Василий и Иван. Таким образом, Елена Васильевна носила титул княжны в пятом поколении. Причём по матери своей — княгине Анне Стефановне, происходившей из знатного южнославянского рода, Елена несла в себе благородную кровь и балканских, и волошских аристократов.

Всеведущий Герберштейн писал, что Василий III взял себе в жёны Елену Глинскую, желая, во-первых, иметь от неё детей; во-вторых, из-за того, что по матери она вела свой род от сербского православного рода Петровичей, бывшего в ту пору магнатским венгерским родом, переселившегося из Сербии в Трансильванию и игравшего первые роли при короле Яноше Запольяне; и в-третьих, потому, что дядей Елены был Михаил Глинский — опытный дипломат и выдающийся полководец, который смог бы лучше других защитить своих многочисленных родичей, если бы такая необходимость вдруг возникла.

По отзывам современников, была Елена при необычайной красоте умна, весела нравом и, по меркам того времени, прекрасно образованна. Она знала немецкий и польский языки, говорила и писала по латыни.

Её муж буквально потерял голову от всего этого. Желая понравиться Елене, Василий Иванович сбрил бороду и переменил полувизантийскую-полутатарскую одежду на щегольской польский кунтуш и подобно молодому боярскому франту переобулся в красные сафьяновые сапоги с загнутыми вверх носками.

Возле Василия появились новые люди — более всего родственники, друзья и подруги его новой жены — весёлые, молодые, сильно непохожие на степенных, молчаливых, скучных бояр, окольничих, стольников, окружавших его совсем недавно. Это были братья Елены — Михаил, Иван и Юрий, их жёны — Аксинья и Ксения и целый выводок молодых красавиц, боярынь да боярышень великой княгини — сёстры Челяднины, Третьякова, княжны Волынская и Мстиславская.

Ближе прочих была Глинской Елена Фёдоровна Челяднина — родная сестра князя Ивана Фёдоровича Овчины-Оболенского-Телепнёва — красавца, храбреца и удачливого военачальника, украдкой бросавшего восхищенные взоры на молодую царицу.

Великий князь, на долгое время буквально ошалевший от привалившего ему неожиданного счастья, захлебнувшийся любовным восторгом от неземных ласк молодой красивой жены, совсем не замечал, как Елена Васильевна всё чаще и чаще выказывала своё неравнодушие Ивану Фёдоровичу Овчине. Михаил Львович Глинский, хотя и вышел из каземата, но первое

время после свадьбы племянницы всё ещё сидел «за сторожи» в Кремле. В это время в Москве заговорили о невероятном — рождении в Покровском монастыре у старицы Софьи мальчика.

Сигизмунд Герберштейн писал: «Вдруг возникла молва, что Соломония беременна и скоро разрешится. Этот слух подтвердили две почтенные женщины, супруги первых советников — Юрия Траханиота и постельничего Якова Ивановича Мансурова — и уверяли, что они слышали из уст самой Соломонии признание в том, что она беременна и скоро родит. Услышав это, государь сильно разгневался и удалил от себя обеих женщин, а супругу Траханиота даже побил за то, что она своевременно не сообщила ему об этом. Затем, желая узнать дело с достоверностью, он послал в монастырь, где содержалась Соломония, дьяка Григория Путятина и Фёдора Батракова, поручив им тщательно расследовать правдивость этого слуха... Некоторые же клятвенно утверждали, что Соломония родила сына по имени Георгий, но никому не пожелала показать ребёнка. Мало того, когда к ней были присланы некие лица — то есть Батраков и Путятин — для расследования истины, она ответила им, что они недостойны видеть ребёнка, но когда он облечётся в величие своё, то отомстит за обиду матери».

(Герберштейн — очень точный в передаче фабулы — здесь ошибается, называя одного из дьяков Батраковым, на самом же деле это был Третьяк Раков). Слухи после поездки в Суздаль государевых дьяков не умолкли, а, напротив, имели своё продолжение: говорили, что, спасая сына Соломонии, названного Георгием, верные ей люди переправили младенца в заволжские скиты к старцам-отшельникам, жившим на реке Керженец. Через два десятка лет прошла молва, что Георгий стал неуловимым и отчаянным атаманом, мстителем за бедных и обиженных, прозванным Кудеяром.

Так как Соломония была со всех точек зрения законной великой княгиней, жертвой интриг и козней коварной католички, то и сын её имел ничуть не меньше прав, чем будущие дети Глинской.

В самом конце апреля 1526 года в Москву снова приехал посол австрийского императора Карла V Габсбурга, всё тот же прекрасно осведомлённый в русских делах барон Сигизмунд Герберштейн и папский посланник граф Леонгард Нугарола, бывший при Герберштейне «персоной второго градуса». Хотя его статус папского нунция был не ниже, чем статус посла императора.

Государь призвал к себе цесарских послов 1 мая 1526 года.

Приехавший за немцами дьяк Семён Борисович Трофимов велел Николаю быть при выезде вершником — на немецкий манер — форейтором.

Когда послы и дьяк полезли в карету, запряжённую четвёркой лошадей — две пары одна за другой, Николай сел на первую правую и ждал, пока Трофимов даст знак — выезжай-де — пора.

Послы и дьяк долго церемонились, уступая друг другу места у окошек. Наконец, Трофимов махнул рукой — поезжай.

Первыми за ворота выехали верхами дети боярские, все один к одному — молодые, красивые, здоровые, в парчовых кафтанах, в шапках, шитых жемчугом.

Карету окружили пешие стрельцы. Следом за золочёным с венецейскими стёклами рыдваном неспешно двинулись верхоконные дворяне из свиты цесарских послов.

Герберштейн и Нугарола с нескрываемым любопытством уставились в окна. И если Нугароле всё, что он видел, было в диковину, то Герберштейн, проехавший по Руси уже трижды — от Вильнюса до Москвы и обратно в первый раз, потом в 1517 году и ещё раз в этом — втором посольстве — видел и примечал многое, что Нугарола понять и оценить не мог.

Герберштейн увидел, как выросла и похорошела Москва. Но более всего взволновало и даже испугало его то, что Москва ныне вобрала, впитала и выстроила воедино на своих площадях и улицах как бы всю Русь. Приметливый и бывалый путешественник, он обращал внимание и на рисунок наличников над окнами, и на форму балясин на крыльце, и высоту подклети, и на то, как вырезан конёк над крышей, и как изукрашены слеги — словом, примечал всё то, что отличает один дом от другого и что делает один дом непохожим ни на какой другой.

А по всем этим признакам, встречавшимся ему во время тысячевёрстных странствий по России, он без труда различал избы бывших новгородцев, псковичей, смолян, свезённых из присоединённых городов нынешним великим князем и его отцом — Иваном Васильевичем. И то же замечал в обличье деревянных церквей и часовенок, ибо они также сохраняли приметы своих родных краёв независимо от того, была ли то односрубная клетская церквушка об одной маковке или же многоглавый храм с «бочками» и куполами, с галереями и звонницей. И ещё одно бросилось в глаза барону Сигизмунду — много стало на Москве каменных церквей.

— Благолепна стала Москва, — проронил он, с усилием улыбаясь, — велика и многолюдна.

Дьяк Трофимов с самодовольной важностью склонил голову.

— Третий Рим, — торжественно изрёк Семён Борисович, и

немцы согласно — из вежества, а может, и от чистого сердца тоже склонили головы.

Меж тем посольский кортеж приблизился к Троицкой площади, что лежала перед самым Кремлем и из-за того, что была главной торговой площадью, именовалась также Торгом.

Неподалёку от въезда на площадь Герберштейн увидел ещё один новый храм, и дьяк Трофимов сказал ему, что это одна из двенадцати церквей, воздвигнутых повелением великого князя после того, как Герберштейн девять лет тому назад уехал из Москвы, и что поставлена она в честь и память о введении во храм пресвятой Богородицы.

Как только церковь осталась позади, послы увидели площадь, забитую несметными толпами народа и пёстрой сумятицей многочисленных торговых лавок. На дальней, западной стороне площади возвышались три ряда стен. Два первых были выложены из белого камня и шли по обеим сторонам рва, наполненного водой. За рвом и стенами краснела третья стена — высокая, зубчатая, как кружевом изукрашенная стремительными ласточкиными хвостами зубцов.

По случаю въезда послов на государев двор все лавки были закрыты, а все купчишки, лавочные сидельцы и коробейники, а паче того тьма-тьмущая горшечников, оружейников, ткачей и многих иных ремесленных людей, и более всего мужиков и баб, отправившихся на торг за покупками, многотысячной плотной толпой стояли на пути посольского выезда.

Карета с превеликим трудом протискивалась сквозь толпу, правя на мост к Фроловским воротам.

На мосту, с обеих сторон, тесными шеренгами стояли стрельцы в одинаковых — алого сукна — кафтанах, с бердышами на плечах.

Посольская кавалькада въехала в Кремль, где, к удивлению Нугаролы, народу было ничуть не меньше, чем на Троицкой площади. Карету остановили сразу за воротами, и послы сквозь толпу стали проталкиваться к Красному крыльцу Грановитой палаты.

Раздражённый толкотнёй и сумятицей Нугарола спросил Герберштейна:

— Что это за порядки, барон? Неужели великий князь не может выставить вон этих праздношатающихся простолюдинов?

Герберштейн ответил улыбаясь:

— В том-то и дело, любезный граф, что всё это делается намеренно — князь московский нарочно собирает народ, чтобы иноземцы видели, сколь сильна и многолюдна его держава.

Когда наконец разгорячённые и притомившиеся послы

добрались до Грановитой палаты, они увидели многих бояр и иных ближних государевых людей, ожидавших их на ступенях высокого Красного крыльца.

Бояре, обнимая послов, троекратно целовали каждого из них, и передавали из рук в руки со ступеньки на ступеньку, всё выше и выше, пока, наконец, не распахнулась перед ними резная дверь, окованная красною листовою медью. Послы сняли шляпы и, гордо выпрямившись, вошли в государеву палату.

Герберштейн и Нугарола шли через длинную анфиладу сводчатых залов, расписанных яркими диковинными цветами и травами.

Герберштейн, любивший зодчество и знавший в нём толк, заметил, что посередине некоторых залов стояли опорные столбы, называемые русскими «Павлиний хвост». Столбы эти шли вверх к потолку, расширяясь от средоточия. И в согласии с названием была и их роспись — настоящие павлиньи хвосты — споривша и побеждавшая в споре другие росписи и радужным богатством красок, и весёлой сказочной красотой рисунков.

В дверях самого большого зала послы остановились. У противоположной стены на помосте, крытом алым фландрским сукном, в высоком кресле из слоновой кости недвижно сидел Великий князь Московский — горбоносый, худощавый, сосредоточенный. Герберштейн отметил, что Василий Иванович со времени их последней встречи сильно осунулся, глаза у него ввалились, скулы заметно заострились, наверное оттого, что великий князь побрился и теперь всё, что прежде было скрыто пышной окладистой бородой, резко проступало наружу. Рядом с Василием Ивановичем стоял князь и боярин Александр Владимирович Ростовский, а за спиною у него — незнакомый Герберштейну подьячий. Вдоль стен, слева и справа от послов, плотно сидели думные бояре и дьяки.

— Великий государь, — начал Герберштейн, — шлют тебе поклон и братский привет император Священной Римской империи германской нации Карл Пятый и его брат эрцгерцог австрийский Фердинанд.

Оба посла, низко поклонившись, коснулись полями шляп ковра.

Василий Иванович степенно поднялся с трона и медленно подошёл к послам.

Чуть склонив голову, он протянул руку сначала Нугароле, а затем Герберштейну.

— Поздорову ли избранный цесарь римский Каролус и брат его Фердинанд?

— Здоровы, государь, — дуэтом откликнулись послы и поклонились ещё раз.

Василий Иванович также степенно и неспешно пошёл обратно к трону. Герберштейн отметил, что в отличие от первого посольства великий князь не стал мыть рук после того, как поздоровался с нечистыми схизматиками папежской веры. А девять лет назад сразу же после рукопожатия московский государь омыл персты в золотом тазу и тщательно вытер расшитым рушником.

«Не иначе как Елена Глинская повлияла на Василия», — подумал Герберштейн, связав воедино и изменение во внешности великого князя и перемену в обычае.

Затем Нугарола сказал:

— Император просил передать тебе, Великий князь Московский, что в мире нет ныне более могучих государей, чем ты и он. Император предлагает себе союз и дружбу для того, чтобы басурманская рука не высилась над рукой христианской. И если государства наши сообща выступят против неверных агарян, то ты, Великий князь Московский, получишь Константинополь — вотчину матери твоей Зои Палеолог.

Василий Иванович молчал.

Тогда в разговор вступил Герберштейн.

— Не только Россия и империя поднимут меч на османов. Все христианские государи примкнут к этому священному делу. Короли Венгрии и Чехии, Польши и Литвы, великий магистр Тевтонского ордена, Папа и светские государи Италии пойдут вместе с нами в новый крестовый поход на неверных.

Василий Иванович молчал.

— Государь, — продолжал Нугарола, — император более всего хотел бы того, о чём мы только что сказали тебе, но для этого необходимо, чтобы все христианские страны перестали враждовать друг с другом, и хорошо было бы, если бы ты, государь, позволил польским послам приехать к тебе для мира между вашими странами.

Василий Иванович проронил с холодной безучастностью:

— Мы в мире и приязни с любым народом жить согласны. И будь то магометане или католики, ежели они на нас с мечом не идут, то и мы на брань не подвигнемся. А послам, кои хотят приехать к нам с добром и миром, дорога всегда чиста.

Нугарола почувствовал: вот он — тот самый момент, когда великий князь выполнит и ещё одну просьбу, ибо согласие на встречу с польскими послами было ничтожно малой платой за всё, что перенесли они, добираясь до Москвы.

— Великий государь! — сказал Нугарола. — Император

просит тебя ради вашей дружбы и уважения к памяти его отца Максимилиана, который тебе и твоему великому родителю Иоанну был приятелем, пожаловать князя Михаила Глинского — отпустить его на волю, ибо князь Михаил цесарю Максимилиану был верный слуга и товарищ.

Василий Иванович опустил глаза.

— Ради любви и приязни нашей, — проговорил он негромко с подчёркнутым нежеланием, — отпущу Глинскому его вины, сниму с него опалу.

Послы согнулись в наипочтительнейшем поклоне.

Василий Иванович встал. Встали и думные чины.

— А теперь прошу за трапезу, — иным тоном — не великого государя, а гостеприимного хозяина — проговорил Василий Иванович и, приняв из рук князя Ростовского посох, важно пошёл к двери, за которой расторопные слуги уже успели накрыть праздничные столы.

На следующий день после аудиенции было назначено освобождение Михаила Львовича из неволи.

...Первыми выскочили до двор и шмыгнули вдоль башенной стены два ката, что снимали с Глинского цепи.

Затем в дверном проёме показался и он сам — бледный, седой, изрядно похудевший, но такой же, как и прежде: прямой и надменный. Остановился, припав плечом к притолоке, и медленно обвёл очами небольшую толпу людей, молча ожидавших его на залитом вешним светом дворе.

Знавшие Глинского прежде придворные, присутствовавшие при его освобождении, люди во всём многоопытные, заметили нехорошие перемены в облике Михаила Львовича, увидев и то, что не сразу бросалось в глаза, — взор князя остался таким же, как и прежде: вызов, гордыня и упорство нераскаявшегося грешника, не таясь, плескались в его очах, и он не прятал эти сатанинские страсти, но, напротив, как бы говорил собравшимся: «Каким был, таким остаюсь, и пребуду таким же во веки веков». И, странное дело, выйди Михаил Львович согбенным и тихим, опусти он глаза долу или взгляни на людей робко и заискивающе — никто не поверил бы ему, всяк про себя подумал бы: «Хитрит, старый лис, таит, поди, мстительную злобу, да страшится выказывать всё это». А встретившись с его взглядом ныне, почти каждый из стоявших у дверей узилища испытал некое упоение — не всё и великому князю под силу, не всё и он может.

А ещё увидел Михаил Львович, что не было среди ждущих его ни великого князя, ни племянницы — Елены Васильевны. И, удивившись, прочли собравшиеся в глазах узника, не

отыскавшего своих господ и повелителей, скорбь и удивление: почему же нет их? И многие поняли: сейчас вернут Михаила Львовича обратно в стрельню. Так оно и вышло: сняли кузнецы оковы с рук и ног Михаила Львовича и вернули его в башню «за пристава».

А после того, прежде чем вышел Глинский на волю окончательно, взял великий князь крестоцеловальную запись у сорока семи бояр и детей боярских, поручившихся за Михаила Львовича пятью тысячами рублей. Если бы старый мятежник сбежал за рубеж, эти деньги были бы с поручников взысканы в государеву казну: Василий Иванович и в этом случае внакладе не оказался бы. И вот, лишь через десять месяцев после того, 28 февраля 1527 года Глинский вышел из неволи и почти сразу же уехал в вотчину свою — Стародуб, стоявший у самой литовской границы в глубине брянских лесов. Однако же не прошло и полугода, как Елена Васильевна уговорила августейшего своего супруга вернуть любимого дядюшку в Москву. А ещё через два месяца женился он на дочери князя Ивана Васильевича Оболенского-Немого — Анастасии, и тем породнился с многолюдным семейством, в котором без числа было и воевод, и наместников, и иных сильных и знатных вельмож. И среди прочих стал ему роднёй и Иван Фёдорович Овчина-Телепнёв-Оболенский.

Судьбе было угодно, чтобы именно в тот год, когда Михаил Львович женился, родич его новой жены князь Овчина был поставлен государем во главе большой московской рати, вышедшей осенью супротив хана Ислам-Гирея.

Ранней осенью 1527 года в Москве снова гудели набатные колокола, и снова шли на берег Оки пешие и конные рати, чтобы остановить сорокатысячную орду крымского хана Ислам-Гирея.

Однако на этот раз русские не стали ждать, пока крымцы перейдут реку, но сами скрытно переправились на южный берег и, внезапно ударив по ордынским силам, повернули татар вспять. И в этой битве первым и самым храбрым среди государевых воевод сказался князь Овчина.

Именно в это время, после того как полки Овчины победителями вернулись в столицу и когда десятки тысяч горожан увидели молодого красавца во главе осиянной славою рати, по Москве пополз слух, что князь Иван и молодая великая княгиня давненько уже строят козни за спиной старого государя. Правда, впервые об этом стали поговаривать сразу же после свадьбы великого князя, но пересуды не выходили из стен боярских хором, а теперь многие досужие умы стали перемывать косточки двум самым красивым и знатным особам, нимало не беспокоясь: а правда ли это?

В ночь на 25 августа 1530 года над Москвой разразилась невиданная гроза. Ещё с вечера стали копиться густые тяжёлые тучи чернее воронова крыла. Они шли низко, едва не цепляясь за маковки соборов и колоколен, окутывая город плотной жаркой пеленой, не пропускавшей нагретый за день воздух. И москвичам казалось, что не в сады, не на улицы и не в огороды вышли они вечером, а попали в тесную курную баню, где нет трубы и дым вместе с паром едва проходит через малое оконце. А когда смерклось, то совсем непонятно стало, отчего опустился мрак: то ли ночь наступила, то ли тучи вконец обволокли Москву?

Предчувствуя беду, замолчали птицы. Даже воронье, беспрестанно кричавшее над старыми садами и кладбищами, и то смолкло.

Воздух совсем уже загустел и недвижной патокой разлился меж землёю и тучами.

И вдруг, враз, едва не дюжина огненных сполохов распорола тьму и, будто повинуясь поданному молниями знаку, со всех сторон рванулись к Москве сокрушительные потоки воздушных вихрей.

Изо всех изб, опасаясь пожара, выскакивали люди, вынося иконы, ларцы, иные пожитки, что получше. Схватив детей, бежали к недалёким от них рекам — Москве, Сетуни, Неглинной, Пресне, Ходынке, Яузе. Те же, у кого в доме и добра и людей было поболе, хватали ведра и бадьи, верёвки и коромысла, багры и лопаты, решившись отстоять нажитое добро.

Сначала буря сорвала с деревьев листья и сухие ветки, потом пригнула молодые деревца, одновременно подняв с земли сор и солому, сено и рогожи, вслед за тем над улицей полетели доски, жерди и всякий мелкий скарб, хранившийся во дворах.

А ещё через совсем малое время стали рушиться крыши ветхих избушек, со скрипом падать заборы и, сокрушая всё, валиться старые деревья.

От ударов бури сами по себе стали раскачиваться колокола на звонницах церквей, вплетая набатный гул в жалобные крики людей, ржание мечущихся лошадей и холодящий душу собачий вой. А ветер не унимался, и молнии огненными стрелами пробивали мглу, и от этого во всех концах города загорелись избы, хлевы, сараи и риги. Ветер срывал клочья огня с одной избы и перебрасывал их на соседние, и швырял их с одной улицы — на другие.

К рассвету буря улеглась. И что было ужасно и дивно — тучи прошли, не обронив ни капли дождя, и пожар можно было гасить только речной и колодезной водою...

Когда за Москвой-рекой заалела заря, ни одно облачко уже не закрывало небосвода. Только синие да серые столбы дыма узкими лентами и широкими полосами неспешно и ровно вздымались к лазури, а на смену сатанинской музыке минувшей ночи нарастал и нарастал шум великих работ, торжествующей и победоносной жизни.

Когда — близко к поздней обедне — загасили последние очаги пожара, растащили тлеющие брёвна и засыпали землёй горячие пепелища, бирючи прокричали по всему городу, что в эту ночь великая княгиня Елена Васильевна родила государю наследника, через несколько дней наречённого Иваном. Это был будущий Иван Васильевич Грозный.

Предсмертные хлопоты

4 сентября — на десятый день после рождения — наследника Московского престола привезли в Троице-Сергиев монастырь.

От тысячных толп пришедших на крестины богомольцев негде было упасть и яблоку. Не только благочестие привело их сюда ныне: ждали православные, осыплет их на радостях золотом и серебром счастливый отец, дождавшийся на пятьдесят втором году жизни сына-первенца.

Пока в Троицком соборе шло крещение, люди, стоявшие вокруг храма, гомонили:

— Неспроста наследника-то в Троицу крестить повезли. Обитель-то святой Сергий построил, а до того как монашеский чин принять, имя ему было — Варфоломей.

— Не пойму, что у тебя к чему?

— А ты смекай. Когда сын-то у государя родился? 25 августа. А это какой день? День апостола Варфоломея и святого Тита.

— Ловко! — подхватывали слушатели.

— А я, православные, в Москве слышал: ходил, бают, по торгу юрод, именем Доментий, и прорицал: «Родится-де вскоре Тит — широкий ум». Вот он, поди, и народился.

Других заботило иное: сколько денег прикажет высыпать сегодня милостыни великий князь? У них и разговоры были под стать:

— Со всех, на кого Василий Иванович допреж сего опалился, ныне, бают, опалу снял.

Надменного вида дородный человек, выказывая близость к государевым делам, пророкотал важно:

— С князя Мстиславского Фёдора Михайловича, да с князя же Горбатого Бориса Ивановича, да с князя Щени Даниила Васильевича, да с дворецкого Ивана Юрьевича Шигоны, а также с многих иных знатных людей государь наш, великий князь, немилость свою на милость переменил.

— А правда ли, батюшка, сказывают, что прежнюю жену свою велел государь в Москву вернуть? — простодушно поинтересовалась молодая бабёнка.

— А вот то, баба, не твоего ума дело! — вызверился дородный. — Эка, языком чесать!

Бабёнка боком-боком ушмыгнула от греха подальше: неровен час — схватят, не поглядят, что и праздник.

А иные шёпотом да с оглядкой говорили доверительно:

— Не к добру это, православные. Знамение это. Отродясь и старики подобной грозы не видывали. Грозный, надо быть, народился царь.

В другом месте, тоже с великим бережением, чтоб не подслушали государевы доводчики, бормотали невнятно:

— Доподлинно знаю: бабка-повитуха, что младенца принимала, моей сестре свекровью доводится — так она сама видела — родился младенец с зубами. И зубы у него — в два ряда.

Слушатели крестились, ахали.

Маленький, совсем уже ветхий старичок подхватывал:

— Ехала ныне через Москву казанская ханша и, о том узнав, прорицала: «Родился-де у вас царь, и у него двои зубы, и одними ему съесть нас, а другими — вас».

Слушатели, ужасаясь, отходили в сторону, тихо повторяя: «Спаси нас, пресвятая Богородица, и помилуй».

Меж тем распахнулись резные двери Троицкого собора, и крестный отец новорождённого, монах Касьян Босой, вышел на паперть, бережно неся на руках белый парчовый свёрток.

Однако великий князь не выходил, а вместо него появились ещё два черноризца — второй и третий крестные отцы будущего великого князя. И тогда толпа качнулась, желая подойти поближе, но тут же откуда ни возьмись ссыпались навстречу зевакам стрельцы, рынды, дети боярские — мордастые, широкоплечие, и, сцепив меж собою руки, попёрли на толпу, грозно набычившись.

Любопытные упёрлись: не для того отломали они семьдесят вёрст, чтобы кто-то другой получил великокняжеские гостинцы.

Монахи, предчувствуя приближающуюся замятию, отступили в храм. И тогда чинным строем вышли на паперть государевы служилые люди и с ними протодьякон Троицкого собора — рыжий детина саженного роста и необъятной толщины. Протодьякон воздел руки и зверообразным рыком, от которого прежде не раз гасли свечи в храме, возопил: «Во имя отца, и сына, и святого духа! Крещён ныне великого государя и великой государыни сын, и наречён Иоанном!»

И тут же ударили колокола, и государевы слуги стали бросать во все стороны деньги, будто не медь то была и не серебряные полушки, а святая вода, коею иереи кропят прихожан.

Милостивцы не абы как бросали деньги, но со смыслом. Более всего — в стороны, налево и направо от паперти, и как можно дальше. Народ тут же кинулся в обе стороны, расчистив до самых ворот широкий свободный проход.

Николай, находившийся в толпе, отступил в сторону и

продолжал смотреть на распахнутые врата собора. И вот тогда-то из храма вышли Василий Иванович с женой и первые вельможи государства. Великий князь шёл первым и всё время оглядывался — ладно ли несёт мамка, боярыня Елена Челяднина, сына его — Ивана Васильевича?

А Елена Васильевна показалась Николаю усталой и грустной. Николай искал глазами хозяина своего Михаила Львовича, но поблизости от великого князя его не было.

Глинский вышел из собора последним. Он тоже почему-то был невесел. Но если грусть Елены Васильевны была светла, то печаль её дяди показалась Николаю чёрной тучей, что прошла над Москвой десять дней тому назад.

А потом было разное: один засушливый год приходил на смену другому, и горели вокруг Москвы леса и болота; от синего дыма, ползущего по мостовым, нечем было дышать. Падали во дворы опалённые огнём птицы, и из-за великой бескормицы ворона во многих домах почиталась за прежнюю курицу. На торгу золото шло за серебро, а серебро — за медь, и потому появилось много поддельных обманных денег. Голод привёл за собою болезни, татьбу и разбои. Ежедень из пыточных застенков тащили на плаху лихих людей, за татьбу рубили руки, за разбой — голову. Фальшивомонетчикам заливали в горло расплавленный металл.

В малых городках, где власть была послабее, начались гиль и воровство.

Народ винил во всём бояр, многие недовольные государем бояре обвиняли во всём государя. Первые вельможи государства зашатались — только что прощённый Фёдор Михайлович Мстиславский побежал в Литву. А ведь именно его до рождения сына Василий Иванович прочил себе в преемники, в обиход своих братьев Юрия и Андрея.

Однако в Можайске беглец был пойман и водворён в Москву.

К Дмитрию Фёдоровичу Бельскому, брату опального воеводы, приставили караул: неусыпно и днём и ночью при его особе состояли дети боярские.

С братьями государя было и того хуже — не только Юрий, но и тихоня Андрей напустили своих холопов на государевы вотчины. И те их грабили и пустошили, и чинили всякие насилия и бесчинства. И дело дошло до того, что бунташные княжата стали сноситься с литовцами и крымчаками, и в подтверждение силы своей Юрий дерзнул взять на щит Рязань, а Андрей попытался захватить Белоозеро, где хранилась великокняжеская государственная казна.

Мятежных братьев смирили, взяли с них новые крестоцеловальные записи на верность государю и сыну его — Ивану Васильевичу, по городам разослали бояр и дьяков, а буде требовалось, и воевод с отрядами — приводить горожан к присяге.

Братья вроде бы смирились, бояре вроде бы поутихли, в городах как будто стало спокойнее. Однако кто их разберёт, о чём они думали, присягая?

И снова безбожный Ислам-Гирей приходил на Оку и подступал к Рязани, но, Бог миловал, отогнал его князь Овчина. А кроме этого ничего доброго и не было. И удачи никакой не было никому.

Несчастье не обошло и великого князя: 30 октября 1532 года Елена Васильевна разрешилась вторым сыном — Юрием, но вскоре стало ясно, что он лишён всяческого разумения и повреждён во всех членах.

На следующий, 1533 год, в ночь на 4 июня над Москвою встала огненная хвостатая звезда и долго никуда не уходила, а ещё через два с половиной месяца, 19 августа, среди дня погасло солнце, и стала над городом на малое время как бы глубокая ночь. Порассудив меж собою, к чему бы являться одному за другим столь редким и дивным знамениям? — порешили граждане, что беспременно надобно ждать в царстве Московском в самое близкое время великих перемен.

9 октября 1533 года — ещё не угас месяц и не поднялось солнце, к Николаю примчался посыльный: звать к Михаилу Львовичу.

— Князь велел наборзе к нему ехать, — сказал гонец и тут же ускакал.

Волчонок застал Михаила Львовича в глубокой задумчивости. На вопрос: что делать и куда ехать? — Глинский не ответил — думал о чём-то своём.

Потом, вдруг встрепенувшись, проговорил прерывисто:

— Поедешь со мной... в Колпь... под Волоколамск... Вот... только... дождёмся... государевых лекарей... Николая да Теофила.

Лекари вскоре прибыли. Повозки для всех были уже готовы — и крытые, на случай дождя, и открытые — для нынешней погоды, тёплой и ясной. Лекарские помощники, княжеские слуги, вскинулись в сёдла. Глинский и два врача сели в открытую повозку. Николаю велено было сесть на облучок — кучером.

Ворота распахнулись, княжеская тройка рванулась с места, и, заливаясь колокольчиками, резво пошла к Волоколамской дороге.

Кони сами мчались вперёд, будто угадывая, куда нужно

скакать, и словно понимая, что сто тридцать вёрст пути следует пройти дотемна. За господским экипажем шли другие трёх- и двуконные повозки, а верховые, растянувшись недлинной цепочкой, пылили в конце кавалькады.

Из-за того что Николаю почти не нужно было следить за ходом тройки, он, опустив поводья, внимательно слушал, о чём говорят три лекаря между собой, — Михаил Львович любил потолковать о врачебном искусстве с людьми, хорошо знающими это дело, и среди медиков считал себя их собратом.

— Что же с государем? — спросил самый молодой из трёх целителей — Теофил.

Ему ответил старейший из всех — Николай из Любека:

— Дней десять назад, когда государь охотился в лесах возле Волоколамска, у него на левом бедре появилась язвочка багрового цвета размером с пшеничное зёрнышко. С каждым днём язвочка понемногу увеличивалась и болела всё сильнее и сильнее. Вчера государь послал гонца в Москву и велел всем нам ехать к нему.

— Что же это может быть? — спросил Глинский. Оба лекаря отвечали неопределённо.

— Без осмотра, — говорили они, — сам Эскулап затруднился бы сказать, что с государем случилось.

Ехали быстро, не останавливаясь. И ещё засветло добрались до села Колпь. Когда подъехали к избе, где ждал их недужный государь, Глинский распорядился:

— Николай, бери сумку со снадобьями и неси в избу.

Николай, осторожно ступая, прошёл через сени в покой. Василий Иванович лежал, утопая в перинах. Николай не заметил ни белизны щёк, ни замутнённости взора, ни болезненной худобы. Казалось, что великий князь совершенно здоров.

Откинув лёгкий плат, лекари и Глинский склонились над больным. Затем они стали быстро говорить по-латыни, а о чём тарабарили, того ни Николай, ни другие присутствующие в избе люди ни слова не поняли.

Николай Любчанин что-то сказал помощникам и те, быстро отыскав в коробах лук, муку и мёд, начали готовить лекарство. Мёд перемешали с мукой, лук расслоили и стали печь на плите. Затем к болячке приложили печёный лук, а сверху залепили его медовой лепёшкой, плотно перевязав чресла чистой беленой холстиной.

Николая поселили вместе с лекарскими помощниками — молодыми мужиками — Власием да Пантелеем. Первый служил у Николая Любчанина, второй — у Теофила. Власий до всякого

знания был охоч, до всего неведомого зело любопытен. Пантелею служба у Теофила была безразлична: так же, как и медициной, занимался бы он и любым другим делом. Потому-то и сошёлся Николай с Власием. На первых порах порассказали они друг другу о себе, а потом, как водится, о своих господах. Ох, сколь интересным и занятным оказался хозяин Власия! Оказывается, что жил Любчанин в России уже более сорока лет — оттого-то и говорил он по-русски столь хорошо и чисто, будто здесь родился. А до того как приехать к нам, был врачом — не кого-нибудь! — самого Римского Папы Иннокентия. В Риме, рассказывал Власий, с его господином познакомился Юрий Дмитриевич Траханиот — хранитель Большой государственной печати и казначей великого князя.

«Эге, — смекнул Волчонок, — не простой человек забрал немца с собою. Мало того что Траханиот сосватал Василию Ивановичу его первую жену и свою дочь сумел выдать замуж за Шигону-Поджогина, тоже не последнего человека в государстве». Любчанин, настоящая фамилия коего была Булев, на первых порах взялся не за врачевание. В год его приезда в Россию там были дела и поважнее лечения.

Булева привезли не в Москву, а в Новгород — к архиепископу Геннадию, учёнейшему мужу, который, если бы не был столь сварлив, неуступчив и ко всему на свете строг, давно стал бы митрополитом. Геннадий и поручил немцу дело наиважнейшее — составлять пасхалии на восьмую тысячу лет от Сотворения мира.

Булев приехал в Новгород в 1491 году от рождества Христова. От рождества вели счёт в латинских, католических европейских странах. В России и иных православных государствах, по древней византийской традиции, счёт вели от Сотворения мира.

В следующем, 1492 году, по византийскому календарю кончалась седьмая тысяча лет, как Господь сотворил Землю.

Во многих городах юродивые и безумные предрекали конец света и страшный суд, неправедно и лживо утверждая, что миру сему предначертано просуществовать ровно семь тысяч лет и ни одним днём больше. Пророков метали в застенки, урезали языки, но многие тысячи простодушных верили прорицателям и тем усиливали брожение умов.

Булев быстро составил календарь и пасхалии на следующую — восьмую тысячу лет и отправился восвояси, но на ливонском рубеже был схвачен и отвезён в Москву: служить отцу нынешнего государя — Ивану Васильевичу.

Здесь и жил до сей поры, занимаясь медициной, предсказаниями судьбы по звёздам, сбором целебных трав и чтением всех книг, какие только попадали ему под руку.

Все европейские послы считали обязательным повидаться с Булевым и, уезжая, нелицемерно почитали старика «профессором медицины и основательнейшим во всех науках».

А старик переводил «Травники» — трактаты о лекарственных растениях, переложил на русский язык «Шестокрыл» — учёное рассуждение об исчислении времён, но более всего любил пофилософствовать с книжными людьми о единении церквей — католической и православной.

Другому бы за такие зломудрствования не поздоровилось, государеву целителю — сходило. Волчонок слушал Власия, а сам вспоминал встречу Булева с Герберштейном, когда лекарь откровенно и по-дружески обсуждал дела цесарского посла, как свои собственные. И ещё что-то беспокоило Волчонка, но сколько он ни пытался вспомнить — что же это? — отдалённое воспоминание, чуть приблизившись, тут же отлетало.

Однако более прочих дел занимало всех здоровье государя. Всякий раз, возвращаясь от одра великого князя, и Власий и Панкрат становились всё мрачнее. И не в том дело, что оба они жалели больного, хотя было, конечно, и это. Тужили они более всего из-за того, что не так уж редко оставшиеся в живых наследники посылали неудачливых жрецов Асклепия на плаху. А дело вроде бы шло к тому.

Через две недели безуспешного лечения Василия Ивановича унесли на носилках в Волоколамский монастырь.

Там уже язва стала столь глубока и обширна, что за сутки выходило из неё по полтаза гною. Больной потерял аппетит и стал таять на глазах.

23 октября втайне от всех из монастыря уехали дьяк Менык-Путятин и постельничий Мансуров. Через три дня они привезли завещание, составленное великим князем несколько лет назад, и духовную грамоту его отца — Ивана Васильевича.

Больной повелел своё завещание сжечь и стал обдумывать новое. В полдень он велел позвать к себе в опочивальню ближайших сподвижников. Когда все они чинно расселись вдоль стен, государь с печалью и кротостью оглядел всех, а потом, подолгу задерживая взгляд на каждом, как бы спросил одного за другим: чего ждать от вас государству моему, на кого я оставляю державу и сына с женой?

И так, вопрошая каждого взором, посмотрел в очи Ивану Юрьевичу Шигоне-Поджогину и дьяку Григорию Никитичу Менынику-Путятину, с которыми, сам-третий, почти всегда решал наиважнейшие дела. И взглянул на племянника Дмитрия Бельского — единственного кровного своего родича среди всех собравшихся здесь, и на князей Шуйского и Кубенского, но

дольше всех, как бы пытаясь прочесть нечто сокровенное, глядел он в глаза Михаилу Львовичу.

И во взоре каждого видел одно и то же: скорбь из-за того, что он недужен, и обещание — «Не сомневайся, государь, верь мне. Буду державе и сыну твоему твёрдокаменной опорой и нерушимой стеной».

И вдруг тихо растворилась дверь опочивальни и на пороге появился брат государя — князь Дмитровский Юрий.

«Кто впустил?!» — хотел крикнуть Василий Иванович, но сдержался, подумав: «Какой же слуга посмеет не пустить брата к брату, даже если и получил наказ не впускать никого».

Юрий стоял на пороге, не смея без приглашения пройти в горницу, а Василий Иванович молчал, так же пристально глядя в глаза брату.

И хорошо видел: нет в его взоре того, что прочёл он у других, — ни скорби, ни клятвы на верность. Есть другое — нескрываемое любопытство: так ли плох старший брат, как доносили о том его приспешники.

«Почуял, ворон, что запахло падалью», — подумал Василий Иванович и, вспомнив все обиды, какие нанёс ему Юрий при жизни, а особо что не приехал на крестины младенца Ивана, сказал презрительно:

— Кто звал тебя сюда? — И, не дожидаясь ответа, почти крикнул: — Не надобен мне еси, езжай к себе!

Юрий раздул ноздри, тяжко задышал и, уходя, хлопнул дверью так, будто избу хотел завалить.

Василий помолчал немного и, словно не был здесь только что Юрий, проговорил негромко и ровно:

— Царство моё завещаю я сыну моему, Ивану. А ты, — обратился великий князь к дьяку Меншику-Путятину, который записывал государев наказ, — всё, что тебе скажу, пропиши, как достойно: «Мы, Великий князь Владимирский и прочая, и прочая», а ежели что в титуле пропустишь, то, когда перебелять станешь, всё попригожу вставишь.

Василий помолчал немного и медленно, чтобы дьяк поспевал записывать, продолжал:

— Приказываю вам, бояре, и своих сестричей — князя Дмитрия Фёдоровича Бельского с братиею и князя Михаила Львовича Глинского, занеже князь Михайла по жене моей мне племя. И они будут сына моего беречь и тела свои за него дадут на раздробление.

Государь повернулся на бок.

Шигона и князь Иван Кубенский тотчас же подбежали к постели.

— Посадите меня, — попросил больной.

И, сидя в подушках, голосом громким и грозным, как прежде, сказал, отчеканивая каждое слово:

— И чтоб все вы всегда были вместе и все государственные дела делали сообща.

Затем, так же тихо, как и сначала, Василий Иванович продолжал:

— А младшему моему сыну, Юрию, оставляю я Углич. А брату моему Андрею Ивановичу в прибавку к тем вотчинам, что ныне за ним, даю я город Волоколамск.

Больной сполз с подушек, велел отереть ему пот с лица и совсем уж кротко сказал:

— Идите с Богом все. Оставьте меня одного.

Через полмесяца больному стало совсем плохо. Его положили в большой рыдван, а вместе с ним поехали новый недавно приехавший лекарь Ян, дьяк Путятин и Шигона. Большой государев поезд двинулся к Москве. Глинский уезжал так же, как и приехал, взяв с собою в крытую повозку Булева и Теофила. Из-за того, что Николаю снова разломило поясницу и надобно было беречься застуды, князь и его взял в карету.

Ехали в скорбном молчании, и если лекари ещё перебрасывались двумя-тремя фразами, то Михаил Львович совсем будто онемел. Сидел, закрыв глаза, но видно было — не дремал, а о чём-то неотступно думал. Молчал и Николай.

21 ноября остановились в виду Москвы на высокой горе, в сельце Воробьёво. Дали государю полежать в покое. Когда через двое суток, перед самыми сумерками, вынесли недужного к рыдвану, Булев тихо проговорил, обращаясь к Теофилу по-немецки:

— Сердце иссыхает, когда вижу всё это. Я ведь Василия Ивановича ещё отроком пестовал, и в дом его входил, как в свой, и не было у него от меня никаких тайн.

И вдруг Николай вспомнил: тайник в Мономаховом доме и доверительную беседу двух послов, и каверзный тон барона Герберштейна: «Подождите, граф, я расскажу вам нечто прелюбопытное, о чём я узнал из письма моего агента, который вхож в семью князя Василия и знает все его тайны».

«Булев!» — ахнул Николай, стоявший рядом и даже вздрогнул.

— Чего это ты? — спросил старый лекарь.

— Корчи, проклятые, опять в поясницу вступают, — соврал Волчонок и для убедительности скривился.

— Приедем в Москву — долечимся, — обнадёжил его

Булев.

В ту же ночь Василия Ивановича тайно ввезли в Москву, и он велел нимало не медля на следующее же утро собрать Боярскую думу.

3 декабря к постели умирающего были призваны все думные чины — бояре, окольничие, дьяки, дети боярские, а вместе с ними митрополит и все князья и княжата. Для предсмертной присяги и прощания были допущены и братья его Юрий да Андрей.

Посовещавшись с Шигоной и дьяком Путятиным, Василий еле внятно попросил привести к нему Елену Васильевну и обоих сыновей.

Пошли за женой и детьми.

Стояла такая тишина, что во всех углах обширного покоя было явственно слышно, как сипло и тяжко дышит великий князь.

Елена вошла, запрокинув голову, сцепив пальцы на горле. За нею боярыня Челяднина вела маленького Ивана. Забыв чин — почти бегом, пересекла покой и рухнула перед постелью мужа на колени. Утопив лицо в одеяле, шарила, ничего не видя, по постели, бормотала, рыдая, нечто несвязное. Глинский бережно взял её за плечи, поставил на ноги, сжав руку, шепнул о чём-то. Елена перевела дух, подошла к изголовью мужа и, сдерживая плач, спросила с горечью, разрывающей сердце:

— Государь мой, великий князь! На кого ты меня оставляешь и кому приказываешь наших детей?

И Василий Иванович, собрав последние, уже давно покидающие его силы, не Елене — вдове своей, а всем, кто был здесь, ответил громко и ясно:

— Благословляю я сына своего, Ивана, государством и великим княжением, а другого своего сына, Юрия, — городом Угличем, а тебе, как и прежде то бывало и в духовных грамотах отцов наших и прародителей прописано, — жалую я по достоянию вдовий твой удел.

И услышав впервые страшные для неё слова: «вдовий твой удел», Елена заплакала столь неутешно и безудержно, что даже те, кто не любил её, почувствовали муку и боль внезапно осиротевшей молодой женщины, ибо не только муж её умирал сейчас, но и отец её детей, и для неё самой по многим статьям тоже почти отец.

Не понимая, отчего рыдает мать, заплакал и трёхлетний Иван.

Умирающий сел, упираясь спиной на подушки, попросил дать ему старшего сына. Обняв ребёнка и неловко утешая его, Василий Иванович сказал:

— Отче Даниил, подойди ко мне. И вы, братья, тоже подойдите.

Митрополит и князья Андрей и Юрий покорно приблизились.

— Целуйте крест святому отцу, — велел он братьям, — что будете тверды в своём слове и станете служить наследнику моему, великому князю Ивану Васильевичу — прямо и неподвижно.

Даниил снял наперсный крест, протянул Андрею, затем Юрию. Оба быстро коснулись губами конца распятия и тут же отошли в сторону.

— И вы все целуйте, — повёл рукою Василий Иванович. И все, кто был в опочивальне, один за другим стали подходить к Даниилу. Елена перестала плакать. Боярыня Челяднина взяла успокоившегося отрока на руки, и в наступившей тишине Василий Иванович произнёс последнее:

— А вы бы, князья Дмитрий Бельской да Михайла Глинский, за моего сына князя Ивана, и за мою великую княгиню Елену, и сына князя Юрия всю кровь свою пролили и тело своё на раздробление дали. И вам, — повернулся умирающий к думским чинам, — приказываю Михаила Львовича Глинского держать за здешнего уроженца и не молвить, что он приезжий, занеже он мне и кровный родич и прямой слуга. И быть вам вместе, и дело земское беречь сообща, и все дела свершать заодин. А до пятнадцати лет, до совершенного возраста сына моего, в помощь ему и в попечение назначаю я семь именитых мужей: Захарьина-Юрьева Михаила Юрьевича да его дядю — Тучкова Михаила Васильевича, да братьев Шуйских Ивана и Василия...

Великий князь замолчал. Он так устал, что даже князей Шуйских поименовал без отечества. А было оно Васильевичи.

И на последнем дыхании добавил чуть слышно:

— Ещё назначаю Глинского Михаила... Львовича Воронцова... Михаила же... и Шигону...

Последняя крамола

А дальше всё пошло такой безумной круговертью, что за неделю случалось всяческих горестных перемен более, чем прежде за год.

Василий Иванович умер 4 декабря 1533 года и тотчас же был перенесён в Архангельский собор. Над ним ещё служили панихиды и читали псалтырь, а уже 6 декабря в соседнем Успенском соборе митрополит Даниил венчал на великое княжение его трёхлетнего сына. И дивно было слышать, как из разверстых дверей двух рядом стоящих храмов несутся на соборную площадь и радостные голоса певчих, возглашающих многолетие, и заунывный похоронный плач об упокоении души усопшего.

И опять испуганно шептались москвичи: виданное ли дело — отца ещё не схоронили, а уже сына венчают на царство? И предрекали: много покойников возьмёт на душу себе великий князь Иван Васильевич, если надевают на него шапку Мономаха под погребальный звон и заупокойные молитвы.

Прошло пять дней, и вся Москва заговорила о том, что брат умершего великого князя Юрий Иванович пойман и посажен «за сторожи». И что вместе с ним пойманы братья Шуйские — Иван и Андрей Михайловичи, двоюродные братья Васильевичей. Юрия бросили в темницу. Шуйских посадили в одну из кремлёвских башен.

— Первая ласточка! — чему-то улыбаясь, сказал Глинский, узнав о случившемся. И добавил загадочно: — Она, конечно, погоды не делает, но приход весны предвещает. И весна скоро придёт! — воскликнул вдруг Михаил Львович и по стародавней привычке ударил кулаком по столу, подкрепляя сказанное сильным и энергичным жестом.

И было и в голосе, и в повадке Михаила Львовича нечто такое, что жило в нём с давних пор, когда бродил князюшка по туровским лесам и задумывался о великих делах и геркулесовых подвигах.

А в середине января 1534 года, на сороковой день после смерти Василия Ивановича, явился на поминки ещё один брат покойного — Андрей. Однако не печаль по усопшему привела его в Москву: он намеревался признать за ним права на Волоколамск и иные грады и веси, коими благословил его покойный брат и завещал их ему в духовной грамоте.

В день поминок Андрей о том ни слова никому не сказал: тризна по усопшему не терпит мирской суеты, она требует раздумий о душе и благочестивых речей. А какое благочестие, когда помыслы направлены на стяжание? И потому Андрей держал заветный разговор в уме, а сердцем говорил с ушедшим в лучший мир старшим братом.

Уходя с тризны, он попросил невестку, великую княгиню Елену Васильевну, принять его завтра по родственному делу. Елена стрельнула бесовскими глазами: «Приходи, родственничек, к обеду, поговорим». И ушла, прихватив тонкими длинными пальцами не по-нашему сшитую понёву. Андрей, заявившись в каменный кремлёвский дворец, прошёл в покои Елены и, увидев собравшихся у неё гостей, заробел: всё тут было не как в прочих московских домах. И сам стол был как не у людей — круглый, и сидели за ним семейно: Елена Васильевна рядом с Иваном Фёдоровичем Овчиной, братья Елены — Михаил да Иван с жёнами же, и родная сестра Овчины, по мужу Челяднина, мамка младенца Ивана, теперь уже Великого Московского князя Ивана Васильевича, без супруга, а двое — Дмитрий Бельский и Фёдор Мстиславский — были без жён. Да ещё и он, Андрей, уездный князёк, пришедший попрошайничать у богатых и сильных, тоже явился сам-один.

Когда Андрей Иванович шёл через соседние палаты, он слышал смех собравшихся и оживлённый разговор, судя по всему, весьма занятный для всех. Но как только он показался в дверях, и смех прекратился, и разговор оборвался. По лицам Елениных гостей Андрей Иванович понял: о нём судачили приглашённые, над ним, стало быть, и смеялись. И, догадавшись, от обиды и негодования вспыхнул. «Эвона что творится, — подумал Андрей с удивлением, испытывая неловкость и смущение, — совсем Елена стыд потеряла. Не только с Овчиной на глазах у всех милуется, но и баб вровень с мужиками за один стол собрала».

Елена, как бы угадав его мысли, сказала с лукавой льстивостью:

— Проходи, дорогой гостенёк. Садись, где приглянется: за круглым столом местничать не приходится — здесь все равны. И, победно оглядев собравшихся, повернулась к Овчине — ловко-де я его зацепила.

Князь Андрей сел рядом с Бельским. Руки у него дрожали, во рту пересохло. «Ах ты блудная, — подумал он с неуёмной злобой, — над кем смеяться собралась?» И, смиряя гнев, сказал как мог спокойнее:

— Я ведь зван тобою не был. Сам вчера напросился. Потому и засиживаться не стану. Скажу, зачем пришёл, да и уйду прочь.

Елена дурашливо вскинула вверх руки, рукава не нашего покроя кофты упали почти к локтям, обнажив дивной красоты нежные запястья.

— Что за счёты, деверёк! Садись — не чинись!

Овчина, не скрывая злобного лукавства, проговорил громко:

— Деверь невестке — завсегда первый друг.

Андрей Иванович встал:

— Я не просителем к тебе, Елена, пришёл. И вижу теперь, что и не гостем. Я здесь затем, чтобы ты сказала своим волостелям, из моих городов, какими меня мой покойный брат благословил, ехать вон. И весь Волоцкий уезд, как то в духовной грамоте брата моего прописано, велела бы мне отдать.

Елена опустила глаза. Затем сказала:

— Я, Андрей Иванович, сирая вдовица. Государство покойным мужем моим не мне завещано, а сыну моему — великому князю Ивану Васильевичу.

— Что же, прикажешь мне у несмышлёныша земли мои просить? — наливаясь злобой и кровью, просипел князь Андрей.

— Если двенадцать лет подождёшь, пока вступит великий князь в совершенный возраст, то можешь и у Ивана Васильевича просить, а если тебе уж совсем невтерпёж, то бей челом боярам, коих покойный брат твой оставил блюстителями государства Российского.

— Мне, Рюриковичу и Палеологу — челом бить?! — закричал, сорвавшись, князь Старицкий. — Мой отец и старший брат были великие государи всея Руси! Мой дед был византийским императором! И я стану перед Федькой Мишуриным и Петькой Головиным шапку ломать! — Андрей Иванович, не прощаясь, потеряв всякую степенность, почти побежал к двери.

И услышал, как вслед ему Елена крикнула:

— Захочешь Волоколамск получить — поклонишься!

А Овчина добавил — как нож в спину воткнул:

— Император Старицкий — Андрей Палеолог!

Надежда у Андрея был одна — крамола и заговор. Первого попытался он сманить Глинского, которого вскоре после смерти Василий Ивановича обошли Дмитрий Бельский и Фёдор Мстиславский, да и тех подмял под себя любодей Овчина, ставший и первым боярином в думе и конюшим — командиром дворцовой конницы. Однако Глинский на сговор не пошёл. Тогда князь Андрей с тем же намерением поехал к своему племяннику Дмитрию Бельскому, но и тот его не поддержал.

А два его других племянника — Семён и Иван Бельские —

подкрепили князя Старицкого. К ним вскоре примкнул и наместник Новгорода Великого Михаил Семёнович Воронцов, и напоследок — Глинский, переменивший своё первоначальное решение и примкнувший к Андрею с тремя недавно пришедшими на службу в Москву западно-русскими князьями — Ляцким, Воротынским и Трубецким. Они задумали захватить Кремль, когда Овчина с войсками уйдёт на Оку встречать татар.

Был назначен и день мятежа — 25 августа 1534 года.

Но Овчина был извещён о задуманной крамоле и, повернув часть войск от Серпухова, повёл отряд к Москве. Действуя быстро и решительно, он арестовал главных заговорщиков. Елена не пощадила никого. Даже родного своего дядю — Михаила Львовича велела оковать многопудовыми целями и надеть на голову тяжёлую железную шапку. Ему не давали есть, а воду подносили, чтобы подольше продлить мучения. И он — семидесятилетний страстотерпец — умер 15 сентября 1534 года, на сороковой день после начала мучительной казни.

Заговор полесского кондотьера, намеревавшегося стать не менее чем московским Цезарем, был подавлен быстро, беспощадно, однако же лишней крови пролито не было. Главный заводчик умер от голода и жажды, раздавленный многопудовыми железными оковами.

Его соратники — князья Иван Бельский, Иван Воротынский и Богдан Трубецкой — были брошены в кремлёвские застенки, сын Ивана Воротынского княжич Владимир был бит на Красной площади кнутом, а Дмитрий Бельский был отдан на поруки под большой денежный залог и из его усадебной конюшни были выведены все кони. Для острастки другим был взят штраф — залог с Меньшего Путятина и Михаила Юрьевича Захарьина, хотя они сами были оставлены на своих постах в правительстве.

Оперевшись ещё сильнее, чем прежде, на своего любимца Овчину, приблизив к себе думных дьяков, Елена Васильевна стала раздавать земли помещикам, служившим в великокняжеском войске. Однако собственных земель у неё было очень немного, брать их у опальных родственников покойного мужа она не могла, потому что непременно встретила бы с их стороны вооружённое сопротивление, потому жертвой её притязаний стали земли церквей и монастырей.

Специальным указом великая княгиня запретила монастырям покупать, брать в заклад, принимать в собственность за помин души и землю, и угодья, и леса, и всё прочее. А ежели такое случится, то всё это следовало отписывать на её имя. На имя великой княгини следовало отписать и всё, что было приобретено

монастырями за последние два года, то есть после смерти Василия Ивановича. А многие земли церквей и монастырей, особенно те, что находились вокруг городов и в самих городах, подлежали конфискации и передавались их прежним владельцам в аренду. В эти же годы правительство Елены Васильевны стало усиленно строить укрепления в старых городах и закладывать новые города и крепости.

В Москве была возведена мощная каменная стена — Китай-город, в Новгороде Великом поставлена новая каменная стена на Торговой стороне.

Во Владимире, Ярославле и Торжке взамен сгоревших деревянных стен были построены новые.

Новые же укрепления — стены, башни, ворота поставили в Перми, в Мещёрской земле, в Почене. На западных рубежах России были построены три новых кремля: в Заволочье, в Велиже, в Стародубе, а в Холме на реке Ловоть поставили новую стену.

Новые укрепления соорудили и в других местах России — в Буйгороде, Железном Борке, Устюге, Балахне, Пронске, Вологде, Теникове, причём эти новые укрепления возводились не в кремлях-детинцах и не возле них, а вокруг слобод и посадов, защищая ремесленный и торговый люд от возможных набегов и осад.

Примечательно, что укрепления эти строили всей «землёй». И выходили на работы по их возведению все работоспособные люди без различия чина, сословия и звания — и стар и мал, и миряне и священники, и господа и холопы, как случалось это, когда стоял у городских ворот и стен враг, а тогда все от мала до велика шли заделывать проломы и бреши, класть кирпичи и помогать ратникам. Враждебно настроенный к этим новшествам летописец писал, что Елена нарушила старый обычай, когда «священного лика никако же с простою чадию ни в каких делах не совокупляли», а здесь заставили работать наравне со всеми. И, наконец, Елена Васильевна взялась за очень нелёгкое дело, которое требовало немалых усилий и хлопот и до коего не доходили руки даже у её венценосного супруга. Она начала неслыханное до того грандиозное предприятие — общероссийскую денежную реформу.

Говоря о её причинах, летописец сообщал, что «начата безумный человецы научением вражьим деньги резали и злый примес в серебро класти, и то дело много лет творяху». Фальшивомонетчиков ловили и подвергали пыткам и мучительной казни — вливали в горло расплавленное олово, но жажда наживы была сильнее страха ужасной кончины и число преступлений не уменьшалось.

И тогда в 1535 году вышел указ: старые деньги заменить новыми, причём оставить на Руси всего одну монету, хотя и выпускать её и в Москве, и в Новгороде Великом, перестав чеканить там старую монету, превосходившую «московку» ровно вдвое.

По реформе 1535 года появилась единая мелкая серебряная монета весом в 0,68 грамма, что по количеству серебра примерно на 15 процентов было меньше прежней московской монеты.

Объясняя производимую перемену, правительство объявило, что «Великая княгиня велела прибавить в гривенну новых денег, чтобы был людям невеликой убыток от лихих денег, от поддельных и от обрезанных».

На новых монетах был изображён всадник с копьём — стилизованный образ Георгия Победоносца, и потому новая мелкая монета, вначале называвшаяся «новгородкой», со временем стала называться «копейкой». В новом общероссийском московском рубле таких копеек было сто. Другие монеты, кроме иноземных, из обращения изымались.

В том, что московские деньги стали общероссийскими, и заключался важный политический момент — Русь становилась ещё более централизованным и, стало быть, более сильным, единым государством.

В январе 1534 года Андрей Старицкий уехал к себе в удел и стал замышлять новый мятеж, отказавшись почти сразу же после приезда в Старицу участвовать в походах на Оку, куда весной и летом собиралось общерусское воинство. Правда, в июле 1534 года Андрей в последний раз выступил со своими полками в Боровск, возглавив все сошедшиеся туда войска обшей численностью в сорок тысяч человек, но после этого ни разу не выводил «в поле» — ни против литовцев, ни против татар, открыто выказывая Елене Васильевне свою к ней враждебность.

Елена посылала в Старицу князя, боярина Ивана Васильевича Шуйского и дьяка Меньшого Путятина увещевать Андрея Ивановича, вызывала его к себе, в Москву, но Старицкий от прямых обещаний и ответов уклонился и, как говорит летописец, «в сердце гнев держал».

Тогда Елена взяла с него новое крестное целование и новую запись, по которой князь Старицкий клялся не делать никакого лиха ни малолетнему великому князю Ивану Васильевичу, ни его матери, сообщать им обо всём важном, что будет ему известно от кого бы то ни было, не принимать у себя перебежчиков из Москвы и ни в коем случае не посягать на великокняжеский стол, а если кто-либо станет склонять его к мятежу и заговору — немедленно

донести о том в Москву.

Крест князь Андрей поцеловал и крестоцеловальную запись дал, но, когда в начале 1537 года в Старицу приехали московские гонцы, чтобы потребовать приезда князя в Москву для переговоров о его участии в отражении набега казанского хана Сафа-Гирея, Андрей Иванович ехать в Москву отказался, сказавшись больным.

Елена Васильевна тут же послала в Старицу своего лекаря — немца Феофила, и он, возвратившись в Москву, сказал, что болезнь князя Старицкого была очень легка, и приехать он, конечно же, смог бы, если бы захотел.

Следом за Феофилом поехали в Старицу посланники-соглядатаи, кои выведали, что в городе имеется немало приезжих людей, которые обычно там не живут.

Тогда Боярская дума постановила направить в Старицу князя Бориса Щепина-Оболенского с тем, чтобы он настоял на посылке к Коломне против татар старицких полков во главе с князем Юрием Андреевичем Оболенским Большим.

Андрей подчинился, но одновременно послал к Елене Васильевне своего боярина, князя Фёдора Дмитриевича Пронского, наказав ему говорить о «великих его обидах». Однако этот демарш никакого впечатления на Елену не произвёл, и тогда Андрей стал готовить мятеж, задумав опереться на Новгород Великий, в котором всё ещё были сильны антимосковские настроения. Однако эти настроения были вчерашним днём Новгорода, ибо местные бояре уже не имели прежней власти, а главные носители старых порядков — «житьи люди» — свободные землевладельцы, занимавшиеся торговлей, входившие в городское самоуправление и командовавшие десятками и сотнями в народном ополчении, в суде, в заграничных посольствах, за полвека после присоединения Новгорода к Москве были переселены в Москву, Подмосковье и другие города центра России. К тому же им на смену приехали в Новгород многие служилые люди из Москвы и подмосковных городов и уездов. А рядовые новгородцы-ремесленники и мелкие торговцы издавна были враждебно настроены к новгородским боярам и многим «житьим людям» и никак не могли встать на сторону Андрея Старицкого.

Что же касается архиепископа и тысяцкого, то теперь главой Святой Софии и первым иерархом Новгорода был не «владыка», которого избирало вече, а ставленник Москвы, решительный сторонник самодержавной власти — высокоучёный архиепископ Макарий, вскоре ставший и митрополитом Московским, а на месте тысяцкого, начальника народного ополчения, стоял

московский наместник — князь Никита Васильевич Оболенский-Немой.

Всего этого Андрей Старицкий не учёл, и потому его попытка опереться на Новгород оказалась неудачной. Андрей, начиная мятеж, послал новгородцам «прелестные» грамоты, призывая их к себе на службу и обещая всякие льготы и «жалование». Но почти все эти грамоты новгородцы привезли в Москву, а на стороне Андрея оказалось лишь три десятка ревнителей местного сепаратизма.

Елену Васильевну о планах Андрея Старицкого известил его боярин, князь Василий Фёдорович Голубой-Ростовский, и на Москве тотчас же стали собирать войска, во главе которых встал её фаворит Овчина Телепнёв-Оболенский.

Разумеется, тут же узнал об этом и Андрей Старицкий и бежал с женою и сыном по направлению к Торжку. Но как только новгородцы узнали, что князь Старицкий намеревается прийти к ним и «затвориться» в городе, они сели в осаду, а навстречу войску Андрея выслали сильный отряд с пушками по главе с новгородским дворецким и воеводой Иваном Никитичем Бутурлиным.

В тридцати вёрстах южнее Новгорода, возле Бронниц, князь Старицкий был зажат между отрядом Бутурлина и подоспевшими из Москвы полками Овчины-Оболенского. К этому времени из войска Андрея Старицкого дезертировали тысячи воинов, не желавших противостоять Москве. И таким образом мятеж был сильно ослаблен с самого начала. Беглецов из стана князя Андрея было так много, что у него даже не было сил арестовывать их.

В этих обстоятельствах до сражения с москвичами и новгородцами дело не дошло, и князь Андрей сдался, попытавшись, правда, уйти за литовскую границу, но в пяти вёрстах от села Тюхоли был пойман Овчиной-Оболенским и отвезён в Москву.

Там князя Старицкого ждала та же участь, что и его предшественника — Михаила Глинского: его бросили в застенок, оковали в железо и «уморили голодом и жаждою под шляпою железной». А тридцать его добровольных новгородских сообщников били на Москве кнутом, а потом развесили на новгородской дороге в назидание всем проезжающим мимо.

И современники, и потомки оценили мятеж Андрея Старицкого как прямую попытку «подъискания» под малолетним великим князем и его матерью «государства», как намерение захватить власть в России, свергнув их с великокняжеского трона.

Вскоре после смерти Андрея Старицкого, 3 апреля 1538 года, внезапно умерла и Елена Васильевна. Говорили, что была она

отравлена ненавидевшими её боярами. Вскоре после её смерти был схвачен и казнён и её любимец Иван Фёдорович Оболенский-Телепнёв, а восьмилетний сын — будущий царь Иван Васильевич Грозный — попал в жестокие и холодные руки бояр-соправителей, ни от одного из которых не видел он никакого участия, ни тепла, ни простой человечности.

Иван Грозный, впоследствии прославившийся болезненной подозрительностью и невероятной жестокостью, беспричинно, по чистому произволу губивший тысячи ни в чём не повинных людей, всё же ни разу не обвинил никого в скоропостижной гибели своей матери. Причина её смерти остаётся тайной и сегодня.

А несчастная старица Софья продолжала жить всё в том же Суздальском монастыре, где и скончалась 18 декабря 1542 года, пережив на девять лет и своего венценосного мужа, и его вторую жену — великую княгиню Елену Васильевну, которая хотя и была младше её на двадцать лет, всё же умерла на четыре года раньше горемычной Соломонии.

ТЯЖКИЙ ЖРЕБИЙ ПРЕМУДРОЙ СОФЬИ АЛЕКСЕЕВНЫ

Через полтора века после смерти великой княгини Елены Васильевны в России произошли события, в которых главную роль снова сыграла женщина — Софья Алексеевна, дочь царя Алексея Михайловича от его первой жены Марии Милославской.

Обречённая судьбой на почти монашеское затворничество в царских теремах царевна Софья сделала отчаянную попытку вырваться из заточения. Ей удалось взойти на вершину власти. И хотя правила она не столь уж долго — всё-таки сумела сделать для России немало полезного.

Софья Алексеевна была представительницей новой царской династии — Романовых, сменившей на престоле род Рюриковичей. И потому мы начнём рассказ о ней с небольшого экскурса в историю.

Из рода Романовых

В 1613 году на российском престоле оказался шестнадцатилетний юноша — Михаил Фёдорович Романов, отец которого — патриарх Филарет (до монашества Фёдор Никитич) — находился в польском плену, а многочисленные родственники занимали в государстве Российском важные и почётные посты.

21 февраля на Земском соборе Михаил Фёдорович был провозглашён царём, 2 мая торжественно въехал в Москву, а 11 июля венчался на царство в Успенском соборе Кремля.

Когда царю пошёл двадцатый год, мать Михаила решила, что ему пора жениться.

Русские цари искали себе жён двояким способом: либо заключали династические браки с иноземными принцессами, договариваясь о предстоящем браке через дипломатов, либо выбирали себе невесту из числа своих подданных, и тогда в ход вступал освящённый веками обычай избрания царской невесты на смотринах.

Михаил Фёдорович предпочёл смотрины, подобно тому как за сто лет перед тем поступил герой предыдущей повести — Василий Иванович. Во все грады и веси России поехали бирючи скликать невест, а кроме того, к воеводам и иным «начальным людям» были отписаны грамоты, в коих было строго указано «слать на Москву девок пригожих, добропородных и собою лепых», то есть красивых.

После того как красивейшие невесты свозились в Москву, здесь учинялся всем им строгий отбор, проходивший так же, как и во времена Василия III и Ивана IV.

Разумеется, не только телесные добродетели играли решающую роль в выборе претенденток: многое зависело не только от стати и прелестей избранниц, но и от того, кто стоял за ними и какие династические интриги и великие своекорыстные соображения преследовались их сторонниками.

На смотринах 1616 года победительницей оказалась Мария Ивановна Хлопова, девушка из не очень знатной и не очень состоятельной семьи, никак не ожидавшая, что на её долю выпадет такое счастье.

После смотрин Михаила обручили с его избранницей, но невеста вдруг заболела и, не желая рисковать браком со столь болезненной девушкой, дело до свадьбы не довели, а сослали и Марию, и нескольких её родственников со стороны матери в Тобольск, по пословице: «С глаз долой, из сердца вон».

Михаил Фёдорович не решился затевать ещё одни смотрины, пока в 1619 году не вернулся из Польши его отец — Филарет.

Взяв бразды правления страной в свои руки, Филарет не оставил без внимания и то, что произошло с Марией Хлоповой. Беспристрастное, но строгое следствие показало, что царская невеста пала жертвой оговора из-за ссоры с её близкими двоюродного брата царя Михаила Михайловича Салтыкова, который и сплёл все эти козни.

Филарет приказал вернуть Хлопову и её безвинных родичей в Нижний Новгород, а Салтыкова сослать, конфисковав имения.

Вслед за тем Филарет попытался найти для сына какую-нибудь иноземную принцессу, но эти попытки успехом не увенчались, и выбор был остановлен на княжне Марии Владимировне Долгоруковой — дочери князя и боярина Владимира Тимофеевича Долгорукова — крупного воеводы и управителя всяческих государственных дел, чей род по знатности не уступал Романовым.

Свадьбу сыграли 19 сентября 1624 года, но, к несчастью, меньше чем через четыре месяца Мария Владимировна умерла.

На следующий год Михаил Фёдорович женился на Евдокии Лукьяновне Стрешневой. Они прожили вместе двадцать лет, имели десять детей — семь дочерей и трёх сыновей. Из мальчиков дожил до совершеннолетия только один — Алексей — будущий русский царь, а из девочек — только трое.

Михаил Фёдорович и Евдокия Лукьяновна умерли друг за другом — в июле и августе 1645 года, так и не успев сыграть ни одной свадьбы своим детям. Волею судьбы продолжателем рода Романовых оказался лишь один их сын — Алексей Михайлович, которому ко времени смерти отца и матери шёл семнадцатый год и дочерью которого и была героиня нашей повести Софья Алексеевна.

Алексей был третьим ребёнком Михаила Фёдоровича и Евдокии Лукьяновны и первым из их сыновей. Он родился 19 марта 1629 года и рос крепким, здоровым ребёнком. Получив образование, обычное для детей его круга, то есть научившись чтению, письму, счёту и началам богословия и церковной истории, Алексей стал знакомиться с географией, историей России и своей династии, а также и с началами «ратного строя». К двенадцати годам у царевича была уже маленькая библиотека, в которой имелись «Лексикон», «Грамматика» и «Космография». Кроме того, мальчика обучали музыке и правилам поведения во дворце и в церкви.

Алексей преуспел в катехизисе, церковной истории, началах

богословия и особенно полюбил «церковный чин» и «дворцовый чин» — порядок отправления церковных служб и проведения дворцовых церемоний.

С пяти лет его «дядькой» — воспитателем стал ближний боярин Борис Иванович Морозов, пятидесятилетний царедворец, державший в своих руках многие нити государственного управления. Морозов был просвещённым человеком, не чурался общения с европейцами и даже наряжал своего воспитанника в «немецкое платье».

После того как умерли отец и мать Алексея, шестнадцатилетний царь, всего лишь за год перед тем перешагнувший порог отрочества и ставший юношей, прежде всего опёрся на верную и твёрдую руку «дядьки», который сразу же стал начальником четырёх важнейших приказов: Стрелецкого, Большой казны, Новой Четверти, где ведали сбором кабацких денег — важнейшей статьи государственных доходов, и Аптекарского, также весьма важного, ибо именно в нём готовились лекарства для царской семьи и двора и велись дела иноземных лекарей и фармацевтов, врачевавших самую богатую и высокопоставленную часть московского общества.

Возле Морозова ещё в те годы, когда он был воспитателем Алексея Михайловича, собрался тесный кружок людей, таких же любомудров и книгочеев, каким был и сам Борис Иванович. Главные роли в этом кружке играли один из самых богатых русских купцов — гость Назарий Чистый, первый дьяк Приказа Большой казны, а затем и дьяк Посольского приказа, неоднократно бывавший за границей, голландец — купец и заводчик Андрей Виниус, ещё один дьяк Посольского приказа — Афанасий Ордин-Нащокин, а чуть позже к ним присоединились царский постельничий Фёдор Ртищев и думный дворянин Артамон Матвеев. Был среди них и просвещённый иерей, духовник царя — Стефан Вонифатьев.

Все эти люди оставили по себе долгую и добрую память в просвещении, дипломатии, промышленности, торговле, развивая эти сферы в европейском духе. Виниус строил железоделательные и литейные заводы, Ртищев открыл первую в Москве больницу и вместе со Стефаном Вонифатьевым создал кружок «Ревнителей благочестия», члены которого боролись с пороками и недостатками духовенства, остальные по мере сил совершенствовали административную и финансовую системы, стараясь сделать их более подвижными и прибыльными.

Через два года после смерти родителей и восшествия на престол Алексей Михайлович решил жениться и, действуя точно так же, как и его отец, велел привезти в Москву самых красивых

девушек России. Их привезли более двухсот, и жених выбрал дочь знатного, но бедного дворянина Евфимию Всеволожскую. Как только имя невесты было оглашено, сильно переволновавшаяся девушка потеряла сознание и упала.

Её родных тут же обвинили в том, что они скрыли болезнь Евфимии — падучую (так называлась в то время эпилепсия) и сослали всех их на Север вместе с больной невестой.

Наконец, ещё через год свадьба Алексея Михайловича всё же состоялась. Выбор царя пал на дочь мелкопоместного дворянина Ильи Даниловича Милославского, двадцатидвухлетнюю красавицу Марию, жившую в услужении у Ивана Грамотина — одного из дьяков Посольского приказа, также находившегося под присмотром Морозова. Отец невесты был настолько беден, что не мог содержать своих дочерей у себя дома. Он не был в состоянии даже прокормить их, и сёстры Милославские зарабатывали на жизнь тем, что летом и осенью собирали в лесу грибы, а потом продавали их на базаре, покупая на вырученные деньги хлеб и квас.

Алексей Михайлович оказался в доме Грамотина благодаря стараниям Морозова. Мария Милославская попалась царю на глаза тоже не случайно: Морозов знал её и решил сосватать за неё своего воспитанника только из-за того, что сам был влюблён в сестру Марии — Анну.

Морозов был уверен, что Илья Милославский не откажет ему в браке с Анной, и таким образом, если царь женится на Марии, то он и Алексей Михайлович, став свояками, породнятся.

Расчёт Морозова оправдался: царь женился на Марии, а через неделю сыграл свадьбу и Борис Иванович Морозов. Как только это произошло, стали говорить, что и болезнь Евфимии Всеволожской — дело рук Морозова, уже тогда замышлявшего женить царя и жениться самому на сёстрах Милославских.

Как бы то ни было, но Мария Ильинична стала царицей и за двадцать лет родила тринадцать детей — восемь девочек и пять мальчиков. Из этих детей впоследствии только трое будут играть свои роли в истории — героиня нашей повести царевна Софья и царевичи Фёдор и Иван. Четверо детей умерли в детстве, а другие пятеро достаточно серьёзного следа в истории не оставили.

Все, кто знал Алексея Михайловича и кто писал о нём, совершенно единодушно утверждали, что он был красив, имел благородную осанку, к концу жизни стал полноват, и хотя не был высок, но обладал большой силой. Знавшие царя сходились и в том, что Алексей Михайлович отличался искренним благочестием и глубокой нравственностью. Сохранилось только одно свидетельство о его внебрачной связи. Речь шла о романе царя с

женой боярина Мусина-Пушкина, у которой от него якобы был сын — Платон. И всё же до нас дошло гораздо больше свидетельств о любви царя к своей жене и детям. Уцелело письмо Алексея Михайловича к своим домочадцам, в котором он, находясь при армии, приглашал их приехать в Вязьму. И там имелись такие строки: «Я радуюсь свиданию с вами, как слепой радуется увидеть свет».

Мягкий характером, редко вспыльчивый, любящий отец и муж — таков Алексей Михайлович в семейной жизни. Таков он, по крайней мере вначале, и в отношениях со своими приближёнными. Однако напрасно, называя царя «тишайшим», мы стали бы переносить эти качества и на его политическую деятельность. Жестокое подавление многих городских восстаний, Соляного и Медного бунтов, наконец, беспощадная расправа со Степаном Разиным и его сподвижниками заставляют нас подготовиться к тому, что произойдёт, когда придётся столкнуться и с ещё более жестоким подавлением стрелецких мятежей, Булавинского восстания, волнений крестьян и работных людей, которые вслед за Алексеем Михайловичем совершит его сын, тогда ещё не родившийся, — Пётр I.

Такими же чертами характера обладала и одна из его дочерей — Софья Алексеевна.

Но не только эти семена посеял в годы своего царствования Алексей Михайлович. При нём в Москве появился первый театр, был построен первый военный корабль — «Орёл», созданы «полки нового строя» — прообраз будущей регулярной армии, увеличилось число школ и мануфактур.

Все эти нововведения проводились не без помощи западных купцов, мастеров, мануфактуристов, инженеров, аптекарей, врачей, офицеров, живших в Москве в разных иноземных слободах, более всего — в Немецкой слободе на берегу Яузы.

Иноземный быт с его опрятностью, комфортом, картинами и зеркалами, часами и обоями, заморскими яствами и механическими музыкальными шкатулками оказался привлекательным и для русских дьяков и купцов, имевших дело с иноземцами в Москве либо бывавшими за границей. И они первыми из соотечественников стали вводить в домашний обиход наиболее привлекательные элементы западноевропейского быта.

Алексей Михайлович, любивший за столом умную беседу гораздо более традиционных возлияний, пробовавший писать стихи, интересовавшийся архитектурой и живописью, быстро почувствовал вкус к иноземным новациям и не чурался общества московских «западников», к числу которых относились его соратники, уже упоминавшиеся нами. И домашнее окружение

царя было под стать его близким друзьям, что сказывалось на всём. Дети Алексея Михайловича, не только мальчики, но и девочки, что было тогда немалой редкостью, получали хорошее и достаточно основательное образование у самых просвещённых русских людей.

Разумеется, способности царских сыновей и дочерей были неодинаковыми, и потому и результаты обучения так же оказывались различными. Из всех дочерей способной и увлечённой учёбой оказалась их третья дочь Софья, родившаяся 17 сентября 1657 года.

Из-за того что на свет вновь появилась девочка, а не долгожданный наследник престола, это не вызвало особой радости ни у Алексея Михайловича, ни у Марии Ильиничны. Обязательный в таком случае пир по поводу рождения нового ребёнка в царской семье можно было бы назвать простым застольем, потому что дорогих подарков гостям, приглашённым к столу, не делали, а обошлись раздачей разнообразных пирогов. Но по чистой случайности крестили её не как прочих царских детей в Чудовом монастыре, а почему-то в Успенском соборе, и впоследствии это обстоятельство сочли неким знамением, ибо именно в Успенском короновались на царство российские самодержцы.

А в раннем детстве был ей уготован, как и всем сёстрам, терем: глухие стены, маленькие, забранные решётками оконца, тихие служанки — только набожные, исполненные страха Божьего, пожилые женщины, азбука-кириллица, разное рукоделие — более всего вышивание, да единственное почти соприкосновение с миром — выходы в церковь.

Но на рубеже младенчества и отрочества попала она в руки выдающихся деятелей просвещения, которых справедливо почитали «горящими свечами Русской земли» — Симеона Полоцкого, Сильвестра Медведева и Кариона Истомина.

Симеон Полоцкий появился в Москве в 1664 году, после того, как окончил в Киеве духовную академию. В Москве он начал преподавать в школе Заиконоспасского монастыря и одновременно стал наставником двух царевичей — Алексея и Фёдора — и царевны Софьи.

Полоцкий был одним из первых русских поэтов и драматургов, выдающимся христианским проповедником, человеком, кроме того увлекавшимся космогонией и астрологией.

Знаменитый русский историк Сергей Михайлович Соловьёв рассказывал в своих лекциях о том, как занимался с царевной Софьей Симеон Полоцкий. «Он, — писал Соловьёв, — учит легко и весело, передаёт много разных вещей, на всё у него примеры,

анекдоты, остроумные изречения, и все в стихах для лучшего удержания в памяти. Сфера расширяется, птица побывала на свободе, видела мир Божий, старый терем становится тесен и душен...»

Не только уроки Симеона Полоцкого уводили Софью из терема. Уже в детстве она смотрела первые спектакли в придворном театре, и хотя были они строго религиозными и нравоучительными, всё же это был ещё один прорыв на свободу, в пёстрый, широкий, увлекательный мир человеческих страстей и раздумий.

Выходы в театр привели к тому, что Софья не только увлекла сестёр новым для них развлечением, но и превратила их всех в актрис, сочинив для постановок несколько пьес. Об одной из них, называвшейся «Обручение святой Екатерины», мы знаем из записок графини Головиной, которая играла в этой пьесе вместе с шестью сёстрами-царевнами.

Головина вспоминала, что одна из царевен — Мария Алексеевна, балуясь, сунула ей за шиворот чёрного таракана, отчего Головина едва не лишилась сознания (впоследствии Головина всю жизнь так боялась тараканов, что немедленно бросала дом, если видела, что они в нём появились).

Спектакль «Обручение святой Екатерины» девочки играли в день именин Софьи, и она играла в нём главную роль.

Пьеса тоже принадлежала её перу, и знаменитый историк Николай Михайлович Карамзин, через полтора века после того прочитавший текст этой пьесы, утверждал, что «царевна могла бы сравняться с писательницами всех времён». И если сёстры её, занимаясь рукоделием, более всего шили и вышивали, то Софья предпочитала переписывать книги. До наших дней сохранилось переписанное и украшенное сложнейшими заставками и заглавными буквицами Евангелие, отчего можно считать Софью Алексеевну довольно искусной художницей.

Был в её покоях и немецкий инструмент с клавикордами, на коем она преизрядно играла.

В годы юности Софьи даже в строго ортодоксальной православной церкви и то появились некие новшества — вошло в моду многоголосное пение привезённых с Украины певчих, сменившее довольно унылое, гораздо более однообразное исполнение «демественных» напевов.

Театр, музыка, стихосложение, называемое тогда латинским словом «версификация», были не единственными увлечениями юной царевны. В основе её недюжинной для того времени эрудиции лежала любовь к чтению.

В её покоях было невиданное в любом тереме множество книг

— не только церковных, но и светских, среди которых были и труды по государственному устройству разных стран, книги на латыни и на польском, которые чаще других приносил ей Симеон Полоцкий.

И длилось это десять дет, с десятилетия её и до двадцатилетия. Карион Истомин был третьим наставником Софьи. Он доводился родственником Сильвестру Медведеву, служил в московской духовной типографии и первым из образованных русских людей занялся вопросами педагогики и обучения. Истомин был последователем выдающегося чешского педагога-гуманиста Яна Амоса Коменского, автора первого руководства по семейному воспитанию — «Материнская школа», который был известен Истомину и положениям которого он следовал.

К несчастью, постулаты материнской школы на практике оставались втуне, ибо девичьи терема московской Руси были сродни женским монастырям. И всё же, в таких условиях, царевна Софья сохраняла живость ума, любознательность и относительную самостоятельность.

В то время как царевна приобщалась к знаниям, её отец всё больше отходил от интересов своих былых единомышленников и друзей, ибо и возраст, и необъятные государственные дела уже не позволяли Алексею Михайловичу уделять время любомудрию и благочестию. Из-за этого в окружении Софьи Симеон Полоцкий не был белой вороной среди других её наставников. Под стать ему были и Сильвестр Медведев, и Карион Истомин. Из наставников Софье ближе всех был, пожалуй, Сильвестр — один из любимых учеников Полоцкого, успешно трудившийся над изучением греческого, латинского и польского языков в школе Заиконоспасского монастыря. Привлечённый своим учителем в кремлёвские покои, Медведев стал преподавать царевичам и царевне эти языки и мог убедиться, что девочка овладевала ими лучше своих братьев.

В связи с тем что Сильвестру Медведеву принадлежала особая роль в событиях, развернувшихся вокруг Софьи, имеет смысл рассказать о нём подробнее, нежели о других её наставниках и соратниках.

Семён (это имя он получил при рождении) Агафонникович Медведев родился 27 января 1641 года в Курске и там же стал служить подьячим, а затем перешёл на службу в Москву, в Приказ тайных дел.

Отцом его был простой посадский человек, и потому Семён долгое время был в Приказе простым рассыльным.

Двадцати четырёх лет он поступил в школу, специально построенную в Заиконоспасском монастыре — у Никольских ворот Кремля, где учился у Симеона Полоцкого.

Потом Медведев служил рядом с крупнейшим русским дипломатом Афанасием Лаврентьевичем Ордин-Нащокиным и был вместе с ним на переговорах с поляками перед подписанием Андрусовского перемирия в 1667 году, по которому к России перешли Смоленск, Киев и Левобережная Украина. Несмотря на это, через четыре года Ордин-Нащокин был отставлен от дипломатической службы и пострижен в монастыре под именем Антония.

Сохраняя верность своему патрону, Медведев тоже оставил службу и ушёл в Молчинскую пустынь под Путивлем, став письмоводителем и садовником, а в начале 1675 года постригся и сам, получив имя Сильвестра.

В мае 1667 года Симеон Полоцкий вызвал его в Москву, в Заиконоспасский монастырь.

Вскоре познакомился Медведев с Алексеем Михайловичем и столь понравился царю, что тот велел дать Сильвестру лучшую в монастыре келью, такую же, как у настоятеля — Симеона Полоцкого. Вскоре его келья становится центром умственной жизни не только монастыря, но и всей учёной Москвы, а сам Сильвестр, благодаря постоянной работе и почти непрерывному чтению, стал широко образованным человеком. Тогда-то и был он назначен наставником царских детей.

Одновременно Медведев переводит с латыни и польского труды Симеона Полоцкого, ведёт его многочисленную корреспонденцию, готовит к печати его богословские и исторические сочинения.

На следующий год становится он справщиком, а вскоре и старшим справщиком Государева Печатного двора, то есть, как мы бы сказали теперь, — редактором и корректором книг, набиравшихся в этой крупнейшей типографии России.

За десять лет Медведев с тремя помощниками подготовил полторы сотни изданий, среди которых были азбуки и учебные псалтири, суммарный тираж которых превышал сорок тысяч экземпляров.

К этому времени уже не только давным-давно распался, но уже был и основательно забыт «Кружок ревнителей благочестия», в который входили Вонифатьев, Ртищев, Никон, Аввакум и другие образованные иерархи, а сами его участники превратились в решительных противников друг друга.

Что же касается членов кружка, не носивших

священнического сана, то и они утратили былые дружеские связи: Ртищев отошёл от важных государственных дел, Виниус не часто бывал в Москве, Чистой тоже нередко оказывался в разъездах. И случилось так, что ближе прочих стал Алексею Михайловичу тихий скромник и неутомимый труженик Артамон Сергеевич Матвеев.

Он был женат на Евдокии Петровне Гамильтон, происходившей из знатного шотландского рода, переселившегося в Россию при Иване Грозном. (Впоследствии фамилия «Гамильтон» в России трансформировалась в «Хомутовых»).

В какой-то мере благодаря своей жене, а гораздо более того из-за собственных склонностей и европейской образованности в доме Матвеева часто бывали иностранцы, да и его служба в Посольском приказе весьма к тому располагала. Дом Матвеева казался осколком Немецкой слободы, залетевшим в Китай-город: комнаты убраны венецианскими зеркалами, картинами западных мастеров, а сложности его часов, изысканности посуды и богатству библиотеки дивились самые бывалые из иноземцев.

Алексей Михайлович гораздо чаще, чем прежде, стал навещать Матвеева, приводя в недоумение многих своих знатных сородичей и заставляя их теряться в догадках о столь малопонятной привязанности.

Эти визиты стали ещё более частыми после того, как 4 марта 1669 года скончалась Мария Ильинична. Алексей Михайлович тяжело переживал смерть любимой жены, с которой он прожил двадцать лет.

Несколько месяцев сорокалетний вдовец постился, пребывая в глубоком трауре, подолгу молился за упокой души рабы Божией Марии, но как-то однажды снова заехал к Матвееву и обратил внимание на прекрасную молодую девушку, так же, как когда-то и его покойная жена, жившую «на хлебах» у своего богатого родственника. Её звали Натальей Кирилловной, ей было двадцать лет, и так же, как и первый тесть царя Илья Данилович Милославский, отец девушки принадлежал к бедным дворянам. Однако благодаря протекции Матвеева её отец Кирилл Полиевктович стал полковником стрелецкого полка в бытность Артамона Сергеевича головой московских стрельцов. Наталья Нарышкина к тому же доводилась дальней родственницей жене Матвеева и поэтому была приглашена в дом Артамона Сергеевича, когда её отец был ещё беден и жил в деревне под Тарусой.

Наталья Кирилловна была не только красива, но и образованна и хорошо воспитана, а кроме того, умна, любознательна и добра.

Всё это в сочетании с обаянием и прекрасным характером чуть ли не с первого раза сокрушило сердце сорокалетнего вдовца, и он вскоре решил взять её в жёны.

Однако, желая соблюсти приличия и обычаи старины, царь осенью 1669 года хотя и объявил о намерении жениться, но имени невесты не назвал, а для пущего сокрытия тайны велел начинать сбор невест для царских смотрин. На сей раз смотр продолжался семь месяцев — с конца ноября 1669 до мая 1670 годов.

Пересмотрев сотни претенденток, царь остался верен первоначальному замыслу, и 22 января 1671 года произошло венчание Алексея Михайловича и Натальи Кирилловны.

Появление в Кремле новой царицы и её многочисленных родственников, приближённых и слуг резко переменило всю прежнюю дворцовую жизнь, привычную, казавшуюся единственно правильной и единственно возможной.

Могущественный и многолюдный клан Милославских стал постепенно отходить на второй план, а вперёд выступили дотоле безвестные тарусские дворяне Нарышкины и их присные, о которых сторонники покойной царицы говорили, что они «лаптем щи хлебали», на что сторонники Натальи Кирилловны могли лишь возражать, что де «кого Бог полюбит, того нищетою взыщет». Но как бы то ни было, а о скудости и убожестве родственников новой царицы говорилось уже в прошедшем времени, и их настоящее и тем паче будущее могло вызывать только зависть.

Положение Нарышкиных необычайно окрепло, когда через семь месяцев после свадьбы всё тот же Симеон Полоцкий, звездочёт и астролог, заметил недалеко от планеты Марс новую, невиданную им дотоле звезду.

Кроме того что был Симеон астрологом, являлся он и одним из авторитетнейших богословов, чьи книги признавались иерархами православной церкви «жезлом из чистого серебра Божия Слова и от Священных Писаний сооружённых».

Симеон имел свободный доступ к царю, и на следующее утро после того, как увидел он сие небесное знамение, явился к Алексею Михайловичу, чтобы не только сообщить ему об увиденном минувшей ночью, но и истолковать всё это как некое предзнаменование.

Беря на себя изрядную смелость, звездочёт объявил царю, что его молодая жена зачала в эту ночь сына-первенца, и, стало быть, мальчик родится 30 мая 1672 года, а по принятому тогда летосчислению — в 7180 году от Сотворения мира. Но Симеон не

ограничился этим, а высказал и некое пророчество о царевиче: «Он будет знаменит на весь мир и заслужит такую славу, какой не имел никто из русских царей. Он будет великим воином и победит многих врагов. Он будет встречать сопротивление своих подданных и в борьбе с ними укротит много беспорядков и смут. Искореняя злодеев, он будет поощрять и любить трудолюбивых, сохранит веру и совершит много других славных дел, о чём непреложно свидетельствуют и что совершенно точно предзнаменуют и предсказывают небесные светила. Всё это я видел, как в зеркале, и представляю всё сие письменно».

С этой минуты осторожный и подозрительный Алексей Михайлович приставил к дому Симеона караул и снял его только тогда, когда совершенно убедился, что его жена действительно забеременела.

28 мая у царицы начались предродовые схватки, и Алексей Михайлович призвал Симеона к себе. Меж тем роды были очень трудными, и молодую царицу даже причастили, полагая, что она может в одночасье и помереть. Однако Полоцкий уверил царя, что всё окончится благополучно и что через двое суток у него родится сын, которого следует наречь Петром.

Всё так и произошло. Некоторые современники добавляют, что это же, наблюдая за звёздным небом, предрекали и европейские астрологи.

А вот что писал историк, академик Михаил Петрович Погодин о том, как происходили роды: «При начале родильных скорбей Симеон Полоцкий пришёл во дворец и сказал, что царица будет мучиться трое суток. Он остался в покоях с царём Алексеем Михайловичем. Они плакали вместе и молились. Царица изнемогала так, что на третий день сочли нужным приобщить её святых тайн; но Симеон Полоцкий ободрил всех, сказав, что она родит благополучно через пять часов. Когда наступил пятый час, он пал на колени и начал молиться о том, чтоб царица помучилась ещё час. Царь с гневом рек: «Что вредно просишь?» «Если царевич родится в первом получасе, — отвечал Симеон, — то веку его будет 50 лет, а если во втором, то доживёт до 70».

И в ту же минуту принесли царю известие, что царица разрешилась от бремени, и Бог дал ему сына...»

Это случилось в Кремлёвском дворце в четверг 30 мая 1672 года, в день поминовения преподобного Исаакия Далматского, «в отдачу часов ночных», то есть перед рассветом. (В честь святого Исаакия, в день поминовения которого родился Пётр, в 1710 году рядом с Адмиралтейством была построена деревянная церковь. В ней 19 февраля 1712 года будущий император венчался с будущей императрицей Екатериной I. Потом на том же месте был

построен каменный собор, но из-за того, что строился быстро, вскоре пришёл в ветхость, да и не вписывался в архитектурную панораму города. И, наконец, в 1818-1858 годах был воздвигнут на этом месте самый большой и красивый храм Санкт-Петербурга Исаакиевский собор, высочайшее достижение русского инженерно-строительного искусства).

Родившийся ребёнок был длиною в одиннадцать, а шириною в три вершка, то есть длиной 50 и шириной 14 сантиметров. Младенца крестили в кремлёвском Чудовом монастыре, в храме Чуда Михаила Архангела, где до него были крещены царь Фёдор, отец Петра — царь Алексей Михайлович, а после Петра — в 1818 году — здесь же крестили и царя-освободителя Александра II.

Мальчик рос и воспитывался так же, как в своё время росли и воспитывались его старшие братья, по их матери — Милославские.

До семи лет он находился под опекой мамок и нянек, а после этого перешёл в мужские руки. Его первыми воспитателями стали «дядька» — боярин Родион Матвеевич Стрешнев и стольник Тимофей Борисович Юшков. Среди воспитателей Петра был и другой Стрешнев — Тихон Никитич, которого молва называла подлинным отцом царевича Петра. Этот слух распускала старшая сестра новорождённого — Софья Алексеевна, бывшая всего на шесть лет младше своей мачехи и очень её не любившая.

Желая поставить под сомнение происхождение брата, Софья и приписывала Тихону Стрешневу мнимое его отцовство. Приводя потом доказательства особых отношений между Петром и Стрешневым, Софья отмечала любовь Петра к Стрешневу, а также то, что он в письмах называл Тихона Никитича «отцом». Однако это не так. Пётр называл Стрешнева не «отцом», а «Святым Отцом», что было, разумеется, шутливым обращением, принятым среди близких друзей Петра в более поздние, отнюдь не детские годы.

Версия о происхождении Петра от Стрешнева не была единственной. Ещё более стойкой и гораздо более нелепой оказалась история о мнимом отцовстве патриарха Никона — «собинного друга» Алексея Михайловича. Сторонники этой сплетни говорили и о сильном сходстве Петра с Никоном, и о высоком росте патриарха, и об особо доверительных и близких его отношениях с Натальей Кирилловной.

Слухам, может быть, стоило бы поверить, если бы не два обстоятельства. Во-первых, Никон за четыре года до рождения Петра был сослан на север — в Ферапонтов монастырь, и во-вторых, никогда более в Москву не возвращался: он умер по

дороге в Москву, когда Петру было девять лет.

Что же касается династических событий, произошедших в детстве Петра, то следует особо отметить неожиданную смерть Алексея Михайловича, последовавшую 29 января 1676 года, ибо она повлекла за собою опалу Нарышкиных, так как на престоле оказался Фёдор Алексеевич, чьей матерью была покойная Мария Ильинична Милославская.

На свободу!

Ко дню смерти отца Фёдору исполнилось четырнадцать лет. Он был не просто болезненным, но очень больным человеком: его водили под руки, он быстро уставал, не очень хорошо видел и слышал. Да и внешне Фёдор Алексеевич выглядел крайне нездоровым, — он был худым и высоким, оставаясь безусым и в годы зрелости, с редкой бородкой, что тогда считалось признаком недужности, бледным, с длинными редкими волосами и припухшими, подслеповатыми глазами. Фёдор, как и Софья, был воспитанником Симеона Полоцкого и потому был образован в церковной истории, знал польский язык и латынь, а также постиг и начала стихосложения. Когда учение завершилось, воспитателем и наставником Фёдора стал уже знакомый нам Артамон Сергеевич Матвеев — родственник мачехи Фёдора. Стараниями Милославских и их сторонников у Матвеева вскоре отняли Аптекарский приказ, а затем и Посольский, доставшиеся ему в наследство от Бориса Ивановича Морозова, и послали Артамона Сергеевича в конце концов в Пустозерск.

Достигнув восемнадцати лет, Фёдор женился, не по старому обычаю, а в известной мере романтично. Однажды, идя в крестном ходе, он заметил девушку, которая очень ему понравилась. Он велел спросить, кто эта девушка, и ему сказали, что её зовут Агафьей Семёновной Грушецкой, а живёт она в доме одного из думных дьяков.

Любовь, посетившая сердце царя Фёдора, не угасала, и в июле 1680 года Агафья Семёновна стала московской царицей. Однако замужество оказалось для неё недолгим: она умерла родами ровно через год после свадьбы, а рождённый ею мальчик прожил всего полторы недели.

Тогда же, в 1680 году, тяжело заболевший Симеон Полоцкий завещал «единомудрому себе в науках Сильвестру Медведеву, ученику своему» место придворного учёного, а сразу же после смерти учителя стал он и настоятелем Заиконоспасскбго монастыря.

В это же время стал Медведев и придворным поэтом, уступив затем это место своему родственнику Кариону Истомину.

В следующем, 1681 году, на деньги царя Фёдора в Заиконоспасском монастыре было открыто славяно-латинское училище, называвшееся «Училищем свободных наук», где изучали и духовные и светские дисциплины — от богословия до медицины

и мореплавания. Эти науки преподавали самые просвещённые православные монахи.

Однако в их преподавании оказалось много такого, что сильно отдавало «латинством», ибо науки естественные и точные были сориентированы на Запад, и Сильвестра обвинили в отходе от православия, особенно ревностно обвинял его в этом сам патриарх Иоаким.

Упрямый настоятель не сдался, и тогда клевреты Иоакима распустили по Москве слух, что Сильвестр замышляет на жизнь патриарха. Правда, это случилось позднее, но было следствием вражды, вспыхнувшей в самом начале 80-х годов.

Через семь месяцев после смерти жены и сына Фёдор женился вторично. На сей раз его избранницей стала Марфа Матвеевна Апраксина, но и этот весьма недолговечный брак оказался бездетным. Зато последний год царствования Фёдора Алексеевича был отнюдь не бесплоден в отношении государственных дел.

Молодой царь был слаб здоровьем, но ему никак нельзя было отказать в уме и способности подобрать себе хороших помощников, умевших правильно мыслить, смотреть вперёд и видеть ясную историческую перспективу.

Были созданы две комиссии из выборных людей — первая, для выработки новой системы обложения и сбора податей и налогов, вторая — по реформированию на европейский лад русского войска. Всё это впоследствии справедливо считали первыми шагами, сделанными Россией по той дороге, по которой повёл её Пётр Великий.

И наконец, существеннейшим мероприятием, проведённым по инициативе князя Василия Васильевича Голицына, была отмена чисто русского средневекового обычая — местничества. Название его произошло от правила считаться «местами» за царским столом на различных дворцовых церемониях и, что самое важное, на гражданской, военной и дипломатической службах. Место того или иного придворного или служилого человека зависело от его происхождения, от «отеческой чести», от заслуг его предков перед российскими государями.

Система этих взаимоотношений и ценностей была сложна, запутанна и дремуча, как чаща старого леса, состоящего из генеалогических деревьев. Поэтому местнические споры были предметом постоянного разбирательства царём и Боярской думой, разбирательства часто бесплодного, бессмысленного и скандалёзного.

С течением времени местничество расползлось по Руси

подобно эпидемии, проникнув из дворца в приказы, в города и даже в среду торговых людей.

Царским указом, подкреплённым приговором Боярской думы, 12 января 1682 года местничество было устранено, отчего князь Голицын нажил себе немало врагов, но и приобрёл стойкие симпатии таких людей, как Софья. Фёдор Алексеевич не только отменил местничество, он запретил колесование и четвертование и вообще отсечение членов, что снова ввёл в обиход его младший брат Пётр, снискавший славу просвещённого монарха и великого реформатора.

При Фёдоре была основана Славяно-греко-латинская академия — первое гуманитарное учебное заведение, высшее, хотя так оно и не называлось, но бывшее таковым по сравнению со всеми прочими существовавшими в одно с ним время.

При нём же обсуждался проект создания Академии художеств, куда предполагалось принимать кого угодно, лишь бы соискатель выявил при приёме способности живописца. Предполагалось, что если учащимися окажутся дети нищих, то они будут приняты на казённый счёт.

И не случайно именно при Фёдоре Алексеевиче стали стричь волосы, брить бороды и носить «немецкое» платье.

Семилетнее царствование Фёдора на самом деле было не более чем трех-четырехлетним, ибо его венчали на царство, когда сравнялось ему четырнадцать лет. После Фёдора началось семилетнее правление Россией его сестры — Софьи. Эти годы были малой каплей по сравнению с тридцатипятилетним царствованием их младшего брата Петра, ставшего первым российским императором и получившим в конце жизни прозвище Великого. Но если беспристрастно приглядеться и к Фёдору и к Софье, то и во времена их правления было немало такого, что позволило бы причислить и брата и сестру к монархам, двигавшим страну вперёд. Однако грандиозные преобразования Петра отодвинули их на второй план и оставили в глубокой тени, которая оказалась сродни тьме забвения.

Фёдор Алексеевич умер 27 апреля 1682 года на двадцать первом году от рождения.

«В тереме царя Алексея, — писал историк Иван Егорович Забелин, — было шесть девиц, уже возрастных, стало быть способных придавать своему терему разумное и почтительное значение. В год смерти их брата, царя Фёдора, старшей царевне Евдокии было уже 32 года, младшей Феодосии 19 лет. Третьей царевне — Софье было около 25 лет. Все такие лета, которые полны юношеской жизни, юношеской жажды. Естественно было встретить в эти лета и юношескую отвагу, готовность вырваться

из клетки на свободу, если не полную готовность, то неудержимую мечту о том, что жизнь на воле была бы лучше монастырской жизни в тереме». Добавим, что они были обречены на вечную полуиноческую жизнь, и это придавало всем шести сёстрам Милославским дополнительную энергию и смелость в стремлении изменить свою участь. Причём эта смелость проявилась уже в дни болезни царя Фёдора, когда Софья вышла из терема и круглые сутки проводила у постели умирающего брата, что превращало её поступок в подвиг благочестия и милосердия. Таким поступком, который Софья к тому же усиленно демонстрировала, она сумела завоевать изрядную популярность среди придворных.

А ей было совсем не просто добиться этого: внешне она была более чем непривлекательна.

Известно, что люди склонны симпатизировать душевным добродетелям внешне красивых людей гораздо охотнее, нежели некрасивых. Софья же была очень дурна собою. По свидетельству французского эмиссара де ла Невилля, Софья была большеголовой, весьма полной, абсолютно бесформенной, со следами волчанки (туберкулёза кожи) на лице. В двадцать шесть лет ей можно было дать сорок. Однако все эти недостатки искупались необычайно живыми умными глазами и быстрым, тонким умом. К тому же Софья любила беседовать с просвещёнными людьми — по условиям её теремной жизни чаще всего с лицами духовного звания — умела читать и писать и тем выгодно отличалась от большинства женщин её времени. Болезнь Фёдора Алексеевича оказалась прекрасным поводом к тому, чтобы покинуть терем для ухода за больным, возле постели которого Софья ещё ближе узнала Сильвестра Медведева, архимандрита Чудова монастыря Адриана, познакомилась с патриархом Иоакимом — властным и уважаемым князем церкви, имевшим большой авторитет среди российских иерархов. У постели больного брата познакомилась она и с известным реформатором, знаменитым полководцем, боярином и князем, начальником Пушкарского и Владимирского судного приказов Василием Васильевичем Голицыным — первым «западником», как называли его впоследствии русские историки.

Голицын бегло говорил по-латыни, по-гречески, по-немецки, по-польски, принимал в своём доме, обихоженном по-европейски, живших в Москве и приезжавших иноземцев, и всерьёз занимался проектом всеобъемлющей административной реформы, по которой Россия должна была преобразоваться на европейский лад.

Софья была молода и темпераментна. Она влюбилась в

тридцативосьмилетнего знатного и богатого красавца Голицына, ко всему прочему женатого и имевшего четырёх детей. Любовь заставила её переступить все каноны «Домостроя» и гаремные азиатские предрассудки кремлёвского терема. К тому же ещё задолго до этого все шесть царевен хорошо почувствовали резкую перемену в своём положении: со смертью Алексея Михайловича надзор за ними прекратился. Брат их Фёдор был добр, мягкосердечен и преисполнен к сёстрам крайнего снисхождения. Да и некогда ему было заниматься царевнами: государственных забот хватало и болезни одолевали.

Что же касается мачехи, которая была почти ровесницей старшей из царевен, то они, вопреки обычаям, совершенно не признавали её власти над собою.

Как только 27 апреля 1682 года Фёдор скончался и удар колокола о том возвестил, тотчас же в Кремль на выборы царя явились все московские бояре. Большинство из них было сторонниками Нарышкиных и, стало быть, десятилетнего Петра. На его стороне оказались четверо князей Долгоруковых — Борис, Григорий, Лука и Яков, двое князей Голицыных — Борис и Иван, двое князей Одоевских, князь Куракин, князь Урусов, родовитые бояре Шереметевы и многие другие. Опасаясь насилия со стороны Милославских, почти все они явились в кольчугах и с оружием.

Желая сразу же примирить два враждебных клана, патриарх Иоаким спросил, кого из братьев хотели бы избрать царём самые знатные сановники государства.

Голоса разделились, и тогда Иоаким предложил позвать в Кремль все чины московского государства, тем более что многие из них были в Москве, так как в декабре 1681 года царь Фёдор указал созвать Земский собор, и к этому времени выборные люди от всех сословий, кроме холопов и крепостных крестьян, находились в столице.

Выборные, созванные посыльными и бирючами, в этот же день явились в Кремль и стали толпой возле Красного крыльца Грановитой палаты. Иоаким спросил их, кого из двух братьев они хотели бы видеть царём, или же подлежит царствовать им обоим? Зная о том, что Иван слабоумен, все выборные люди выкрикнули Петра. Патриарх пошёл к Петру в царские хоромы, нарёк мальчика царём и благословил крестом, а затем повёл к трону и посадил на него. И все, кто был в Кремле, присягнули Петру и поочерёдно целовали ему руку.

Среди них была и Софья, которая скрепя сердце тоже присягнула брату и поцеловала ему руку.

Из Москвы во все концы России помчались гонцы, чтобы привести к присяге страну, а особые люди были посланы за

Артамоном Сергеевичем Матвеевым с сообщением о конце опалы и приглашением вернуться ко двору.

«Изволила восприять правление…»

На следующий день состоялись похороны Фёдора, и за его гробом вместе с Петром, уже царём, шла, вопреки обычаю, и Софья.

Распри между Софьей и молодой вдовой Натальей Кирилловной начались сразу же после похорон. И Софья тут же стала искать себе сообщников, чтобы утвердиться в роли правительницы при малолетнем брате. Она нашла опору себе в стрельцах, которые незадолго перед тем били челом на своих начальников, но ближний человек царя Фёдора дьяк Иван Максимович Языков велел челобитчиков схватить и перепороть. За несколько дней до смерти Фёдора целый стрелецкий полк бил челом на своего полковника Семёна Грибоедова, который мучил и обирал своих подчинённых и заставлял их как холопов работать в его вотчинах.

На сей раз Языков взял сторону стрельцов и велел посадить Грибоедова в тюрьму, а затем царским указом Грибоедов лишён был чина, имения его отобраны в казну, а самого бывшего начальника стрельцов сослали в Тотьму.

Как только власть зашаталась, стрельцы уже 30 апреля, на четвёртый день после смерти Фёдора, подали челобитную сразу на шестнадцать своих полковников, кроме того поступила челобитная на командира Бутырского солдатского полка, которую могли поддержать их сторонники в других полках.

Челобитная от 30 апреля отличалась от ранее поданных тем, что в ней стрельцы грозились самочинно расправиться с обидчиками, если их жалобы не будут удовлетворены немедленно.

1 мая всех полковников взяли «за сторожи» и посадили в тюрьму Рейтарского приказа, а из дворца убрали Языкова с сыном и близких ему по духу и службе двору Лихачёвых. Затем полковников вывели перед толпой стрельцов и били каждого батогами до тех пор, пока их бывшие подчинённые не закричали: «Довольно!» После этого каждый день в течение восьми дней полковников по два часа били палками по ногам, пока они не заплатили всего, что причиталось с них разозлённым стрельцам. И лишь после этого их выслали из Москвы.

6 мая всех выборных на Земский собор распустили, и одновременно с этим по Москве стали ходить слухи, в которых виновниками всех бед объявлялись Нарышкины и их сторонники, а защитниками стрельцов — Милославские.

Главными зачинщиками грядущего мятежа стали боярин Иван Михайлович Милославский, два брата Толстые и князь Иван Андреевич Хованский по происхождению своему Гедиминович, из давно уже обрусевшего служилого рода.

Между тем 11 мая приехал в Москву Матвеев. Все поздравляли его с возвращением, и сами стрельцы поднесли ему хлеб-соль. Однако Матвеев сразу же осудил их действия, и по Москве тут же стали передавать сказанные им слова: «Стрельцы таковы, что если им хоть немного попустить узду, то они дойдут до крайнего бесчинства».

Этого было довольно, чтобы Матвеев стал злейшим врагом стрельцов.

Вскоре по Москве пошёл слух, что якобы брат вдовствующей царицы — Иван Нарышкин, примерив на себя царский наряд, сел на трон, но Софья и другие Милославские стали укорять его за это, и тогда Иван начал душить своего тёзку — царевича, которого еле-еле сумели отбить дворцовые стражники.

А во вторник 15 мая в полдень, когда бояре собрались в Кремле в Думе, братья Толстые, примчавшись в стрелецкие слободы, стали кричать, что Иван Нарышкин всё же задушил царевича Ивана.

Стрельцы схватились за оружие, ударили в набат, и толпа со знамёнами и барабанным боем ринулась к Кремль. Боярская дума в страхе разбежалась. Тогда по совету Матвеева царица Наталья в сопровождении патриарха вышла с обоими царевичами на Красное крыльцо. Но и появление живого Ивана-царевича не остановило стрельцов, жаждавших крови. Не смог уговорить их и патриарх. Стрельцы кинулись на крыльцо и первым сбросили на копья начальника Стрелецкого приказа князя Михаила Юрьевича Долгорукова, а за ним — Матвеева и обоих изрубили на куски.

Ворвавшись во дворец, стрельцы повсюду искали Нарышкиных и их сторонников, заглядывая в сундуки, лари и даже в печные трубы, желая найти Ивана Нарышкина.

Были убиты десятки дьяков, бояр, дворцовых слуг, а их имущество разграблено.

На следующий день всё продолжилось снова, и снова кровь невинных жертв заливала Москву. Стрельцы успокоились только тогда, когда по настоянию Софьи им был выдан брат царицы Иван. Его за волосы вытащили из церкви, бросили в пыточный застенок и после долгих мучений отволокли на Красную площадь. Там его подняли на копья, потом бросили наземь и, изрубив в мелкие куски, втоптали их в грязь.

В этот же день взбунтовались боярские холопы. Вместе со стрельцами они пошли на Холопий приказ, разгромили его и

уничтожили кабальные записи.

И хотя отныне холопы могли идти на все четыре стороны, почти все они либо вернулись к своим прежним владельцам, либо вновь похолопились, найдя себе новых господ, ибо холопство было в крови у всех них и они не только не знали, что такое воля, но и не представляли, как можно жить свободным человеком, потому что свободный человек должен был уметь кормить и одевать себя и свою семью сам, а холопов поил, кормил, одевал и говорил, что им делать, — хозяин.

Софья пообещала стрельцам выдать им все неустойки по прежним долгам, сверх того дать каждому по десяти рублей — деньги громадные, целое состояние — и выслать всех их обидчиков из Москвы. Тут же в ссылку были отправлены почти все Нарышкины, Лихачёвы и Языковы, сын Матвеева Андрей и ещё множество бывших стрелецких начальников.

По настоянию бунтарей во главе Стрелецкого приказа был поставлен их заступник и всеобщий любимец — князь Иван Андреевич Хованский.

По наущению Хованского стрельцы подали Софье челобитную, чтобы рядом с Петром был второй царь — Иван Алексеевич. 26 мая собранные с бору по сосенке москвичи и случайные люди из других городов, представлявшие, как им внушили стрельцы, всю Россию, пришли в Кремль и выкрикнули старшим царём Ивана, а младшим — Петра.

Через три дня, 29 мая, стрельцы по новой челобитной попросили царевну Софью «по молодости обоих государей» принять на себя правление государством.

И вслед за тем во все грады и веси «Великия, и Малыя, и Белыя России» были разосланы грамоты, коими все люди извещались, что «царевна София Алексеевна по многом отрицании, согласно прошению братии своей, великих государей, склоняясь к благословению святейшего патриарха и всего священного собора, милостиво соглашаясь на челобитие всех чинов московского государства, изволила восприять правление».

Появление на престоле правительницы-женщины было для Московского государства крайне необычным явлением.

Об Ольге Киевской не вспоминал никто — слишком уж давно она княжила. Правда, учёные монахи иногда говорили между собой о Зое Палеолог, византийской царевне, бывшей правой рукой и мудрой советчицей Ивана Васильевича III, коего в своё время называли «Великим», ибо именно в его правление Русь избавилась от Ордынского ига. Невольно приходило на ум, что и жену Ивана на Руси тоже звали Софьей.

Вспоминали и Елену Васильевну, царицу Московскую,

которая была правительницей государства Российского и оберегательницей сына своего — будущего Ивана Васильевича IV, прозванного ещё при жизни его Грозным.

Знали об этих государынях и бывшие воспитатели Софьи Алексеевны, ранее учившие её различным премудростям, беседовавшие с нею об истории церковной и светской и теперь постоянно внушавшие ей мысль о её избранничестве и о великом жребии, выпавшем на её долю.

И более других преуспевал в этом верный её слуга, без конца певший ей дифирамбы и слагавший в честь её вирши, без меры восторженный версификатор Сильвестр Медведев.

Это именно им, Сильвестром, молодая царевна Софья воспитывалась в духе того, что человек духовный — «по телу — земной, по душе — небесный» — считается образцом христианина, к коему надлежит устремляться всякому, «взыскующему истину».

Для этого, прежде всего, должно быть «словесноумному», ибо только такой книгочей и любомудр есть звено, соединяющее небо и землю. И, как утверждал другой современный Софье поэт и просветитель — Карион Истомин, бывший одним из её духовных наставников, именно в таком человеке «вещь Боготворна зримо сомкнётся». И вообще все наставники считали Софью Алексеевну и «словесноумной» и даже достойной носить имя «Дома Солнечного».

Так назвал «мужеумную» Софью Сильвестр Медведев, поднеся ей собственную поэму, сочинённую им на смерть царя Фёдора Алексеевича летом того де 1682 года.

Эта поэма в значительной части была подлинным панегириком царевне, ибо Медведев, обыгрывая имя Софьи, отождествлял её с Софией — Премудростью и с самою Богородицей, которая одна и была Премудрой.

Софья Алексеевна хорошо знала Священное Писание и помнила слова: «Премудрость прославит себя и среди народа своего будет восхвалена». Вслед за тем Медведев наделял царевну семью столпами Солнечного Дома, которые по богословским канонам того времени представляли: Премудрость, Разум, Совет, Мужество, Благодать, Любовь и Милость.

Продолжая образный ряд своего панегирика, Медведев так раскрыл символ царского герба: «Сугубо главного Великого государства Российского орла суть две главы — пресветлые государи наши цари и великие князья Иоанн Алексеевич и Пётр Алексеевич, вся Великия и Малыя, и Белые России самодержцы, их же Бог, в Троице славимый тремя вечными венцами».

Здесь следует пояснить, что на государственном Российском

гербе было три короны — Великороссии, Малороссии и Белой Руси. Две из них были на головах двуглавого орла, а третья находилась между ними.

Далее Медведев писал: «Крылья же орла — суть благоверная государыня царица и благородная государыня царевна, то есть Наталья Кирилловна и Софья Алексеевна, которые возносят сего орла славою добродетелей в поднебесную. Но очи свои орёл тот Российский обращает на Солнечный Дом, подобный свойствами своими самому Солнцу, на ваше пресветлое величество и увеселяет своё сердце созерцанием данной тебе мудрости». После этого Софья стала писать своё имя на грамотах для зарубежных государств вместе с именами обоих царей — Ивана и Петра. Следующим этапом должно было стать её полновластие, её единоначалие, называвшееся в России самодержавием.

И Софья делает первый шаг: заканчивает написание своего портрета — парсуны. В то время парсуны делались только с персон монархов. И для этой цели в штате Оружейной палаты значилось сорок живописцев и двадцать восемь иконописцев.

Софья заказала сразу несколько портретов, но для того, чтобы её инициатива стала известной в России и за рубежом, надлежало эти портреты протиражировать. Для этого нужно было уметь изготовлять гравюры, а таким искусством никто в Москве не владел.

Хотели поначалу пригласить специалиста с Запада, но после недолгих поисков обнаружили достаточно квалифицированного гравёра в Чернигове. Ему и заказали для тиражирования две парсуны: на первой были изображены и Иван, и Пётр, и Софья, зато на второй — только она одна. Причём в таком окружении, в таком обрамлении, которое заставило бы задуматься всякого хоть мало-мальски грамотного человека о том, кто и что изображено перед ним. И здесь вновь активно проявил себя неизменный панегирист Сильвестр Медведев. Он предложил окружить портрет Софьи пышными изображениями воинских доспехов и оружия, а также семью медальонами — по числу присущих царевне добродетелей. Но сведущий в политике человек — а именно только такие и принимались в расчёт и Софьей, и Медведевым, — знал, что семью медальонами с портретами курфюрстов-князей-избирателей окружают свои изображения императоры Священной Римской империи. Стало быть, налицо была очевидная портретная аналогия с самим императором — куда уж дальше!

Оказалось, глядели-то ещё дальше. Императора выбирали семь курфюрстов, а Софья представлялась не чьей-либо избранницей, а самодержицей по крови и роду, наделённая от Бога семью добродетелями.

И подпись под портретом тоже была весьма многозначительной: «София Алексеевна, отечественных владений государыня и наследница и обладательница».

Портрет печатали на бумаге и на тканях: шёлке, атласе, тафте. А один из портретов послали в Амстердам, бургомистру, который приказал перевести русские тексты на латинский язык и распорядился отпечатать сто экземпляров для распространения по Европе. Изменение верховной власти хотя бы по форме вселило надежду на то, что возможны и другие перемены. Особенно воодушевились раскольники, которых в стрелецких слободах жило не менее половины. На улицах и площадях появились их проповедники, призывавшие москвичей вернуться к истинной, старой, прародительской вере, поруганной проклятыми никонианами.

Князь Хованский, до той поры скрытно державшийся старой веры, открыто объявил себя старообрядцем, чем сильно способствовал усилению духовных идей протопопа Аввакума и его ближайшего сподвижника Никиты Пустосвята, жившего в Москве. Огонь старой веры разгорался ещё сильнее оттого, что в Москву только что пришли слухи о мученической смерти Аввакума, сожжённого в ссылке, в сыром срубе вместе со своими ближайшими сподвижниками.

На воскресенье, 25 июня, было назначено венчание Ивана и Петра на царство, а на 23-е стрельцы-раскольники потребовали открыть собор для свободного обсуждения вопросов веры.

В назначенный день утром раскольники во главе с Никитой Пустосвятом пришли в Кремль, но Хованский уговорил их перенести открытие собора на неделю.

5 июля страсти накалились до предела, но собор всё же открылся. Вместе с патриархом Иоакимом в Грановитую палату пришли Софья, Наталья Кирилловна, царевна Мария Алексеевна и сестра Алексея Михайловича — Татьяна Михайловна.

Невиданное это было дело, особенно для раскольников, чтобы среди князей церкви сидели женщины-мирянки, хотя бы и царского рода!

Спор шёл с переменным успехом довольно долго. Но когда чаша весов стала уверенно склоняться в пользу раскольников, Софья сама взяла слово. Она привела все аргументы в пользу официального, ортодоксального православия, говорила страстно, убеждённо, красиво, используя приёмы своих наставников-риторов Полоцкого, Медведева, Истомина, собственное незаурядное красноречие, но в конце концов поняла, что сторонников Никиты Пустосвята переубедить нельзя.

И тогда она прибегла к последнему доводу правителей —

грубой, всесокрушающей силе: Никиту Пустосвята и пятерых наиболее активных его сторонников по приказу Софьи схватили стрельцы Стремянного полка, который был предтечей конной гвардии, и отличался особой преданностью престолу. Ересиарху отрубили голову, а его клевретов, побив кнутом, разослали по дальним острогам.

После казни Пустосвята надвинулась на Софью новая беда — князь Хованский, всё чаще упоминавший о своём царском происхождении от Великого Литовского князя Гедимина, похоже, стал заявлять свои претензии на шаткий московский трон.

Стали поговаривать, что 19 августа, во время крестного хода в Донской монастырь, стрельцы перебьют всю царскую семью, всех бояр и возведут князя Ивана Андреевича на престол.

Ни цари, ни царицы, ни царевны, ни бояре с крестным ходом не пошли, а 20 августа и вовсе уехали из Москвы — в Коломенское. Не было ни царской семьи, ни бояр и на праздновании Нового года — 1 сентября. А 2 сентября к воротам царской усадьбы оказалось прибито подмётное письмо, в котором Хованского обвиняли в том, что он собирается убить обоих царей, Софью, Наталью Кирилловну, патриарха и архиереев. Собирается выдать за своего сына одну из царевен, а прочих — постричь и сослать в монастыри, бояр же всех перебить. Софья тут же переехала со всеми своими ближними в хорошо укреплённый Савво-Сторожевский монастырь, под Звенигород, и немедленно разослала грамоты, обязывая всех служилых людей прибыть конно, пеше и оружно, ничем не отговариваясь, с великим поспешанием, чтобы извести воровство и крамолу Ивашки Хованского со товарищи.

13 сентября Софья переехала в село Воздвиженское, приказав, чтобы к 18 сентября съехались туда все бояре и служилые московские люди.

Накануне, 17 сентября, были именины Софьи, и в Воздвиженское прибыли тысячи людей. Ехал туда и Хованский, не подозревая о грозившей ему опасности.

Он был ещё в пути, когда Дума, прослушав подмётное письмо, которое зачитал им думный дьяк Фёдор Шакловитый, не желая спрашивать Хованского, заочно приговорила его к смерти. Навстречу Хованскому был послан с большим отрядом боярин князь Лыков, чтобы захватить и доставить его в Воздвиженское.

Лыков схватил Хованского-старшего и послал за Хованским-младшим. Княжича Андрея схватили в его подмосковной вотчине и привезли в Воздвиженское.

Хованских не пустили во дворец, а тот же Шакловитый в присутствии думных чинов вычитал им их вины перед воротами

царской усадьбы.

Приговор кончался словами: «Злохитрый замысел ваш обличился. Государи приказали вас казнить смертию».

Отца и сына тут же и казнили, отрубив им обоим головы.

Боясь мести стрельцов за казнь их любимца и его сына, Софья тут же поехала в Троице-Сергиев монастырь — неприступную крепость, приспособленную к многомесячной осаде, и велела всем служилым людям немедленно двигаться туда же.

Софья за два дня добралась до Троицы, вошла в обитель и запёрлась в ней.

Далее события развивались совершенно в пользу Софьи. Стрельцы в Москве, узнав о казни Хованских, сначала схватились за оружие, но на Троицу не пошли, выставив лишь пушки у городских ворот да усилив надзор за боярскими холопами — вчерашними своими союзниками, боясь, что они выступят против них по наущению своих бежавших к Софье господ.

Софья между тем выжидала, с каждым днём накапливая силы, шедшие к ней со всех сторон. Стрельцы знали об этом и стали просить патриарха послать в Троицу архимандрита Чудова монастыря Адриана, чтобы звать на Москву Софью и её братьев, дабы принести им повинную. Софья, дождавшись Адриана, потребовала, чтобы в Троицу прибыли выборные по двадцать человек от каждого полка. Стрельцы покорно выполнили её волю и, явившись в Троицу, пали ниц перед царевной. Вычитав им суровое нравоучение, Софья велела, чтобы каждый полк подал повинную челобитную с поимённым общим рукоприкладством. После того выборных отпустили в Москву. С помощью патриарха такая повинная была составлена и подписана всеми стрельцами.

Софья с братьями и всем царским семейством возвратилась в Москву, въехала в Кремль как победительница, тотчас же заменив стрелецкие караулы дворянами и прочими верными ей служилыми людьми.

Начальником Стрелецкого приказа стал Шакловитый, начав своё управление казнью пяти заводчиков новой смуты и разослав по окраинам несколько десятков самых заядлых гилевщиков.

Так, почти бескровно, положила Софья Алексеевна конец великой смуте и с этой поры семь лет управляла Россией от имени двух своих братьев.

Во главе государства

Однако управлять Россией было ох как нелегко! В Москве не проходило дня без татьбы, воровства и убийств. Городовые стрельцы и объезжие головы сбивались с ног, беспрестанно ратоборствуя с шайками головорезов, вооружённых пищалями и самопалами. Разбойников ловили, били кнутом, рубили головы, но воровство и татьба продолжались.

Прямо под городом, на Троицкой дороге, бесчинствовали с шайкой своих холопов князь Лобанов-Ростовский и столбовой дворянин Иван Микулин, грабя купцов, мещан и тароватых мужиков. И их поймали, а поймав, били кнутом и, отобрав имения, сослали в Сибирь.

Повсеместно дрались и сварились между собою помещики, наезжая друг на друга во главе своих хорошо вооружённых отрядов. Они жгли усадьбы, грабили пожитки, сжигали деревни и травили хлеба, угоняя лошадей и коров. И против них шли правительственные войска, усмиряя бунтарей и прекращая бесчинства.

Но более прочих докучали правительству раскольники. Их велено было смирять огнём и железом, беспощадно пытать, а в крайних случаях сжигать живьём. Самые фанатичные раскольники не только не боялись пыток и казней, но сами сознательно шли на них.

В 1687 году три тысячи фанатиков захватили Палеостровский монастырь на Онежском озере и, запёршись, сели в осаду.

Когда под стены обители подошли правительственные войска, расколоучители Емельян и Игнатий подожгли монастырь, и в огне погибли две тысячи семьсот человек, веря в то, что, очищенные этой огненной купелью, они тут же войдут в царствие небесное.

А в 1689 году в этом же монастыре, вновь захваченном раскольниками, «крещение огнём» приняли ещё пятьсот праведников.

Внутренние дела государства занимали Софью более всего, тогда как дела внешние целиком лежали на её «канцлере», так называли князя Голицына иноземные послы и резиденты. И если дипломатия была поприщем почти одного Голицына, то в делах внутренних правительница опиралась на Фёдора Леонтьевича Шакловитого.

В годы правления Софьи наибольшим успехом русской внешней политики следует считать заключение «Вечного мира» с

речью Посполитой.

«Вечный мир» был подписан в Москве 6 мая 1686 года. С польскими послами Гжимултовским и Огинским по латыни и по-польски трактовал сам Василий Васильевич. Тридцать три статьи договора согласовали довольно быстро, положив в основание Андрусовское перемирие 1667 года, по коему к России навсегда переходила Левобережная Украина с Киевом, Запорожье, Северская земля с Черниговом и Стародубом, а также и Смоленск с окрестностями.

Правда, за Киев поляки выторговали компенсацию в 146 тысяч рублей и потребовали, чтобы Россия вошла в антитурецкую лигу, в которой состояли Речь Посполитая, Священная Римская империя и Венеция. Борьба с османами и Крымским ханством была на руку и Голицыну, и потому и эта «препозиция» с готовностью была им воспринята.

Что же до политики восточной, то здесь нельзя не упомянуть о «Нерчинском договоре», подписанном 27 августа 1689 года между Московским государством и Циньской маньчжурской империей. Это был первый договор в истории взаимоотношений России и Китая. Его подписывали у стен осаждённого маньчжурами Нерчинска боярин Фёдор Алексеевич Головин и мандарин Конготу.

Головин вынужден был отказаться от обширного Албазинского воеводства в пользу империи Цин, но все другие статьи однозначно трактовать было невозможно, ибо названия рек и гор по русским картам, где они были писаны по-латыни, и по маньчжурским картам, где писаны они были китайскими иероглифами, толмачи согласовать не смогли.

Итак, во всех этих и других важнейших государственных делах главные роли сыграли сторонники Софьи и её фавориты: Василий Васильевич Голицын и Фёдор Леонтьевич Шакловитый.

В одном из интереснейших источников того времени — «Гистории о царе Петре Алексеевиче», написанной его сподвижником, хорошо осведомлённым о семейных делах династии князем Борисом Ивановичем Куракиным, и рассказывающей о событиях 1682-1694 годов, немалое место отводится царевне Софье и двум её фаворитам — Голицыне и Шакловитому.

Первое упоминание о Голицыне относится к тому времени, когда Софья отправилась с верными ей войсками в Троице-Сергиеву лавру.

«И тогда же она, царевна Софья Алексеевна, — писал Куракин, — по своей особой инклинации (*лат.* — склонности) к амуру, князя Василия Васильевича Голицына назначила

дворцовым воеводою войски командировать и учинила его первым министром и судьёю Посольского приказу, которой вошёл в ту милость через амурные интриги. И почёл быть фаворитом и первым министром, и был своею персоною изрядный, и ума великого, и любим ото всех».

И сразу же после этого Куракин упоминает и другого фаворита Софьи — думного дьяка Фёдора Леонтьевича Шакловитого, поставленного царевной после казни Хованских во главе Стрелецкого приказа.

Возвратившись из Троице-Сергиева монастыря в Москву, Софья стала участвовать во всех дворцовых и церковных церемониалах наравне с официально провозглашёнными царями Иваном и Петром. Она приказала чеканить золотые монеты с её портретом, что являлось прерогативой правящего монарха, стала надевать царскую корону и давала официальные аудиенции иноземным послам в Золотой палате Московского Кремля.

Далее князь Куракин писал: «Что принадлежит до женитьбы с князем Василием Голицыным, то понимали все для того, что оной князь Голицын был её весьма голант (галант, *фр.* — любовник); и всё то государство ведало и потому чаяло, что прямое супружество будет учинено. По вступлении в правление царевна Софья для своих плезиров (плезир, *фр.* — радость, удовольствие) завела певчих из черкас (черкасы — украинцы), а также и сёстры её по комнатам, как царевны: Екатерина, Марфа и другие между певчими избирали себе голантов и оных набогащали, которые явно от всех признаны были». Таким образом, те венерины кущи, что пышным цветом стали расцветать в XVIII веке, получили первую робкую завязь в веке предшествующем.

Из-за того что правительство Софьи и православная церковь, традиционно пользовавшаяся поддержкой самодержавного российского правительства, продолжали преследовать раскольников, не подчинявшихся официальным духовным властям, в Москве сначала в раскольничьих кругах, а затем и по всему городу распространялись слухи, всячески порочившие обитательниц кремлёвского терема. И как втихомолку говорили староверы: «Царевна Софья была блудница и жила блудно с боярами, да и другая царевна, сестра её. И бояре ходили к ним, и робят те царевны носили и душили, и иных на дому кормили».

После подписания «Вечного мира» с Речью Посполитой российские государи стали официально именоваться в международных документах и челобитных: «Всея Великия и Малыя и Белые России самодержцы». С этого же момента и имя Софьи ставили в царском титуле на всех документах.

Заключение «Вечного мира» сильно укрепило авторитет

Голицына. Иностранцы, посещавшие Посольский приказ, отмечали, что российское дипломатическое ведомство занимает четыре огромных каменных здания с множеством просторных и высоких зал, убранных на европейский манер.

Сам канцлер, коего его сторонники называли «Оком всей великой России», поражал их необычной роскошью своей одежды, сплошь усыпанной алмазами, сапфирами, рубинами и жемчугом. Говорили, что у Голицына не менее ста шуб и кафтанов, на которых каждая пуговица стоит от 300 до 700 рублей, а если бы канцлер продал один свой кафтан, то на эти деньги мог бы одеть и вооружить целый полк.

Конечно же вся эта роскошь появилась в результате благосклонного внимания к своему любимцу Софьи Алексеевны.

Упоминавшийся французский эмиссар в Москве де Невилль писал о князе Голицыне: «Разговаривая со мною по-латыни о делах европейских и о революции в Англии, министр потчевал меня всякими сортами крепких напитков и вин, в то же время говоря мне с величайшей ласковостью, что я могу и не пить их. Этот князь Голицын, бесспорно, один из искуснейших людей, какие когда-либо были в Московии, которую он хотел поднять до уровня остальных держав. Он любит беседовать с иностранцами, не заставляя их пить, да и сам не пьёт водки, а находит удовольствие только в беседе. Не уважая знатных людей по причине их невежества, он чтит только достоинства и осыпает милостями тех, кого считает заслуживающими их».

Повернув остриё русского меча на юг — против татар в Крыму и турок, Голицын вскоре вынужден был взяться и за его рукоять. В начале 1687 года Боярская дума «приговорила: быть князю Василию большим воеводой и Крым зносити», а летом Голицын встал во главе огромной армии и двинулся на юг. На Крым пошло 112 тысяч конницы и пехоты при 350 орудиях.

Перед тем как полки Голицына двинулись в Крымский поход, архимандрит Новоспасского монастыря — поэт и композитор Игнатий Римский-Корсаков выступил перед ними с пламенной проповедью, заявив, что их заступниками в этом походе будут небесные патроны Ивана, Петра и Софьи — Иоанн Предтеча, апостол Пётр и святая София, «еже есть Премудрость Слова Божия».

Надо заметить, что потом, когда почти все придворные, а учёные-монахи были конечно же истыми царедворцами, отвернулись от Софьи, перебежав под победоносный стяг Петра Алексеевича, этот же Игнатий Римский-Корсаков, единственный из всех, сохранил верность поверженной правительнице. Однако об этом — чуть позже.

Засуха, жара, отравленные татарами и турками колодцы на пути огромной армии, а также начавшаяся конская бескормица не позволили Голицыну дойти до Крыма, и он предпочёл возвратиться с половины пути.

Первый Крымский поход окончился так плачевно и из-за поджога степи, в котором повинны были гетман Самойлович и его клевреты. Самойловича сместили не без труда, не без подкупа и крови, а на его место избрали Степана Мазепу.

Сделав серьёзные выводы из постигшей его неудачи, Голицын сразу же по возвращении в Москву стал готовиться ко второму походу на Крым, который был объявлен 18 сентября 1688 года, но начался 17 марта следующего года, ибо подготовка к нему была основательной и серьёзной. В походе участвовало 80 тысяч солдат и рейтар и 32 тысячи стрельцов — уже и по эти цифрам, по соотношению сил тех и других, хорошо видно, как далеко зашла военная реформа Голицына.

В середине мая 1689 года начались бои с татарами, но решительного сражения не произошло, и армия Голицына, дойдя до Перекопа и постояв перед его укреплениями несколько дней, двинулась обратно.

В Москве же с нетерпением ждали известий из армии. И они регулярно поступали в Кремль, но в перемётных сумах гонцов были не только официальные реляции с полей сражений, но и письма совсем иного рода.

В одном из них Софья писала своему любимцу: «Свет мой, братец Васенька, здравствуй, батюшка мой на многие лета... А мне, свет мой, веры не имеется, что ты к нам возвратишься. Тогда веру заимею, как увижу в объятиях своих тебя, света моего. Всегда того прошу, чтобы света моего в радости видеть. По сём здравствуй, свет мой во Христе, на веки несчётные».

А вот и другое письмо: «Свет мой, батюшка, здравствуй на многие лета!.. Радость моя, свет очей моих, мне веры не имеется, сердце моё, что тебя, свет мой, видеть. Велик бы мне день тот был, когда ты, душа моя, ко мне будешь. Если бы мне возможно было, я бы единым днём тебя поставила пред собою. Письма твои вручены Богу, к нам все дошли в целости из-под Перекопу, из Каирки и с Московки. Я брела пеша из Воздвиженского, только подхожу к монастырю Сергия Чудотворца, к самым Святым воротам, а от вас отписки о боях: я не помню, как взошла, читала идучи; не ведаю, чем его, света, благодарить за такую милость его и матерь его, пресвятую Богородицу, и преподобного Сергия Чудотворца, Милостивого... Бог, свет мой, ведает, как желаю тебе, душа моя, видеть...»

Прочитав письма Софьи Алексеевны к её «братцу», «свету» и

«душе» Васеньке, можно было бы по-хорошему позавидовать великой любви, коя поселилась меж царевной и её полководцем. Ан не тут-то было. Ибо на самом деле далеко не столь безоблачной была эта любовь, и уже упоминавшийся нами князь Куракин писал в своей «Гистории»:

«Надобно ж и о том упомянуть, что в отбытие князя Василия Голицына с полками на Крым, Фёдор Щагловитой (Шакловитый) весьма в амуре при царевне Софии профитовал, и уже в тех плезирах ночных был в большей конфиденции при ней, нежели князь Голицын, хотя не так явно. И предусматривали всё, что ежели бы правление царевны Софии ещё продолжалося, конечно бы князю Голицыну было от неё падение или бы содержан был для фигура за первого правителя, но в самой силе и делах был бы упомянутый Щегловитой».

Вспомните, ведь нам совсем недавно встречалось эти имя: Шакловитого упомянул тот же Куракин и когда речь шла о казни Хованских и о смене руководства в Стрелецком приказе. Именно тогда начальником Стрелецкого приказа стал Фёдор Леонтьевич Шакловитый, и с тех пор его всё чаще и чаще стали упоминать при разговорах о важнейших государственных делах и о семейных коллизиях в царском доме. Это было тем более дивно, что сравнительно недавно никто не сказал бы об этом человеке ничего определённого.

Знали только, что за десять лет перед тем был Шакловитый площадным подьячим — «чернильным семенем», «приказной строкой», самым маленьким чиновником, писавшим бумаги за предельно малую мзду, не брезговавшим и медными деньгами. Лишь немногие знали, что семнадцать лет назад, совершенно неожиданно, неведомо за какие заслуги, Шакловитый был принят в Тайный приказ, на первых порах оставаясь всё тем же младшим подьячим. Тайный приказ, или Приказ тайных дел, существовавший с 1654 года, ведал не только розыском по делам о государственных преступлениях, но прежде всего представлял собою личную царскую канцелярию, занимаясь главным образом руководством центральными и местными государственными учреждениями. Для человека ловкого, умного и последовательного, знающего, чего он хочет и к чему стремится, именно здесь было много возможностей сделать карьеру, так как подьячие Приказа посылались с послами в посольства, а с воеводами — на войну для наблюдения за ними и обо всём виденном и услышанном должны были доносить лично царю. Поэтому послы-воеводы старались угождать подьячим и подкупать их. Силой обстоятельств подьячие не просто находились в центре важнейших государственных дел и часто

досконально знали самые сокровенные тайны государства, при случае приводя в движение нужные им пружины бюрократического механизма, но и завязывали выгодные знакомства, активно участвуя в дворцовых интригах и заговорах.

Связав свою судьбу с Милославскими, Шакловитый верой и правдой стал служить им и в 1682 году был уже дьяком в Боярской думе. Именно он 17 сентября зачитал в заседании Думы доклад, а потом и приговор по делу Хованского, за что после казни Хованских царевна Софья назначила Шакловитого начальником Стрелецкого приказа. А после того как Голицын ушёл в новый поход, Софья и вовсе переменила фаворита, хотя сделать это было не так просто, ибо князь Василий был и люб и мил ей, но он оставался привязан и к своей жене — княгине Авдотье, и к своим четырём детям, и всё никак не решался оставить их и полностью отдаться царевне. Шакловитый оказался незаменимым для Софьи человеком ещё задолго до того, как стал фаворитом. Уже после подавления «хованщины» новый начальник Стрелецкого приказа, действуя разумно и энергично, перевёл наиболее активных бунтарей в отдалённые от Москвы города, а остальных смирил суровыми мерами.

Сосредоточение фактической власти в руках Софьи, командовавшей через своих фаворитов армией и стрельцами, руководившей Боярской думой и иностранными делами, ибо они и там были «персонами первого градуса», привело правительницу к мысли о том, что ей совсем незачем и формально делить власть со своими младшими братьями.

Наиболее подходящим сообщником для осуществления этого намерения она сочла Шакловитого, отличавшегося честолюбием, авантюризмом, умом и смелостью. Важно было и то, что Шакловитый имел большой авторитет у московских стрельцов, а ещё важнее, что его преданность Софье не вызывала у неё ни малейшего сомнения. Именно учитывая всё это, Софья сделала Фёдора Леонтьевича своим фаворитом, и когда открылась ему в своих дерзновенных планах, то встретила его полную поддержку в том, чтобы единолично венчаться на царство и более ни с кем не делить трон.

Голицын в это время находился во втором Крымском походе, и Шакловитый стал первым сановником в государстве помимо всех родовитых и знатных бояр, ненавидевших его, как худородного выскочку, как сердечного друга царевны Софьи, по их мнению, околдовавшего царевну бесовскими чарами.

Он оставался в фаворе и после того, как в Москву в июле 1689 года возвратился из очередного неудачного похода теперь уже отвергнутый Софьей Голицын. Хотя Софья и встретила его

как победителя и осыпала наградами и подарками, былого сердечного расположения к «свету Васеньке» царевна не вернула — в её сердце прочно укрепился худородный ярыжка Федька Шакловитый.

Желая сделать всё возможное для окончательной победы над мятущейся одинокой женщиной, Шакловитый зимой 1689 года заказал талантливому богослову и проповеднику Иосифу Богдановскому книгу «Дары Духа Святого», в которой всесторонне обосновывалась идея, что царям Ивану и Петру дарована от Бога держава и сила, а Софье — Премудрость, и именно Премудрость и есть высший дар Бога. Богдановский писал, что мудрость Софьи проявилась в тишении бунта, разум — в отправлении войск в Крым, совет — в её успехах на Западе, крепость — в укреплении православия и благочестие — в украшении храмов Господних.

Орлёнок расправляет крылья

Однако ни Софья, ни Шакловитый не предполагали, что начало 1689 года было временем апофеоза Софьи, за которым почти мгновенно наступил её полный и окончательный крах. И причиной тому было то, что она недооценила своего младшего брата Петра, сначала выпустив его из своего поля зрения, а потом и из-под контроля своей власти.

Мы оставили Петра в страшные дни весны 1682 года на Соборной площади Кремля, когда с ним случился первый припадок эпилепсии. И всё же в десять лет Пётр был рослым, крепким мальчиком, подвижным и любознательным. Одним из его первых учителей был подъячий Посольского приказа Никита Моисеевич Зотов, выучивший Петра грамоте и началам российской истории.

В одиннадцать лет Пётр показался секретарю шведского посольства шестнадцатилетним. «Лицо у него открытое, красивое, молодая кровь играла в нём... Удивительная красота его поражала всех предстоявших, а живость его приводила в замешательство степенных сановников московских».

Как раз в это самое время начал Пётр свои знаменитые «марсовы потехи». 30 мая 1683 года, когда исполнилось ему одиннадцать лет, в подмосковном селе Воробьёво артиллерийский капитан Симон Зоммер впервые учинил перед Петром «потешную огнестрельную стрельбу» из настоящих орудий. Зоммер был одним из первых иностранцев, с которыми судьба свела юного царя, и почти тотчас же Пётр обратил внимание и на других иноземцев, живших, как и Зоммер, на берегах ручья Кукуй в Немецкой слободе.

Военные игры привели к тому, что Пётр объявил о создании потешного полка, и на его зов 30 ноября 1683 года первым явился сорокалетний придворный конюх Сергей Леонтьевич Бухвостов, вошедший в историю как первый солдат российской регулярной армии. Он прослужил до семидесяти лет, выйдя в отставку майором артиллерии. Пётр так любил Бухвостова, что приказал скульптору Бартоломео Растрелли-старшему сделать ещё при жизни Сергея Леонтьевича его статую.

Однако не Бухвостову выпала на долю наибольшая известность, а тем более наибольшая удача: в особом, как тогда говорили, «кредите у Фортуны» оказался другой человек, сын другого дворцового конюха, тоже явившийся на зов Петра в потешный полк, — Александр Данилович Меншиков. Пётр видел

Меншикова в доме швейцарца Лефорта, где тот был «казачком» — мальчиком на посылках. Да и было ему в ту пору десять лет. Пётр же был старше Меншикова всего на полтора года. А уже через три года тринадцатилетний Меншиков служил денщиком Петра, почти сразу же превратившись и в его любимца. Сметливый, расторопный, весёлый, смелый, с удовольствием разделявший все утехи своего государя, Меншиков вскоре стал «вторым я» юного царя, ни на час не отлучаясь от него и ловко угождая малейшим его прихотям. Случилось так, что юный царь не мог оставаться без своего любимца и часа, приказывая повсюду следовать за ним и оказываться под рукой в любую минуту.

Вокруг Петра очень быстро возник кружок его сверстников, а также шумная и весёлая компания мужчин и женщин гораздо более зрелых, однако же готовых потакать сначала достаточно робким, а потом всё более откровенным и, наконец, необузданно распущенным вожделениям будущего российского самодержца. И в этом Меншиков был первым их сподвижником и не по годам ловким сводником, завзятым собутыльником и забавником-весельчаком.

Да и в «марсовых потехах», которые в это время составляли главное занятие и царя, и его денщика, они были столь же неразлучны и единодушны, как и в прочих делах.

Так, между играми, забавами и непременными серьёзными занятиями по обмундированию, снабжению, вооружению и обучению сотен молодых рекрутов в селе Преображенском появился одноимённый, пока ещё вроде бы и потешный, но уже и нешуточный, а впоследствии первый гвардейский полк России, увенчанный всеми наградами империи.

Пётр, наряду с другими, стал служить в этом полку рядовым, испытывая на себе все перипетии и тяготы солдатской службы, которая закалила его и рано сделала взрослым мужчиной. Эта же служба ещё более сблизила Петра с иностранцами-офицерами, так как именно их — преимущественно немцев — молодой царь пригласил в Преображенский полк на командные должности.

В 1685 году Пётр приказал построить в Преображенском, на берегу Яузы, потешный городок-крепость Прешбург, чтобы обучать солдат осаде, обороне и штурму городов. Ах, как жестоко пошутила потом судьба с этой игрушечной крепостью! Пройдёт восемь лет, и именно здесь разместится страшный Преображенский приказ — место пыток и казней государевых, петровых супротивников.

А тогда, ещё не помышляя о будущем, строили «потешную фортецию» всё те же иноземцы, ещё более разжигая любопытство Петра к европейским премудростям.

Игра перерастала уже в дело серьёзное и небезопасное для всех противников молодого царя. Весной 1687 года он начал создавать второй потешный полк — Семёновский, формировавшийся в соседнем селе — Семёновском.

И здесь не обошлось без иноземцев, которые кроме фрунта, экзерциций, парадов и военной музыки приохотили пятнадцатилетнего бомбардира и к музыке партикулярной, к табаку, пиву, вину, а затем познакомили с юными прелестницами из Немецкой слободы.

Весёлые молодые девицы и женщины, любившие потанцевать, выпить вина, пофлиртовать с молодым и красивым царём, намеренно откровенно соблазнявшие его своими прелестями — обнажёнными руками и плечами, полуоткрытыми бюстами и спинами, затянутыми в рюмочку талиями, сверкающими, зовущими глазами, были полной противоположностью московским невестам-боярышням, не поднимавшим глаз, укутанным в тяжёлые златотканые одежды, молчаливым и скромным.

Кукуйские девы кружили голову не хуже вина и представлялись Петру живым воплощением первозданного плотского греха — влекущего, сладкого и пока ещё неизведанного.

Пётр, никогда не игравший вторых ролей, всегда старавшийся не уступать никому ни в чём, и в утехах вовсю показывал свою силу, удаль и молодечество. С этого времени пирушки с иностранцами и русскими товарищами его забав и дел стали неотъемлемой чертой жизни и быта Петра, сохранившейся до самой его смерти.

А когда исполнилось ему шестнадцать, затеял он построить на Плещеевой озере, в Переяславле-Залесском первую флотилию, положив тем самым начало российскому кораблестроению. Эта очередная потеха заставила Петра заняться арифметикой и геометрией, освоить различные астрономические и корабельные инструменты, чему обучали его тоже иноземцы — голландцы Франц Тиммерман и Карстен Брант.

Месяцами стал он пропадать на озере, чем приводил матушку свою Наталью Кирилловну в великое смятение.

Мать боялась, что её Петруша утонет, и не знала, что предпринять, чтобы привязать сына к Москве. Новая затея казалась ей ещё хуже и опаснее, чем потешные игры возле Преображенского и ночные кутежи в поганом Кукуе.

И тогда Наталья Кирилловна надумала женить сына на молодой красавице и стала присматривать будущую невестку среди лучших столичных невест. После раздумий, впрочем

непродолжительных, ибо время не ждало, она решила остановить свой выбор на двадцатилетней московской дворянке Евдокии Лопухиной, девушке красивой, доброй и нежной, и вроде бы из хорошей семьи, давно связавшей судьбы своих сородичей с военной и гражданской государственной службой.

Произошло это не враз и не без политического расчёта.

Уже упоминавшийся нами князь Куракин в «Гистории о царе Петре Алексеевиче» утверждал, что противная князю Голицыну партия Нарышкиных и Тихон Стрешнев не допустили женитьбы царя Петра на родственнице Голицына или его сторонников и добились того, что 27 января 1689 года шестнадцатилетний Пётр женился на Евдокии Фёдоровне Лопухиной. Свадьба была очень скромной. Новая царица происходила из среднего дворянства. Но её многочисленные родственники, оказавшись при царском дворе, тут же обнаружили самые дурные качества. Куракин писал, что были Лопухины «люди злые, скупые, ябедники, умов самых низких и не знающие нимало в обхождении дворовом... И того к часу все их возненавидели и стали рассуждать, что ежели придут в милость, то всех погубят и все государством завладеют. И, коротко сказать, от всех были возненавидимы, и все им зла искали или опасность от них имели».

Что же касается самой Евдокии Фёдоровны, то Куракин отмечал: «И была принцесса лицом изрядная, токмо ума посреднего и нравом не сходная к своему супругу, отчего всё счастие своё потеряла и весь свой род сгубила... Правда, сначала любовь между ими, царём Петром и супругою его, была изрядная, но продолжалася разве токмо год. Но потом пресеклась; к тому же царица Наталья Кирилловна невестку свою возненавидела и желала больше видеть с мужем её в несогласии, нежели в любви. И так дошло до конца такого, что от сего супружества последовали в государстве Российском великие дела, которые были уже явны на весь свет...»

Об этом речь пойдёт ниже, а пока Пётр проводит медовый месяц с молодой женой и ещё не тяготится ею. Однако же, ещё не успел сойти лёд на Переяславском озере, он тотчас же сменил супружеское ложе на походную карету и помчался к любимому озеру, где всю минувшую зиму его мастера-иноземцы достраивали и отделывали его, государевы, корабли.

Однако не следует думать, что только этими полудетскими забавами жил молодой царь. Наезжая в Москву, Пётр всё чаще стал интересоваться государственными делами, что насторожило и испугало Софью и её сторонников. В Кремле видели, что орлёнок расправляет крылья, но видели также и то, что противная ему сторона — прежде всего сама Софья и

Шакловитый, а также и Василий Васильевич Голицын — не намерены уступать власть молодому претенденту. Это стало очевидным, когда 8 июля 1689 года Пётр сделал первый серьёзный шаг на пути противостояния своей старшей сестре. Он послал к ней требование не ходить в этот день крестным ходом в Казанский собор, хотя ранее Софья всегда участвовала в таких церемониях.

Она не послушала брата и вышла из Кремля на Красную площадь, рядом с которой стоял Казанский собор. Её не смутило и то, что в этом шествии не было Петра, хотя она и понимала, что, идя за крестами вопреки воле брата, она принимает сделанный ей вызов и не боится его.

А когда она вернулась в Кремль, ей сказали, что Пётр уехал из Москвы. Софья поняла, что брат, в свою очередь, правильно оценил её поступок и принял вызов.

Во второй раз распря между ними возникла, когда Василий Голицын вернулся из второго Крымского похода. Софья осыпала «братца Васеньку» наградами, а Пётр, под влиянием окружавших его офицеров, считал второй поход столь же бесславно проигранным, как и первый, и ни на какие награды Голицыну и его сотоварищам не соглашался.

Голицын же, получив награды, явился к Петру, желая поблагодарить за них и его, но Пётр приказал не пускать князя к себе на глаза. Этот поступок брата окончательно убедил Софью, что её правление подходит к концу. Она решилась на крайние меры, действуя старым, испытанным способом: в её хоромах появилось подмётное письмо, что в ночь с 7 на 8 августа в Кремль войдут «потешные» и убьют Ивана Алексеевича и всех его сестёр.

Вечером 7 августа Шакловитый ввёл в Кремль четыре сотни стрельцов, а ещё три сотни поставил близ Кремля — на Лубянке. Этих стрельцов сторонники Шакловитого стали подбивать на то, чтоб они убили Наталью Кирилловну Нарышкину и её сына — Петра.

Об этом узнал начальник пяти сотен Стремянного стрелецкого полка Ларион Елизарьев и ещё семь подчинённых ему стрельцов и сотников. Они решили предупредить о том Петра и направили к нему в Преображенское двоих из них — Ладогина и Мельнова.

Пётр, узнав о том среди ночи, кинулся в конюшню и, как был — в исподнем, ускакал в ближайший лес. Туда примчался к нему с кафтаном и сапогами стольник его Гаврила Головкин, и они вместе помчались в Троицу, доскакав до монастыря за пять часов.

На следующий же день после того, как в монастыре оказался Пётр, туда приехали его мать, жена и любимая сестра Наталья. А

следом за ними к воротам обители подошёл большой и сильный отряд, который привёл полковник Франц Лефорт, о котором имеет смысл рассказать поподробнее, ибо он сыграл в жизни многих персонажей этой книги не последнюю роль.

Швейцарец Франц Лефорт появился в России 25 августа 1675 года, за четырнадцать лет до описываемых событий. В этот день он приплыл в Архангельск на голландском купеческом корабле в группе офицеров-иноземцев. Первые два с половиной года Франц Яковлевич, как стали звать его в Москве, прожил в столице на счёт голландских купцов, которые полюбили Лефорта за блистательный ум в дружеской беседе, за весёлый характер и подлинное благородство.

Ещё более поправил он свои дела, женившись на богатой и красивой девушке Елизавете Сутэ, родственнице двух генералов русской службы — Гордона и фон Бокговена. При содействии первого из них стройный и высокий двадцатипятилетний красавец и весельчак был принят в военную службу в чине капитана и стал командиром роты. Лефорт отлично стрелял, фехтовал и великолепно держался в седле.

Более двух лет прослужил он в Киеве под началом князя Василия Васильевича Голицына и сразу же добился его расположения.

В 1682 году он был представлен десятилетнему царю Петру, а так как дядькой Петра был двоюродный брат Голицына князь Борис Алексеевич Голицын, то на следующий год Лефорт стал уже подполковником. Он участвовал в первом Крымском походе Василия Васильевича Голицына, безотлучно находился при главнокомандующем и по возвращении в Москву был произведён в полковники.

Он-то и привёл своих солдат на помощь Петру. Войдя в монастырь, Лефорт тотчас же поставил пушки против всех ворот и организовал круговую оборону. Лефорт и его солдаты оставались в Троице-Сергиевой обители до тех пор, пока опасность для Петра, его близких и его сторонников совершенно миновала. Именно с этого времени Пётр облёк верного друга Франца неограниченным доверием и исключительной привязанностью. А за то, что Лефорт одним из первых офицеров-иностранцев примчался на помощь к Петру, он был произведён в генералы.

Вслед за Лефортом в монастырь пришло ещё несколько офицеров-иностранцев и оставшийся верным Петру стрелецкий Сухарев полк. Ещё через три дня прибыли и телеги с порохом, ядрами, картечью, пушками и мортирами. А к концу августа в Троицу пришли со всеми урядниками ещё пять стрелецких

полковников.

Патриарх Иоаким, посланный в Троицу царевной Софьей для того, чтобы помирить её с братом, не только не стал миротворцем, но ясно дал понять Петру, что стоит на его стороне и дальше будет держаться точно так же. Оказавшись в Троице, Иоаким тут же внёс ненавистного ему Сильвестра Медведева в список врагов и злодеев, якобы замышлявших убить и его, и царя.

Медведев узнал об этом и, не дожидаясь, пока его схватят, уехал из Москвы в Новодевичий монастырь, но туда сразу же дошли слухи, что по Москве разыскивают и хватают его друзей и сторонников. Тогда он бежал под Дорогобуж, намереваясь укрыться в Бизюковом монастыре, но 15 сентября его отыскали, арестовали и, оковав кандалами, увезли в Москву. Патриарх тут же указал расстричь своего противника и передал светской власти, что означало одно — дыбу, огонь и кнут.

Сильвестр ни в чём не признался, ибо признаваться ему было не в чем. Но его всё же приговорили к смерти. И один из его сторонников с превеликой горечью сказал: «Немые учителя у дыбы стоят в Константиновской башне и вместо Евангелия огнём просвещают, а вместо Апостола — кнутом учат».

А ещё раньше кинули в пыточный застенок главного «заводчика великой замятии» — Фёдора Шакдовитого. Как только Пётр почувствовал, что сила за ним, 1 сентября он потребовал выдать Шакловитого «головой» и после того как Софья, промешкав неделю, всё же выдала своего любимца, хотя при этом и обливаясь слезами, Фёдора Леонтьевича привезли в Троицу и поставили на пытку. Мучили его жестоко, и он признался во всём, в чём его обвиняли, но на второй день от сказанного отказался и был приговорён к смерти.

Шакловитого не повезли в Москву, опасаясь, что там найдётся немало его сторонников, способных к мятежу и готовых освободить своего начальника силой. Однако и в стенах Троицкого монастыря — духовной святыни России — казнить его тоже было неудобно. Тогда 12 сентября 1689 года Шакловитого вывели из монастырских ворот и казнили рядом с монастырской стеной, отрубив ему голову на обочине Московской дороги. Вместе с Шакловитым казнили и его ближайших подручных — Обросима Петрова и Кузьму Чермного, а ещё троих наказали кнутом.

А тремя днями раньше в Троице-Сергиевом монастыре появился и предпоследний фаворит Софьи — Василий Голицын. На заседании Боярской думы его обвинили в нерадении во время последнего Крымского похода, в умалении чести царей Петра и Ивана, а также и в сговоре с Шакловитым и приговорили к

лишению боярства и к ссылке на север. Голицын с женой и детьми оказался сначала в Мезени, а затем в ещё большей глуши — селе Кологоры на Пинеге, где он и умер спустя четверть века в 1714 году семидесяти лет от роду в один год с несчастной своей любовницей Софьей Алексеевной.

«Третье зазорное лицо»

Падение Шакловитого и Голицына привело к немедленному отстранению от власти Софьи. Пётр написал брату Ивану письмо, в котором сообщал, что не намерен более терпеть Софью соправительницей, называя её «третьим зазорным лицом». «Срамно, государь, — писал Пётр, — при нашем совершенном возрасте, тому зазорному лицу государством владеть мимо нас!»

Боярин Троекуров объявил Софье, что ей надлежит переселиться в Новодевичий монастырь. Она успела переслать деньги «брату Васеньке», но в монастырь выехала через две недели.

Ей отвели просторные палаты, поселив вместе с нею одиннадцать служанок и старуху-кормилицу княгиню Вяземскую.

Она получала в полном изобилии из дворцовых припасов разную пищу и питье — рыбу, пироги, мёд, пиво, водку и различные сладости и лакомства. К ней в любой день могли приезжать её сёстры, а сама она свободно гуляла по монастырю, однако у его ворот бессменно стояли солдатские караулы преображенцев и семёновцев.

И всё же на первых порах любовь к Голицыну не оставляла её ни на минуту. Оказавшись в монастыре, Софья более всего думала о «милом братце Васеньке», с невероятными трудностями пересылала ему письма и деньги — громадные суммы, сама зачастую оставаясь почти без гроша. А «брат Васенька», устроившись в далёкой Мезени со всем семейством, конечно, не столь роскошно, как в Москве, но и не хуже другого захолустного воеводы, стал писать письма, но не Софье, а Петру, уверяя его в своей преданности и клянясь, что был верен ему не менее, чем его сестре. К счастью для неё, Софья об этом ничего не знала, потому что и сам Пётр писем Голицына не читал — во всяком случае, не сохранилось никаких свидетельств, что он ответил хотя бы на одно его послание...

И, завершая сей скорбный сюжет, скажем несколько слов о несчастном Сильвестре. После допросов и мучений его кинули в застенок — «твёрдое крепило» — без окон, сырое, низкое, более похожее на могилу. Сочинения его Иоаким приказал сжечь. Новый патриарх, Адриан, сменивший Иоакима 24 августа 1691 года, оказался ещё более жестоким по отношению к многострадальному узнику. Сильвестр был обвинён Адрианом в ещё больших злодеяниях: он, оказывается, намеревался сам стать и патриархом, и царём.

В феврале 1691 года пятидесятилетнего узника снова пытали на дыбе огнём и железом, а потом отрубили голову на Лобном месте. Тело же бросили в общую могилу «с божедомами, и убогими, и нищими, и бродягами близ Покровского убогого монастыря, что на Таганке».

После победы над Софьей и её сторонниками Пётр стал единовластным, самодержавным государем. Возвратившись в Москву, он с головой погрузился в государственные дела, впервые ощутив тяжесть Мономаховой шапки. И хотя титул царя обязывал Петра претерпевать многие связанные с ним неудобства, тяжелее всего давались Петру сдержанность и благолепие, ибо молодость и жгучий темперамент оказывались сильнее разума и строгих канонов дворцового и церковного «чина». Особенно нетерпимыми для сторонников благочиния казались теперь наезды царя в еретическую Немецкую слободу, где по-прежнему правил бал его друг Лефорт.

Одним из немногих, кто решительно противился дружбе юного царя с иноземцами-иноверцами, видя в этом и пагубу его душе, был патриарх Иоаким. Но 17 марта 1690 года Иоаким умер, и Пётр, никем не сдерживаемый, пустился во все тяжкие.

По возвращении из Троицы в Москву Пётр чаще, чем к кому-либо другому, стал заезжать к Лефорту. Здесь всегда собиралась весёлая, жизнерадостная, интересная во всех смыслах компания, где можно было услышать множество любопытных и полезных историй, а кроме всего, ожидало царя желанное, свободное общение с молодыми красивыми женщинами.

Обо всём этом тотчас же становилось известно во всей Москве, и Софья узнавала о разгульном времяпрепровождении брата, как только в монастыре появлялась одна из её сестёр. «Превеликое женолюбие», проявившееся под влиянием Лефорта и других иноземцев, окружавших Петра в Преображенском и на Переяславском озере, ещё в ранней юности, сохранил царь, как и любовь к разгульным застольям, до самой его смерти.

Историки, изучавшие жизнь Петра, утверждают, что великий преобразователь России не видел различия между служанками и принцессами, россиянками и иноземками, руководствуясь в выборе только одним — постоянно обуревавшей его и в любой момент прорывавшейся страстью.

Его медик Вильбоа сказал как-то об этой стороне петровского характера: «В теле его величества сидит, должно быть, целый легион бесов сладострастия». Удовлетворяя своё сладострастие, Пётр должен был иметь дело с легионом ведьм, и многие современники-очевидцы или косвенные свидетели царской

разнузданности приводят немало историй самого скабрёзного свойства.

Среди учёных-историков встречаются и такие — впрочем, достаточно серьёзные, — которые утверждают, что Пётр делил ложе не только с женщинами. По меньшей мере известны два уголовных дела по обвинению каптенармуса Бояркинского в 1705 году и управляющего имениями Ивана Кикина Дуденкова в 1718 году по одному и тому же поводу. И Бояркинский и Дуденков рассказывали своим знакомым, что царь Пётр и князь Меншиков живут в противоестественной связи и творят «блядское дело».

Допрошенные в Преображенском приказе, оба они были признаны виновными, но ни одному из них не был урезан язык, ни один из них не был казнён, а Бояркинский не был даже бит батогами, а просто-напросто отправлен служить в Азов рядовым солдатом. Что же касается Дуденкова, то его били кнутом, но затем сразу же освободили подчистую. «Это снисхождение, — писал историк Есипов, — бросается в глаза».

Софье рассказывали о бесконечных альковных утехах царя с разными женщинами, и оказывалось, что с самого начала Пётр никогда не удовлетворялся связью с одной какой-нибудь женщиной, но всегда имел по нескольку любовниц в одно и то же время.

Софья знала, что первым проводником в Эдеме любовных приключений, каким представлялась Петру Немецкая слобода, стал великолепный и неотразимый Лефорт.

Он-то и познакомил своего питомца с его первой, довольно мимолётной привязанностью — дочерью ювелира Боттихера. Однако вскоре всё тот же неутомимый швейцарец свёл Петра со своей собственной любовницей, которая на многие годы стала любимицей царя, — с первой красавицей Кукуя, дочерью ювелира и виноторговца Иоганна Монса — Анной.

Семейство Монсов было известно как семья нидерландца, московского золотых дел мастера Мёнса, а его сына Билима называли с добавлением дворянской приставки, «Мём де ля Круа». Из-за того, что Анна Моне стала любовницей царя, она сделалась объектом самого пристального внимания иностранных дипломатов в Москве. По утверждению австрийского посла Гвариента в письме австрийскому императору Леопольду I, Анна Моне, став любовницей Петра, не оставила и своего прежнего таланта Лефорта, деля ложе то с тем, то с другим. Такие слухи доходили и до Софьи.

Пётр, необузданный, непредсказуемый, порой даже безумный и крайне противоречивый в собственных симпатиях и антипатиях, мог, даже зная о любовной связи Анны Моне со своим другом-

соперником, не обратить на это ни малейшего внимания, — столь сильно любил он Лефорта. Если же в том же самом грехе оказывались по отношению к нему женщина или мужчина, которых он не любил или переставал любить, месть его была неописуемо ужасной.

Как бы то ни было, но чувства Петра к своей жене Евдокии уже в 1693 году угасли окончательно и далее вспыхнули только однажды, но, видит Бог, лучше бы этой чудовищной вспышки не было.

А между тем Евдокия Фёдоровна менее чем через год после свадьбы, 18 февраля 1690 года, родила царю сына, названного в честь деда Алексеем, а затем в 1691 и в 1692 годах ещё двух мальчиков — Александра и Павла, которые умерли во младенчестве, не прожив и одного года. И об этом, конечно же, знала Софья, с каждым разом понимая, что её шансы на престол становятся всё более призрачными.

Евдокия была нежной и любящей матерью, но более всего страдалицей — и из-за того, что муж бросил её, и из-за того, что их первенец, к тому же наследник престола, был так же немил Петру, как и она сама.

Пётр, находясь в Москве, никогда не бывал с нею и уж тем более не делил супружеского ложа, но все ночи проводил на Кукуе: либо в роскошном доме Лефорта, где только в главном пиршественном зале могли разместиться полторы тысячи гостей, либо в собственном доме Моне, так же, как и дворец Лефорта, построенном на деньги Петра. Впоследствии для Петра стало традицией последний день перед отъездом из Москвы и первый день по возвращении в столицу проводить в доме любезного друга Франца.

Так было и в 1693 году, когда Пётр впервые отправился в Архангельск и в первый раз увидел море и большие торговые корабли, совершенно его очаровавшие. Так было и весной 1694 года, когда уехал он во второе путешествие в Архангельск. Так было и во время летних воинских манёвров, и перед отправлением и после возвращения русских войск из первого и второго походов под Азов, состоявшихся летом 1695-го и летом 1696 года. Так, наконец, было и в начале марта 1697 года, когда 250 человек отправились за границу в составе так называемого Великого посольства.

Официально Великими послами именовались три человека — Лефорт, Фёдор Алексеевич Головин и Прокопий Богданович Возницын, но фактически руководил деятельностью посольства сам Пётр, скрывавшийся под именем Петра Михайлова.

Был среди членов посольства и бомбардир Преображенского

полка Александр Данилович Меншиков, получивший такой чин четыре года назад и в этом чине сравнявшийся с бомбардиром того же полка Петром Михайловым.

Традиция объявляет Меншикова мальчишкой-пирожником, бойко торговавшим на улицах Москвы. Его случайно встретил Лефорт и, привлечённый бойкостью и сметливостью мальчика, позвал к себе в дом. Там Лефорт довольно долго беседовал со своим гостем и, найдя его ответы смышлёными, взял к себе в услужение. Здесь же Меншиков встретился и с Петром, который был всего лишь на полтора года старше его.

С 1693 года Меншиков сопровождал Петра повсюду, безотлучно находясь при нём — ив поездках по России, и в азовских походах, становясь, по мнению многих, возможным соперником Лефорта. Однако умный и осторожный Меншиков предпочитал дружить с любезным Францем Яковлевичем и терпеливо ждал своего часа, всемерно подчёркивая своё второстепенное по сравнению со швейцарцем положение.

Не Сусанна, а Софья!

Однако накануне отъезда Великого посольства из Москвы произошло событие, которое ещё раз подтвердило, какую роль отводили царевне Софье враги её брата-царя.

При жизни своей она оставалась для многих россиян, недовольных политикой и преобразованиями Петра, последней надеждой на возвращение прежних порядков. Лишь только возникало в Москве какое-либо возмущение против существующего правительства, как тут же смутьяны вспоминали, что в Новодевичьем монастыре томится царевна Софья Алексеевна, законная государыня, заключённая в узилище собственным единокровным братом-антихристом, оставившим почему-то ненавистную сестру мирянкой, и всё ещё не постриженная в монахини.

А коли так, то за нею всё ещё оставалось право на прародительский престол, и, стало быть, нужна была только сила, чтобы вызволить Софью из тюрьмы-обители и затем возвести на трон.

Итак, 23 февраля 1697 года, когда Пётр пировал у Лефорта перед поездкой за границу с Великим посольством, к нему вновь явился Ларион Елизарьев, который в августе 1689 года предупредил его о заговоре Шакловитого, и сообщил, что теперь на его жизнь покушается бывший стрелецкий полковник, а ныне думный дворянин Иван Циклер.

Циклера схватили, и он под пыткой показал на своих сообщников-раскольников: окольничего Соковнина, доводившегося родным братом двум знаменитым староверкам — боярыне Морозовой и княгине Урусовой. Соковнин назвал ещё зятя своего Фёдора Пушкина и сына его Василия. Всех их приговорили к смертной казни. Накануне казни Циклер объявил, что в своё время Софья и покойный ныне боярин Иван Милославский подговаривали его убить Петра.

Тогда Пётр обставил казнь следующим образом: он велел выкопать гроб с прахом Милославского, привезти его на свиньях в Преображенское и поставить раскрытым под помост, где ждали казни приговорённые к смерти. Циклера и Соковнина четвертовали: сначала им рубили руки и ноги, а потом — головы, и кровь их стекала в раскрытый гроб. Пушкиным отрубили головы, после чего все четыре головы отвезли на Красную площадь и воткнули на железные спицы, установленные на высоком столбе.

За Софьей же после этого был усилен надзор и увеличены караулы, но и на сей раз в монахини её не постригли, и доступ к ней сестёр сохранили, а через них доходили до неё слухи, что, неспешно проехав через Курляндию, Пруссию, Бранденбург и Голландию, Пётр на три месяца заехал в Лондон. Здесь-то и произошло событие, круто переменившее судьбу его жены. Перестав отвечать на письма Евдокии Фёдоровны ещё на пути в Англию, Пётр, оказавшись в Лондоне, принял решение насильно постричь её и заточить в монастырь с тем, чтобы жениться на Анне Моне и возвести свою новую жену на российский трон. О второй части своего замысла Пётр пока что хранил молчание, а в первую посвятил оставленных в Москве дядю Льва Кирилловича Нарышкина и не менее доверенного Стрешнева. Пётр приказал им склонить Евдокию к добровольному принятию монашества. Однако ни Нарышкин, ни Стрешнев в этом не преуспели. Вопрос этот был решён лишь после того, как Пётр вернулся в Москву. Но обо всём этом Софья узнала гораздо позже.

А в то время когда Петра в Москве не было, до Софьи дошёл слух, что 16 июня 1697 года на берегу Двины посланные в поход стрельцы устроили круг, и тут один из них — Маслов, ходивший в Москву ходоком, взобрался на телегу и стал читать письмо от Софьи, которым она призывала стрельцов прийти к Москве, встать под Новодевичьим монастырём и призвать её на царство.

Стрельцы двинулись к Москве, но, встреченные «полками иноземного строя», которыми командовал шотландец на русской службе, старый генерал Патрик Гордон, были разбиты наголову. Мятеж, поддержанный московскими стрельцами, был подавлен менее чем через две недели после того, как начался, и пятьдесят семь главных «заводчиков» были немедленно казнены, а четыре тысячи рядовых участников сослали. Пётр тем не менее, узнав о произошедшем, примчался из Вены 25 августа и сразу же начал новое следствие, которое привело на плаху и виселицу больше тысячи человек. Сотни стрельцов были изувечены, брошены в тюрьмы, усланы в самые глухие медвежьи углы царства.

Царь, Лефорт и Меншиков взяли каждый по топору. Пётр приказал раздать топоры своим министрам и генералам. Когда же все были вооружены, всякий взялся за свою работу и отрубал головы. Меншиков приступил к делу так неловко, что царь надавал ему пощёчин и показал, «как должно отрубать головы».

Александр Данилович, способный к любому делу, тут же, на глазах у царя немедленно исправился и к концу дня отрубил двадцать стрелецких голов да ещё и пристрелил одного из колесованных, чтобы прекратить его мучения. Последнее милосердное деяние произвёл он, впрочем, не по собственной

инициативе, а по приказу Петра.

Под пытками многие стрельцы признались, что они хотели возвести на трон царевну Софью. Всплыл и эпизод, случившийся на Двине, когда стрелец Маслов читал «прелестное» письмо Софьи, допрошенные признали, что письмо это дал Маслову стрелец Василий Тума, а тот, в свою очередь, получил его от некоей нищенки.

Отыскали и нищенку, но та умерла под пытками, не оговорив Софью. Тогда стали пытать старуху-кормилицу царевны княгиню Вяземскую и четырёх ближайших служанок Софьи, но ничего нужного следствию они не сказали. Тогда Пётр сам допросил Софью, но и она начисто отрицала хоть какое-то своё участие в бунте, решительно заявив, что никаких писем стрельцам не посылала.

Однако существовала трудно опровержимая косвенная вина Софьи, вроде бы подтверждавшая её связь с мятежниками, которая, по мнению Петра и его сторонников, особенно усугубила подозрение насчёт участия Софьи в делах стрелецкого бунта: попытка мятежников освободить её из Новодевичьего монастыря, где находилась она под охраной подполковника Преображенского полка князя Ивана Юрьевича Трубецкого — одного из верных соратников Петра.

В 1698 году Трубецкому было тридцать восемь лет, он был одним из первых «потешных» и предан Петру душой и телом.

Когда начался бунт, стрельцы сделали подкоп под покои Софьи, находившиеся на первом этаже, возле которых стояли солдаты-преображенцы. Сам же Иван Юрьевич находился в комнате Софьи. Группа стрельцов, проломив пол, вылезла в коридор и бросилась на стражу. Перебив и разогнав солдат, стрельцы ворвались в комнату Софьи, но князь Трубецкой сумел пробиться в коридор и, пробежав несколько саженей, заскочил в одну из келий и запёрся там.

Стрельцы бросились за ним в погоню. Впереди всех бежал стрелец, который до того был холопом Ивана Юрьевича. Он служил у него брадобреем и отличался особой преданностью своему господину. Стрелец и был единственным, кто видел, в какую келью заскочил князь, но, желая спасти Ивана Юрьевича, бывший брадобрей пробежал мимо, увлекая за собой преследователей и уводя их по ложному пути.

Вскоре прибыла подмога, стрельцов переловили, Софью вновь заперли в монастырь, и через несколько дней всех попавших в плен бунтовщиков повели на казнь.

Пётр присутствовал при казни, а вместе с ним и его приближёнными был и князь Трубецкой. Увидев своего спасителя,

Иван Юрьевич рассказал Петру о его роли в собственном избавлении от грозившей смерти, и Пётр тут же велел отпустить верного холопа на волю.

В семье Трубецких из поколения в поколение передавалось это предание с добавлением, что Иван Юрьевич поселил его в одной из своих деревень, не только сделав лично свободным, но и освободив всех его родственников и их потомков от оброка и от барщины.

И хотя прямых улик соучастия, а тем более руководящей роли Софьи в организации её освобождения не было, царевну перевели в башню на второй этаж, а между зубцами стены Новодевичьего монастыря повесили сто девяносто пять стрельцов. А перед тремя окнами кельи висели тела трёх стрельцов со вложенными в руки челобитными, где излагались их показания о письме царевны стрельцам. И все мёртвые, и на стене, и перед окнами, висели пять месяцев, отравляя воздух трупным запахом и наводя ужас на всех, кто это видел.

А вскоре после казни пришла в келью к Софье мать-настоятельница с инокинями и повела её в церковь, там поставили Софью посреди храма. Ей что-то говорили, что-то читали и пели, остригли волосы и, как сквозь сон, слушала она, что отныне нарекается раба Божья София инокинею, сестрой Сусанной.

Потому отвели её обратно в келью, где сидела она, забившись в угол, и неотрывно смотрела за окно, перед которым качался на ветру повешенный стрелец с выклеванными вороньем глазами...

Через несколько дней Софье сообщили, что сёстры будут посещать её только два раза в год — на Пасху и в день храмового праздника монастыря — праздник Смоленской Божьей матери — «Одигитрии». 25 июля она узнала, что из всех её сестёр признали виновной в связях с бунтарями одну лишь Марфу — её любимицу и наперсницу. Её постригли в монахини в Успенском монастыре Александровой слободы.

Ещё до того как следствие и казни закончились, стрелецкие полки были расформированы, а на их месте появились новые полки — регулярной российской армии. Много времени проводил Пётр в застенках Преображенского приказа, участвуя при допросах и пытках, организовывая массовые казни, но между этими государственными делами не забывал и о своих личных заботах.

Побывав в первый же день у Анны Моне и заехав потом ещё в несколько других домов, он лишь через неделю встретился с Евдокией. Причём не в её кремлёвских покоях и не у себя, а в доме одного из своих ближайших сотрудников — Андрея

Виниуса, сына уже упоминавшегося Андрея Денисовича Виниуса, входившего в кружок сподвижников Алексея Михайловича. Сын Андрея Виниуса-старшего сначала был переводчиком в Посольском приказе, потом выполнял дипломатические поручения во Франции, Испании и Англии, а в это время возглавлял Почтовое ведомство. В его-то доме и состоялась встреча Петра с опальной женой.

Долгие разговоры ни к чему не привели: Евдокия наотрез отказалась уходить в монастырь и в тот же день попросила о заступничестве патриарха Адриана.

Патриарх заступился за царицу, но Пётр накричал на семидесятилетнего князя церкви, гневно заявив, что это не его дело, и он, царь, никому не позволит вмешиваться в его решения и его семейные дела.

Через три недели Евдокию Фёдоровну посадили в закрытую карету, и два солдата-преображенца отвезли её в Суздаль. Есть свидетельство, что Пётр даже хотел казнить Евдокию, но за неё заступился Лефорт, и дело ограничилось заточением в монастырь.

Там с ней и вовсе перестали церемониться: силой постригли, переменив её родовое имя Евдокия на новое, монашеское — Елена, и, не обращая внимания на крики и слёзы, заперли в тесную келью Покровского девичьего монастыря.

И об этом сёстры-царевны тут же сообщили Софье. А потом она узнала, что Евдокии не дали ни копейки на содержание и она вынуждена была просить деньги у своих опальных и обнищавших родственников. В одном из писем им Евдокия — ныне инокиня Елена — писала: «Здесь ведь ничего нет: всё гнилое. Хоть я вам и прискушна, да что же делать, покамест жива, пожалуйста, поите, да кормите, да одевайте, нищую». И об этом со временем тоже довели до сведения Софьи, которая не могла не удивиться собственному завидному положению. Со временем дела Евдокии немного наладились — родственники сумели установить связь её духовника и местного архимандрита Досифея и стали более-менее регулярно пересылать ей деньги и вещи. Многие окружавшие её монахини прониклись искренним сочувствием к несчастной царице, к тому же разлучённой и с любимым сыном — наследником престола Алексеем Петровичем.

Так, в страданиях и обиде, без всякого просвета и почти без надежды, и прожила инокиня Елена первые десять лет своего монастырского заточения...

А пока Софья доживала свои дни в Новодевичьем монастыре, Пётр, как впоследствии выразился Пушкин, «на высоту, уздой

железной Россию поднял на дыбы». Он, как и князь Голицын, тоже совершил два похода против Крыма и Турции, только результаты этих походов были диаметрально противоположными успехам «братца Васеньки» — была взята сильная турецкая крепость Азов, и русские корабли, построенные перед тем на верфях под Воронежем, вышли в Чёрное море.

В 1700 году Пётр начал войну со Швецией за вход в Балтийское море, одерживал в этой войне победы и терпел поражения, взял всё же у шведов несколько крепостей на Неве и побережье Финского залива.

В 1703 году, по весне, заложил он на берегу Невы новую крепость — Санкт-Петербург, затем ещё одну — Кронштадт.

До Софьи доходили о том обрывочные, но всё же довольно верные сведения. А меж тем она всё более впадала в досаду, в отчаяние и глубокую душевную скорбь. Болезни эти, сокрушая её дух, вместе с тем разрушали и её плоть. Из-за всего этого летом 1704 года Софья сильно разболелась, слегла и больше не встала.

Однако воля не покинула бывшую царевну и правительницу. И, пытаясь хотя бы в последний, смертный миг громко заявить о себе, инокиня Сусанна уже на смертном одре приняла большой постриг — схиму, вновь изменив имя на Софью, и умерла под этим именем 3 июля 1704 года, самым последним своим поступком утверждая своё царское прошлое и своё царское имя.

По характеристике одного из сподвижников Петра, современника Софьи Андрея Артамоновича Матвеева, ей были присущи одни лишь пороки: «высокоумие, зависть, хитрость, сластолюбие и любочестие». Ему вторил французский резидент в Москве де Невиль: «Эта принцесса с честолюбием и жаждой властолюбия, нетерпеливая, пылкая и увлекающаяся, с твёрдостью и храбростью соединяла ум обширный и предприимчивый». Однако, как мы уже знаем, она отличалась и многими положительными качествами.

Тот же Сильвестр Медведев отмечал в Софье «чудный смысл и суждение неусыпным сердца своего оком» творить благо для народа российского. И снова — в который уж раз! — удивлялся он тому, что была Софья «девой, исполненной ума, больше мужского».

Но неусыпным бдением Петра подобные отзывы в его царствование не только пресекались, но и объявлялись государственной изменой. И лишь через полвека после смерти Петра в книге «Антидот», вышедшей в Амстердаме в 1771 году и принадлежавшей, как потом выяснилось, перу Екатерины Великой, говорилось: «Надо отдать справедливость Софье, она

управляла государством с таким благоразумием и умом, которое только можно было бы желать и от того времени, и от той страны, где она царствовала именами двух братьев».

Современник Екатерины, великий французский философ Вольтер, в книге «История Российской империи времён Петра Великого», описывая период, предшествующий его приходу к власти, дал Софье такую характеристику: «Принцесса Софья ума столько же превосходного, замечательного, сколько и опасного, возымела намерение стать во главе государства. Правительница имела много ума, сочиняла стихи на родном языке, превосходно писала и говорила, соединяя с благородною наружностью множество талантов, однако все они были помрачены громадным её честолюбием».

Споры о Софье не утихают и до сих пор, ибо её правление чаще всего противопоставляют царствованию её брата, забывая, что сама жизнь заставила их обоих занять позиции, враждебные друг другу. Но редко кто задумывается над тем, что Пётр, казнивший собственного сына только за намерение подготовить против него заговор, так снисходительно отнёсся к сестре, которая была его откровенной противницей, не однажды покушавшейся на его жизнь.

Наверное, Пётр высоко ценил таланты и во многом подобный его собственному характер сестры, если, смиряя свой бешеный нрав, не раз оставлял ей относительную свободу и всегда сохранял жизнь.

ЕКАТЕРИНА, ПЕРВАЯ ИМПЕРАТРИЦА

Героиня этой повести — Марта Скавронская — появляется на исторической сцене в 1702 году, когда судьба доселе никому неведомой прачки делает такой поворот, какой ей, наверное, не мог и присниться. И не только ей. Вряд ли кто мог даже подумать, что рядом с Петром Великим окажется безродная иноземка, которая со временем станет первой российской императрицей. Но так случилось: она прошла с Петром I весь путь, предназначенный ей свыше, не раз выручая своего мужа в сложнейших ситуациях.

Оказавшись у кормила власти, Екатерина I целиком и полностью полагалась на мнение и советы А. Д. Меншикова. И с его помощью смогла удержать основные завоевания своего великого мужа.

Бедная сиротка Марта

В тот страшный 1698 год, когда Пётр I примчался из-за границы, чтобы утопить в крови стрелецкий мятеж, он заодно расправился и со своей законной, но давно опостылевшей ему женой Евдокией. Заточив её в монастырь, он почувствовал, что теперь у него совершенно развязаны руки, и стал серьёзнее, чем раньше, размышлять о женитьбе на Анне Моне. Как и прежде, его правой рукой оставался Лефорт. Осенью 1698 года, уезжая на кораблестроительные верфи под Воронеж, Пётр оставил своим представителем в Москве «любезного друга Франца».

Вернулся Пётр в Москву 20 декабря для того, чтобы отпраздновать подавление стрелецкого бунта. Пиры и праздники решено было провести в новом дворце Лефорта, который по распоряжению царя был воздвигнут во время их поездки по Европе. Это был необычайно роскошный, огромный дворец, построенный архитектором Аксалитовым в лучших традициях русского зодчества, в стиле, названном «нарышкинским барокко». Главная часть дворца с центральным залом высотой более двадцати метров была обращена в сад. Множество других помещений напоминали музей искусств: в одном были собраны китайские вазы и коллекции фарфора, в другом — картины морских сражений и модели кораблей, в третьем — образцы оружия и доспехов...

12 февраля 1699 года необычайно пышно и торжественно было отпраздновано новоселье, а ещё через десять дней Лефорт заболел горячкой, или, как мы сказали бы теперь, общим заражением крови, и 2 марта умер.

Пётр сильно горевал, но смерть Лефорта, лишив его преданнейшего и любимейшего соратника и друга, положила конец и довольно двусмысленным их отношениям с Анной Моне, которая теперь, кажется, стала целиком принадлежать одному Петру.

Звезда Лефорта угасла, но тут же на дворцовом московском небосклоне стало круто подниматься вверх новое светило — Меншиков. Сохраняя безусловную верность и преданность Петру, Александр Данилович всегда держался тех, кто был мил сердцу царя, и мгновенно отказывался от прежних привязанностей, как только менял к ним своё отношение Пётр. Так и сейчас — царь любил Анну Моне, и Меншиков столь же пылко её обожал, всячески разжигая их чувства друг к другу.

В конце апреля 1699 года Пётр в последний раз отправился

под Азов. Сохранилось пять писем Анны к Петру.

В них Анна Ивановна Моне предстаёт расчётливой, холодной, предприимчивой мещанкой. Её письма содержат ходатайства и просьбы чаще всего имущественного или же юридического характера. Она просит за одних, за других, кажется, небескорыстно, впрочем, не забывая и себя со своими родственниками.

Возвращение Петра в Москву ничего не изменило в его отношениях с Анной, и если бы не начавшаяся вскоре война со Швецией, то, может быть, Анна Ивановна и стала бы русской царицей, как немного позже случилось это с другой иноземкой — Мартой Скавронской, вошедшей в историю под именем Екатерины Первой.

Итак, 19 августа 1700 года Россия объявила войну Швеции, начав самую продолжительную войну в своей истории — Северную — длившуюся двадцать один год. 22 августа Пётр, оставив Москву, отправился на театр военных действий к Нарве. 19 ноября русские войска потерпели там серьёзнейшее поражение, но Пётр не опустил руки и с ещё большей энергией продолжал начатое дело.

Случилось так, что однажды вечером, в апреле 1703 года, возле стен осаждённой шведской крепости Нотебург, прежде носившей русское название Орешек, которую потом Пётр переименовал в Шлиссельбург, царь прогуливался с приехавшим к нему саксонским посланником Кенигсеком. Вдруг Кенигсек поскользнулся на бревне, переброшенном через неширокий и неглубокий ручей, и на глазах у Петра рухнул в воду лицом вниз. Видевшие всё это солдаты тут же бросились на помощь упавшему, но было поздно — саксонский посланник захлебнулся и откачать его не удалось, как ни старались сам Пётр и подоспевшие вскоре медики.

Когда утопленника вытащили из ручья, у него в карманах обнаружили целую пачку писем коварной Анны Моне, в которых, как впоследствии писал академик-историк Герард Фридрих Миллер, она «слишком ясно выражала свою преступную любовь к Кенигсеку». Кроме того, у саксонского посланника оказался и миниатюрный живописный портрет Анны.

Сильно раздосадованный и ещё более обескураженный столь неожиданным пассажем, Пётр тотчас же приказал приставить к дому Анны крепкий караул и никого к ней не пускать. Анна поняла, что следует во что бы то ни стало вернуть расположение царя, и попробовала сделать это при помощи колдовства, чародейства, приворотных зелий, перстней и тому подобной каббалистики, но и это ей не помогло.

Опала над Анной Моне, её сестрой Матрёной и всем семейством Монсов продолжалась до 1707 года и прекратилась из-за вмешательства в её судьбу прусского резидента Георга Иоганна фон Кайзерлинга, который, как и Кенигсек, сопровождал Петра на войне. Через три года после нелепой смерти Кенигсека, 10 июля 1707 года, неподалёку от Люблина, где стояла тогда Главная квартира русской армии, Кайзерлинг объявил Петру, что Анна Моне — его невеста и потому он просит разрешения на брак с нею. Пётр же ответил ему так:

— Я воспитывал девицу Моне для себя, с искренним намерением жениться на ней, но так как она вами прельщена и развращена, то я ни о ней, ни о её родственниках ничего ни слышать, ни знать не хочу.

Присутствовавший при этом Меншиков сказал Кайзерлингу:

— Девка Моне действительно подлая, публичная женщина, с которой я сам развратничал столько же, сколько и ты.

В ответ на это Кайзерлинг полез драться, но Пётр и Меншиков пинками и тумаками спустили его с лестницы.

Упрямый пруссак всё же добился своего, но только через четыре года после этого происшествия. Он обвенчался с Анной в июне 1711 года, однако через полгода после свадьбы умер. Анна пережила его не намного: она скончалась в Немецкой слободе 15 августа 1714 года. На сём история Анны Моне закончилась.

Но ещё в 1702 году у любвеобильного царя возник новый роман, который сначала и он сам и его интимные друзья склонны были считать интрижкой, проходной альковной историей, о которой Пётр Алексеевич должен был вскоре забыть.

Ан не тут-то было: интрижка довольно быстро переросла в генеральный роман его жизни, ибо его фигурантка — литовская крестьянка Марта — через несколько лет стала женой царя и матерью его детей, а затем венчанной царицей России и, наконец, первой русской императрицей. И началось это на театре военных действий против шведов, после того как войска фельдмаршала Бориса Петровича Шереметева 25 августа 1702 года взяли шведскую крепость Мариенбург, которая ныне по-латышски зовётся городом Алуксне.

О том, как сие случилось, мы знаем довольно точно, но, к сожалению, дата встречи Петра и Марты определяется по-разному, как и многое другое, относящееся к первым месяцам их знакомства. Потому приведём здесь несколько наиболее достоверных версий, предоставив слово прежде всего тому, кто был осведомлён о произошедшем лучше других. Это очень близкий и к царю, и к Екатерине человек, один из адъютантов Петра, капитан первого ранга, француз Франц Вильбуа, —

впоследствии вице-адмирал, не только служивший в русском флоте с момента его создания, но и сам бывший одним из участников строительства кораблей ещё на воронежских верфях.

Вильбуа оставил очень интересные «Записки», касающиеся многих событий первой четверти XVIII века, свидетелем которых он был или о которых ему довелось слышать. Почти тридцать лет работал он рядом с Петром и был весьма близок к нему. Достаточно сказать, что Пётр сосватал и женил француза на фрейлине Екатерины, старшей дочери пастора Эрнста Глюка — Елизавете, с которой будущая русская царица росла с трёх до шестнадцати лет в семье Глюка. Вильбуа дружил и с семьёй младшей сводной сестры своей жены — Дарьей Глюк, вышедшей в России замуж за обер-гофмейстера царского двора Дмитрия Андреевича Шепелева.

Таким образом, в распоряжении у Вильбуа оказалась уникальная информация о детстве и юности Екатерины. По его свидетельству, родители Екатерины умерли от чумы, когда девочке было три года. Её подобрал протестантский пастор города Мариенбурга Даут и взял к себе в дом. Однако эпидемия чумы выкосила и эту семью: погибли и сам пастор, и его жена, его дети, осталась в живых одна лишь маленькая сирота, которую звали тогда Мартой. И во второй раз девочку подобрал священник, приехавший в Мариенбург принять опустевший приход. На сей раз это был Эрнст Глюк, но никто не мог ничего рассказать ему ни о родителях девочки, ни того, когда и где она родилась.

Детство её и юность прошли в доме Глюка, в котором она жила на положении полувоспитанницы-полуслужанки, научившись вместе с тремя родными дочерьми пастора (среднюю дочь звали Маргаритой) чтению и письму по-немецки, рукоделию и ведению хозяйства.

Объективность требует признания в том, что если Марта и была полувоспитанницей-полуслужанкой, то она не была обойдена ни теплом, ни заботой, ни лаской, ни соучастием, и условия жизни её ничем не отличались от жизни родных дочерей доброго пастора.

И если о её детстве и юности мы знаем довольно много достоверного и из-за Вильбуа, и из-за рассказов самой будущей императрицы, то относительно происхождения девочки существует несколько версий, но совершенно точные сведения до сих пор отсутствуют. Одна из наиболее распространённых состоит в том, что её мать была крепостной немецкого дворянина фон Альвендаля и от мимолётной связи со своим господином родила дочку. Отец Екатерины — литовский крестьянин по имени

Самуил — не имел фамилии, как и большинство крепостных в Литве и Польше, а стало быть, и его дочь тоже была бесфамильной. Он жил в одной из деревень графов Сапега неподалёку от лифляндской границы. У Самуила было четверо детей — сын Карл и три дочери: Марта, Христина и Анна, при рождении крещённые по католическому обряду.

Самуил вскоре после рождения последней дочери умер, и его осиротевшая семья переехала в Лифляндию, принадлежавшую тогда Швеции, в Рижский округ, в деревню Ленневарден, на речке Румбе.

Оставив сестёр и брата Марты пока в стороне, познакомимся поближе с нашей героиней.

По довольно достоверным источникам Марта родилась 5 апреля 1686 года. Из-за бедности мать устроила девочку к лютеранскому пастору в местечко Рооп, в том же Рижском округе. Через некоторое время она ушла из Роопа в Мариенбург, к местному лютеранскому священнику Эрнсту Глюку.

Из-за того, что вопрос о происхождении Екатерины не выяснен и многие данные противоречивы, дальнейшее повествование может показаться и нелогичным, и не согласующимся. И всё же я предложу вам, уважаемые читатели, главные версии, существующие на сегодня в исторической науке.

Все исследователи, базируясь на дошедших до них воспоминаниях современников, на описаниях внешности Екатерины и, наконец, на немалом числе портретов, сходятся на том, что она была не слишком красивой, смуглой, коренастой, полной, но необычайно симпатичной, располагающей к себе девушкой, которая очень нравилась мужчинам.

И, как утверждали её земляки, она не была чрезмерно строга ни к себе, ни к ним. Целомудренный пастор решил положить конец фривольным приключениям своей воспитанницы и предложил ей найти себе жениха. Марта выбрала парня, который нравился ей самой, да и она была по душе своему избраннику. Таким образом, состоялся брак по любви, и была сыграна небогатая, но весёлая свадьба.

Муж Марты, Иоганн Крузе, судя по фамилии и имени, немец, служил в местном гарнизоне и, очевидно, был трубачом, потому что сразу после свадьбы Марту стали называть «Трубачёвой». Это прозвище на первых порах заменяло ей фамилию. Но семейная жизнь Марты продолжалась всего несколько дней — Иоганн ушёл со своим отрядом в поход, а вскоре после этого, 25 августа 1702 года, Мариенбург заняли войска Бориса Петровича Шереметева, и волею случая Марта оказалась в его доме. Шестнадцатилетняя служанка ненадолго стала любовницей пятидесятилетнего

фельдмаршала, но тот вскоре уступил её своему гостю — женолюбу и сладострастнику Меншикову, которому прекрасная Марта попала на глаза (известный русский историк, князь Пётр Владимирович Долгоруков, перечисляя любовников, бывших у пасторской служанки Марты в Мариенбурге, называет последовательно сначала генерала Родиона Христиановича Бауэра (Боура), потом фельдмаршала Бориса Петровича Шереметева, и затем Меншикова).

Когда Меншиков привёз Марту в Москву, уже никто не называл её Трубачёвой, но с самого начала именовали её Веселевской. Разгадка находится в письме гофмейстера Курляндской герцогини Анны Ивановны Петра Михайловича Бестужева-Рюмина, которое он послал Екатерине 25 июня 1715 года. Бестужев писал из Риги Екатерине, что он отыскал «в Крымбохе (Кройсбурге) фамилию Веселевских» и обнаружил там множество Веселевских. В частности, у некоего курляндца Вильгельма Гана было четыре сестры. Первая — Екатерина-Елизавета была замужем за Яном Веселевским, вторая — Доротея «была за Сковородским», то есть Скавронским. У Доротеи были сыновья — Карл и Фридрих, и четыре дочери — Анна, Доротея, ещё Анна и Екатерина. Эта-то Екатерина и жила в Кройсбурге «у тётки своей Марии-Анны Веселевской, которую в двенадцать лет возраста её взял в Лифляндии шведский мариенбургский пастор». Далее Бестужев сообщал сведения и о других членах этой фамилии, причём отмечал, что многие из них умерли в «поветрие», то есть во время чумы.

Так, мало-помалу вырисовывались забытые и самой Мартой эпизоды её раннего детства. А может быть, ей и не очень-то хотелось, чтобы горькая и суровая правда о первых годах её нищенской и сиротской жизни сделалась достоянием князей и генералов, окружающих трон её мужа, пока ещё не обвенчанного с нею.

Как бы то ни было, но Марта Веселевская вскоре оказалась в Москве, в доме Александра Даниловича Меншикова.

Меншиков с гордостью показывал свою новую служанку-наложницу приходившим к нему в дом друзьям и собутыльникам, но усиленно прятал её от Петра, так как понимал, что, попадись Марта на глаза царю, он тотчас же лишится этой своей услады.

Но однажды во время попойки проболтался, что обладает прелестной любовницей.

Пётр велел немедленно показать ему эту прелестницу, и Меншикову невозможно было не выполнить повеление царя. Тут-то и увидел Пётр свою суженую — молоденькую, пухленькую, с необычайно живыми чёрными глазами и необъятным бюстом.

Девушка мыла окна в одной из комнат меншиковского дома и, не замечая царя, легко перескакивала с подоконника на подоконник.

Замерев от мгновенно охватившего его вожделения, смешанного с чувством восхищения, Пётр не мог оторвать глаз и молча наблюдал за своей новой пассией, с первого же взгляда попав под её неотразимое обаяние, а потом увёз Марту с собой, спрятав её от всех в маленьком домике на окраине столицы. Только наиболее близкие Петру люди знали, кем на самом деле является для их государя эта юная служанка, официально значившаяся женой придворного конюха. Появившись в Москве поздней весной 1703 года, Марта вскоре была введена Петром и Меншиковым в круг самых близких подруг и родственниц царя и его фаворита.

Однако же существует и другая точка зрения, лучше сказать, другая версия знакомства Петра и Марты.

Очень скрупулёзный и добросовестный историк Есипов, исследовав все доступные ему источники, приходил, однако, к выводу, что знакомство Шереметева с Мартой Скавронской-Трубачёвой произошло в Мариенбурге, а первое свидание её с Меншиковым и уход будущей царицы от старого фельдмаршала к Александру Даниловичу произошли в конце 1703 года в Москве, когда Меншиков, приехав в столицу, оказался в гостях у Шереметева.

Знакомство же Петра с Мартой Есипов определяет 1 марта 1704 года, ссылаясь на письмо её к Петру от 8 апреля 1717 года, в котором она писала: «Желаю ведать, изволили ли Ваша милость в 5-е число апреля (день рождения Екатерины) выкушать по рюмке водки, так же как в 1-е число марта. А я чаю, что изволили запамятовать: прошу ко мне отписать».

Наперсница и жена

Новый роман Петра не походил ни на один из предыдущих: от юной литовской крестьянки тридцатидвухлетний царь потерял голову и с самого начала имел в отношении Марты далеко идущие намерения. Он не считал её простой наперсницей, но видел в ней будущую жену, уже успевшую родить ему двух сыновей — Петра и Павла. И потому уже в 1705 году Пётр предложил своей будущей жене принять православие.

К этому времени и сама она прекрасно понимала, что Россия стала для неё новой родиной, где ей предстоит прожить ещё очень долго. «Для того, — писал историк Константин Иванович Арсеньев, — оставила веру своей родины и приняла православие; усердно начала изучение русского языка и скоро преуспела в нём так, что казалось, будто всегда принадлежала к великой семье русского народа».

Решив крестить Марту Скавронскую по православному обряду, Пётр уже в 1705 году намеревался сделать её не только своей женой, но и русской царицей. Об этом красноречиво свидетельствует хотя бы то, что крестным отцом Марты, получившей при новом крещении имя Екатерины, был родной сын Петра — пятнадцатилетний царевич Алексей, по имени которого получила она и своё отчество, а её крестной матерью стала сводная единокровная сестра царя Екатерина Алексеевна, — сорокасемилетняя дочь Алексея Михайловича и Марии Милославской.

С этого времени Марта стала называться Екатериной Алексеевной, и все, кто знал её, резко изменили отношение к ней, ибо теперь перед ними была крестница царевича и царевны, в недалёком будущем — государыня.

Даже Меншиков изменил тон и, оставаясь ближайшим другом Екатерины, стал вместе с тем и почтительным подданным.

А между тем Екатерина и её прежние товарки продолжали жить одной компанией сначала при дворе любимой сестры Петра — Натальи Алексеевны, а потом во дворце Меншикова. Они не были домоседками и часто уезжали к Петру и Меншикову то в Нарву, то в Смоленск, то в Витебск, то в Петербург, только что основанный Петром.

В эту тесную, сплочённую весёлую корпорацию входили сёстры Меншикова — Марья и Анна Даниловны, две сестры Арсеньевы — Дарья и Варвара Михайловны, Анисья Кирилловна Толстая. Дарья Михайловна Арсеньева была в связи с

Меншиковым и в 1706 году вышла за него замуж. В сентябре 1705 года Меншиков писал к ней: «Для Бога, Дарья Михайловна, принуждай сестру (сестру Меншикова), чтоб она училась непрестанно, как русскому, так и немецкому ученью, чтоб даром время не проходило».

С ними была ещё и третья сестра — Аксинья Арсеньева, появившаяся в доме царевны Натальи через шесть лет после двух своих старших сестёр. Аксинья приехала из Якутска, где воеводствовал их отец Михаил Афанасьевич Арсеньев.

А 6 октября 1705 года в письме к Петру подписались: «Анна Меншикова, Варвара (Арсеньева), Катерина сама третья. Тётка несмышлёная (Толстая), Дарья Глупая (Арсеньева). За сим Пётр и Павел благословения твоего прося, челом бьют».

Подпись Екатерины «сама третья» означает, что у неё уже было двое детей — Пётр и Павел и оба ещё были живы. Правда, вскорости сыновья умерли.

В 1707 году у счастливой избранницы царя родилась первая дочь — Екатерина, к несчастью скончавшаяся через год, а затем на свет появились ещё две девочки: 27 января 1708 года — Анна, а 18 ноября 1709 года — Елизавета, первой из которых было суждено занять впоследствии трон в герцогстве Голштиния, а второй — стать российской императрицей.

Несмотря на то что Екатерина Алексеевна и её новые подруги стояли особняком от других московских дам высшего света, составляя некую элитную группу, ближайшее интимное окружение царя и его фаворита Меншикова, всё же они не были обособлены от более широкого круга друзей и собутыльников Петра Алексеевича и Александра Даниловича.

Все они были введены в этот круг, называвшийся «умасброднейшим, всешутейшим и всепьянейшим собором» — своеобразным шутовским орденом, который был учреждён Петром вскоре после смерти последнего — десятого — русского патриарха Адриана. Для этого ордена Пётр собственноручно написал устав, сочинил «чин», то есть порядок проведения «соборов», и всякий раз писал для этих сборищ шутовскую программу.

Членами «собора» были все ближайшие сподвижники Петра, от которых требовалось лишь одно — пить и дурачиться до последней степени, не останавливаясь ни перед какими приличиями и нормами. И потому заседания «собора» напоминали бы древнегреческие и древнеримские языческие оргии, если бы была в них хоть какая-то утончённость. Но ни цветов, ни роскошных одежд на таких играх не было, а господствовало самое невообразимое обжорство, пьянство и

самый грязный разврат.

Под стать мужской части «собора» была и его женская часть, с которой Екатерина Алексеевна и её новые подруги познакомились сразу же, как только оказались в доме Меншикова.

Все мужчины и женщины в «соборе» имели свои «чины», напоминавшие иерархию церкви и светской монархии, — от князь-папы, всешутейшего патриарха и князя-кесаря до рядовых братьев и сестёр.

Старшей среди женщин, допущенных участвовать в заседаниях «собора», была князь-игуменья Дарья Гавриловна Ржевская, урождённая Соковнина, разбитная, бойкая на язык, беззастенчивая, угодливая баба-шутиха, пользовавшаяся крайним благоволением Петра.

Распущенную, почти всегда пьяную, князь-игуменью едва ли не превзошла такими же качествами её родная дочь Евдокия. В 1708 году, пятнадцатилетней девочкой попала Евдокия в постель к Петру, а через два года Пётр пристроил её, выдав замуж за одного из своих любимцев, бывшего его денщика, а в ту пору тридцативосьмилетнего бригадира Григория Петровича Чернышева, родоначальника графской фамилии Чернышевых. Муж Евдокии был храбр, честолюбив и прославился многими подвигами в Северной войне: участвовал в штурмах десятка крепостей, взял в плен коменданта Нарвы генерала Горна, был много раз ранен. Женитьба на царской фаворитке расценивалась им как награда за боевые подвиги, ибо Евдокия принесла бедному бригадиру немалое приданое, а Пётр одарил «молодых» богатыми подарками. Пётр, выдав Евдокию за Чернышева, долгие годы сохранял с нею прежнюю связь и, как утверждали, был отцом шести её детей — трёх сыновей и трёх дочерей. Однако, учитывая необыкновенно лёгкий нрав Евдокии, отцом этих детей мог быть кто угодно. Разумеется, не исключено, что кто-то из них был и царским отпрыском. Во всяком случае, дети Евдокии добились многого не только из-за своего происхождения, но и благодаря несомненным личным достоинствам.

Отношение Петра к Евдокии Чернышевой, носившей во «Всешутейшем и всепьянейшем соборе» кличку «Авдотьи бой-бабы», сильно переменилось в худшую сторону после того, как Пётр посчитал её виновницей своей болезни; это была гонорея, и царь велел мужу Евдокии выпороть её за то, что она его заразила.

И всё же Евдокия Чернышева не была второй дамой в «соборе», она упомянута здесь после «князь-игуменьи» только потому, что была её родной дочерью.

Второй дамой в этой «кумпании» была «её величество

государыня князь-цесаревна» Ромодановская, третьей — архиигуменья Стрешнева, ставшая после смерти Ржевской князь-игуменьей; затем шла «игуменья» Анастасия, — княгиня Анастасия Петровна Голицына, урождённая княжна Прозоровская и, наконец, «госпожа адмиральша» Михайловна, то есть сама Екатерина Алексеевна.

Здесь названы важнейшие «старицы», а кроме них не было числа «послушницам» и «богомолкам» — «смиренным грешницам», завлекаемым в этот содом.

Через него прошли многие: сёстры, дочери и жёны самих членов «собора», их дальние родственницы и просто знакомые девицы и женщины, короче говоря, все те, кто отличался миловидностью и мог понравиться «протодиакону» Петру Михайлову и его притчу.

Конечно, в отношении Екатерины Алексеевны никто не смел допустить какого-либо неуважения, но и она и Пётр были почётными зрителями, на потеху которым и трудился весь «собор», а они благодушно и покровительственно созерцали эти действа.

Что же касается Екатерины, то она всю жизнь молча переносила бесконечные супружеские измены Петра, не оставаясь, впрочем, внакладе...

Пётр и Меншиков оказывались в Москве лишь наездами из-за того, что на северо-западе России и сопредельных с нею территориях шла бесконечная война, сопровождавшаяся переменчивыми «конфузиями» и «викториями» на суше и на море, штурмами и осадами крепостей, закладкой и строительством новых гаваней и городов.

После того как были взяты Шлиссельбург и Ниеншанц, а в мае 1703 года заложен Санкт-Петербург, была одержана и первая морская победа, за которую капитан Пётр Михайлов и поручик Александр Меншиков удостоены одинаковой награды — ордена Андрея Первозванного, тогда первого и единственного российского ордена.

В октябре 1703 года Меншиков приехал в Москву и перевёз девиц Арсеньевых в свой дом, где уже жили его сёстры.

Марию Даниловну Меншикову в декабре того же года выдали замуж за графа Алексея Алексеевича Головина, а за другую сестру, Анну, посватался один из денщиков Петра I Антон Мануилович (Эммануилович) де Виейра. Непрошеный и нежеланный зять Меншикова — португальский еврей де Виейра, в русских документах известный как Девиер, в юности служил матросом на португальском корабле, оказавшемся в Голландии,

когда там находился Пётр I. Де Виейра прельстился придворной службой и начал её скороходом у Меншикова. Однако очень скоро он перешёл к Петру, определившему ловкого португальца в гвардию, а затем и в свои денщики. Здесь де Виейра настолько укрепился, что даже посмел свататься к сестре Меншикова Анне. Денщики Петра I несли службу офицеров-ординарцев, числясь в свите государя. Звание денщика считалось выше камер-юнкерского, и многие из царских денщиков были офицерами гвардии. Денщики были лицами, очень близкими к царю, пользовались большим его доверием и часто выполняли ответственные поручения Петра. Многие из них стали со временем сенаторами и генералами. Впоследствии положение и обязанности царских денщиков соответствовали званию и обязанностям флигель-адъютантов.

И всё же Меншиков отклонил сватовство де Виейры, но тот не отступил, заявив, что девица Анна уже беременна и следует спешить с венчанием, чтобы не опозорить фамилию Меншиковых. Александр Данилович в ответ велел схватить жениха и избить его батогами. Избитый де Виейра отправился к Петру с жалобой и просил у царя защиты и помощи. Пётр взял сторону Антона Мануиловича и велел Меншикову вести сестру и де Виейру в церковь на обручение. А чтобы доказать своё расположение к де Виейре и упрочить его положение, Пётр сделал зятя Меншикова Санкт-Петербургским генерал-полицмейстером.

Что же касается Меншикова, то Пётр велел и ему самому тоже жениться на Дарье Михайловне Арсеньевой и обвенчал их 18 августа 1706 года.

Женитьба Меншикова на Арсеньевой в какой-то мере уменьшила опасность интимной связи Александра Даниловича с Екатериной Алексеевной, ибо видно было, что они испытывают друг к другу несомненные симпатии. Венчание произошло в Киеве, где в то время находился Пётр и куда Меншиков приехал специально для этого.

А ещё через день Пётр вместе с Екатериной и Анисьей Толстой уехали из Киева в Петербург. Супруги же Меншиковы остались при войсках и начали осеннюю кампанию 1706 года в Польше и Саксонии.

Дарья Михайловна прошла уже хорошую военную школу, не раз побывав в походах, и потому стала для Александра Даниловича такой же хорошей спутницей и настоящей «полковой дамой», какой для Петра оставалась Екатерина.

В этой кампании 18 октября Меншиков разбил под Калишем корпус шведского генерала Мардефельдта, что ускорило пожалование ему союзным России австрийским императором

титула Светлейшего князя Римской империи.

Причём в дипломе, подписанном императором Иосифом I, утверждалось происхождение нового князя от благородной литовской фамилии, что затем было перенесено из австрийской грамоты и в русскую, которую он получил через полгода уже как русский князь.

Весь 1707 год Екатерина провела вместе с Петром в Польше, а весной следующего приехала в Петербург. Пётр же и Меншиков оставались на Украине, где в последующие полтора года ими одержаны были весьма важные победы над шведами — в сражениях при Лесной, в знаменитой битве под Полтавой и под Переволочной.

Решающий перелом в Северной войне наступил в 1709 году. Именно в этот, победоносный для России, год небо Москвы много раз озарялось победными фейерверками. А 21 декабря 1709 года в Первопрестольной состоялся триумфальный марш победителей.

В июне 1710 года русские войска взяли Выборг, в июле — Ригу, в сентябре — Ревель (Таллин), опасаясь дальнейших военных успехов Петра и усиления его могущества, союзная Карлу XII Турция объявила России войну.

Накануне объявления войны в Петербурге происходили события, которые позже сыграли заметную роль в истории России. На авансцене семейной жизни царского дома появилась племянница Петра, семнадцатилетняя Анна Ивановна. Пётр решил выдать её замуж за владетеля соседней с Петербургом Курляндии герцога Фридриха-Вильгельма — потомка последнего магистра Ливонского ордена Кеттлера. С 1710 года в Курляндии очень усилилось влияние России, жених Анны Ивановны в августе 1710 года приехал в Петербург, чтобы предстоящим браком закрепить союз Курляндии с Россией. Пётр подарил Фридриху-Вильгельму четыреста кавалеристов, а Меншиков — пятьдесят телохранителей-драбантов, а кроме того — драгоценный сапфир стоимостью в пятьдесят тысяч талеров и турецкого жеребца необычайной красоты.

Торжества в честь герцога продолжались до Нового года. Никогда ещё они не были столь длительны, беспрерывны и изобильны. Праздник, более похожий на оргию, переезжал из дворца во дворец, из дома в дом, не прерываясь ни на день. 31 октября состоялось венчание, но тут же началась другая свадьба — любимого карлика Петра Якима Волкова. Пётр решил отпраздновать и эту свадьбу с не меньшим размахом. По его приказу из Москвы в Петербург привезли более тридцати лилипутов и лилипуток, и они вместе со своими петербургскими

товарищами и товарками стали героями ещё одного — двухнедельного — празднества. Великана Петра забавляло, что он окружён такими маленькими людьми, и царь всячески подчёркивал этот контраст в шествиях, церемониях и народных гуляниях. Петра ничуть не смущало, что герцог может принять свадьбу карлика как некое уничижение собственной персоне и молодой жене.

И вдруг среди этого разгула бесшабашного веселья, 22 декабря 1710 года, в Петербург приходит известие, что турецкий султан объявил войну России. 17 января 1711 года, оставив Меншикова в Петербурге, Пётр и Екатерина выехали в Москву. Им предстояло серьёзнейшее испытание — необычайно трудный и несчастливый Прутский поход, во время которого Екатерина проявила свои лучшие человеческие качества.

25 февраля 1711 года в Успенском соборе был зачитан Манифест об объявлении войны Османской империи. Однако месяцем раньше из Риги на юг двинулись полки Шереметева, чуть позже выехал и сам фельдмаршал, а 6 марта из Москвы направился на театр военных действий и Пётр.

В этот же день, 6 марта, перед отправлением к армии Пётр обвенчался с Екатериной, и теперь с ним в поход она впервые отправилась не как любовница Петра Михайлова, а как законная супруга, только ещё не венчанная на царство.

Правда, об этом знали только самые близкие Петру и Екатерине люди, ибо венчание было тайным, а свадьбы и вообще не было. Официально же Пётр венчался с Екатериной почти через год, 19 февраля 1712 года, после возвращения из Прутского похода и поездки в Польшу и Германию.

Необычайно сильная привязанность Петра к Екатерине объяснялась не только силой чувства, которое царь долгие годы испытывал к ней, ставя сначала свою «метресишку», а потом и жену вне бесконечного ряда близких с ним женщин.

Отдавая должное её привлекательности, природному уму, душевному обаянию, стремлению быть единомышленницей несомненно любимого ею человека, нельзя не сказать, что Екатерина обладала и рядом необычайных качеств, облегчавших даже тяжёлые недуги Петра, связанные с эпилептическими припадками, внезапными приступами бешенства и непредсказуемыми поступками.

Прусский резидент в Петербурге, граф Генниг-Фредерик Бассевич сообщал в своих «Записках»: «Она имела и власть над его чувствами, власть, которая производила почти чудеса. У него бывали иногда припадки меланхолии, когда им овладевала

мрачная мысль, что хотят посягнуть на его особу. Самые приближённые к нему люди должны были трепетать его гнева. Появление их узнавали по судорожным движениям рта. Императрицу немедленно извещали о том. Она начинала говорить с ним, и звук её голоса тотчас успокаивал его, потом она сажала его и брала, лаская, за голову, которую слегка почёсывала. И он засыпал в несколько минут. Чтобы не нарушать его сна, она держала его голову на своей груди, сидя неподвижно в продолжение двух или трёх часов. После того он просыпался совершенно свежим и бодрым. Между тем, прежде нежели она нашла такой простой способ успокаивать его, припадки эти были ужасом для его приближённых, причинили, говорят, несколько несчастий и всегда сопровождались страшной головной болью, которая продолжалась целые дни. Известно, что Екатерина Алексеевна обязана всем не воспитанию, а душевным своим качествам. Поняв, что для неё достаточно исполнять важное своё назначение, она отвергла всякое другое образование, кроме основанного на опыте и размышлении».

По дороге к армии Пётр получил несколько сообщений о необычайном мздоимстве Меншикова и написал ему в Петербург грозное письмо, в котором имелась и такая фраза: «А мне, будучи в таких печалях, уже пришло не до себя и не буду жалеть никого».

Отправившись на юг, на театр предстоящих военных действий, Пётр находился в пути более трёх месяцев. Столь долгое его путешествие от Москвы до Прута объяснялось тем, что по дороге он подолгу останавливался в разных городах, решая вопросы грядущей кампании и особенно основательно подготавливая и проводя дипломатические акции. К тому же из-за внезапной болезни пришлось остановиться в Луцке.

Приехав ещё в марте в Галицию, Пётр встретился там, в местечке Ярославле, с молдавским господарем Дмитрием Кантемиром и 11 апреля 1711 года подписал с ним союзный договор, направленный против турок. Здесь же, 30 мая, Пётр подписал договор и с польским королём Августом II, специально для этого приехавшим в Ярославль.

И ещё одно важное дело было разрешено во время пребывания Петра и Екатерины в Галиции: в местечке Яворово 19 апреля было подписано брачное соглашение о женитьбе царевича Алексея Петровича на Софье-Шарлотте Брауншвейг-Вольфенбюттельской. По условиям договора невеста оставалась в своей прежней лютеранской вере, а будущие дети должны были креститься по православному обряду.

В то время когда Пётр и Екатерина находились в походе, Алексей жил в семье своей семнадцатилетней невесты, в

увеселительном замке Зальцдален около Брауншвейга и писал своей мачехе Екатерине: «Герцог-отец, дед и мать герцогини, моей невесты, обходятся со мною зело ласково».

12 июня Пётр и Екатерина прибыли в лагерь русских войск на Днестре, но полки Шереметева и он сам всё ещё были в пути. Марш к Днестру оказался очень трудным: стояла сильная жара, высушившая не только ручьи и озерца, но и колодцы. К тому же саранча пожрала траву, и от бескормицы пало множество лошадей, замедляя тем самым движение артиллерии и обозов. Да и с провиантом было очень плохо, ибо край был основательно разорён турками и союзными им татарами.

В начале июля все русские войска — дивизии Шереметева, Вейде и Репнина, общей численностью в тридцать восемь тысяч человек, — соединились на берегу Прута и успели построить укреплённый лагерь, вокруг которого сосредоточились неприятельские силы, не менее чем в три раза превосходившие войска русских и союзных им молдаван князя Дмитрия Кантемира.

После двух штурмов, предпринятых турками 9 и 10 июля и с трудом отбитых русскими, Пётр решил послать к великому визирю Махмет-паше парламентёра с предложением о прекращении войны и заключении перемирия. Великий визирь склонялся к миру, но крымский хан и генерал Понятовский — представитель Карла XII — настаивали на продолжении сражения.

Объективно положение русских было необычайно трудным: у них уже три дня не было ни куска хлеба, ни фунта мяса, а против ста двадцати русских орудий неприятель выдвинул более трёхсот своих. И всё же турки не были уверены в успехе — перед ними стояла победоносная армия, прошедшая через огонь Лесной и Полтавы. Но царь, уже получивший большой военный опыт, видел катастрофичность происходящего и потому очень нервничал. Он приказал Екатерине покинуть лагерь и скакать в Польшу, однако она наотрез отказалась оставить его.

Между тем великий визирь сохранял молчание, и тогда в турецкий лагерь отправился Пётр Павлович Шафиров. В инструкции, данной Шафирову, Пётр писал: «В трактовании с турками дана полная мочь господину Шафирову, ради некоторой главной причины...» А этой «главной причиной» было спасение армии. Пётр соглашался отдать туркам все завоёванные у них города, вернуть шведам Лифляндию и даже — Псков, если того потребуют турки. Кроме того, Пётр обещал дать Махмет-паше сто пятьдесят тысяч рублей, а «другим начальным людям» ещё более восьмидесяти тысяч.

Однако обещание выплаты столь огромной суммы являлось нереальным: в армейской казне таких денег не было. А самой реальной надеждой на освобождение были именно деньги, золото, до коего и великий визирь и его помощники были очень и очень охочи.

И тогда, спасая положение, Екатерина отдала на подкуп турецких сановников все свои драгоценности, стоившие десятки тысяч золотых рублей. В 1714 году в память об этом поступке Пётр учредил второй российский орден — «Освобождения», вскоре названный орденом Святой Великомученицы Екатерины. Этот орден был единственным дамским орденом России и вручался только особам царской крови и ближайшему окружению российских самодержцев. Девизом ордена были слова: «За Любовь и Отечество», а пояснительная подпись гласила: «Трудами сравнивается с супругом».

Шафиров вручил эти драгоценности и деньги туркам, и они подписали мир на условиях, о которых Пётр и не мечтал: дело ограничилось возвращением Турции Азова, Таганрога и ещё двух мелких городов да требованием пропустить в Швецию Карла XII. А турки обязались пропустить в Россию русскую армию.

В подтверждение готовности выполнить эти условия Шафиров и сын Шереметева — Михаил Борисович — должны были оставаться заложниками у турок.

11 июля Шафиров и Шереметев приехали в турецкий лагерь, а на следующее утро русская армия двинулась в обратный путь. Она шла медленно, пребывая в постоянной готовности к отражению внезапного нападения. 1 августа армия перешла Днестр, и теперь уже ничто более ей не угрожало.

А Пётр и Екатерина отправились сначала в Варшаву для свидания с Августом II, затем в Карлсбад, на воды, где Пётр проходил курс лечения и, наконец, в Торгау, где должна была состояться свадьба царевича Алексея Петровича и принцессы Софьи-Шарлотты Брауншвейг-Вольфенбюттльской, доводившейся свояченицей австрийскому императору.

Трагедии в царском доме

А теперь вернёмся назад и посмотрим, как складывалась до сей поры жизнь царевича Алексея Петровича, судьба которого оказалась теснейшим образом связанной и с судьбой его державного отца, и с судьбой его крестной дочери, доводившейся ему мачехой.

Когда Евдокию Фёдоровну отвезли в монастырь, царевичу шёл восьмой год. С младенчества он редко видел отца, и потому влияли на него мать, бабушка и их, преимущественно женское, окружение. С шести лет Алексея стал учить грамоте князь Никифор Кондратьевич Вяземский, но круг чтения был почти целиком церковный, и потому мальчик полюбил церковные службы, рассказы о святых и великомучениках, молитвы и заповеди. Это не могло устроить Петра, и он передал сына в руки немца Мартина Нойгебауэра, юриста, историка и знатока латыни, которого знавшие его называли «персоной нарочитой остроты». Однако главным воспитателем Алексея Пётр назначил всё того же Меншикова, не умевшего ни читать, ни писать, и это настроило Нойгебауэра по отношению к Александру Даниловичу на враждебный лад. Дело кончилось тем, что в июле 1702 года Петром была учинена резолюция: «иноземца Нойгебауэра за многие его неистовства от службы отказать, и ехать ему без отпуска, куда хочет». Но Нойгебауэр ещё два года прожил в Москве, домогаясь какой-нибудь должности, и даже просил, «чтобы послану ему быть посланником в Китай».

Ничего не добившись в Москве, он уехал к себе на родину и издал там памфлет о нравах россиян и ужасах российского быта. Карьера привела его в стан шведского короля Карла XII, сделавшего Нойгебауэра своим секретарём, а потом и канцлером шведской Померании.

Об этом можно было бы и не упоминать, если бы не появился контрпамфлет — «пространное обличение преступного и клеветами наполненного пашквиля, изданного под титулом «Письмо знатного офицера», написанное в 1705 году на немецком языке и принадлежавшее перу доктора прав барона Генриха фон Гюйссена.

Автор контрпамфлета, решительно защищающий Петра и Россию, и стал новым воспитателем царевича Алексея, сменив отставленного Нойгебауэра. Гюйссен составил хорошо продуманный план образования Алексея, отводя место «нравственному воспитанию, изучению языков французского,

немецкого и латинского, истории, географии, геометрии, арифметики, слога, чистописания и военных экзерциций». Завершалось образование изучением предметов «о всех политических делах в свете и об истинной пользе государства в Европе, в особенности пограничных».

Сначала Алексей учился охотно и хорошо, но его нередко отрывал от учения отец, забирая с собою на войну, в походы и поездки, а Гюйссена посылая с миссиями за границу.

Оставаясь в Москве, Алексей всё теснее сближался с Нарышкиными, Вяземским и многими священниками, среди которых ему был ближе всего его духовник — протопоп Верхоспасского собора Яков Игнатьев. Игнатьев поддерживал в Алексее память о его несчастной матери, осуждал беззаконие, допущенное по отношению к ней, и часто называл царевича «надеждой Российской».

В начале 1707 года Игнатьев устроил Алексею свидание с матерью, отвезя его в Суздаль, о чём тут же доложили Петру, находившемуся в Польше. Пётр немедленно вызвал сына к себе, но не устроил ему разноса, а, напротив, решил приблизить и привлечь к государственной деятельности. Семнадцатилетнего Алексея он сделал ответственным за строительство укреплений вокруг Москвы, поручал ему набор рекрутов и поставки провианта, а в 1709 году отправил в Дрезден для дальнейшего совершенствования в науках. Вместе с царевичем поехали князь Юрий Юрьевич Трубецкой, один из сыновей канцлера, граф Александр Гаврилович Головкин и Гюйссен.

Приехав в Дрезден, царевич жил инкогнито и помимо учёных штудий занимался музыкой и танцами. В это же время начались переговоры о женитьбе Алексея на Брауншвейг-Вольфенбюттельской принцессе Софье-Шарлотте. Пока эти переговоры шли, Алексей Петрович переехал из Дрездена в Краков, где занимался фортификацией, математикой, геометрией и географией.

Близко знавший Алексея граф Вильген писал, что царевич встаёт в четыре часа утра, молится, а затем читает. Его занятия начинаются в семь часов и продолжаются с перерывом на обед до шести часов дня. Спать Алексей ложился не позже восьми часов. В свободное время его любимым занятием были прогулки и посещение церквей.

А пока наследник престола столь идиллически, столь безгрешно и достаточно плодотворно проводил время, его мать, Евдокия Фёдоровна, впала в суздальском Покровском женском монастыре в сугубый грех, и, может быть, о том не следовало бы

писать, если бы всё это не оказалось связанным и с судьбой Алексея, и с взаимоотношениями Петра и Екатерины, а в конечном счёте, с судьбой правящей династии.

Случилось так, что через десять лет монастырского заточения однажды раскрылась дверь её кельи и на пороге появился духовник Евдокии, ключарь и эконом монастыря Фёдор Пустынный, а рядом с ним возник высокий и статный тридцатисемилетний офицер-преображенец Степан Богданович Глебов, знакомый Евдокии с раннего детства: Глебовы и Лопухины были соседями, проживая на Солянке, рядом с Ивановским монастырём. Кроме того, Евдокия и Степан были ровесниками, а их родственники служили Милославским — царю Ивану Алексеевичу и его жене — царице Прасковье Фёдоровне, урождённой Салтыковой. Салтыковы и Глебовы также были роднёй друг другу, и потому Степан Глебов, его родной брат Фёдор, два двоюродных брата, а также родной брат царицы Прасковьи Авраам Фёдорович и её двоюродный брат Фёдор Лопухин одновременно служили стольниками царицы Прасковьи Фёдоровны.

После того как она овдовела и её двор сильно сократился, все её стольники перешли в другие службы, в том числе и ко двору Евдокии Фёдоровны, а Степан Богданович Глебов был повёрстан в Преображенский полк подпоручиком и с 1693 года стал офицером.

В 1709-м или в 1710 году, уже в звании майора Глебов оказался в Суздале по делам службы: он приехал сюда набирать рекрутов и заодно навестил свою сверстницу и давнюю знакомую. Глебов расспросил Евдокию о её жизни и рассказал о своём неудачном браке, который длился уже шестнадцатый год, не принося ему никакой радости из-за болезни жены. «Болит у неё пуп и весь прогнил, всё из него течёт, жить с ней нельзя», — говорил Глебов.

После первого свидания он передал Евдокии через Фёдора Пустынника две шкурки песцов, две шкурки соболей и «косяк байберека немецкого» — плотной парчи.

Затем Глебов стал регулярно присылать несчастной узнице и разнообразное съестное. А вскоре и к Евдокии и к Степану Богдановичу пришла любовь, о которой знали многие монахини, но ни одна из них не проронила ни звука, понимая, чем всё это может обернуться для обоих влюблённых...

Забегая вперёд, скажем только, что год шёл за годом, а их любовь всё более крепла и расцветала. Глебов уезжал из Суздаля в разные концы России — то в свои подмосковные и костромские деревни, то на Украину, где довелось ему бывать по службе, но

сердце его оставалось с Евдокией — в келье Покровского девичьего монастыря. Она же, безмерно скучая, писала ему письма и в каждом звала: «Не покинь ты меня, ради Господа Бога, сюды добивайся!» Евдокия Фёдоровна мечтала, чтобы бывший стольник, а ныне майор гвардии Степан Богданович Глебов, вымолил бы у царя место воеводы в Суздале, и тогда они были бы счастливее всех на свете. Но годы шли, а Глебов оказывался возле неё не так-то уж часто...

В марте 1710 года царевич Алексей Петрович побывал в Варшаве, был принят королём Августом II Сильным и через Дрезден поехал в Карлсбад. Неподалёку от Карлсбада, в местечке Шлакенверт он впервые увидел свою невесту и, кажется, молодые понравились друг другу. Во всяком случае Алексей писал Якову Игнатьевичу:

«Мне показалось, что она человек добрый, и лучше её мне здесь не сыскать».

В сентябре 1710 года Алексей решил сделать Софье-Шарлотте официальное предложение и запросил на то разрешение Петра. Пётр своё согласие дал, и в мае 1711 года царевич отправился в Вольфенбюттель для знакомства с родителями невесты и обсуждения с ними брачного договора. Для выяснения некоторых спорных пунктов этого договора в июне 1711 года к Петру был направлен тайный советник герцога Брауншвейгского Шляйниц, вскоре отыскавший царя и царицу в галицийском местечке Яворово.

Мы уже знаем, что произошло после этого на Пруте, знаем и о поездке Петра и Екатерины в Варшаву и Карлсбад.

В то время как царская чета разъезжала по Польше и Чехии, в Брауншвейге завершилась подготовка к бракосочетанию Алексея и Софьи-Шарлотты.

13 октября 1711 года Пётр и Екатерина приехали в саксонский город Торгау, и на следующий день во дворце польской королевы было совершено венчание и отпразднована довольно скромная свадьба.

Через шесть дней Пётр уехал из Торгау, наказав Алексею в течение полугода заказать провиант для тридцатитысячного русского корпуса, стоявшего в Померании.

Через полгода после отъезда Петра из Торгау в Померанию прибыл Меншиков и взял Алексея с собой на театр военных действий, а в конце 1712 года Алексей по приказу отца поехал в Петербург, оставив молодую жену в Брауншвейге. Софья-Шарлотта приехала к нему только в начале следующего лета, но и тогда не застала мужа дома, так как он в мае вместе с Петром ушёл на корабле в Финляндию, а как только вернулся, тотчас же

был отправлен на заготовки корабельного леса в Старую Руссу и Ладогу.

По возвращении в Петербург произошёл один весьма красноречивый эпизод. Пётр попросил сына принести чертежи, которые тот делал, находясь в Германии на учёбе. Алексей же чертил плохо, и за него делали эту работу другие. Испугавшись, что Пётр заставит его чертить при себе, царевич решил покалечить правую руку и попытался прострелить ладонь из пистолета. Пуля, правда, пролетела мимо, однако ладонь сильно обожгло порохом, и рука всё же была повреждена. Когда же Пётр спросил, как это случилось, Алексей, из страха перед отцом, и здесь не сказал правды. Пётр, конечно же понял, что произошло, но не подал вида, притворившись доверчивым простаком.

Попав в старое российское окружение, Алексей почти сразу же отошёл от молодой жены, пристрастившись к тому же к рюмке. Вскоре обнаружился у него туберкулёз, и врачи посоветовали царевичу ехать в Карлсбад. Летом 1714 года Алексей уехал на воды, оставив Шарлотту в Петербурге на последнем месяце беременности.

12 июля Софья-Шарлотта родила дочь, названную Натальей. Царевич возвратился домой в конце 1714 года, а 12 октября 1715 года у них родился сын (будущий император Пётр II). К несчастью, через десять дней молодая мать умерла, судя по описанию врачей, от общего заражения крови. Алексей в момент её смерти был рядом и несколько раз падал в обморок.

Однако главной причиной такой его душевной слабости служила не только кончина жены. Дело было и в том, что незадолго до смерти Софьи-Шарлотты царевич завёл роман с крепостной служанкой своего первого учителя Никифора Вяземского — Ефросиньей Фёдоровой. Это была не какая-то лёгкая интрижка. Алексей Петрович влюбился в Ефросинью до такой степени, что впоследствии даже просил дозволения жениться на ней, предварительно выкупив Ефросинью и её брата Ивана на волю у их хозяина.

Софья-Шарлотта, знавшая о связи мужа с Ефросиньей, на смертном одре с горечью проговорила, что «найдутся злые люди, вероятно, и по смерти моей, которые распустят слух, что болезнь моя произошла более от мыслей и внутренней печали», явно имея в виду и виновников этой «внутренней печали».

Петру, конечно же, сообщили о словах его умирающей невестки, и царевич страшно боялся отцовского гнева. Но ещё более стал Алексей опасаться ярости Петра после того, как на поминках Софьи-Шарлотты отец сам вручил ему грозное письмо, подобного которому доселе ещё не бывало. Пётр писал Алексею,

что радость побед над шведами «едва не равная снедает горесть, видя тебя, наследника, весьма на правление дел государственных непотребного», Пётр упрекал сына в том, что тот не любит военного дела, которое, по его словам, является одним из двух необходимых для государства дел, наряду с соблюдением порядка внутри страны.

Далее Пётр писал: «Сие представя, обращуся паки на первое, о тебе рассуждая: ибо я есмь человек и смерти подлежу, то кому насаждённое и взращённое оставлю? Тому ленивому рабу евангельскому, закопавшему талант свой в землю? Ещё и то воспомяну, какого злого нрава и упрямства ты исполнен! Ибо сколь много за сие тебя бранил, и даже бивал, к тому же сколько лет, почитай, не говорю с тобою, но ничто на тебя не действует, всё даром, всё на сторону, и ничего делать не хочешь, только бы дома жить и им веселиться. Однако и всего лучше безумный радуется своей беде, не ведая, что может от того следовать не только ему самому, то есть тебе, но и всему государству? Истинно пишет святой Павел: «Как может править Церковью тот, кто не радеет и о собственном доме?»

Обо всём этом с горестью размышляя и видя, что ничем не могу склонить тебя к добру, я посчитал за благо написать тебе сей последний тестамент и подождать ещё немного, если нелицемерно обратишься. Если же этого не случится, то знай, что я тебя лишу наследства, яко уд гангренный. И не мни себе, что один ты у меня сын, и что всё сие я только в острастку пишу: воистину исполню, ибо если за моё Отечество и людей моих не жалел и не жалею собственной жизни, то как смогу тебя, непотребного, пожалеть? Пусть лучше будет хороший чужой, нежели непотребный свой».

Отвечая отцу, Алексей во всём соглашался с Петром и просил лишить его права наследования престола, ссылаясь на слабость здоровья и плохую память, утверждая, что «не потребен к толикого народа правлению, что требует человека не такого гнилого, как я».

К тому же за три дня перед тем как Алексей написал это письмо, Екатерина Алексеевна родила очередного ребёнка. Это был мальчик, и потому Алексей писал Петру, что, так как у него теперь есть ещё один сын, он может сделать наследником престола своего нового сына. В заключение Алексей клялся, что никогда не заявит своих прав на престол, а для себя просил лишь «до смерти пропитания».

Это письмо составил он по совету своих ближайших друзей — Александра Кикина и князя Василия Долгорукова. Причём последний сказал Алексею: «Давай писем хоть тысячу. Ещё когда

что будет. Старая пословица: «Улита едет коли-то будет». Это не запись с неустойкой, как мы прежде давали друг другу», намекая на то, что его отказ от престола пустая отговорка и что только реальный ход событий определяет, на чьей стороне окажется фортуна.

Пётр, по-видимому, узнал и об этом, и 19 января 1716 года отправил Алексею ещё одно письмо, в котором писал, что клятвам его не верит, потому что если бы он сам и хотел поступать честно, то сделать это не позволят ему «большие бороды, которые ради тунеядства своего, ныне не в авантаже обретаются, к которым ты и ныне склонен зело. К тому же, чем воздаёшь за рождение отцу своему? Помогаешь ли в таких моих несносных печалях и трудах, достигши такого совершенного возраста? Ей, николи! Что всем известно есть, но паче ненавидишь дела мои, которые я делаю для своего народа, не жалея своего здоровья. И конечно же после меня ты разорителем этого будешь. Того ради, так остаться, как желаешь быть, ни рыбою, ни мясом, невозможно, но, или перемени свой нрав и нелицемерно удостой себя наследником, или будь монах»...

Когда Алексей прочитал это письмо Кикину, тот сказал: «Да ведь клобук-то не гвоздём к голове прибит». И после этого Алексей попросил отца отпустить его в монастырь.

А ещё через неделю Пётр вновь отправился на воды в Карлсбад, взяв с собою, между прочими, и Александра Кикина. Перед отъездом он навестил сына и ещё раз попросил его, не торопясь, в течение полугода обдумать: быть ему наследником или монахом. А Кикин, прощаясь с Алексеем, шепнул ему, что, находясь в Европе, найдёт царевичу какое-нибудь потайное место, где ему можно будет укрыться, бежав из России. 26 августа 1716 года Пётр послал Алексею письмо всё с тем же вопросом. И написал, что если Алексей хочет остаться наследником престола, то пусть едет к нему и сообщит, когда выезжает из Петербурга, а если — монахом, то скажет о сроке принятия пострига. Заканчивал же он письмо своё так: «О чём паки подтверждаем, чтобы сие конечно (т. е. окончательно) учинено было, ибо я вижу, что только время проводишь в обыкновенном своём неплодии».

Алексей решил ехать к Петру и, взяв с собою Ефросинью Фёдоровну, её брата Ивана и трёх слуг, 26 сентября оставил Петербург, намереваясь по дороге встретиться с Кикиным и узнать, где ему найдено убежище и пристанище. Встреча произошла в Либаве, Кикин сказал, что царевича ждут в Вене, и цесарь примет его, как сына, обеспечив ежемесячной пенсией в три тысячи гульденов. После беседы с Кикиным Алексей решился. Проехав Данциг, он исчез.

Пётр и Екатерина уехали из Петербурга за границу в конце января 1716 года.

Проехав через Ригу, Пётр остановился в Данциге, где состоялась его встреча с польским королём Августом II Сильным.

Петра встретили русские генералы из корпуса Шереметева, командовавшие многочисленными отрядами. Возле Данцига стоял сильный русский флот, и потому Пётр чувствовал себя здесь хозяином, принимавшим своего гостя — Августа, хотя тот и был сюзереном этого города. Пётр вёл себя с Августом надменно и нередко грубо, удивляя многих находившихся там иностранцев.

8 апреля в Данциге царь и Екатерина отпраздновали свадьбу двадцатичетырёхлетней племянницы Петра Екатерины Ивановны — третьей дочери его брата Ивана Алексеевича. Она была выдана за герцога Карла-Леопольда Мекленбург-Шверинского, сильно нуждавшегося в поддержке Петра, ибо герцог был в крайне неприязненных отношениях и со шведами, и с англичанами, и с императором, и со многими собственными своими дворянами. Хорошо понимая это, Пётр весьма пренебрежительно обращался со своим новым родственником.

Приехав через некоторое время в столицу Мекленбурга Шверин, Пётр весьма сильно удивил встречавших его придворных герцога и самого молодого супруга весьма дерзким пассажем.

Только завидев свою миловидную, молодую племянницу, Пётр побежал ей навстречу и, не обращая внимания ни на герцога Карла, ни на других, его встречавших, обхватил Екатерину Ивановну за талию и увлёк в спальню. «Там, — пишет осведомлённый двумя очевидцами этого происшествия барон Пельниц, — положив её на диван, не запирая дверей, поступил с нею так, как будто ничто не препятствовало его страсти». Едва ли подобное могло случиться, если бы дядя и племянница не были до того в любовной кровосмесительной связи.

Правда, не только амурные шалости происходили в эти дни в Шверине. Между забавами Пётр провёл встречу с прусским королём Фридрихом I, после чего уехал в Гамбург, где состоялись его переговоры с датским королём Фридрихом IV. Пётр сумел убедить своего союзника в необходимости проведения совместной десантной операции против Швеции, предложив собрать союзные флоты и сухопутные войска в Копенгагене и высадить затем большой десант в Шонии — южной провинции Швеции. Переговоры в Гамбурге завершали целую серию дипломатических акций, сводившихся Петром к одному — поставить главного своего противника Карла XII в безвыходное положение, переиграв его не только на полях сражений, но и в

дипломатии.

С 26 мая по 15 июня Пётр лечился на прекрасном северогерманском бальнеологическом курорте Пирмонт, но и здесь не оставлял политических дел. Как только он почувствовал себя лучше, то тут же уехал в Росток, погрузился на военный корабль и во главе большой русской галерной эскадры пошёл к столице дружественной ему Дании — Копенгагену. Туда же шла русская эскадра, снаряженная в Англии, возглавляемая адмиралом Бредалем, а ещё одна русская эскадра двигалась из Ревеля. По суше направился в Данию тридцатитысячный русский корпус.

В начале июля Пётр прибыл в Копенгаген, где был встречен с необычайной торжественностью и пышностью. Так же торжественно встретили и Екатерину, вызванную вскоре Петром из Пирмонта. Однако же на сем успехи и завершились — союзники потеряли время, ещё в большей мере разошлись в намерениях, и высадка в Шонии не состоялась.

И снова, на сей раз поздней осенью 1716 года, Пётр поехал в Шверин, где опять вёл переговоры — теперь уже о возможности сепаратного мира со Швецией. И снова должен был озаботиться здоровьем Екатерины, потому что та вновь была беременна, причём срок родов приближался.

Следует заметить, что Екатерина за пятнадцать лет жизни с Петром родила десять детей и потому почти беспрерывно была в положении. Правда, почти все отпрыски умирали или вскоре после родов или во младенчестве, но такой была участь множества младенцев в то время.

Из Швеции Пётр поехал в Гавельсберг на очередное свидание с прусским королём для того, чтобы подписать союзный договор. Договор был быстро заключён, и Фридрих I на радостях подарил русскому царю великолепную яхту и знаменитый «Янтарный кабинет», Пётр пообещал королю прислать в подарок пятьдесят русских великанов для службы в прусской гвардии.

6 декабря 1716 года Пётр прибыл наконец в Амстердам и тут же получил печальное известие: 2 декабря в ганноверском городе Безеле Екатерина родила сына, который сразу же скончался. Это произошло, возможно, из-за потрясений и несчастий, испытанных ею в пути. Случилось так, что по дороге царицу и сопровождавших её людей приняли за разбойников, избили многих возниц и слуг и везли в Безель под охраной, не давая им ни есть, ни спать. Из-за всего этого роды и оказались такими неудачными.

Это семейное несчастье заставило Петра отдать распоряжение найти Алексея, который исчез два месяца назад.

Генерал Адам Вейде, стоявший с корпусом в Мекленбурге, русский резидент в Вене Абрам Веселовский, майоры Шарф и Девсон отправились на поиски Алексея. Более прочих повезло Веселовскому. Хорошо зная европейские обычаи, он по дороге не жалел кошелька, чтобы получить сведения о русском офицере с женою и четырьмя служителями (четвёртым был брат Ефросиньи — Иван) у воротных писарей, а потом и у хозяев гостиниц. И так, двигаясь от Данцига на юг, Веселовский обнаружил в разных городах и гостиницах следы Алексея, ехавшего под именем подполковника Кохановского. Во Франкфурте-на-Одере царевич останавливался в «Черном орле», в Бреслау — в «Золотом гусе», в Праге — в «Золотой горе» и, наконец, в Вене, 20 февраля 1717 года Веселовский нашёл человека — референта Тайной конференции Дольберга, который сказал, что Алексей находится во владениях австрийского императора инкогнито и с помощью нескольких офицеров его можно похитить и увезти.

В начале февраля 1717 года в Амстердам приехала Екатерина и была там вместе с мужем до конца марта. Здесь стало известно, что Алексей и его спутники приехали в Вену в ноябре 1716 года глубокой ночью. Не останавливаясь в гостинице, царевич явился в дом австрийского вице-канцлера Шенборна, который уже лёг спать. Алексея долго не пускали к вице-канцлеру, предлагая подождать до утра, но царевич так боялся погони и ареста, что добился встречи с Шенборном среди ночи. Бегая по комнате, где происходило рандеву, Алексей кричал:

— Император должен спасти меня и обеспечить мои права на престол! Я слабый человек, но так воспитал меня Меншиков, с намерением расстраивая моё здоровье пьянством. Теперь, говорит мой отец, я не гожусь ни для войны, ни для правления, однако же у меня достаточно ума, чтобы царствовать. А меня хотят заточить в монастырь, куда я идти не хочу! Император должен спасти меня!

Алексей более всего рассчитывал на своё родство с императором, который был женат на родной сестре его покойной жены Софьи-Шарлотты и, таким образом, доводился ему шурином, а дети Алексея — Наталья и Пётр были родными племянниками императрицы.

Карл VI Габсбург немедленно собрал Тайную конференцию и решил сохранить пребывание Алексея в секрете. Затем он распорядился отвезти цесаревича сначала в местечко Вейербург под Веной, а оттуда в крепость Эренберг, расположенную в земле Тироль, в Альпах.

Объясняя причину своего столь бедственного положения, Алексей сводил всё к происками непомерно честолюбивых и

властолюбивых главных своих врагов — Екатерины и Меншикова, поставивших своей общей целью во что бы то ни стало погубить его, чтобы на троне после смерти Петра оказалась Екатерина или кто-то из её детей, а Меншиков был бы при них верховным управителем.

Алексей и его спутники с большой радостью поехали в Эренберг. Для сохранения тайны их всех переодели простолюдинами и посадили не в экипажи, а на крестьянские телеги, настрого наказав соблюдать в пути абсолютное инкогнито и во всё время пути ни слова не произносить по-русски.

Однако же, останавливаясь на ночлеги, Алексей и вся его компания много пили, шумели и бросались в глаза необычным для австрийцев поведением. Наконец, на восьмой день пути, проехав шестьсот вёрст, они добрались до крепости Эренберг, одиноко возвышавшейся на вершине высокой и крутой горы. Крепость находилась вдали от больших дорог и была идеальным местом для сохранения царевича от любопытных глаз. Эренбергский комендант генерал Рост получил от австрийского императора инструкцию о строжайшей изоляции «некоторой особы». Причём эта «особа» не должна была иметь никаких сообщений, не могла уйти, и само место её заключения должно было остаться для всех «непроницаемою тайной». Император предупредил Роста, что если его приказ хоть в чём-то будет нарушен, то он, Рост, будет лишён имени, чести и жизни.

Инструкция предписывала не менять ни одного солдата в гарнизоне, пока узники будут там, и категорически, под страхом смерти, запрещала и солдатам и их жёнам выходить из крепости. Если же главный арестант захочет писать письма, то можно ему разрешить это при одном условии: отправлять их будет сам комендант через Вену.

Меж тем Веселовский, всё через того же Дольберга, дознался, где находится Алексей. Это случилось 23 марта 1717 года, на четвёртый день после приезда в Вену денщика Петра капитана гвардии Александра Румянцева и трёх офицеров, приданных ему в помощники.

Узнав от Веселовского о месте пребывания Алексея, Румянцев немедленно выехал в Тироль и там доподлинно выяснил, где скрывают русского царевича.

В тот же самый день, когда Александр Румянцев и три сопровождавших его офицера выехали из Вены, Пётр, оставив Екатерину в Амстердаме, направился в Париж. Путешествие по Франции произвело на Петра тяжёлое впечатление — страна показалась ему очень бедной, в особенности по сравнению с

богатой и цветущей Голландией. Писал он об этом и Екатерине, а потом при встрече с нею рассказал, что его поселили в одном из лучших дворцов Парижа — Ледигьер, принадлежавшем маршалу Вилльруа, воспитателю юного короля Людовика XV. Пётр рассказывал Екатерине и о том, как на следующий день к нему явился с визитом герцог Орлеанский, а ещё через два дня привезли и семилетнего короля. После этого Пётр нанёс визит августейшему отроку.

Когда карета Петра подъехала к дворцу Тюильри, на нижних ступенях крыльца которого стояли министры и маршалы Франции во главе с королём, Людовик побежал навстречу русскому царю, а Пётр выскочил из кареты, схватил мальчика на руки, поцеловал и понёс, прижав к себе, вверх по лестнице во дворец.

Сохранилось предание, что когда он уже вошёл в Тюильри, то всё равно не отпустил Людовика с рук, а понёс его на второй этаж. И поднимаясь наверх, сказал: «Я несу на руках Францию».

Находясь в Париже, Пётр проявлял необыкновенную любознательность ко всему. Он побывал в Астрономической обсерватории, в Анатомическом институте, в Парижской библиотеке, в Картинной галерее Лувра, в Опере, в Доме Инвалидов, на фабрике гобеленов. Он следил за строительством моста через Сену, наблюдал за чеканкой монет на Монетном дворе, за печатанием книг в Королевской типографии, присутствовал на диспуте в Сорбонне, на заседании в Академии наук, где был избран в её члены.

Он побывал в двух десятках дворцов и замков, поражаясь немыслимой роскоши их убранства и необыкновенному богатству одежды и украшений парижских аристократов. Это не нравилось Петру, удивлявшему всех скромностью костюма и великой непритязательностью. И всё же он вынес из поездки в Париж идею создания в России Академии Наук, учреждения Ассамблей и развития «художеств». И ещё одно вынес он из Парижа. 9 июня 1717 года, оставляя Францию, Пётр проронил: «Жалею о короле и о Франции: она погибнет от роскоши».

О происках Румянцева вскоре узнали австрийцы и, спасая Алексея, предложили ему тайно переехать в Неаполь. Что же касается слуг и Ивана Фёдорова, то им было велено остаться в Эренберге, потому что передвижение их целой группой скрыть было невозможно. К тому же император не хотел лишних нарицаний за то, что скрывает у себя «непотребных людей».

Переодев Ефросинью в одежду мальчика-пажа, Алексей вместе с нею в три часа ночи выехал из Эренберга, но все

старания обмануть бдительных петровских соглядатаев оказались напрасными: Румянцев уже несколько дней находился под чужим именем в соседней с Эренбергом деревне Рейтин, где проживал и комендант крепости генерал Рост. Почти сразу же Румянцев узнал от одного из гостей Роста — офицера из Вены, что таинственного узника увезли из Эренберга в Неаполь. И хотя царевич и Ефросинья доехали до Неаполя благополучно, но главного — сохранения места их пребывания в тайне — они не добились, потому что по пятам за ними скакал Румянцев.

Алексея и Ефросинью поместили в замке Сент-Эльм, стоящем на вершине горы, господствующей над городом, где они и прожили пять месяцев до осени 1717 года.

Однако не прошло и двух месяцев, как им стало ясно, что и новое их убежище раскрыто: в июле в Вене появились тайный советник граф Пётр Андреевич Толстой и капитан Румянцев и передали императору Карлу VI письмо Петра с просьбой о выдаче ему сына-беглеца.

А в это же самое время Пётр приехал на популярный бельгийский курорт Спа, известный своими целебными минеральными источниками. Своим визитом на этот курорт Пётр превратил его из популярного в знаменитый и вследствие этого — необычайно модный, а потому и процветающий. Город Спа навсегда сохранил память о Петре, воздвигнув ему в 1856 году у минеральных источников великолепный памятник, подаренный Анатолием Демидовым, русским богачом, потомком уральских заводчиков Демидовых, женатым на племяннице Наполеона Бонапарта Матильде. Купив княжество Сан-Донато, Демидов вместе с тем приобрёл и титул и стал именоваться князем Сан-Донато.

А теперь возвратимся к Петру Алексеевичу, лечившемуся в Спа. Местные врачи запретили августейшему больному, исцелявшему мочеполовую систему, прежде всего «всякие домашние забавы». Подчиняясь решению опекавших его эскулапов, Пётр, дабы избегнуть соблазнов, отправил в Амстердам взятую им, не без ведома Екатерины, любовницу. Причём отсылая её в Амстердам, дал ей письмо для Екатерины.

В этом письме от 18 июня 1717 года он признавался собственной жене: «А понеже во время пития вод, домашней забавы дохтуры употреблять запрещают, того ради я метресу свою отпустил к Вам, ибо не мог бы удержаться, ежели бы при мне была».

Получив это письмо, Екатерина ответила так: «Что же изволите писать, что вы метресишку свою отпустили сюда для своего воздержания, что при водах невозможно с нею веселиться,

и тому верю; однако ж больше мню, что вы оную изволили отпустить за её болезнью, в которой она ныне пребывает и для лечения изволила поехать в Гагу (Гаагу), и не пожелала бы я (о чём Боже сохрани!), чтоб и талант той метресишки, таков здоров приехал, какова она приехала». Чем болела «метресишка», можно только догадываться, но догадаться не трудно.

Закончив четырёхнедельное лечение в Спа, Пётр в конце июля вновь приехал в Амстердам, где ждала его Екатерина, там же ждал его и русский посол во Франции князь Куракин.

Ещё до приезда царя Куракин встречался со шведскими дипломатами, желавшими прекратить войну, длившуюся уже семнадцать лет, но из-за неуступчивости и непомерных требований шведов переговоры в Амстердаме ни к чему не привели.

Находясь в Амстердаме, Пётр, как и в Париже, осматривал все достопримечательности города, особенно интересуясь постановкой торговли, банковским делом и коммерческим флотом. Досуг же заполнял осмотром картинных галерей, знакомствами с художниками, покупкой картин, скульптур, различных раритетов и целых коллекций.

Всё лето 1717 года, находясь в любимом своём Амстердаме, Пётр чуть ли не каждый день получал депеши от своих офицеров из Неаполя. Толстой и Румянцев начали операцию по извлечению Алексея из замка Сент-Эльм 1 июля 1717 года, когда Пётр, ещё находившийся в Спа, дал им инструкцию относительно всего, что им предстояло сделать. Затем 10 июля Пётр вручил им его собственное письмо к Карлу VI, в котором просил императора передать царевича в руки своего тайного советника, графа Толстого, приведя убедительные юридические и моральные доводы.

29 июля Толстой вручил письмо императору, но Карл, прочитав послание, ответил, что письмо показалось ему недостаточно ясным и ему требуется какое-то время, чтобы правильно понять написанное.

Не дожидаясь этого, Толстой на следующий день заехал к герцогине Волфенбюттельской — матери покойной жены Алексея Софьи-Шарлотты. Вы, уважаемый читатель, вероятно помните, что её вторая дочь, родная сестра Софьи-Шарлотты и, следовательно, свояченица Алексея, была женой императора Карла.

Герцогиня, выслушав Толстого, обещала сделать всё, чтобы помирить Петра и Алексея, но Толстой сказал, что примирение возможно только в единственном случае — если Алексей

согласится вернуться в Россию.

7 августа император собрал трёх своих тайных советников для решения этого вопроса, и они согласились, что всё следует предоставить воле царевича. А 12 августа Толстому и Румянцеву разрешено было ехать в Неаполь для встречи с Алексеем. Из-за сильных и беспрерывных дождей агенты Петра добрались до Неаполя лишь 24 сентября.

Узнав об этом, Пётр решил, что дело сделано, и отправился на родину, где не был более полутора лет. Путь царя и царицы обратно был сравнительно прям. Он лежал через Магдебург, Берлин и Данциг. А уже дальше начинались его собственные новые владения: Лифляндия и Эстляндия. Проехав Ригу, Ревель и Нарву, в октябре 1717 года Пётр и Екатерина возвратились в Петербург.

Таким образом, поиски царевича Алексея и попытки захватить его и привезти в Россию происходили главным образом в то время, когда отец его и мачеха находились за границей.

А когда они приехали в Петербург, почти сразу же пришла депеша от Толстого, что царевич Алексей Петрович согласен вернуться в Россию. Толстой сообщал и о последних событиях, произошедших, когда Пётр и Екатерина жили в Амстердаме, и о том, что случилось, когда ехали из Голландии в Россию. Толстой писал, что 24 сентября 1717 года прибыли они в Неаполь, и уже на следующий день их принял вице-король Неаполя Вирих-Филипп-Лоренц, граф Даун, князь Тиана и предложил устроить свидание с Алексеем завтра, у него во дворце и при его, Дауна, присутствии, придав всему характер непринуждённой дружеской встречи. Однако как только Алексей, Толстой и Румянцев увиделись друг с другом, то, несмотря на присутствие гостеприимного хозяина дома, царевич затрепетал от страха, а посланцы Петра с места в карьер стали решительно требовать от Алексея покориться отцовской воле и немедленно ехать в Россию.

После первой встречи последовали ещё три, во время которых ласки и посулы сменялись угрозами, пока, наконец, во время пятой встречи, 3 октября, царевич согласился ехать домой. Возможно, он сделал это и потому, что Толстой сказал ему: Пётр не остановится даже перед тем, чтобы применить против Австрии оружие, но всё равно добудет изменника-сына.

Согласившись ехать, Алексей попросил только об одном — разрешить ему обвенчаться с Ефросиньей, которая была на четвёртом месяце беременности. Пётр разрешил, в частности и потому, что именно Ефросинья уговорила Алексея возвратиться в Россию.

Через несколько дней Толстой сообщил, что, съездив в

недалёкий от Неаполя город Бари и поклонившись там мощам святого чудотворца Николая Мирликийского, Алексей 14 октября вместе с ним и Румянцевым отправился на родину. Ефросинья сначала ехала вместе с Алексеем, но потом отстала, чтобы продолжать путь не спеша и не подвергать себя опасности выкидыша или неблагополучных родов. Алексей с дороги писал ей письма, пронизанные любовью и заботой. Он советовал Ефросинье обращаться к врачам и аптекарям, беспокоился, удобный ли у неё экипаж, тепло ли она одета, посылал ей немалые деньги, а потом послал и бабок-повитух, которые могли бы хорошо принять роды.

Проехав Италию, Австрию и немецкие земли, Алексей через Ригу, Новгород и Тверь 31 января 1718 года прибыл в Москву.

Сразу же после приезда в первопрестольную был он приведён в Столовую палату Теремного Кремлёвского дворца и в присутствии генералитета, министров и высших церковных иерархов пал перед Петром на колени и отрёкся от прав на престол, попросив у отца «жизни и милости». Пётр обещал сохранить ему жизнь, если он откроет имена всех участников побега, на что Алексей немедленно согласился и тут же назвал всех сообщников.

В Преображенский приказ прежде всего были доставлены главные сообщники Алексея — Кикин, Вяземский, Афанасьев и Долгоруков.

Следствие, начавшись в феврале 1718 года, проходило до середины июня, когда после очных ставок Алексея и Ефросиньи была установлена «сугубая вина» царевича и он сам попал в каземат Петропавловской крепости, а затем и подвергнут пыткам. А Ефросинья в середине апреля приехала в Петербург и должна была родить ребёнка недели через две. Однако ничего о том, были ли роды и кто именно родился, до сих пор совершенно неизвестно.

Зато хорошо известно, как ждал её Алексей Петрович, как надеялся, что отец всё-таки разрешит им обвенчаться и позволит жить вместе, частной жизнью, в одной из деревень под Москвой. Но ничему этому не суждено было статься. Как только Ефросинья вернулась в Петербург, её тут же арестовали, посадили в крепость и приступили к допросам. Правда, её ни разу не пытали, а Пётр всячески выказывал ей свои симпатии. Это объясняли тем, что данные Ефросиньей показания окончательно погубили царевича. Ей, конечно же, запретили и думать о венчании, а свидания её с Алексеем происходили на очных ставках в застенках Преображенского приказа.

На допросах Алексей назвал имена более чем пятидесяти своих подлинных и мнимых сообщников, и розыск проходил повсюду, где находились названные царевичем люди. Особо строго искали в Москве, Петербурге и Суздале, где жила Евдокия Фёдоровна.

В Суздаль был направлен капитан-поручик Преображенского полка Григорий Скорняков-Писарев с командой солдат. 10 февраля 1718 года в полдень он прибыл в Покровский монастырь, оставив солдат неподалёку от обители. Скорняков сумел незамеченным пройти в келью к Евдокии и застал её врасплох, отчего она смертельно испугалась. Евдокия была не в монашеском одеянии, а в телогрее и повойнике, что потом ставилось ей в вину, ибо было сугубым нарушением монашеского устава.

Оттолкнув бледную и потерявшую дар речи Евдокию, Скорняков коршуном бросился к сундукам и, разворошив лежащие там вещи, нашёл два письма, свидетельствующие о переписке Евдокии с сыном. После этого в Благовещенской церкви найдена была записка, по которой Лопухину поминали «Благочестивейшей великой государыней нашей, царицей и великой княгиней Евдокией Фёдоровной» и желали ей и царевичу Алексею «благоденственное пребывание и мирное житие, здравие же и спасение и во всё благое поспешение ныне и впредь будущие многие и несчётные лета, во благополучном пребывании многая лета здравствовать».

14 февраля, арестовав Евдокию и многих её товарок, а также нескольких замешанных в её деле священников и монахов, Скорняков повёз их всех в Преображенский приказ в Москву. 16 февраля начали строгий розыск, прежде всего обвиняя Евдокию в том, что она сняла монашеское платье и жила в монастыре не по уставу — мирянкой. Отпираться было нельзя, ведь Скорняков и сам застал Евдокию в мирском платье. А дальше дела пошли ещё хуже: привезённая вместе с другими монахинями старица-казначея Маремьяна рассказала о том, что к Евдокии много раз приезжал Степан Глебов и бывал у неё в келье и не только днём, но и оставался на всю ночь до утра.

Показания Маремьяны подтвердила и ближайшая подруга Евдокии монахиня Каптелина, добавив, что «к ней, царице-старице Елене, езживал по вечерам Степан Глебов и с нею целовалися и обнималися. Я тогда выхаживала вон; письма любовные от Глебова она принимала и к нему два или три письма писать мне велела».

После этого Глебова арестовали, и проводивший арест и обыск гвардии капитан Лев Измайлов нашёл у него конверт, на

котором было написано: «Письма царицы Евдокии», а внутри оказалось девять этих писем.

Во многих из них Евдокия просила Глебова уйти с военной службы и добиться места воеводы в Суздале; во многих, проявляя ум и практическую смётку, советовала, как добиться успеха в том или ином деле, но общий тон писем таков, что позволяет судить об огромной любви и полном единомыслии Евдокии и Степана.

«...Где твой разум, тут и мой; где твоё слово, тут и моё; где твоё слово, тут и моя голова: вся всегда в воле твоей!» Приведём здесь письма в том порядке, в каком расположены они в книге академика Николая Герасимовича Устрялова «История царствования Петра Великого».

«Чему-то петь быть, горесть моя, ныне? Кабы я была в радости, так бы меня и дале сыскали; а то ныне горесть моя! Забыл скоро меня! Не умилостивили тебя здесь ничем. Мало, знать, лице твоё, и руки твоя, и все члены твои, и суставы рук и ног твоих, мало слезами моими мы не умели угодное сотворить...»

«Не забудь мою любовь к тебе, а я уже только с печали дух во мне есть. Рада бы была я смерти, да негде её взять. Пожалуйте, помолитеся, чтобы Бог мой век утратил. Ей! Рада тому!»

«Свет мой, батюшка мой, душа моя, радость моя! Знать уж злопроклятый час приходит, что мне с тобою расставаться! Лучше бы мне душа моя с телом рассталась! Ох, свет мой! Как мне на свете быть без тебя, как живой быть? Уже моё проклятое сердце да много послышало нечто тошно, давно мне всё плакало. Аж мне с тобою, знать, будет расставаться. Ей, ей, сокрушуся! И так, Бог весть, каков ты мне мил. Уж мне нет тебя милее, ей Богу! Ох, любезный друг мой! За что ты мне таков мил? Уже мне ни жизнь моя на свете! За что ты на меня, душа моя, был гневен? Что ты ко мне не писал? Носи, сердце моё, мой перстень, меня любя; а я такой же себе сделала; то-то у тебя я его брала.

Для чего, батька мой, не ходишь ко мне? Что тебе сделалось? Кто тебе на меня что намутил? Что ты не ходишь? Не дал мне на свою персону насмотреться! То ли твоя любовь ко мне? Что ты ко мне не ходишь? Уже, свет мой, не к кому тебе будет и придти, или тебе даром, друг мой, я. Знать, что тебе даром, а я же тебя до смерти не покину; никогда ты из разума не выдешь. Ты, мой друг, меня не забудешь ли, а я тебя ни на час не забуду. Как мне будет с тобою расстаться? Ох, коли ты едешь, коли меня, батюшка мой, ты покинешь! Ох, друг мой! Ох, свет мой, любонка моя! Пожалуй, сударь мой, изволь ты ко мне приехать завтра к обедне переговорить, кое какое дело нужное. Ох, свет мой! Любезный мой друг, лапушка моя; скажи, пожалуй, отпиши, не дай мне с

печали умереть... Послала к тебе галздук (галстук, т.е. шейный платок), носи, душа моя! Ничего ты моего не носишь, что тебе ни дам я. Знать, я тебе не мила! То-то ты моего не носишь. То ли твоя любовь ко мне? Ох, свет мой; ох, душа моя; ох, сердце моё надселося по тебе! Как мне будет твою любовь забыть, будет так, не знаю я; как жить мне, без тебя быть, душа моя! Ей, тошно, свет мой!»

«Послала я, Степашенька, два мыла, что был бы бел ты...»

«Ах, друг мой! Что ты меня покинул? За что ты на меня прогневался? Что чем я тебе досадила? Кто мя, бедную, обиде? Кто моё сокровище украде? Кто свет от очию моею отьиме? Кому ты меня покидаешь? Кому ты меня вручаешь? Как надо мною не умилился? Что, друг мой, назад не поворотишься? Кто меня, бедную, с тобою разлучил?.. Ох, свет мой, как мне быть без тебя? Как на свете жить? Как ты меня сокрушил!.. Ради Господа Бога, не покинь ты меня, сюды добивайся. Эй! Сокрушаюся по тебе!»

«Радость моя! Есть мне про сына отрада малая. Что ты меня покидаешь? Кому меня вручаешь? Ох, друг мой! Ох, свет мой! Чем я тебя прогневала, чем я тебе досадила? Ох, лучше бы умерла, лучше бы ты меня своими руками схоронил! Что я тебе злобствовала, как ты меня покинул? Ей, сокрушу сама себя. Не покинь же ты меня, ради Христа, ради Бога! Прости, прости, душа моя, прости, друг мой! Целую я тебя во все члены твои. Добейся, ты, сердце моё, опять сюды, не дай мне умереть... Пришли, сердце моё, Стешенька, друг мой, пришли мне свой камзол, кой ты любишь; для чего ты меня покинул? Пришли мне свой кусочек, закуся... Не забудь ты меня, не люби иную. Чем я тебя так прогневала, что меня оставил такую сирую, бедную, несчастную?»

Эти письма были приобщены к делу в качестве тяжкой улики против Евдокии и Глебова. Думается, не имеет ни малейшего смысла их комментировать, ибо они лучше кого бы то ни было — будь то средневековые судьи или современные учёные-историки, — говорят сами за себя устами и сердцем несчастной царицы-инокини.

...20 февраля в селе Преображенском, в застенке, была учинена очная ставка Глебову и Евдокии. Сохранились протоколы допросов и описание следственной «процедуры».

Глебова спрашивали: почему и с каким намерением Евдокия скинула монашеское платье? Видел ли письма к Евдокии от царевича Алексея и не передавал ли письма от сына к матери и от матери к сыну? Говорил ли о побеге царевича с Евдокией? А также спрашивали и о мелочах: через кого помогал Евдокии? Чем помогал? Зачем письма свои писал «азбукой цифирной» — то есть шифром.

И затем следует меланхолическое замечание:

«По сим допросным пунктам Степаном Глебовым 22 февраля розыскивано: дано ему 25 ударов (кнутом). С розыску ни в чём не винилося кроме блудного дела...» А от «блудного дела» при наличии писем и показаний десятков свидетелей, отпереться было невозможно.

Тогда приступили к ещё более жестокому розыску. Глебова раздели донага и поставили босыми ногами на острые, но не оструганные по бокам, деревянные шипы. Толстая доска с шипами была пододвинута к столбу, и Глебова, завернув руки за спину, приковали к нему. Глебов стоял на своём.

Тогда ему на плечи положили тяжёлое бревно и под его тяжестью шипы пронзили ступни Глебова насквозь. Глебов ни в чём, кроме блуда, не сознавался. Палачи стали бить его кнутом, обдирая до костей. Считалось, что после этого любой человек скажет всё, что от него ждут. Недаром у заплечных дел мастеров в ходу была поговорка, в верности которой они не сомневались: «Кнут не Бог, но правду сыщет». Кожа летела клочьями, кровь брызгала во все стороны, но Глебов стоял на своём.

Тогда к обнажившемуся, окровавленному телу стали подносить угли, а потом и раскалённые клещи.

Глебов, теряя сознание, сползал со столба, но вину оставлял за собой. Майора Преображенского полка, богатыря и великана Глебова пытали трое суток, лишь на некоторое время давая прийти в себя.

И всё это видела Евдокия.

В первый день допроса после трёхкратной пытки в протоколе против первого вопроса появилась запись: «Запирается».

И такая запись стоит против всех заданных Глебову вопросов. А было их шестнадцать. И каждый из этих вопросов касался участия Глебова, Евдокий и её родственников в заговоре, направленном против Петра и в пользу того, чтобы на престоле оказался царевич Алексей. Следователи во что бы то ни стало хотели представить Евдокию государственной преступницей, злоумышлявшей против государя и государства. Но Глебов отрицал всё и не дал палачам ни малейшей возможности обвинить Евдокию в чём-либо, кроме очевидного греха — блуд одеяния.

После трёхсуточного розыска Глебова отнесли в подвал и положили на шипы, которыми был усеян пол и стены камеры. А потом снова повели на правеж, но так ничего и не добились.

И тогда в дело вмешались врачи. Они вступились за Глебова, предупреждая, что он почти при смерти и может скончаться в течение ближайших суток, так и не дотянув до казни.

Вняв их предупреждению, 14 марта Глебову был вынесен приговор, в котором не говорилось, как он будет казнён, но указывалось: «Учинить жестокую смертную казнь».

О казни Глебова и его сообщников — Досифея, Фёдора Пустынника и других, знавших о его любовной связи с Евдокией, сохранилось свидетельство австрийского посланника Плейера императору Карлу VI.

Плейер писал, что Глебова привезли на Красную площадь в три часа дня 15 марта. Стоял тридцатиградусный мороз и, чтобы наблюдать длительную и мучительную казнь до конца, Пётр приехал в тёплой карете и остановился напротив места казни. Рядом стояла телега, на которой сидела Евдокия, а возле неё находились два солдата. Солдаты должны были держать её за голову и не давать ей закрывать глаза.

Глебова раздели донага и посадили на кол.

Здесь автор приносит извинения за то, что должен будет пояснять вещи, относящиеся к инфернальной, то есть адской, сфере.

Кол мог быть любых размеров. Мог быть гладко обструганным, а мог быть и шершавым, с занозами, мог иметь очень острый и не очень острый конец. Мог быть смазанным жиром и, наконец, мог быть либо достаточно тонким или же толстым.

И если кол был острым, гладким и тонким, да к тому же смазанным жиром, то палач, должным образом повернув жертву, мог сделать так, что кол за несколько мгновений пронзал казнимого и входил ему в сердце. А могло быть и всё наоборот — казнь могла затянуться на продолжительное время. И всё же то, что здесь было сказано, относилось к колу «турецкому». А был ещё и кол «персидский». Последний отличался тем, что рядом с колом с двух сторон аккуратными столбиками были сложены тонкие дощечки, достигавшие почти до конца кола.

Приговорённого сначала подводили к столбу, заводили руки назад и сковывали их наручниками. Потом приподнимали и сажали на кол, но кол входил неглубоко, и тогда через несколько минут палачи убирали две верхних дощечки, после чего кол входил глубже. Так, убирая дощечки одну за другой, палачи опускали жертву всё ниже и ниже. Опытные искусники-виртуозы следили при этом, чтобы остриё проходило в теле, минуя жизненно важные центры, и не давали казнимому умереть как можно дольше.

По отношению к Глебову Преображенские каты сделали всё, что только было можно. Его посадили на нестроганный персидский кол, а чтобы он не замёрз, надели на него шубу,

шапку и сапоги. Причём одежду дал им Пётр, наблюдавший за казнью Глебова до самого конца. А умер Глебов в шестом часу утра 16 марта, оставаясь живым пятнадцать часов.

Но и после смерти Глебова Пётр не уехал. Он велел колесовать и четвертовать и всех сообщников его и Евдокии, после чего их ещё трепещущие тела подняли на специально сооружённый перед тем помост вышиной в три метра и посадили в кружок, поместив в середине скрюченный чёрный труп Глебова.

Плейер писал, что эта жуткая картина напоминала собеседников, сосредоточенно внимавших сидящему в центре Глебову.

Однако и этого Петру оказалось мало. После смерти Глебова он велел предать своего несчастного соперника анафеме и поминать его рядом с расколоучителями, еретиками и бунтовщиками наивысшей пробы — протопопом Аввакумом, Тимошкой Анкудиновым и Стенькой Разиным.

А Евдокию Фёдоровну собор священнослужителей приговорил к наказанию кнутом. Её били, обнажив догола, публично, в присутствии всех участников собора и затем отослали в северный Успенский монастырь на Ладоге, а потом в Шлиссельбургскую тюрьму. И всё же, пережив и Глебова и Петра, и смертельно ненавидевших её Екатерину и Меншикова, которых многие считали главными виновниками её несчастья, опальная царица умерла на воле, в почёте и достатке шестидесяти двух лет от роду.

Ограничимся пока сказанным, так как впереди нас ещё ждут встречи с нею.

А теперь снова вернёмся к Алексею с тем, чтобы и проститься с ним.

14 июня царевича привезли из Москвы в Петропавловскую крепость и посадили в Трубецкой бастион. 19 июня его начали пытать и за неделю пытали пять раз, а потом убили. Больной, слабый духом и смертельно напуганный Алексей признавался и в том, чего не было, стараясь, чтобы пытки прекратились как можно скорее. Он даже сознался, что хотел добыть престол вооружённым путём, используя и армию императора.

24 июня Верховный суд, состоявший из ста двадцати семи человек, единогласно постановил предать царевича смерти. А то, каким образом следует его умертвить, суд отдал на усмотрение отца.

Уже после вынесения смертного приговора Пётр приехал в Трубецкой бастион, чтобы ещё раз пытать сына. По одним данным, при последней пытке были Пётр, Меншиков и другие

сановники. По другим — только Пётр и его особо доверенный человек, генерал-аншеф Адам Адамович Вейде.

Немец Вейде начал карьеру в России в первом потешном полку — Преображенском. Он сразу же был замечен Петром и вошёл к царю в такое доверие, какое не заслужил почти никто другой. Вейде сопровождал Петра почти во всех походах и путешествиях. Он был и в обоих походах под Азов, и под Нарвой, где попал в плен к шведам.

В 1710 году его обменяли на шведского генерала Штремберга, а в 1711 году Вейде уже участвовал в Прутском походе во главе дивизии. В 1714 году Вейде командовал галерой в сражении при Гангуте. На этой галере был и сам Пётр, наградивший Адама Адамовича орденом Андрея Первозванного.

В 1718 году Вейде стал Президентом Военной коллегии и принял деятельное участие в процессе царевича Алексея, присутствуя при всех его допросах и пытках. Иной раз Вейде был единственным кроме палачей, кто находился в застенке во время пытки.

Существовала версия, что Вейде присоветовал Петру отравить царевича. Пётр согласился, и Вейде заказал аптекарю очень сильный яд. Но тот отказался вручать отраву генералу, а согласился передать её только самому царю. Вейде привёл аптекаря к Петру, и они вместе отнесли яд Алексею, но царевич наотрез отказался принимать снадобье. Тогда они повалили Алексея на пол, оторвали половицу, чтобы кровь могла стекать под пол, и топором обезглавили упавшего в обморок, истощённого мучениями и страхом царевича.

И всё же трагедия на этом не окончилась: на авансцене истории появился ещё один персонаж — Анна Ивановна Крамер, которая была облечена Петром не меньшим доверием, чем генерал Вейде.

Анна Ивановна Крамер, дочь купца, члена Нарвского магистрата, в 1704 году была увезена в Казань, где стала любовницей местного воеводы. Затем воевода перевёз её в Петербург и там ввёл её в дом генерала Балка — мужа Матрёны Ивановны Моне, сестры Анны Моне. Однако и здесь Анна Крамер задержалась ненадолго, перейдя в дом фрейлины Гамильтон. Тут-то и увидел её Пётр, очаровался ею и, чтобы видеть Анну и беседовать с нею, определил её камер-юнгферой Екатерины.

Анна была в особом кредите у Петра. Он доверял ей то, чего не мог доверить никому другому. Именно Анна Крамер приехала вместе с Петром и Вейде в Петропавловскую крепость, где облачила тело царевича в приличествующий случаю камзол, штаны и башмаки и затем ловко пришила к туловищу его

отрубленную голову, искусно замаскировав страшную линию большим галстуком. Но это — лишь одна из версий.

Есть и такая версия: 26 июня на последнюю трёхчасовую пытку приехали Пётр, Меншиков и другие сановники, а через семь часов после этого, и именно от пытки, Алексей умер. Есть свидетельства, что по приказу Петра Алексея удушили подушками четверо офицеров, а руководил всем этим уже известный нам Александр Иванович Румянцев.

Один из самых серьёзных исследователей дела Алексея Петровича, академик Устрялов, посвятивший изучению жизни царевича четырнадцать лет непрерывного труда, приводит десять версий его смерти. Наиболее достоверной ему представляется смерть от пыток.

Но нельзя полностью игнорировать и другие объяснения произошедшего.

Во всяком случае, 13 декабря 1718 года Румянцев был пожалован сразу двумя чинами — майора гвардии и генерал-адъютанта, а кроме того, были ему даны две деревни, ранее принадлежавшие сторонникам убитого царевича.

Царского благоволения за особые заслуги была удостоена и Анна Крамер. Она стала фрейлиной Екатерины, а затем и первой дамой при принцессе Наталье Петровне — самой младшей дочери Петра и Екатерины, скончавшейся, впрочем, сразу же после смерти своего отца. Забегая чуть вперёд, скажем, что, как только Петра похоронили, Анна Крамер уехала в свою родную Нарву, где и прожила до 1770 года, умерев на семьдесят шестом году.

История с Евдокией Фёдоровной и Глебовым, эпопея с поимкой и казнью Алексея долгое время были не просто предметами любопытства и активного соучастия Екатерины. Они стали для неё и убедительными иллюстрациями того, как её муж может поступить и с собственной женой, хотя и бывшей, но всё же матерью его детей, с собственным своим сыном и, наконец, с любовником этой несчастной бывшей жены, которая и при супружеской жизни опостылела Петру до последней степени, а тем более стала совершенно чужой после того, как его же стараниями была пожизненно заточена в монастырь.

Екатерина не могла не задуматься над страшной участью майора Глебова — храброго офицера, побывавшего и в огне Полтавы, и во многих других баталиях Северной войны, верная служба которого всё же ничуть не тронула каменное сердце её мужа.

А как женщина, она не могла не переживать, узнавая о

десятках метресишек своего августейшего супруга, о безобразной сцене в Мекленбурге, когда предметом скотской похоти Петра стала его собственная племянница, затащенная им в спальню без малейшего зазрения совести на глазах у десятков придворных и самого её мужа — растоптанного и облитого презрением Петра, дотоле представавшего перед своими подданными монархом и сюзереном в герцогской короне.

Екатерина конечно же знала о бесчисленных амурных победах супруга над трактирщицами и княжнами, маркитантками и купеческими дочками, служанками и попадьями. Помнила она и о собственном своём приключении с ним, когда была для Петра солдатской портомоей и прислугой в доме Меншикова.

И потому следующая история, произошедшая с одной из её фрейлин и государем Петром Алексеевичем, высветившая перед нею ещё раз все его дурные качества — мстительность, болезненную жестокость, способность играть с человеком, попавшим к нему в руки, как кошка с мышкой, обнадёживать свою жертву, и всё же в конце концов убить её, — эта истории в жизни её заняла особое место, потому что многие перипетии её очень близко коснулись самой Екатерины через несколько лет.

Однако возвратимся ко дням смерти и погребения Алексея Петровича.

Желая показать, что смерть Алексея для него ровно ничего не значит, Пётр на следующий же день после казни сына пышно отпраздновал девятую годовщину победы под Полтавой. В официальных бумагах всё чаще стало появляться имя единственного сына Екатерины трёхлетнего великого князя Петра Петровича. Родители видели в нём законного наследника престола и радовались тому, что мальчик растёт крепким, весёлым и разумным. Но судьба решила иначе: после недолгой болезни 25 апреля 1719 года мальчик умер. А на следующий день, на траурной службе по умершему, неосторожно рассмеялся родственник Евдокии Лопухиной Степан Лопухин. Причину произошедшего объясняли тем, что не угасла ещё свеча Лопухиных, ибо оставался жив и здоров сын казнённого Алексея, член их семьи — царевич Пётр Алексеевич, бывший всего на полмесяца старше своего умершего дяди Петра Петровича, который теперь в глазах очень многих получал все права и основания на наследование российского престола.

Разумеется, был розыск, и были пытки, но были и выводы — царь Пётр решил сделать всё, чтобы трон не достался ни Лопухиным, ни их родственникам, ни их сторонникам и единомышленникам.

Однако прошло почти три года, пока царь сумел воплотить

задуманное в официальный документ — «Устав о наследии престола», в котором право на трон переходило к любому угодному Петру человеку.

Но прежде чем этот «Устав» появился, произошло несколько событий, важнейшими из которых было победоносное окончание войны со Швецией, принятие Петром титула Российского императора, ещё одна война — с Персией и, наконец, коронация Екатерины.

И всё же среди всего случившегося в государстве очень сильное впечатление не только на современников, но и на многие поколения потомков, произвело ещё одно дело — судебный процесс над фрейлиной Екатерины, девицей Марией Гамильтон, та самая история, которую автор и обещал рассказать, когда речь зашла о дурных качествах царя Петра.

Среди «весёлых девиц и дам», участниц «всешутейших и всепьянейших соборов», после 1715 года одной из первых оказалась молодая незамужняя красавица Мария Даниловна Гамильтон. Она происходила из знатного и древнего шотландского рода, приехавшего служить России ещё при Иване Грозном. Мы уже встречались с этой фамилией, когда речь шла о царе Алексее Михайловиче и его друге Артамоне Сергеевиче Матвееве, чьей женой была Евдокия Петровна Гамильтон, дальняя родственница Натальи Кирилловны Нарышкиной — будущей матери Петра I. Таким образом, Мария Даниловна Гамильтон доводилась Петру хотя и очень далёкой, но всё же родственницей, что, разумеется, не могло её избавить от вожделения. Какие могли быть преграды, если родственница, хотя бы и близкая, нравилась ему? А здесь речь шла о какой-то седьмой воде на киселе.

Мария Даниловна Гамильтон, будучи фрейлиной Екатерины, имела среди своих служанок и Анну Крамер, с которой мы тоже недавно познакомились и которая тоже в своё время была осчастливлена Петром ласками и любовной близостью.

Пётр не обошёл своим вниманием и Марию Даниловну наряду с другими фрейлинами Екатерины. Как сообщает прекрасный знаток быта и нравов петровской эпохи видный историк Михаил Иванович Семевский, в это время любовницами Петра были кроме Гамильтон Анна Крамер, Матрёна Бал к — сестра Анны Моне и жена генерала Балк, Авдотья Чернышева, графиня Мария Матвеева и княжна Мария Кантемир.

Две последние дамы, носившие к тому же аристократические титулы, отличались хорошим образованием, европейскими манерами и великосветским воспитанием. Чуть позже вы узнаете

и о них, а теперь — о Марии Даниловне Гамильтон.

Любовницей Петра была она скорее по принуждению, а истинно любила одного из денщиков Петра — Ивана Михайловича Орлова, который вместе с Гамильтон сопровождал Екатерину в большом путешествии за границу в 1716-м и 1717 годах. Иван Орлов часто бывал пьян, ещё чаще ругал Марию Даниловну нечистыми словами, а иногда и бивал, но камер-фрейлина продолжала его беззаветно любить. Во время этого более чем полуторагодового путешествия Гамильтон забеременела и 15 ноября 1717 года, уже после возвращения в Петербург, родила мальчика. Из-за того что она не была замужем, Мария Даниловна решила избавиться от новорождённого и сразу же удушила ребёнка.

1718 год начался розыском по делу царевича Алексея, и другие уголовные дела отошли на второй план. Между тем в Летнем саду, возле фонтана нашли мёртвого младенца и начатое расследование привело к Орлову и Гамильтон. Процесс по делу «девки Гамонтовой» стал проходить параллельно с процессом Алексея Петровича и его сообщников. А вина Гамильтон была усугублена тем, что при обыске кроме окровавленного белья нашли несколько алмазных вещей, принадлежавших царице Екатерине, и Мария Даниловна, не запираясь, призналась в их краже.

В те самые дни, когда начали пытать царевича Алексея, применили дыбу и кнут и к Марии Даниловне.

5 августа 1718 года Гамильтон пытана была вторично и снова расспрошена о том, знал ли Иван Орлов о её беременности и убийстве ребёнка. И снова она категорически отрицала хотя бы малейшую осведомлённость своего любовника, беря всю вину на себя.

А Орлов, больше всего боясь мучений в застенке, без пытки, без строгого розыска во всём винил Марию Даниловну, оговаривал и её, и других, и даже врал.

Наконец, 27 ноября 1718 года состоялся суд, и детоубийца была приговорена к смерти, но приговор долго не приводили в исполнение.

И Екатерина, и некоторые видные придворные много раз просили Петра помиловать осуждённую, но царь оставался неумолим.

Тогда за дело взялась царица Прасковья Фёдоровна — вдова брата Петра — Ивана. Пётр очень уважал свою невестку, и все надеялись, что заступничеством Прасковьи смертница будет спасена. Однако и ей он отказал. Участь Гамильтон была решена. Ей надлежало умереть. Близкие к царской семье придворные

шушукались, что неумолимость царя к девице Гамильтон объясняется тем, что отцом убитого ею ребёнка является он сам — Пётр Алексеевич.

14 марта 1719 года Мария Даниловна взошла на эшафот. Пётр приехал на место казни, и Гамильтон до последнего момента надеялась на помилование. Она шла к месту казни одетая в нарядное белое шёлковое платье, украшенное чёрными лентами. Один из секретарей прочитал приговор: Гамильтон казнить смертью, а её соучастницу, не донёсшую на убийцу, бить кнутом и потом на десять лет сослать на прядильный двор, в работу.

Мария Даниловна упала перед Петром на колени, умоляя простить её. Пётр подошёл к ней, обнял, поцеловал и велел положить голову на плаху, что-то шепнув ей. Гамильтон покорилась, улыбаясь, ибо верила в помилование и, не закрывая глаз, следила за Петром. А Пётр подошёл к палачу и тоже что-то шепнул ему на ухо. Все решили, и Гамильтон вместе со всеми, что теперь палач занесёт топор и ударит по плахе. Топор сверкнул, и голова девицы Гамильтон скатилась на помост.

Пётр поднял отрубленную голову и поцеловал Марию Даниловну в губы. Затем он прочитал присутствующим краткую лекцию по анатомии человеческой головы, показывая на аорты и артерии перерубленной шеи, поцеловал её ещё раз, а потом бросил голову на землю, перекрестился и уехал с места казни.

А голову казнённой — необычайно красивую голову — Пётр приказал положить в банку со спиртом и хранить в кунсткамере. Через пять лет там же появилась ещё одна голова — на сей раз мужская, и тоже необыкновенно красивая. Но об этом будет рассказано позже, когда придёт время.

За день перед тем как Гамильтон была приговорена к смерти, Пётр написал указ «О порядке собраний в частных домах, и о лицах, которые в оных участвовать могут», учреждая знаменитые Ассамблеи по примеру таковых же собраний, полюбившихся царю в Париже.

На одной из первых Ассамблей Пётр увидел молодую красивую девушку Марию Андреевну Матвееву — дочь русского резидента в Вене и Гааге Андрея Артамоновича Матвеева, одного из графов, получивших титул из рук австрийского императора и одного из самых просвещённых русских людей, давшего хорошее образование и своей дочери.

И здесь автор должен напомнить, что только что рядом с именем Гамильтон промелькнуло имя графини Матвеевой в связи с родством Артамона Сергеевича Матвеева с Евдокией Гамильтон.

А Андрей Артамонович был сыном Артамона Сергеевича Матвеева и прославился удачной дипломатической деятельностью. С 1699 до 1712 года был он русским послом в Голландии, одновременно ведя переговоры с Францией и выполняя функции посла в Лондоне.

В 1712-1715 годах был Матвеев послом в Вене, а возвратившись в Петербург, занял пост президента Морской академии и Навигацкой школы. Его дочь — Мария Матвеева, внучка Артамона Сергеевича, родилась в 1698 году и до 1715 года безвыездно жила за границей. Она научилась французскому, немецкому и голландскому языкам, и когда появилась на первой Ассамблее, то не менее чем красотой пленила Петра тем, что бойко говорила на его любимых языках — голландском и немецком. Двадцатилетняя прелестница сразу же вскружила голову сорокашестилетнему царю, однако ж, испорченная вольными европейскими нравами, вовсе не считала обязательным для себя соблюдение верности своему августейшему покровителю.

Мария Андреевна была первой танцовщицей, интересной собеседницей, любительницей игры в карты и мастерицей флирта и обольщения. Пётр не был её единственным любовником, как и она, конечно же, не была у него предметом исключительной привязанности.

Однажды царь застал Марию Андреевну прямо на месте преступления — во дворце, в одной из комнат, расположенных на втором этаже. Любовник Матвеевой — молодой дворцовый лакей, один из тех, о которых говорили: «Молодец, хоть во дворец», при внезапном появлении царя выскочил в окно. Пётр подбежал к окну и увидел, что его счастливый соперник не столь уж счастлив — молодец лежал на земле со сломанной ногой. Пробормотав: «Он сам себя наказал», — Пётр повернулся к оторопевшей Матвеевой и, схватив её за волосы, стал бить по лицу.

— Я накажу тебя так, что ты больше никогда не захочешь блудить, — пообещал он Матвеевой и, схватив её за руку, потащил к двери. Выйдя из дворца, Пётр сел вместе с нею в карету, поехал к новоиспечённому генерал-адъютанту Александру Ивановичу Румянцеву и тотчас же сосватал Матвееву за него. Румянцев был скор на расправу, крут характером, и Пётр мог надеяться, что у такого строгого и свирепого мужа молодая жена не загуляет.

10 июля 1720 года сыграли свадьбу. Царь наградил молодых богатыми подарками и немалыми деньгами. Мария Андреевна впоследствии родила трёх дочерей и одного сына, названного Петром. Мальчик родился 4 января 1725 года, за четыре недели

до смерти Петра I. Это был будущий фельдмаршал Румянцев-Задунайский, учитель Суворова и Кутузова, первый из «стаи славной Екатерининских орлов».

Говорили, что Пётр Румянцев на самом деле — сын царя Петра, что находило косвенное подтверждение в особо благожелательном отношении к нему многочисленных членов дома Романовых на протяжении всей его жизни.

Мария Андреевна дожила до 1786 года, став статс-дамой и получив европейскую известность тем, что танцевала на балах с пятью российскими императорами — от Петра I и до его правнука Павла.

Знакомство Петра с Матвеевой на Ассамблее и последующая любовная связь с нею была и для царя, и для его приближённых далеко не единственной, ибо Ассамблеи, более респектабельные и облагороженные, всё равно сохраняли на себе печать продолжавших существовать параллельно с ними «всешутейших и всепьянейших соборов».

Баронесса Шефирова рассказывала своей дочери, в замужестве княгине Анне Алексеевне Гагариной, что, когда она была совсем молоденькой девочкой, Пётр I приказал ей выпить смесь вина с возбуждающим ликёром. Девочка отказалась и получила от Петра «очень горький укор».

Сохранились свидетельства и о других любовных историях, случавшихся с Петром на Ассамблеях, но их так много и все они столь однообразны, что ничего качественно нового читателю не дадут. И всё же ещё одна из них несомненно должна быть упомянута, ибо она выходила из ряда ординарных интрижек и сиюминутных адюльтеров.

Накануне Прутского похода, о чём уже упоминалось в этой книге, Пётр познакомился с молдавским господарем, князем Дмитрием Константиновичем Кантемиром, союзником русских в борьбе против османов. После неудачи на Пруте православный господарь лишился своих владений в Молдавии и переехал со всей семьёй в Петербург. Женой Дмитрия Кантемира была прекрасно образованная красавица по имени Кассандра, урождённая княжна Кантакузин, дальняя родственница византийских императоров. В пору знакомства с Петром у неё было четыре сына (самый младший из них, Антиох Кантемир, стал впоследствии одним из выдающихся поэтов-сатириков и крупным российским дипломатом) и две дочери — Смарагда и Мария.

Говорили, что после того как Кантемиры переехали в Петербург, царь удостоил своей близостью красавицу княгиню. Однако связь их вскоре прервалась — в 1713 году Кассандра

умерла.

Пётр не оставил без внимания осиротевшую семью и стал любовником одной из дочерей Кассандры — Марии. Сначала новую связь никто из знавших о ней не принимал всерьёз, считая, что это не более чем новое мимолётное увлечение. Однако, чем дальше, тем больше это «мимолётное увлечение» становилось серьёзнее и крепче, перерастая в сильное и глубокое чувство, достигнув апогея к концу жизни Петра. Но об этом — позже.

Финал семейной жизни

Ныне же, распрощавшись с Ассамблеями и романами, перейдём к делам государственным. Подобно тому, как 1709-й и 1710 годы ознаменовались решительными победами русских войск на суше — при Лесной, Полтаве и в Прибалтике, 1719-й и 1720-й вошли в историю морскими викториями Петра в Эзельском и Гренгамском сражениях. Развивая этот успех, генералы Петра летом 1721 года провели серию карательных операций на шведской территории, высаживая десанты, которые доходили до окрестностей Стокгольма, уничтожив на своём пути 4 города, 509 деревень, множество помещичьих фольварков и 12 заводов, грабя и вывозя в Россию тысячи пудов хлеба, меди, железа.

Тысячи беженцев появились на улицах Стокгольма, самим фактом своего пребывания склоняя шведских министров к поиску мира.

Шведские дипломаты, то начинавшие, то прерывавшие мирные переговоры с весны 1721 года, наконец 30 августа подписали мирный договор. По имени финского городка, где всё это произошло, договор назвали Ништадтским. По Ништадтскому миру Россия получила Эстляндию с Ревелем (Таллин) и Нарвой, Лифляндию с Ригой, Ингерманландию с Петербургом и Кронштадтом, часть Карелии с Выборгом и Кексгольмом и острова Зэхель и Даго.

Заключение мира со Швецией было подлинным триумфом Петра и отмечалось в Москве и Петербурге с необычайной торжественностью и пышностью.

22 октября 1721 года Сенат поднёс Петру титул «Императора Всероссийского» и «отца Отечества».

Однако мир, пришедший на русскую землю, оказался очень недолгим. Уже на следующее лето Пётр начал войну с Ираном, отправив по Волге в Астрахань и через Каспий к Тереку 274 корабля с двадцатью двумя тысячами солдат и шестью тысячами матросов.

Кроме того, сушей двинулись к Тереку и Дербенту, а затем и к Баку сорок девять тысяч регулярной конницы казаков и калмыков. После взятия Дербента 23 августа 1722 года в Петербурге был подписан мирный договор с Персией, по которому России отходили южное и западное побережье Каспия с городами Дербент и Баку и с провинциями Астрабад, Гилян и Мазендаран.

В тот год, когда Пётр отправился в Персидский поход, ему исполнилось пятьдесят лет. Казалось бы, страсти могли уж если не совсем оставить его, то изрядно поостыть, но не тут-то было. Именно в это время достиг своего апогея многолетний роман императора со всё ещё незамужней и всё ещё молодой Марией Кантемир. Летом 1722 года она была беременна, и срок беременности перешёл за половину. Отцом будущего ребёнка был Пётр. В это время он настолько привязался к Марии, что не захотел оставлять её в Петербурге даже на время похода и потому велел княгине отправляться на войну вместе с ним. Екатерина, как и всегда, тоже отправилась в поход вместе с мужем и новой соперницей. Что пережила и перечувствовала при этом Екатерина Алексеевна, о том рассказывать нет нужды, — каждый хорошо поймёт это.

Однако из-за своего состояния Мария, ожидая родов, осталась в Астрахани, а Пётр и Екатерина отправились дальше.

Следует иметь в виду, что последний сын Петра — Пётр Петрович, о котором здесь уже рассказывалось, внезапно умер на четвёртом году жизни 25 апреля 1719 года, а после него царица родила и последнюю дочь — Наталью, ни с какой точки зрения не подходившую на роль кронпринцессы.

Император же страстно хотел иметь мальчика и потому с беременностью Марии Кантемир связывал свою последнюю надежду на сына. Говорили, что если Мария родит Петру сына, то он так же решительно избавится от Екатерины, как за двадцать лет перед тем избавился от Евдокии.

Однако у Марии произошёл выкидыш — уверяли, что это было подстроено придворными врачами — друзьями Екатерины, но доказательств не было, и надеждам Петра не суждено было сбыться. Пётр по-прежнему любил молдавскую княжну, но о женитьбе на ней уже не могло быть и речи.

А теперь необходимо вспомнить, что между завершением войны со Швецией и началом войны с Персией Пётр — 5 февраля 1722 года — обнародовал «Устав о наследии престола», по которому наследником мог быть объявши любой человек, пригодный, по мысли Петра, к исполнению этой должности. Однако время шло, а кандидата на трон император не называл. И только через двадцать месяцев, 15 ноября 1723 года, появился Манифест, в котором сообщалось с предстоящей коронации императорской короной Екатерины. И хотя в Манифесте не говорилось, что именно Екатерина становится наследницей престола, всё же без этого было ясно, что Пётр тем самым делает важный шаг на пути к реализации «Устава о наследии престола» в пользу своей жены.

И когда в мае 1724 года в главном храме России, Успенском соборе Московского Кремля состоялась коронация Екатерины, то французский посол Кампредон особо отметил следующее: «Над царицей совершён был, против обыкновения, обряд помазания так, что этим она признана правительницей и государыней после смерти императора, своего супруга». Особо отмечалось также и то, что императорскую корону на голову Екатерины возложил сам Пётр.

Казалось, что в семье Петра царствуют покой и стабильность и ничто не предвещает никаких неожиданностей, как вдруг вечером 8 ноября совершенно внезапно был арестован камергер двора императрицы Виллим Иванович Моне...

А теперь нам предстоит познакомиться с одним из трёх братьев давно уже скончавшейся Анны Моне, Виллимом Ивановичем, — новым героем нашего повествования. Следует сразу же заметить, что опала старшей сестры никак не отразилась на его собственной карьере. Пётр с самого начала полюбил Виллима и сильно доверял ему.

Моне вступил в военную службу волонтёром двадцати лет, в 1708 году. Затем его зачислили в Преображенский полк, откуда забрал его к себе адъютантом генерал Родион Христианович Боур, поступивший на службу к Петру ещё до начала Северной войны.

А через три года Боур свёл Монса с Петром, адъютантом которого он и стал в 1711 году. С этих пор Виллим Моне — неутомимый в делах красавец и весельчак, чем-то напоминавший царю покойного Франца Лефорта, всё время находился при Петре, выполняя самые разные его поручения. Виллим проявил себя храбрым и расторопным офицером и в сражении при Лесной, которую Пётр называл «матерью полтавской победы», и под Полтавой, и под Фридрихштадтом. Монсу давались и дипломатические поручения в Польше и Дании, и вообще, при малейшей надобности он всегда оказывался под рукой у государя.

Благодаря тому что Пётр хорошо знал семейство Монсов, а придворные тем более хорошо понимали, что всё это значит и для царя и для его «генеральс-адъютанта», как стали вскоре именовать Виллима Ивановича, карьера Монса круто пошла вверх.

Разумеется, он с самого начала хорошо знал и государыню-царицу Екатерину Алексеевну. Виллим и Екатерина сразу же понравились друг другу, и через пять лет после начала службы у Петра, в 1716 году, Моне стал камер-юнкером при дворе Екатерины. В то время ему было 28 лет, Екатерине — 30, а её

августейшему супругу — 44 года.

Став камер-юнкером, Моне начал играть при дворе царицы первую роль. Он ведал финансами и вообще всем дворцовым хозяйством, закупал всё, что было необходимо, держал в руках десятки управляющих, экономов, служителей, следил за жизнью монастырей, которым Екатерина покровительствовала, и, наконец, организовывал и обеспечивал частые и дорогостоящие праздники и гуляния, до которых царица всегда была весьма и весьма охоча.

Он сопровождал Екатерину в поездках по России и за границей, руководя и конюхами, и гайдуками, и поварами, хлопоча об удобствах в пути и о размещении в гостиницах; допуская к царице челобитчиков и извлекая немалый профит из своего посредничества.

Нетрудно понять, какие возможности представлялись молодому красавцу, к тому же имевшему успех у множества женщин, что засвидетельствовано документально, у Екатерины Алексеевны, прошедшей хорошую школу распутства и любившей более всего неуёмные плотские утехи, истовой поклонницы Венус и Бахуса, умевшей к тому же держать язык за зубами, тем более что провал конспирации в таком деле мог означать и для неё и для Монса только одно — смерть.

Оставаясь при ней в гостиницах, участвуя в празднествах, организовывая пиры, путешествия и ночлеги, мог ли Виллим Иванович вести себя как евнух? Можно даже поставить вопрос по-иному: позволила бы ему тридцатилетняя, часто одинокая, но склонная к разврату и пьянству Екатерина вести себя по-монашески?

К тому же Екатерине нельзя было отказать в смелости и авантюризме, а её неистовая страсть к плотским утехам просто брызгала из глаз.

Прибавим к этому и то, что Петра часто не бывало с Екатериной, а она хорошо знала, чем занимается её муж, когда её нет рядом с ним. Всё это играло не последнюю роль во взаимных отношениях треугольника — Пётр, Моне, Екатерина. Наконец, между ними всегда незримо стояла и Анна Моне, о которой каждый мог думать одно и то же: если царю Петру и Анне Моне можно было любить друг друга или, по крайней мере, не скрывая ни от кого, делить ложе, то почему то же самое, к тому же тайно, нельзя делать царице Екатерине и Виллиму Монсу?

Как бы то ни было, но и Моне, и особенно Екатерина были настолько изощрённы в сохранении тайны, настолько осторожны и опасливы, что их отношения очень долгое время оставались строго секретными. Сколь это ни банально звучит, но обманутый

супруг узнал обо всём последним.

...Звезда Виллима Монса взошла в зенит после того, как император Пётр Великий решил короновать императорской короной и свою жену Екатерину. 27 февраля 1724 года первые персоны государства прибыли из Санкт-Петербурга в Москву и стали готовиться к участию в коронации, которая подготавливалась тщательно и серьёзно, с немалыми затратами и совершена была более чем через два месяца — 7 мая.

Задолго до этого для Екатерины были заказаны в разных европейских столицах необычайно пышное, с превеликим множеством драгоценных камней коронационное платье, императорская корона и парадная золочёная карета, украшенная символами верховной власти.

Весь двор, весь генералитет, военный и статский, все иностранные резиденты, Правительствующий Сенат и Святейший Синод, бургомистры многих городов европейской части России, богатейшие заводчики и купцы, учёные и художники, которые через полгода после этого вошли в первый состав Петербургской Академии наук и художеств, ханы кочевых и оседлых инородческих орд, бароны Прибалтики и князья Кавказа и Закавказья — словом, вся правящая Россия, которую Пётр называл не страной, а частью света, в которой как в котле перекипели более ста народов и государств, прибыла в Москву, чтобы ощутить себя единой великой империей — мостом между Европой и Азией.

И в этом сонме верноподданных, столь разительно отличавшихся от участников коронационных торжеств 1682 года, когда у тронов Петра и Ивана стояли одни лишь долгобородые бояре и архиереи, не было никого, кроме самого Петра, кто достоин был бы надеть на голову Екатерины императорскую корону.

Не было и патриарха, который ранее венчал царей, подобно тому как Папа короновал императоров Священной Римской империи.

... После того как Пётр надел на голову Екатерины корону, щедро стали раздаваться награды и милости — деньги, чины, титулы, поместья, ордена и новые повышения по службе. И одним из первых был отмечен верный Виллим Моне, ставший отныне камергером двора, что соответствовало по нововведённой петровской «Табели о рангах» званию генерал-аншефа по армии и действительного тайного советника по статской службе.

Казалось, звезда Виллима Монса так и будет стоять в зените, как вдруг, через полгода, 5 ноября, мелкому дворцовому лакею Ширяеву на Невском проспекте некий незнакомец вручил письмо

и сказал, что письмо это с почты и предназначается ему и хорошо, мол, что письмоноша так удачно встретился с ним. Когда же Ширяев распечатал конверт, оказалось, что внутри находится ещё одно письмо — на имя государя.

Ширяев, увидев послание, предназначенное царю, покрылся холодным потом, ибо всем дворцовым служителям под страхом батогов и изгнания со службы было наистрожайше запрещено принимать чьи-либо челобитные и письма на имя государя. Но здесь был другой случай: Ширяев, принимая пакет, не знал, что находится внутри него, и это его вполне оправдывало. У лакея хватило ума не распечатывать конверт, адресованный Петру, и он отнёс письмо к кабинет-секретарю императора Макарову и отдал его в собственные руки его превосходительства, объяснив, как письмо оказалось у него.

Как впоследствии выяснилось, Петра извещали, конечно анонимно, что Виллим Моне, Иван Иванович Суворов — брат Василия Ивановича Суворова и дядя будущего, тогда ещё не родившегося, великого полководца, а вместе с ними царский шут Балакирев и особо доверенный Виллима Монса стряпчий Егор Столетов якобы замыслили покушение на жизнь и здоровье императора. Полагали, что в письме шла речь и о любовной связи Виллима Монса с Екатериной Алексеевной. Такое предположение в ближайшем будущем убедительно подтвердилось всем ходом событий — вновь кровавых и грозных, как и в прошедшие не столь давно времена.

10 ноября в величайшей тайне Пётр сам отправился допрашивать Монса. Как только Пётр вошёл в комнату, где Виллим Иванович ждал допроса, и только взглянул на камергера, ещё не успев проронить ни звука, Моне упал в обморок и долго не приходил в чувство. Казнь Глебова и его сообщников была ещё свежа в памяти, и Моне понимал, что если Пётр так поступил с любовником своей бывшей, к тому же нелюбимой, жены, то что он мог сделать с безумцем, совратившим его любимую жену и мать его троих дочерей? Было видно, что Моне — не Глебов и запираться не будет, что он чистосердечно во всём признается и до пытки дело, возможно, и не дойдёт.

Писавший протокол барон Черкасов записывал далеко не все вопросы Петра и ответы Монса, а только те, что касались подарков и всяческих иных подношений, которые брал Виллим Иванович за представление в выгодном свете челобитных и прочих бумаг царю и царице и которые никак нельзя было расценить иначе, чем взятки.

На все вопросы Моне отвечал пространно, по возможности чистосердечно, всемерно стараясь, чтобы до пытки не дошло.

После того допросили и его сестру, Матрёну Ивановну, в замужестве генеральшу Бал к. И ей предъявили обвинения во взяточничестве, и она тоже во всём чистосердечно призналась.

Число взяткодателей оказалось столь велико и многообразно, что Пётр приказал отряду преображенцев пройти по улицам Петербурга с барабанами, а при них должны были идти и бирючи-глашатаи, которым надлежало призывать жителей столицы дать чистосердечные показания в том, давал ли кто из них взятки Виллиму Монсу или его сестре. За утайку и плутовство обещано было строгое наказание. Страх перед Петром был столь велик, что до самой смерти императора, случившейся через два месяца после этого, к Санкт-Петербургскому полицмейстеру де Виейре поступили десятки повинных от лиц всех состояний, преимущественно же от высшей знати — царевен Анны Ивановны и Прасковьи Ивановны, князей Репниных, Троекуровых, Вяземских и даже от самого светлейшего князя Александра Даниловича Меншикова.

Верховный суд, не разбирая всех материалов — да их тогда ещё и не было, — ограничился установлением трёх бесспорных фактов мздоимства. И так как по Указу от 25 октября 1723 года взяточничество на государственной службе каралось смертью и конфискацией имущества, Моне был приговорён к смертной казни.

Пётр приговор утвердил.

15 ноября Монса, Столетова, Балакирева и Матрёну Балк перевели в Петропавловскую крепость. Сообщников Монса приговорили к наказанию кнутом и ссылке. Ивану Суворову удалось оправдаться.

Оставшись один, Моне в ночь перед казнью написал по-немецки стихи, которые в подстрочном нерифмованном переводе звучат так:

«Итак, любовь — моя погибель, / В груди моей горел огонь страсти, / И он стал причиной моей смерти. / Моя гибель мне известна. / Я отважился полюбить ту, / Которую должен был лишь уважать, / И всё же я пылаю к ней страстью».

Если бы Моне не оставил этих стихов, у нас всё равно оказалось бы немало оснований считать дело Монса не простой акцией борьбы со взяточничеством, но прежде всего актом мести за измену императрицы с её слугой.

Уже известный нам Вильбуа записал со слов одной из фрейлин — девушки-француженки, прислуживавшей принцессам Анне и Елизавете и оказавшейся невольной свидетельницей

возвращения царя из Петропавловской крепости после допроса Монса: «Приступ гнева Петра против Екатерины был таков, что он едва не убил детей, которых имел от неё». Далее Вильбуа писал: «Он имел вид такой ужасный, такой угрожающий, такой вне себя, что все, увидев его, были охвачены страхом. Он был бледен как смерть. Блуждающие глаза его сверкали. Его лицо и всё тело, казалось, было в конвульсиях. Он несколько минут походил, не говоря никому ни слова, и, бросив страшный взгляд на своих дочерей, он раз двадцать вынул и спрятал свой охотничий нож, который носил обычно у пояса. Он ударил им несколько раз по стенам и по столу. Лицо его искривлялось страшными гримасами и судорогами. Эта немая сцена длилась около получаса, и всё это время он лишь тяжело дышал, стучал ногами и кулаками, бросал на пол свою шляпу и всё, что попадалось под руку. Наконец, уходя, он хлопнул дверью с такой силой, что разбил её».

Вильбуа утверждал, что Пётр хотел казнить и Екатерину, поступив с нею «так, как поступил Генрих VIII, английский король, с Анной Болейн» (Анна Болейн, обвинённая Генрихом VIII в неверности, была обезглавлена). Но среди придворных, узнавших об ужасном намерении императора, нашлись воистину храбрые люди. Петра отговорили барон Остерман и Толстой. Они сказали, что если Екатерина будет казнена за супружескую неверность, то встанет вопрос о том, кто подлинный отец её дочерей, и тогда ни один из европейских принцев не сможет жениться на русских великих княжнах.

А именно в эти дни шли переговоры о женитьбе Голштинского герцога Карла-Фридриха на одной из дочерей Петра и Екатерины — Анне или Елизавете. Этот резон Пётр посчитал для дела решающим и сумел смириться.

16 ноября 1724 года всех обвиняемых привели на Троицкую площадь к только что выстроенному эшафоту. Моне, одетый в нагольный тулуп, шёл твёрдым шагом и спокойно поднялся на эшафот.

Он отдал сопровождавшему его протестантскому пастору золотые часы с портретом Екатерины на крышке, сам разделся и лёг на плаху. После того как отрубленную голову красавца-камергера воткнули на заранее приготовленный высокий шест, под этот шест поставили сестру казнённого, Матрёну, и, обнажив ей спину, пять раз ударили кнутом, а кровь с головы казнённого брата стекала по шесту на её плечи.

После того пятнадцать ударов кнутом получил Егор Столетов, а в завершение экзекуции — шестьдесят ударов батогами — Балакирев. Однако Пётр не был бы собой, если бы сразу и решительно предал забвению всё. Голштинский посол в России,

граф Геннинг-Фредерик Бассевич, находившийся в то время в центре событий в связи со сватовством своего государя к дочерям Петра, в оставленных им «Записках» утверждал, что император всё же повёз Екатерину на место казни Монса и заставил смотреть на его отрубленную голову.

Через несколько дней Столетова и Балакирева отправили в крепость Рогервик (ныне — эстонский город Палдиски), а Матрёну Балк отвезли в Тобольск.

Однако на сём эта история не закончилась.

Пётр приказал отрубленную голову камергера положить в банку со спиртом и привезти к нему во дворец. А там он принёс свой трофей к Екатерине и поставил на столик в её спальне. Пётр всё ещё очень сильно гневался на Екатерину и перестал спать в одной постели с нею.

Так продолжалось несколько дней, пока Екатерина, заплакав, не упала перед мужем на колени, во всём винясь и прося прощения. Утверждают, что она простояла на коленях три часа и сумела вымолить у него отпущение грехов. И только после этого голова Монса была отправлена в Кунсткамеру, где оказалась рядом с головой Марии Даниловны Гамильтон.

Головы эти хранились в подвале, в большом сундуке, в особых банках, куда время от времени наливали новый спирт. В 1780 году, более чем через полвека после произошедшего, президент Академии наук, княгиня Екатерина Романовна Дашкова заинтересовалась, куда уходит так много спирта? И получила ответ, что спирт идёт на сохранение двух отрубленных голов — Гамильтон и Монса.

Дашкова рассказала об этом Екатерине Второй, и та велела принести и показать ей эти головы. Все, видевшие их, удивлялись и тому, что головы хорошо сохранились, но ещё более — их необыкновенной красоте.

После этого императрица приказала предать головы земле.

А уже через неделю сановный и родовитый Санкт-Петербург жил другой новостью — 22 ноября был подписан брачный контракт между Голштинским герцогом Карлом и великой княжной Анной Петровной, а ещё через несколько дней состоялось и их обручение.

Торжества сопровождались балами и фейерверками, зваными обедами в домах важнейших вельмож и в самом Зимнем дворце. Пётр и Екатерина, показываясь вместе, производили впечатление спокойных, весёлых и любящих друг друга супругов. Казалось, тучи развеялись и ничто не грозит более их союзу и семейному покою.

Однако судьбе было угодно решить иначе.

Во время коронационных торжеств Екатерины Пётр занедужил и болел с перерывами до глубокой осени. И всё же он вёл прежний образ жизни — много пил, ел всё, что ему хотелось, не очень-то регулярно принимал лекарства и совсем не слушал докторов.

А измена Екатерины и вовсе подорвала его здоровье. Казалось, что он сознательно ищет смерти. 21 ноября, на пятый день после казни Монса, Пётр первым в столице переехал по льду через Неву, вставшую лишь накануне. Эта его выходка показалась настолько опасной, что начальник береговой стражи Ганс Юрген хотел даже арестовать нарушителя, но император проскакал мимо Юргена на большой скорости и не обратил внимания на его угрозы.

20 декабря Пётр участвовал в грандиозной попойке, устроенной по случаю избрания нового «князь-папы Всепьянейшего собора», а январь 1725 года начал особенно бурно, отгуляв на свадьбе своего денщика Василия Поспелова и на двух Ассамблеях — у графа Толстого и вице-адмирала Корнелия Крюйса.

Особенно же больной император поразил всех, когда 6 января, в мороз, довольно легко одетый, прошёл во главе Преображенского полка маршем по берегу Невы, затем спустился на лёд и стоял в течение всей церковной службы, пока святили Иордань. Всё это привело к тому, что Пётр, сильно простудившись, слёг, и с 17 января стал испытывать страшные мучения.

О диагнозе смертельной болезни Петра существует несколько версий. Французский посол в России Кампредон сообщал в Париж: царь «призвал к себе одного итальянского доктора, приятеля моего (доктора Азарити), с которым пожелал посоветоваться наедине». Далее Кампредон писал, что, со слов Азарити, «задержание мочи является следствием застарелой венерической болезни, от которой в мочевом канале образовалось несколько небольших язв».

Лечившие Петра врачи-немцы отец и сын Блюментросты были против хирургического вмешательства, а когда хирург-англичанин Горн операцию всё же провёл, то было уже поздно, и у Петра вскоре начался антонов огонь. Последовали судороги, сменявшиеся бредом и глубокими обмороками. Последние десять суток если больной и приходил в сознание, то страшно кричал, ибо мучения его были ужасными. (Относительно диагноза последней болезни Петра мнения расходятся. Автор

фундаментального труда «История медицины в России» Вильгельм Рихтер считал, что Пётр умер из-за воспаления, вызванного задержанием мочи, не говоря о том, что было причиной воспаления. Другой видный историк медицины, доктор Куприянов, полагал, что смерть наступила от воспаления мочевого пузыря, перешедшего в гангрену, и от задержания урины. И наконец, небезынтересно заключение, сделанное в 1970 году группой московских венерологов, изучивших все сохранившиеся документальные свидетельства о болезни и смерти Петра. Профессора Н. С. Смелов, А. А. Студницын, доктор медицинских наук Т. В. Васильева и кандидат медицинских наук О. И. Никонова пришли к заключению, что Пётр «по-видимому, страдал злокачественным заболеванием предстательной железы или мочевого пузыря, или мочекаменной болезнью».

В краткие минуты облегчения Пётр готовился к смерти и за последнюю неделю трижды причащался. Он велел выпустить из тюрем всех должников и покрыть их долги из своих сумм, приказал выпустить всех заключённых, кроме убийц и государственных преступников, и просил служить молебны о нём во всех церквах, не исключая и иноверческих храмов.

Екатерина сидела у его постели, не покидая умирающего ни на минуту. Пётр умер 28 января 1725 года в начале шестого утра в маленькой комнатке на втором этаже Зимнего дворца, два окна которой выходили на набережную Невы. Пётр до последнего дня сохранял любовь к небольшим комнатам с низкими потолками, которые понравились ещё в те годы, когда был он корабельным плотником в Голландии. Комната, в которой довелось ему промучиться последние дни, была его кабинетом и в обиходе называлась конторкой. Екатерина сама закрыла ему рот и глаза и, сделав это, вышла в соседний зал, где её ждали, чтобы провозгласить преемницей скончавшегося императора.

Пётр I умер, не оставив завещания. Наследниками престола могли считаться: во-первых, сын казнённого Алексея — Пётр, во-вторых, дочери Петра I и Екатерины — Анна и Елизавета, в-третьих — родные племянницы Петра I, дочери его старшего брата Ивана Алексеевича — Анна, Екатерина и Прасковья (Анна занимала в то время герцогский трон в Курляндии, Екатерина была герцогиней в Мекленбурге, а Прасковья жила в Москве, не будучи замужем), в-четвёртых — законная жена покойного, венчанная императорской короной Екатерина Алексеевна.

Через три часа после смерти Петра в соседней зале собрались сенаторы, члены Святейшего Синода и генералитет — генералы и адмиралы всех рангов и статские чины от действительных

статских советников до канцлера. Они собрались по собственному почину, как только узнали о смерти императора. Однако когда все пришли в соседний с конторкой зал, там уже были офицеры обоих гвардейских полков, стоявшие тесной группой в одном из углов зала.

Споры о праве на опустевший трон развернулись мгновенно. Каждый из сановников так или иначе выражал свои симпатии и антипатии, но офицеры хранили молчание. Когда же граф Пётр Андреевич Толстой первым высказался в пользу императрицы, гвардейцы дружно его поддержали.

Противники Екатерины зароптали, но присутствовавший в зале подполковник Преображенского полка Иван Бутурлин подошёл к окну, толкнул раму и махнул рукой. Через распахнутое окно в зал донёсся барабанный бой...

Этот аргумент, оказавшийся самым веским, перечеркнул все соображения сановников о преимуществах родства и права любого из возможных претендентов на трон. Немаловажным было и то, что вторым подполковником преображенцев был светлейший князь и фельдмаршал Александр Данилович Меншиков, в чьих симпатиях к Екатерине никто из присутствующих не сомневался.

После того как Пётр умер, в тесную конторку протиснули огромный гроб, ибо покойник был более двух метров ростом. Служители немало потрудились, прежде чем внесли государеву домовину размером в косую сажень, разворачивая и наклоняя её во все стороны.

После этого долгие, наполненные искренней печалью сорок дней тысячи петербуржцев и множество людей из других городов прощались с мёртвым забальзамированным телом первого российского императора.

А через три недели после смерти Петра, 22 февраля, умерла самая младшая из его дочерей — девятилетняя Наталья, и в Зимнем дворце ещё одним гробом стало больше.

Когда же стали продумывать церемониал похорон, оказалось, что гроб с телом императора не проходит в дверь, и тогда по приказу главного распорядителя похорон генерал-фельдцейхмейстера, сенатора и кавалера графа Якова Брюса в дверь превратили одно из окон, а к окну снизу возвели просторный помост, с обеих сторон которого шли широкие лестницы, задрапированные чёрным сукном.

...В полдень 10 марта 1725 года три пушечных выстрела известили о начале похорон императора. Мимо выстроившихся вдоль берега Невы полков гроб Петра снесли по лестнице на

набережную, и восьмёрка лошадей, покрытых попонами из чёрного бархата, провезла гроб к причалам главной пристани, а оттуда на специально сооружённый на льду Невы деревянный помост, ведущий к Петропавловской крепости.

За гробом несли более тридцати знамён. И первыми из них были: жёлтый штандарт Российского флота, чёрное с золотым двуглавым орлом императорское знамя и белый личный флаг Петра с изображённой на нём эмблемой — стальным резцом скульптора, вырубающим из камня ещё незавершённую статую, символизирующую вечно недостроенное здание России.

А перед этой знаменной группой шли члены семьи покойного и два «первейших сенатора». Порядок, в каком следовали они за гробом, о многом говорил и сановникам, и иностранным дипломатам, ибо он, этот порядок, точно отражал расстановку сил и значение каждого из этих людей при дворе.

Первой шла, теперь уже вдовствующая, императрица Екатерина Алексеевна. С обеих сторон её поддерживали: фельдмаршал и светлейший князь Меншиков и великий канцлер граф Головкин.

Следом за ними шли дочери Петра и Екатерины — семнадцатилетняя Анна и пятнадцатилетняя Елизавета, затем племянницы Петра — царевна Прасковья Ивановна и Мекленбургская герцогиня Екатерина Ивановна, а за ними — родственники по матери покойного — Нарышкины. Вместе с ними шёл девятилетний внук покойного, сын казнённого Алексея — Пётр и жених Анны Петровны, Голштинский герцог Карл-Фридрих.

Не пройдёт и десяти лет, как почти все эти люди умрут. Долгожителями окажутся лишь великий канцлер Головкин и дочь Петра I — Елизавета.

А этот фрагмент уместно будет закончить вот чем: гроб Петра поставили в Петропавловском соборе, который тогда ещё строили, и он стоял там шесть лет, прежде чем тело покойного предали земле...

На престоле

Царствование Екатерины I продолжалось чуть больше двух лет — она скончалась 6 мая 1727 года, незадолго перед тем перешагнув рубеж своего сорокалетия. В связи с краткостью её правления целесообразно будет вначале рассказать о политической истории этих двух лет, а потом уже — об историях интимных, которые, впрочем, тесно переплетались с политикой, являясь её продолжением в весьма своеобразной форме.

Одним из наиболее значительных событий такого рода была свадьба старшей дочери Петра и Екатерины — Анны Петровны, состоявшаяся 21 мая 1725 года. На сей раз зятем императрицы стал двадцатипятилетний Шлезвиг-Гольштейн-Готторпский герцог Карл-Фридрих, о чём уже упоминалось в этой повести. Именно этот брак положил начало господству практически новой династии. Сохранив за собой формально прежнюю фамилию — Романовых, императорская семья фактически стала династией Романовых-Гольштейн-Готторпов, так как подавляющее большинство женихов и невест для Российского императорского дома рекрутировалось из Северной Германии, которая вследствие этого часто именовалась «племенной конюшней дома Романовых».

Однако первый же жеребец из новой конюшни вполне определённо и недвусмысленно заявил о своих статях: проведя первую ночь в одной постели с молодой женой, Карл-Фридрих три последующие там не появлялся.

Анна Петровна вскоре отплатила молодому мужу той же монетой. Герцогу не следовало недооценивать свою молодую жену — ведь она была дочерью Петра и Екатерины, а такая наследственность не могла не сказаться на её моральных устоях, темпераменте и поведении. Во всяком случае, по нравам и характеру Карл-Фридрих вполне пришёлся ко двору, ибо петербургский двор в обычаях и отношениях оставался таким же, как и при покойном императоре.

Если говорить о делах внутриполитических, то высшая бюрократия разделилась на явных сторонников Екатерины и её скрытых недоброжелателей. Возле первого человека в государстве, Меншикова, оказались его испытанные «камрады» — начальник Тайной канцелярии Пётр Андреевич Толстой, генерал-адмирал Фёдор Матвеевич Апраксин и канцлер Григорий Иванович Головкин. Их поддерживала большая и могущественная группа стойких сподвижников Петра, прежде всего военных и

дипломатов.

Скрытая же оппозиция опиралась на Правительствующий Сенат, состоявший из одиннадцати членов, и потому первой важнейшей задачей Екатерины и Меншикова было, оставив Сенат как бюрократическое учреждение, отобрать у него функции правительствующего органа. Это было сделано 8 февраля 1726 года созданием нового правительственного органа — Верховного Тайного совета. В его состав входили: Меншиков, Толстой, Апраксин, Головкин, герцог Голштинский Карл-Фридрих, вице-канцлер Андрей Иванович Остерман и сенатор князь Дмитрий Михайлович Голицын. Возглавляла Верховный Тайный совет, не входя в него, сама императрица. Ведению Совета подлежали все дела, относившиеся до внешней политики, и дела, «которые до её Величества собственного решения касаются», то есть те, что не подлежали ведению Сената. Более того, Сенат перестал официально именоваться «Правительствующим», а был переименован в «Высокий Сенат». Самым же существенным было то, что три важнейшие коллегии — Иностранных дел, Военная и Адмиралтейская — были изъяты из подчинения Сенату и переданы в ведение Верховного Тайного совета, получив в отличие от прочих коллегий название «Государственных».

Из других событий важнейшим следует считать официальное открытие Петербургской Академии наук и художеств, произошедшее в декабре 1725 года. А из правительственных распоряжений на первое место следует поставить ряд указов, направленных на сокращение непомерно тяжёлого налогового бремени и довольно значительное уменьшение государственных расходов.

И всё же даже и после существенного сокращения расходы эти оставались ещё весьма велики. И в первую очередь это касалось затрат на содержание двора.

Датский посланник в Петербурге Вестафль утверждал, что за два года царствования Екатерины I при её дворе было выпито заграничных вин и водок на миллион рублей, в то время как весь государственный бюджет достигал десяти миллионов.

Пожалуй, это сильно преувеличено, но бесспорно, что пьянство во дворцах было повальным.

Как и прежде, отличались в нём не только мужчины, но и дамы. И особенно сильно — неувядаемая и несгибаемая княгиня-игуменья Анастасия Петровна Голицына. Только за одну неделю — с 12 по 19 октября 1725 года — княгиня получила от императрицы сначала 20, а потом 15 золотых червонцев за то, что выпивала по два кубка вина. А ведь петровский кубок вмещал три

литра!

Екатерина после смерти мужа стала в полном смысле слова весёлой вдовой. Возле неё появилось несколько фаворитов — Сапега, Левенвольде, де Виейра, о которых подробнее речь пойдёт чуть ниже, и периодически возникавшие кратковременные счастливчики, среди которых оказывались даже дворцовые служители.

Под стать императрице были и три её камер-фрау. Первой из них была уже известная нам Анна Крамер. Две другие камер-фрау — Юстина Грюнвальд и Иоганна Петрова мало чем отличались от Анны Крамер. Не отставали от них и две их русские товарки — княгиня Голицына и графиня Толстая.

Да и что могло перемениться, если и место действия, и все главные действующие лица остались прежними?

Сам светлейший, приходя поутру запросто в спальню императрицы, начинал беседу с вопроса: «А чего бы нам выпить?»

Вскоре в Петербурге всё чаще стала мелькать и ещё одна фигура, впрочем уже известная нам, — герцогиня курляндская Анна Ивановна. Мы встретились с нею, когда она только-только стала женой герцога Фридриха-Вильгельма. Это случилось в 1710 году, и было Анне Ивановне тогда всего семнадцать лет. А теперь ей уже перевалило за тридцать, и имеет смысл рассказать кое-что о прошедших пятнадцати годах, прежде всего ради того, чтобы повествование оказалось связным. Её брак оказался более чем быстротечным: молодой муж умер через полгода после свадьбы в январе 1711 года от страшного перепоя, и его молодая вдова утешилась тем, что стала его наследницей — владетельницей оставшегося после него герцогства Курляндского.

Однако Анна Ивановна горевала недолго — молодость и пылкость натуры взяли своё, и она вскоре утешилась тем, что стала всё чаще и чаще появляться в Петербурге, который не шёл ни в какое сравнение с провинциальной, захолустной Митавой.

Более всего Анну Ивановну петербургский двор привлекал своими беспрерывными празднествами и роскошью. В год смерти Петра ей исполнилось тридцать два года, и так как курляндская вдова от природы была крепка здоровьем и склонна к самым разнообразным наслаждениям, двор её августейшей тётки Екатерины предоставлял множество возможностей к получению всего, что могло привлекать одинокую женщину.

Следует заметить, что Анна Ивановна весьма спокойно относилась к питиям и брашнам, обходясь двумя-тремя рюмками венгерского в день, но была весьма неравнодушна к амурным утехам.

Между тем новоиспечённая самодержица Екатерина I всё чаще стала болеть и сразу после вступления на престол почти совсем отошла от государственных дел, целиком передав их Меншикову. Сама же она с головой окунулась в устройство своих собственных, семейных и любовных дел.

Её первым талантом оказался молодой красавец Рейнгольд-Густав Левенвольде, происходивший из древнего аристократического немецкого рода, осевшего в Ливонии ещё в XIII веке. Он был посланником герцогини Курляндской в Петербурге, или, как тогда говорили, резидентом. Бывший офицер Карла XII, перешедший на русскую службу после поражения шведов под Полтавой, Левенвольде, прежде чем стать курляндским резидентом, был любовником Анны Ивановны и честно соблюдал её интересы в Петербурге, ибо в значительной мере эти интересы были и его собственными. При Екатерине он, как и Виллим Моне, сначала был камер-юнкером, а после её восшествия на трон стал камергером. Кроме того, как мы уже знаем, он представлял и интересы курляндской герцогини. Однако в силу особого статуса Курляндии его нельзя было равнять с другими иноземными резидентами.

24 октября 1726 года Рейнгольд-Густав Левенвольде и его брат Карл-Густав получили титул российских графов. Вслед за тем Рейнгольд стал кавалером российского ордена Александра Невского и, кроме того, получил осыпанный бриллиантами портрет Екатерины для ношения на шее.

Забегая чуть вперёд, скажем, что, как только Екатерина умерла, Рейнгольд-Густав покинул Петербург и уехал в свои ливонские поместья. Однако вскоре после этого он вновь появится на страницах нашей книги, но уже в связи с другим сюжетом: восшествием на престол императрицы Анны Ивановны. А пока ограничимся сказанным.

Другим фаворитом Екатерины I в самом конце её жизни и царствования стал польский магнат, молодой красавец, князь Пётр Сапега. Его отец, Ян-Казимир Сапега, ещё в начале XVIII века претендовал на корону Польши, а потом, отказавшись от борьбы за трон для себя, стал ревностным поборником другого претендента — Станислава Лещинского и столь же ярым врагом ещё одного соискателя короны — Августа II Сильного. Из-за того что Август II был союзником России, Сапега воспринимался Петром I как политический противник, и Екатерине нужно было резко переменить отношение к нему и его сыну в сознании петербургского двора. Сапеги появились в Петербурге, когда Ян-Казимир вновь попытался добиться королевского титула и решил привлечь на свою сторону Россию. С этой целью в начале 1726

года он посватал своего сына Петра за дочь Меншикова Марию, обещая со своей стороны помочь Александру Даниловичу стать герцогом Курляндским.

Меншиков благосклонно принял эту идею и пригласил Петра Сапегу приехать. Светлейший поселил двадцатишестилетнего жениха у себя в доме, чтобы получше узнать будущего зятя. А следом за женихом приехал и его отец.

Ян-Казимир Сапега 10 марта 1726 года, за два дня до объявленного обручения его сына с Меншиковой, был пожалован чином российского фельдмаршала, а его сын в тот же день стал камергером. В списке фельдмаршалов, с момента учреждения этого чина Петром I, Сапега был седьмым, но в отличие от всех своих предшественников не имел перед Россией никаких военных заслуг и ни одного дня не служил под её знамёнами. Говорили, что Екатерина I удостоила его этого звания за то, что он помог отыскать в Литве её родственников, но гораздо вероятнее, что чин фельдмаршала был дан Сапеге стараниями Меншикова в расчёте на то, что новый фельдмаршал в случае, если возникнет необходимость воевать за Курляндию, встанет во главе русской или объединённой русско-польской армии.

12 марта Екатерина I в присутствии всего двора сама обручила Петра с княжной Меншиковой и в тот же день влюбилась в чужого жениха, отличавшегося необычайной красотой.

Екатерина подарила Петру Сапеге полностью меблированный роскошный дом и огромные поместья, но сделала всё, чтобы расстроить намеченную свадьбу. А для искусного прикрытия подлинной причины отказа от свадьбы с Марией Меншиковой подставила молодому красавцу свою племянницу — графиню Софью Карловну Скавронскую.

Правда, эта свадьба состоялась только 19 ноября 1727 года, уже после смерти императрицы.

Из-за того что положение бывшего фаворита оказалось очень непрочным, Пётр Сапега продал и дом и поместья за два миллиона рублей серебром и уехал вместе с женой в Литву.

Настал черёд рассказать и о жене Сапеги — Софье Карловне, в девичестве графине Скавронской, и о её родственниках — братьях, сёстрах, племянниках и племянницах Екатерины.

Первой из двадцати родственников российской императрицы предстала перед нею её родная сестра Христина.

Это случилось в мае 1721 года, когда Пётр и Екатерина были в Риге. Там к Екатерине пришла крепостная крестьянка из имения помещика фон Вольфеншильда-Ленневарда по имени Христина, а

прозвище у неё было «Сковорощанка». Она назвалась родной сестрой русской царицы. Екатерина, увидев её, тут же признала крестьянку своей сестрой, при расставании дала ей двадцать золотых червонцев. С 1722 года по приказу Петра генерал-фельдмаршал князь Аникита Иванович Репнин, тогдашний Лифляндский генерал-губернатор, начал долгие и весьма осторожные поиски родственников Екатерины. Розыск тянулся с конца 1722 по январь 1726 года и был завершён уже после смерти Петра.

За это время были найдены родные братья императрицы Карл и Фридрих Скавронские с их семьями и две родные сестры — Христина и Анна — с детьми и мужьями. Однако никто из них, кроме Фридриха, не соглашался ехать в Петербург. Тогда всех их под конвоем перевезли в окрестности столицы и поселили на мызе Стрельня, в недавно построенном дворце, стоявшем в прекрасном парке на берегу Финского залива.

Карл Скавронский с женой, двумя дочерьми и тремя сыновьями переехал из Стрельни в Петербург в конце 1726 года. Екатерина подарила ему роскошный дом с окнами на Неву, богато меблированный и прекрасно отделанный. И вот именно его старшая дочь — Софья, ставшая фрейлиной Екатерины, вскоре после смерти императрицы и вышла замуж за Петра Сапегу.

Средняя дочь — Анна, была замужем за графом Михаилом Илларионовичем Воронцовым, дослужившимся до высшего гражданского чина — канцлера и возглавившего Коллегию иностранных дел.

Из трёх сыновей Карла Скавронского что-то заметное представлял собой только один — Мартын. В царствование Екатерины II он был обер-гофмейстером и генерал-аншефом. Что же касается их родителей — Карла Самуиловича и его жены Марии Ивановны, то отзывы о них единодушны и однообразны: даже на фоне распущенного и вечно пьяного окружения Екатерины I они прослыли сугубыми пьяницами, а Мария Ивановна ещё и необузданными излишествами относительно представителей сильного пола.

Карл и всё его семейство 5 января 1727 года получили титулы графов, а глава семейства ещё и придворный чин камергера, соответствовавший по Табели о рангах генерал-аншефу по армии и действительному тайному советнику по статской службе. Второй брат императрицы Фридрих Скавронский, сразу же переделавший своё немецкое имя на русское — Фёдор, был возведён в графское Российской империи достоинство в тот же день, что и его старший брат Карл.

Сам Фёдор был бездетен, но у его жены было две дочери от первого брака. Однако и жена Фёдора Скавронского, и его падчерицы наотрез отказались ехать в Петербург и остались жить в своей деревне.

Фёдор, получив графский титул, стал и владельцем вотчины около Москвы, а потом женился на Екатерине Родионовне Сабуровой, происходившей из древнего и знатного рода, откуда вышли и две московские царицы — жена Василия III Соломония и жена сына Ивана Грозного Евдокия.

Новоявленный граф ненадолго задержался в Петербурге, вскоре уехав в одну из своих подмосковных деревень.

Графских титулов были удостоены и члены семейств двух сестёр Екатерины — Христины и Анны.

Христина, вышедшая замуж за крестьянина Симона-Генриха, не имевшего фамилии, приехав в Петербург, стала именоваться графиней Гендриковой. Нетрудно догадаться, что фамилия её была произведена от искажённого имени её мужа.

Симон не знал грамоты и потому не мог быть определён в какую-либо службу. Он, как и графы Скавронские, получил большие поместья и так же, как и Карл Скавронский, — чин камергера.

У Симона и Христины было две дочери и два сына. Все они породнились со знатнейшими русскими фамилиями, однако только один из сыновей, Иван, сделал блестящую карьеру, став генерал-аншефом и командиром корпуса кавалергардов. Брат же его — Андрей, как и его отец, был удостоен придворного чина камергера, не служив ни одного дня.

Другая сестра Екатерины, Анна, была замужем за польским крестьянином, как и все крепостные, не имевшим фамилии, а прозывавшимся только по имени — Иоахимом. В русской транскрипции фамилия сестры Екатерины и её мужа была — Ефимовские. В отличие от их сородичей графский титул Ефимовским был дан в царствование Елизаветы Петровны 25 апреля 1742 года, а когда они появились в России, то Симон-Иоахим, подобно Скавронскому и Гендрикову, получил всё тот же придворный чин камергера, роскошный дом и богатые поместья. Четверо сыновей Анны и Михаила Ефимовских ничем особым не отличились, хотя и сделали придворную карьеру благодаря своему происхождению.

Нравы во всех четырёх семействах новоявленных графов были самыми низменными, а отношения между братьями и сёстрами необычайно скандальными. Часто, живя в одних и тех же деревнях, которые были пожалованы им в общее владение, все они дрались друг с другом, писали в суды доносы и жалобы,

завоевав дурную славу стяжателей и ябедников.

Их второе и третье поколения были уже другими людьми, но словно какой-то рок преследовал и Скавронских, и Ефимовских, и Гендриковых. В Россию приехали двадцать братьев, сестёр, племянников и племянниц Екатерины, а к 1800 году все три фамилии пресеклись, не оставив ни одного продолжателя.

В то время как Екатерина совершенно устранилась от государственных дел, сила и влияние Меншикова продолжали расти. Он становился уже не полудержавным властелином, как при Петре, а, пожалуй, почти самодержцем. Это заставило членов Верховного Тайного совета, называемых «верховниками», опасаться того, что светлейший скоро превратит их не более чем в марионеток.

Врагами Меншикова оказались Толстой и Голицын, а вне среды верховников всё ещё очень влиятельный де Виейра.

Случилось так, что в апреле 1727 года Екатерина I тяжело заболела, и Меншиков нашёл повод показать своим более серьёзным и сильным противникам, чем де Виейра, что шутки с ним по-прежнему плохи и что всех его недоброжелателей ждёт печальный конец. К тому же Меншиков был злопамятен, а надобно знать, что всесильный временщик никогда не простил своему непрошеному шурину брака с его сестрой, состоявшегося вопреки его воле.

И когда Екатерина заболела серьёзнее, чем прежде, де Виейра по приказу Меншикова был арестован и обвинён в том, что во время болезни императрицы он якобы «не только не был в печали, но и веселился, и плачущую Софью Карлусовну (Скавронскую) вертел вместо танцев и говорил ей: «Не надобно плакать». В другой палате сам сел на кровать… говорил её высочеству цесаревне Анне Петровне: «О чём печалишься? Выпей рюмку вина», и говоря то, смеялся, и пред её высочеством по рабской своей должности не вставал и респекта не отдавал… А были при том многие персоны, которые, когда спрошены будут, объявят о всех его непотребных словах и злых поступках, и в какой силе вышеупомянутые злые слова говорил, и где, и с кем, и когда был в совете, и какое злое намерение имел, о всём может объявить при допросе и при розыске».

Де Виейра при допросах и во время пыток не переставал утверждать, что он не умышлял никакого зла интересу её императорского величества и никаких сообщников не имеет, но говорил с Бутурлиным, Толстым, Нарышкиным, Долгоруковым и Скорняковым-Писаревым о женитьбе великого князя на княжне Меншиковой. Потребованные к ответу Писарев и Толстой

показали ещё и на Ушакова. Из речей их открылось, что все они более или менее опасались силы Меншикова и советовались между собою, как бы воспрепятствовать сватанию великого князя на его дочери.

Переход трона к Петру II грозит и тем, говорили де Виейра и его сообщники, что он «без сомнения, возвратит из заточения бабку свою царицу Евдокию, а она нраву особливого, жестокосердна, захочет выместить злобу».

6 мая 1727 года, в последний день своей жизни, смертельно больная Екатерина подписала указ о наказании де Виейры и его сообщников. Приговор суда определял смертную казнь де Виейре и Толстому, а остальным битье кнутом и ссылку в Сибирь. Екатерина заменила смертную казнь на кнут и ссылку, Скорнякову-Писареву предписала кнут, лишение имений, чинов и чести и ссылку в Тобольск, а остальных — Бутурлина, Нарышкина, Долгорукова и Ушакова — понизила в должностях и удалила от двора.

Через несколько часов после подписания приговора Екатерина умерла. Главный врач Блюментрост — президент Петербургской Академии наук и художеств, представляя Верховному Тайному совету медицинское заключение о причине её смерти, написал, что с нею «фебра приключилась и повреждение в лёгком быть надлежало, и мнение дало, что в лёгком имеет быть фомика, которая за четыре дня до смерти её Величества явно оказалась... и от той фомики 6-го дня мая с великим покоем преставилась» (по-латыни: фебра — лихорадка, фомика — нарыв, язва).

Приговор де Виейре и его соучастникам, хотя и был одним из последних актов, подписанных Екатериной, но всё же не самым последним. А последним и гораздо более важным документом было составленное и должным образом оформленное завещание, по которому наследником трона объявлялся Пётр Алексеевич — двенадцатилетний внук Петра I. Завещание гласило: «Великий князь Пётр Алексеевич имеет быть сукцессором (по-латыни — самодержцем). Однако регентом при нём назначался не Меншиков, как можно было ожидать, а «обе цесаревны, герцоги и прочие члены Верховного совета, который обще из девяти персон состоять имеет».

Так закончилось правление Екатерины I.

ИМПЕРАТРИЦА АННА ИВАНОВНА

Кто бы мог предположить, что рано овдовевшая дочь Ивана Алексеевича — Анна — в конце концов взойдёт на российский престол. Но так распорядилась история. Захудалая курляндская герцогиня волею судьбы, превратилась в самодержицу, которую на торжественный лад долгие годы именовали Анной Иоанновной. За десять лет её правления в России значительно укрепили своё влияние иноземцы. Сама же она не проявила больших талантов, но власть удержала.

В нашей повести она предстанет обыкновенной женщиной со своими слабостями и недостатками. И потому, отбросив пиетет, мы будем называть её просто Анной Ивановной.

Весёлая вдова и отвергнутая невеста

Анна Ивановна была второй дочерью царя Ивана Алексеевича и царицы Прасковьи Фёдоровны, урождённой Салтыковой. Она родилась в Москве 28 января 1693 года и сразу же попала в обстановку весьма для неё неблагоприятную. Отец постоянно болел, а мать почему-то невзлюбила Аннушку, и та оказалась предоставленной самой себе да опеке богомольных и тёмных нянек и приживалок.

Уже в детстве девочке сказали, что она вовсе и не царская дочь, потому что Иван Алексеевич бесплоден, а отцом её является спальник Прасковьи Фёдоровны Василий Юшков (спальником называли дворянина, который стерёг сон царя или царицы, находясь в покое — рядом с опочивальней).

Только два учителя были приставлены к девочке, когда она подросла: учитель немецкого и французского языка Дитрих Остерман — брат будущего вице-канцлера Петра барона Андрея Ивановича Остермана — и танцмейстер француз Рамбур. Из-за этого Анна Ивановна осталась полуграмотной и в дальнейшем не очень-то увлекалась науками. Девочка была рослой — на голову выше всех, полной и некрасивой.

После скоропостижной смерти мужа, она, навещая Петербург, делила свои сердечные привязанности с разными соискателями её любви, но в Митаве её серьёзным поклонником, а потом и фаворитом был мелкий дворцовый чиновник немец Эрнст-Иоганн Бюрен. В России его звали Бироном, да и сам он называл себя так, настаивая на своём родстве с французским герцогским домом Биронов.

Во время его первого появления перед герцогиней Курляндской Бирону было двадцать восемь лет. Его отцом был офицер-немец, служивший в польской армии, но, кажется, не бывший дворянином. Во всяком случае, когда Анна Ивановна попыталась добиться признания своего фаворита дворянином, курляндский сейм отказал ей в этом. Что же касается матери будущего герцога, то её дворянское происхождение бесспорно — она происходила из семьи фон-ундер-Рааб.

Эрнст Бирон был третьим сыном, причём поначалу не самым удачным. В юности он стал студентом Кёнигсбергского университета, однако не закончил его, потому что чаще, чем в университетских аудиториях, сидел в тюрьме за драки и кражи. Двадцати четырёх лет он приехал в Петербург и попытался вступить в дворцовую службу, но не был принят из-за низкого

происхождения. В 1723 году Анна Ивановна женила своего тридцатитрёхлетнего фаворита на безобразной, глухой и болезненной старой деве Бенгине-Готлибе фон Тротта-Трейден, происходившей, впрочем, из старинного и знатного немецкого рода.

Однако женитьба ничего не изменила в отношениях герцогини и фаворита. Более того, когда 4 января 1724 года у Бирона родился сын, названный Петром, то сразу же поползли упорные слухи, что матерью мальчика была не жена Бирона, а Анна Ивановна. Когда мальчик подрос, обнаружилось его сильное сходство с Анной Ивановной, что ещё больше утвердило тех, кто верил в эту версию, в их правоте.

Между женитьбой Бирона и поездкой в Москву с Анной Ивановной произошло несколько амурных историй, связанных со сватовством, но ничем не кончившихся, и одна история в высшей степени романтическая. Однако всё по порядку. После скоропостижной смерти мужа Анны Ивановны герцога Фридриха-Вильгельма Пётр I решил выдать юную вдову замуж ещё раз.

В 1717 году претендентом на её руку был Саксен-Вейсенфельдский герцог Иоганн-Адольф, но сватовство расстроилось, и следующий жених — принц Карл Прусский, брак с которым тоже не состоялся, появился лишь через пять лет, в 1722 году. Затем, ещё при жизни Петра I, возникли четыре германских принца, заявлявших о своём желании стать мужем Анны Ивановны, но дальше брачных переговоров, оказавшихся также бесплодными, дело не шло.

Наконец, в сентябре 1725 года, через полгода после смерти Петра Анне Ивановне, бывшей тогда в Санкт-Петербурге, сообщили о новом суженом — блестящем кавалере, храбреце и красавце, покорителе дамских сердец от Варшавы до Парижа — графе Морице Саксонском, внебрачном сыне польского короля. К тому же он был ещё и на три года моложе невесты, перешагнувшей к тому времени тридцатилетний рубеж. И ещё не увидев графа Саксонского, Анна Ивановна уже влюбилась в него. Новоявленную невесту не смущало, что Мориц слыл не только выдающимся бабником, но и столь же замечательным дуэлянтом, мотом и картёжником, за которым к моменту сватовства накопилась куча долгов. Анну Ивановну не останавливало и то, что граф Саксонский по рождению не был августейшей особой. И, казалось, что полдела уже сделано, однако и на сей раз ни брачных переговоров, ни сватовства не последовало, хотя потенциальная невеста делала для этого всё, что было возможно.

Прошло около года, прежде чем Мориц решился на активные действия со своей стороны. Будущий знаменитый полководец —

маршал Франции и выдающийся военный теоретик, отличавшийся дерзостью и быстротой манёвра, — он и на сей раз избрал именно такой образ действий.

Бросив все версальские дела и утехи, Мориц целиком отдался молниеносной подготовке и не менее стремительному осуществлению задуманного предприятия.

Он собрал со своих богатых парижских любовниц и уже сильно обедневшей матери — графини Кенигсмарк, генеральной любовницы Августа II Сильного — всё, что только мог, и помчался в Митаву. Для того чтобы стать мужем Анны Ивановны, Морицу предстояло получить согласие Дворянского курляндского сейма, имевшего право выбирать герцога по своему усмотрению. И здесь счастье сопутствовало Морицу — его избрали герцогом. Однако это решение требовало дальнейшего утверждения королём Польши и согласия на то российской императрицы, так как Курляндия по юридическому статусу зависела от двух этих стран и было необходимо их согласованное решение. Казалось, что отец Морица, занимавший трон Польши, несомненно, утвердит его избрание, но не тут-то было: политика взяла верх над родительскими чувствами и Август воздержался от одобрения.

И уж совсем никаких надежд не мог связывать Мориц с русской императрицей, поскольку ситуация не соответствовала её политическим планам.

А случилось так, что в это же самое время Екатерина I решила, что герцогом Курляндии должен стать Меншиков, который и отправился в Ригу с внушительным кавалерийским отрядом. В Митаву же для переговоров с сеймом поехал и Василий Лукич Долгоруков — влиятельный член Верховного Тайного совета и опытный дипломат.

Вскоре в Митаву прибыл и Меншиков, где встретился со своим соперником на курляндский трон.

Желая сразу же поставить Морица на место, Меншиков первым делом спросил:

— А кто ваши родители?

Мориц ответил вопросом на вопрос:

— А кем были ваши?

Курляндское дело кончилось в конце концов ничем для обоих соискателей. Причём Мориц потерпел двойное фиаско — он не только лишился перспективы завладеть троном, но и получил отказ в своих матримониальных намерениях. Последнее же обстоятельство связано было с комическим эпизодом, более смахивающим на фарс.

...Дело было в том, что Мориц поселился во дворце своей

невесты, в одном из его крыльев. Ожидая благополучного исхода сватовства, пылкий кавалер не оставлял без внимания и молодых придворных красавиц. Одной из его пассий оказалась фрейлина Анны Ивановны, которую граф Саксонский среди ночи пошёл провожать домой. Это случилось зимой, во дворе замка лежал глубокий снег, и Мориц понёс любовницу на руках. Внезапно он обо что-то споткнулся, поскользнулся и упал, выронив фрейлину в снег. И вдруг услышал пронзительные женские крики. Это кричали испуганная фрейлина и ещё кто-то другой. Оказалось, что Мориц упал, споткнувшись о спящую пьяную кухарку с чёрной дворцовой кухни, где готовили для конюхов, кучеров и младших слуг. Пьяница лежала на снегу, и Мориц, не заметив её в темноте, запнулся, упал и уронил на неё свою любовницу. Обе женщины, страшно испугавшись, стали пронзительно кричать. Во дворце возник переполох, проснулись все его обитатели и в их числе Анна Ивановна, получившая очевидное доказательство того, каков её жених.

Понимая, что ситуация сложилась весьма для него неблагоприятная, Мориц всё же проявил упорство и остался в Митаве, пока туда не пришли четыре русских полка под командованием генерала Ласи. Мориц бежал, на рыбацкой лодке переправился через реку Лиелупа и затем добрался до Данцига.

Так завершилось очередное неудачное сватовство Анны Ивановны.

После этого отвергнутая невеста зачастила в Петербург, где, как мы уже знаем, оказалась совершенно своей среди тех, кто окружал Екатерину I. Но смерть первой императрицы круто изменила ситуацию.

Император Пётр II

Когда Екатерина умерла, внуку Петра I великому князю Петру Алексеевичу шёл тринадцатый год. Он был мягок душой, красив, достаточно развит и весьма неглуп для своих лет, напоминая покойную мать — Софью-Шарлотту Вольфенбюттельскую. С самого начала своего неожиданного воцарения двенадцатилетний мальчик попал в очень непростую ситуацию, ибо кроме него претенденткой на трон могла оказаться и восемнадцатилетняя дочь Петра I и Екатерины I Елизавета Петровна — его родная тётка.

Сторонники Елизаветы стали прочить ей в мужья всё того же вечного жениха — Морица Саксонского. Сторонники же Петра II сватали ребёнка-императора за дочь Меншикова — Марию.

Желание двора примирить две партии породило фантастический проект женитьбы Петра Алексеевича и Елизаветы Петровны — племянника и тётки, но ему не удалось осуществиться: Меншиков увёз Петра к себе во дворец и там сосватал его со своей дочерью — несостоявшейся супругой Петра Сапеги.

12 мая, когда тело Екатерины ещё не было погребено, Пётр II возвёл Меншикова в звание генералиссимуса, дав ему очевидное преимущество перед пятью жившими и действовавшими в ту пору фельдмаршалами. 16 мая Екатерину похоронили, а уже через неделю во дворце Меншикова на Васильевском острове была необычайно пышно отпразднована помолвка Петра II и Марии. Меншикову эта великая удача нс вскружила голову, и он демонстративно протянул руку примирения и дружбы ненавидевшим его Голицыным и Долгоруковым. После этого враждебными ему осталась лишь Анна Петровна и её муж — Голштинский герцог Карл, но и от них вскоре избавился умный и ловкий генералиссимус: он пообещал супругам миллион флоринов и, выдав им для начала всего сто сорок тысяч, отправил Анну и Карла в Голштинию. Им была обещана ежегодная пенсия в сто тысяч флоринов и поддержка России в деле присоединения к Голштинии соседнего Шлезвига. 25 июля 1727 года герцогская чета отплыла из Петербурга в Киль, сопровождаемая небольшой группой придворных, среди которых были и люди, близкие к российской императорской фамилии.

Среди них прежде всего следует отметить девятнадцатилетнюю Мавру Егоровну Шепелеву, особенно доверенную «конфидентку» Елизаветы Петровны. Её дядя —

Дмитрий Андреевич Шепелев женился на родственнице пастора Глюка — Дарье Ивановне, и из-за этого был близким человеком в семье Петра и Екатерины. Сохранил он своё положение и во все последующие царствования, особенно возвысившись при Анне Ивановне. Его-то родственница — Мавра Егоровна и отправилась в Голштинию, выполняя двоякую роль: и фрейлины Анны Петровны, и сердечной подружки Елизаветы Петровны. Находясь в Киле, она сообщала Елизавете Петровне обо всём, происходящем во дворце и городе. Образчиками её писем могут служить, например, такие:

«Сестрица ваша ездила в санях по Килю, и все люди дивовались русским саням». Или: «ещё ж доношу, что у нас балы были — через день, а последний был бал у графа Бассевича, и танцевали мы там до десятого часу утра, и не удоволились в комнатах танцевать, так стали польской танцевать в поварне и в погребе. И все дамы кильские также танцевали, а графиня Кастель, старая, лет пятьдесят, охотница великая танцевать, и перетанцевала всех дам, и молодых перетанцевала». В этом же письме Шепелева просила поздравить с кавалериею, то есть с награждением орденом одного из первых любовников Елизаветы Александра Борисовича Бутурлина.

А письмами от 12 и 19 февраля 1728 года Шепелева сообщала о рождении у Анны Петровны сына Карла-Петра-Ульриха — будущего российского императора Петра III и о церемонии его крестин.

Не успели письма Шепелевой дойти до Петербурга, как случилось неожиданное несчастье: скоропостижно умерла молодая мать новорождённого — Анна Петровна. Произошло это из-за того, что в Киле, по случаю рождения принца Карла-Петра-Ульриха, были устроены великие празднества, завершившиеся грандиозным фейерверком. Анна Петровна после родов ещё недомогала и потому лежала у себя в опочивальне, не принимая участия в торжествах. Но когда она увидела за окнами своей спальни всполохи огней и россыпи звёзд фейерверка, то, не удержавшись от соблазна полюбоваться всем этим, встала с постели и настежь распахнула одно из окон. Сильный холодный ветер ворвался в комнату: за окном стоял февраль, — и герцогиня простудилась. Назавтра она заболела воспалением лёгких и через десять дней умерла.

Торжества и в Киле, и в Петербурге сменились глубоким трауром, особенно же скорбел овдовевший Карл-Фридрих, ибо со смертью жены сильно уменьшались его собственные шансы возвращения в большую европейскую политику, так как петербургский двор становился для него почти недосягаемым, по

крайней мере до совершеннолетия его сына-младенца.

А в Петербурге всесильный Меншиков укрепился ещё больше. Избавившись от голштинской герцогской четы и разослав остальных неугодных ему сановников из Петербурга, он, казалось, достиг вершины могущества, но внезапно сильно заболел и на несколько недель отошёл от государственных дел.

Этого времени оказалось достаточно, чтобы Пётр II, рано созревший и чувственный юноша, прочно подпал под влияние своей столь же чувственной и весьма распущенной восемнадцатилетней тётки Елизаветы, которая ни на шаг не отходила от племянника, всячески поощряя его к распутству и пьянству. Ей помогали в этом товарищи Петра — такой же, как и он, подросток Александр Меншиков и достаточно великовозрастный по сравнению с ними, ровесник Елизаветы Петровны, князь Иван Долгоруков.

Об этой золотой молодёжи рассказывали невероятные вещи, приписывая им всё возможные пороки. А когда сын генералиссимуса Александра Даниловича Меншикова Александр официально был награждён орденом Святой Екатерины, которого удостаивались только женщины, то пересуды о его отношениях с императором приобрели вполне определённое направление, получив вроде бы серьёзное фактическое подтверждение.

Всё это привело к тому, что Пётр II совершенно остыл к Марии Меншиковой — девушке нравственной и гордой, носившей среди ровесников прозвище «мраморная статуя». Когда же будущий тесть попробовал приструнить распоясавшегося юнца, то тринадцатилетний император закусил удила и пошёл на открытый разрыв со всесильным ещё вчера временщиком.

Пётр II дал распоряжение забрать из дома Меншикова императорские экипажи и личные свои вещи, а 7 сентября 1727 года приказал арестовать светлейшего князя. Через четыре дня и сам Александр Данилович, и несостоявшаяся невеста Мария Меншикова, и всё семейство генералиссимуса были отправлены в ссылку, пока ещё в Рязанскую губернию, в роскошное имение Меншикова Раннебург. Опальное семейство сопровождали сто двадцать семь слуг и обоз в тридцать три экипажа. Имущество князя было почти сразу же полностью конфисковано в казну. О размерах и составе этого имущества можно судить по перечню, сделанному специально созданной для этого правительственной комиссией. Обобщая воедино всё описанное в казну, комиссия определила, что Меншикову принадлежало: 90 тысяч душ крестьян, 6 городов, 4 миллиона рублей наличными и 9 миллионов в банках Лондонском и Амстердамском, бриллиантов

и других драгоценностей ещё на один миллион рублей, серебряной посуды три перемены, каждая из 288 тарелок и приборов, и 105 пудов, т. е. 1680 кг, золотой посуды.

Однако в Раннебурге Меншиковы пробыли недолго: 16 апреля 1728 года их отправили в Березов — богом забытый сибирский городишко, закинутый в болота и тундру более чем на тысячу вёрст севернее Тобольска.

Сначала Меншиковы жили в тюрьме, но потом Александр Данилович сам срубил дом и даже пристроил к нему часовенку. Однако жить ему оставалось совсем немного. 12 ноября 1729 года он умер, разбитый параличом. А ещё через месяц скончалась и его дочь Мария — бывшая царская невеста. Двое других детей — сын и дочь впоследствии были возвращены из ссылки лишь потому, что в банках Лондона и Амстердама хранилось девять миллионов рублей, которые могли быть выданы только прямым наследникам Меншикова. Это обстоятельство и заставило русское правительство вернуть брата и сестру Меншиковых в Петербург, и львиная часть вкладов в конце концов оказалась в руках государства и его высших сановников.

Избавившись от всесильного временщика, Пётр II пустился во все тяжкие. Саксонский посланец Лефорт — племянник Франца Лефорта — писал в декабре 1727 года: «Император занимается только тем, что целыми днями и ночами рыскает по улицам с царевной Елизаветой и сестрой, посещает камергера (Ивана Долгорукова), пажей, поваров и Бог весть ещё кого.

Кто мог бы себе представить, что эти безумцы (семейство князей Долгоруковых) способствуют возможным кутежам, внушая дарю привычки самого последнего русского. Мне известно помещение, прилегающее к биллиардной, где помощник воспитателя приберегает для него запретные забавы. В настоящее время он увлекается красоткой, бывшей прежде у Меншикова, и сделал ей подарок в пятьдесят тысяч рублей... Ложатся спать не раньше семи часов утра».

Беспрерывные попойки и ночные оргии не только подрывали не очень-то крепкое здоровье Петра II, но и сильно деформировали его характер. Он стал вспыльчивым, капризным, жестоким и упрямым.

Уже на следующий день после ареста Меншикова Пётр II подписал манифест о коронации, а 9 января 1728 года выехал в Москву, чтобы, по традиции, совершить обряд венчания на царство в Успенском соборе Московского Кремля.

По дороге в первопрестольную Пётр заболел корью и две недели пролежал в постели, остановившись в Твери.

4 февраля наконец совершился его торжественный въезд в Москву, где старая русская аристократия, в большинстве своём ненавидевшая Петра I и благоговевшая перед памятью великомученика Алексея, встретила нового императора с неподдельной радостью и восторгом.

На волне этого приёма самыми близкими людьми для Петра II оказались князья Долгоруковы — Василий Лукич и Алексей Григорьевич, введённые в состав Верховного Тайного совета, а любовь юного императора к Москве оказалась столь велика, что он официально объявил её единственной столицей России.

Сам Пётр, его старшая сестра Наталья и их тётка Елизавета Петровна, приехав в Москву, встретились и с Евдокией Фёдоровной Лопухиной, освобождённой сразу после смерти Екатерины I и проживавшей в кремлёвском Вознесенском женском монастыре. Однако, хотя внуки и пожаловали бабушке 60 тысяч рублей в год на содержание, достойное бывшей царицы, а также и приставили к ней небольшой придворный штат, Евдокия Фёдоровна осталась в монастыре, правда, в совершенно ином, чем до этого, качестве.

После коронации Пётр II продолжал кутить и сгорать пламенем кровосмесительной любви к своей юной и прелестной тётке Елизавете.

Но тут на пути Петра возник неожиданный соперник — князь Иван Долгоруков, в объятиях которого он однажды, внезапно для него и для себя, застал Елизавету Петровну. Однако ревность к сопернику скоро угасла, так как князь Иван стал волочиться, и не без успеха, за замужней княгиней Трубецкой. А Пётр увлёкся княжной Екатериной Алексеевной Долгоруковой, сестрой своего камергера и ближайшего сердечного друга Ивана Долгорукова. Всё это происходило в Москве и в её окрестностях, откуда Пётр совершенно не спешил уезжать и где девять месяцев продолжалась царская охота, проходившая как беспрерывный праздник.

Время от времени Пётр оставлял охоту и приезжал в богатую подмосковную усадьбу Алексея Григорьевича Долгорукова — Горенки, где его с нетерпением ждала новая невеста, носившая к тому же царское имя и отчество — Екатерина Алексеевна.

Елизавета Петровна была оставлена своим ветреным августейшим племянником, но тосковала совсем недолго, ибо утешилась в объятиях новых возлюбленных.

А Екатерина Долгорукова всё крепче прибирала к рукам вечно пьяного подростка. И тому причиной была не только её податливость и ласковый нрав, но и несомненный ум княжны и прекрасное для девушки образование. Детство царской невесты

прошло в Варшаве, в доме её деда, русского посла при польском дворе — князя Григория Фёдоровича Долгорукова, умного и хорошо образованного человека.

Теперь уже княжна Долгорукова ни на минуту не оставляла Петра, сопутствуя ему и на охоте, и в бесконечных переездах, и во время столь же бесконечных кутежей, развлечений и танцев.

О масштабах царских охот говорит хотя бы то, что, например, осенью 1729 года Пётр взял с собою шестьсот гончих и борзых и за несколько дней его егеря затравили четыре тысячи зайцев, пятьдесят лисиц и убили трёх медведей и пять волков.

19 ноября 1729 года в присутствии всех членов Верховного Тайного совета и генералитета, собравшихся в Москве, в Лефортовском дворце, Пётр объявил о своём намерении жениться на княжне Долгоруковой, а ещё через десять дней обручился с нею. При этом присутствовали кроме всех важнейших сановников Евдокия Фёдоровна Лопухина, Елизавета Петровна, одиннадцатилетняя внучка царя Ивана Алексеевича — Анна Леопольдовна, чья мать — Екатерина Ивановна была в 1718 году выдана за владетельного германского князя Карла-Леопольда Мекленбург-Шверинского.

Сразу же после обручения Петра с княжной Долгоруковой решил жениться и фаворит юного императора, его новоиспечённый шурин — князь Иван Алексеевич Долгоруков, в распутстве превосходивший всех своих друзей и подруг.

Его выбор пал на одну из самых красивых и богатых невест России — дочь фельдмаршала и графа Бориса Петровича Шереметева — Наталью. Было решено, что две свадьбы — императора и его друга будут сыграны в один день и два жениха с двумя невестами будут сидеть за общим пиршественным столом. Свадьбу назначили на 19 января 1730 года. Но ей не суждено было состояться — 7 января Пётр сильно простудился, одновременно заболев оспой, и 18 января умер, не приходя в сознание и потому не подписав никакого завещания.

Неожиданный поворот судьбы

В момент смерти Петра II возле него, в Лефортовском дворце, кроме родственников находились шесть человек: трое Долгоруковых — Алексей Григорьевич, Василий Лукич и Михаил Владимирович, барон Андрей Иванович Остерман, князь Дмитрий Михайлович Голицын и генерал-адмирал Фёдор Матвеевич Апраксин — брат царицы Марфы, жены царя Фёдора Алексеевича. Посоветовавшись друг с другом, они решили пригласить для обсуждения создавшейся ситуации ещё и трёх фельдмаршалов — князей Василия Владимировича Долгорукова, Михаила Михайловича Голицына и Ивана Юрьевича Трубецкого, а также морганатического мужа царевны Прасковьи Ивановны, сенатора и генерал-поручика Ивана Ильича Дмитриева-Мамонова.

Первым заговорил Дмитрий Голицын, прямо заявивший, что дети Екатерины I не более чем выблядки Петра I и никаких прав на престол не имеют. Он же первым назвал в качестве претендентки на престол курляндскую герцогиню Анну Ивановну. 19 января в десять часов утра Сенат, Синод и генералитет единогласно подтвердили принятое решение. После этого семь членов Верховного Тайного совета выработали условия, так называемые «Кондиции», которые, по их мысли, должна была принять Анна Ивановна, прежде чем станет императрицей. По этим «Кондициям» Анна Ивановна обязывалась: править страной вместе с Верховным Тайным советом; без его согласия не начинать войны и не заключать мира; передать в подчинение Верховному Тайному совету командование гвардией; не присваивать своей властью никаких чинов выше полковничьего; не употреблять государственные доходы для собственного пользования; не казнить никого из дворян без суда, по собственному произволу; не выходить замуж и не назначать себе преемника без согласия Верховного Тайного совета.

«Кондиции» завершались фразой: «А буде чего по сему обещанию не исполню, то лишена буду короны Российской».

Добавив к «Кондициям» письмо о том, что всё это одобрено Сенатом, Синодом и генералитетом, чего на самом деле не было, Василий Лукич Долгоруков по поручению всех других членов Верховного Тайного совета поехал в Митаву к Анне Ивановне.

Нам уже известно, что в 1727 году, сразу после смерти Екатерины I, один из её любовников, граф Рейнгольд-Густав Левенвольде уехал на свою родину — в Ливонию. Брат же его —

граф Карл-Густав Левенвольде остался в Петербурге и сделал после смерти Екатерины неплохую карьеру. Карл-Густав стал камергером при Петре II и в связи с этим имел доступ ко многим государственным тайнам. Был он осведомлён и о замысле верховников ограничить самодержавную власть Анны Ивановны.

Как только Карл-Густав узнал об этом намерении, он тотчас же написал письмо Рейнгольду-Густаву, жившему под Ригой, и отправил послание с быстроконным нарочным, который примчался к адресату, на сутки обогнав медленно ехавших в каретах представителей «верховников».

Рейнгольд-Густав ознакомился с письмом и тоже, не теряя ни минуты, понёсся в Митаву к Анне Ивановне, чтобы вовремя предупредить её о коварных планах Долгоруковых со товарищи.

Заодно он посоветовал Анне Ивановне подписать «Кондиции», не показав вида, что она знает о чём-либо, а потом, в Петербурге, уничтожить эту бумагу. Услуги братьев Левенвольде были оплачены щедро: как только Анна стала императрицей, она произвела Рейнгольда-Густава в обер-гофмаршалы, а Карла-Густава в генерал-поручики и генерал-адъютанты.

А до этого Анна Ивановна в точности последовала совету Рейнгольда-Густава. 28 января 1730 года она подписала «Кондиции» и на следующий день выехала из Митавы в Москву. 10 февраля она прибыла в Москву, объявленную покойным Петром II единственной столицей России.

Встретившие Анну Ивановну «верховники» с удовлетворением отметили, что Бирон не приехал с нею вместе, о чём специально просил её Василий Лукич Долгоруков. Зато её сопровождали жена Бирона и его дети, и это показалось сановникам, встречавшим новую императрицу, дурным предзнаменованием — вслед за женой в Москве мог появиться и муж.

На следующий день, 11 февраля 1730 года, состоялись похороны Петра II, которые откладывались в ожидании Анны Ивановны.

Когда похоронная процессия стала выстраиваться за гробом Петра II, его невесту Екатерину Долгорукову просто-напросто не подпустили к покойному, и порушенная невеста, как стали её называть, осталась вся в слезах во дворце, а потом уехала к себе. Брат её, князь Иван, был поставлен в середину процессии, хотя как ближайший друг покойного порывался идти сразу за гробом. Всё это красноречиво свидетельствовало о том, что звезда Долгоруковых закатилась.

20 февраля в Успенском соборе Кремля Анна приняла присягу высших сановников империи и князей церкви, а 25

февраля при большом стечении московских дворян и гвардейских офицеров на клочки изорвала «Кондиции». После этого она милостиво пригласила «верховников» вместе со своими сторонниками к пиршественному столу, накрытому в Грановитой палате. Во главе стола был поставлен малый императорский трон, и пока собравшиеся устраивались на своих местах, императрица вдруг встала и сошла к князю Василию Лукичу Долгорукову. Приблизившись к нему вплотную, Анна Ивановна взяла князя двумя пальцами за большой нос и повела вокруг опорного столба, поддерживавшего своды Грановитой палаты.

Обведя Долгорукова вокруг столба, Анна Ивановна остановила его против портрета Ивана Грозного и спросила:

— Князь Василий Лукич, ты знаешь, чей это портрет?

— Знаю, государыня. Царя Ивана Васильевича.

— Ну так знай, что я, хотя и баба, но такая же буду, как и он. Вы, семеро дураков, собирались водить меня за нос, да прежде-то я тебя провела.

Через десять дней специальным Манифестом Анна Ивановна и формально упразднила Верховный Тайный совет, а с течением времени все его члены оказались либо в ссылке, либо на плахе.

Сделавший более прочих для укрепления самодержавной власти офицер-преображенец Семён Андреевич Салтыков — двоюродный брат императрицы по линии матери, Прасковьи Салтыковой, на следующий же день после переворота стал генерал-лейтенантом, а вскоре и генерал-аншефом. Кроме того, он получил придворный чин гофмейстера и имение с десятью тысячами душ.

Теперь и Бирон мог приехать к своей возлюбленной, что он вскоре и сделал. Анна Ивановна снова перенесла столицу в Петербург и со всем двором переехала на берега Невы, оставив Салтыкова генерал-губернатором и главнокомандующим Москвы, а также первоприсутствующим в московской конторе Сената. 9 февраля 1732 года она пожаловала ему ещё и титул графа.

И всё же Салтыков не стал первым сановником империи. Им несомненно являлся обер-камергер Анны Ивановны Эрнст-Иоганн Бирон, пока ещё остававшийся Бюреном.

И в Митаве, и в Москве, и в Петербурге Бирон и его семья жили в одном дворце с Анной Ивановной. И до женитьбы Бирона, и после спальни герцогини Курляндской и её фаворита находились рядом и соединялись дверью. То же самое было потом и в России. Казалось бы, фаворит должен был сохранять абсолютную верность своей государыне или уж, во всяком случае, скрывать от неё свои похождения. Однако не тут то было. Как и

при дворах Петра I, Екатерины I и Петра II ветреность и переменчивость сердечных привязанностей оставались неизменными в царствование Анны Ивановны. Правда, первое время Бирон был осторожен и не подавал императрице поводов к ревности. Но, когда Анна Ивановна стала стареть и всё чаще болеть, он увлёкся по-прежнему влиятельной «конфиденткой» — доверенной подругой и наперсницей Елизаветы Петровны, уже знакомой нам Маврой Егоровной Шепелевой, которая после смерти Анны Петровны возвратилась из Киля в Петербург и снова перешла к цесаревне в прежнем своём качестве — «фрейлины двора Её Императорского Высочества». Шепелева была умна, богата, но некрасива, хотя последнему её качеству мало кто из мужчин придавал значение, вполне довольствуясь двумя первыми. Кроме того, она слыла большой искусницей в альковных делах, а эту сторону женского нрава мужчины всегда считали наизначительнейшей. Что же касается её влияния на Елизавету Петровну, то здесь Мавра Егоровна не имела равных.

Всего этого в совокупности оказалось вполне достаточно, чтобы Эрнст Бирон, имевший свои политические — и не только — виды на цесаревну, стал любовником Шепелевой, а вскоре уже и искренне, насколько он мог. сделать это, полюбил её.

Анна Ивановна знала об их романе, сердясь называла Шепелеву не иначе как «Маврушка», но ничего поделать не могла, хотя однажды не постеснялась прибегнуть к помощи нелюбимой кузины, чтобы образумить изменника. В одном из немногих писем Елизавете Петровне раздосадованная Анна Ивановна писала: «Герцог и Маврушка окончательно опошлились. Он ни одного дня не проводит дома, разъезжает с нею совершенно открыто в экипаже по городу, отдаёт с нею вместе визиты и посещает театры».

Разумеется, что амурные похождения фаворита были не самым важным его делом: для Бирона на первом месте всю жизнь стояла одна, но пламенная страсть — обладание властью. И чем более безграничной была эта власть, тем более счастлив он был. Всё же иные свои стремления, увлечения и привязанности Бирон ставил в прямую зависимость от того, способствуют ли они достижению его главной цели — безграничной, практически самодержавной, власти. Он хорошо понимал, что одного влияния на императрицу — хотя и беспредельного — недостаточно, как недостаточно и признания его первым сановником империи со стороны российских министров и фельдмаршалов. Требовалась ещё и известность в этом качестве и при важнейших иноземных дворах.

Жизнь в курляндском захолустье не способствовала широкой

известности Бирона в Европе, во всяком случае в Западной Европе. Но после приезда в Россию Анна сделала его сначала камергером, а потом и обер-камергером своего двора, затем выхлопотала у австрийского императора титул графа и, наконец, наградила фаворита орденом Андрея Первозванного. Иноземные дворы, союзные России, последовали примеру Австрии, поднося Бюрену ордена и иные знаки отличия. Тогда-то Бюрен и стал известен в Западной Европе, в том числе и во Франции, как Бирон, где среди французских аристократов блистала фамилия герцогов де Биронов.

После того как Эрнст-Иоганн в 1737 году стал герцогом Курляндским, французский герцог Бирон учтиво поздравил своего, очевидно искусственного, однофамильца, но всё же спросил его, в каком родстве находятся их герцогские династии? Эрнст-Иоганн не ответил на это письмо.

Следом за фаворитом вскоре приехали в Россию и два его брата — старший и младший.

Старший брат Бирона, Карл, ещё в ранней молодости вступил в русскую службу, но вскоре попал в плен к шведам. Карл бежал из плена и, вступив в польскую армию, дослужился до подполковника. Как только Анна Ивановна стала императрицей, Карл приехал в Москву и был удостоен чина генерал-аншефа и должности военного коменданта Москвы. Однако образцом дисциплины военный комендант не был: из-за постоянных драк в пьяном виде Карл Бирон получил так много ран и увечий, что стал инвалидом и вследствие этого оказался неспособным к службе. Вместе с тем очень многие современники единодушны в том, что он был храбр, умён и обладал несомненным воинским дарованием.

Младший брат герцога, Густав Бирон, приехал в Россию, как и старший из братьев, тоже из Польши и тоже из военной службы. Появился при дворе Анны Ивановны одновременно с Карлом. Сначала Густаву был дан чин майора гвардии, а потом, очень скоро, и генерал-аншефа.

Он не отличался ни умом, ни храбростью, и если бы не его знаменитый брат, то о нём не осталось бы ни следов, ни памяти.

Вырвавшись из митавского захолустья, Анна Ивановна с головой окунулась в роскошь и удовольствия. Однако удовольствия были грубыми и довольно однообразными, а развлечения скорее напоминали утехи средневековых восточных владык, нежели европейский политес XVIII века. Единственно, чем Анна Ивановна отличалась от своих предшественников в

лучшую сторону, — она не любила пьянства.

Но зато двор был забит юродивыми и приживалками, ворожеями и шутами, странниками и предсказателями. В шуты не гнушались идти князь Голицын, князь Волконский, родственник царицы Апраксин, гвардейский офицер Балакирев.

День новой императрицы проходил так.

Вставала Анна Ивановна в семь утра, ела за завтраком самую простую пищу, запивая её пивом и двумя рюмками венгерского вина. Гуляла за час до обеда, который был в полдень, и перед ужином — с четырёх и до половины девятого, а затем полтора часа ужинала и в десять часов ложилась спать. День её был заполнен игрой в карты, разговорами и сплетнями с приживалками и гадалками, разбором драк шутов и дураков.

Очень любила она стрельбу из ружей и была столь в ней искусна, что на лету била птиц. Во всех её комнатах стояло множество заряженных ружей, и Анна стреляла через открытые окна в сорок, ворон и даже ласточек, пролетающих мимо, почти всегда попадая в цель.

В Петергофе был заложен для неё зверинец, и в нём содержалось множество зайцев и оленей, завезённых из Германии и Сибири. Если заяц или олень пробегали мимо её окон — участь их была решена: Анна Ивановна стреляла без промаха.

Для неё был сооружён тир, и императрица стреляла по чёрной доске даже зимой при свечах. Остаток дня проводила она в манеже, обучаясь верховой езде, в чём ей очень способствовал Бирон, пропадавший в манеже и в конюшне целыми днями.

Летом же Анна Ивановна превращалась в страстную охотницу, выезжавшую со сворой гончих на травлю зайцев и лис, на ловлю зверей в силки и капканы, чтобы затем перевести своих четвероногих пленников в дворцовый зверинец.

Государственные же дела были у Анны Ивановны в таком же загоне, как у Екатерины I и Петра II. Ими занимались Бирон, Остерман, Миних и Артемий Петрович Волынский. О фактическом правителе России, герцоге Бироне, уже и при его жизни сложилось противоречивое мнение. Одни считали его глупцом и грубияном, другие — истинно государственным человеком.

Австрийский посол при петербургском дворе, граф Остейн сказал как-то о Бироне: «Он о лошадях говорит, как человек, а о людях, как лошадь». Однако чересчур опрометчиво полагать, что Бирон был глуп и бездарен. Сохранилось много доказательств и его высокой образованности, и ума, и, если было нужно, такта.

Приехав в Россию, Анна начала с того, что отправила в

ссылку всех Долгоруковых с жёнами и детьми. Фамилия была велика и потому разнообразна и в отношении к случившемуся, и в характерах, и в судьбах. Не имея возможности в этой книге рассказать о каждом из Долгоруковых, проследим судьбу лишь камергера покойного Петра II, князя Ивана Алексеевича, его невесты Натальи Борисовны Шереметевой и «порушенной царской невесты» Екатерины Алексеевны Долгоруковой с её семейством.

После смерти Петра II, уже на его похоронах стало ясно, что судьба Долгоруковых предрешена, и с каждым новым днём перед ними всё отчётливее вырисовывалась мрачная перспектива гонений и опалы.

Богатая и красивая Шереметева, помолвленная с Иваном Долгоруковым, могла бы отказаться от венчания, но она любила своего жениха, и, когда её родственники стали говорить: «Откажись от него — он тебе ещё не муж, помолвлен, да не венчан!» — Наталья Борисовна отвечала: «Войдите в рассуждение: какое это мне утешение, и честна ли совесть, когда он велик, так я с радостью за него шла, а как стал несчастлив, так и отказать ему?»

И когда прошло много лет, и Наталья Борисовна, всё же ставшая Долгоруковой, перенесла вместе со своим мужем невероятные лишения и страдания — о них речь ниже, — она написала так: «Во всех злополучиях была я моему мужу товарищем и теперь скажу самую правду: никогда не раскаивалась я, что пошла за него. Он тому свидетель. Все, любя его, сносила, ещё и его, сколь могла, подкрепляла». После похорон Петра II и дом старого князя Алексея Григорьевича Долгорукова, и дома всех его родственников, а вместе с ними и дом Шереметевой оказались как будто поражёнными чумой — никто не заезжал и не заходил, и к себе никого из опальных вельмож и их родни отнюдь не звал. Князь Алексей Григорьевич со чады и домочадцы из Москвы уехал и поселился в пятнадцати вёрстах от города, в усадьбе Горенки, в большом каменном доме, с оранжереей, с церковью, в парке с прудами. Сюда же приехала и Наталья Борисовна. Молодых обвенчали в усадебной церкви, а короткая и тихая свадьба больше походила на поминки. Когда на третий день новобрачные собрались в Москву, чтобы нанести визиты другим Долгоруковым, вдруг появился сенатский секретарь с именным императорским указом, повелевавшим всему дому Долгоруковых отправляться в ссылку. И вместо Москвы поехали Долгоруковы, куда им велено было — за восемьсот вёрст, в одну из пензенских вотчин.

Стоял апрель, таяли снега, и дорога была нелегка.

В Коломне нагнал их офицер и отобрал и у старого князя, и у его сына, бывшего камергера «кавалерии», ордена Андрея Первозванного. По дороге к Пензе начались меж Долгоруковыми раздоры. Невестку они невзлюбили сразу же и отделили Ивана и Наталью от своего кошта и даже палатку на ночь ставили им где-нибудь обочь, не на самом удобном месте. Обоз их то и дело плутал, и ночевать чаще всего приходилось то в лесу, то в поле. Через три недели доехали они до села Селище, под Касиловым, которое тоже принадлежало их семье. Не успели Долгоруковы передохнуть, как в тот же день нагнали их солдаты и велели не мешкая менять путь и отправляться в Сибирь. Под строгим караулом, не объявляя пункта назначения, семью погрузили на струг и по Оке и Каме через месяц доставили в Соликамск, а потом погнали пешком через Уральские горы. Местность была совершенно пустынна, и спать приходилось под открытым небом. В Тюмени их снова погрузили на судно, на сей раз это была старая, дырявая расшива, и повезли по Иртышу на север. Через месяц плавания расшива причалила к острову между реками Сосьвой и Вогулкой, на котором в землянках и курных избах, маленьких, кособоких, грязных жили дотоле невиданные ими люди: они ездили на собаках, ели сырую рыбу и носили на голом теле одежду из невыделанных оленьих шкур. И изб таких были сотни, а людей поболе тысячи, да церковь, да острог.

Это был печально знаменитый Березов, где умер опальный светлейший князь и генералиссимус Меншиков и где теперь предстояло жить и им.

Долгоруковых заперли в острог, и от всего пережитого в пути и увиденного в Березове старый князь через неделю умер, и лишь только успели его схоронить, как следом за ним умерла и его жена. Наталья Борисовна, бывшая уже на сносях, тихо плакала, Иван пребывал в постоянной печали, а Екатерина — неистовствовала, срывая досаду и зло на мягкосердечной и безответной Наталье Борисовне.

Со временем положение ссыльных чуть улучшилось: их стали выпускать из острога, а воинский начальник, майор Петров и местный воевода Бобровский иной раз даже приглашали их к себе в гости. Когда же у Натальи родился сын Михаил, то Петров стал его крестным отцом. Всё было бы более или менее благополучно, если бы Иван Алексеевич не подружился с отставным моряком, пьяницей Овцыным, который стал волочиться за бывшей царской невестой, а князь Иван пустился в загул и во хмелю стал говорить своему новому другу невесть что. Он рассказывал об оргиях Елизаветы, о её связи со многими дворцовыми лакеями, конюхами и истопниками, утверждал, что и сам тоже был

любовником цесаревны.

Слухи об этих пьяных сплетнях поползли по Березову и вскоре отозвались доносом в Петербург. На первых порах велено было всех Долгоруковых вновь запереть в острог и в город более не выпускать. А вслед за первым доносом пошёл второй, после чего Ивана Алексеевича отделили от семьи и посадили в землянку под замок.

В мае 1738 года в Березове появился капитан Ушаков — родственник начальника Тайной канцелярии, но под чужой фамилией и, разумеется, не в мундире. Он перезнакомился со всеми и особенно сошёлся с «порушенной невестой», которая и наговорила ему такого, что брата её из землянки в Березове отправили в Тобольск.

«Отняли у меня жизнь мою, беспримерного моего милостивого отца и мужа, с кем я хотела свой век окончить и в тюрьме была ему товарищ; эта чёрная изба, в которой я с ним жила, казалась мне веселее царских палат... Что я делала? Кричала, билась, волосы на себе драла; кто ни попадёт встречу, всем валюсь в ноги и прошу со слезами: «Помилуйте, когда вы христиане, дайте только взглянуть на него и проститься». Но не было милосердного человека, никто не утеснил меня и словом, а только взяли меня и посадили в темницу. А там через два месяца родился у меня и второй сын — Митенька», — писала потом в своих записках нежная и верная Наталья Борисовна.

В Тобольске Ушаков и генерал-поручик Василий Иванович Суворов, отец будущего великого полководца, пытками довели князя Ивана до того, что он сошёл с ума. Из Тобольска его увезли в Шлиссельбург, где уже сидели в казематах пять его двоюродных братьев и дядьёв Долгоруковых. Ивана приговорили к колесованию, а трёх родных братьев его покойного отца, Василия, Сергея и Ивана, к отсечению головы.

На казнь их всех увезли в Новгород. Когда Ивану ломали руки и ноги, он читал молитву, чуть вздрагивая при каждом новом переломе... А двух братьев Ивана, Александра и Николая, ободрали кнутом, отрезали обоим языки и заточили в вологодском остроге. Ещё одного брата, Алексея, сослали на Камчатку, Екатерину же отправили в Томский женский монастырь, где она жила в одной келье с монашками-нищенками, питавшимися подаянием.

А Наталья Борисовна подала Анне Ивановне прошение. Она просила, если муж её жив, то позволить ей быть с ним даже если он в тюрьме, а если мёртв, то отпустить её в монастырь. Императрица разрешила, и Наталья Борисовна, неся на руках младшего, Митеньку, больного и слабого, пошла с восьмилетним

Мишенькой из Березова в Москву. Они вышли в дорогу 17 июня 1740 года и ровно через четыре месяца, 17 октября, пришли в Москву. Они не знали, что именно в этот самый день в Петербурге умерла их гонительница, злой гений их семьи — Анна Ивановна.

А вот Наталья Борисовна окончила дни свои в одном из киевских женских монастырей. Там-то она и написала свои «Памятные записки», завершив их так: «Надеюсь, что всякая христианская душа обрадуется моей смерти, подумав: она перестала плакать».

Всё — во имя власти

Анна Ивановна, сокрушив «верховников», стала Всероссийской самодержицей.

Укрепляя доставшуюся ей власть, она восстановила Сенат, а 18 октября 1731 года по инициативе Остермана был образован Кабинет министров «для лучшего и порядочнейшего отправления всех государственных дел, подлежащих рассмотрению императрицы». Будучи Советом при императрице, Кабинет министров обладал широкими правами в области законодательства, управления, суда и контроля за всеми государственными учреждениями в столице и на местах.

В его состав вошли три кабинет-министра: граф Гавриил Иванович Головкин, родственник матери Петра I Натальи Кирилловны Нарышкиной, при Петре I — канцлер и президент Коллегии иностранных дел; князь Алексей Михайлович Черкасский, сенатор и один из активнейших врагов «верховников »; и граф Андрей Иванович Остерман, фактический руководитель русской внешней политики во все годы правления Анны Ивановны.

В 1735 году по указу императрицы подписи всех трёх кабинет-министров равнялись её собственной подписи. После смерти Головкина его место в Кабинете занимали последовательно Павел Иванович Ягужинский, Артемий Петрович Волынский и ближайший сподвижник Бирона Алексей Петрович Бестужев-Рюмин. По властным прерогативам Кабинет министров стал верховным учреждением государства, отодвинув Сенат на второе место.

Теперь настала пора хотя бы кратко рассказать о двух выдающихся деятелях эпохи Анны — Генрихе-Иоганне, на русский манер Андрее Ивановиче, Остермане и фельдмаршале Бурхарде-Христофоре Минихе, которого на русский лад называли Христофором Антоновичем. Первый из них был видным соратником Петра I. Остерман поступил на русскую службу ещё в 1703 году, в Амстердаме. Он и тогда уже был одним из самых образованных сотрудников Посольского приказа, а впоследствии сделал блестящую дипломатическую карьеру, подписав Ништадтский мир и став в тридцать семь лет вице-президентом Коллегии иностранных дел. Остерман вовремя отошёл от «верховников» и тем сохранил своё влияние на Анну Ивановну и Бирона.

Миних начал службу в России намного позже Остермана — с

1721 года. Пётр I сразу же дал Миниху звание инженер-генерала и поручил ему строительство шлюза на реке Тосна и прокладку двух каналов — Обводного и Ладожского. В 1728 году он был назначен генерал-губернатором Ингерманландии, Карелии и Финляндии, тогда же получив и графский титул, а с воцарением Анны Ивановны стал фельдмаршалом и президентом Военной коллегии, обойдя по должности шестерых фельдмаршалов, имевших перед ним преимущество в старшинстве. Миних обладал крутым характером, был смел, жесток, талантлив в воинском деле и с успехом командовал армией, воюя в Польше, а также против татар и турок — в Крыму и Бессарабии.

Благодаря военным успехам в Польше к власти в этой стране пришёл угодный России Август III, предоставивший трон Курляндского герцогства Бирону. А военные успехи на юге, в борьбе против татар и турок, привели к захвату армией Миниха Крыма. Прорвавшись через Перекоп, русские войска 17 июня 1736 года заняли столицу Крымского ханства — Бахчисарай, но из-за недостатка провианта, воды и начавшихся болезней вынуждены были отойти на Украину. Следующим летом войсками Миниха были взяты Очаков и Азов. И снова — на сей раз из-за эпидемии чумы — русские вынуждены были оставить занятые ими позиции и вернуться на Украину. И всё же по Белградскому мирному договору, подписанному 18 сентября 1739 года, Россия возвращала Азов и получала право на строительство крепости на Дону, на острове Черкасс.

Несмотря на военные и дипломатические успехи, общее положение империи оставалось тем не менее тяжёлым. Войны уносили много сил и средств, а денег в казне почти не было. Ежегодные рекрутские наборы плохо помогали увеличению армии, потому что каждый восьмой солдат был в бегах, а каждый третий — болел.

В 1732 году не было собрано налогов на пятнадцать миллионов рублей золотом, и по градам и весям были разосланы для сбора недоимок воинские команды.

Ещё больше команд было занято войной с преступниками — разбои и грабежи выросли невероятно. Сотни нищих и бродяг ходили по Москве, пока не стали их ловить и отдавать в солдаты, в матросы, а непригодных по возрасту и здоровью к воинской службе отсылали в каторжные работы. Только один отряд подполковника Реткина лишь в 1736 году выловил 825 воров и разбойников, а всего за десять лет царствования Анны Ивановны было сослано и казнено около сорока тысяч человек.

В 1734-м и 1735 годах был сильный голод из-за хлебного

нерода. И тогда же в Москве случился один из самых страшных пожаров — практически сгорел весь город, в том числе и Кремль. В огне погибли более двух с половиной тысяч домов, сто две церкви, одиннадцать монастырей, семнадцать богаделен, четыре дворца. Пожар довершился повальным грабежом домов, оставшихся целыми. А на фоне этого апокалипсиса по-прежнему пышно расцветала немыслимая роскошь императорских балов, фейерверков, празднеств, маскарадов.

Всё это не могло не вызывать раздражения тех подданных императрицы, которые считали положение дел в России не столь уж радостным, чтобы учинять изо дня в день великие увеселения, возбуждающие раздражение и озлобленность всех, кто не принимал в них участия. А таких было девяносто девять из ста. И даже среди тех немногих избранных, которые были вхожи во дворец императрицы, находились люди, разделявшие чувства бедных и средних дворян и простолюдинов.

К концу 30-х годов эти люди сгруппировались вокруг кабинет-министра Артемия Петровича Волынского, единственного сановника, имевшего право доклада кабинетных дел императрице.

Волынский принадлежал к числу младших сподвижников Петра I и свою закваску государственного человека получил в годы его царствования. Продвижению Волынского по службе сильно способствовала его активная деятельность в подготовке Персидского похода. Он был тогда губернатором в Астрахани, где сосредоточились главные силы армии и флота. Волынский сделал очень многое, что привело этот поход к успеху, а его самого сильно возвысило в глазах Петра I. Дело дошло до того, что Волынский посватался не к кому-нибудь, а к двоюродной сестре императора — Александре Львовне Нарышкиной. Когда Волынский осмелился на такой шаг, он был уже генерал-адъютантом Петра I, и его предложение было принято.

Не только звания и должность позволили Волынскому претендовать на руку кузины императора: по происхождению он был куда знатнее ордынских выходцев Нарышкиных, ведя свой род от Боброка-Волынского и сестры Дмитрия Донского — Анны Ивановны. Так как Боброк, герой Куликовской битвы, был литовским князем из рода Гедиминовичей, а Анна Ивановна — из рода Рюриковичей, то в истоках семьи Волынских смешалась кровь двух великих восточноевропейских династий, что переполняло Артемия Петровича честолюбивыми замыслами и отличало непомерной гордыней.

В 1738 году бывший губернатор Астрахани и Казани стал кабинет-министром и попытался свалить ненавистного многим

русским сановникам всесильного герцога Бирона.

С этой целью к себе в дом Волынский приглашал три десятка единомышленников, которых можно было назвать цветом русской интеллигенции. Не все они были посвящены в конечную цель, преследуемую Волынским, полагая, что собираются для обсуждения наиболее насущных и болезненных вопросов внутренней политики России.

Среди членов этих собраний были: советник Адмиралтейства Андрей Фёдорович Хрущев — самый близкий и наиболее доверенный конфидент Волынского, главный архитектор Петербурга Пётр Михайлович Еропкин, выдающийся историк и администратор Василий Никитич Татищев, знаменитый географ и картограф Фёдор Ивановичи Соймонов, поэт и дипломат Антиох Дмитриевич Кантемир и многие другие русские патриоты, обеспокоенные крайне неблагополучным состоянием дел в государстве, чему виной было немецкое засилье и неограниченное самодержавие императрицы.

Все они — офицеры, администраторы, учёные — подолгу служили вместе, хорошо знали друг друга и доверяли самые сокровенные мысли. Волынский не побоялся однажды назвать Анну Ивановну дурой и утверждал, что она ничего не смыслит в государственных делах.

Собираясь по вечерам у Волынского, они до утра обсуждали трактаты о государственном устройстве, сочинённые хозяином дома, спорили по поводу прочитанных иноземных книг, истолковывая труды Тацита, Макиавелли, других древних и средневековых авторов применительно к окружающей их российской действительности.

И конечно же наибольший интерес у «конфидентов» возникал тогда, когда хозяин дома приглашал их послушать собственные сочинения. Главнейшими из них были: «Генеральное рассуждение о поправлении внутренних государственных дел», «О гражданстве», «Каким образом суд и милость государям иметь надобно».

Скрывая от непосвящённых свои застольные беседы, в которых некоторые «конфиденты» не стеснялись в выражениях и оценках, Волынский, однако, предлагал прочитать отрывки из трактата «О поправлении внутренних государственных дел» даже и самой Анне Ивановне, желая обратить и её в свою веру, поскольку сами «Рассуждения» никакой крамолы не содержали.

Так что ночным сборищам в доме Волынского можно было бы и не придавать значения, если бы Артемий Петрович не стал на пути Бирона, возмечтавшего женить своего сына на племяннице императрицы мекленбургской принцессе Анне Леопольдовне.

И вот тогда-то не на шутку встревожившийся Бирон и его сторонники повернули дело таким образом, что речь идёт не о безобидных застольных диспутах, а о подготовке государственного переворота, и настояли на аресте Артемия Петровича.

Предлогом же к аресту Волынского и нескольких его товарищей послужила история, ставшая впоследствии хрестоматийной и даже вдохновившая нескольких русских беллетристов к созданию романов, в основе которых эта история и лежала. Речь идёт об эпизоде с так называемым «Ледяным домом». Вся эта эпопея имела под собою такую основу.

Князь Михаил Алексеевич Голицын — родной внук Василия Васильевича Голицына, прозванный Квасником, в юности был любимцем Петра I и по его воле поехал учиться во Францию, в Парижский университет — знаменитую Сорбонну. Потом Голицын переехал в Италию и там принял католичество.

Анна Ивановна, вступив на престол и разогнав Верховный Тайный совет, отправила многих родственников Голицына в ссылку, а князя-католика велела привезти в Петербург. И здесь, в наказание за измену вере, обратила в шута, а в 1739 году велела женить его на своей шутихе-калмычке Евдокии Ивановне Буженинова. Для их-то свадьбы и был построен на льду замерзшей Невы Ледяной дом. Он был выложен из плит чистого льда, облитых затем для крепости водой. Дом имел шесть метров в высоту, шестнадцать метров в длину и пять — в ширину, украшен был ледяными статуями, фонарями и часами. Перед домом были изваяны ледяные дельфины, слон и восемь пушек и мортир. Всё убранство двух больших комнат в доме также было сделано из льда. В стороне была построена ледяная баня, обогревавшаяся горящей соломой.

Для празднества из всех губерний России были присланы по паре инородцев, которые вместе с придворными составили свадебный кортеж в триста персон и ехали к Ледяному дому на оленях, верблюдах, свиньях, козах, собаках с музыкой и песнями. А затем была свадьба, и поэт Василий Кириллович Тредиаковский читал свои стихи. Что же касается до чтения стихов знаменитым поэтом, соперником Кантемира и Ломоносова, то последствия его выступления в Ледяном доме были поистине судьбоносными и историческими. И вот почему.

Незадолго до шутовской свадьбы один из ближайших сподвижников Бирона князь Куракин подговорил Василия Кирилловича написать шуточные стихи на Волынского, и поэт охотно выполнил это дружеское поручение. Волынскому передали эпиграмму Тредиаковского, и тот решил при случае отплатить

зубоскалу. Такой случай вскоре представился. Волынский был назначен главой Комиссии по строительству Ледяного дома и по организации всего «машкерадного действа». Кабинет-министр поручил Тредиаковскому написать стихи на открытие Ледяного дома, и вот что из всего этого вышло.

...Ниже приводится в сокращённом виде отчёт «Профессора Тредиаковского в Императорскую Академию Наук» от 10 февраля 1740 года.

Тредиаковский сообщал, что 4 февраля домой к нему явился кадет Криницын и объявил, что поэт должен немедленно идти в кабинет её Императорского Величества, а привёл его к кабинет-министру Волынскому, который находился в «камере, где маскарад обучался». И Волынский стал бить поэта «по обеим щекам, всячески браня, правое ухо оглушил, а левые глаз подбил, что он и изволил чинить в три или четыре приёма. Сие видя, помянутый господин кадет стал бить меня по обеим же щекам публично; потом с час времени спустя его превосходительство (Волынский) приказал мне спроситься, за чем я призван у господина архитектора и полковника Петра Михайловича Еропкина, который и дал мне на письме самую краткую материю, и с которой должно мне было сочинять приличные стихи к маскараду».

Наутро Тредиаковский решил пожаловаться на Волынского Бирону, но в приёмной герцога его застал Волынский и стал снова бить по щекам, затем вытолкал в шею и велел ездовому сержанту отвезти в Комиссию и посадить под караул, что и было сделано.

«Потом, — писал Тредиаковский, — несколько времени спустя, его Превосходительство прибыл и сам... и браня меня всячески, велел снять с меня шпагу, с великою яростью всего оборвать, и положить, и бить по голой спине столь жестоко и немилостиво, и дано мне было семьдесят ударов, а потом дал мне ещё палкой тридцать ударов. Потом всего изнемогшего велел поднять и обуть, а разодранную рубашку зашить и отдал меня под караул, где я ночевал в ночь на среду и твердил наизусть стихи, хотя мне уже не до стихов было, чтоб оные прочесть в потешной зале.

В среду под вечер приведён я был в маскарадном платье и в маске под караулом в оную потешную залу, где тогда мне поведено было прочесть наизусть оные стихи. По прочтении оных и по окончании маскарадной потехи отведён я паки в Комиссию под караул, где и ночевал я на четверг. В четверг призван я был поутру часов в десять в дом к его Превосходительству, где был взят пред ним и был много бранён, а потом объявил он мне, что

расстаться со мною хочет ещё побивши меня, что я услыхав, с великими слезами просил ещё его Превосходительство умилостивиться надо мною всем уже изувеченным, однако не преклонил его сердце на милость, так что тотчас велел он меня вывесть в переднюю и караульному капралу бить меня палкою ещё десять раз, что и учинено. Потом повелел мне отдать шпагу и освободить из-под караула».

Придя домой, Тредиаковский пустил себе кровь, но облегчения не почувствовал, и думая, что умирает, написал завещание и одновременно и рапорт обо всём случившемся на имя президента Академии наук. Президент граф Герман-Карл Кайзерлинг доложил обо всём случившемся императрице, и та наложила опалу на жестокого самодура Волынского. За этим последовало следствие, и совершенно неожиданно для Волынского и всех современников этот эпизод, давший только толчок, перерос в дело о государственной измене.

В апреле 1740 года Волынского привезли в следственную комиссию и обвинили в том, что он не более не менее собирался взойти на престол, отравив перед тем императрицу. И вот здесь-то древнее и благородное происхождение Рюриковича и Гедиминовича Волынского из предмета великой гордости превратилось в отягчающее вину обстоятельство, и хотя, быть может, и косвенную, но всё же весьма серьёзную улику.

Это дело было ловко состряпано Бироном, который видел в Волынском своего главного и очень опасного соперника. Волынский, даже повиснув на дыбе, не признал себя виновным в государственной измене, согласившись только с тем, что виноват во взяточничестве и мошенничестве. Его всё равно приговорили к смерти и 27 июня 1740 года привезли на место казни со ртом, заткнутым окровавленной тряпкой, потому что перед казнью ему вырвали язык. По делу Волынского были казнены и два его мнимых сообщника — Хрущёв и Еропкин, а ещё несколько человек были наказаны кнутом и сосланы в Сибирь.

Императрица Анна не намного пережила своего кабинет-министра. 5 октября этого же года она слегла, страдая сразу воспалением костей, цингой, подагрой и каменной болезнью в почках. Главная проблема, занимавшая её во время болезни, была проблема престолонаследия.

Из-за острой и стойкой неприязни к цесаревне Елизавете Петровне Анна Ивановна считала, что трон не должен достаться дочери Петра I. И потому обратила благосклонное внимание на родную племянницу Анну Леопольдовну — дочь своей родной сестры Екатерины Ивановны и герцога Карла Леопольда

Мекленбург-Шверинского.

Екатерина Ивановна — дочь царя Ивана Алексеевича и родная племянница Петра I, была выдана замуж, когда ей исполнилось двадцать четыре года. Мы встречались с нею весной 1716 года, когда Екатерина Ивановна только-только приехала в Шверин, и к ней пожаловал её дядюшка Пётр Алексеевич, который совершенно бесцеремонно утащил её на глазах молодого мужа в спальню, о чём уже рассказывалось в этой книге.

И этот эпизод, и некоторые другие пассажи такого же свойства не могли способствовать любви Карла-Леопольда к Екатерине Ивановне. К тому же герцог был мелочен, сварлив и деспотичен, а Екатерина Ивановна — вольнолюбива, независима и горда своим царским происхождением. На первых порах жизнь супругов перемежалась ссорами и примирениями и полтора-два года была кое-как терпима.

7 декабря 1718 года у них родилась дочь, которую крестили по протестантскому обряду и нарекли Елизаветой-Христиной. После её рождения семейная жизнь Карла-Леопольда и Екатерины Ивановны вконец разладилась, и после трёх лет мучений Екатерина Ивановна, забрав с собою дочь, уехала в Россию.

Пётр встретил её неприветливо, и Екатерина Ивановна поселилась у своей матери, пятидесятишестилетней вдовы царя Ивана — Прасковьи Фёдоровны, урождённой Салтыковой.

И Екатерина Ивановна и Прасковья Фёдоровна были необразованны, суеверны, почитали за грех чтение богопротивных, еретических нецерковных книг и потому маленькую Елизавету-Христину обучили только православному катехизису и началам богословия, тем более что она должна была переменить религию и креститься ещё раз по православному обряду.

Так дело шло до восшествия на престол её родной тётки, бездетной Анны Ивановны, которая сохраняла старый, полувековой уже, но всё ещё непреодолённый антагонизм между Милославскими и Нарышкиными и, будучи сама по матери Милославской, хотела сохранить трон за своей кровной роднёй, отказывая в этом родственникам Нарышкиных.

Поэтому, вступив на престол, Анна Ивановна приблизила к себе единственную племянницу и стала подготавливать её к наследованию престола. В православии её наставником был Феофан Прокопович — образованнейший богослов, один из высших иерархов русской церкви, автор Истории об избрании и восшествии на престол государыни Анны Ивановны, которую он считал продолжательницей дела Петра Великого, чьим непоколебимым сторонником был до конца своих дней.

Прокопович подготовил её и к крещению по православному обряду.

С другими науками дело обстояло похуже. Анна Леопольдовна выучила немецкий и французский языки, пристрастилась к чтению светских книг, но дальше дело не пошло — девочка плохо усваивала и географию, и арифметику, и историю.

Когда ей исполнилось двенадцать лет, встал вопрос о замужестве. Поиском жениха занялся Левенвольде и вскоре представил две кандидатуры — Бранденбургского маркграфа Карла и Брауншвейг-Беверн-Люнебургского принца Антона-Ульриха. Из политических соображений Карл был отвергнут, ибо за ним стояла Пруссия, сближение с которой было нежелательно, а за Антоном-Ульрихом стояла Австрия, так как он доводился племянником австрийскому императору Карлу VI, что представлялось намного предпочтительнее. Выбор был сделан в пользу Австрии, и 28 января 1733 года Антон-Ульрих приехал в Россию. 12 мая того же года жених присутствовал при крещении невесты по православному обряду, когда Елизавета-Христина получила имя Анны Леопольдовны, разумеется, в честь её крестной матери императрицы Анны.

Однако со свадьбой не торопились из-за совершенно очевидной холодности и даже враждебности Анны Леопольдовны к навязанному ей жениху. Сторонники принцессы объясняли это юностью невесты — ей шёл всего лишь пятнадцатый год, и на этом основании решили отложить свадьбу до её совершеннолетия. А дело было не в возрасте, а во вкусах невесты — Антон-Ульрих был маленького роста, хрупок и женоподобен, сильно заикался, а его мягкость и податливость воспринимались как бесхарактерность и трусость.

Решение было разумным, потому что и жених тоже был ещё молод — ему сравнялось только восемнадцать, и императрица считала, что со временем всё образуется и жених с невестой привыкнут друг к другу.

А пока решено было отдать принца в военную службу, и здесь оказалось, что он и расторопен, и смел, и любим своими солдатами.

В 1735 году, когда Анне Леопольдовне шёл семнадцатый год, она вдруг влюбилась в тридцатипятилетнего саксонского посланника при петербургском дворе, красавца и щёголя графа Линара. Екатерина II, увидевшая Линара через пятнадцать лет, так обрисовала его: по внешности это был в полном смысле фат. Он был высокого роста, хорошо сложен, рыжевато-белокурый, с нежным, как у женщины, цветом лица. Говорят, что он так

ухаживал за своей кожей, что каждый день перед сном покрывал лицо и руки помадой и спал в перчатках и маске. Он хвастался, что имел восемнадцать детей и что все их кормилицы могли заниматься этим делом по его милости. Граф Линар имел белый дамский орден и носил одежду самых светлых цветов — небесно-голубого, абрикосового, лилового, телесного.

А ведь речь шла о пятидесятилетием селадоне. Что же можно было рассказать о Линаре пятнадцатью годами раньше?

Разумеется, Анна Ивановна вскоре узнала об этом и выслала графа обратно в Саксонию.

Между тем Антон-Ульрих дослужился до чина полковника и стал командиром кирасирского полка. В 1737 году он, поступив под команду фельдмаршала Миниха, принял участие в войне с Турцией и отличился при штурме Очакова. Принц всё более укреплялся во мнении императрицы как достойный претендент на руку её племянницы и, наконец, 3 июля 1739 года, после шестилетнего пребывания в России в ранге жениха, стал законным супругом Анны Леопольдовны.

12 августа 1740 года у Антона-Ульриха и Анны Леопольдовны родился сын, названный Иваном. В это время императрица Анна Ивановна была уже сильно озабочена вопросом о престолонаследии из-за того, что часто болела, и потому поспешила стать крестной матерью младенца, ещё раз подчеркнув его близость к своей августейшей особе, тем более что младенец приходился ей внучатым племянником. После крестин Анна Ивановна тут же забрала мальчика к себе во дворец и поместила в покои рядом с собственной спальней. 5 октября того же года, когда Ивану Антоновичу ещё не было и двух месяцев, умиравшая Анна Ивановна специальным Манифестом объявила младенца великим князем с титулом Императорского Высочества и наследником российского престола.

А через одиннадцать дней, понимая, что кончина её совсем рядом, императрица подписала ещё один Манифест, которым назначала регента при Иване Антоновиче. Им стал не отец младенца — герцог Брауншвейг-Люнебургский Антон-Ульрих, и не его мать — Анна Леопольдовна, великая российская княгиня, внучка законного русского царя Ивана Алексеевича, а курляндский выходец сомнительного происхождения, к тому же не пользовавшийся симпатиями многих сановников империи, — герцог Бирон.

В этом была заложена мина замедленного действия, и она вскоре сработала.

Подписав Манифест, Анна Ивановна попрощалась с каждым из собравшихся у её постели, последним удостоив Миниха.

— Прощай, фельдмаршал. Простите все, — сказала она и умерла.

«ИМПЕРАТРИКС ЕЛИСАВЕТ»

Пришло время, и в многолетний спор Нарышкиных с Милославскими о власти вновь вмешалась рука Провидения. На этот раз — в лице гвардии. Чаша весов склонилась в пользу потомков Петра Великого, и его дочь Елизавета была возведена на престол.

Унаследовав от отца безудержный темперамент и любовь к развлечениям, «императрикс Елисавет», как она себя называла, к счастью, оказалась небесталанной и в государственных делах. Она преклонялась перед памятью отца, и хотя сама не проявила больших способностей, однако за двадцать лет своего правления сумела найти и поддержать в своём окружении людей, которые преумножили славу России.

Историк С. М. Соловьёв считал главными заслугами Елизаветы свержение немецкого режима, систематическое покровительство всему национальному и гуманность. И хотя точка зрения Соловьёва не бесспорна, всё же, думается, можно согласиться с его утверждением, что время Елизаветы многое подготовило для следующей эпохи.

Нас же больше будут интересовать не государственные дела, а личная жизнь императрицы, оказавшая безусловное влияние на ход событий.

Анна Леопольдовна, «Великая княгиня, Императорское Высочество»

Начнём с событий, последовавших после кончины Анны Ивановны. На следующий день после её смерти, 18 октября 1740 года, все присягнули новому императору-младенцу и его регенту Бирону. Но на этом тихое и благополучное для Бирона развитие событий кончилось. Тем более что Бирон повёл себя настолько нагло, что полностью устранил родителей императора от всех дел. Когда же принц Антон-Ульрих высказал своё неудовольствие, регент принудил его подать в отставку, а Анне Леопольдовне пригрозил высылкой из России. Тогда гвардия открыто призвала к свержению Бирона, называя регентами при Иване VI или мать, или отца императора. На сторону гвардейцев стали и Антон-Ульрих, и Анна Леопольдовна, а первым и важнейшим действующим лицом неминуемого переворота сделался главный соперник Бирона фельдмаршал Миних.

Он действовал решительно и энергично. Через три недели после смерти Анны Ивановны, в ночь с 8 на 9 ноября, Миних с тремя десятками преображенцев и со своим адъютантом Манштейном пришёл в Летний дворец, где жили регент и его жена, и арестовал их. В ту же ночь был арестован младший брат Бирона и его немногочисленные сторонники, а чуть позже — и старший брат Карл, бывший всего несколько дней главнокомандующим в Москве.

Во время всего переворота не произошло ни единого выстрела, и к шести утра всё было кончено. А уже в восемь утра всех, взятых под стражу, посадив в арестантские кареты, повезли в Шлиссельбург.

Регентство, продолжавшееся двадцать два дня, закончилось. На смену ему пришло новое правление, в котором роль регентши должна была играть Анна Леопольдовна. Но и её правление оказалось очень недолгим. Однако в день переворота этого никто ещё не знал.

Как только Бирона отвезли в Шлиссельбург, тотчас же приступили к конфискации его имущества, находившегося в Петербурге.

Утверждали, что он накопил денег и драгоценностей на четырнадцать миллионов рублей. Среди вещей был у его жены и туалетный стол из чистого золота, украшенный драгоценными камнями. Все дома Бирона в Курляндии были опечатаны, но

дружественно настроенный к опальному герцогу польский король Август III попросил пока что ничего не трогать.

Король просил и о высылке Бирона из России в Курляндию, но получил отказ, ибо, как ему было сказано, «вины Бирона велики и несчислимы». Когда же был наконец вынесен приговор, то его читали народу в церквах три воскресенья подряд. Бирона обвинили во всех смертных грехах, но прежде всего в том, что он покушался на жизнь покойной императрицы, что сам написал акт о передаче ему власти, а также о многократных случаях превышения власти. 8 апреля 1741 года его приговорили к четвертованию, но Анна Леопольдовна заменила мучительную смерть вечной ссылкой в Пелым, на Северный Урал, за три тысячи вёрст от Петербурга.

Там быстро выстроили четырёхкомнатный дом по чертежам, сделанным лично Минихом — вот где пригодились ему знания инженера, — не подозревавшим, что в этом самом доме вскоре придётся очутиться ему самому. Но пока дом предназначался для Бирона и его семьи. В соседних домах были поселены шестеро слуг, а содержание от казны было весьма щедрым — 450 рублей в месяц.

Очередная коронная перемена, произошедшая в Петербурге, отдала судьбу России в руки двадцатидвухлетней женщины — ленивой, чувственной и весьма недалёкой, которая, сохраняя титул Великой княгини, отныне именовалась и Императорским Высочеством.

Анна Леопольдовна почти всё время валялась в постели, читая душещипательные французские романы и постоянно беседуя со своей возлюбленной фрейлиной Юлией Мангден, о которой ходил упорный слух, что она и регентша — лесбиянки. Возможно, такой слух распространился из-за того, что Анна Леопольдовна могла сутки напролёт проводить время в одной постели с Юлией Менгден. И хотя многие современники утверждали, что это — не порочная любовь, а платонические чувства двух близких друг другу душ и сердец, всё же находились и такие, которые утверждали обратное. Как бы то ни было, но обе женщины не могли и часа провести друг без друга и постоянно находились рядом.

Как только Анна Леопольдовна превратилась в первую персону в государстве, она стала делать то, чего раньше делать не могла из-за покойной императрицы. Первым делом возле неё появился граф Линар. На сей раз его амурная игра была несколько усложнена — граф, приехав в Петербург, продолжал при каждом удобном случае выражать глубочайшую

влюблённость в Анну Леопольдовну, но одновременно откровенно волочиться и за Юлией Менгден.

Наконец, с благословения регентши, он сделал предложение её фрейлине, но было решено, что они останутся пока втроём, ибо невозможно было разлучить двух любящих женщин и, таким образом, возник классический треугольник, который вскоре распался, ибо Линар срочно уехал в Дрезден, взяв с собой кучу денег и шкатулку с бриллиантами, которые, как говорили, он повёз дрезденским ювелирам для того, чтобы сделать корону для Анны Леопольдовны, желавшей превратиться из регентши и Великой княгини в Российскую императрицу.

Во всё время поездки Линар получал нежнейшие письма от Анны Леопольдовны, а в Петербурге уже видели в нём нового Бирона и полагали, что Антон-Ульрих вскоре же станет не более чем марионеткой Б руках всесильного фаворита.

А в то время как Линар занимался ювелирными забавами, в верхних этажах власти начались новые баталии. Миних, арестовавший Бирона и занявший пост Первого министра, продолжая оставаться и Президентом Военной коллегии, стал внушать Остерману и его сторонникам большие опасения из-за почти необъятной власти, сосредоточившейся в его руках. Чтобы создать фельдмаршалу достаточно серьёзный противовес, Антону-Ульриху присвоили звание генералиссимуса, князю Алексею Михайловичу Черкасскому — генерал-адмирала, и таким образом Миних перестал быть бесспорно первым военным России. К тому же его противницей была и регентша и, что не менее опасно, граф Остерман — хитрый, умный, очень осторожный и дальновидный политик. Воспользовавшись тем, что Миних в декабре 1740 года заболел, Остерман сумел внушить регентше мысль, что это — надолго, что фельдмаршал не только болен, но и стар — ему шёл пятьдесят восьмой год, и потому почтенный воин нуждается в покое и должен быть освобождён от непосильных для него государственных дел.

С этого момента Брауншвейгская чета начала откровенно пренебрегать Минихом: регентша не принимала его, отсылая к мужу, а тот, если и удостаивал фельдмаршала краткой и холодной аудиенции, то подчёркнуто вёл себя с ним, как с подчинённым, давая ему понять, что перед ним не только герцог, но и генералиссимус. Не выдержав нового непривычного для него унизительного положения, Миних в марте 1741 года подал в отставку, и она немедленно была принята.

За этими коллизиями внимательно следили все противники Брауншвейгской фамилии и её в общем-то немногочисленного окружения. И ими прежде всего были гвардейские офицеры. Они

сделали ставку на цесаревну Елизавету Петровну и составили «комплот», как на старофранцузский манер именовали тогда заговор.

Комплот в действии

Брауншвейгская фамилия, её немецкие и русские сторонники располагали кое-какими сведениями о готовящемся заговоре, но как минимум недооценивали его опасности. Остерман знал, что одним из заговорщиков является французский посол маркиз Иоахим-Жак де Шетарди, имевший прямое указание своего правительства всячески способствовать приходу к власти Елизаветы Петровны. Другим иностранным дипломатом, сориентированным на то же самое, был шведский посол Нолькен, становившийся, таким образом, естественным союзником де Шетарди.

Хуже обстояло у правительства дело с осведомлённостью о своих собственных, отечественных заговорщиках. По-видимому, подозреваемых было много, так как в гвардии каждый второй мог почитаться сторонником Елизаветы, и потому, опасаясь невольно спровоцировать и ускорить подготавливавшийся взрыв, никаких действий власти до поры до времени не предпринимали.

Весной 1741 года в Петербурге распространились слухи о раскрытии заговора, об ожидаемом заключении Елизаветы в монастырь и даже о её предстоящей казни. Говорили, что Елизавета и её очередной фаворит — Семён Кириллович Нарышкин тайно обвенчались, и теперь у новой августейшей четы появилось намерение овладеть российским троном. Дело кончилось, однако, не тюрьмой, а высылкой Нарышкина в Париж.

Разговоры прекратились из-за того, что в июле 1741 года началась очередная война России со Швецией, и общественное мнение теперь оказалось полностью поглощено военными действиями, происходившими неподалёку от Петербурга. Но война — войной, а заговор — заговором. Тем более что в него потихоньку вовлекались всё новые люди, среди которых немаловажную роль стал играть и ещё один иностранец — лейб-медик Елизаветы Петровны Арман Лесток.

Француз-протестант Иоганн-Герман Лесток, на французский лад — Арман, в России — Иван Иванович, родился в Ганновере, куда его родители уехали из-за религиозных преследований. Его отец — искусный хирург, ставший в Ганновере врачом герцога Люнебургского, обучил своему ремеслу и сына, проявившего, кстати, немалые способности.

Однако Иоганну-Герману было тесно в немецкой провинции, и он уехал в Париж, вступив врачом во французскую армию. Молодому, красивому, жадному до развлечений, но крайне

бедному лекарю хронически не хватало денег. К тому же Лесток был безудержный волокита и повеса, и его амурные приключения следовали беспрерывно. Страдая от бедности и невозможности жить в своё удовольствие, он отправил в 1713 году письмо в Петербург, предлагая свои услуги хирурга, и получил приглашение из Аптекарской канцелярии при Коллегии иностранных дел. По приезде в Россию Лесток был представлен Петру I и так понравился царю своим нравом, внешностью, образованностью, что тут же был назначен лейб-хирургом Его Величества. А вскоре и завсегдатаем застолий царя и царицы. Когда в 1716 году Пётр и Екатерина более чем на год отправились за границу, Лесток в качестве лейб-хирурга Екатерины провёл рядом с нею всё путешествие, давая немало поводов к довольно нескромным пересудам.

Вернувшись в Петербург, молодой хирург чувствовал себя в царской семье уже совсем своим человеком. Но вдруг совершенно неожиданно его постигла царская немилость, Пётр велел Лестоку немедленно покинуть Петербург и уехать в Казань для занятий всё тем же ремеслом. Причиной опалы было то, что Лесток решился поухаживать за женой и дочерьми любимого шута Петра I испанского еврея д'Акосты. Шут не стал жаловаться царю, а посадил и жену и дочерей под домашний арест. Лестоку же д'Акоста сказал, что если тот ещё раз появится возле дома, то он прикажет побить кавалера палками. Лесток всё же решил переговорить с одной из дочерей д'Акосты, желая сделать ей официальное предложение о женитьбе. Однако не успел он войти в дом, как на него напали четыре человека и, повалив на землю, стали его бить, отняли у него парик, часы, бумажник и футляр с хирургическими инструментами. А после этого отвели Лестока под стражу, откуда он попал в Преображенский приказ, где и просидел под караулом четыре месяца.

Начальник приказа, знаменитый Андрей Ушаков, докладывая Петру, отметил, что ни в чём другом Лесток не виноват, а кроме того, из-за четырёхмесячной отсидки в тюрьме «он в великой десперации находится — то есть в состоянии, близком к помешательству, — и опасно, дабы не учинил какой над собой причины». И предложил ограничиться ссылкой Лестока в Казань.

Через четыре года, как только Пётр I умер, Екатерина I тут же вернула своего лейб-хирурга в Петербург и приставила его к цесаревне Елизавете. С этих пор Лесток прочно вошёл в высший петербургский свет, сохранив прекрасные отношения и со старой московской знатью. Умел он ладить и с Бироном, и с Остерманом, и с Волынским, который конфиденциально читал ему свои секретные сочинения: «Генеральное рассуждение о поправлении

внутренних государственных дел» и «Записку о недостоинстве окружающих императрицу людей и о печальном положении людей достойных». Не попав вместе с Волынским на плаху и даже избежав ссылки, Лесток опасался новой опалы, гораздо худшей, чем прежняя, и потому примкнул к заговору, составленному сторонниками Елизаветы, а вскоре стал играть в нём одну из ведущих ролей.

По роду своей профессии он был вхож в любой дом, а из-за хорошего знания нескольких языков был незаменим в сношениях с иностранцами. Он-то и стал посредником между французским послом де Шетарди и шведским Нолькеном.

Маркиз де Шетарди прибыл в Петербург в 1739 году, а более или менее сблизился с Елизаветой лишь после падения Бирона, в конце 1740 года, но и тогда вёл себя с ней крайне сдержанно и осторожно, так как ещё не имел инструкций своего министра иностранных дел. От союзного Франции шведского посла де Шетарди узнал, что на организацию заговора Швеция ассигновала сто тысяч червонцев. И хотя солидность суммы говорила и об основательности намерений, и о достаточной прочности задуманного предприятия, тем не менее долгое время прошло в колебаниях, проявляемых обоими иностранными заговорщиками.

Так обстояло дело до последней декады ноября 1741 года, когда в действие вступило испытанное средство неожиданных и насильственных коронных перемен — петербургская гвардия.

Толчком к совершению государственного переворота послужили два обстоятельства. Во-первых, 23 ноября на куртаге — торжественном дворцовом приёме с выходом их высочеств, состоявшемся в Зимнем дворце, Анна Леопольдовна сказала Елизавете, что попросит отозвать де Шетарди во Францию, а Лестока прикажет арестовать. Во-вторых, 24 ноября гвардии было приказано выступить в поход к Выборгу, где шли военные действия против шведов. Чисто по-человечески можно было вполне понять нежелание гвардейцев уходить в самом начале зимы из тёплых петербургских квартир под Выборг. А кроме того, Елизавета и её сторонники-гвардейцы не без оснований опасались, что если они покорно уйдут из столицы, то заговор будет немедленно разгромлен, лишившись своей единственной серьёзной опоры.

И в этих обстоятельствах решающую роль сыграли не холодность расчёта, не готовность заговорщиков, а, как это ни парадоксально, трусость Лестока, более всего боявшегося пыточного каземата Петропавловской крепости. Он ежечасно торопил Елизавету, призывая её начать немедленные действия, и пугал тем, что и она разделит его участь и будет не просто

насильно пострижена и навечно заточена в монастырь или же пожизненно заключена в крепость, но и, возможно, повешена.

Лесток рассказывал, что поздним вечером 24 ноября 1741 года он в последний раз пришёл к Елизавете и положил перед нею две игральные карты. На одной из них Лесток нарисовал цесаревну в короне и мантии, на другой — её же в монашеском клобуке и чёрной рясе, стоящей под виселицей.

Взглянув на рисунки Лестока, Елизавета решилась. Переворот начался.

«Любезная весёлая царевна»

Но прежде чем рассказать, как он происходил и чем закончился, возвратимся к тому времени, когда мы расстались с Елизаветой Петровной. А это произошло после того, как в Москве появилась Анна Ивановна, которая настолько не любила Елизавету, что порой далее размышляла об аресте племянницы и заточении её в крепость.

Немаловажно заметить, что такие идеи подавал Анне Ивановне Миних, а Бирон и Остерман возражали против этого. Особенно категорическим противником ареста Елизаветы Петровны был Бирон, что впоследствии отразилось на его судьбе. Впрочем, на судьбах Миниха и Остермана их отношение к Елизавете Петровне тоже сказалось. Но об этом — чуть впереди.

А теперь вернёмся в 1730 год, ко дню коронации Анны Ивановны, и постепенно восстановим основные моменты из жизни цесаревны до начала 1741 года, когда начал созревать заговор.

Близкие ей люди утверждали, что Елизавета Петровна спаслась от тюрьмы и ссылки вследствие весёлого, легкомысленного нрава, а также изумительно малой образованности: до конца дней своих она, например, так и не поверила, что Англия — это остров (действительно, что за государство на острове!).

В «Записке о воцарении Екатерины II» граф Никита Иванович Панин, говоря об Елизавете Петровне, замечал: «Государыня эта была очень умна от природы, но столь мало образована, что недостатком образования выделялась даже среди женщин».

Зато внешне цесаревна была необыкновенно хороша. По словам одного современника, во время коронации Анны Ивановны принцессу Елизавету разглядел некий гамбургский профессор, который от красоты её сошёл с ума и вошёл обратно в ум, только возвратившись в город Гамбург».

Восторг, приведший некоего гамбургского профессора к безумию, разделяли по отношению к цесаревне почти все, кто её видел. Её бесспорно считали одной из самых красивых, буквально умопомрачительных женщин России. Видный русский историк, прекрасный знаток XVIII века Василий Алексеевич Бильбасов так писал о Елизавете Петровне: «Стройная, с густою каштановою косою и тёмными бровями, оттеняющими большие голубые глаза, с привлекательною улыбкой, легко переходившей в шаловливый смех, выказывавший строй белых зубов, всегда приветливая с

чужими, ласковая с близкими, живая, любезная, весёлая, царевна Елизавета Петровна производила чарующее впечатление.

Враждебно относившийся к царевне испанский посланник герцог де Лириа называл её красоту сверхъестественной. Французские резиденты Дави и Кампредон считали её красавицей...

Трудно пересчитать все проекты брачных союзов, составлявшихся ради Елизаветы Петровны, всех искателей её руки и счастливцев, избранных её сердцем».

Во всяком случае, её сватали и за Людовика XV, и за трёх французских герцогов, и за семерых германских принцев, и за наследника португальского престола, и за сына персидского шаха Надира, не считая русских претендентов — её племянника Петра II и двух князей — Ивана Долгорукого и Александра Меншикова, единственного сына всесильного фаворита.

Что же касается счастливцев, избранных её сердцем, то наиболее близкими и любимыми были не короли и принцы, а чаще всего люди простого звания. Первым талантом цесаревны считался Александр Борисович Бутурлин, солдат гвардии, определённый в Морской шляхетний корпус. Выпущенный из него мичманом, Бутурлин был взят царём Петром в денщики. После смерти Петра Екатерина I обратила на него своё благосклонное внимание и в 1725 году сделала Бутурлина гоф-юнкером двора своей дочери — цесаревны Елизаветы.

В ту пору Елизавете было шестнадцать лет, а Бутурлину шёл 31 год. Несмотря на то что до этого он был одним из денщиков Петра I, он сохранял хорошие отношения и со сторонниками царевича Алексея, и с окружением императора.

Как только Пётр II взошёл на престол, он отблагодарил Бутурлина за расположение к своему отцу, наградив его орденом Александра Невского и пожаловав чины действительного камергера и генерал-майора. Однако благосклонность императора буквально испарилась, как только Пётр II узнал об истинных отношениях Бутурлина с Елизаветой, в которую юный император был тогда влюблён. На Бутурлина донесли Долгоруковы: они не простили ему того, что в политической борьбе при дворе он занял сторону Бестужева, своего старого друга и единомышленника и врага Долгоруковых. Пётр II тут же отправил своего счастливого соперника в Украинскую армию, а в 1731 году ещё дальше — на границу с Персией.

Столь же неудачным оказался и второй роман Елизаветы Петровны с обер-гофмейстером императорского двора Семёном Кирилловичем Нарышкиным. В 1739 году его даже прочили в мужья Елизавете Петровне, а потом из-за слухов о произошедшем

тайном венчании отослали в Париж. Перед отъездом в Париж Нарышкину было строго наказано соблюдать глубочайшее инкогнито, проживая во Франции под фамилией дворянина Тенкина.

Вернуться в Россию Семёну Кирилловичу удалось лишь после вступления Елизаветы на престол, когда ему уже ничто не могло угрожать. Вскоре по возвращении в Петербург именно он встречал в 1744 году Ангальт-Цербстскую принцессу Софью-Шарлотту — будущую российскую императрицу Екатерину II.

В том же году он стал гофмаршалом «малого двора» и во всё время царствования Елизаветы Петровны пользовался её симпатией и расположением.

После того как Пётр II разлучил Елизавету Петровну с Нарышкиным, она нашла утешение в бурной и искренней страсти с Алексеем Яковлевичем Шубиным, бедным дворянином из окрестностей Александровой слободы. Он привлёк Елизавету своей сказочной красотой, ласковым и ловким обхождением и весёлостью нрава. Елизавета приблизила Шубина, когда он был прапорщиком лейб-гвардии Семёновского полка.

Цесаревна уехала со своим новым возлюбленным на его родину и там, наслаждаясь любовью, с утра до вечера гуляла по окрестным полям и лугам, водила хороводы с деревенскими девушками, играла в горелки с парнями и очень любила щеголять в тесно обтягивающем офицерском мундире.

Эта связь почему-то особенно не понравилась Анне Ивановне, и она приказала сослать Шубина на Камчатку, повелев женить его там на камчадалке.

Поговаривали и о том, что ссылка Шубина не обошлась без Бирона, тайно любившего красавицу Елизавету, из-за которого, как думал временщик, он не может добиться взаимности от цесаревны.

А между тем ссыльный прапорщик был едва ли не самым любимым мужчиной в жизни Елизаветы. Может быть, только два будущих её фаворита, Алексей Разумовский да Иван Шувалов лишь в какой-то степени могли с ним сравниться.

Во всяком случае, Шубин был единственным возлюбленным, которому цесаревна посвятила стихи.

Вот они:

Я не в своей мочи огнь утушить
Сердцем болею — да чем пособить,
Что всегда разлучно И без тебя скучно.
Лучше бы тя не знати,

Нежль так страдати Всегда по тебе.

Не будем строго судить Елизавету-поэта. Ведь эти стихи были написаны во времена Кантемира и Тредиаковского, которые, ей Богу, писали не лучше.

Только после вступления Елизаветы на престол Шубина с большим трудом после двухлетних поисков нашли на Камчатке. Причём ни сам Шубин, ни жители его стойбища не знали, что в России уже два года царствует Елизавета Петровна, — в такой глубокой глуши они жили. Привезя Шубина в Петербург, его «за невинное претерпение» произвели в генерал-майоры и наградили орденом Александра Невского. Получив богатые поместья в Ярославском и Нижегородском уездах и вскоре же присвоенный ему очередной чин генерал-поручика, Шубин через год вышел в отставку и удалился на покой в одну из своих деревень.

А Елизавета Петровна, пока её возлюбленный пребывал в ссылке, с истинно поэтическим легкомыслием утешалась в объятиях целой череды кратковременных любовников.

Это были: конюх Никита Андреянович Возжинский, не имевший фамилии из-за своего «подлого» происхождения и получивший её от названия одного из атрибутов своей профессии; юный прелестник, камер-паж Пимен Лялин; столь же юный сын другого её кучера — Ермолай Скворцов.

Все они, как только Елизавета оказалась на троне, мгновенно стали камергерами, получив и значительные поместья, и потомственное дворянство.

Среди близких Елизавете людей был и дворцовый истопник Василий Васильевич Чулков. Природа не одарила его ни красотой, ни ростом. Он был безобразен лицом и очень мал. Но у Чулкова было очевидное преимущество — Василий обладал исключительно тонким слухом и, когда дремал, был необычайно чуток. Елизавета очень боялась ночного ареста, и потому Чулков все ночи проводил в комнате перед её спальней, подрёмывая, но не засыпая, в кресле. Оттого-то и он, знавший о всех талантах своей госпожи, проходивших мимо него в её опочивальню, так же как и они, был удостоен императорских милостей. Да только милости эти были большими, чем у мимолётных фаворитов. Если каждый из них стал только камергером, то истопник Чулков получил всё, что и они, а кроме того орден Александра Невского, чин генерал-поручика и большие богатые поместья.

Однако и Лялин, и Возжинский, и Скворцов оказались не более чем мотыльками-однодневками по сравнению с новым их

соперником, прочно завладевшим сердцем цесаревны.

...В 1731 году полковник Фёдор Степанович Вишневский возвратился в Петербург из Венгрии, куда он ездил покупать вино для двора Анны Ивановны. Он привёз императрице не только обоз с вином, но и прекрасного лицом и статью двадцатидвухлетнего казака-малоросса Алексея Розума, встреченного им по дороге возле села Чемер, что неподалёку от города Глухова, на пути из Киева в Чернигов. Полковник, остановившись на роздых, услышал, как поёт Розум, и упросил чемерского дьячка, у которого Алексей жил, отпустить певца в Петербург. Там парень был представлен обер-гофмаршалу Рейгольду Левенвольде, и тот поместил его в дворцовый хор Анны Ивановны. А оттуда Розума забрала к себе цесаревна Елизавета, поражённая и дивным голосом и сказочной красотой своего ровесника-певчего.

Маркиз де Шетарди, хорошо осведомлённый об интимных делах двора, писал в 1742 году о событиях, произошедших за десять лет до того: «Некая Нарышкина, вышедшая с тех пор замуж (речь идёт об Анастасии Михайловне Нарышкиной, вышедшей замуж за генерал-майора Василия Андреевича Измайлова и ставшая затем статс-дамой Екатерины II), женщина, обладающая большими аппетитами и приятельница цесаревны Елизаветы, была поражена лицом Разумовского, случайно попавшегося ей на глаза. Оно действительно прекрасно: брюнет с чёрной, очень густой бородой, а черты его, хотя и несколько крупные, отличаются приятностью, свойственной тонкому лицу. Высокого роста, широкоплеч... Нарышкина обыкновенно не оставляла промежутка времени между возникновением желания и его удовлетворением. Она так искусно повела дело, что Разумовский от неё не ускользнул. Изнеможение, в котором она находилась, возвращаясь к себе, встревожило цесаревну Елизавету и возбудило её любопытство. Нарышкина не скрыла от неё ничего. Тотчас же было принято решение привязать к себе этого жестокосердого человека, недоступного чувству сострадания».

К этому времени Шубин уже томился в неволе, а конюхи и истопники не шли ни в какое сравнение с неожиданно появившимся могучим чернобородым любовником.

Елизавета пришла в восторг от альковных утех с ним и огромной силы его страсти. Приближая Разумовского к своей особе, Елизавета сначала переименовала своего нового друга из певчих в «придворные бандуристы», а затем он стал и «гоф-интендантом», получив под своё начало двор и все имения своей благодетельницы-цесаревны.

Став одним из влиятельных придворных, Розум, превратившийся в Алексея Григорьевича Разумовского, остался

добрым, скромным, умным человеком, каким и был прежде. Он любил свою мать, заботился о брате и трёх сёстрах, посылая им деньги, принимал своих деревенских земляков, приезжавших в Петербург, и старался никому не делать зла.

Появившись рядом с Елизаветой Петровной в 1731 году, Алексей Разумовский оказался чуждым дворцовых интриг, политических игр, коварства, хитростей, борения страстей и не изменил себе на протяжении всей своей жизни. Этими качествами он снискал уважение многих сановников и аристократов. В числе его друзей были и многие родственники Елизаветы Петровны. И сама цесаревна, казалось, приняла тот образ жизни и характер отношений, какой был свойствен её «другу нелицемерному», как в одном из писем назвала она своего возлюбленного Алексея Разумовского.

Кроме того, не следует забывать, что и Алексей и Елизавета были необычайно сладострастны, молоды и сильны, и обуревавшую их страсть ставили на первое место среди всех прочих чувств.

Уже в самом конце описанных здесь событий, когда заговор вот-вот должен был разразиться, произошёл эпизод, красноречиво свидетельствующий об интимных отношениях Елизаветы с Разумовским, а в связи с этим и о подлинных её отношениях с Лестоком. Об этом в довольно изысканной манере и вместе с тем не без натуралистических подробностей информировал прусского короля Фридриха II его посол Мардефельд: «Особа, о которой идёт речь, соединяет в себе большую красоту, чарующую грацию и чрезвычайно много приятного с большим умом и набожностью, исполняя внешние обряды с беспримерной точностью». Добавим, что эта её набожность, любовь к церковным службам и особенно к их обрядовой стороне, как и сердечная склонность цесаревны к русским песням, хороводам и простонародной пище, приводили в восторг патриотов, негодовавших против засилья немцев, руководивших страной, но не знавших даже её языка. Переходя же к личным отношениям цесаревны и её лейб-медика, Мардефельд продолжал: «Родившаяся под роковым созвездием, то есть в самую минуту нежной встречи Марса с Венерой, она ежедневно по несколько раз приносит жертву на алтаре матери Амура — то есть Венеры, значительно превосходя такими набожными делами супруг императора Клавдия и Сигизмунда (Агриппины и Марии, прославившихся крайней развращённостью). Первым жрецом, отличённым ею (Елизаветой Петровной) был подданный Нептуна, простой рослый матрос — кадет Морского шляхетского корпуса Александр Бутурлин. Теперь эта важная должность не занята в продолжение двух лет. До того

её исполняли жрецы, не имевшие особого значения (Возжинский, Лялин, Скворцов и масса других). Наконец нашёлся достойный в лице Аполлона с громовым голосом, уроженец Украины, и должность засияла с новым блеском. Не щадя сил,[1] он слишком усердствовал, и с ним стали делаться обмороки, что побудило однажды его покровительницу отправиться в полном дезабилье к Гиппократу (то есть Лестоку), посвящённому в тайны, чтобы просить его оказать помощь больному. Застав лекаря в постели, она уселась на край её и упрашивала его встать. А он, напротив, стал приглашать её позабавиться. В своём нетерпении помочь другу сердечному (то есть потерявшему сознание Разумовскому) она отвечала с сердцем: «Сам знаешь, что не про тебя печь топится!» «Ну, — ответил он грубо, — разве не лучше бы тебе заняться этим со мной, чем со столькими из подонков?» Но разговор этим ограничился, и Лесток повиновался».

Из этого письма Мардефельда следует, что, несмотря на известную зависимость Елизаветы от Лестока, как одного из главных участников заговора, она не ответила на его притязания, ибо в это время на первое место у цесаревны выступили политические амбиции.

Экстремальные обстоятельства, при которых неотвратимой реальностью могли стать и тюрьма и плаха, всё чаще заставляли Елизавету вспоминать, что она — не кто-нибудь, а дочь всемирно прославленного первого всероссийского императора. Но она боялась преследований и всеми способами делала вид, что грязная политика её не касается, что вся она поглощена любовью и удовольствиями: пела, плясала, охотилась, кутила и развлекалась.

Так и проходила жизнь родной дочери Петра Великого и при племяннике её Петре II, и при тётке Анне Ивановне, и при формальном императоре Иване VI, её внучатом племяннике, который её отцу, императору Петру Великому, был и вовсе десятая вода на киселе. А Елизавета Петровна свято верила, что её права на российский императорский трон единственно законные и самые из всех основательные. И конечно же знала, что и многие в России помнят о том, чья она дочь, и убеждены в её правах на престол.

Переворот

И вот наступила ночь с 24 на 25 ноября 1741 года — ночь очередного дворцового переворота, когда волею судьбы рядом с цесаревной оказались: врач — француз Арман Лес ток, русский аристократ камер-юнкер Михаил Воронцов, мелкий служитель из Академии наук — немец Карл Шварц и рядовой Преображенского полка, крещёный еврей Пётр Грюнштейн.

Так как именно этот квартет сыграл главную партию в грядущем перевороте, имеет смысл познакомиться с каждым из новых героев поподробнее.

Об Армане Лестоке мы уже знаем. Что же касается Михаила Илларионовича Воронцова, то он был камер-юнкером Елизаветы с четырнадцати лет. Михаил пользовался расположением цесаревны ещё и потому, что в трудных для неё финансовых обстоятельствах ссужал деньги, которые давал ему старший брат — Роман Воронцов, женатый на богатой купчихе Марфе Ивановне Сурминой. Эта сторона отношений была скрыта от непосвящённых и придавала им оттенок дружеской доверительности, которая впоследствии переросла в прочное доверие, позволившее ввести Михаила Воронцова в круг главных участников переворота.

Третий участник заговора — Христофор-Якоб, на русский манер Карл Иванович, Шварц был вначале трубачом в Семёновском полку, но из-за скудости заработка играл ещё и на свадьбах и похоронах, безуспешно пытаясь стать дворцовым музыкантом. Есть сведения, что, когда цесаревна была ещё ребёнком, он некоторое время давал ей уроки музыки. Не имея успеха в Петербурге, Шварц решил поправить свои дела в чужих краях и добился назначения в русскую дипломатическую миссию, отправлявшуюся в Китай. Эта миссия готовилась ещё при жизни Петра I, но начало её деятельности относится к осени 1725 года.

Итак, на подмостках истории Шварц появился тогда, когда рядом с ним оказался Савва Лукич Владиславич-Рагузинский, как именовался он в документах того времени, «действительный статский советник, чрезвычайный посланник и полномочный министр, иллирический граф» (Иллирия — западная часть Балканского полуострова — ныне Словения и Хорватия).

Савва Рагузинский перед отъездом в Китай 1 сентября 1725 года подал в Государственную Коллегию иностранных дел «доношение», в коем просил включить в состав его миссии и

Шварца. «Шварц, — писал в одном из последующих донесений Рагузинский, — в Швеции инженерству учился и в практике фортецы (то есть крепости) строил, хотя ныне и трубачом при мне обретается». Когда посольство доехало до Селенги, Шилки и Амура, Шварц после долгих поисков нашёл отличное место для строительства двух новых крепостей — Селенгинской и Нерчинской, а после того составил и чертежи для их строительства. Рагузинский сообщал также, что Шварц, с его слов, «при шведских и датских войсках в инженерном деле служил и сказывает, что такому делу из младенчества обучался».

И наконец, следует упомянуть и об ещё одном активном участнике заговора — Юрии или, по другим данным, Петре Грюнштейне. Он был рядовым в Преображенском полку и вместе со Шварцем вёл агитацию в пользу Елизаветы Петровны в гренадерской роте, которая и стала главной силой в совершении государственного переворота.

Однако прежде, чем это случилось, произошли и другие события, предопределившие успех задуманного предприятия.

Вспомним, что 25 ноября гвардия должна была выступить в поход и письменные приказы об этом уже были разосланы в гвардейские полки. Вспомним также, что Лесток принёс Елизавете рисунки, на которых были изображены трон и виселица.

Вместе с Лестоком вечером 23 ноября 1741 года пришли к Елизавете и несколько гвардейцев, самым решительным и красноречивым из которых оказался солдат Грюнштейн.

Было решено, что на следующую ночь гвардейцы арестуют Антона-Ульриха и Анну Леопольдовну. Для того чтобы быть уверенным в успехе, Грюнштейн предложил цесаревне выдать деньги на жалованье гвардейцам. У Елизаветы денег не было, но на следующее утро она отдала петербургским ювелирам свои бриллианты под залог и получила необходимую сумму.

В одиннадцать часов вечера 24 ноября Грюнштейн с двенадцатью гвардейцами, его приятелями, пришли к цесаревне и заявили, что для них предпочтительнее совершить государственный переворот, нежели идти среди зимы под Выборг.

Елизавета собрала у себя людей, которым абсолютно доверяла. Это были: Лесток, Шварц, Алексей Разумовский, трое Шуваловых — Пётр, Александр и Иван, Михаил Воронцов, дядя Анны Ивановны Василий Салтыков и дядья цесаревны — Карл и Фридрих Скавронские, Симон Гендриков, Михаил Ефимовский и принц Эссен-Гомбургский с женою. И хотя все собравшиеся были достаточно единодушны, главная героиня заговора, Елизавета, всё ещё колебалась.

Тогда Лесток надел ей на шею орден Святой Екатерины, учреждённый в память о мужестве и предприимчивости её матери, дал в руки серебряное распятие и вывел из дворца к ожидавшим у ворот саням. Усадив цесаревну в сани, Лесток сел с нею рядом, а Воронцов и Иван Шувалов встали на запятки, за ними следом помчались Грюнштейн с товарищами, Разумовский, Салтыков и Шуваловы — Александр и Пётр.

Все заговорщики остановились возле кордегардии Преображенского полка и попытались пройти в казармы, но часовой ударил в барабан, выбивая сигнал тревоги. Тогда Лесток ударом кинжала пробил барабанную шкуру, и Грюнштейн с товарищами побежали в казармы полка. Преображенцы жили не в корпусах, а в отдельных избах, и их военный городок представлял собою деревню. Здесь жили солдаты, сержанты, капралы и дежурные офицеры, а свободные от службы офицеры ночевали по своим особнякам в городе. Заговорщики разбудили всех, и Елизавета вышла к собравшимся с распятием в руках.

Она взяла с них клятву верности и приказала никого не убивать. Солдаты поклялись, и 364 человека пошли по Невскому проспекту к Зимнему дворцу. У Адмиралтейства заговорщики остановились. Лесток отобрал ударную группу из двадцати пяти человек, а из их числа выбрал восемь солдат, которые, изобразив ночной патруль, подошли к четырём часовым, стоявшим у входа в Зимний и, внезапно напав на них, обезоружили.

Затем заговорщики пошли во дворец, арестовали Анну Леопольдовну и Антона-Ульриха, а младенца Ивана передали на руки Елизавете Петровне. Она бережно завернула ребёнка в тёплое одеяло и повезла к себе во дворец, приговаривая: «Бедный, невинный крошка! Во всём виноваты только твои родители!» Разумеется, это было бесспорно, да только «бедный невинный крошка» после того двадцать два года просидел в разных секретных тюрьмах и в конце концов 4 июля 1764 года в возрасте двадцати четырёх лет был убит стражей при попытке освободить его из Шлиссельбургской крепости подпоручиком Смоленского пехотного полка Василием Яковлевичем Мировичем…

Под утро 25 ноября Елизавета привезла в свой дворец не только низложенного императора-младенца, но и его родителей, где их всех взяли под арест. Кроме герцогской четы были арестованы ещё шесть человек: Юлия Менгден, Головкин, Остерман, Миних, Левенвольде и Лопухин.

Чтобы навсегда расстаться с «брауншвейгской фамилией», забегая вперёд скажем, что сначала их всех решили выслать на родину, но, довезя до Риги, посадили там в крепость, а затем

стали перевозить как арестантов из одного острога в другой.

Анна Леопольдовна умерла от неудачных родов 7 марта 1746 года в Холмогорах, под Архангельском, на двадцать восьмом году жизни. После неё на руках Антона-Ульриха осталось пятеро детей — Иван, Пётр, Алексей, Елизавета и Екатерина. Заметим, что имена детей были родовыми, царскими, и даже это, казалось, таило в себе определённую опасность.

Тело Анны Леопольдовны, по приказу Елизаветы, увезли в Петербург и там торжественно похоронили в Благовещенской церкви Александро-Невского монастыря, объявив, что причиной смерти была горячка-«огневица», а не роды, так как появление на свет нового претендента на трон нужно было скрыть. А в 1756 году у Антона-Ульриха забрали шестнадцатилетнего сына Ивана и увезли в Шлиссельбург, в одиночный каземат, не сказав, разумеется, несчастному отцу, куда и зачем увозят от него сына.

Когда в 1762 году, более чем через двадцать лет после ареста «брауншвейгской фамилии» на трон взошла Екатерина II, Антону-Ульриху была предложена свобода, при условии, что все его дети останутся там же, где и жили, — в Холмогорах. Однако Антон-Ульрих отказался оставить детей и не поехал в Данию, где королевой была его родная сестра Юлиана-Мария. Жизни на воле, в достатке, но без них, он предпочёл неволю с детьми. От горя и нервных потрясений, от страданий и тоски по своему первенцу — Ивану Антоновичу, о чьей судьбе ему ничего не было известно, Антон-Ульрих ослеп. Он умер 4 мая 1774 года в Холмогорах, в возрасте шестидесяти лет. Место его захоронения неизвестно.

О судьбе Ивана Антоновича будет ещё рассказано дальше, а что касается двух его братьев и сестёр, то судьба их была такова: проведя сорок лет в заточении и ссылке, в 1780 году они были освобождены и отправлены из Ново-Двинской крепости в датский город Горсенс. Там они и стали жить, получая ежегодную пенсию от Екатерины по восемь тысяч рублей в год на каждого. Это позволяло доживать несчастным детям Анны Леопольдовны в достатке и без забот. Да только не всем им оставалось долго жить — через два года умерла Елизавета, ещё через пять — Алексей.

Пётр прожил на свободе восемнадцать лет, умерев в 1798 году. Последней осталась одинокая, глухая и косноязычная Екатерина, к тому же умевшая говорить только по-русски. Она долго просилась обратно в Россию, чтобы умереть в одном из монастырей, ибо и по крещению была православной, но ей было отказано. Екатерина умерла после всех, 9 апреля 1807 года.

Начало нового царствования

Новое царствование, как и всякое иное, началось с раздачи наград и милостей тем, кто оказался «в случае». Если даже тихое, спокойное и легитимное восшествие на престол непременно сопровождалось отличиями и пожалованиями, то благодарность победительницы в борьбе без правил, которую ещё вчера ждал каземат, монастырь или даже эшафот, не знала границ.

Всем были известны и враги Елизаветы, и её сторонники, и потому ни для кого не были неожиданными милости по отношению к тем, кто возвёл её на трон, — солдатам и офицерам-преображенцам.

Гренадерская рота лейб-гвардии Преображенского полка, состоявшая из 364 человек, Указом императрицы от 31 декабря 1741 года была поименована «Лейб-кампанией», а все её солдаты и сержанты произведены в офицеры и получили щедрые подарки.

300 рядовых солдат-гренадер стали поручиками, 12 капралов — капитанами, 6 вице-сержантов — премьер-майорами; прапорщик и квартирмейстер — секунд-майорами, 8 сержантов — подполковниками.

Ещё большие повышения ожидали офицеров: прапорщик стал полковником, адъютант — бригадиром, два подпоручика — генерал-майорами, два поручика — генерал-лейтенантами, командир роты — капитан-поручик — получил чин генерал-аншефа. Сама же Елизавета стала капитаном лейб-кампании.

Солдаты не из дворян получили права потомственных дворян и вместе с тем — поместья и крепостных крестьян, впрочем, в среднем каждый лейб-кампаниец стал владельцем 29 душ. Все они теперь имели гербы с одним и тем же девизом: «За верность и ревность», особую форму и особое содержание.

Что же касается главных заговорщиков — Воронцова, Лестока, Шварца и Грюнштейна, то судьбы их оказались хотя и разными, но в чём-то сильно схожими.

В первые же дни после удавшегося переворота каждый из них получил и чины и награды. Камер-юнкер Михаил Илларионович Воронцов стал генерал-майором, Шварц — полковником, Грюнштейн — бригадиром и лейб-кампании адъютантом, Лесток — первым лейб-медиком и действительным тайным советником.

В ночь на 25 ноября именно Воронцов арестовал Антона-Ульриха и Анну Леопольдовну, и он вправе был рассчитывать на наивысшую награду. Так и произошло. Кроме чина генерал-майора он был удостоен придворного звания действительного

камергера и награждён богатыми поместьями с сотнями крепостных.

Вскоре, 2 января 1742 года, менее чем через полтора месяца после переворота, Воронцов женился на племяннице Елизаветы — графине Анне Карловне Скавронской, а ещё через два года и сам был удостоен титула графа.

Заслуги Лестока были вознаграждены и тем, что он был назначен Главным директором Медицинской канцелярии с окладом в семь тысяч рублей в год. Ему бы следовало удовлетвориться достигнутым, но Лесток возомнил себя первым царедворцем и начал вмешиваться даже в назначения министров и в переговоры с иноземными послами. Он стал открыто поддерживать маркиза Шетарди и действовать в пользу Франции, а затем, за пенсии и взятки от Берлинского двора, и в пользу Пруссии. Глава Коллегии иностранных дел Алексей Петрович Бестужев-Рюмин сумел убедить Елизавету в необходимости высылки Лестока из России, что и было сделано. Правда, пилюлю хорошо подсластили милостивой аудиенцией и богатыми подарками. И всё же Лесток вскоре вернулся в Россию и вступил с Воронцовым и послами Франции и Пруссии в секретный антиправительственный заговор. Бестужев, перлюстрируя переписку Лестока и организовав полицейскую слежку, предоставил Елизавете Петровне неопровержимые улики против Лестока. В ноябре 1748 года лейб-медик был арестован, допрошен с применением пыток и, хотя ни в чём не сознался, приговорён к наказанию кнутом и пожизненной ссылке в Охотск. Однако Елизавета приказала оставить Лестока и его жену, арестованную вместе с ним, в Петропавловской крепости, особо указав на то, чтобы их содержали в довольстве и сытости, никаких обид им не чинили и даже разрешила иметь слугу и служанку. В 1750 году супругов Лесток перевезли в Углич, потом — в Устюг и только с воцарением в 1762 года Петра III, после четырнадцати лет заключения и ссылки, вернули в Петербург. Но пожить на свободе Лестоку пришлось недолго — через пять лет, 12 июня 1767 года, он умер.

Не лучше сложилась и судьба Грюнштейна. Сначала всё шло хорошо. Он женился 8 ноября 1742 года, причём его сватьей была сама Елизавета Петровна, пожаловавшая жениху и невесте богатые поместья. Вскоре императрица присвоила ему и новый чин — генерал-майора. Такие почести вскружили голову Грюнштейну не менее, чем Лестоку, и он замахнулся на генерал-прокурора Сената, князя и генерал-аншефа Никиту Юрьевича Трубецкого. Императрица сумела их примирить, но не сумела образумить зарвавшегося лейб-кампанца на будущее.

В сентябре 1744 года Грюнштейн, оказавшись с группой лейб-кампанцев в Нежине, где жила мать Алексея Григорьевича Разумовского Наталья Демьяновна, побил палками одного из её зятьев, бунчугового товарища Власа Климовича за то, что тот не уступил дорогу его карете. Вдобавок Грюнштейн стал хулить семью Разумовских нечистыми словами и грозился побить и самое Наталью Демьяновну. А ведь она была не просто матерью Разумовского, но и свекровью императрицы, потому что весной 1742 года Елизавета Петровна и Разумовский обвенчались. Да и Власа Климовича Грюнштейн побил зря: бунчуговый товарищ был не последним человеком в гетманской администрации. Бунчужный — особа, занимавшая при гетмане Украины одну из самых почётных должностей, в обязанность коей входила защита бунчука — войсковой регалии, равнозначной войсковому знамени и булаве. У бунчужного в подчинении состояли его «товарищи», то есть его помощники, подчинявшиеся только самому гетману и исполнявшие его поручения по военной, административной и дипломатической части. Когда младший брат Алексея Григорьевича Разумовского — Кирилл Григорьевич, стал гетманом Украины, то трое их шуринов — мужья их трёх сестёр — немедленно стали бунчуговыми товарищами, получая кроме почёта ещё и хорошее жалованье.

Так что Грюнштейн поднял руку на важную персону. Но самое главное, обнаглевший Грюнштейн бил Власа Климовича, не обращая внимания на мольбы и слёзы Натальи Демьяновны. Новоиспечённый генерал неистовствовал до тех пор, пока прибежавшие казаки не побили палками его самого и не повязали.

Всё случившееся Грюнштейну с рук не сошло. Его привезли в Тайную канцелярию, а уж там припомнили и многие другие его вины и проделки. Не желая пытать лейб-кампанцев — участников и свидетелей нежинской свары, императрица приговорила Грюнштейна к ссылке в Устюг, куда вскоре прибыли и супруги Лесток. Как и Лесток, Грюнштейн был возвращён в Петербург в 1762 году, но там не остался: уехал в одно из подаренных ему имений.

А вот полковник Христофор-Якоб Шварц, получив воинское звание, тут же оставил службу и подался в подаренное ему императрицей поместье. Он был холост, любил выпить и проявлял необузданное пристрастие к прекрасному полу. Однажды Шварц набросился на девушку-крестьянку, пытаясь силой овладеть ею. Девушка не поддалась, схватила вилы и насмерть заколола насильника.

Так закончил свою жизнь четвёртый активный участник

дворцового переворота.

А теперь возвратимся к исходу 1741 года. Мы помним, что самый его конец, последний день декабря, ознаменовался Указом императрицы о создании Лейб-кампании и о наградах лейб-кампанцам.

Вслед за тем последовали дальнейшие награды, приуроченные к неизбежным празднествам: присяге, коронации и прочим торжествам, связанным с воцарением новой государыни.

Императрица и Разумовский после переворота уже не считали необходимым хотя бы из приличия скрывать свои интимные отношения. Фаворит поселился в апартаментах, находящихся рядом со спальней императрицы и, не стесняясь дворцовых служителей, приходил к своей возлюбленной в ночных туфлях и халате.

30 ноября, на пятый день прихода Елизаветы к власти, Разумовский стал действительным камергером и генерал-поручиком. Вскоре после ареста и отстранения от должностей Бирона, Остермана, Миниха и Левенвольде с их немногочисленными сторонниками на важнейших государственных постах появились сановники с чисто русскими фамилиями. Современникам казалось, что с воцарением Елизаветы изменилось существо национальной политики России. Но это только казалось, ибо новые русские министры — Бестужев-Рюмин, Воронцов, Олсуфьев и Волков, получали от иностранных дворов не меньшие пенсии и подношения, чем их немецкие предшественники. Правда, сама императрица при каждом удобном случае любила говорить, что русский офицер или русский чиновник для неё всегда предпочтительнее иноземца, но существа дела это не изменило, ибо система оставалась прежней и в своей основе и в принципах.

Помня хорошее к себе отношение Бирона, Елизавета приказала возвратить его из Пелыма, однако въезд в Петербург и Москву для него остался закрытым, но место поселения было далеко не самым худшим: герцог и всё его семейство переехало в Ярославль.

Елизавета велела купить для него большой дом и вернуть опальному временщику полтора десятка слуг, мебель, кареты, серебряную посуду и библиотеку. На его содержание казна отпускала большие деньги, но сам герцог, несмотря на всё это, находился под стражей и даже на охоту ездил в сопровождении караульных. Так прожил Бирон всё царствование Елизаветы — все двадцать лет. Вернулся он в Петербург лишь после её смерти, когда ему уже перевалило за семьдесят.

Иная судьба ожидала врагов Бирона — Остермана и Миниха. Их приговорили к четвертованию. На Васильевском острове, против здания Двенадцати коллегий, построили эшафот и приготовили всё необходимое для мучительной смертной казни.

Первым подвели к эшафоту Миниха. Он шёл из недалёкой отсюда Петропавловской крепости с высоко поднятой головой, твёрдой походкой, чисто выбритый, в сверкающих ботфортах и красном фельдмаршальском плаще. Офицеры стражи, шедшие с ним рядом, потом вспоминали, что старый фельдмаршал рассказывал им о сражениях, в которых довелось ему побывать, был совершенно спокоен и даже улыбался. Миних быстро и твёрдо взошёл на эшафот и без тени страха подошёл к плахе с воткнутым в неё огромным топором, которым его через несколько минут должны были, живого, разрубить на куски.

Ему прочитали приговор о четвертовании, но потом, после недолгой паузы, сообщили, что смертная казнь заменяется вечной ссылкой. Фельдмаршал, не переменясь в лице, выслушал и это и, так же спокойно сойдя с эшафота, отправился обратно в Петропавловскую крепость.

С Остерманом была проделана та же процедура, и очевидцы утверждали, что он держался столь же достойно и мужественно. После этого Остермана повезли в Березов, где до него жили Меншиковы и Долгоруковы. Его поселили в доме Меншикова, и он, проведя в его стенах шесть лет, умер.

Миниха отвезли в Пелым, где он оказался в доме Бирона: план этого дома, как мы уже говорили, Миних нарисовал собственноручно — ведь он был инженером, — не предполагая, что в этом же доме ему самому придётся прожить более двадцати лет. Миних ещё ждал, когда его отправят в Пелым, когда Бирон уже выехал в Ярославль. По иронии судьбы случилось так, что экипажи Бирона и Миниха встретились на столбовой дороге и бывшие великие сановники — герцог и фельдмаршал — посмотрели друг на друга и, даже не кивнув один другому, молча разъехались.

Живя в Пелыме, Миних писал мемуары, учил местных детей математике, разводил скот, оставаясь спокойным и, кажется, совершенно равнодушным к постигшему его несчастью.

Его возвратили в Петербург одновременно с Бироном, и оба они, несмотря на то что Миниху было уже 79 лет, а Бирону — 72, сумели сыграть немаловажную роль в истории России. Но к этому мы ещё вернёмся.

Коронация и венчание

Переходя к материям более серьёзным, заметим, что одним из значительных внутриполитических мероприятий было уничтожение некогда всесильного Кабинета. Сохранив своё прежнее название, он был преобразован в Канцелярию императрицы, выполняя чисто технические функции по делам, касающимся непосредственно Елизаветы.

Некоторые вопросы деятельности ликвидированного Кабинета стал выполнять Сенат, состоявший из дюжины сенаторов, которым было предоставлено право выносить решения по судебным, финансовым и административным делам.

Что же касается дел иностранных, военных и морских, то они были выведены из его компетенции. Во главе Сената вновь оказался генерал-прокурор, который теперь был не только «оком и ухом государевым», но и сосредоточивал в своих руках значительную исполнительную власть по всем аспектам внутреннего управления.

В этой должности во всё царствование Елизаветы оставался один и тот же человек — князь Никита Юрьевич Трубецкой, происходивший из рода Брянских и Новгород-Северских князей. Его дядя Иван Юрьевич был последним русским боярином, умершим в 1750 году в глубокой старости. Отец Никиты Юрьевича был женат на княжне Черкасской и, таким образом, он принадлежал к российской знати наивысшего разряда.

Будучи генерал-прокурором Сената он председательствовал в суде над Остерманом и впоследствии удерживался на посту генерал-прокурора, став в 1756 году фельдмаршалом, а ещё через четыре года был «пожалован и в президенты Военной коллегии».

Человек обширного и просвещённого ума, Трубецкой на протяжении восьми царствований сумел ни разу не попасть в опалу и всё время оставался среди наиболее видных государственных деятелей. По должности именно он на протяжении двадцати лет возглавлял Сенат, практически осуществляя законодательную и в значительной части — исполнительную власть во внутренней политике. И во многом именно благодаря Трубецкому сущность внутренней политики двадцать лет оставалась неизменной, а преемственность ненарушаемой.

Главная тенденция внутренней политики Елизаветы и её правительства — постоянный рост привилегий дворянства и всё большее утеснение податных сословий, особенно крестьян. Уже

на следующий год после прихода Елизаветы к власти помещичьим крестьянам было запрещено по собственному желанию поступать на службу в армию и флот. Затем дворянам-крепостникам было разрешено продавать свою крещёную собственность в рекруты, не спрашивая на то согласия рекрута.

И наконец, помещики получили право по собственному произволу ссылать неугодных крестьян в Сибирь. Причём каждый сосланный зачитывался за одного рекрута. Дворянам же сократили сроки службы, снизили налоги и подати, увеличили размеры льгот, пособий и пенсий.

Внешняя политика России в царствование Елизаветы Петровны отличалась почти всё время миролюбием и сдержанностью. Доставшаяся ей в наследство война со Швецией была завершена летом 1743 года подписанием Абоского мирного договора, и до 1757 года — целых четырнадцать лет — Россия не воевала.

Что же касается Семилетней войны с Пруссией, то участие в ней России оказалось случайностью, роковым образом связанной с интригами международных политиков-авантюристов. Об этом будет подробно рассказано ниже.

Для всякого монарха одним из важнейших государственных актов является коронация. И Елизавета Петровна, подобно своим предшественникам, тоже имела в виду совершение этой важнейшей церемонии. Однако прежде новая императрица, три года назад перешагнувшая порог тридцатилетия и уже оставившая надежду произвести на свет принца или принцессу — наследника или наследницу Российского престола, решила уладить свои семейные и наследственные дела. С этой целью она приказала привезти в Петербург своего ближайшего родственника — сына её родной сестры Анны Петровны, вышедшей замуж за Шлезвиг-Гольштейнского герцога Карла-Фридриха. Мальчика звали Карлом-Петром-Ульрихом. Мы уже упоминали о том, что мать Карла-Петра-Ульриха родила его 10 февраля 1728 года и вскорости умерла от воспаления лёгких.

Итак, бездетная Российская императрица, державная тётка Елизавета Петровна решила, что, прежде чем произойдёт коронация, к ней в Петербург приедет её племянник, внук Петра I, потенциальный русский император, а ныне круглый сирота, но наследственный Гольштейн-Готторпский герцог — Карл-Пётр-Ульрих. «По странной игре случая в лице этого принца, — писал академик-историк Василий Осипович Ключевский, — совершилось загробное примирение двух величайших соперников начала XVIII века — Пётр III был сын дочери Петра I и внук

сестры Карла XII».

Будущий российский император в детстве был очень несчастен. Мать он не помнил, а отец его скончался, когда Петру было одиннадцать лет. Чтобы пристроить сироту хоть куда-нибудь, Петра отправили к его дальнему родственнику в Любек, где тот занимал епископскую кафедру. Епископ дал в наставники мальчику двух учителей — фон Брюмера и Берггольца. Оба этих наставника были невежды, пьяницы и грубияны. Они часто били мальчика, держали его на хлебе и воде, а то и просто морили голодом, ставя на колени в угол столовой, откуда он наблюдал за тем, как проходит обед. Если же Пётр крал из кухни кусок хлеба, то к экзекуции добавлялось и нечто новое: поставив принца на колени, в руки ему давали пучок розог, а на шею вешали рисунок, на коем был изображён осёл.

Неудивительно, что Пётр рос худым, болезненным, запуганным и начисто лишённым чувства собственного достоинства. Ко всем прочему он стал лживым и патологически хвастливым. Учителя, порой пребывавшие в добром расположении духа, приучили своего воспитанника к спиртному, и он пристрастился к питию почти с детства, предпочитая всем прочим общество кучеров, лакеев, слуги служанок, которых трудно было считать скромными или добродетельными. Из-за этого он не любил учиться, а всё время посвящал забавам и потехам. Любимым его занятием были игры с оловянными солдатиками, а любимым зрелищем — пожары. Впоследствии эта страсть стала почти маниакальной: став Великим князем, Пётр Фёдорович велел будить себя даже среди ночи, лишь бы не пропустить очередного пожара.

И вдруг этому праздному времяпрепровождению пришёл конец. Как только на российский престол взошла Елизавета, Петру было велено начать изучение русского языка и православных канонов, которые стали ему преподавать два приехавших из России наставника. Однако дело заглохло в самом начале, потому что возникло предположение, что Петра ждёт не российский трон, а шведский, так как по матери он был внуком Петра I, а по отцу — внуком сестры шведского короля Карла XII. По-видимому, именно на его примере природа решила убедительно продемонстрировать очевидность того, что на потомках великих людей она отдыхает.

Не успел несчастный принц взяться за шведский язык и протестантский катехизис, как Фортуна вновь повернулась: в конце 1741 года его судьба была окончательно решена — Карла-Петра-Ульриха ждала Россия.

В январе 1742 года он въехал в Петербург под радостные

крики тысяч людей, устроивших ему торжественную и тёплую встречу. Принца сразу же стали обучать русскому языку и догматам православного вероисповедания, причём во втором случае дело было поручено высокообразованному священнику, хорошо знавшему немецкий язык.

А пока принц с великим трудом и со столь же великой неохотой занимался науками, началась подготовка к коронации его августейшей тётки Елизаветы. Церемония, по традиции, должна была проходить в Москве. 28 февраля 1742 года Елизавета торжественно въехала в первопрестольную, а коронация состоялась через два месяца — 25 апреля. В этот же день Алексей Разумовский стал кавалером ордена Андрея Первозванного и обер-егермейстером. Гендриковы, Ефимовские, Пётр Михайлович Бестужев-Рюмин и два его сына, вице-канцлер Алексей Петрович и обер-гофмаршал Михаил Петрович, получили графские титулы, а секретарь Елизаветы Петровны, Иван Антонович Черкасский, стал бароном.

Вскоре после коронации Елизавета Петровна без всякой помпы обвенчалась с Разумовским в бедной небольшой церковке подмосковного села Перово. Обряд венчания произвёл её духовник Фёдор Яковлевич Дубянский, очень образованный богослов, пользовавшийся большим уважением у набожной императрицы. В память о венчании на куполе церкви, вокруг основания креста была установлена царская корона.

После того как венчание было окончено, Елизавета Петровна зашла в дом к местному священнику, выпила с ним и с попадьёй чаю, а выходя из дома, сказала Алексею Григорьевичу Разумовскому — теперь уже её законному, венчанному мужу, что она хочет познакомиться со своей свекровью — Натальей Демьяновной, овдовевшей крестьянкой, содержавшей корчму неподалёку от города Глухова, и велела послать за нею карету.

Три сестры Алексея Григорьевича — Агафья, Анна и Вера и младший брат Кирилл жили в Черниговской губернии, в Козелецком уезде, на хуторе Лемеши вместе с матерью Натальей Демьяновной. Мать держала шинок, Кирилл пас скотину, а сёстры все были замужем за местными: Агафья — за ткачом Будлянским, Анна — за закройщиком Закревским, а Вера — за казаком Дараганом.

Когда в Лемеши прибыл целый кортеж придворных карет, изумлению хуторян не было предела.

— Где живёт здесь госпожа Разумовская? — спросили приехавшие.

— У нас никогда не было такой пани, а есть, ваша милость, вдова Розумиха, шинкарка, — по-украински отвечали хуторяне.

Когда же Наталья Демьяновна вышла к ним, то приехавшие поднесли ей богатые подарки и среди прочего — соболью шубу. Затем они стали просить её вместе со всеми детьми поехать в Москву, к сыну.

— Люди добрые, не насмехайтесь надо мною, что я вам плохого сделала? — отвечала Наталья Демьяновна. Однако она явно лукавила и в глубине души верила случившемуся, потому что кое-какие слухи всё-таки до неё доходили.

Немного поломавшись, шинкарка постелила соболью шубу у порога своей хаты, посадила на неё родных — и дочерей, и зятьёв, и кумовьёв, и сватьёв со свахами, выпила с ними горилки — «погладить дорожку, шоб ровна була», — и, обрядившись во всё самое лучшее, отправилась в Москву, где после коронации всё ещё оставался двор.

Почтительный сын выехал ей навстречу и в нескольких вёрстах от Москвы увидел знакомые ему кареты. Он приказал остановить собственный экипаж и пошёл навстречу матери, одетый в расшитый золотом камергерский мундир, в белом пудреном парике, в чулках и туфлях, при шпаге и широкой шёлковой орденской ленте. Когда возница, увидев Разумовского, остановил карету Натальи Демьяновны, она, выглянув в окно, не признала в подошедшем вельможе своего некогда бородатого сына, носившего широкие казацкие шаровары да бедную свитку.

А когда поняла, кто это, то от счастья заплакала.

Разумовский обнял маменьку и, пересадив в свою карету, повёз в Москву. По дороге он наказал Наталье Демьяновне при встрече с невесткой не чиниться, однако помнить, что Елизавета не только невестка, но и российская императрица, дочь Петра Великого. Наталья Демьяновна была женщиной умной и дала слово, что проявит к Лизаньке всяческую почтительность.

В Москве императрица занимала Лефортовский дворец, имевший высокое парадное крыльцо в два марша.

Наталья Демьяновна обмерла, когда двое придворных, бережно взяв её под руки, повели к огромной резной двери мимо великанов-лакеев, одетых в затканные серебром ливрей и стоявших двумя рядами на лестнице (потом свекровь императрицы признавалась, что приняла их всех за генералов — так богат был их наряд и такими важными они ей показались).

Сопровождавшие Наталью Демьяновну придворные ввели её в маленькую комнатку и передали в руки женщин-служанок. А те попросили её самым вежливым образом снять роскошную, расшитую шелками кофту и прекрасную новую юбку, а также и дорогие модные черевички, сказав, что всё это для встречи с государыней непригодно. Затем почтительно настояли, чтоб

надела она всё другое — обруч и каркас из китового уса, на который служанки тут же ловко натянули неимоверно широкую златотканую юбку, столь же прелестную кофту не кофту, на руки надели ей высокие, до локтей, белые перчатки, на ноги — золотые черевички и в довершение всего водрузили на голову высокий белый парик, усыпанный пудрой, нарумянили щёки, насурьмили брови, покрасили губы. Нужно отметить, что в комнатке, где Наталью Демьяновну обряжали, не было зеркала, и ловкие женщины сделали всё это без его помощи. После всех приготовлений Наталью Демьяновну повели по ещё одной — теперь уже внутренней парадной лестнице — во дворец. На новой лестнице стояли такие же «генералы», каких видела она и перед входом, и Наталья Демьяновна, совсем уж оробев, подошла к ещё одной огромной двери.

Ах, как не хватало ей сына, который, будь он рядом, успокоил бы её и всё объяснил! Но Алёшеньки не было. Оставив её у ловких служанок, он сказал, что уходит к государыне и вместе с нею выйдет к маменьке, когда Лизанька будет готова к встрече.

Двое лакеев медленно и торжественно, будто царские врата на Пасху, раскрыли перед Натальей Демьяновной двери, и деревенская шинкарка вошла в огромный зал сказочной красоты. Она в мгновение ока оглядела сверкающий паркет, огромные окна, расписанный летящими ангелами и прелестными жёнами потолок и вдруг заметила, что прямо напротив неё, в другой стороне зала, стоит императрица в златотканом платье, золотых туфельках, в белых, до локтя, перчатках и высоком — волосок к волоску — парике. Издали Наталья Демьяновна не разобрала, красива ли её невестка, увидела только широкие чёрные брови и румяна во всю щёку.

Затаив дыхание, Наталья Демьяновна пошла императрице навстречу, та тоже двинулась к ней. И тут, вспомнив слова Алёшеньки, что надобно быть с государыней почтительной, свекровь, хоть и было то вроде бы не по обычаю, смиренно стала на колени и опустила глаза долу.

Она простояла так несколько мгновений, но невестка почему-то не подходила, и тогда Наталья Демьяновна подняла голову, глянула вперёд и увидела, что и Лизанька стоит на коленях и тоже смотрит на неё.

Наталья Демьяновна испугалась и сильно растерялась — видимое ли дело, чтоб царица стояла перед шинкаркой на коленях? И протянув к невестке руки, проговорила напевно, ласково, с материнской добротой и бесконечной уважительностью:

— Лизанька, донюшка, царица-матушка! Встань с колен, то

мне, простой мужичке, не по чести.

И с удивлением обнаружила, что и невестка тоже протянула к ней руки и стала что-то говорить, но Наталья Демьяновна, хоть и сохранила отменный слух, ничего не слышала, кроме собственного голоса, и в растерянности поглядев налево и направо, заметила, что возле небольшой двери, которую, войдя в зал, она и не разглядела, стоит её Алёшенька, а рядом с ним несказанной красы барыня. Они стояли, держась за руки, и тихонько смеялись. А потом подошли к ней, и краса-барыня подняла её с колен, обняла и поцеловала. А Алёшенька, улыбаясь, сказал:

— То зеркало такое, мама, от пола до потолка.

И Наталья Демьяновна всё сразу поняла. Умная была женщина, просто никогда не думала, что зеркало может быть таким большим — во всю стену.

А с Лизанькой они поладили сразу и любили друг друга всю жизнь, потому что много общего оказалось в характерах и нравах деревенской шинкарки и императрицы Всея Руси.

И всё же венчание с Разумовским династических проблем не разрешало: он не мог быть наследником трона, да и сам совершенно не хотел этого. И посему 7 ноября 1742 года Карл-Пётр-Ульрих, принявший православие и ставший Петром Фёдоровичем, был объявлен «Великим князем, с титулом Его Императорского Высочества и наследником престола».

А вслед за тем Елизавета Петровна решила женить племянника, и её выбор окончательно остановился на четырнадцатилетней принцессе Софии-Августе-Фредерике Ангальт-Цербстской.

Принцесса Фике

Девочка была умна, красива и получила хорошее образование. И, что весьма немаловажно, провела несколько лет в Берлине, при дворе прусского короля Фридриха II, вошедшего в историю под именем Великого.

Будущая императрица России родилась 21 апреля 1729 года в Штетине в семье тридцативосьмилетнего генерал-майора прусской армии, владетельного князя Христиана-Августа Ангальт-Цербстского. Матерью девочки была семнадцатилетняя жена генерала Иоганна-Елизавета, происходившая из княжеской фамилии Гольштейн-Готторпов.

Существовала версия, что подлинным отцом будущей Екатерины II был один из сотрудников русского посольства в Париже Иван Иванович Бецкой, по другой версии, отцом называли самого прусского короля Фридриха Великого.

Возникли эти слухи из-за того, что Екатерина была очень похожа на Бецкого. Что же касается Фридриха, то его «отцовство» выводили из особо дружеских и доверительных отношений прусского короля с матерью Екатерины, доводившейся ему двоюродной сестрой.

Такое переплетение генеалогических линий неудивительно: правящие дома Западной Европы находились в столь тесном и многолетнем матримониальном общении, что практически все члены этих домов были родственниками. Кровосмесительные браки были в то время не редкость, однако серьёзные историки версию об отцовстве Фридриха достоверной всё-таки не признают.

Девочка получила имена в честь трёх её тёток: София-Августа-Фредерика, а называли её — Фике — уменьшительным словом от первого имени. Фике была хороша собой, стройна, отменно трудолюбива, обладала весёлым нравом, добрым сердцем и великолепной памятью.

Однажды, в начале 40-х годов, маленькая София вместе с матерью приехала в гости к герцогине Брауншвейгской, у которой в то время гостила принцесса Марианна Бевернская и несколько священников. Один из них, некто Менгден, славился как прорицатель. Взглянув на принцессу Бевернскую, он не сказал ничего об ожидавшем её будущем. Зато посмотрев на Софию Ангальт-Цербстскую, заявил: «На лбу вашей дочери вижу короны, по крайней мере три».

Фике учили французскому и немецкому языкам, танцам,

истории и географии, музыке и чистописанию. Она училась легко и быстро схватывала всё, чему её обучали. Когда ей было десять лет, девочку привезли в столицу Любекского княжества город Эйтин, и там при дворе местного епископа она впервые встретилась с одиннадцатилетним Голштинским принцем Петром-Ульрихом, будущим её мужем и российским императором.

А просватали её за Петра-Ульриха в 1743 году, когда он жил уже в Петербурге и официально был объявлен наследником российского престола. Немало способствовал этому сватовству давний доброхот княгини Иоганны-Елизаветы Фридрих Великий. 30 декабря 1743 года он писал матери будущей императрицы: «Я не хочу дольше скрывать от Вас, что вследствие уважения, питаемого мною к Вам и к принцессе, Вашей дочери, я всегда желал доставить ей необычное счастье, и у меня явилась мысль, нельзя ли соединить её с её троюродным братом, русским великим князем. Я приказал хлопотать об этом в глубочайшем секрете». Далее Фридрих советовал княгине ехать в Россию без мужа, не говоря никому ни одного слова об истинной цели поездки... По приезде в Москву княгине Иоганне-Елизавете следовало сказать, что эта поездка предпринята единственно для того, чтобы поблагодарить Елизавету Петровну за её милости к Голштинскому дому.

10 января 1744 года мать и дочь выехали из Цербста и через Берлин, Кёнигсберг и Ригу 3 февраля прибыли в Петербург, а 9 февраля достигли Москвы, где находились и Елизавета Петровна, и Пётр Фёдорович, и весь императорский двор. В Москву они приехали в канун дня рождения Петра Фёдоровича, когда ему должно было исполниться шестнадцать лет.

За три версты до Первопрестольной, на Тверской дороге, Софию и её мать встретил Карл Сивере, тогдашний кофишенк императрицы и один из мимолётных любовников, вскоре ставший камер-юнкером двора Петра-Ульриха, а через некоторое время и графом. Сиверс выразил большую радость в связи с приездом дорогих гостей, которых, по его словам, с нетерпением ожидали в Кремле.

Встреча превзошла все ожидания: обе женщины были обласканы, засыпаны подарками и награждены орденом Святой Екатерины.

Елизавета Петровна была очарована невестой племянника и при любом удобном случае ласкала и одаряла её. Да и жених в первые дни был очень внимателен и предупредителен по отношению к невесте, но вскоре она поняла, что перед нею не более чем неразвитый, хвастливый и физически очень слабый

подросток.

Готовясь к свадьбе, София-Августа-Фредерика много сил и времени отдавала изучению русского языка и проникновению в премудрости православного богословия, чем крайне расположила к себе и Елизавету Петровну, и многих придворных.

28 июня произошло принятие Ангальт-Цербстской принцессой нового, православного, исповедания и нового имени — Екатерины Алексеевны. Это и была будущая императрица Екатерина Великая.

Без ошибок и почти без акцента произнесла Екатерина символ веры, чем поразила всех присутствовавших в церкви. А на следующий день произошла помолвка Петра и Екатерины, официально объявленных женихом и невестой, сопровождаемая и обрядом обручения. Новой Великой княжне, объявленной и «Императорским Высочеством» был придан и придворный штат, который возглавляла приставленная к ней метрессой-оберегательницей графиня Мария Андреевна Румянцева, уже встречавшаяся нам прежде в связи с её романом с Петром I, и появившаяся на страницах этой книги сначала как графиня Матвеева.

Хуже обстояло дело с её будущим мужем: к Петру Фёдоровичу для досмотра за ним и опеки не приставили никого, и он в ожидании свадьбы пил водку и слушал от своих лакеев, камердинеров и слуг разные сальности об обращении с женщинами. А Екатерина, зная это, всё более охладевала к своему жениху.

Наконец, 21 августа состоялось венчание и началась свадьба, продолжавшаяся десять дней, в которой принял участие весь Петербург. Город был украшен арками и гирляндами, из дворцового фонтана било вино, столы, заполненные яствами, стояли на площади перед дворцом, предоставляя каждому, кто хотел побывать на свадьбе Петра и Екатерины, возможность поесть, выпить и повеселиться.

Свадебный пир проходил под орудийные залпы, при свете большого праздничного фейерверка. В эти дни Екатерина была усыпана сапфирами, бриллиантами и изумрудами. На верфях Адмиралтейства произвели спуск на воду 60-пушечного корабля, десять дней в Петербурге звонили во все колокола, а с Невы палили десятки корабельных пушек. Веселье занимало всех, кроме Екатерины.

Пётр и Екатерина, оставаясь наедине, вскоре почувствовали неодолимую неприязнь друг к другу. И эта неприязнь, разрастаясь всё более, не оставила их до самого конца. Доверяясь дневнику, Екатерина писала: «Мой возлюбленный муж мною

вовсе не занимается, а проводит своё время с лакеями, то занимаясь с ними шагистикой и фрунтом в своей комнате, то играя с солдатиками, или же меняя на дню по двадцати разных мундиров. Я зеваю и не знаю, куда деться со скуки».

Вскоре размолвка переросла в отчуждение, и императрица приставила к Екатерине свою двоюродную сестру графиню Марию Симоновну Гендрикову, в замужестве Чоглокову, почтенную 23-летнюю мать семейства, для того чтобы она своим примером и влиянием помогла Екатерине выполнить свой главный долг — родить наследника престола. Мария Симоновна была единственной в истории российского императорского двора статс-дамой, возведённой в это звание ещё до замужества, когда ей было девятнадцать лет. Правда, исправляя этот промах, через три месяца она уже вышла замуж за обер-церемониймейстера Николая Наумовича Чоглокова, став образцовой женой и матерью, что, по мысли императрицы, должно было воодушевить к тому же и Екатерину.

Однако время шло, а молодая жена наследника престола не беременела. И дело было не в ней, а в её супруге. «Если бы великий князь желал быть любимым, то относительно меня это вовсё было не трудно, — писала Екатерина, — я от природы была наклонна и привычна к исполнению своих обязанностей». А Пётр Фёдорович, не обращая внимания на молодую жену, сразу же после свадьбы стал волочиться за фрейлиной Корф, потом за девицей Шафировой, затем почти за всякой придворной дамой, которая проявляла к нему хотя бы малейший интерес.

В «Записках» за 1746 год Екатерина писала: «Я очень хорошо видала, что Великий князь совсем меня не любит. Через две недели после свадьбы он мне сказал, что влюблён в девицу Карр, фрейлину императрицы... Он сказал графу де Виейре, своему камергеру, что не было и сравнения между этой девицей и мною».

История сохранила кроме уже названных имён и многие другие, но ни одну из этих мимолётных любовниц Петра Фёдоровича нельзя было назвать фавориткой. К этому разряду могла быть отнесена лишь одна его пассия — главная страсть Петра Фёдоровича — Елизавета Романовна Воронцова, которую Екатерина называла «фаворит-султаншей». Эта Воронцова была дочерью Романа Илларионовича, ссужавшего бедную цесаревну капиталами своей жены-купчихи, и племянницей одного из героев дворцового переворота — Михаила Илларионовича. Все современники согласны в том, что любовницы Петра как на подбор отличались тем, что были некрасивы, невоспитанны и глупы. Особенно уродливой была Воронцова — маленькая, толстая, с лицом, покрытым оспой, с дурным вспыльчивым

характером, скандальная, злая и весьма недалёкая. И тем не менее именно она имела на Петра Фёдоровича наиболее сильное влияние. Под горячую руку Воронцова могла и побить наследника престола. Однако и она не была единственной его любовницей. Особенно неразборчив был Пётр в связях во время бесконечных кутежей, длившихся иногда по несколько суток. Сам он нередко допивался до бесчувствия, и лакеи выносили его из-за стола, взяв под мышки и за ноги, в то время как под столом оставались допившиеся до последней степени титулованные и нетитулованные сотрапезницы, лежавшие рядом с городскими девками и танцовщицами. Вместе с тем Пётр иногда начинал говорить о том, что заточит Екатерину в монастырь, разведётся с ней и обвенчается с Воронцовой, а как только станет императором, то тотчас же возведёт Елизавету Романовну на трон.

Красивая, молодая, цветущая, остроумная и весёлая Екатерина конечно же имела на успех у мужчин гораздо больше шансов, чем её муж — неказистый, инфантильный, болезненный и недоразвитый во многих отношениях — у женщин. Она хорошо осознавала это и так писала в «Записках»: «Я получила от природы великую чувствительность и наружность, если не прекрасную, то во всяком случае привлекательную; я нравилась с первого разу и не употребляла для того никакого искусства и прикрас. Душа моя от природы была до такой степени общительна, что всегда, стоило кому-нибудь пробыть со мною четверть часа, чтобы чувствовать себя совершенно свободным и вести со мною разговор, как будто мы с давних пор были знакомы. По природной снисходительности моей я внушала к себе доверие тем, кто имел со мною дело; потому что всем было известно, что для меня нет ничего приятнее, как действовать с доброжелательством и самою строгою честностью. Смею сказать (если только позволительно так выразиться о самой себе), что я походила на рыцаря свободы и законности; я имела скорее мужескую, чем женскую душу, но в том ничего не было отталкивающего, потому что с умом и характером мужским соединялась во мне привлекательность весьма любезной женщины.

Да простят мне эти слова и выражения моего самолюбия: я употребляю их, считая их истинными и не желая прикрываться ложною скромностью. Впрочем, само сочинение это должно показать, правду ли я говорю о моём уме, сердце и характере. Я сказала о том, что я нравилась; стало быть, половина искушения заключалась уже в том самом; вторая половина в подобных случаях естественно следует из самого существа человеческой

природы, потому что идти на искушение и подвергнуться ему — очень близко одно от другого. Хотя в голове запечатлёны самые лучшие правила нравственности, но, как скоро примешивается и является чувствительность, то непременно очутишься неизмеримо дальше, нежели думаешь. Я по крайней мере не знаю до сих пор, как можно предотвратить это. Может быть, скажут, что есть одно средство — избегать; но бывают случаи, положения, обстоятельства, где избегать невозможно; в самом деле, куда бежать, где найти убежище, как отворачиваться посреди двора, который перетолковывает малейший поступок. Итак, если не бежать, то по-моему нет ничего труднее, как уклониться от того, что вам существенно нравится. Поверьте, всё, что вам будут говорить против этого, есть лицемерие и основано на незнании человеческого сердца. Человек не властен в своём сердце; он не может по произволу сжимать его в кулак и потом опять давать свободу».

Искренне следуя тому, о чём она здесь написала, Екатерина не стала смирять чувства, овладевавшие её сердцем — плоть, кажется, она ещё смиряла, — и сердечно привязалась к одному из камер-лакеев своего мужа — Андрею Гавриловичу Чернышову, сыну крепостного крестьянина, служившего недавно рядовым в гренадерской роте Преображенского полка. Андрей Чернышов оказался в числе лейб-кампанцев и вместе с другими солдатами стал прапорщиком и наследственным дворянином. Вместе с ним служили во дворце и два его брата — Алексей и Пётр. Все они были любимцами Петра Фёдоровича, но особенно благоволил он к старшему — Андрею.

Из-за своей редкой красоты, силы и высокого роста он был взят камер-лакеем к Петру Фёдоровичу и стал одним из его ближайших и доверенных людей.

Он понравился и Екатерине, и она тоже подружилась с ним, шутливо называя его «сынком», а Чернышов её — «матушкой». В мае 1746 года де Виейра застал Чернышова и Екатерину возле спальни великой княгини, донёс об этом Елизавете, и та распорядилась арестовать Чернышова и его братьев. Два года просидел Чернышов в заключении, а потом был отправлен на службу в Оренбург, в армейский полк.

Историк Василий Алексеевич Бильбасов, один из лучших знатоков екатерининского времени, утверждает, что эти подозрения основывались не более чем на сплетнях, потому что кроме братьев Чернышовых были допрошены и Пётр с Екатериной, и другие их придворные, но никаких доказательств найдено не было. Однако, несмотря на невиновность Екатерины, приставленную к ней обер-гофмейстерину Чоглокову постигла

опала, так как она не только не добилась того, ради чего была приставлена к молодым супругам, но и не замечала очевидного, о чём, кроме неё, знали все придворные, а именно, что её собственный муж обер-гофмейстер и камергер Николай Наумович Чоглоков смело заглядывается на Екатерину и одновременно откровенно волочится за фрейлиной Кошелевой, что брат фаворита императрицы Кирилл Разумовский тоже открыто бросает влюблённые взоры на жену Петра Фёдоровича, а последний, пренебрегая всеми правилами приличия, откровенно увивается вокруг любой юбки.

Чоглокова отставили от должности, назначив вместо него гофмаршалом двора Петра Фёдоровича князя Репнина, который был полной противоположностью Чоглокову — умным, честным, спокойным и добрым человеком.

К этому времени произошёл окончательный разрыв между Петром и Екатериной. Тому способствовало многое, но наиболее сильное и неблагоприятное впечатление произвело на Екатерину то, что её муж начал проявлять ещё и жестокость по отношению к животным.

Сначала Екатерина стала свидетельницей того, как во время игры в солдатики, слепленные, кстати сказать, из теста, выскочившая из-под пола крыса прыгнула на бруствер игрушечной крепости и съела одного из часовых. Кто-то из партнёров Петра, забавлявшихся вместе с ним игрой, поймал крысу, и над ней был учинён военно-полевой суд, после чего преступницу под барабанный бой повесили.

Кроме того, Пётр поселил в своих комнатах, расположенных рядом со спальней Екатерины, целую свору собак и под видом дрессировки постоянно истязал их. От собачьего воя Екатерина буквально не знала, куда ей деваться, но августейший дрессировщик был неумолим.

Молодая женщина сначала скучала в одиночестве, потом с головой погрузилась в книги, а досуг проводила на охоте, на рыбалке, занимаясь, кроме того, танцами и верховой ездой. Как и следовало ожидать, таких невинных забав оказалось недостаточно для сильной, молодой женщины, обладавшей к тому же более чем пылким темпераментом. Тем более что соблазнов вокруг было предостаточно, да и сама императрица Елизавета подавала тому многочисленные примеры, отставив «любезна друга Алёшеньку» и влюбившись ещё раз по-настоящему в молодого красавца Ивана Ивановича Шувалова.

Вокруг трона

Оставив на время молодую чету — Петра Фёдоровича и Екатерину Алексеевну, обратимся к их сорокалетней тётке, возле которой всё ещё оставался Алексей Разумовский, но уже появились и ещё двое талантов — двадцатидвухлетний Иван Иванович Шувалов и одновременно, так сказать параллельно с ним, двадцатилетний кадет Никита Афанасьевич Бекетов.

Но обо всём по порядку.

Иван Иванович Шувалов доводился двоюродным братом ловкому царедворцу и не менее ловкому негоцианту Петру Ивановичу Шувалову — будущему графу и фельдмаршалу, сделавшему карьеру на том, что его женой стала бывшая любовница Бирона Мавра Егоровна Шепелева. Та самая, что с юности была задушевной подругой цесаревны Елизаветы и не порывала с ней, даже живя в Киле при дворе Анны Петровны — родной сестры императрицы, матери Петра Фёдоровича.

Екатерина в своих «Записках», утверждала, что Шуваловы, несмотря на близость Мавры Егоровны к императрице, презирали её, ибо все Шепелевы были «люди глупые и низкого происхождения, так как они были финского происхождения и взяты были ко двору во время завоевания Финляндии, чтобы стирать бельё детям Петра Великого; потом они подметали комнаты и мало-помалу достигли того, что стали горничными. Шепелев, в то время денщик Петра I, женился на одной из сестёр, а Кошелев, унтер-шталмейстер — на другой. Их мужья, благодаря продолжительной службе, сделали карьеру».

Мавра Егоровна дольше других оставалась в опочивальне императрицы, рассказывая ей всё, что знала и от своих многочисленных осведомительниц и от деверя — Александра Ивановича Шувалова — начальника тайной канцелярии.

Из интимных привычек, присущих только Елизавете Петровне, отмечали одну: императрица любила, чтобы особо доверенные и приближённые к ней дамы перед сном чесали ей пятки. Этой милости добивались многие первые дамы империи, но далеко не каждая из них удостаивалась столь высокой чести.

В числе «чесальщиц» была и жена канцлера Воронцова, родная сестра фаворита Шувалова — Елизавета, и вдова адмирала Головина — Мария Богдановна, первая сплетница, злобная и корыстолюбивая. Среди этого сонма полунощных пифий и фурий Мавра Егоровна, безусловно, долгое время занимала первое место.

Эта близость с Елизаветой Петровной ещё более окрепла после удачного дворцового переворота, когда Шуваловы откровенно заявили себя сторонниками Елизаветы и приняли в этом опасном деле активное участие. И всё же, как ни прочны были их позиции при дворе, ещё более укрепились они после того, как супруги Шуваловы устроили знакомство Елизаветы Петровны с двоюродным братом Петра Ивановича — Иваном Ивановичем Шуваловым. Он появился в покоях Елизаветы ещё мальчиком и был определён пажом, проводившим всё время в прихожей императрицы. Чаще всего она заставала этого очень красивого мальчика с книжкой в руках, а вскоре обратила внимание и на его ум, доброту и славный характер. Регулярное чтение не пропало даром: все знавшие Ивана Ивановича Шувалова отмечали его исключительную образованность. Это самообразование дополнилось ещё и тем, что с десяти до шестнадцати лет он проучился в гимназии при Академии наук.

Разумовский, оставаясь законным мужем Елизаветы, не в силах был удержать свою августейшую супругу от амурных увлечений и мог только пассивно созерцать, как возле неё возник Иван Шувалов и одновременно появился ещё один мимолётный любимец — двадцатилетний кадет Никита Бекетов. Бекетов воспитывался в Сухопутном шляхетском кадетском корпусе, гордо именуемом «Рыцарской Академией». В России ещё не было университета, и потому в корпусе, готовя офицеров, старались дать и хорошее общее гуманитарное образование. Мальчики и юноши обучались там политесу, танцам, музыке, а с 1747 года здесь начали ставить и драматические спектакли.

Театр в 40-е годы XVIII века стал играть особую роль. Елизавета Петровна, с увлечением читавшая любовные французские романы и не менее того обожавшая зрелища и маскарады, решила слить два этих пристрастия воедино. В результате в 1743 году к оперно-балетной франко-итальянской труппе добавилась и французская драматическая. И здесь не обошлось без политики, потому что случилось это лишь после того, как Анна Ивановна умерла, а Бирон, Миних и Остерман были сосланы и немецкий язык был заменён при дворе французским. Этому способствовало и то обстоятельство, что новая императрица Елизавета Петровна знала французский намного лучше немецкого. И вот на петербургской придворной сцене появились герои трагедий Вольтера, Мольера, Реньяра и комедийные персонажи Детуша и Ла-Шоссе. Уже через год репертуар пополнился дивертисментами, исполнявшимися по поводу различных политических событий: в 1744 году — в связи с заключением мира со Швецией, в 1745-м — в связи со свадьбой

Петра Фёдоровича и Екатерины Алексеевны. Параллельно с придворным французским театром начал существование и первый русский драматический театр, созданный в Сухопутном шляхетском кадетском корпусе. Одним из актёров-любителей, а профессионалов там не было, стал и двадцатилетний красавец-кадет Никита Афанасьевич Бекетов. Счастливая наружность помогла ему занять среди однокашников первое место и получить амплуа героя.

Руководил любительской драматической труппой бывший воспитанник и выпускник Сухопутного шляхетского корпуса тридцатилетний бригадир Александр Петрович Сумароков. Ещё находясь в корпусе, он начал писать стихи и песни. Сумароков и его товарищи-кадеты составили между собой общество любителей русской словесности и в свободные часы читали друг другу первые опыты своих сочинений и переводы.

В кружке кроме Сумарокова собирались три будущих фельдмаршала: князья Николай Васильевич Репнин и Алексей Александрович Прозоровский, граф Пётр Александрович Румянцев, получивший за победу над турками прибавку к титулу — «Задунайский», а также будущий генералиссимус, приходивший со своими переводами, семнадцатилетний капрал Семёновского полка Александр Васильевич Суворов, ставший со временем графом Рымникским князем Италийским. Были в кружке и кадеты Пётр Иванович Панин, Михаил Матвеевич Херасков, Иван Перфильевич Елагин, прославившиеся потом как литераторы, выдающиеся государственные и культурные деятели.

От кружка литературного оставалось сделать всего один шаг к созданию сначала кружка театрального, а затем и самостоятельного театра, что и произошло вскоре после того, как Сумароков окончил корпус и стал служить в штабе фельдмаршала Миниха. Однако Сумароков, будучи хорошим офицером, оставался не менее хорошим стихотворцем и драматургом.

В 1747 году он написал стихотворную трагедию «Хорев», в которой рассказывалось о судьбе одного из трёх легендарных основателей Киева — князя Хорева (по летописной традиции — Хорива, младшего брата князя Кия). Постановка пьесы была примечательна тем, что на сцене впервые появились русские исторические персонажи, а актёры впервые заговорили на русском языке — пусть и архаичном, выспренне поэтическом, но всё же родном, понятном всем, — и разыгрывались в спектакле не религиозные, а светские сюжеты, в которых были и любовь, и верность, и благородство, и коварство, и рассуждения о нраве и долге, вольности и тирании.

Совершенно неожиданно для автора кадеты сами, втайне от

Сумарокова, разучили «Хорева» и пригласили драматурга на премьеру. И как писал впоследствии историк русского театра Карабанов, «Автор ехал на зов, воображая увидеть детское игрище, простое чтение стихов; но как велико было его изумление! в какое пришёл он восхищение, когда в кругу юношей-воспитанников нашёл, воображаемый им, храм Российской Мельпомены».

Сумароков в тот же день рассказал об этом Алексею Григорьевичу Разумовскому, у которого он состоял тогда в адъютантах, а тот сообщил императрице. Елизавета очень обрадовалась, что наконец-то сможет увидеть русскую трагедию на родном языке, и велела приготовить постановку на императорской сцене.

Первый спектакль прошёл 8 января 1750 года. В нём были заняты кадеты: Бекетов, Мелиссино, Свистунов, Дитрих Остервальд и другие. С некоторыми из них мы ещё встретимся на страницах этой книги.

Мелиссино играл князя Кия, Бекетов — Хорева, Свистунов — возлюбленную Хорева — Оснельду. Успех был грандиозным. Светский Петербург в течение нескольких недель почти ни о чём другом не говорил, кроме этого события. Тогда же рескриптом императрицы Сумароков был назначен руководителем труппы из семнадцати кадетов, которая за два года существования театра сыграла тридцать два спектакля.

Из этих спектаклей наибольший успех выпал на долю трагедии Сумарокова «Синав и Трувор». Он повторялся семь раз — больше, чем любая другая постановка театра. Одной из причин такой популярности было то, что в «Синаве и Труворе» сильно и ярко проработан лирический любовный сюжет, привлёкший к спектаклю благосклонное внимание Елизаветы Петровны, которая с самого начала заявила себя заядлой театралкой, завсегдатайницей кулис, постоянно вникавшей в жизнь труппы.

Первая постановка «Синава и Трувора» состоялась в начале 1751 года. Роль несчастно влюблённого Трувора, пылкого любовника и бесстрашного героя исполнял кадет Никита Афанасьевич Бекетов. Перед началом спектакля Елизавета Петровна приняла участие в одевании актёров. На сей раз она сама одела исполнителя главной роли в великолепный, богатый костюм. Бекетов, выйдя на сцену, играл с воодушевлением, горячо и страстно, но потом вдруг стал засыпать и, наконец, не совладав с великой усталостью, заснул на сцене крепким сном. Елизавета сидела с влажными от нежности глазами и не отрываясь смотрела на спящего юного красавца. По театру тут же пополз слушок, что Бекетов утомился не на сцене, а перед

выходом, в костюмерной, когда остался наедине с императрицей.

На следующий день Бекетов был произведён в сержанты, а ещё через несколько дней его отчислили из корпуса и перевели в гвардию с чином капитана, назначив адъютантом к Алексею Разумовскому. В мае этого же года Бекетов стал полковником, поселившись во дворце вместе с Елизаветой Петровной. Теперь уже ни у кого не было сомнений, что рядом с императрицей появился новый фаворит.

Всё шло бы, возможно, благополучно и дальше, но Бекетова приблизил к себе канцлер Бестужев, попытавшийся сделать из него своего сообщника в борьбе с кланом Шуваловых. Пётр Шувалов, враждуя с Бестужевым, решил отвратить императрицу от её нового любимца, к тому же оказавшегося счастливым соперником его двоюродного брата Ивана Шувалова, и задумал простой, но коварный план. Он сам, хорошо понимая в химии, приготовил крем, который якобы выводил веснушки. Бекетов же более всего нравился Елизавете необычайной свежестью лица и очень печалился, что по весне лицо его покрывали веснушки. Одна из приближённых к Шувалову дам, взяв снадобье, сваренное Шуваловым, поднесла его новому фавориту, выдав за парижский крем для ночных масок на лицо. Однако снадобье это было дьявольским варевом, от которого лицо Бекетова, не избавившись от веснушек, густо покрылось гнойными прыщами. Одновременно императрице нашептали, что её любимец заболел какой-то заразной кожной болезнью — и участь Бекетова была решена: не допуская больного к императрице, его отправили в отдалённый армейский полк — с сохранением присвоенного ему полковничьего чина. Дальнейшая же его судьба сложилась так: через семь лет, участвуя в Семилетней войне, в ожесточённейшем сражении 14 августа 1758 года при Цорндорфе, Бекетов командовал 4-м Гренадерским полком. И полк, и его командир отличились в этом бою, и Бекетов стал генерал-майором, а вскоре за новые подвиги и генерал-поручиком. Выйдя, уже при Екатерине И, из военной службы в статскую, он получил пост Астраханского губернатора и сделал многое для процветания края.

В 1780 году Бекетов ушёл в отставку, поселился в роскошном имении Отрада, неподалёку от Царицына, и предался литературным трудам, сочинению музыки и... сугубой меланхолии. Он так и не женился, но от свободных связей имел трёх дочерей, которым и оставил капитал в сто тысяч рублей и большое богатое поместье. Он был умным и добрым человеком, пользуясь уважением многих выдающихся современников, в числе которых оказался и великий Суворов.

Для того чтобы один из весьма важных последующих сюжетов не оказался малопонятным, необходимо вновь возвратиться к театру. Начнём с эпизода, который может показаться незначительным, однако это не так, ибо его последствия оказались поистине историческими.

В 1746 году в Петербург приехал никому не известный семнадцатилетний купеческий сын Фёдор Волков. Биография мальчика была достаточно необычной. Он родился 19 февраля 1729 года в Костроме, в семье купца Григория Ивановича Волкова, умершего, когда его старшему сыну, Фёдору, было всего семь лет. Сиротами остались и ещё четверо его братьев, младшему из которых — Григорию — шёл всего третий месяц.

Через год овдовевшая купчиха Матрёна Яковлевна Волкова вышла замуж за шестидесятилетнего ярославского купца Фёдора Васильевича Полушкина, оказавшегося человеком разумным и добрым. Из донесения Ярославского магистрата Главному магистрату от 13 марта 1745 года мы узнаем, что Полушкин своих пасынков «не щадя собственного капитала, содержит для обучения их при доме своём, на своём коште, учителей им, обучает их грамоте, и писать, и другим наукам, так же и заводским произвождениям и купечеству».

А в 1741 году отправил отчим старшего своего пасынка в Москву, где и начал тот учиться в Заиконоспасской академии.

Там, кроме всех необходимых предметов, предусмотренных программой, выучился Фёдор очень хорошо играть на скрипке, пению по нотам, прекрасно рисовал и писал акварели, из которых особенно удачны были пейзажи. Кроме того, он с удовольствием играл в духовных драмах, представляемых на Святках, и в пьесах Мольера, переведённых им самим полуцерковно-славянским языком, чего требовали законы постановки духовных, православных пьес.

Досрочно закончив обучение в Академии, Волков — безусловно лучший из слушателей — был послан в Петербург, в Немецкую контору, для приобретения навыков в бухгалтерии и коммерции, чему был необычайно рад его отчим, видевший в юноше своего преемника.

Однажды бухгалтер-немец, у которого Волков учился премудростям коммерции, взял Фёдора в Придворный театр, так юноша впервые в жизни оказался в опере. Это зрелище потрясло Фёдора, и он начал готовить себя к театральной карьере. Узнав о существовании театра в Кадетском корпусе, Волков однажды проник за кулисы и с замиранием сердца стал следить за ходом спектакля. Впоследствии Фёдор Григорьевич так рассказывал об

этом знаменитому актёру Ивану Афанасьевичу Дмитревскому: «Увидя Никиту Афанасьевича Бекетова в роли Синава, я пришёл в такое восхищение, что не знал, где был: на земле или на небесах? Тут родилась во мне мысль завести свой театр в Ярославле». Уехав из Петербурга в Ярославль, Волков создал там драматический театр, где сам был режиссёром и первым актёром, а труппа состояла из «людей всякого звания» — преимущественно купеческих детей, мелких дворян и чиновников-разночинцев.

Вскоре весть о русском драматическом театре в Ярославле донеслась и до Петербурга, и повелением Елизаветы Петровны ярославских лицедеев привезли в столицу. Это произошло в январе 1752 года. Императрица удостоила актёров аудиенции и изволила посетить первый спектакль. Ярославцы играли «Покаяние грешного человека» — духовную пьесу Дмитрия Ростовского.

Уже в этом спектакле выявились пробелы в образовании актёров и недостатки в «политесе», из-за чего большинство актёров были зачислены в Сухопутный шляхетский кадетский корпус, дабы сии недочёты исправить. Через два года в корпус были зачислены и Фёдор Волков и его брат Григорий, до того сопровождавшие двор, выезжавший в Москву. Братья Волковы и их земляки в корпусе занимались сценическим искусством под руководством офицеров Мелиссино, Остервальде и Свистунова, ранее игравших в спектаклях на придворной сцене. Присутствие в корпусе полутора десятков актёров-ярославцев возродило кадетский театр и трансформировало его в профессиональный драматический. 30 августа 1756 года он был официально признан Указом императрицы и его руководителем был назначен Сумароков. А Волков, сохранив реноме первого актёра нового театра, стал ближайшим помощником Сумарокова.

После 30 августа 1756 года в Императорском театре были поставлены мольеровские пьесы: «Гарпагон», «Лекарь поневоле», «Мещанин во дворянстве», «Тартюф» и другие.

В это же время зрительницей театра становится великая княгиня Екатерина Алексеевна, рано обнаружившая интерес к зрелищам, а затем и к драматургии. Узкий круг людей науки, литературы и искусства позволял любому, даже самому малозначительному художнику, поэту, актёру, скульптору или архитектору получить доступ к молодому двору и особенно к великой княгине Екатерине Алексеевне, которая всей душой стремилась к прекрасному и одной из главных своих задач считала постижение своей новой родины и её народа. Это и привело Екатерину к знакомству с Сумароковым и братьями Волковыми. Вскоре Фёдор Волков стал одним из её собеседников,

а потом и одним из наиболее доверенных «конфидентов».

Во время романа с Бекетовым у Елизаветы продолжали оставаться фаворитами и Разумовский и Шувалов, а также, как свидетельствуют осведомлённые в жизни двора современники, ещё один мимолётный любовник — некий певчий Качеловский.

Однако как только Бекетов исчез из её поля зрения, императрица тут же вернулась к своему самому любимому мужчине — Ивану Шувалову. Правда, и после всего случившегося у императрицы появляется то один, то другой «человек случая», но Иван Шувалов, по большому счёту, остаётся вне конкуренции. То, что привязанность Елизаветы к нему с годами не ослабевала, объясняется и тем, что Шувалов, отличаясь добрым нравом, полным пренебрежением к богатствам и наградам, со временем завоевал незыблемую репутацию глубоко порядочного человека, подлинного отчизнолюбца-патриота и убеждённого сторонника отечественного просвещения. Этому способствовала его дружба с Михаилом Васильевичем Ломоносовым, активнейшее участие в создании Московского университета, Академии художеств, твёрдая патриотическая позиция во внешней политике.

Указ о создании Московского университета был подписан Елизаветой Петровной 12 января 1755 года в день именин матери Ивана Шувалова — Татьяны Семёновны. Именно поэтому Татьянин день до сих пор отмечается в Московском университете как студенческий праздник.

В связи с продолжительным, серьёзным и прочным союзом Ивана Ивановича Шувалова с Елизаветой Петровной нельзя пройти мимо сюжета, до сих пор окончательно не разгаданного нашей исторической наукой.

Около 1753 года в Петербурге начали распространяться слухи, что Елизавета Петровна родила дочь. Отцом девочки называли то Ивана Шувалова, то Алексея Разумовского. Желая скрыть её истинное происхождение, девочку выдали за дочь одной из камер-фрау императрицы, итальянки по имени Талия, которая после этого стала гофмейстериной.

Говорили, что, когда девочка была совсем маленькой, Талия увезла её на свою родину, но там девочка, со временем превратившаяся в прелестную девушку, не задержалась и отправилась в странствия по Европе, выдавая себя то за польку, то за турчанку, то за русскую, чему способствовало отличное знание ею многих языков.

К этому сюжету мы вернёмся, когда придёт время, а придёт оно через четверть века, в середине 70-х годов, тогда во всей Европе и даже за её пределами услышат дотоле не очень

известное имя — княжна Тараканова...

«Присутствие исполнителя теперь было бы вредно…»

Пока Елизавета Петровна занималась государственными и личными делами, к великой княгине Екатерине Алексеевне пришла, если верить ей, первая настоящая любовь…

Её первым любовником стал камергер Петра Фёдоровича Сергей Васильевич Салтыков (некоторые историки полагают, что первым её талантом был Андрей Черкасов, но достоверных сведений на этот счёт у нас не имеется. Сама Екатерина, во всяком случае, писала, что с Черкасовым её связывала чистая юношеская дружба).

Салтыков был двумя годами старше Екатерины. Он принадлежал к старшей линии знаменитого рода Салтыковых, ведших свой род с XIII века. Его отец — граф и генерал-аншеф Василий Фёдорович Салтыков был родным братом царицы Прасковьи Фёдоровны, жены царя Ивана Алексеевича и таким образом был дядей императрицы Анны Ивановны, а Елизавете Петровне приходился двоюродным дядей. Немаловажно и то, что Василий Фёдорович Салтыков был женат на княжне Марии Алексеевне Голицыной, чьи многочисленные родственники были весьма популярны в гвардейских полках, и немалое число их оказалось во время дворцового переворота на стороне новой императрицы.

В 1750 году двадцатичетырёхлетний Сергей Васильевич Салтыков женился на фрейлине императрицы Матрёне Павловне Балк — племяннице уже известных нам Балков и Монсов. Из-за всего этого, а также благодаря своей редкой красоте, Салтыков, назначенный камергером великого князя Петра Фёдоровича, одновременно стал душой «малого», или, как его называли, «молодого» двора. Он не пропускал повода постоянно появляться возле Екатерины.

Однажды «Сергей Салтыков, — пишет Екатерина, — дал мне понять, какая была причина его частых посещений… Я продолжала его слушать; он был прекрасен, как день, и, конечно, никто не мог с ним сравняться ни при большом дворе, ни тем более при нашем. У него не было недостатка ни в уме, ни в том складе познаний, манер и приёмов, какие дают большой свет и особенно двор. Ему было 25 лет; вообще и по рождению и по многим другим качествам это был кавалер выдающийся… Я не поддавалась всю весну и часть лета».

Как-то во время охоты на зайцев, оставшись наедине с Екатериной, Салтыков признался ей в страстной любви. Екатерина колебалась, но тут стало известно, что Пётр Фёдорович начал волочиться за девицей Марфой Исаевной Шафировой — внучкой петровского сподвижника барона Шафирова. В это же время Елизавета Петровна запретила Екатерине ездить верхом по-мужски, а не амазонкой, утверждая, что именно поэтому у неё и нет до сих пор детей. Вслед за тем Елизавета Петровна присмотрела в Ораниенбауме хорошенькую молодую вдовушку художника Грота и через придворных стала склонять её к любовной связи с Петром Фёдоровичем.

А после того как двор 14 декабря 1752 года выехал из Петербурга в Москву, Екатерина «отправилась с кое-какими лёгкими признаками беременности», но по дороге произошёл выкидыш и ожидавшиеся роды не состоялись. Впрочем, чуть позже мы узнаем и другие важные нюансы этой истории…

«Заподозрив Екатерину в неверности и окончательно возненавидев её, — писал известный мемуарист и учёный Андрей Тимофеевич Болотов, — Пётр Фёдорович стал обходиться с нею с величайшею холодностию и слюбился напротив того с дочерью графа Воронцова и племянницею тогдашнего великого канцлера, Елисаветою Романовною, прилепясь к ней так, что не скрывал даже ни пред кем непомерной к ней любви своей, которая даже до того его ослепила, что он не восхотел от всех скрыть ненависть свою к супруге и сыну своему (здесь Болотов, забегая вперёд, говорит о событиях конца 1761 года), и при самом ещё вступлении своём на престол сделал ту непростительную погрешность и с благоразумием совсем несогласную неосторожность, что в изданном первом от себя Манифесте не только не назначил сына своего по себе наследником, но не упомянул об нём ни единым словом.

Не могу изобразить, как удивил и поразил тогда ещё сей первый его шаг всех россиян, и сколь ко многим негодованиям и разным догадкам и суждениям подал он повод».

Когда же Болотов во время дворцового приёма впервые увидел Елизавету Романовну Воронцову, то, не зная ещё, что за дама прошла перед ним, спросил дежурного полицейского офицера: «кто б такова была толстая и такая дурная, с обрюзглою рожею, боярыня?» И был поражён, когда тот сказал, что это Воронцова. «Ах, Боже мой! Да как это может статься? Уж этакую толстую, нескладную, широкорожую, дурную и обрюзглую совсем, любить, и любить ещё так сильно, государю?…, ибо в самом деле была она такова, что всякому даже смотреть на неё было отвратительно и гнусно».

К этому времени Елизавета Петровна окончательно изверилась в способности своего племянника стать отцом наследника престола. Императрица очень хотела иметь внука, точнее внучатого племянника, во всяком случае, цесаревича и продолжателя династии, и нетерпение её стало столь велико, что она даже приказала найти для Екатерины надёжного фаворита, который сумел бы сделать то, чего не мог добиться венчанный августейший супруг.

Александр Михайлович Тургенев — столбовой московский дворянин, живший в конце XVIII — начале XIX века и прекрасно осведомлённый о тайных делах двора, оставил прелюбопытнейшие «Записки», основывавшиеся на семейном архиве, дневниках и преданиях его семьи и рода. Да и сам Тургенев много знал, а ещё больше был наслышан о секретнейших делах двора, потому что с четырнадцати лет стоял на часах в императорских дворцах, был на посту и в день смерти Екатерины II, и с первых же дней нового царствования состоял при императоре Павле ординарцем. Тургенев служил при штабах князя Волконского и графа Салтыкова, был в ближайшем окружении статс-секретаря Александра I — Михаила Михайловича Сперанского. Он был дружен с воспитателем царских детей Василием Андреевичем Жуковским и многое знал от него.

В «Записках» Тургенева сохранилось много интересных подробностей, в том числе и некоторые фрагменты из истории взаимоотношений Екатерины Алексеевны и графа Салтыкова.

Тургенев сообщал, что канцлер Алексей Петрович Бестужев-Рюмин узнал от самой великой княгини Екатерины Алексеевны пикантную комическую подробность ночного её времяпрепровождения с Петром Фёдоровичем.

Тургенев писал: «Бестужев... был её министром, поверенным всех тайных её помыслов. От неё непосредственно Бестужев сведал, что она с супругом своим всю ночь занимается экзерцицею ружьём, что они стоят попеременно на часах у дверей, что ей занятие это весьма наскучило, да и руки и плечи болят у неё от ружья. Она просила его (Бестужева) сделать ей благодеяние, уговорить великого князя, супруга её, чтобы он оставил её в покое, не заставлял бы по ночам обучаться ружейной экзерциции, что она не смеет доложить об этом императрице, страшась тем прогневить её величество... Поражённая сею вестью, как громовым ударом, Елизавета казалась онемевшею, долго не могла вымолвить слова. Наконец зарыдала и, обращаясь к Бестужеву, сказала ему:

— Алексей Петрович, спаси государство, спаси меня, спаси

всё, придумай, сделай как знаешь!

Бестужев предложил для действия прекрасного собою, умного и отличного поведения перед прочими камергера Сергея Салтыкова... Таким образом, сюжет с Сергеем Васильевичем Салтыковым, которого мы уже касались ранее, приобретает новый дополнительный нюанс, впрочем весьма любопытный и немаловажный.

Поручив Бестужеву уладить это дело, императрица, по-видимому для надёжности, дала такое же задание уже известной нам статс-даме Марии Семёновне Чоглоковой, и та, отозвав однажды Екатерину в сторону, сказала, что сама она, Чоглокова, абсолютно верна своему мужу, но бывают «положения высшего порядка, которые вынуждают делать исключения из правила». Таким «положением высшего порядка» было продолжение династии. Причём Чоглокова предложила Екатерине одного из двух претендентов в фавориты — или Сергея Салтыкова или Льва Нарышкина.

Это предложение императрицы Чоглокова передала уже после того, как роман между Екатериной и Салтыковым был в полном разгаре и когда она уже забеременела от него, хотя и неудачно.

Между тем Салтыков, хотя, кажется, и любил Екатерину, но только ещё более любил себя и свою карьеру, за которую при сложившихся обстоятельствах не мог не опасаться. Всё происходившее вокруг него заставило Сергея Васильевича в конце 1752 года взять отпуск и уехать к родным, но не прошло и трёх месяцев, как Салтыков вновь появился при малом дворе, который вместе с большим двором на весь 1753 год переехал из Петербурга в Москву.

Салтыков то появлялся возле Екатерины, то исчезал, объясняя такую тактику нежеланием её компрометации.

Так проходило время в обеих столицах. Лето 1754 года двор снова провёл в Москве и Подмосковье, а затем тысячи телег и экипажей двинулись из Первопрестольной в Петербург. На сей раз Елизавета Петровна решила не спешить и приказала проезжать каждые сутки только от одной станции до другой. Между столицами было тогда 29 станций, и потому дорога заняла ровно месяц.

Екатерина, вновь беременная, успела благополучно добраться до Петербурга и в среду, 20 ноября 1754 года, около полудня в Летнем дворце родила сына.

«Как только его спеленали, императрица ввела своего духовника, который дал ребёнку имя Павла, после чего тотчас же

императрица велела акушерке взять ребёнка и следовать за ней... — писала потом Екатерина. — Как только удалилась императрица, Великий князь тоже пошёл к себе, и я никого не видела ровно до трёх часов. Я много потела, я просила Владиславлову (одну из статс-дам Екатерины) сменить мне бельё, уложить меня в кровать; она мне сказала, что не смеет. Она посылала несколько раз за акушеркой, но та не приходила; я просила пить, но получила тот же ответ... Со следующего дня я начала чувствовать невыносимую ревматическую боль, и при том я схватила сильную лихорадку. Несмотря на это, на следующий день мне оказывали почти столько же внимания; я никого не видела и никто не справлялся о моём здоровье. Я то и дело плакала и стонала в своей постели».

А в городе, как бы намеренно подчёркивая контраст в положении несчастной роженицы и прочих родственников появившегося на свет цесаревича, начались пышные торжества. Во всех церквах Петербурга начались благодарственные молебны, над городом плыл густой, непрерывающийся колокольный звон, а сановники наперебой поздравляли императрицу и Петра Фёдоровича с рождением цесаревича, начисто забыв о Екатерине.

Вечером было объявлено, что крестным отцом и матерью новорождённого будут «оба римско-императорские величества» , персоны которых при крестинах станет представлять посол Австрии в Петербурге граф Эстергази.

Во дворце и в домах знати вспыхнули великие празднества — пиры и маскарады, на улицах появились длинные ряды столов с даровыми яствами и питиями, а в ночном небе полыхал фейерверк, изображавший написанную огненными красками картину: коленопреклонённая женщина, символизировавшая Россию, стояла пред алтарём, на коем красовалась надпись: «Единого ещё желаю». Как только картина угасла, вспыхнула новая: на облаке возлежал на пурпурной подушке младенец, а под облаком сверкала надпись: «Тако исполнилось твоё желание».

Был не только фейерверк — были также и стихи. Фейерверк вскоре отполыхал и угас, а стихи остались, ибо были они написаны первым пиитом России Михаилом Васильевичем Ломоносовым:

С великим прадедом сравнися,
С желаньем нашим восходи.
Велики суть дела Петровы,
Но многие ещё готовы
Тебе остались напреди.

На шестой день после родов, в день крестин, Елизавета сама принесла Екатерине на золотом блюде указ своему Кабинету о выдаче ей ста тысяч рублей. Кроме того, она принесла и небольшой ларчик. Этот ларчик Екатерина открыла, когда императрица ушла. В нём лежало «очень бедное маленькое ожерелье с серьгами и двумя жалкими перстнями, которые мне, писала Екатерина, совестно было бы подарить моим камер-фрау».

После крестин младенца не оставили у матери, на крестины, кстати, не приглашённую, а отнесли к августейшей его бабке — бездетной и потому совершенно неопытной в уходе за новорождённым. Мальчика, завернув во фланелевые пелёнки, положили в колыбель, обитую мехом черно-бурых лисиц, закрыли двумя одеялами и оставили в жарко натопленной опочивальне под надзором кормилицы и нянек. Из-за этого Павел всю жизнь боялся простуды и всё же часто болел.

Праздник ещё гудел, сверкал и разливался, а по Петербургу уже пополз слушок, что отцом новорождённого является никак не великий князь, а граф Сергей Салтыков — полюбовник Екатерины Алексеевны. Уже известный нам Тургенев писал: «Секретнее ещё всего сказанного говорили старики вполголоса, что Великая княгиня разрешилась от бремени дочерью, одни утверждали — живою, другие спорили, что дитя было мёртвое. Что наскоро было сыскано новорождённое дитя в селе Галичине и заступило место рождённого Великою княгинею».

Когда Екатерина родила Павла, Бестужев доложил императрице, что «начертанное по премудрому соображению Вашего Величества восприяло благое и желанное начало, — присутствие исполнителя высочайшей воли Вашего Величества теперь не только здесь не нужно, но даже к достижению всесовершенного исполнения и сокровению на вечные времена тайны было бы вредно. По уважению сих соображений, благоволите, всемилостивейшая государыня, повелеть камергеру Салтыкову быть послом Вашего Величества в Стокгольме, при короле Швеции».

В «Записки» Тургенева вкралась небольшая неточность: Салтыков не был назначен послом России в Швеции, а был послан в Стокгольм с почётной миссией протокольного характера — известить о рождении наследника шведского короля Адольфа-Фредерика, близкого родственника Петра Фёдоровича, из одной с ним Гольштейн-Готторпской династии.

Правда, кривотолки только ещё более усилились, так как

поездка в недалёкий в общем-то от Северной Пальмиры Стокгольм предусматривалась на необычайно долгий для такой миссии срок — более чем на полгода: Салтыков, выехав 7 октября 1754 года, должен был возвратиться лишь на Масленицу, то есть к проводам зимы и началу весны. Но инструкция — инструкцией, а жизнь — жизнью, и получилось так, что в Петербург Салтыков не вернулся. Прямо из Стокгольма его отправили в Гамбург, главой русской дипломатической миссии, куда он и прибыл 2 июля 1755 года. Однако по дороге туда Салтыкова ждал поистине царский приём в Варшаве и ещё более радушный и тёплый у родителей Екатерины в Цербсте, после чего слухи об его отцовстве распространились и по Европе. И, наконец, когда 22 июля 1762 года, через две недели после прихода Екатерины к власти, она назначила Салтыкова русским послом в Париже, прозвучал последний аккорд в признании его необычайной близости к Екатерине.

А Салтыков после Парижа, побывав ещё и посланником в Дрездене, заслужил от Екатерины нелестную характеристику «пятого колеса у кареты» и никогда более не появлялся при дворе, умерев в почти полной безвестности.

Вокруг появления на свет Павла ходило немало слухов. Хочу предложить вниманию читателей одну из легенд, имеющую, впрочем, некую фактологическую основу. Легенда эта имеет прямое отношение к рождению цесаревича Павла. Её воскресил в 1970 году прекрасный историк и писатель Натан Яковлевич Эйдельман, опубликовав исторический очерк «Обратное провидение» — о тайне происхождения Павла I. Разбирая несколько свидетельств о необычных обстоятельствах появления на свет Павла Петровича и приводя те слухи, которыми рождение сопровождалось, Эйдельман рассказывает, что Екатерина родила мёртвого ребёнка, но это сохранили в тайне, заменив его другим новорождённым — чухонским, то есть финским мальчиком, родившимся тогда же в деревне Котлы, возле Ораниенбаума. В ту же ночь семейство отца мальчика — местного пастора и всех жителей деревни, около двадцати человек, под строгим караулом отправили на Камчатку, деревню Котлы снесли и срыли, а затем и запахали место, где она стояла.

...Через семьдесят лет в Сибири объявился брат Павла, происходивший от тех же родителей — чухонцев, сосланных на Камчатку. Его имя было — Афанасий Петрович Петров, но в народе прозвали его Павлом из-за разительного сходства с тогда уже давно покойным императором Павлом I. Афанасий Петрович был бродягой, но под старость осел в Красноярске и нашёл приют

у местного жителя мещанина Старцова. 19 июля 1822 года Старцов написал царствовавшему тогда сыну Павла I императору Александру I, что у него в доме живёт родной дядя императора. И Александр I распорядился найти Афанасия Петровича и доставить в Петербург. Тобольский губернатор Капцевич поручил это дело частному приставу Александру Гавриловичу Алексееву, и тот с двумя казаками отправился на поиски царского дяди.

После долгих мытарств они наконец нашли бродягу, который действительно был как две капли воды похож на Павла Петровича. Бродяга подтвердил, что он действительно родной дядя и императору Александру, и всем его братьям и сёстрам.

Афанасия Петровича вместе со Старцовым привезли в Петербург и, как водится, посадили в Петропавловскую крепость. Есть несколько свидетельств того, что именно в это время, в 1824 году, к Александру из крепости несколько раз вывозили и возвращали обратно какого-то старика.

Продержав и Петрова и Старцова в крепости семь месяцев, их отправили обратно в Сибирь, настрого наказав никому не говорить ни слова обо всём случившемся.

Косвенным подтверждением истинности рассказанной истории служит то, что пристав Алексеев именно в это время был награждён орденом Святой Анны III степени, что для полицейского в столь малом чине было совершеннейшей редкостью, так как этот орден давал потомственное дворянство.

На сём история не закончилась. Вернувшиеся в Сибирь Петров и Старцов вели себя по-прежнему: Старцов писал в Петербург, а Петров — рассказывал небылицы. Узнав об этом, всесильный временщик Алексей Андреевич Аракчеев категорически потребовал запретить Старцову посылать письма в столицу, а Петрова велел снова увезти из Сибири, на этот раз — в Москву. Место было выбрано не случайно — полицейским розыском было установлено, что Афанасий Петров на самом деле крепостной крестьянин из подмосковной деревни Исуповой, Богородской волости, принадлежавший князю Голицыну.

Его возвратили на прежнее место жительства, а «вины его предали забвению».

Обычная, казалось бы, история, даже и не о самозванце, а о жертве досужих слухов, крутившихся вокруг человека помимо его воли. Однако и не совсем обычная, хотя бы потому, что верили ей тысячи простых людей, да и не только простых...

А что же Петербург? Что — высший свет? Там тоже не верили, что Павел I сын Петра Фёдоровича, но упорно твердили, что его отцом был Сергей Салтыков.

Так, Н. И. Греч в своих мемуарах сообщал, что в 1826 году, во

время коронации Николая I, внучка Сергея Салтыкова появилась в царских украшениях, которые уже семьдесят лет считались утерянными. Тут же воскресла история рождения Павла Петровича, и несомненное отцовство Сергея Салтыкова вроде бы получило новое подтверждение.

Ещё одним отзвуком этой же истории был следующий эпизод: однажды император Александр III — ярый русофил, ненавидевший всё немецкое, доверительно спросил историка Якова Лазаревича Барскова:

— Скажите мне, чьим же всё-таки сыном был Павел?

— Не могу скрыть, Ваше Величество, — ответил Барсков. — Не исключено, что от чухонских крестьян, но скорее всего прапрадедом Вашего Величества был граф Салтыков.

— Слава тебе, Господи! — радостно воскликнул Александр, истово перекрестившись, — значит, во мне есть хоть немножко русской крови.

А ведь даже из этой книги мы узнали, что в Анне Петровне — дочери Петра Великого и Екатерины I была всего лишь половина русской крови, в Петре Фёдоровиче — четверть, в Павле Петровиче — если считать его отцом Салтыкова — снова половина, а уж от Александра I до Николая II процент русской крови всё уменьшался и уменьшался, составив в конце концов ничтожно малую долю.

Готовясь к великой роли

А теперь вновь возвратимся ко времени рождения Павла, которого мы оставили в колыбели, обитой мехом черно-бурых лисиц, в жарко натопленной комнате, в апартаментах его двоюродной бабушки.

«Когда прошло сорок дней со времени моих родов, — писала Екатерина, — императрица пришла вторично в мою комнату. Я встала с постели, чтобы её принять, но она, видя меня такой слабой и такой исхудавшей, велела мне сидеть, пока её духовник читал молитву. Сына моего принесли в мою комнату: это было в первый раз, что я его увидела после его рождения». Но его тут же унесли обратно.

После рождения Павла отношения между Екатериной и Петром ещё более ухудшились. Дело дошло до того, что однажды Пётр, придя в апартаменты жены, несколько раз сказал, что сумеет образумить её. А когда Екатерина спросила: «Как же?», Пётр до половины вытянул из ножен шпагу.

Между тем к этому времени Екатерина сумела приобрести среди многих придворных и поголовно у всех дворцовых слуг очень большой авторитет. Она была ровна в обращении, ничуть не высокомерна, давно уже свободно и почти без акцента говорила по-русски, питая слабость к простонародным оборотам речи и зная множество пословиц и поговорок. Екатерина на каждом шагу и при каждом удобном случае подчёркивала свою набожность, почитание православия и пылкую неподдельно искреннюю любовь к своей новой родине — России.

Первые два года русскому языку обучал её по рекомендации Кирилла Григорьевича Разумовского, Президента Петербургской Академии наук, один из лучших русских лингвистов и лексикографов Василий Евдокимович Адодуров. Писатель и переводчик, он был и первым русским адъюнктом Академии наук по высшей математике, избранный по представлению великого Эйлера. Адодуров свободно владел немецким и французским языками, которые знала и его ученица, а это являлось отличным условием того, чтобы обучение было высококачественным.

Английский посланник Уильямс так отзывался об Адодурове: «Я не видел ни одного из туземцев столь совершенного, как он; он обладает умом, образованием, прекрасными манерами; словом, это русский, соизволивший поработать над собой».

Адодуров для Екатерины стал не только учителем русского языка, но и большим, преданным другом на всю жизнь, сохранив

ей верность в несчастьях, постигших его в 1759 году, когда был он обвинён в соучастии в заговоре, якобы имевшем целью возвести Екатерину на престол.

Когда же его ученица взошла на трон, она не забыла своего учителя, друга и слугу — Адодуров стал сразу сенатором, куратором Московского университета и президентом Мануфактур-коллегии, а скончался он Почётным членом Академии наук и действительным тайным советником, что по «Табели о рангах» соответствовало званию генерал-аншефа.

Через два года занятий русским языком происками недоброжелателей Адодуров был отстранён от преподавания Екатерине и перешёл на службу в Коллегию иностранных дел к Алексею Петровичу Бестужеву-Рюмину.

После этого Екатерина продолжала упорно заниматься самообразованием, вставая в шесть часов утра и не тратя времени попусту. Принято думать, что большую часть времени занимали у неё штудии иноземных авторов — немцев и французов, однако это не так — на первом месте стояли у неё книги по русской словесности, по истории и географии России. Именно это впоследствии позволило ей стать одним из лучших историков России, уступая лишь таким корифеям, как Иван Никитич Болтин, академик Герард-Фридрих Миллер, Василий Никитич Татищев, академик Август-Людвиг Шлёцер и князь Михаил Михайлович Щербатов. А её литературные труды поставили Екатерину в первый ряд русских писателей. Екатерина оставила после себя тысячи писем, сказки, стихи, комедии, драмы, учебники, мемуары, свидетельствующие об универсальности и энциклопедичности её знаний.

Её самообразование носило и чисто прагматический характер — она хотела знать страну, которой всерьёз готовилась управлять.

Весьма многообразны и плодотворны были и её научные и литературные интересы, связанные с Западом, Екатерина переписывалась с французскими энциклопедистами — Вольтером, Дидро и Монтескье, с великим естествоиспытателем Бюффоном, со скульптором Фальконе — будущим автором «Медного всадника», украшенного надписью: «Петру Первому от Екатерины Второй». Она читала множество французских и немецких книг, заказывая, кроме того, переводы с английского, с латыни, с итальянского, если эти книги почему-либо интересовали её.

Её чтение не было искусством для искусства. Когда Дидро спросил Екатерину о населении России, о сословных отношениях и о русском земледелии, то получил в ответ несколько статей,

тщательно и серьёзно написанных ею самой.

Вместе с тем Екатерина находила время заниматься верховой ездой, игрой в бильярд, любила гравировать по металлу, работать за токарным станком, рисовать карандашом.

К этому следует добавить страстное желание Екатерины встречаться со всеми выдающимися людьми, приезжавшими в Петербург из разных стран, постоянное общение с крупнейшими русскими учёными, литераторами, издателями, актёрами, музыкантами, живописцами. Причём очень часто знаменитые иноземные визитёры оказывались в России по её приглашению.

Всё это впоследствии привело к тому, что Екатерину по справедливости стали считать самой просвещённой государыней Европы. Стародавний корреспондент Екатерины, всезнающий издатель рукописной газеты для полудюжины королей и императоров, барон Мельхиор Гримм, дважды побывавший в Петербурге, основываясь на непосредственных впечатлениях от общения с Екатериной, отзывался о ней так: «надо было видеть в такие минуты эту необычайную голову, эту смесь гения с грацией, чтобы понять увлекавшую её жизненность; как она своеобразно схватывала, какие остроты, проницательные замечания падали в изобилии одно за другим, как светлые блестки природного водопада. Отчего не в силах моих воспроизвести на письме эти беседы! Свету досталась бы драгоценная, может быть, единственная страница истории ума человеческого. Воображение и разум были одинаково поражаемы этим орлиным взглядом, обширность и быстрота коего могли быть уподоблены молнии. Да и возможно ли было уловить на лету ту толпу светлых движений ума, движений гибких, мимолётных! Как перевести их на бумагу? Расставаясь с императрицей, я бывал обыкновенно до того взволнован, наэлектризован, что половину ночи большими шагами разгуливал по комнате».

Однако всё это будет потом, а пока Екатерина, только что подарившая власти наследника престола, оставалась великой княгиней с несчастливой судьбой — отрешённая от сына и покинутая мужем.

Деятельная, умная, энергичная Екатерина не могла ограничиваться чтением, письмом, охотой и ремёслами. Она понимала, что её удел — политика, и стала исподволь готовить себя к той роли, которую вскоре стала играть столь блистательно. Следует заметить, что Пётр Фёдорович, будучи наследником Российского престола, оставался герцогом Голштинским. Управление Голштинией было его прерогативой, требовало досконального знания дел в герцогстве, проникновения во

внешнеполитические коллизии, связанные с соседями этого государства, правильного понимания проблем большой европейской политики. На всё это у Петра Фёдоровича не было ни времени, ни желания, ни способностей.

И мало-помалу Екатерина, к вящему удовольствию Петра Фёдоровича, прибрала голштинские дела к своим рукам. Для неё занятия голштинскими делами оказались очень полезны, ибо она стала стажироваться в управлении государством, входя во все аспекты внутренней и внешней политики. А в начале 1755 года Пётр Фёдорович и официально передал ей управление герцогством.

Чуть раньше произошло сближение Екатерины с канцлером Бестужевым. Канцлер был очень рад потеплению отношений с Екатериной и стал одним из наиболее верных и преданных ей сотрудников, вводя её в сферу наиболее важных государственных дел и исподволь готовя Екатерину к мысли, что российский трон после смерти Елизаветы должен перейти не к Петру Фёдоровичу, а к ней.

Такого рода идеи пали на хорошо подготовленную почву — Екатерина и сама думала о том же, и не только думала, но и готовилась к такого рода развитию событий, хотя и очень неспешно и в высшей степени осторожно. Вопрос о том, кому будет принадлежать трон, приобретал актуальность из-за того, что Елизавета Петровна, подорвавшая здоровье беспрерывными кутежами и совершенно безалаберной жизнью, стала всё чаще болеть и месяцами не прикасалась к государственным бумагам.

И русские вельможи, и резиденты иностранных дворов, и живо на все реагировавшие офицеры гвардии хорошо понимали серьёзность ситуации и, задумываясь над всем происходящим, отдавали предпочтение Екатерине. Прусский резидент в Петербурге Мардефельд, слывший умным и проницательным человеком, сказал однажды Екатерине: «Вы будете царствовать, или я совсем глупец».

Всё это происходило в условиях резкого изменения международной обстановки, когда на первый план выдвинулись англо-французские противоречия и России надлежало либо сохранять нейтралитет, чего она не сделала, либо принять чью-либо сторону, что она весьма опрометчиво и совершила, хотя вполне могла бы, сохранив нейтралитет, остаться в стороне.

В 1754 году началась вооружённые столкновения между англичанами и французами в Канаде, а с 1756 года военные действия были перенесены на территорию Европы.

К этому времени возникло две коалиции: англо-прусская, поддержанная рядом северогерманских государств, и франко-

австрийская, на стороне которой были также Саксония и Швеция. Россия не вмешивалась в конфликт до конца 1756 года, ибо в правительстве Елизаветы Петровны не было единства, и вопрос этот сначала передали на усмотрение канцлера — ярого сторонника англо-русского союза.

Энергично взявшись за дело, Алексей Петрович Бестужев быстро подготовил союзный русско-английский договор, и сэр Уильямс, посланник Лондона в Санкт-Петербурге, без замедления подписал его. Однако буквально на следующий день на пути этой, уже свершившейся, инициативы возникло непреодолимое препятствие — Конференция при Высочайшем дворе. Конференция была детищем Бестужева, совсем недавно созданная по его собственному почину. В состав Конференции при Высочайшем дворе входили: канцлер Алексей Петрович Бестужев-Рюмин, его старший брат Михаил, генерал-прокурор Сената Никита Юрьевич Трубецкой, вице-канцлер Михаил Илларионович Воронцов, начальник Тайной канцелярии Александр Иванович Шувалов, фельдмаршал Александр Борисович Бутурлин, Степан Фёдорович Апраксин и Михаил Михайлович Голицын, сенатор Пётр Иванович Шувалов, а также великий князь Пётр Фёдорович. Секретарём Конференции был Дмитрий Васильевич Волков. Большинство членов Конференции были противниками братьев Бестужевых, а первую скрипку в ней играли братья Шуваловы и Воронцов.

Конференция при Высочайшем дворе, являясь советом по внешнеполитическим делам при императрице, приняла совершенно другое решение: Россия отказывалась от только что подписанного союзного договора с Англией и, сделав крутой поворот в другую сторону, присоединялась к врагам Англии и Пруссии — Австрии и Франции, подписавшими 1 мая 1756 года в Версале Конвенцию о совместной борьбе с общими противниками. Уильямс оказался обманутым и терялся в догадках о причинах столь резкой и внезапной перемены.

Однако дело объяснялось просто — так во всяком случае представляет ситуацию Екатерина в её «Записках». Екатерина пишет, что неожиданную роль в перемене ориентации России сыграла любовница французского короля Людовика XV Жанна Антуанетта Пуассон, маркиза де Помпадур. Фаворитке надоела мебель, украшавшая её дворец, и она продала её своему любовнику-королю. А Людовик подарил эти ненужные ему мебельные гарнитуры вице-канцлеру Михаилу Илларионовичу Воронцову, который, будучи первым после канцлера чиновником в ведомстве иностранных дел, страстно мечтал занять пост Алексея Петровича Бестужева-Рюмина. К тому же Воронцов, по

сообщению французского посла в Петербурге маркиза де Лопиталя, только что отстроил себе новый дом и ещё не купил ничего для его внутреннего убранства. Подарок пришёлся весьма кстати, и за него надо было отплатить признательностью, не без расчёта на будущие благодеяния со стороны Версальского двора.

Что же касается братьев Шуваловых, то у них тоже был свой резон: Пётр Иванович — один из крупнейших предпринимателей России, не пропускавший ни малейшего удобного случая нажиться за счёт казны, в это время успешно добивался откупа на табачную монополию и рассчитывал, что именно Франция станет его потенциальным заграничным рынком сбыта, ибо из-за военных действий на море страна лишилась регулярного подвоза табака из своих колоний.

Вступление России в состав австро-французской коалиции состоялось, и послы Версаля и Вены были официально о том уведомлены канцлером, как ни горько было ему сообщать им об этом. А над канцлером стали сгущаться тучи царской немилости, и ему, чтобы избежать падения и августейшей опалы, надлежало принимать собственные контрмеры.

Канцлер мог опереться при этом на своих испытанных сторонников, в ряду которых на первом месте стояла Екатерина с близкими ей людьми, на старого друга фельдмаршала Апраксина и по-прежнему сохранявшего с канцлером дружественные отношения сэра Уильямса.

Кроме того, среди сторонников канцлера находился человек, который был близок и Бестужеву, и Екатерине, и английскому послу. Это был польский дипломат в России Станислав-Август Понятовский. Он появился в Петербурге менее двух лет назад, но за это время значение его в столице и при дворе очень выросло. Понятовский приехал в Петербург вместе с английским посланником сэром Генбюри Уильямсом, в свите которого и находился. Это произошло весной 1755 года, и Екатерина впервые увидела Понятовского в начале июня — на Троицын день. Было хорошо известно, что отец Станислава-Августа, князь Станислав Понятовский, был адъютантом шведского короля Карла XI и оставался ярым врагом России. Затем он активно поддерживал то одного претендента на польский трон, то — другого, не выдвигая собственной кандидатуры. Его сын — Станислав-Август, был тремя годами младше Екатерины. Он слыл истинным великосветским бонвиваном, любившим пожить в своё удовольствие, покутить и поволочиться. В 1753 году, когда Станиславу-Августу шёл двадцать первый год, его отослали в Париж, где он жил в лучших традициях французской

аристократической золотой молодёжи.

Вскоре от английского посланника Екатерина узнала, что мать Понятовского является решительной сторонницей России, а её родственники составляют основу русской партии в Польше. Уильямс сказал Екатерине, что родители Понятовского поручили Станислава-Августа именно ему, чтобы сэр Генбюри воспитал их сына в чувствах любви и преданности России, ибо английский посланник хотел видеть Россию союзной его стране, и дружественная Польша хорошо бы дополнила такой альянс.

В это самое время Екатерине донесли, что Сергей Салтыков и в Швеции и в Саксонии не пропускает ни одной юбки, и чувства к нему, если они ещё у неё были, очень скоро исчезли совершенно.

Меж тем на следующий год Станислава-Августа назначили посланником Польши в России, хотя канцлер Бестужев и был против, желая видеть на этом посту кого-нибудь из своих проверенных временем прозелитов. Новый польский посланник стал всё более определённо выказывать симпатии Екатерине, которая заметила, что все её фрейлины — либо любовницы, либо наперсницы её мужа, — рассчитывая на защиту влюбчивого великого князя, не оказывают ей должного почтения и пренебрегают своими обязанностями перед нею.

Весной 1756 года Пётр Фёдорович всерьёз рассорился с Елизаветой Воронцовой и тут же стал волочиться за племянницей Разумовского, женой Григория Николаевича Те плова. «Кроме этой дамы, — писала Екатерина в своих «Записках», — ему приводили ещё по вечерам, чтобы ужинать с ним, немецкую певичку, которую он содержал и которую звали Леонорой». Пётр Фёдорович от того, что был совершенно бестактен, подробно рассказывал о своих интрижках и победах Екатерине, а иногда спрашивал у неё совета и даже искал сочувствия, если почему-либо не мог добиться успеха.

Всё это ещё больше сблизило Екатерину с Понятовским, который несколько раз совершенно недвусмысленно говорил с нею о нежных чувствах, которые он к ней испытывает. В то лето Понятовский жил в Петергофе, а Екатерина — неподалёку от него — в Ораниенбауме. 25 июня Понятовский сел в карету и поехал к Екатерине на свидание, заранее предупредив её. Когда карета подъезжала к Ораниенбауму, Понятовский увидел в лесу пьяного Петра с неизменной Елизаветой Воронцовой и всей его свитой. Кучера спросили, кого он везёт, и тот ответил, что везёт портного.

Однако Елизавета Воронцова узнала Понятовского и при нём ничего не сказала, а когда он уехал, стала, насмехаясь, намекать великому князю, кто был на самом деле в карете. Пётр сначала не обращал внимания, но через несколько часов послал трёх

кавалеристов к павильону, где жила Екатерина.

Они схватили Понятовского в нескольких шагах от павильона, откуда он только что вышел, и за шиворот потащили к Петру Фёдоровичу. Пётр прямо обвинил Понятовского, что тот был у Екатерины, и, назвав вещи своими именами, сказал, что именно он там делал.

Понятовский категорически отказался, и Пётр велел задержать его.

Через два часа к Понятовскому зашёл «Великий государственный инквизитор» Александр Иванович Шувалов, и Понятовский заметил ему, что для чести русского двора необходимо, чтобы вся эта история закончилась без всякого шума. И Шувалов, согласившись, отвёз польского посланника в Петергоф, а сам рассказал обо всём Екатерине.

Понятовский писал потом только о том, что произошло с ним самим и было ему досконально известно. Однако он не знал, что произошло в Ораниенбауме после того, как его привезли в Петергоф. Невероятно скрытная Екатерина, по-видимому, ничего не рассказала Понятовскому об очень важной встрече её с Петром Фёдоровичем. А вот секретарь французского посла Рюльер откуда-то узнал об этом, и потому мы перескажем то, о чём сообщил он впоследствии в опубликованных записках.

Узнав о случившемся, Екатерина пошла к разгневанному мужу и честно призналась ему в любовной связи с польским посланником. Она сказала, что если кто-нибудь узнает о произошедшем казусе, то Пётр Фёдорович прослывёт рогоносцем во всей Европе. Екатерина сказала также, что её связь с Понятовским возникла после того, как Пётр Фёдорович приблизил к себе Воронцову, что и стало известно всему Петербургу. Далее она обещала не только переменить своё отношение к Воронцовой на значительно более любезное, но и давать ей из своих средств ежегодную пенсию, освободив от непосильных расходов Петра Фёдоровича.

Пётр согласился и обещал молчать. «Случай, долженствовавший погубить Великую княгиню, доставил ей большую безопасность и способ держать на своём жалованье и самую любовницу своего мужа; она сделалась отважнее на новые замыслы и начала обнаруживать всю нелепость своего мужа, столь же тщательно, сколь сперва старалась её таить», — писал Рюльер.

29 июня в Петергофе был бал в честь именин и Петра Великого и Петра Фёдоровича. Понятовский, сговорившись с Елизаветой Воронцовой, пришёл в один из павильонов, стоявших в Петергофском парке — «Монплезир», где были апартаменты и

великого князя и его жены.

К этому времени Екатерина уже во всём призналась Петру, о чём загодя уведомила Понятовского, и ему пришлось во всём сознаться, на что обманутый муж ответил, смеясь: «Ну, не большой ли ты дурак, что не открылся мне вовремя! Если бы ты это сделал, не произошла бы вся эта распря!»

После этого Пётр ушёл в спальню Екатерины, вытащил её в одной рубашке из кровати — между тем как был уже второй час ночи, — и привёл её к Понятовскому и Воронцовой. Потом все они стали болтать, смеяться и шалить и разошлись только к четырём часам утра.

Описав всё случившееся в своих мемуарах, Понятовский добавляет: «Я уверяю, что такое сумасшествие, каким всё это могло казаться, было сущей правдой. На другой день все заискивали у меня. Великий князь заставил меня ещё четыре раза приехать в Ораниенбаум. Я приезжал вечером, поднимался по потайной лестнице в комнату Великой княгини.

Там я находил Великого князя и Воронцову. Мы ужинали вместе, после чего он уводил её (Воронцову), говоря нам: «Ну, итак, дети мои, я вам больше не нужен, я думаю».

Войны внутренние и внешние

Роман Екатерины и Понятовского пришёлся на то время, когда Россия начала активные военные действия против Пруссии. В мае 1757 года семидесятитысячная русская армия, находившаяся под командованием фельдмаршала Степана Фёдоровича Апраксина, одного из лучших русских полководцев того времени, двинулась к берегам пограничной с Пруссией реки Неман.

Уже в августе была одержана первая крупная победа: при деревне Гросс-Егерсдорф русские войска разгромили корпус прусского фельдмаршала Левальда.

Однако вместо того чтобы идти на столицу Восточной Пруссии — Кёнигсберг, Апраксин отдал приказ возвращаться в Прибалтику, объясняя это недостатком продовольствия, большими потерями и болезнями в войсках. Этот манёвр породил в армии и в Петербурге слухи о его измене и привёл к тому, что на его место был назначен новый главнокомандующий — обрусевший англичанин, генерал-аншеф, граф Вилим Вилимович Фермер, успешно командовавший войсками в войнах со Швецией, Турцией и в последней войне — с Пруссией.

Апраксину же было предписано отправиться в Нарву и ждать дальнейших распоряжений. Однако распоряжений не последовало, а вместо этого в Нарву пожаловал «Великий государственный инквизитор», начальник Тайной канцелярии Шувалов. Следует иметь в виду, что Апраксин был другом канцлера Бестужева, а братья Шуваловы — ярыми его врагами. «Великий инквизитор», приехав в Нарву, незамедлительно учинил опальному фельдмаршалу строгий допрос, касающийся главным образом его переписки с Екатериной и Бестужевым.

Шувалову нужно было доказать, что Екатерина и Бестужев склоняли Апраксина к измене с тем, чтобы всячески облегчить положение прусского короля. Допросив Апраксина, Шувалов арестовал его и перевёз в урочище Четыре Руки, неподалёку от Петербурга.

Апраксин отрицал какой-либо злой умысел в своём отступлении за Неман и утверждал, что «молодому двору никаких обещаний не делал и от него никаких замечаний в пользу прусского короля не получал».

Тем не менее он был обвинён в государственной измене и все заподозренные в преступной с ним связи были арестованы и привезены на допросы в Тайную канцелярию.

14 февраля 1758 года, неожиданно для всех, был арестован и канцлер Бестужев. Его сначала арестовали и только потом стали искать, в чём бы обвинить. Сделать это было трудно, ибо Бестужев был честным человеком и патриотом, и тогда его обвинили, как впоследствии сообщала в своих «Записках» Екатерина, в «преступлении в оскорблении Величества и за то, что он, Бестужев, старался посеять раздор между Ея Императорским Величеством и Их Императорскими Высочествами».

Дело окончилось тем, что Бестужева выслали из Петербурга в одну из его деревень, но в ходе следствия подозрения пали на Екатерину, ювелира Бернарди, Понятовского, бывшего фаворита Елизаветы Петровны генерал-поручика Никиту Афанасьевича Бекетова и учителя Екатерины Адодурова. Все эти люди были связаны с Екатериной, Бестужевым и английским посланником Уильямсом. Из них лишь Екатерина, как великая княгиня, да Понятовский, как иностранный дипломат, могли бы чувствовать себя относительно спокойно, если бы не их собственные интимные отношения и сугубо секретные дела с канцлером Бестужевым, которые нельзя было расценить иначе, как антиправительственный заговор. А дело было ещё и в том, что Бестужев составил план, по которому, как только Елизавета Петровна скончается, Пётр Фёдорович станет императором по праву, а Екатерина будет соправительницей. Себе же Бестужев предусмотрел особый статус, который облекал его властью не меньшей, чем у Меншикова при Екатерине I. Бестужев претендовал на председательство в трёх важнейших Коллегиях — Иностранной, Военной и Адмиралтейской. Кроме того, он желал иметь звание подполковника во всех четырёх лейб-гвардейских полках — Преображенском, Семёновском, Измайловском и Конном. Свои соображения Бестужев изложил в виде Манифеста и прислал его Екатерине.

К счастью и для себя, и для Екатерины, Бестужев успел сжечь и Манифест и все черновики и таким образом лишил следователей серьёзнейшей улики в государственной измене. Более того, через одного из своих преданнейших слуг — камердинера Василия Григорьевича Шкурина (запомните имя этого человека, мы вскоре вновь встретимся с ним в обстоятельствах более чем неординарных) Екатерина узнала, что бумаги сожжены и ей опасаться нечего.

И всё же подозрение осталось, и Елизавета Петровна стараниями братьев Шуваловых, Петра и Александра, была уведомлена об альянсе Бестужев — Екатерина. Импульсивная и неуравновешенная императрица решила, хотя бы внешне,

выказать своё неудовольствие Екатериной и перестала принимать её, что повлекло охлаждение к ней и значительной части большого двора.

А Станислав-Август оставался по-прежнему любовником великой княгини, и есть много оснований полагать, что в марте 1758 года Екатерина именно от него забеременела ещё раз и 9 декабря родила дочь, названную Анной. Девочку унесли в покои Елизаветы Петровны сразу же после рождения, и дальше всё происходило, как и четыре года назад, когда на свет появился её первенец — Павел: в городе начались балы и фейерверки, а Екатерину вновь оставили одну. Правда, на этот раз у её постели оказались близкие ей придворные дамы — Мария Александровна Измайлова, Анна Никитична Нарышкина, Наталья Александровна Сенявина и единственный мужчина — Станислав-Август Понятовский.

Анна Нарышкина, урождённая графиня Румянцева, была замужем за обер-гофмаршалом Александром Нарышкиным, а Измайлова и Сенявина были урождёнными Нарышкиными — родными сёстрами гофмаршала и доверенными наперсницами Екатерины. В «Записках» Екатерина сообщает, что эта компания собралась тайно, что Нарышкины и Понятовский прятались за ширмы, как только раздавался стук в дверь, а, кроме того, Станислав-Август прошёл во дворец, назвав себя музыкантом великого князя. То, что Понятовский был единственным мужчиной, оказавшимся после родов у постели Екатерины, выглядит достаточно красноречивым свидетельством, подтверждающим версию о его отцовстве.

В своих «Записках» Екатерина приводит любопытный эпизод, произошедший незадолго до родов в сентябре 1758 года: «Так как я становилась тяжёлой от своей беременности, то я больше не появлялась в обществе, считая, что я ближе к родам, нежели была на самом деле. Это было скучно для Великого князя… А потому Его Императорское Высочество сердился на мою беременность и вздумал сказать однажды у себя, в присутствии Льва Нарышкина и некоторых других: «Бог знает, откуда моя жена берёт свою беременность, я не слишком-то знаю, мой ли это ребёнок, и должен ли я его принять на свой счёт».

И всё же, когда девочка родилась, Пётр Фёдорович был рад произошедшему. Во-первых, ребёнка назвали точь-в-точь как звали его покойную мать — родную сестру императрицы, — Анной Петровной. Во-вторых, Пётр Фёдорович получил, как отец новорождённой, шестьдесят тысяч рублей, которые, конечно же, были ему более чем необходимы.

Девочка прожила очень недолго и умерла 8 марта 1759 года.

Её почему-то похоронили не в Петропавловском соборе, который с 1725 года стал усыпальницей дома Романовых, а в церкви Благовещения Александро-Невской лавры. И это обстоятельство тоже не ускользнуло от современников, наводя их на мысль о том, была ли Анна Петровна законной царской дочерью?

А события за стенами императорских дворцов шли своим чередом. 11 января 1758 года войска Вилима Фермера заняли столицу Восточной Пруссии — Кёнигсберг.

Затем 14 августа последовало кровопролитное и упорное сражение при Цорндорфе, в котором противники потеряли только убитыми около тридцати тысяч человек. Екатерина писала, что в бою под Цорндорфом было убито более тысячи русских офицеров. Многие из погибших прежде квартировали или жили в Петербурге, и потому сообщения о цорндорфском побоище вызвало в городе скорбь и уныние, но война продолжалась, и пока ей не было видно конца.

Вместе со всеми переживала и Екатерина. Совсем по-другому и чувствовал и вёл себя Пётр Фёдорович.

С известием о Цорндорфском сражении в Петербург прибыл полковник Розен. Денщик Розена стал болтать, что русские под Цорндорфом потерпели поражение. За это денщика посадили на гауптвахту. Когда тот освободился, Пётр Фёдорович, хорошо зная, за что именно был посажен денщик Розена — тоже немец, — призвал его к себе. В зале, где произошла встреча, стояла группа офицеров-голштинцев. В их присутствии Пётр сказал: «Ты поступил как честный малый. Расскажи мне всё, хотя я и без того хорошо знаю, что русские никогда не могут побить пруссаков». И, указывая на стоящих рядом голштинцев, добавил: «Смотри, это все пруссаки, — разве такие люди могут быть побиты русскими!» Разумеется, и этот эпизод вскоре стал известен многим.

Меж тем 6 августа 1758 года, так и не дождавшись суда, внезапно скончался находящийся под арестом фельдмаршал Апраксин. Он умер, как сообщалось, от паралича сердца, но по Петербургу тут же распространились слухи о насильственной смерти — ведь это случилось, когда он был в заточении. Ещё более убедило сторонников этой версии то, что фельдмаршала похоронили без положенных ему по чину воинских почестей, наспех и втайне от всех на кладбище Александро-Невской лавры.

Косвенным признанием невиновности Апраксина было то, что все привлечённые к следствию по делу Бестужева — а оно возникло после ареста Апраксина, — были либо понижены в должностях, либо высланы из Петербурга в свои деревни, но никто не понёс уголовного наказания.

Екатерина ещё некоторое время пребывала в немилости у императрицы, но после того, как попросила отпустить её в Цербст, к родителям, чтобы не испытывать унижений и оскорбительных для неё подозрений, Елизавета Петровна сменила гнев на милость и восстановила с невесткой прежние отношения.

А на театре военных действий удачи сменялись неудачами, и, как следствие этого, сменялись и главнокомандующие: Фермера в июне 1759 года сменил фельдмаршал граф Пётр Семёнович Салтыков, а в сентябре 1760 года появился ещё один фельдмаршал, граф Александр Борисович Бутурлин. Любимец императрицы блеснул мимолётной удачей — без боя занял Берлин, малочисленный гарнизон которого ушёл из города при приближении русского кавалерийского отряда.

Однако через трое суток также поспешно ретировались и русские, узнав о подходе к столице Пруссии превосходящих сил Фридриха II. Диверсия на Берлин ничего не изменила в ходе войны. А решающим для её исхода оказалась не военная кампания, а приход к власти в Англии нового правительства, которое отказало Пруссии в дальнейших денежных субсидиях.

Братья Орловы

Следствие по делу Бестужева всё же бросило тень на Понятовского, он вынужден был оставить свой пост и уехать в Польшу.

После отъезда Понятовского из Петербурга Екатерина недолго пребывала в одиночестве. На сей раз её избранником оказался один из самых популярных гвардейских офицеров, красавец, силач, буян и задира двадцатипятилетний Григорий Григорьевич Орлов, один из пяти братьев Орловых, четверо из которых служили в гвардейских полках, дислоцированных в Петербурге.

Орловы происходили из тверских дворян и своё благородное происхождение могли подтвердить грамотой, относящейся к концу XVI века, основателем своего рода они считали помещика Лукьяна Ивановича Орлова, владельца села Люткино Бежецкого уезда Тверской губернии.

Его внук Иван Иванович Орлов в конце XVII века служил подполковником одного из московских стрелецких полков. Его полк выступил против Петра, и когда царь примчался из Вены выводить крамолу, то среди тех, кто был приговорён к смерти, оказался и Иван Орлов. Когда Орлова и его товарищей привели к эшафоту, вдруг приехал Пётр и поднялся на эшафот, став рядом с палачом. А вскоре на помост ступил Иван Орлов. И как только он поднялся, под ноги ему подкатилась отрубленная стрелецкая голова. Орлов засмеялся и пнул голову так, что та слетела с помоста на землю. А после этого тут же подошёл к плахе и с улыбкой сказал Петру: «Отодвинься, государь, здесь не твоё место — моё». И с улыбкой положил голову на плаху.

— Как звать тебя? — спросил Пётр.

— Зовут Иваном, а кличут Орлом, — ответил мятежник.

Петру понравилось и то, что он видел, и слова, ему сказанные, и он помиловал Орлова за бесстрашие и удаль, сказав:

— Иди вон, да только не смей больше бунтовать. Мне и самому смельчаки надобны.

Таким был родной дед братьев Орловых. А их отцом стал сын Ивана Ивановича — Григорий Иванович. Он тоже с юных лет попал в солдаты, провёл в походах и сражениях всё царствование Петра I, участвуя и в Северной войне, и в Прутском походе. К концу Северной войны он был командиром Ингерманландского полка — одного из лучших армейских пехотных полков России, первым командиром которого был сам Александр Данилович

Меншиков. Григорий Иванович Орлов был лично известен Петру I и с гордостью носил на золотой цепи его портрет, подаренный самим императором.

Всё было бы хорошо, но не везло Григорию Ивановичу в делах семейных: хотел он иметь потомство, да не дал ему Бог детей. Так и жил он с бесплодной женой, пока та не умерла, оставив его бобылём. Было вдовцу в ту пору пятьдесят два года, но бурлила в нём кровь Орловых, и бесшабашная удаль не оставляла старика, не оставляла его и надежда родить и взрастить детей. И в 1733 году он женился на собственной племяннице — на шестнадцатилетней красавице Лукерье Ивановне Зиновьевой, и она за восемь лет родила ему шестерых сыновей: Ивана, Григория, Алексея, Фёдора, Михаила и Владимира.

Только один из них, Михаил, умер во младенчестве, остальные же выросли красавцами и богатырями.

Женитьба заставила Орлова-отца выйти в отставку. Ему дали чин генерал-майора, но вскоре вновь призвали на службу, на сей раз — статскую, предложив пост Новгородского губернатора. Он умер в этой должности в 1746 году, на шестьдесят втором году жизни. В то время его старшему сыну, Ивану, было тринадцать лет, а младшему, Владимиру, три года. Оставшись одна, Лукерья Ивановна не смогла дать своим сыновьям хорошего домашнего воспитания, но вырастила их необычайно здоровыми, сильными и смелыми.

Хорошо понимая, что будущее её детей в Петербурге, молодая вдова отправила туда четырёх старших сыновей, оставив при себе лишь самого младшего — Владимира. Первым уехал старший — Иван. Окончив Сухопутный шляхетский кадетский корпус, он поступил в гвардию унтер-офицером. В 1749 году в корпус привезли и второго Орлова — четырнадцатилетнего Григория, проявившего незаурядные способности к языкам и за короткое время овладевшего немецким и французским. Учился Григорий Орлов всего один год, а затем вступил в службу рядовым лейб-гвардии Семёновского полка, но через семь лет, в 1757 году, был переведён в армию офицером и сразу же принял участие в Семилетней войне. 14 августа 1758 года в жестоком сражении под Цорндорфом Григорий Орлов был трижды ранен, проявив отменную храбрость и хладнокровие. Из-за этого он стал очень популярен в офицерской среде, а из-за отличного знания языков препоручили ему взятого в плен под Цорндорфом адъютанта Фридриха II графа Шверина.

После Цорндорфа Орлова вместе со Шверином отправили на зимние квартиры в Кёнигсберг, а оттуда оба приехали в Петербург. Здесь Григорий Орлов не мог не обратить на себя

внимания двора. И Пётр Шувалов, на беду себе, взял Григория Григорьевича в адъютанты. Почему «на беду»? Да потому что в двадцатипятилетнего красавца-адъютанта тут же влюбилась светская львица, княгиня Елена Степановна Куракина, бывшая в ту пору любовницей Петра Ивановича Шувалова. Граф и генерал-фельдцейхмейстер не потерпел этого и перевёл Орлова в фузелерный гренадерский полк. Однако это не убавило популярности Григорию Орлову — он по-прежнему оставался в чести и во всех полках гвардии и при малом дворе, где ему особенно мирволил Пётр Фёдорович. И, конечно же, не могла не обратить благосклонного внимания на бравого красавца-офицера и Екатерина Алексеевна, симпатизировавшая и его брату — Алексею, третьему гвардейскому офицеру из семьи Орловых.

Алексей Орлов в Кадетский корпус не пошёл. Четырнадцати лет он поступил рядовым в лейб-гвардии Преображенский полк и вскоре стал признанным коноводом гвардейской молодёжи, прежде всего из-за того, что был самым сильным человеком в полку.

Алексей Орлов не будучи тучным весил около ста пятидесяти килограммов. Одним сабельным ударом он отсекал голову быку. Ему не составляло труда раздавить яблоко между двумя пальцами или поднять Екатерину с коляской, в которой она сидела. Вместе с тем он был очень умён, хитёр и необычайно храбр.

Четвёртый брат, Фёдор Орлов, вначале повторил путь Григория: он поступил в Сухопутный шляхетский кадетский корпус, а затем — в Семёновский полк. Так же как и Григорий, Фёдор вскоре перешёл в армию офицером и шестнадцати лет принял участие в Семилетней войне, отличившись, как и Григорий, неустрашимостью и отвагой. И он, подобно своим старшим братьям, в конце пятидесятых годов оказался в Петербурге, разделяя вместе с Григорием славу отменного драчуна, повесы, кутилы и храбреца.

Особняком сложилась судьба младшего из Орловых — Владимира. Он не служил ни в военной, ни в статской службе, а провёл юность в деревне, ведя жизнь совершенно противоположную, нежели его братья. Владимир более всего любил чтение и учёные занятия, отдавая предпочтение ботанике, агрономии и астрономии. В Петербурге он появился позже всех, и здесь тоже стоял особняком, братья дразнили его «красной девицей».

Особенно прославились своими подвигами два брата Орловых — Алексей и Фёдор. Громкую известность получило их неугасающее соперничество с самым сильным человеком в Петербурге — Александром Мартыновичем Шванвичем. Здесь

уместно будет познакомиться с ним поближе, ибо в дальнейшем он сам, и особенно его сын, займёт в нашем повествовании немаловажное место.

Шванвич — правильнее было бы писать «Шванвиц» — был сыном преподавателя Академической гимназии и переводчика с немецкого и латинского языков Мартина Шванвица, натурализовавшегося в России в последние годы царствования Петра I.

В 1727 году у него родился сын — Александр, крестной матерью которого стала восемнадцатилетняя Елизавета Петровна. Как и три его брата, Александр был отдан в Академическую гимназию, где и проучился с 1735 по 1740 год. По окончании гимназии Шванвича зачислили в артиллерию, а через восемь лет — 21 ноября 1748 года он стал гренадером поручичьего ранга Лейб-кампании. Александр Мартынович Шванвич был таким же пьяницей, повесой и задирой, как и братья Орловы, и потому справедливо считать их всех одного поля ягодами. Только к тому же славился он как самый сильный человек Санкт-Петербурга, с чем не хотели соглашаться братья Орловы.

Около 1752 года и произошло то самое событие, которое заставило говорить об Алексее и Фёдоре Орловых и Шванвиче весь гвардейский и светский Петербург.

Дело в том, что бесконечные выяснения, кто из них троих самый сильный, и возникавшие в связи с этим столь же бесконечные драки заставили наконец и Шванвича, и братьев Орловых попытаться найти мирный выход из создавшейся нелепой и опасной ситуации. Было постановлено, что если Шванвич встретит где-либо одного из братьев, то встреченный беспрекословно ему подчиняется. А если Шванвич встретит двух Орловых вместе, тогда он должен подчиниться им. Однажды Шванвич зашёл в трактир, где проводил время Фёдор Орлов. Шванвич приказал Фёдору отойти от бильярда и отдать ему кий. Затем он велел ему же уступить место за столом, отдав вино и понравившуюся ему девицу более чем лёгкого нрава, сопровождавшую Фёдора. Орлов, выполняя условия соглашения, повиновался, но вдруг в трактир вошёл Алексей Орлов, и ситуация сразу же переменилась: теперь братья потребовали вернуть им всё — бильярд, вино и девицу. Шванвич заартачился, но Орловы вытолкали его за дверь.

Шванвич, спрятавшись за воротами, затаился и стал поджидать выхода братьев.

Первым вышел Алексей, и Шванвич нанёс ему палашом удар по лицу. Орлов упал, но рана оказалась несмертельной. Впоследствии, когда Алексей Орлов вошёл в историю как

победитель турецкого флота в бухте Чесма и стал графом Орловым-Чесменским, знаменитый скульптор Федот Иванович Шубин изваял из мрамора его бюст и запечатлел этот огромный шрам, идущий через всю щёку.

Братья Орловы не стали мстить Шванвичу, и он не был наказан за бесчестный поступок.

Чтобы распрощаться с Александром Мартыновичем Шванвичем, скажем только, что потом служил он на Украине, в Торжке, а в феврале 1765 года был пожалован чином секунд-майора и умер в этом же чине через двадцать семь лет командиром батальона в Кронштадте.

Говоря о Шванвиче, знаменитый русский историк князь Михаил Михайлович Щербатов проронил несколько слов и о его сыне: «стараниями Орлова смягчён был приговор над его сыном, судившимся за участие в Пугачёвском бунте». Да, в семидесятых годах сын Шванвича — подпоручик Михаил Александрович Шванвич — окажется одним из ближайших помощников Пугачёва, став для Пушкина прототипом Швабрина в повести «Капитанская дочка». Шванвич-младший стал и одним из действующих лиц пушкинских «Истории Пугачёва» и «Замечаний о бунте». Но об этом мы расскажем в следующей повести, посвящённой Екатерине II.

Нашим героем сейчас станет второй из братьев Орловых — Григорий. Итак, Григорий появился в Петербурге, привезя с собою из Кёнигсберга пленного адъютанта прусского короля графа Шверина.

Орлова и Шверина поселили в доме придворного банкира Кнутцена, стоявшем рядом с Зимним дворцом. Это облегчало встречи Григория Орлова с Екатериной, которая, как утверждали, влюбилась в красавца и силача с первого взгляда. Екатерина тайно навещала своего нового любовника в доме Кнутцена и вскоре почувствовала, что беременна.

Однако из-за того, что Пётр Фёдорович давно уже пренебрегал своими супружескими обязанностями и делил ложе с кем угодно, но только не со своею женой, беременность Екатерины была почти для всех тайной, кроме очень узкого круга самых доверенных и близких ей людей.

Екатерина, оказавшаяся в положении в августе 1761 года, решила сохранить ребёнка и родить его, чем бы ей это ни грозило. Как и водится, первые пять месяцев — до самого конца 1761 года — скрывать беременность было не очень трудно, тем более что она и не находилась в центре внимания, так как и большой и малый дворы более всего волновало всё ухудшающееся

состояние здоровья Елизаветы Петровны и постоянно возникающий в связи с этим вопрос о престолонаследии.

При дворе склонялись, во-первых, к тому, чтобы трон наследовал Пётр III; во-вторых, чтобы императором был объявлен Павел Петрович, а соправителями при нём были оба его родителя; и в-третьих, чтобы Екатерина была регентшей, а её муж был бы отправлен к себе на родину — в Голштинию.

Болезнь и смерть Елизаветы

В то время как происходило всё это, здоровье Елизаветы Петровны становилось всё хуже и хуже. Врачи прописывали ей лекарства, и она их принимала, но когда те же врачи давали ей благие советы, требуя воздержания в пище и питье, она отмахивалась от целителей как от надоедливых мух и продолжала вести себя как прежде, отказавшись только от парадных обедов, балов и дворцовых выходов. Затем вдруг впала она в другую крайность, отказываясь от скоромной пищи.

В марте 1760 года её врач Пуассонье приходил в отчаяние потому, что Елизавета Петровна, ссылаясь на Великий пост, отказывалась выпить бульон, предпочитая греху грозящую ей смерть от отёка лёгких.

Первый серьёзный случай, заставивший многих задуматься над тем, долго ли осталось жить императрице, произошёл 8 сентября 1758 года в Царском Селе на праздник Рождества Богородицы: Елизавета Петровна во время службы в церкви почувствовала себя дурно, вышла на крыльцо и потеряла сознание. Рядом не оказалось никого из её свиты, а простые люди, собравшись вокруг неё, не смели подойти к царице. Когда наконец появились врачи, больная, едва придя в себя, открыла глаза, но никого не узнала и невнятно спросила: «Где я?»

Несколько дней после этого Елизавета Петровна говорила с трудом и встала с постели лишь к концу месяца.

А после этого Елизавета Петровна стала часто и подолгу болеть. Нередко случались у неё истерические припадки. Из-за невоздержанности в еде и отсутствия режима постоянно шла кровь носом, а потом открылись и незаживающие, кровоточащие раны на ногах. За зиму 1760-1761 года она участвовала только в одном празднике, всё время проводя в своей спальне, где принимала и портных и министров. Она и обеды устраивала в спальне, приглашая к столу лишь самых близких людей, так как шумные и многолюдные застолья уже давно стали утомлять больную императрицу, два года назад перешагнувшую пятидесятилетний рубеж. Пословица: «Бабий век — сорок лет», в XVIII столетии понималась буквально, ибо тогда было совершенно иным восприятие возрастных реалий — двадцатилетняя девушка считалась уже старой девой, а сорокалетняя женщина — старухой.

И хотя Елизавета Петровна всеми силами старалась казаться молодой, прибегая к услугам парикмахеров и гримёров, здоровья

у неё от этого не прибавлялось. Внешне она была всё ещё хороша и даже привлекательна, но внутренне организм её представлял руину, а она сама была подобна развалине, искусно задекорированной умелым художником.

До поры до времени только самые близкие знали об истинном положении вещей — случай, произошедший 8 сентября 1758 года, был редким исключением, — но уже 1761 год, последний год её жизни, Елизавета Петровна почти весь пролежала в постели. В ноябре болезнь резко усилилась, а с середины декабря медики уже не верили в её выздоровление, ибо приступы жестокого кашля и сильная, часто повторяющаяся рвота с кровью в конце концов привели больную к смерти. Уже на смертном одре Елизавета, мостя собственной душе дорогу в царствие небесное, амнистировала тринадцать тысяч контрабандистов и двадцать пять тысяч несостоятельных должников, чьи долги были менее пятисот рублей.

Соборовавшись и причастившись, но ещё находясь в сознании, Елизавета Петровна передала безутешно плакавшему Ивану Ивановичу Шувалову, не покидавшему её ни на минуту, ключ от шкатулки, где хранилось золото и драгоценности стоимостью в триста тысяч рублей. Шувалов и прежде часто видел эту шкатулку и знал, что в ней хранится, но, когда Елизавета умерла, он передал всё ему подаренное в государственную казну. Хотя, как только Елизавета Петровна умерла, Шувалова тут же выселили из его апартаментов.

Ненавидевший дом Романовых генеалог и публицист, политический эмигрант князь Пётр Владимирович Долгоруков написал сто лет спустя, что 25 декабря 1761 года в четвёртом часу дня истомлённая распутством и пьянством Елизавета скончалась на пятьдесят третьем году от рождения и дом Гольштейн-Готторпский вступил на престол всероссийский.

Пётр Фёдорович и Екатерина Алексеевна последние дни почти целиком проводили у постели умирающей. Как только Елизавета Петровна скончалась, из её спальни в приёмную, где собрались высшие чины империи, вышел старший сенатор, князь и фельдмаршал Никита Юрьевич Трубецкой и объявил, что ныне «государствует его величество император Пётр III».

Новый император тут же отправился в свои апартаменты, а у тела усопшей осталась Екатерина, которой Пётр III поручил озаботиться устройством предстоящих похорон.

ЕКАТЕРИНА ВЕЛИКАЯ

Можно смело сказать, что Екатерина II выстроила собственную судьбу своими руками. Бедная немецкая принцесса Фике упорно и неуклонно, шаг за шагом, шла к намеченной цели. И она добилась желаемого — стала императрицей России.

Честолюбивая и умная, склонная к авантюрам и расчётливая, Екатерина II твёрдой рукой захватила власть и правила страной более 30 лет. Всего два правителя в России получили титулы Великих — Пётр I и Екатерина II. И конечно же не случайно. Не только славными делами, но и великими деяниями прославила себя Екатерина, укрепив позиции государства внутри страны и за рубежом. Она вошла в историю как просвещённая государыня, радеющая за благо Отечества.

Мы же познакомимся с ней поближе — с её личной жизнью, с её окружением. Всё-таки великая государыня была женщиной — со своими слабостями, увлечениями, радостями и горестями. Судьба в полной мере наделила её достоинствами, не забыв и о недостатках. Об этом — наша повесть.

«Отличительные черты и умоначертания двора…»

Вечером 25 декабря 1761 года Пётр III, уже провозглашённый императором, учинил в «куртажной галерее» — традиционном месте проведения весёлых придворных праздников — радостное пиршество, во время которого многие из приглашённых им за стол царедворцев не скрывали ликования в связи со случившимся. И первым из них был сам Пётр Фёдорович.

К вечеру была произведена первая важная перемена — генерал-прокурор, князь Яков Петрович Шаховской был отставлен от должности, а на его место назначен Александр Иванович Глебов. По поводу этой перемены Екатерина заметила: «то есть слывущий честнейшим тогда человеком отставлен, а бездельником слывущий и от уголовного следствия спасённый Петром Шуваловым сделан на его место генерал-прокурором».

Пока Екатерина была погружена в организацию похорон, Пётр III занимался другими делами: он переселил Ивана Шувалова из его покоев и разместился там сам, а Елизавете Воронцовой велел поселиться рядом — в спальне покойной императрицы. Все дни подряд, пока тело Елизаветы Петровны ещё не было погребено, он ездил из дома в дом, празднуя Святки и принимая поздравления с восшествием на престол.

Траурные церемонии в обеих столицах шли своим чередом, а Святки — своим. Две недели — от Рождества до Крещения — новый император предавался веселью, вызывая не только изумление, но и возмущение жителей Петербурга.

Екатерина, погруженная в глубокий траур, облачённая в чёрные одежды, делившая всё своё время между церковными службами и устройством предстоящей церемонии погребения, выглядела благочестивой, глубоко верующей, искренне опечаленной смертью императрицы Елизаветы.

Уже в самые первые дни царствования Петра III Екатерина сумела тонко, ловко и умно выявить способности и качества души и характера, привлёкшие к ней сердца и умы лучших сановников и военных, ясно увидевших и осознавших огромную разницу между новым императором и новой императрицей. Те же самые мысли и чувства вызывала Екатерина и у многочисленных дворцовых служителей, духовенства, солдат, сержантов и офицеров гвардии, наблюдавших за всем происходящим во дворце.

25 января 1762 года, ровно через месяц после смерти, забальзамированное, не без участия Екатерины, тело Елизаветы Петровны было погребено в Петропавловском соборе.

На третий день после похорон, 28 января, Пётр III ликвидировал Конференцию при Высочайшем дворе, передав её функции Сенату и Коллегии Иностранных дел.

А ещё через три недели, 18 февраля 1762 года, был обнародован самый значительный законодательный акт из подписанных Петром III — Манифест «О даровании вольности и свободы всему Российскому дворянству», который историки сравнивали с Манифестом об освобождении крестьян, вышедшем ровно через 99 лет — 19 февраля 1861 года.

Теперь дворяне могли служить и в России, и в союзных России европейских государствах, могли переходить из статской службы в военную и наоборот, могли свободно выезжать за границу и возвращаться обратно.

Особым пунктом дворянам вменялось в обязанность обучать своих детей, а те, у которых такой возможности не было, имели право присылать их для воспитания в Кадетский шляхетский корпус на счёт государства.

Этот Манифест надолго пережил Петра III. Его основные положения были подтверждены «Жалованной грамотой дворянству» — сводом дворянских привилегий из 92 статей, изданным 21 апреля 1785 года Екатериной И. А главные его идеи просуществовали три четверти века.

Возникает вопрос: мог ли Пётр III быть автором или просто инициатором создания такого фундаментального законодательного акта? Конечно же нет. Пётр III незадолго до того увлёкся княгиней Еленой Степановной Куракиной, и потому ему было нужно улизнуть хотя бы на одну ночь от уже опостылевшей, но имевшей власть над ним Елизаветы Воронцовой. Видный историк, князь Михаил Михайлович Щербатов, современник Петра Фёдоровича, писал: «Уверяют, что первая красавица Петербурга княгиня Куракина была привожена к нему на ночь Львом Александровичем Нарышкиным, и я сам от него слышал, что бесстыдство её было таково, что, когда по ночевании ночи он её отвозил домой поутру рано и хотел для сохранения чести её, а более, чтобы не учинилось известно сие графине Елизавете Романовне, закрывши гардины ехать, она, напротив того, открывая гардины, хотела всем показать, что она с государем ночь переспала.

Примечательна для России сия ночь, как рассказывал мне Дмитрий Васильевич Волков, тогда бывший его секретарём. Пётр III, дабы сокрыть сие от графини Елизаветы Романовны, сказал

при ней Волкову, что он имеет с ним сию ночь препроводить в исполнении известного им важного дела в рассуждении благоустройства государства. Ночь пришла, государь пошёл веселиться с княгинею Куракиной, сказав Волкову, чтобы он к завтрему, какое знатное узаконение написал, и был заперт в пустую комнату с датскою собакою. Волков, не зная намерения государственного, не знал, о чём писать, а писать надобно. Но как он был человек догадливый, то вспомнил нередкие вытвержения государю от Романа Ларионовича Воронцова о вольности дворянства. Седши, написал Манифест о сём. Поутру его из заключения выпустили, и Манифест был государем опробован и обнародован».

Дворяне, встречаясь друг с другом не только в домах, но и на улицах, обнимались и плакали от радости. Популярность Петра III выросла невероятно. Почувствовав себя на гребне волны, ощущая поддержку первого сословия государства, император сделал следующий шаг, на который он едва ли бы смог решиться до опубликования этого Манифеста.

21 февраля, через три дня после провозглашения дворянской свободы, был опубликован ещё один исключительно важный Манифест «Об уничтожении Тайной розыскной канцелярии».

Кроме двух названных манифестов несколько законодательных актов было посвящено делам церкви. 29 января вышел Указ, по которому всем сбежавшим за границу раскольникам было разрешено возвращение в Россию и гарантировалось свободное отправление их веры.

Через два дня вышел Указ о прекращении следствий по делам о раскольниках-самосожигателях, причём местным властям предписывалось разъяснить всем староверам, что впредь никаких гонений их вере не будет и в связи с этим самосожжения теряют всякий смысл.

Ещё через шесть дней вышел Сенатский Указ «О защите раскольников от чинимых им обид и притеснений». И, наконец, 1 марта 1762 года Сенату был дан именной указ о секуляризации церковных и монастырских земель. По этому Указу деревни и земли, ранее принадлежавшие церкви, переходили под управление государственных чиновников из отставных офицеров. Доходы с земель и деревень предписано было употреблять на содержание как монахов, так и отставных солдат и инвалидных домов. Общее управление всеми новыми имениями осуществляла специально для того созданная Коллегия экономии. Одновременно не были забыты и крестьяне: если окажется, что монастырские служки взяли у крестьян лишнее, то надлежит «оное, с них взыскав, возвратить крестьянам немедленно».

Не здесь ли — в сочувствии к раскольникам, и в снисхождении к крестьянам — следует искать популярность Пугачёва, выдававшего себя через десять лет после этого за Петра III.

Вместе с тем все эти указы больно били по монахам и белому духовенству, превращая их из хозяев и собственников земли и крестьян в нахлебников государства, зависимых от произвола светской власти. К тому же новый император, в отличие от своей подчёркнуто благочестивой и преданной православию супруги, редко ходил в церковь, а если и оказывался в храме, то вёл себя хуже любого язычника. По всему было видно, что «помазанник Божий» Пётр III презирает православное духовенство и открыто глумится над обрядами русского богослужения. Он велел обрить попам бороды и остричь волосы, вынести из храмов все иконы, кроме образов Христа и Богоматери. В Духов день, когда Екатерина вдохновенно и благоговейно молилась, Пётр III расхаживал по церкви, громко разговаривая, будто бы был не в церкви, а в своих покоях, когда же все встали на колени, он вдруг захохотал и выбежал из церкви. Всё это, разумеется, сделало русское духовенство злейшим врагом Петра III.

И ещё один рескрипт нового императора не должен остаться без внимания. Речь пойдёт об Указе, данном Военной коллегии 21 марта, о ликвидации Лейб-кампании, по которому из 412 лейб-кампанцев на военной службе осталось всего 8 человек, остальные почти все отправлялись в отставку.

На место лейб-кампанцев заступали верные Петру III голштинцы, но не они определяли погоду во дворцах, ибо непоколебленной осталась главная сила дворцовых переворотов — Российская императорская лейб-гвардия, распустить которую у Петра III не было сил.

После вступления Петра III на трон распущенность нравов при дворе стала всеобщей. Князь Щербатов писал: «Не токмо государь, угождая своему любострастию, тако благородных женщин употреблял, но и весь двор в такое пришёл состояние, что каждый почти имел незакрытую свою любовницу, а жёны, не скрываясь ни от мужа, ни от родственников, любовников себе искали... И тако разврат в женских нравах, угождение государю, всякого рода роскошь и пьянство составляло отличительные черты и умоначертания двора, оттуда они уже разлилися и на другие состояния людей...».

Что же касается Екатерины, то она свою связь с Григорием Орловым хранила в глубочайшей тайне. И эта тайна становилась тем сокровеннее, чем ближе подходили роды. Таким образом, Екатерина представала перед двором чистой и нравственной

страдалицей, а Пётр Фёдорович выглядел этаким козлоногим сатиром, сексуальным маньяком и беспробудным пьяницей.

Однако же в доме банкира Кнутцена, где, как уже говорилось ранее, Екатерина встречалась с Григорием Орловым, скрывалась не только эта тайна. Григорий Орлов и два его брата, Алексей и Фёдор, всё чаще стали поговаривать о том, что престол должен принадлежать Екатерине и надобно от слов переходить к делу — готовить гвардию к новому перевороту, где эта идея жила ещё до дня смерти Елизаветы Петровны. Такие настроения не были неожиданностью или же новостью для Екатерины.

Ещё в декабре 1761 года с Екатериной доверительно поговорил воспитатель Павла Петровича, граф Никита Иванович Панин. Он сказал Екатерине, что Петра Фёдоровича следует отрешить от наследования трона, короновав его малолетнего сына, и поручить регентство ей, Екатерине. А в день кончины Елизаветы Петровны к Екатерине приехал капитан гвардии, князь Михаил Иванович Дашков, женатый на племяннице Панина Екатерине Романовне Воронцовой, родной сестре фаворитки Петра — Елизаветы, и сказал: «Повели, мы тебя взведём на престол».

Тогда Екатерина отказалась, понимая, что такого рода предприятие не совершается экспромтом и его следует тщательно и надёжно подготовить. Однако мысли об этом не оставляли её ни на минуту, так как Екатерина понимала, что у неё нет выхода: Пётр III либо заточит её в тюрьму, либо насильно пострижёт в монастырь, чтобы вслед за тем немедленно жениться на Елизавете Воронцовой и вместе с нею короноваться на царство.

А меж тем время шло, роды приближались, и Екатерина сильно опасалась, что Пётр Фёдорович узнает об этом, так как она боялась, что при родах станет кричать и дворцовые слуги или придворные тотчас же донесут о случившемся императору.

В начале апреля 1762 года Екатерина почувствовала, что роды совсем близки, и поделилась своими опасениями с одним из наиболее доверенных слуг Василием Григорьевичем Шкуриным.

Во дворец принимали мужчин и женщин «статных, лицом пригожих и взору приятных», по пословице: «Молодец — хоть во дворец», и Шкурин полностью тому соответствовал.

Когда Екатерина приехала в Петербург, он служил истопником в её апартаментах в Зимнем дворце и с самого начала сумел завоевать симпатии и доверие юной великой княгини. Шкурин свято хранил тайны своей госпожи, особенно потворствуя её роману с Григорием Орловым.

За несколько дней до родов Екатерина сказала Шкурину, что боится, как бы из-за её крика Пётр Фёдорович не узнал об этой

тайне. На что Шкурин, бывший в то время уже не истопником, а камердинером, сказал:

— Чего бояться, матушка? Ты уж дважды рожала. Родишь и в третий — дело бабье. А что касаемо до государя, то я так сделаю, что его в тот момент во дворце не будет.

— Не много ли на себя берёшь, Вася? — усомнилась Екатерина. — Пётр Фёдорович всё же император, а кто — ты?

— Не сомневайся, матушка. Как я сказал, так тому и статься, — ответил камердинер.

На следующее утро Шкурин пришёл во дворец со своим двенадцатилетним сыном Сергеем и предупредил Екатерину, что приехали они сюда одвуконь, и кони их стоят рядом с дворцом, у коновязи возле кордегардии, на Миллионной улице.

— Сына, матушка я оставлю здесь, а ты вели ему постелить где-нибудь в соседней комнате. И как тебе пристанет, как почувствуешь, что вот-вот начнётся, скажи ему, что он-де более тебе не надобен, и пусть скачет домой, поелику можно быстрее, и о том мне скажет. А я знаю, как своё дело делать.

Затем Шкурин сказал Екатерине, где его искать, и с тем уехал, а мальчик остался.

Шкурин жил с женой, сыном и двумя дочерьми на самой окраине Петербурга, в большой бревенчатой избе. Приехав, Василий Григорьевич вывез весь домашний скарб, отправил жену и дочерей на другую улицу, где жили родственники жены, а сам, запёршись в пустой избе, стал заниматься тем делом, которое и задумал. Сотворив всё, что было надобно, он лёг на пол и заснул. Проснулся Шкурин от того, что услышал под окном конский топот и тут же увидел, как с седла слетел его сын.

Шкурин вышел к нему навстречу и спросил:

— Как государыня?

— Велели скакать во весь дух и сказать, что я более им не надобен, — выпалил мальчик.

— Садись на коня и поезжай к матушке и сёстрам, — наказал ему Шкурин, объяснив и то, где они нынче живут. Мальчик уехал, а Василий Григорьевич быстро оседлал коня, затем вернулся в избу и вскоре снова показался во дворе. Взглянув на избу, Шкурин перекрестился, вскочил в седло и рысью выехал за ворота. Оглянувшись через несколько минут назад, Шкурин увидел над своим двором струйки дыма.

...Шкурин сам поджёг свою избу, основательно всё к тому подготовив. Изба горела хорошо — медленно, но верно, выкидывая снопы искр и облака чёрного дыма. Недаром, видать, был Шкурин долгие годы истопником, — знал толк в том, как надёжно разжечь хороший огонь.

Расчёт его был прост. Он знал, что Пётр Фёдорович в городе и что по заведённому им порядку, как только петербургский обер-полицмейстер получит сообщение о пожаре, то тут же во дворец помчится конный полицейский офицер известить государя, где и что горит. И государь, бросив все дела, непременно прикажет немедленно мчаться на пожар, ибо, хотя и было Петру Фёдоровичу за тридцать, — детская страсть к созерцанию пожаров с годами ничуть не ослабела, но ещё крепче засела в нём.

Расчёт Шкурина оправдался. В то время как он скакал к центру города, навстречу ему попала карета государя, запряжённая шестериком, нёсшаяся во весь опор по направлению к его дому.

...Когда Шкурин вошёл в опочивальню Екатерины, он услышал тонкий и неуверенный детский крик. Екатерина лежала на постели счастливая и обессиленная. Заметив Шкурина, она чуть-чуть улыбнулась и тихо проговорила:

— Мальчик.

Было 11 апреля 1762 года.

Пётр Фёдорович в это время сидел в карете и с замиранием сердца следил, как крючники растаскивают баграми горящие брёвна, как в облаках дыма и пара дюжие мужики тянут от бочек с водой заливные трубы, усмиряя бушующий огонь.

А в опочивальне Екатерины бабка-повитуха, принимавшая роды, ловко запеленала младенца и вместе со Шкуриным, никем не замеченная, осторожно вышла из дворца...

Сын Екатерины и Григория Орлова был назван Алексеем. Из-за того, что Екатерина купила для него в Епифанском уезде Тульской губернии село Бобрики, доходами с которого предстояло обеспечить его жизнь и воспитание, мальчику дали фамилию Бобринской.

Первые двенадцать лет прожил он в доме у Шкурина, воспитываясь вместе с его детьми — сыном Сергеем и двумя дочерьми — Марией и Натальей, благодаря чему родные дети Шкурина смогли получить прекрасное домашнее образование, а в 1775 году поехали вместе со своим названым братом за границу. После этого Бобринской закончил Сухопутный кадетский корпус, получив при выпуске малую золотую медаль и чин поручика, а затем уехал в длительное путешествие по России и Европе. Путешествие продолжалось три года, и за это время молодой человек побывал и в Поволжье, и на Урале, и на Украине. Затем через Варшаву направился он в Австрию, Италию, Швейцарию, Францию и Англию. Возвратившись в Россию, повелением

Екатерины был он поселён в Ревеле (ныне Таллин). Екатерина редко позволяла своему сыну навещать её, и он почти безвыездно жил в своём замке Обер-Пален. Судя по всему, Екатерина довольно прохладно относилась к сыну, впрочем, как и ко всем другим своим детям, о которых речь пойдёт впереди.

Когда Екатерина умерла, вступивший на престол Павел, доводившийся Бобринскому родным братом, возвёл Алексея Григорьевича в графское достоинство, а в день коронации присвоил и чин генерал-майора Конной гвардии. Последнее обстоятельство косвенно подтверждает, что Екатерина не любила сына, ибо Павел спешил облагодетельствовать тех, кого почитал обиженными его матерью.

При Павле же, тридцати шести лет, Алексей Бобринской вышел в отставку и поселился в одном из своих имений — Богородицке. С годами Бобринской превратился в тихого помещика-домоседа, занимавшегося чтением книг по агрономии, ботанике и минералогии и увлекавшегося астрономическими наблюдениями, чем сильно напоминал своего младшего дядю по отцу — Владимира Григорьевича Орлова, бывшего перед тем директором Академии наук, а тогда уже более двадцати лет жившего в роскошном подмосковном имении «Отрада». Он вёл такой же образ жизни, что и его племянник, — много читал, старался образцово вести хозяйство, помогал крестьянам и увлекался теми же науками, что и Алексей Бобринской.

И ещё их сближало родство по морганатической линии: Бобринской был женат на остзейской баронессе Анне Владимировне Унгерн-Штенберг, а женою Владимира Орлова была её близкая родственница баронесса Елизавета Ивановна Штакельберг. Умер Бобринской в Богородицке 20 июня 1813 года. Что же касается Шкурина, то Екатерина сумела по-царски отблагодарить его — две дочери Василия Григорьевича стали фрейлинами, а сам он в конце жизни был действительным камергером, тайным советником и гардеробмейстером императрицы.

Августейшая заговорщица

В то время как Екатерина благополучно родила сына и сумела сохранить случившееся в совершеннейшей тайне, в Петербурге продолжали происходить события, привлекавшие всеобщее внимание и вызывавшие различные толки.

Весной в Петербурге объявились опальные вельможи — Бирон и Миних.

Герцог Курляндский въехал в Петербург в роскошной карете, шестериком, в мундире обер-камергера, с Андреевской лентой через плечо. Миних — в фельдъегерской повозке, в мужицком сермяке и старых сапогах. Направляясь в столицу, старый фельдмаршал не знал, что в Петербурге у него остался сын, и когда у въезда в город его встретили тридцать три родственника и стали обнимать и целовать его, Миних заплакал первый и последний раз в своей жизни.

Миниха и Бирона не видели в Петербурге двадцать лет, но память и о том, и о другом хорошо сохранилась. И потому их внезапный приезд вызвал опасения в усилении возле нового императора немецкой партии. Однако вскоре же стало ясно, что опасения эти напрасны, так как и Бирон и Миних продолжали непримиримо враждовать друг с другом.

Когда они впервые оказались в Зимнем дворце за одним столом, Пётр III подошёл к обоим старикам и сказал:

— А вот два старых, добрых друга — они должны чокнуться.

Пётр сам налил им вина и протянул бокалы. Но вдруг к императору подошёл его генерал-адъютант Андрей Васильевич Гудович, бывший одним из самых доверенных и верных его друзей, и, что-то прошептав на ухо своему сюзерену, увёл Петра в соседнюю комнату.

Как только Пётр и Гудович вышли из зала, где остались Бирон и Миних, они одновременно поставили бокалы на стол и, злобно взглянув друг на друга, повернулись спинами один к другому.

Как оказалось, Гудович предупредил императора о готовящемся дворцовом перевороте в пользу Екатерины, но Пётр не придал этому значения, хотя генерал-адъютант долго убеждал его в достоверности сообщения и крайней необходимости в энергичных действиях.

А слухи эти не были безосновательны. Мы помним, что уже в день смерти Елизаветы Петровны к Екатерине приезжал князь Дашков — капитан лейб-гвардии Измайловского полка и уверял

её, что офицеры-измайловцы готовы возвести её на престол.

Роспуск лейб-кампании был воспринят гвардейцами как сигнал приближающейся опасности. Многие думали, что вслед за лейб-кампанией наступит черёд и лейб-гвардии. Подтверждение таким опасениям видели в том, что на смену лейб-кампанцам во дворец пришли и прочно там обосновались офицеры-голштинцы, с утра до утра окружавшие Петра III и ставшие не только его незаменимыми телохранителями, но и сотрапезниками и собутыльниками.

Кроме того, голштинские офицеры были внедрены во все гвардейские полки и стали там преподавателями фрунта, шагистики и экзерциции.

Во дворце они же учили русских генералов и даже фельдмаршалов «тянуть носок», «держать ножку» и «хорошенько топать». Гвардию переодели в мундиры прусского образца и по многу часов в день гоняли по плацу на вахт-парадах и смотрах. Гвардия была раздражена, унижена, озлоблена. Особенно бурное негодование овладело гвардейцами после того, как был заключён мир с Пруссией. Это случилось 24 апреля 1762 года, когда канцлер Михаил Илларионович Воронцов с русской стороны и прусский посланник в Петербурге, адъютант Фридриха II полковник и действительный камергер барон Бернгард-Вильгельм Гольц заключили «Трактат о вечном между обоими государствами мире». Трактат начинался с утверждения о пагубности войны и «печальном состоянии, в которое приведены толико народов и толико земель», раньше живших в мире и дружбе. Искренне желая мира, Пётр III и Фридрих II заявляли, что «отныне будет вечно ненарушимым мир и совершенная дружба» между Россией и Пруссией. Россия же брала на себя обязательство никогда не воевать с Пруссией, но «принимать участие в войне его величества короля Прусского с неприятелями его в качестве помочной или главной воюющей стороны». Россия обязывалась в течение двух месяцев вернуть Фридриху II все захваченные у него «земли, города, места и крепости». В «Артикуле сепаратном втором» выражалось намерение подписать и отдельный договор об оборонительном союзе между Россией и Пруссией.

Ждать пришлось недолго: такой трактат был подписан Воронцовым и Гольцем через полтора месяца — 8 июня.

Разумеется, что подписание трактата о вечном мире с Пруссией не обошлось без грандиозного пира, состоявшегося на седьмой день после случившегося. Присутствовавший при этом французский посланник писал в своём донесении в Париж: «Все видели русского монарха утопающим в вине, не могущего ни держаться, ни произнести ни слова и лишь бормочущего

министру-посланнику Пруссии пьяным тоном: «Выпьем за здоровье нашего короля. Он сделал милость поручить мне полк для его службы. Я надеюсь, что он не даст мне отставки. Вы можете его заверить, что, если он прикажет, я пойду воевать в ад».

А дело было в том, что по случаю подписания мира Фридрих II произвёл русского императора в прусские генерал-майоры и дал ему под команду полк. Это событие стало главной темой застольных выступлений Петра III. Их нелепость была настолько очевидной, что граф Кирилл Разумовский, не выдержав, заметил: «Ваше величество с лихвою можете отплатить ему — произведите его в русские фельдмаршалы».

Однако не это событие было наиболее одиозным и, как показало ближайшее будущее, наиболее исторически значимым. Во время пира Пётр III предложил тост за августейшую фамилию. Все встали. Одна Екатерина продолжала сидеть. Пётр послал генерал-адъютанта Гудовича спросить её, почему она позволяет себе такое поведение?

Екатерина ответила, что так как августейшая фамилия это — император, она сама и их сын, то пить ей стоя не имеет смысла. Пётр, выслушав ответ, закричал через весь стол: «Дура!» Вечером Пётр Фёдорович приказал своему адъютанту князю Барятинскому арестовать императрицу в её покоях. Испуганный Барятинский медлил с исполнением и не знал, как ему быть, когда в прихожей повстречался ему дядя императора, принц Георгий Голштинский. Барятинский передал ему, в чём дело. Принц побежал к императору, бросился перед ним на колени и насилу уговорил отменить приказание.

Екатерина, разумеется, вскоре же узнала об опасных намерениях супруга-императора и, зная его непредсказуемый нрав, а также не без оснований опасаясь, что всё это может повториться, да не так благополучно кончиться, решилась принимать контрмеры.

Самой кардинальной мерой могло быть лишение Петра III престола, тем более что никакое другое средство не изменило бы создавшейся ситуации.

А положение оказывалось всё более грозным не только для Екатерины. В промежутке между подписанием «Трактата о вечном мире» и «Трактата об оборонительном союзе», то есть за время с конца апреля и до начала июня, произошли два других немаловажных события. Во-первых, Пётр III отдал приказ корпусу Захара Григорьевича Чернышова, который совсем недавно брал Берлин, идти в Австрию и стать там под начало прусского главного командования для совместной борьбы с австрийцами —

вчерашними союзниками русских.

Во-вторых, была объявлена война Дании в защиту интересов Голштинии. Вторая война казалась не менее нелепой, чем первая, ибо речь шла о борьбе за кусок болота — так, во всяком случае, при российских масштабах воспринимался спор по поводу крохотного клочка приграничной территории с Шлезвигом.

Мир с Пруссией, война с Австрией и Данией, твёрдое намерение Петра III отправить в Данию гвардейские полки сделали вопрос о свержении ненавистного всем императора неотложной практической задачей.

И выполнить эту задачу было не столь трудно из-за того, что Екатериной и её сообщниками уже была проделана необходимая подготовительная работа.

Главным действующим лицом готовившегося заговора с самого начала была сама Екатерина. Она одна знала всех его участников, остальные же были знакомы только с теми, кого вовлекали в заговор сами. Екатерина никому не сообщала ни стратегии задуманного предприятия, ни тех тактических приёмов и частностей, при помощи которых всё это дело медленно, но неуклонно продвигалось вперёд.

Гнездом заговорщиков стал дом банкира Кнутцена, где квартировал Григорий Орлов. К нему часто наведывались Алексей и Фёдор, бывшие офицерами Преображенского и Семёновского полков. Братья, как мы знаем, пользовались немалым авторитетом у своих товарищей. Каждый из них исподволь агитировал солдат и офицеров своего полка в пользу Екатерины, распространял слухи, в свете которых она выглядела благодетельницей России, светочем разума и средостением доброты и правды, а её муж выглядел слабоумным монстром, врагом дворянства и ярым ненавистником гвардии. Рассказы эти подкреплялись небольшими безвозвратными денежными субсидиями, которые Алексей и Фёдор давали гвардейцам от имени Екатерины.

О происхождении этих денег братья и сами не знали. Екатерина же получала их через своего агента Одара от купца-англичанина Фельтена. Предоставленный ей кредит равнялся ста тысячам рублей.

Однако наиболее распропагандированным в пользу Екатерины оказался третий лейб-гвардейский полк — Измайловский, где служили пять офицеров, вовлечённых в заговор с первых же его дней.

Наряду с Орловыми активным участником заговора стал капитан-измайловец князь Михаил Иванович Дашков, раньше

других предлагавший поднять полк для её поддержки. Но, как уже говорилось, тогда Екатерина от предложения Дашкова отказалась.

То, что именно Дашков играл во всём этом деле такую роль, не было случайностью. Его дядя по матери — Никита Иванович Панин — был воспитателем цесаревича Павла и считал наиболее целесообразным и справедливым после смерти Елизаветы Петровны возвести на престол своего воспитанника, образовав для управления государством Регентский совет во главе с Екатериной. Панин был сторонником аристократической олигархии английского типа, ограничивавшей абсолютное самодержавие.

Этими соображениями Панин сугубо конфиденциально поделился с Екатериной, но состоявшийся разговор сначала не получил никакого развития. И всё же Панин не оставлял увлекавшей его идеи, беспокоясь за судьбу своего семилетнего воспитанника, которого он искренне любил, и понимал, что если Екатерина попадёт в крепостной каземат, то рядом с ней непременно окажется и Павел, ибо Пётр Фёдорович не считал его своим сыном.

Заговор созревал, но Панин на первых порах не был вовлечён в него. Меж тем одну из первых ролей в подготовке рискованного и опасного предприятия стала играть жена князя Дашкова — Екатерина Романовна Воронцова-Дашкова. Её отцом был граф Роман Илларионович Воронцов, а великий канцлер Михаил Илларионович Воронцов — дядей.

О старшей сестре Екатерины Воронцовой-Дашковой — Елизавете Романовне — мы уже знаем.

Близость родителей Екатерины Романовны к императорской фамилии послужила причиной того, что её крестной матерью была Елизавета Петровна, а крестным отцом — Пётр Фёдорович.

Воспитывалась Екатерина Романовна в доме дяди — канцлера Воронцова вместе с его дочерью и не только получила блестящее образование, но и на всю жизнь сохранила пылкую любовь и страстную привязанность к наукам и книгам.

О её любви к чтению узнал Иван Иванович Шувалов и стал присылать любознательной девочке книги из своей богатой библиотеки. Екатерина Романовна столь преуспела в этом, что немного погодя могла сказать, что кроме неё и великой княгини Екатерины Алексеевны не было в то время женщин, занимавшихся серьёзным чтением. Решительный поворот в судьбе Дашковой произошёл в начале 1759 года, когда она познакомилась с великой княгиней Екатериной Алексеевной, заехавшей поужинать в дом к её дяде.

Вспоминая впоследствии об этой первой встрече с Екатериной, Дашкова писала: «Мы почувствовали взаимное влечение друг к другу, а очарование, исходившее от неё, в особенности когда она хотела привлечь к себе кого-нибудь, было слишком могущественно, чтобы подросток, которому не было и пятнадцати лет, мог противиться, и я навсегда отдала ей своё сердце… Великая княгиня осыпала меня своими милостями и пленила своим разговором. Возвышенность её мыслей, знания, которыми она обладала, запечатлели её образ в моём сердце и в моём уме, снабдившем её всеми атрибутами, присущими богато одарённым природой натурам. Этот длинный вечер, в течение которого она говорила почти исключительно со мной одной, промелькнул для меня, как одна минута». Этот вечер и стал первоначальной причиной многих событий, о которых речь пойдёт ниже.

Шестнадцати лет Екатерина Романовна вышла замуж за гвардейского офицера, красавца и великана, князя Дашкова, матерью которого была Анастасия Михайловна Леонтьева — племянница Натальи Кирилловны Нарышкиной. А Наталья Кирилловна, как мы знаем, была матерью Петра I. И таким образом, князь Дашков доводился Петру I двоюродным внучатым племянником.

За два первых года она родила дочь и сына, но это не помешало ей и много читать и вести светскую жизнь. Летом 1760 года Екатерина Романовна ещё более сблизилась с великой княгиней Екатериной. Екатерина Романовна установила тесные отношения и с родственниками князя Дашкова — Еверлаковыми, Леонтьевыми и Паниными, принадлежавшими к российской знати.

В канун смерти Елизаветы Петровны Екатерина Романовна ночью, больная, тайно проникла во дворец и сказала Екатерине, что она будет верна ей до конца, разделит с нею любые тяготы и пойдёт ради неё на любые жертвы.

После того как на обеде в честь подписания мира с Пруссией произошёл скандал, Екатерина Алексеевна начала форсированно готовить заговор, её решительными сторонниками стали муж и жена Дашковы. Они расширили круг заговорщиков, втянув в комплот ещё нескольких гвардейских офицеров: преображенцев, капитанов — Пассека, Баскакова, Бредихина и поручика князя Барятинского; конногвардейца, секунд-ротмистра Хитрово; измайловцев — премьер-майора Рославлева и его брата — капитана Рославлева, а также капитанов Лесунского и Черткова. В заговор был вовлечён и командир Измайловского полка граф Кирилл Разумовский. А сама Дашкова привела в ряды

заговорщиков графа Панина и его племянника генерала князя Репнина. Вскоре ряды заговорщиков пополнились за счёт возвратившегося в Петербург с театра военных действий генерала князя Михаила Никитича Волконского.

Кроме военных в число заговорщиков вошли директор Академии наук Григорий Николаевич Теплов, практический руководитель Академии и один из самых авторитетных и грозных иерархов церкви — архиепископ Новгородский и Великолуцкий Димитрий (в миру — Даниил Алексеевич Сеченов).

В то время как заговор набирал силу, Пётр III вёл себя по-прежнему. Дашкова писала о нём: «Поутру быть первым капралом на вахтпараде, затем плотно пообедать, выпить хорошего бургундского вина, провести вечер со своими шутами и несколькими женщинами и исполнять приказания прусского короля — вот что составляло счастье Петра III, и всё его семимесячное царствование представляло из себя подобное бессодержательное существование изо дня в день, которое не могло внушать уважение».

Вместе с тем атмосфера становилась всё более напряжённой.

Пассек даже просил у Екатерины согласия на убийство Петра III. Он и Баскаков подстерегали императора с кинжалами около домика Петра Великого — в парке, на правом берегу Невы, на Петровской набережной, где император любил вечерами прогуливаться с Елизаветой Воронцовой. И хотя покушение не состоялось, но острота и накалённость ситуации оставались прежними.

Однажды ночью Дашкову разбудил её троюродный брат князь Репнин и сказал, что он только что был у императора, и при нём Пётр III наградил Елизавету Воронцову орденом Святой Екатерины. До сих пор этим орденом награждались только особы императорской фамилии и иностранные принцессы, а так как Елизавета Воронцова иностранной принцессой не была, то не оставалось предполагать ничего иного, кроме того, что она займёт место в императорской фамилии. Такой поворот событий показался Репнину угрожающим, и он не преминул уведомить о том свою кузину.

Разрублен «гордиев узел»

Вскоре после этого, 27 июня 1762 года, в Преображенском полку один из солдат, осведомлённый о готовящемся против Петра заговоре, рассказал об этом капитану Измайлову, думая, что он на стороне заговорщиков. Солдат не знал, что Измайлов — один из преданнейших Петру офицеров, и потому предательство было совершено им по неведению.

Измайлов тут же доложил о том, что услышал, и первым из заговорщиков был арестован капитан Пассек. Об этом тотчас же сообщил Дашковой Григорий Орлов.

В это время императрица Екатерина находилась в Петергофе, и Дашкова опасалась, что, если Пассека начнут допрашивать и он расскажет об участии Екатерины в заговоре, тут же арестуют и императрицу.

Предупреждая такой оборот событий, Дашкова послала жене камердинера Шкурина записку, чтобы она отправила в Петергоф наёмную карету и сообщила своему мужу, как всегда сопровождавшему императрицу, что эту карету надлежит держать наготове, не выпрягая лошадей, для того, чтобы государыня в случае опасности могла немедленно воспользоваться ею.

Отправив записку, Дашкова накинула офицерскую шинель и поспешила к братьям Рославлевым, жившим неподалёку от её дома. Но по дороге ей попал навстречу мчавшийся во весь опор Алексей Орлов. Он уже побывал у Рославлевых и ехал к ней, чтобы сообщить об аресте Пассека.

Дашкова сказала, что она всё знает, а теперь следует всем офицерам-измайловцам поспешить в свой полк и ждать там императрицу, ибо именно Измайловский полк стоит ближе всех прочих к Петергофу, и Екатерина, выехав из Петергофа, может рассчитывать прежде всего на поддержку и защиту измайловцев.

«За несколько часов до переворота, — писала потом Дашкова, — никто из нас не знал, когда и чем кончатся наши планы; в этот день был разрублен гордиев узел, завязанный невежеством, несогласием мнений насчёт самых элементарных условий готовящегося великого события, и невидимая рука провидения привела в исполнение нестройный план, составленный людьми, не подходящими друг к другу, недостойными друг друга, не понимающими друг друга и связанными только одной мечтой, служившей отголоском желания всего общества».

В ночь на 28 июня Алексей Орлов примчался в Петергоф. Он

знал, что Екатерина не живёт во дворце: там иногда, наездами бывал Пётр III, а ей и не хотелось лишний раз видеть его, а тем более с ним встречаться. Императрица поселилась в отдалённом от дворца павильоне, построенном на берегу канала, впадающего в Финский залив. Под окном её спальни стояла большая лодка, на которой, в крайнем случае, она могла уйти в Кронштадт или спрятаться на берегу, если будут перекрыты дороги.

Орлов прискакал к павильону, вывел Екатерину из её опочивальни и посадил в карету, присланную Шкуриным. Карета, запряжённая восьмериком, понеслась в Петербург. Ворвавшись в расположение Измайловского полка, экипаж Екатерины остановился. Ей навстречу стали выскакивать полуодетые солдаты и офицеры. Она же, беспомощно протянув к ним руки, с дрожью в голосе стала говорить, что император приказал убить её и сына и что убийцы уже гонятся по пятам за нею. Измайловцы, негодуя, кричали, что все как один умрут за неё и цесаревича Павла. Вскоре подоспел священник и принял от измайловцев присягу на верность Екатерине.

В это время появились в полку знатные, титулованные сторонники Екатерины: генерал-аншеф князь Волконский, граф Пётр Шувалов, двоюродный брат опального Бестужева-Рюмина — адмирал Талызин, бывший близким родственником и братьев Паниных. Среди стоявших рядом с Екатериной были графы Строганов и Брюс, чьи красавицы-жены находились в это время возле Петра III в Ораниенбауме, их поведение там давало повод мужьям требовать от неверных ветрениц развода. Так что у прозелитов Екатерины было много причин и для глубокой личной неприязни к Петру III.

Измайловский полк пошёл за Екатериной, а за измайловцами присягнули семёновцы и затем — преображенцы. В Преображенском полку под арестом находился Пассек. Когда его пришли освобождать, он подумал, что это — хитрая инсценировка и что на самом деле его выпускают только для того, чтобы проследить, к кому он пойдёт, и тем выявить других участников заговора. И Пассек наотрез отказался выходить с гауптвахты.

Последними принесли присягу императрице артиллеристы, после чего, около 9 часов утра, Екатерина, окружённая десятитысячной толпой солдат и офицеров, подъехала к Казанскому собору, куда Никита Панин привёз и цесаревича Павла. Собор был окружён множеством жителей Петербурга: здесь были ремесленники, мещане, купцы, чиновники, солдаты и офицеры, придворные и духовенство. Стихийно возникшее на площади собрание, чем-то напоминающее вече, представлялось

общенародным форумом, единогласно приветствовавшим Екатерину.

На глазах у всех этих людей архиепископ Новгородский и Великолуцкий Димитрий провозгласил Екатерину императрицей-самодержицей, а Павла — наследником престола.

После этого императрица возвратилась в Зимний дворец и начала диктовать манифесты.

В первом из них, от 28 июня 1762 года, говорилось, что Пётр III поставил под угрозу существование государства и православной церкви и что он готов отдать на порабощение Пруссии самое славу России, «возведённую на высокую степень своим победоносным оружием». Но законотворчество императрицы было прервано в самом начале из-за того, что Пётр оставался в Ораниенбауме в окружении верных ему голштинцев, а рядом с ним находился верный и храбрый старик — фельдмаршал Миних. Нужно было прежде всего ликвидировать это опасное гнездо, и Екатерина, оставив перо, чернила и бумагу, вышла навстречу духовенству, которое прибыло во дворец, чтобы совершить обряд миропомазания. Перед тем священники медленно и торжественно прошли по площади, на которой ровными шеренгами уже стояли тысячи солдат и офицеров при оружии и в полной амуниции.

Приняв миропомазание, Екатерина вышла на Дворцовую площадь в гвардейском мундире, с голубой лентой ордена Андрея Первозванного через плечо. Ей подвели коня, и она легко и грациозно взлетела в седло. Вот когда пригодились ей многочасовые уроки верховой езды! На другого коня, тоже в гвардейском мундире, села восемнадцатилетняя княгиня Дашкова, которую из-за её стройности и молодости приняли за юного офицера.

Екатерина объехала выстроившиеся на площади полки и приказала им пройти мимо фасада дворца, а сама вернулась в Зимний. Распахнув окно, она встала в проёме с высоко поднятым бокалом вина, показывая, что пьёт за их успех и здоровье. Проходящие полки ревели: «Ура!» и, весело разворачиваясь и перестраиваясь в походные колонны, направлялись на дорогу, шедшую к Петергофу.

Площадь ещё не опустела, а Екатерина уже вновь была на коне и, обогнав двенадцатитысячную колонну, встала впереди, ведя её навстречу голштинцам. В нескольких вёрстах за городом к колонне примкнул трёхтысячный казачий полк, а потом присоединялись всё новые и новые роты, эскадроны и батальоны.

На ночь войска разбили бивак, а Екатерина и Дашкова переночевали в пригородном трактире, заснув на единственной

имевшейся там кровати.

Утром следующего дня двадцатитысячная армия Екатерины вошла в Петергоф. Город был пуст, так как голштинцы загодя отошли к Ораниенбауму.

Следует добавить, что ещё до того, как к Петергофу подошли главные силы Екатерины, туда в 5 часов утра уже примчался гусарский отряд под командованием Алексея Орлова. Голштинцев перед городом уже не было, а гусары Орлова увидели на окраинах Петергофа толпы крестьян, вооружённых вилами и косами, которых пригнали туда по приказу Петра III для борьбы с узурпаторшей Екатериной.

Увидев скачущих на них гусар с обнажёнными палашами, крестьяне разбежались, и отряд Орлова вошёл в Петергоф.

Вскоре на его улицы вступила и армия Екатерины.

Большой Петергофский дворец превратился в военную ставку и императорскую Главную квартиру. Десятки сановников и придворных, ещё большее число офицеров и генералов сновали по многочисленным комнатам и залам. У дверей в апартаменты Екатерины, и у всех входов и выходов стояли часовые, по коридорам бегали посыльные и курьеры. И едва ли не больше всех носилась из конца в конец дворца Дашкова. Её знали уже почти все и беспрепятственно пропускали в любые покои. Столь же неожиданно и стремительно появилась она однажды и в покоях императрицы.

Каково же было её удивление, когда она вдруг увидела Григория Орлова, лежавшего на канапе и вскрывавшего толстые пакеты. Такие пакеты Дашкова видела в кабинете своего дяди — канцлера и знала, что они поступают из Кабинета его императорского величества. Дашкова спросила Орлова, что он делает.

— Императрица повелела мне открыть их, — ответил Орлов. Дашкова очень удивилась увиденному и выразила сомнение в том, что Орлов что-нибудь поймёт в этих бумагах.

Затем Дашкова побежала дальше, а возвратившись, увидела возле канапе, где лежал Орлов, стол, сервированный на три куверта. Вышедшая к ним Екатерина пригласила к столу её и Орлова. Из их поведения во время обеда Дашкова поняла, что императрица и Орлов любовники. С этого момента стремление первенствовать сделало сотрапезников Екатерины непримиримыми врагами. И победителем в этом противоборстве оказался Орлов.

...Во всём Петербурге нашёлся только один человек, который решился уведомить Петра III о совершившемся здесь

государственном перевороте. Это был парикмахер императора француз Брессан. Он переодел своего слугу в крестьянский костюм, дал ему записку для Петра III, посадил на мужицкую телегу и велел ехать в Петергоф. Едва посланец переехал мост, как за его спиной встала цепь солдат, которым было велено не выпускать из города ни одного человека. Но было уже поздно — мнимый крестьянин оказался последним, кто проехал по дороге на Петергоф и Ораниенбаум.

...Утром 28 июня Пётр III выехал из Ораниенбаума в Петергоф, намереваясь там отпраздновать свои именины, приходящиеся на этот самый день. Стояла прекрасная погода, и Пётр ехал в открытой коляске, радуясь предстоящему празднику. С ним вместе были прусский посланник фон дер Гольц и Елизавета Воронцова, а следом тянулась вереница экипажей с прекраснейшими женщинами и преданнейшими ему придворными и слугами.

А в это время в Петергофе обнаружили исчезновение Екатерины. Часовой, видевший, как две женщины рано утром вышли из парка, ничего другого сказать не мог, и тогда двое слуг пошли в Ораниенбаум, чтобы сообщить императору о случившемся. Как только они вышли на дорогу, навстречу им попался ехавший верхом генерал-адьютант императора Гудович, и слуги обо всём ему рассказали. Гудович помчался обратно, навстречу Петру III, остановил его карету и рассказал об исчезновении Екатерины.

Пётр тут же высадил из экипажей дам, приказал им идти в Ораниенбаум, а сам погнал карету со всей возможной скоростью в Петергоф. Подкатив к павильону, где жила Екатерина, он бросился в её спальню, открыл шкафы, заглянул под кровать и стал зачем-то тыкать шпагой в панели и потолок. Через некоторое время прибежала Елизавета Воронцова и с нею вместе дамы, ослушавшиеся приказа Петра и побежавшие за ним в Петергоф, а следом появился и посланец Брессана и передал записку, где говорилось о произошедшем в Петербурге государственном перевороте.

Пётр послал к Екатерине канцлера Воронцова, надеясь, что тот сумеет убедить её в безнадёжности и преступности затеянного ею предприятия, а сам стал диктовать манифесты и приказы, коими надеялся поправить положение. Он приказал голштинцам выступить с артиллерией навстречу мятежникам, послал в Петербург за своим кавалерийским полком, разослал гусарские пикеты по окрестным дорогам, чтобы задержать и перевести на свою сторону идущие по этим дорогам войска, и отправил в соседний Кронштадт полковника Неелова, приказав ему

направить оттуда в Петергоф три тысячи солдат с боеприпасами и продовольствием на пять дней. Сам же, сняв прусский мундир, надел российскую форму и сменил прусский орден Чёрного орла на ленту и знаки Андрея Первозванного.

Однако находившийся рядом с ним Миних убедил Петра III не начинать военных действий, ибо силы неравны и сражение, если только оно начнётся, непременно будет им проиграно. Взамен Миних предложил отправиться в Кронштадт, и Пётр согласился, тем более что у него было под рукой много денег и в случае опасности он мог беспрепятственно уйти из Кронштадта в Германию вместе с Елизаветой Воронцовой и верными друзьями и слугами.

Пётр тотчас же велел своему адъютанту Антону де Виейре — сыну того самого Эммануила де Виейры, который прославился интригами и доносами в предыдущие царствования, — отправиться вместе с флигель-адъютантом князем Барятинским в Кронштадт и отменить приказ, данный час назад Неелову. Едва де Виейра и Барятинский отошли от причала, как Петру сообщили, что в Петергоф с минуты на минуту войдут верные ему голштинцы. Воспылав новой надеждой, Пётр тут же переменил решение и стал осматривать местность, задумав оборонять Ораниенбаум. Но вдруг, около 8 часов вечера к Петру примчался один из его адъютантов и сказал, что к Петергофу подходит армия Екатерины. При этом известии Пётр и бывшие при нём придворные — всего сорок шесть мужчин и женщин — бросились к стоявшим наготове яхте и галере, которые тотчас же пошли в близкий, хорошо видный невооружённым глазом Кронштадт.

Пётр, находившийся на шедшей впереди галере с восемнадцатью своими сторонниками, надеялся, что посланные в Кронштадт де Виейра и Барятинский удержат гарнизон и крепость на его стороне. Однако Пётр не знал, что за последние несколько часов в Кронштадте произошли решительные перемены.

Комендант Кронштадта Нуммерс до появления там посланного Петром Фёдоровичем Неелова не знал о произошедшем в Петербурге, да и сам Неелов тоже ничего не мог объяснить толком, потому что имел обрывочные и противоречивые сведения — даже не сведения, хоть немного достойные доверия, а просто слухи, в которые трудно было поверить.

Поэтому Нуммерс, который пока только обдумывал приказ, привезённый Нееловым, и ещё не распорядился грузиться на суда, даже обрадовался, получив от де Виейры новое предписание

— готовиться к приёму императора.

Де Виейра и Барятинский, исполнив данное им поручение, уже собрались было отправляться обратно в Петергоф, как вдруг около 7 часов вечера на пристани высадился прибывший из Петербурга мелкий чиновник, корабельный секретарь Фёдор Кадников, выполнявший роль курьера, с запечатанным конвертом, о содержимом которого он ничего не знал, а должен был лишь передать конверт коменданту Нуммерсу.

Нуммерс вскрыл пакет, не показывая содержащегося в нём ордера никому. А в ордере, подписанным адмиралом Иваном Лукьяновичем Талызиным, коему Нуммерс подчинялся непосредственно, предписывалось никого не впускать в Кронштадт и никого оттуда не выпускать.

Де Виейра и Барятинский стали расспрашивать Кадникова о событиях в Петербурге, но он отвечал, что ничего не знает. Тогда де Виейра отправил Барятинского и арестованного им Кадникова в Петергоф, а сам остался в Кронштадте. Между тем Нуммерс понял, что происходит, но решил не вмешиваться в арест Кадникова, не желая раньше времени себя обнаруживать.

Де Виейра ещё не дошёл до Петергофа, как к Кронштадту подошла шлюпка и на берег высадился Талызин. Нуммерс, встретив адмирала, стал расспрашивать его о новостях, но Талызин из осторожности отвечал, что он не из Петербурга, а со своей дачи, но слышал о каких-то беспорядках в столице и потому решил, что его место не в городе, а здесь — в Кронштадте. После этого он вместе с Нуммерсом ушёл в его дом и там предъявил именной указ Екатерины «что адмирал Талызин прикажет, то исполнить».

Талызин приказал привести гарнизон крепости к присяге на верность Екатерине, и через час, под громкие крики «ура!» ей присягнул и гарнизон Кронштадта, и экипажи всех кораблей. Вслед за тем адмирал усилил посты и караулы, закрыл гавань со стороны Петергофа бонами — плавучими брёвнами — и за три часа несколько раз пробил учебную тревогу, поддерживая в крепости состояние повышенной боевой готовности.

Гарнизон оказался на высоте положения и чётко выполнял все необходимые действия. Повышенная готовность оказалась не напрасной: в первом часу ночи часовые заметили подходящие со стороны Петергофа галеру и яхту, которые из-за бон не смогли подойти к стенке и остановились в тридцати шагах от пристани. Думая, что Нуммерс точно исполняет приказ, посланный с де Виейрой — никого не впускать в Кронштадт, — Пётр приказал спустить шлюпку и потребовать, чтобы боны были убраны.

Караульный на бастионе, мичман Михаил Кожухов,

«отказывает в том с угрозами».

Пётр всё ещё считает, что моряки точно выполняют его приказ, так как доплывший до Петергофа Барятинский сообщил, что в Кронштадте ждут императора и готовы защищать его. Тогда он вышел на палубу и закричал:

— Я сам тут, впустите меня!

Кожухов в ответ прокричал:

— Не приказано никого впускать!

Пётр ответил:

— Я император Пётр III!

В ответ на что услышал:

— Нет теперь никакого Петра III, а есть Екатерина II, а ежели галера и яхта не отойдут, то в них будут стрелять.

Как бы поддерживая мичмана Кожухова, в крепости забили очередную тревогу, и корабли поспешно ретировались.

Отойдя от Кронштадта, яхта направилась в Петергоф, а галера с Петром III и его приближёнными — в Ораниенбаум.

Пётр спустился в каюту и впал в полуобморочное состояние. Воронцова и графиня Брюс, сидя возле него, тихо плакали. Миних и Гудович остались на палубе. Для них уже не было сомнения, что всё кончено.

...Адмирал Талызин, возвратившись в Петербург, подал рапорт Екатерине и попросил наградить Михаила Кожухова «двойным чином и годовым жалованьем».

Екатерина согласилась с первым предложением Талызина и присвоила Кожухову чин капитан-лейтенанта, а вместо годового жалованья дала двухгодовое.

Галера и яхта ещё не успели отойти от Кронштадта, как до всех матросов и пассажиров донёсся клич многотысячной толпы, собравшейся на причале: «Галеры прочь! Да здравствует императрица Екатерина!»

Рано утром, придя в себя, Пётр III позвал в свою каюту Миниха и попросил у него совета, что делать дальше?

Миних посоветовал идти не в Ораниенбаум, а в Ревель для того, чтобы взять там военный корабль и уйти на нём в Пруссию, где всё ещё находилась восьмидесятитысячная армия Фермера. Дело в том, что 18 декабря 1761 года, за неделю до смерти Елизаветы Петровны, фельдмаршал Бутурлин был отозван в Петербург, а главнокомандующим вновь стал Фермер. Находясь в пути к Петербургу, Бутурлин получил известие о смерти Елизаветы Петровны, и хотя хорошо был встречен Петром III, но восстановления в должности не получил.

Миних сказал, что если он встанет во главе армии, то ему не

понадобится более полутора месяцев для того, чтобы восстановить Петра III на престоле.

При этом разговоре присутствовали многие дамы, и они стали возражать фельдмаршалу, что у гребцов не хватит сил, чтобы дойти до Ревеля.

— Что ж, — возразил им Миних, — мы все будем им помогать!

Дамы бурно запротестовали, и это решило исход дела: Пётр приказал следовать в Ораниенбаум и высадить его там. Оказавшись на берегу, Пётр сначала хотел было, переодевшись, в одиночку пробираться в Польшу, но этому намерению воспротивилась Елизавета Воронцова, и в конце концов уговорила императора послать кого-нибудь к Екатерине и передать ей отречение от престола и просьбу отпустить их обоих в Голштинию.

Пётр согласился и тут же приказал войскам, сохранявшим ему верность, сложить оружие. Голштинцы беспрекословно повиновались, свезли с высот пушки и ушли с позиции.

Разгневанный Миних сказал Петру, что если он не умеет умереть перед своими солдатами как император, то пусть возьмёт в руки вместо шпаги распятие, и тогда его враги не посмеют ударить его.

— А я, — сказал Миних, — буду командовать в сражении.

Пётр пропустил эту филиппику мимо ушей и, быстро написав всё, что советовала его любовница, послал в Петергоф к Екатерине генерала Измайлова.

«Революция» и её последствия

Измайлов, быстро добравшись до Петергофа, передал бумаги, тут же принёс присягу на верность Екатерине и отправился обратно в Ораниенбаум уже не как слуга Петра, а как верноподданный императрицы, облечённый её доверием и посланный для выполнения её первого поручения. Измайлов повёз в Ораниенбаум приказ о полной и безоговорочной сдаче войск Петра, а также и другой, ещё более важный документ — новый текст отречения Петра от престола, написанный в ставке Екатерины тайным советником Тепловым. Этот новый текст Петру предлагалось подписать без малейших изменений.

В отречении говорилось: «Во время кратковременного и самовластного моего царствования я узнал на опыте, что не имею достаточных сил для такого бремени, и управление таковым государством, не только самовластное, но и какою бы то ни было иною формою превышает мои понятия, и потому и приметил я колебание, за которым могло бы последовать и совершенное оного разрушение к вечному моему бесславию. Итак, сообразив благовременно всё сие, я добровольно и торжественно объявляю всей России и целому свету, что на всю жизнь свою отрекаюсь от правления помянутым государством, не желая там царствовать ни самовластно, ни под другою какою формой правления, даже не домогаться того никогда посредством какой-либо посторонней помощи.

В удостоверение чего клянусь перед Богом и всею вселенною и подписав сие отречение собственною своею рукою».

Пётр переписал отречение собственной рукой, а затем и подписал его.

Измайлов прибыл в Ораниенбаум не один. Вместе с ним туда вошёл отряд, которым командовал генерал-поручик Василий Иванович Суворов. Его солдаты собрали оружие, арестовали наиболее опасных офицеров, а сам Суворов возглавил работы в Ораниенбаумском дворце, где составлялась точная опись денег и драгоценностей, там находившихся. Суворов разделил солдат и унтер-офицеров — голштинцев на две части: уроженцев России и собственно голштинцев. Первых он привёл к присяге, а вторых под конвоем отправил в Кронштадт, где их и заключили в бастионы. Офицеров и генералов отпустили на их квартиры под честное слово.

Петра Фёдоровича, Елизавету Воронцову и Гудовича Измайлов привёз в Петергоф. Как только их карета появилась в

городе и Петра увидели в её окне, солдаты стали кричать: «Да здравствует Екатерина!» И когда подъехали они к главному подъезду Большого дворца, Пётр лишился чувств. С Елизаветы Воронцовой солдаты сорвали украшения, Гудовича — побили, а Пётр в ярости сорвал сам с себя шпагу, ленту Андрея Первозванного, снял ботфорты и мундир и сел на траву босой, в рубашке и исподнем белье, окружённый хохочущими солдатами.

По распоряжению Панина Гудовича увели в один из флигелей, а Петра и Елизавету Воронцову привели во дворец. Когда они остались наедине, Пётр зарыдал. Панин рассказывал впоследствии датскому посланнику Асебургу, что он, увидев Петра, «нашёл его утопающим в слезах. И пока Пётр старался поймать руку Панина, чтобы поцеловать её, любимица его бросилась на колени, испрашивая позволения остаться при нём. Пётр также только о том просил».

После этой аудиенции с Паниным никаких других встреч у Петра не было. Воронцову увели, поместив в одном из павильонов, а Петра накормили обедом и велели ждать решения императрицы. Во встрече с Екатериной бывшему императору было решительно отказано.

Воронцова, оставшись одна, продолжала умолять всех, кого видела, отпустить её к Петру, хотя бы её ожидал вместе с ним Шлиссельбург, но Екатерина велела выслать фаворитку в одну из принадлежавших Воронцовым подмосковных деревень. Гудовича, также оставив на свободе, отослали в его черниговскую вотчину.

Привезённого чуть позже Миниха ожидал совершенно другой приём.

— Вы хотели против меня сражаться? — спросила Екатерина, когда старика-фельдмаршала привели к ней.

— Я хотел пожертвовать своей жизнью за государя, который возвратил мне свободу, но теперь я считаю своим долгом сражаться за Вас, и Вы найдёте во мне вернейшего слугу, — с солдатской прямотой ответил Миних. И в этом ответе не было ни заискивания, ни угодливости.

Миних был оставлен в прежнем звании и назначен главнокомандующим над портами: Ревельским, Рогервикским, Нарвским и Кронштадтским, а также над Ладожским каналом и Волховской водной системой.

Из окружения Петра III почти никто не был наказан. Кроме Гудовича некоторые неудобства испытали лишь двое близких Петру людей — его секретарь Волков и генерал-поручик Мельгунов. Первого отправили вице-губернатором в Оренбург, второго — в «южные украины», однако уже через два года Мельгунов был назначен новороссийским губернатором.

Что же касается самого Петра III, то было решено, что временно, как ему на первых порах было обещано, поедет он в Ропшу — на его собственную мызу, подаренную ему Елизаветой Петровной.

В 8 часов вечера, 29 июня, Петра Фёдоровича в сопровождении сильного кавалерийского отряда привезли в Ропшу. Его поместили в спальне, а к дверям приставили часового. Сам же дом охранялся солдатами со всех сторон. Окна в спальне были занавешены зелёными гардинами, чтобы из сада не было видно, что происходит внутри. Петра не пускали не только в сад, но даже в другую комнату.

Переспав одну ночь, Пётр потребовал собственного врача — Лидерса, но Лидерс боялся, что если он приедет в Ропшу, то потом разделит с бывшим императором его судьбу и отправится вместе с ним в тюрьму или в ссылку. Так, в одиночестве, со всех сторон окружённый стражей, Пётр долго не мог заснуть на очень неудобной кровати, слушая, как далеко за полночь в соседнем зале кричат и хохочут пьяные офицеры. Лишь на рассвете он забылся беспокойным сном.

Екатерина выехала из Петергофа, как только Петра Фёдоровича увезли в Ропшу. В одной с ней карете ехали Дашкова, Кирилл Разумовский и князь Волконский. Остановившись по дороге, на даче князя Куракина, обе женщины легли отдохнуть на единственную кровать, оказавшуюся на этой даче. Через несколько часов они проехали через Екатерингоф, заполненный огромной толпой, выражавшей желание сражаться за Екатерину, если голштинцы посмеют оказать сопротивление. А затем их ждала столица. «Въезд наш в Петербург невозможно описать, — сообщала Дашкова. — Улицы были запружены ликующим народом, благословлявшим нас; кто не мог выйти — смотрел из окон. Звон колоколов, священники в облачении на паперти каждой церкви, полковая музыка производили неописуемое впечатление».

Однако Екатерина не позволила ни себе, ни своему ближайшему окружению впасть в эйфорию и сразу же прочно взяла бразды правления в свои руки. Это стало видно из её первых самостоятельных шагов, когда солдатская и офицерская стихия попробовала было выйти из берегов под предлогом великой радости в связи с одержанной ими победой.

30 июня армия и гвардия заполнили все кабаки.

Очевидец и рядовой участник переворота, солдат Преображенского полка, будущий знаменитый поэт Гаврила Романович Державин писал впоследствии:

«Солдаты и солдатки, в неистовом восторге и радости, носили ушатами вино, водку, пиво, мёд, шампанское и всякие другие дорогие вина и лили все вместе, без всякого разбору, в кадки и бочонки, что у кого случилось. В полночь, на другой день, с пьянства, Измайловский полк, обуяв от гордости и мечтательного своего превозношения, что императрица в него приехала и прежде других им препровождаема была в Зимний дворец, собравшись без сведения командующих и приступив к дворцу, требовал, чтоб императрица к нему вышла и уверила его персонально, что она здорова». Екатерина вынуждена была встать среди ночи, одеться в гвардейский мундир и даже пойти вместе с измайловцами в их казармы. Но зато уже на следующее утро был издан Манифест, где говорилось, что воинская дисциплина должна быть незыблемой и впредь за всякое непослушание и дерзость ослушники будут наказаны по законам.

В то же утро на улицах Петербурга появились многочисленные патрули и пикеты. На всех площадях и перекрёстках главных улиц была выставлена артиллерия, и у орудий стояли канониры с зажжёнными фитилями. Особенно много войск стояло вокруг Зимнего дворца, и такое положение сохранялось в столице в течение недели.

Возвратившись в Петербург, активные участники переворота с немалым удивлением стали узнавать о том, чего они и не подозревали. Если только за сутки перед тем такая близкая Екатерине наперсница, как Дашкова, с изумлением узнала, что Григорий Орлов является любовником императрицы, то что можно было ожидать от других придворных, стоявших намного дальше от императрицы, чем Екатерина Романовна?

Многие были поражены, когда в первый же день увидели на Григории Орлове генеральский мундир, украшенный красно-жёлтой лентой ордена Александра Невского и усыпанную бриллиантами шпагу. Новые знаки отличия были и на других участниках «революции», как сразу же стали называть переворот.

Алексей Орлов уже 29 июня был произведён в секунд-майоры Преображенского полка, но самые главные награды ждали всех пятерых братьев, включая и Владимира, не принимавшего ни малейшего участия в перевороте, в дни предстоящих коронационных торжеств, главным распорядителем которых был назначен Григорий Орлов. Фёдор Орлов стал капитаном Семёновского полка, Иван, почти ничего не сделавший для победы Екатерины, получил чин капитана, а вскоре, выйдя в отставку, и ежегодную пожизненную пенсию в двадцать тысяч рублей.

Награждены были и другие участники переворота, правда, это произошло чуть позже — 3 августа 1762 года, когда страсти немного улеглись и Екатерина могла отметить героев революции, учитывая не только их истинную роль в событиях, но и то, как они показали себя в первый месяц после одержанной победы.

Одним из главных вопросов, возникших перед Екатериной в эти дни, был вопрос о судьбе свергнутого императора. В дни подготовки переворота почти все были согласны с тем, что Петра надлежит заточить в крепость. Наиболее подходящей крепостью заговорщики считали Шлиссельбург. Скорее всего срабатывала историческая аналогия: в Шлиссельбурге вот уже шесть лет сидел несчастный Иван Антонович Брауншвейгский, почему бы не поместить рядом с ним и Петра Фёдоровича Голштинского?

Более того, 28 июня в Шлиссельбург был послан генерал-майор Савин с приказом устроить помещения для приёма нового узника. Савин уже приехал в Шлиссельбург, как получил новый приказ, посланный ему вдогонку из Петергофа и датированный 29 июня, в котором ему предписывалось вывезти из Шлиссельбурга в Кексгольм Ивана Антоновича, а в Шлиссельбурге подготовить лучшие покои. Для кого они предназначались, в приказе не говорилось, но двух мнений на этот счёт быть не могло.

Идея заточения Петра Фёдоровича в Шлиссельбург была жива по крайней мере до 2 июля, именно тогда поручик Плещеев повёз туда некоторые вещи.

После 2 июля эта идея, по-видимому, уступила место другой, но вслух о ней не говорили, хотя многие участники переворота отлично понимали, что лучше всего было бы, если бы Петра не стало. Об убийстве никто не заикался, а вот мысль э желательности естественной, ненасильственной смерти буквально носилась в воздухе, и люди из ближайшего окружения Екатерины не могли не ощущать этого...

В Ропше в первую ночь Пётр долго и тихо плакал, по-детски жалея себя, досадуя, что лежит не в своей постели, а в новой, жёсткой и неудобной, почти арестантской, что нет с ним любимой собаки, нет арапа-карлы Нарцисса, нет доктора, нет камердинера. Он ворочался без сна чуть ли не до утра, а проснувшись около полудня, попросил перо, чернил, бумаги и написал своей жене, чтобы всё это прислали к нему, и, кроме того, попросил прислать ещё любимую скрипку, от звуков которой Екатерина не находила себе места, когда Пётр Фёдорович пытался играть в соседнем с её спальней покое.

В тот же день, в воскресенье 30 июня, Екатерина написала В.

И. Суворову, чтобы он отыскал среди пленных, взятых в Ораниенбауме, «лекаря Лидерса, да арапа Нарцыся, да обер-камердинера Тимлера; да велите им брать с собою скрипицу бывшего государя, его мопсика-собаку; да на тамошние конюшни кареты и лошадей отправьте их сюда скорее...»

1 июля Алексей Орлов даже играл с Петром в карты и одолжил бывшему императору несколько червонцев, заверив, что распорядится дать ему любую сумму. Но карты картами, а всё прочее выглядело очень уж непривлекательно: уже 30 июня Пётр почувствовал приближение болезни, а в ночь на 1 июля не на шутку заболел.

Об этих днях повествуют три его записки, отправленные Екатерине. Письменных ответов на них нет, — по-видимому, свои ответы ропшинскому узнику Екатерина передавала устно.

А вот записки Петра Фёдоровича сохранились. Они приводятся здесь полностью.

«Сударыня, я прошу Ваше Величество быть уверенной во мне и не отказать снять караулы от второй комнаты, так как комната, в которой я нахожусь, так мала, что я едва могу в ней двигаться. И так как Вам известно, что я всегда хожу по комнате, то от этого у меня распухнут ноги. Ещё я Вас прошу не приказывать, чтобы офицеры находились в той же комнате со мной, когда я имею естественные надобности — это для меня невозможно; в остальном я прошу Ваше Величество поступать со мной, по меньшей мере, как с большим злодеем, не думая никогда его этим оскорбить. Отдаваясь Вашему великодушию, я прошу отпустить меня в скором времени с известными лицами в Германию. Бог Вам заплатит непременно. Ваш нижайший слуга Пётр.

P. S. Ваше Величество может быть уверена во мне, что я не подумаю ничего, не сделаю ничего, что могло бы быть против её особы или её правления».

Достаточно задуматься лишь над единственным штрихом этой картины: Петра беспрерывно унижали, не давая ему даже справить «естественные надобности» и глумясь над его застенчивостью. Ему, уже больному, не давали выйти в парк и лишили всяческого общения с кем-либо.

И он, уже официально отрёкшийся от престола, во второй записке униженно заверяет Екатерину в рабской покорности её воле:

«Ваше Величество, если Вы совершенно не желаете смерти человеку, который уже достаточно несчастен, имейте ко мне жалость и оставьте мне моё единственное утешение — Елизавету Романовну. Вы сделаете этим большее милосердие Вашего

царствования; если же Ваше Величество пожелало бы меня видеть, то я был бы совершенно счастлив. Ваш нижайший слуга Пётр».

И наконец, третья, написанная по-русски, в отличие от предыдущих, писанных по-французски.

«Ваше Величество, я ещё прошу меня, который в Вашей воле неполна во всём, отпустить меня в чужие края с теми, о которых я Ваше Величество прежде просил. И надеюсь на Ваше великодушие, что Вы меня не оставите без пропитания. Преданный Вам холоп Пётр».

Так, менее чем за сутки, переменилась судьба человека, самодержавно повелевавшего самой большой и одной из самых могущественных стран мира. Австрийский посланник в России, граф Мерси де Аржанто, писал: «Во всемирной истории не найдётся примера, чтобы государь, лишаясь короны и скипетра, выказал так мало мужества и бодрости духа, как он, царь, который всегда старался говорить так высокомерно. При своём же низложении с престола поступил до того мягко и малодушно, что невозможно даже описать». Графу Мерси вторил Фридрих II, сказавший французскому посланнику в Берлине графу Сегюру: «Он позволил свергнуть себя с престола, как ребёнок, которого отсылают спать».

А возвратившийся в Петербург Бирон прокомментировал причины падения Петра так: «Снисходительность была важнейшею ошибкою сего государя, ибо русскими должно повелевать не иначе, как кнутом или топором».

Пётр заболел серьёзно и тяжело — день ото дня сильнее — более пяти суток. Врач Лидерс появился только вечером 3 июля, когда истекал уже четвёртый день болезни.

4 июля больному стало ещё хуже и к нему приехал ещё один врач — штаб-лекарь Паульсен.

Сохранились три записки командира отряда и начальника ропшинской охраны Алексея Орлова. По ним мы можем проследить за ходом болезни и развитием событий в Ропше.

Первое сообщение: «Матушка, милостивая Государыня; здравствовать Вам мы все желаем несчётные годы. Мы теперь по отпуске сего письма и со всею командою благополучны, только урод наш очень занемог и схватила его нечаянная колика, и я опасен, чтоб он сегодняшнюю ночь не умер, а больше опасаюсь, чтоб не ожил. Первая опасность — для того, что он всё вздор говорит, и нам это несколько весело, а другая опасность, что он действительно для нас всех опасен, для того, что он иногда так отзывается, хотя (желая) в прежнем состоянии быть...» Далее

Алексей Орлов сообщал, что он солдатам и офицерам из команды, охраняющей Петра III, выдал жалованье за полгода, «кроме одного Потёмкина, вахмистра, для того, что служил без жалованья». (Это был тот самый Григорий Александрович Потёмкин, который через двенадцать лет станет могущественнейшим из фаворитов Екатерины II, светлейшим князем и фельдмаршалом).

«И многие солдаты, — писал дальше Орлов, — сквозь слёзы говорили, что они ещё не заслужили такой милости».

А вот второе сообщение Орлова: «Матушка наша, милостивая Государыня! Не знаю, что теперь начать, боясь гнева от Вашего Величества, чтоб Вы чего на нас неистового подумать не изволили, и чтоб мы не были причиною смерти злодея Вашего и всей России, также и закона нашего (т.е. православия). А теперь и тот, приставленный к нему для услуги лакей Маслов занемог, а он сам теперь так болен, что не думаю, чтоб он дожил до вечера и почти совсем уж в беспамятстве, о чём уже и вся команда здешняя знает и молит Бога, чтоб он скорее с наших рук убрался. А оный же Маслов, и посланный офицер, могут Вашему Величеству донесть, в каком он состоянии теперь, ежели Вы обо мне усумниться изволите. Писал сие раб Ваш верный...»

Вторая записка осталась без подписи. Вернее, подпись была, но чья-то рука её оборвала. А вот почерк — Алексея Орлова.

Кажется, вторая записка была сочинена и отослана утром 6 июля, потому что именно тогда был схвачен камердинер Петра Фёдоровича Маслов. Пётр ещё спал, когда Маслов вышел в сад, чтобы подышать свежим воздухом. По-видимому, к утру 6-го Маслову стало получше, и он, оставив постель, стал прогуливаться по саду. Однако дежурный офицер, увидев в этом нарушение режима, приказал схватить Маслова, посадить его в приготовленный экипаж и вывезти из Ропши вон.

В 6 часов вечера, в субботу 6 июля, из Ропши в Петербург примчался нарочный и передал в собственные руки Екатерине ещё одну — третью и последнюю — записку от Алексея Орлова. Она была написана на такой же бумаге, что и предыдущая, и тем самым почерком. Эксперты полагают, что почерк был «пьяным».

«Матушка, милосердная Государыня! — писал Орлов. — Как мне изъяснить, описать, что случилось: не поверишь верному своему рабу, но как перед Богом скажу истину. Матушка! Готов идти на смерть, но сам не знаю, как эта беда случилась. Погибли мы, когда ты не помилуешь. Матушка, его нет на свете. Но никто сего не думал, и как нам задумать поднять руки на Государя! Но, государыня, свершилась беда. Он заспорил за столом с князь Фёдором (Барятинским). Не успели мы разнять, а его уж и не

стало. Сами не помним, что делали, но все до единого виноваты, достойны казни. Помилуй меня, хоть для брата. Повинную тебе принёс и разыскивать нечего. Прости или прикажи скорее окончить. Свет не мил. Прогневили тебя и погубили души навек».

Получив известие о смерти Петра Фёдоровича, Екатерина приказала привезти его тело в Петербург и учинить вскрытие, чтобы узнать, не был ли он отравлен. Вскрытие показало, что отравления не было. Убедившись в этом, Екатерина выдвинула официальную версию, изложив её в Манифесте от 7 июля 1762 года.

В Манифесте сообщалось, что «бывший император Пётр III обыкновенным, прежде часто случавшимся ему припадком геморроидическим, впал в прежестокую колику». После чего, говорилось в Манифесте, больному было отправлено всё необходимое для лечения и выздоровления. «Но, к крайнему нашему прискорбию и смущению сердца, вчерашнего вечера получили мы другое, что он волею Всевышнего Бога скончался».

Таким образом, не было даже формальной необходимости проводить расследование случившегося, опрашивать многочисленных свидетелей произошедшего на их глазах убийства, пусть даже непреднамеренного. А свидетелей тому кроме Алексея Орлова и упомянутого в третьей записке князя Фёдора Барятинского, которого не «успели разнять» с покойным, было около полутора десятков.

Современники знали, что в последнем застолье с Петром III кроме Алексея Орлова и князя Фёдора Барятинского принимали участие князь Иван Сергеевич Барятинский — родной брат Фёдора, лейб-медик Карл Фёдорович Крузе, камергер Григорий Николаевич Теплов — автор текста отречения Петра III от престола, вахмистр конной гвардии Григорий Александрович Потёмкин, Григорий Никитич Орлов — родственник братьев Орловых, знаменитый актёр Фёдор Григорьевич Волков, уже известный нам Александр Мартынович Шванвич, бригадир Александр Иванович Брессан, камергер Петра III — ещё неделю назад обыкновенный парикмахер, получивший чины камергера и бригадира за то, что известил Петра III о грозившей ему опасности, и, наконец, гвардии сержант Николай Николаевич Энгельгардт.

Кроме того, в комнате, где Петра III настигла смерть, были ещё и трое безымянных лиц — двое часовых и кабинет-курьер, приехавший накануне из Петербурга. Современники утверждали, что Орлов, Теплов и Потёмкин были только свидетелями и зрителями, а Фёдор Барятинский, Шванвич и особенно Энгельгардт — прямыми и активными убийцами. Единственным

из всех, кто кинулся на помощь Петру Фёдоровичу, был Брессан.

Уже известный нам Георг фон Гельбиг называет убийцами Петра III Алексея Орлова, его двоюродного брата Григория Никитича Орлова, Фёдора Барятинского, Григория Теплова, Фёдора Волкова и Николая Энгельгардта. Последний объявляется Гельбигом именно тем человеком, который и умертвил Петра III. Он писал, что всё вышеперечисленные лица поехали в Ропшу, чтобы «собственноручно умертвить его, в случае, если яд, который ему дадут, не скоро убьёт его. Так как яд не действовал, — продолжает Гельбиг, — потому что Пётр пил тёплое молоко, то убийцы решились задушить его... Они обвязали шею Петра платком, и так как он стал кричать, то покрыли матрацем, после чего крепко затянули платок. Именно Энгельгардт сделал последнее усилие, которое лишило жизни злосчастного монарха».

Энгельгардт сделал потом быструю карьеру, став к концу жизни генерал-поручиком и выборгским губернатором. И всё же он не был принят при дворе, ибо его считали слишком одиозным для этого.

Красноречива последующая судьба и многих других из тех, кто был причастен к смерти бывшего императора. Алексей Орлов уже перед выступлением из Петербурга в Петергоф стал генерал-майором и секунд-майором Преображенского полка. Затем он вместе с остальными братьями был возведён в графское достоинство, награждён орденом Александра Невского и осыпан дарами — деньгами, поместьями, драгоценностями. До самого конца екатерининского царствования он был одним из влиятельнейших сановников империи. Когда Екатерина умерла, Алексей Орлов был кавалером всех российских орденов, генерал-адмиралом и генерал-аншефом. Только за победу над турецким флотом в Чесменской бухте ему был присвоен титул Чесменского, орден Георгия I класса, осыпанная бриллиантами шпага, серебряный сервиз и шестьдесят тысяч рублей. В честь его побед была выбита медаль, в Царском Селе поставлен мраморный обелиск, а в Петербурге — построен замок, названный «Чесменским».

Князь Фёдор Сергеевич Барятинский — тот, с кем, по версии Алексея Орлова, заспорил Пётр Фёдорович и кого не успели разнять сидевшие за столом собутыльники (прямой виновник смерти бывшего императора), тоже не был обижен Екатериной II. В день коронации он был пожалован чином камер-юнкера, получил 24 тысячи рублей и всю жизнь прослужил при дворе, был удостоен в 1796 году чина обер-гофмаршала, который по «Табели о рангах» соответствовал действительному тайному советнику или генерал-аншефу.

Пётр Богданович Пассек, освобождённый из-под караула ранним утром 28 июня самой Екатериной, тотчас же стал капитаном гвардии, как и Барятинский, получил 24 тысячи рублей, а в придворном звании даже обошёл князя Фёдора, будучи пожалован действительным камергером. Ему было подарено село под Москвой, мыза в Эстляндии и сотни крепостных крестьян. Через четыре года Пассек был уже генерал-поручиком, а потом занимал посты генерал-губернатора в Могилёвской и Полоцкой губерниях. В 1781 году Пассек достиг чина генерал-аншефа. Пользуясь покровительством императрицы, он запятнал себя мздоимством, незаконным отчуждением чужого имущества, присвоением ценностей, конфискованных в таможнях, но, пока была жива Екатерина, всё это легко сходило ему с рук.

Что же касается других участников ропшинской трагедии, то наибольшее их число упоминается в Указе Сенату императрицы Екатерины II от 3 августа 1762 года. «За отличную и всем нашим верноподданным известную службу, верность и усердие к нам и Отечеству нашему, для незабвенной памяти о нашем к ним благоволении, всемилостивейше пожаловали мы деревнями в вечное и потомственное наследное владение, а некоторых из Кабинетной нашей суммы денежного равномерного противу таковых деревень суммою...» И далее идут знакомые нам фамилии — Орловы, Пассек, Фёдор Барятинский, Баскаков, Потёмкин, братья Рославлевы, Ласунский, Бибиков, Мусин-Пушкин и другие.

Указ от 3 августа 1762 года был опубликован в «Санкт-Петербургских новостях» и сопровождался следующей сентенцией: «Её Императорское Величество нимало не сомневалось об истинном верных своих подданных при всех бывших прежде обстоятельствах сокровенном к себе усердии, однако же к тем особливо, которые по ревности для поспешения благополучия народного побудили самим делом Её Величества сердце милосердное к скорейшему принятию престола российского и к спасению таким образом нашего отечества угрожавших оному бедствий, на сих днях оказать соизволила особливые знаки своего благоволения и милости...» Здесь же упоминались и четверо простолюдинов: «...Фёдора и Григория Волковых в дворяне и обоим 700 душ».

Этим же Указом Василию Шкурину даровались 1000 душ, а Алексею Евреинову — 300 (Алексей Евреинов был казначеем и часто выручал Екатерину деньгами).

7 августа было отдано распоряжение от Сената «о пожаловании гардеробмейстера Василия Шкурина в российские дворяне, да Фёдора и Григория Волковых и кассира Алексея

Евреинова во дворяне и о пожаловании их деревнями, а Евреинова чином капитанским»...

После главных героев переворота были оделены милостями и его второстепенные участники. Среди них, к немалому изумлению, обнаруживаем мы и Екатерину Дашкову, которая должна бы была занимать подобающее её заслугам место среди главнейших спасителей Отечества. С этого момента отношения двух Екатерин разладились, и хотя окончательно их пути не разошлись, но и о былой близости уже не могло быть и речи.

О заслугах Шкурина перед Екатериной мы знаем точно. Стало быть, и заслуги братьев Волковых тоже были немалыми, если в наградах сравнялись они со Шкуриным, не пожалевшим собственного дома ради сохранения чести Екатерины, и вовремя пославшего ей карету для бегства из Петергофа в самый решительный момент её жизни.

А вот о Фёдоре Григорьевиче Волкове следует сказать кое-что, о чём не знал почти никто из его современников...

Крайне интересный сюжет содержат «Записки» уже знакомого нам Тургенева. Они сообщают о совершенно скрытой от всех неизвестной стороне жизни знаменитого актёра Волкова, с которым мы познакомились в предыдущей повести, когда речь шла о приезде в Петербург драматической театральной труппы, находившейся под его руководством и приглашённой в Северную Пальмиру императрицей Елизаветой Петровной. А то, что будет рассказано дальше, ещё раз докажет, что нет ничего нового, а всё новое — есть основательно забытое старое.

Уже неоднократно цитировавшийся нами Александр Михайлович Тургенев писал: «При Екатерине первый секретный, немногим известный, деловой человек был актёр Фёдор Волков, может быть, первый основатель всего величия императрицы. Он, во время переворота при восшествии её на трон, действовал умом; прочие, как-то: главные, Орловы, князь Барятинский, Теплов — действовали физическою силою, в случае надобности, и горлом привлекая других в общий заговор.

Екатерина, воцарившись, предложила Фёдору Григорьевичу Волкову быть кабинет-министром её, возлагала на него орден Святого Андрея Первозванного. Волков от всего отказался и просил Государыню обеспечить его жизнь в том, чтобы ему не нужно было заботиться об обеде, одежде, о найме квартиры, когда нужно, чтобы давали ему экипаж. Государыня повелела нанять Волкову дом, снабжать его бельём и платьем, как он прикажет, отпускать ему кушанье, вина и все прочие к тому принадлежности от двора, с её кухни, и точно всё такое, что подают на стол её величеству; экипаж, какой ему

заблагорассудится потребовать... Всегда имел он доступ в кабинет к государыне без доклада».

Однако Волков не только отказался от поста кабинет-министра и высшего ордена империи, но и не принял поместье и крепостных. Сохранилось свидетельство такого рода: «Рассказывают с достоверностью, что государыня, при восшествии на престол, благоволила жаловать его дворянским достоинством и вотчиною, но он со слезами благодарности просил императрицу, удостоить этою наградою женатого брата его, Гавриила, а ему позволить остаться в том звании и состоянии, которому он обязан своею известностью и самыми монаршими милостями. И государыня...

уважила просьбу первого русского актёра и основателя отечественного театра».

Был ли Волков в столь высокой доверенности у Екатерины? Занимал ли он столь значительное место в организации заговора? Несомненно, что Волков и Екатерина представляли друг для друга взаимный интерес. В беседах о театре и литературе они не могли не касаться политических тем и, вероятно, могли обсуждать и конфиденциальные вопросы. Мнение Волкова и в этих вопросах могло быть очень значимым, ибо многие современники считали его одним из умнейших людей России.

Выдающийся просветитель и знаменитый масон Николай Иванович Новиков считал его «мужем великого, обымчивого (то есть объемлющего) и проницательного разума, основательного и здравого рассуждения, и редких дарований, украшенных многим учением и прилежным чтением наилучших книг». Денис Иванович Фонвизин, автор бессмертного «Недоросля», называл Волкова «мужем глубокого разума, наполненного достоинствами, который имел большие знания и мог бы быть человеком государственным». Третий современник — выдающийся поэт Гавриил Романович Державин величает Волкова «знаменитым по уму своему».

Как бы то ни было, но участие выдающегося актёра в ропшинской драме справедливо считается наименее выясненным моментом в биографии Волкова. И всё же даже то немногое, что нам стало известно сейчас, проливает новый свет на Фёдора Волкова, который был не только актёром и основателем русского профессионального театра, но и незаурядным политическим деятелем, истинную роль которого ещё предстоит выяснить историкам.

Собранные по крупицам сведения с большой достоверностью позволяют судить, что среди тех, кто находился с Петром Фёдоровичем за последним его столом, Фёдор Волков был

режиссёром его кончины: Григорий Никитич Орлов, Теплов, Барятинский, Энгельгардт, Шванвич и, кажется, Потёмкин убивали больного, тщедушного арестанта, а Фёдор Волков, восседая за столом, был подобен некоему смертоносному демиургу, дирижировавшему этим секстетом убийц не марая рук, но мастерски руководя всем хорошо им продуманным действом, за что и предложила ему Екатерина и фельдмаршальскую должность кабинет-министра и высший орден империи.

Но в том-то и состояло величие ума Фёдора Волкова, что он отказался от всей этой мишуры, предпочтя остаться режиссёром театра и его первым актёром. Правда, Екатерина предоставила Волкову право входить к ней в апартаменты без доклада в любое время, подарила новый двухэтажный дом с удобной и богатой мебелью, картинами, гобеленами, фарфоровой и серебряной посудой, а также распорядилась выдавать из её личных сумм, хранившихся в Кабинете, любые деньги, а из дворцовой кухни — всё, что Волков пожелает.

Кроме того, он мог в любое время затребовать из царской конюшни экипажи для себя и своих друзей, но Волков вёл жизнь уединённую, наполненную чтением книг, раздумьями и упорным трудом в театре. И потому более четырёх кувертов довольно скромных яств он никогда с кухни не брал, а в поездках обходился пароконным экипажем.

И мало кто из современников знал что-либо о его личной жизни, а тем более о той роли, которую сыграл он в июле 1762 года.

Похороны и «чудесные спасения» Петра

Вместе с Манифестом от 7 июля, где сообщалось о причинах смерти Петра III, был разослан во все города и ещё один Манифест, названный «Обстоятельным», в котором перечислялись все злокозненные деяния усопшего монарха и дословно приводилось подписанное им отречение от престола.

7 июля был издан и ещё один Манифест — о предстоящей коронации. Обращала на себя внимание необычайная поспешность — церемония должна была состояться в Москве менее чем через два месяца, что не имело прецедента в российской истории. Красноречивым было и то, что главным распорядителем всех торжеств был назначен Григорий Орлов. Но ещё более скоропалительными оказались похороны Петра III.

Местом его погребения был избран не Петропавловский собор, а Александро-Невская лавра, что тоже добавило уверенности в насильственной смерти Петра III.

По предложению Никиты Ивановича Панина Сенат «рабски просил Екатерину не участвовать в похоронах», так как «сия процедура была бы для неё невыносима». Екатерина согласилась и в похоронах не участвовала.

Сохранилось не много свидетельств о похоронах Петра III. Одно из них оставил флигель-адъютант Петра III полковник Давид Рейнгольд Сиверс. Он был в Ораниенбауме, когда арестовывали Петра III, и сам был арестован Василием Ивановичем Суворовым. Благодаря заступничеству своего кузена графа Карла Сиверса перед Екатериной II он был освобождён и уехал в Петербург.

Там он услышал о кончине Петра III. Давид Рейнгольд Сиверс сообщал в оставленных им «Записках»: «Ночью с 7 на 8 июля тело его (Петра III) было перевезено из места его заточения в Александро-Невский монастырь и стояло до 10-го в гробу, обитом в красный атлас с немногими золотыми украшениями. Он лежал в своём любимом голштинском мундире, но без всяких орденов, без шпаги и без караула. Стражею при нём были — малого чина офицер и несколько человек солдат».

Бывший император был одет в светло-голубой с белыми отворотами мундир голштинских драгун. На руки покойного были надеты большие кожаные перчатки с крагами до локтей, какие носили шведские офицеры времён Карла XII.

Простые люди шли к гробу императора непрерывно, и были их многие тысячи. Они видели относительную бедность

похоронного убранства, малочисленность караула, но более всего поражало их то, что в гробу лежал человек с чёрным лицом: от большой потери крови и удушения лицо покойного стало необычайно тёмным.

От этого в Петербурге тотчас же распространился слух, что Пётр Фёдорович спасся, а в гроб положили убитого вместо него царского арапа. Однако останавливаться было запрещено, и люди быстро проходили мимо покойного.

В среду 10 июля в Александро-Невский монастырь прибыло множество военных и статских генералов и огромная толпа простолюдинов. После краткой заупокойной литургии в Благовещенской церкви тело покойного было предано земле здесь же, в церкви, рядом с бывшей правительницей Анной Леопольдовной.

Гроб опустили в могилу без орудийного салюта и без колокольного звона. Но не только это отличало его похороны от похорон других российских монархов: ему предстояло лежать в этой могиле только 33 года. А 18 декабря 1796 года по распоряжению сына его Павла Петра хоронили вторично вместе со скончавшейся накануне Екатериной II и рядом с нею. Однако об этом мы расскажем позже.

Сразу после смерти Петра начали распространяться слухи о чудесном спасении низложенного императора. В разных местах России один за другим стали появляться Лжепетры. В 1764 году возле Курска объявился первый из них, оказавшийся разорившимся купцом Антоном Асланбековым. Затем в Нижегородском уезде явился второй Лжепётр — беглый рекрут Иван Евдокимов, а вслед за ним, в 1765 году, под Воронежем, — однодворец Гаврила Кремнев. Он появлялся перед народом уже не в одиночку, а для вящей убедительности представлял народу и двух «генералов» — Петра Румянцева и Алексея Пушкина — на самом деле беглых крепостных. Кремнев приводил поверивших ему крестьян к присяге, обещая им освобождение от податей и прощение колодникам. И, наконец, на Северском Донце, в окрестностях Изюма объявился ещё один самозванец — Пётр Чернышов — беглый солдат, происходивший из однодворцев.

По-видимому, не случайно все эти «Пётры Фёдоровичи» происходили из наиболее угнетённых и обездоленных — крепостных крестьян, беглых рекрутов, солдат.

Такие же несчастные, как и те, кто выдавал себя за бывшего императора, с охотой поддавались на обман, не видя никакой иной возможности для улучшения собственной жизни и искренне надеясь на внезапно представившееся им чудо.

Такое доверие объяснялось ещё и тем, что кратковременное царствование Петра III, длившееся всего полгода, оставило его малоизвестным народу России. К тому же он мало ездил, его традиционным маршрутом была дорога Петербург — Москва. Вследствие этого авантюристы разного толка легко впадали в соблазн выдавать себя за чудесно спасшегося Петра III. И если это было справедливо по отношению к России, то тем более неизвестным оставался Пётр III за границей. И потому и там появились подымёнщики, как тогда называли самозванцев, выдававшие себя за Петра III.

В 1766 году, почти одновременно с отечественными «подымёнщиками», на Балканах, в Черногории, в деревне Майна объявился ещё один Пётр Фёдорович, на самом деле — Степан Малый, нанявшийся батраком к богатому крестьянину Вуку Марковичу. Он оказался искусным целителем, не бравшим плату до выздоровления больного. Вскоре о нём стали говорить, что Степан не кто иной, как российский император Пётр III.

Несколько черногорцев, побывавших в России и, по их словам, видевших Петра III, единогласно подтвердили, что Степан — истинный Пётр Фёдорович.

Популярность Степана Малого объяснялась традиционными симпатиями черногорцев к России, и в октябре 1767 года черногорские старшины признали его Петром III, а вслед за тем скупщина страны объявила «Петра III» своим правителем. Однако Венецианская республика и Оттоманская империя тут же потребовали выдачи самозванца и лишения его трона. Черногорцы категорически отказали им в этом, и «Пётр III» остался на престоле.

В 1773 году он был заколот кинжалом наёмного убийцы, подосланного турками. Однако со смертью Степана Малого легенда о чудесно спасшемся Петре III не умерла. Ещё до убийства черногорского самозванца в конце 1772 года новый Пётр Фёдорович объявился на Яике, в шестидесяти вёрстах от Яицкого городка, на Таловом умёте (умёт — одинокое жилище в степи, заимка, хутор, постоялый двор, станция на солевозных трактах в Поволжье и Прикаспийской низменности). Этим новым самозванцем оказался казак донской Зимовейской станицы Емельян Пугачёв.

Однако Пугачёв стоит особняком в ряду самозванцев, ибо размах его деятельности несравним с их масштабами, и к нему мы ещё вернёмся.

Что же касается зарубежья, то должен быть упомянут и венгерский крестьянин Подивин Сабо, поднявший восстание в Чехии в марте 1775 года, но тотчас же разгромленный войсками

императора Иосифа II.

И наконец, целый клубок авантюристов, связывавших себя с Петром III, возник в 70-х годах XVIII века.

Некто Сенович, также черногорец, после смерти Степана Малого объявил себя Петром III, но был тут же разоблачён самими земляками и бежал в Польшу. Там он принял фамилию Варт, которую в России носила известная английская авантюристка, герцогиня Елизавета Кингстон, познакомившаяся с Сеновичем. Но тем альянс не ограничился: в 1774 году Кингстон познакомилась со знаменитой княжной Таракановой, выдававшей себя за дочь Елизаветы Петровны.

«Пять предметов» государыни

1сентября 1762 года Екатерина выехала в Москву на коронацию, а ещё через двенадцать дней, в пятницу, 13 сентября, совершился её торжественный въезд в Первопрестольную. Под звон колоколов и грохот пушек Екатерина двигалась по Тверской, убранной гирляндами цветов, украшенной вывешенными коврами, гобеленами и густой зеленью ельника.

Она ехала в открытой коляске, окружённая эскортом конногвардейцев, вдоль стоящих шпалерами десяти полков, одетых в парадные мундиры и сверкающие каски.

22 сентября в 10 часов утра началась церемония коронации, завершившаяся тем, что Екатерина из Успенского собора прошла в соборы Архангельский и Благовещенский, где прикладывалась к святым мощам и самым почитаемым иконам. Во время её шествия по территории Кремля полки «отдавали честь с музыкою, барабанным боем и уклонением до земли знамён, народ кричал «ура», а шум и восклицания радостные, звон, пальба и салютация кажется воздухом подвигли, к тому ж по всему пути метаны были в народ золотые и серебряные монеты».

Коронационные торжества продолжались семь дней. В первый день в Кремле три часа били фонтаны белого и красного вина, всех, свободно входивших в Кремль, бесплатно угощали жареным мясом и продолжали бросать им монеты. То же самое происходило и на седьмой день торжеств. Затем официальное празднество сменилось «празднеством партикулярным» в домах московской знати.

Хлебосольная и щедрая аристократия Москвы на сей раз превзошла самое себя — балы, парадные обеды, маскарады, фейерверки и прочие увеселения длились с октября 1762 года до июня 1763-го.

Главным распорядителем коронационных торжеств был действительный камергер генерал-майор и кавалер ордена Александра Невского Григорий Григорьевич Орлов.

В эти же дни все пять братьев Орловых были возведены в графское достоинство, а Григорий кроме того был пожалован и званием генерал-адъютанта. На графском гербе Орловых был начертан девиз: «Храбростью и постоянством».

Екатерина начала царствование милостью к недругам и наградами друзьям. Она сразу же встала над дворцовыми партиями и распрями, и подобно тому, как была безусловным лидером в удачно проведённом заговоре, столь же уверенно и

твёрдо повела за собою государство.

Восемнадцать лет, проведённые ею в России, не прошли даром: она хорошо знала страну, её историю, её народ, понимала, с кем и с чем имеет дело, и не строила наивных и беспочвенных иллюзий относительно положения дел. С первых же дней царствования Екатерина проявила великолепные деловые качества: необычайную работоспособность — до двенадцати часов в сутки, а при необходимости и более, умение подбирать себе знающих и надёжных помощников, способность быстро и основательно вникать в суть самых разных сложных проблем.

Во внутренней политике она сделала главным принципом рост силы государства, поставив на первое место интересы России. В одном из первых заседаний Сената она узнала о недостаточности денег в казне и отдала собственные средства, заявив, что «принадлежа сама государству, она считает и всё принадлежащее ей собственностью государства, и на будущее время не будет никакого различия между интересом государственным и её собственным». Яри этом она исходила из принципа превосходства интереса государства над интересом отдельной личности, утверждая: «Где общество выигрывает, тут на партикулярный ущерб не смотрят».

Позднее Екатерина сформулировала и иные важнейшие принципы своей политики, названные ею «Пятью предметами» : «Если государственный человек ошибается, если он рассуждает плохо, или принимает ошибочные меры, целый народ испытывает пагубные следствия этого. Нужно часто себя спрашивать: справедливо ли это начинание? — полезно ли?» — писала императрица. И, перечисляя «Пять предметов», указывала:

«1. Нужно просвещать нацию, которой должен управлять.

2. Нужно ввести добрый порядок в государстве, поддерживать общество и заставить его соблюдать законы.

3. Нужно учредить в государстве хорошую и точную полицию.

4. Нужно способствовать расцвету государства и сделать его изобильным.

5. Нужно сделать государство грозным в самом себе и внушающим уважение соседям. Каждый гражданин должен быть воспитан в сознании долга своего перед Высшим Существом (так Екатерина вслед за французскими энциклопедистами называла Бога), перед собой, перед обществом, и нужно ему преподать некоторые искусства, без которых он почти не может обойтись в повседневной жизни».

Исходя из «предмета пятого», Екатерина видела смысл внешней политики в соблюдении собственных интересов России.

Ни от кого не зависимая Россия, преследовавшая только свои «резоны и выгоды, свой авантаж и профит», как тогда говорили, приобрела гораздо большее значение в мировой политике и вскоре добилась наивысших успехов.

Однако достичь этого Екатерине удалось не сразу и не без борьбы с извечной рутиной, политическими противниками и подстерегавшими на каждом шагу опасностями переворотов и заговоров.

Об административной канцелярской рутине весьма красноречиво говорит хотя бы такой факт. На одном из первых заседаний Сената Екатерина спросила, есть ли в Сенате реестр городов? Его не оказалось, хотя Сенат назначал в города воевод. Не было даже карты России. Тогда Екатерина послала сенатского служителя в Академию наук, дав ему пять рублей, велела купить географический атлас Кириллова, изданный ещё за тридцать лет до того, и подарила его Сенату.

В одном из писем этого времени к Понятовскому Екатерина признавалась: «Моё положение таково, что я должна принимать во внимание многие обстоятельства; последний солдат гвардии считает себя виновником моего воцарения, и при всём том заметно общее брожение».

В первые же месяцы нового царствования в среде гвардейских офицеров возник заговор в пользу шлиссельбургского узника Ивана Антоновича. Трое братьев Гурьевых — Пётр, Иван и Семён — и Пётр Хрущев намеревались освободить Ивана Антоновича и посадить его на российский трон. Заговор был раскрыт, и все они были сосланы в Якутск и на Камчатку.

Вслед за тем обнаружился заговор против Григория Орлова. Объектами недовольства, нападок и даже готовящихся покушений были две «государственных персоны» — правящая императрица и её фаворит. Общая опасность ещё более сблизила их, и у любовников возникла даже мысль обвенчаться, тем более что ещё до убийства Петра III Екатерина допускала возможность брака с Орловым.

Для того чтобы грядущее бракосочетание не казалось чем-то необычным, было решено обнародовать документы о венчании Елизаветы Петровны и Разумовского. Однако когда посланцы императрицы приехали к Алексею Григорьевичу и попросили показать им соответствующий документ, Разумовский, человек умный и осторожный, открыл ларец с документами и на глазах у нежданных гостей бросил какие-то бумаги в огонь камина. Он не желал изменений в собственном положении, несмотря на то что если бы его официально объявили законным супругом Елизаветы Петровны, то Разумовский был бы уравнен в правах с членами

императорской фамилии и получил титул «Императорского Высочества».

Тогда в игру включился поверенный в сердечных делах Екатерины, бывший канцлер, граф Алексей Петрович Бестужев, первым из сановников удостоенный Екатериной II звания фельдмаршала. Во время коронационных торжеств в Москве он составил челобитную на имя императрицы, «в которой её всеподданнейше, всепочтительнейше и всенижайше просили избрать себе супруга ввиду слабого здоровья великого князя», то есть цесаревича Павла Петровича.

Несколько вельмож поставили свои подписи под этой челобитной, но когда дело дошло до Михаила Илларионовича Воронцова, он не только не подписал её, но тотчас же поехал к императрице и обо всём рассказал ей, заявив, что «народ не пожелает видеть Орлова её супругом».

Екатерина, как утверждает Дашкова, вняла голосу «народа», представителем которого считал себя её дядя — канцлер и граф, и сказала Воронцову, что челобитная была плодом самодеятельности Бестужева и что она не имеет к его инициативе никакого отношения и вовсе не собирается брать в мужья Григория Орлова.

Меж тем Григорий Орлов был пожалован германским императором Францем I Габсбургом титулом князя Священной Римской империи. Это вызвало новые опасения, что фаворит может оказаться на троне.

Описанные выше события происходили в Москве, где после коронационных торжеств всё ещё оставался двор и празднества не затихали, а сменяли друг друга бесконечной чередой.

Апофеозом невиданных дотоле сценических действ был грандиозный уличный маскарад, проведённый Волковым по сценарию Хераскова и Сумарокова. Четыре тысячи человек приняли участие в этом действе, названном авторами «Торжествующая Минерва». Свидетель его, выдающийся русский агроном Андрей Тимофеевич Болотов, писал: «Маскарад сей имел целию своею осмеяние всех обыкновеннейших между людьми пороков, а особливо мздоимных судей, игроков, мотов, пьяниц и распутных и торжество над ними наук и добродетели: почему и назван был «Торжествующею Минервою». И процессия была превеликая и предлинная: везены были многие и разного рода колесницы и повозки, отчасти на огромных санях, отчасти на колёсах, с сидящими на них многими и разным образом одетыми и что-нибудь представляющими людьми, и поющими приличные и для каждого предмета сочинённые сатирические песни. Перед каждою такою раскрашенною, распещренною и раззолоченною

повозкою, везомою множеством лошадей, шли особые хоры, — где разного рода музыкантов, где разнообразно наряженных людей, поющих громогласно другие весёлые и забавные особого рода стихотворения, а инде шли огромные исполины, а инде — удивительные карлы.

И всё сие распоряжено было так хорошо, украшено так великолепно и богато, и все песни и стихотворения были петы такими приятными голосами, что не иначе, как с крайним удовольствием на всё это смотреть было можно».

Режиссёр и организатор этого действа — Фёдор Волков, разъезжая верхом, во время маскарада простудился и 4 апреля 1763 года скончался.

Основателя национального русского театра похоронили в мужском Спас-Андрониковом монастыре, в котором за три века перед тем нашёл приют и последнее упокоение и основатель русской живописи Андрей Рублёв. И когда гроб с телом Волкова опускали в могилу, почти никто не знал, что хоронят не только великого актёра, сыгравшего десятки ролей на подмостках сцены, но и великого заговорщика, чья роль, тайно сыгранная им в истории России, надолго окажется скрытой и от современников, и от потомков.

Не успели похоронить «глубинного» заговорщика Фёдора Волкова, чуть более полугода назад «замышлявшего» против Петра Фёдоровича, как тут же объявились новые «заводчики» нового комплота, на сей раз нацеленного против Григория Орлова. Теперь главой недовольных им стал камер-юнкер и секунд-ротмистр конной гвардии Фёдор Хитрово, которого Дашкова называла «одним из самых бескорыстных заговорщиков». Хитрово по неосторожности поделился своими соображениями о замышляемом заговоре с собственным двоюродным братом Ржевским, рассказав, что им привлечены ещё двое офицеров — Михаил Ласунский и Александр Рославлев, оба совсем недавно возведшие Екатерину на престол. Он рассказал Ржевскому, что все они будут умолять государыню отказаться от брака с Орловым, а если она не согласится, то они убьют всех братьев Орловых.

Перепуганный Ржевский передал всё Алексею Орлову, и Хитрово арестовали.

24 мая 1763 года Екатерина, находившаяся на богомолье в Ростове Великом, направила Василию Ивановичу Суворову секретнейшее письмо о производстве негласного следствия о поступках секунд-ротмистра и камер-юнкера Фёдора Хитрово, рекомендуя ему «поступать весьма осторожно, не тревожа ни город, и сколь можно никого; однако ж таким образом, чтоб

досконально узнать самую истину, и весьма различайте слова с предприятием... Впрочем по полкам имейте уши и глаза».

Следствием было установлено, что Хитрово с небольшим числом сообщников видел главного виновника всего происходящего в Алексее Орлове, ибо «Григорий глуп, а больше всё делает Алексей, и он великой плут и всему оному делу причиною». Было установлено, что на жизнь Екатерины заговорщики посягать не намеревались, а ограничивались лишь устранением братьев Орловых.

Исходя из всего этого, Екатерина сочла достаточным, чтобы главный заговорщик Фёдор Хитрово был сослан в своё имение, в село Троицкое Орловского уезда, где он и умер 23 июня 1774 года, а его единомышленники Михаил Ласунский и Александр Рославлев были уволены с военной и дворцовой службы с чином генерал-поручика.

И всё же Екатерина решилась передать вопрос о своём замужестве на усмотрение Сената. И тогда встал сенатор граф Никита Иванович Панин, воспитатель цесаревича Павла Петровича, и сказал:

— Императрица может делать всё, что ей угодно, но госпожа Орлова не будет нашей императрицей.

Панина тотчас же поддержал граф Кирилл Разумовский.

Существовало мнение, что всё произошедшее в Сенате было подстроено самой Екатериной и Панин произнёс то, что было угодно императрице.

Забегая вперёд скажем, что заговоры, направленные против Орлова и против Екатерины, возникали несколько раз. То это оказывались доброхоты Ивана Антоновича, то Павла.

Был, к примеру, заговор подпоручика Смоленского пехотного полка Мировича, провалившийся летом 1764 года.

Василий Яковлевич Мирович — украинский дворянин, родители которого потеряли свои поместья из-за приверженности Мазепе, долго обивал пороги своих знатных петербургских земляков, умоляя помочь ему вернуть конфискованное добро. Однажды попал он на приём к гетману Кириллу Разумовскому. Как показывал потом на допросе Мирович, гетман сказал ему: «Ты, молодой человек, сам себе прокладывай дорогу. Старайся подражать другим, старайся схватить фортуну за чуб, и будешь таким же паном, как другие».

Отчаявшись добиться желаемого законным путём, Мирович стал подумывать о иных способах поправить дела: то он мечтал о выгодной женитьбе, то пытался выиграть состояние в карты, но фортуна ловко увёртывалась от неудачливого бедного подпоручика.

Осенью 1763 года Мирович случайно узнал, что в Шлиссельбурге томится несчастный экс-император Иван Антонович. Этого было довольно, чтобы толкнуть его мысли в новом направлении. Всю зиму он обдумывал, каким образом можно было бы осуществить эту «затейку», и решил, что, как только наступит его очередь нести караульную службу в Шлиссельбургской крепости — а Смоленский полк по частям выполнял и такую задачу, — он и осуществит немедленно свой замысел.

Мирович не знал, что, даже если бы его замысел вполне удался, на престол возводить было бы некого: Иван Антонович от строгого многолетнего заключения в одиночных казематах превратился в полусумасшедшего человека, плохо и невнятно говорившего и не знавшего большинства реалий обыкновенной жизни.

В начале июля 1764 года Мировичу была поручена команда из сорока пяти солдат и унтер-офицеров, которой надлежало некоторое время нести караульную службу в Шлиссельбурге. В крепости постоянно находилось три десятка солдат при коменданте Бередникове и двух офицерах — Власьеве и Чекине. Мирович лишь в самые последние дни перед осуществлением задуманного им дела стал склонять солдат и капралов отряда на свою сторону, зачитывая им подложный Манифест и суля богатства и почести наподобие тех, какие получили лейб-кампанцы Елизаветы Петровны. Кроме того, он предложил принять участие в заговоре и капитану Власьеву, не зная, что именно Власьев согласно секретной инструкции должен был при попытке освобождения Ивана Антоновича убить царственного арестанта.

Власьев для вида согласился и тут же сообщил о сделанном ему предложении Никите Ивановичу Панину. Мирович не знал и этого, но, почувствовав опасность, решился на немедленные действия. Ночью он собрал свою команду и отдал приказ ворваться в каземат к Ивану Антоновичу.

Солдаты повиновались. Они арестовали коменданта и двинулись к каземату. Однако Власьев и Чекин, услышав выстрелы, немедленно исполнили инструкцию, и, когда Мирович проник в каземат, Иван Антонович был уже мёртв. О подробностях того, каким образом был он убит, свидетельств не сохранилось.

Мировича арестовали, долго допрашивали — сначала в Шлиссельбурге, потом в Петропавловской крепости — причём следствием и допросами руководил Григорий Орлов, проявивший и здесь известную снисходительность и не позволивший

применить пытку. Всё же Мирович был приговорён к смерти и казнён 15 сентября 1764 года.

Ещё один заговор возник в 1768 году, когда капитан Панов, премьер-майор Жилин и гвардейские обер-офицеры Степанов и Озеров поставили перед собою задачу возвести на трон Павла Петровича. Однако в основе этого заговора лежала не столько нелюбовь к Екатерине, сколько зависть к Орловым и надежда на то, что новый император отомстит убийцам своего отца. Но и этот заговор был раскрыт, и виновные оказались в ссылке — в Сибири и на Камчатке.

Через два года объявился мнимый сын Елизаветы Петровны, молодой офицер Опочинин, тоже возмечтавший возвести на престол Павла и учинивший для этого «комплот» с другими дворянами, главную роль среди которых играл поручик Батюшков.

Наконец, в 1772 году созрел заговор среди солдат гвардии — и снова в пользу Павла. Старшему из крамольников было 22 года. Екатерина приговорила всех к пожизненной ссылке в Сибирь.

Джентльмен, исполненный высоких чувств

Разумеется, и сам Григорий Григорьевич, и все его сторонники отлично понимали, что никакие заговорщики им не страшны, пока императрица любит своего фаворита. А Екатерина отличалась не только пылкостью нрава, но и привязанностью, столь характерной для женщин нежных и любящих по-настоящему. Её роман с Григорием Орловым продолжался десять лет.

В первые годы после вступления на престол их любовь была безоблачной, чистой и крепкой. Да и сам предмет любви Екатерины был достоин того. Из множества характеристик, данных современниками и историками Григорию Орлову, приведём лишь одну, принадлежащую его биографу историку Голомбиевскому: «Природа щедро одарила Орлова. «Это было, — по выражению императрицы, — изумительное существо, у которого всё хорошо: наружность, ум, сердце и душа». Высокий и стройный, он, по отзыву Екатерины, «был самым красивейшим человеком своего времени». Превосходя красотой, смелостью и решительностью всех своих братьев, Григорий не уступал никому ни в атлетическом сложении, ни в геркулесовой силе. При этом Григорий был несомненно добрый человек с мягким и отзывчивым сердцем, готовый помочь и оказать покровительство, доверчивый до неосторожности, щедрый до, расточительности, не способный затаивать злобу, мстить; нередко он разбалтывал то, чего не следует, поэтому казался менее умным, чем был. Способный, но ленивый, Григорий обладал умом не самостоятельным и глубоким, но чутким к вопросам, которые его интересовали. Схватив на лету мысль, понравившуюся ему, быстро усваивал суть дела и нередко доводил эту мысль до крайности. Часто вспыльчивый, всегда необузданный в проявлении своих страстей, он обладал весёлым и ветреным нравом, любил кулачные бои, состязания в беге и борьбе и охоту на медведя один на один».

К этой характеристике Григория Орлова может быть присоединена и ещё одна, высказанная английским посланником лордом Каткартом: «Орлов — джентльмен, чистосердечный, правдивый, исполненный высоких чувств и обладающий замечательным природным умом».

Английскому посланнику вторил соотечественник Григория Орлова, суровый критик своего времени, желчный и брюзгливый князь Михаил Михайлович Щербатов. Он резко отличал Григория

Орлова от многих других современников, признавая за ним ряд прекрасных качеств.

В записке «О повреждении нравов в России» Щербатов писал: «Во время случая (то есть фавора) Орлова дела шли довольно порядочно, и государыня, подражая простоте своего любимца, снисходила к своим подданным. Люди обходами не были обижаемы, и самолюбие государево истинами любимца укрощаемо часто было… Орлов никогда не входил в управление не принадлежавшего ему места, никогда не льстил своей государыне, к которой неложное усердие имел и говорил ей с усердием служить Отечеству и в опаснейшие места употреблять».

Несмотря на то что дождь благодеяний пролился на всех участников переворота, самым взысканным оказался Григорий Григорьевич, получивший кроме того, о чём уже было сказано, две прекрасных богатых мызы, расположенных неподалёку от Петербурга — Гатчину и Ропшу. А помимо этого Григорий Григорьевич получал от императрицы и большие суммы денег, чаще всего выдаваемые ему на именины — 25 января и на день рождения — 6 октября. Екатерина дарила Орлову всякий раз от пятидесяти до ста пятидесяти тысяч.

В марте 1763 года Екатерина попросила посланника Австрийской империи графа Мерси ходатайствовать перед императором о возведении графа Григория Григорьевича Орлова в княжеское достоинство с титулом светлости, что и было подтверждено дипломом от 21 июля 1763 года. На следующий день Орлов стал главой Канцелярии опекунства иностранных (то есть иностранцев, переселившихся в Россию).

Иностранные поселенцы получали земли в Поволжье, освобождались на тридцать лет от податей, имели право продавать плоды своего труда беспошлинно за границу, заводить торги и ярмарки, строить фабрики и мануфактуры.

К 1769 году только вокруг Саратова более чем в ста колониях поселилось более двадцати трёх тысяч выходцев из Швейцарии, Германии, Франции, Австрии и других стран. Карта Поволжья запестрела новыми поселениями — Берн, Люцерн, Унтервальден и иными, тому подобными по названию.

В январе 1765 года Орлов был назначен шефом Кавалергардского корпуса, а 14 марта того же года генерал-фельдцейхмейстером и генерал-директором над фортификациями, заняв сразу две важнейших должности — командующего артиллерией и командующего инженерными войсками.

Что же касается личных взаимоотношений Екатерины и

Григория Орлова, то они всё более крепли и отнюдь не ограничивались альковными утехами и любовными ласками.

Проводя год за годом рядом с Екатериной, Орлов стал много читать и увлёкся естественными науками, отдавая предпочтение физике.

Он вступил в переписку с Жан-Жаком Руссо, дружил с директором Академии наук Тепловым и с особенной приязненностью относился к Михаилу Васильевичу Ломоносову.

Ломоносов искренне дорожил дружбой Орлова и должным образом ценил его высокие качества. Символично, что своё предпоследнее стихотворение, написанное в июле 1764 года, Ломоносов посвятил Орлову.

«Любитель чистых муз. Защитник их трудов...» — такова первая строка этого стихотворения.

Но были там и другие:

Ты, верны Отчеству распростирая длани,
Екатеринин рок и общей отвратил,
Покой и век златой наукам обновил.
Ликуют Северны страны в премудрой воле
Что Правда с Кротостью сияет на Престоле.
О, коль прекрасны дни! О, коль любезна Власть!
Герой, мы должны в том Тебе велику часть!

В трудные минуты Ломоносов всегда находил у Орлова поддержку, а когда великий учёный 4 апреля 1765 года умер, то все его бумаги Григорий Григорьевич выкупил у вдовы покойного, тщательно разобрал и бережно хранил их в особой комнате своего дома. Орлов имел основательные познания в физических свойствах золота, в ботанике, химии, анатомии, геометрии и астрономии.

В Летнем дворце Орлов устроил обсерваторию и часто наблюдал за звёздным небом.

Разносторонность интересов привела Орлова к тому, что в 1765 году он стал первым президентом Вольного экономического общества. Избрание его президентом объяснялось не только прагматическими соображениями использования связей и авторитета Орлова при дворе, но в неменьшей степени тем, что с самого начала, как только появилась идея создания Общества, Григорий Григорьевич стал ревностным и бескорыстным его сторонником.

Он подарил Обществу собственный дом, стоивший сорок

тысяч рублей, большую библиотеку, и именно в этом доме 15 июня 1765 года и произошло первое заседание Общества.

В 1766 году по инициативе Екатерины Орловым был объявлен первый конкурс на тему: «В чём состоит собственность земледельца (крестьянина): в земле ли его, которую он обрабатывает, или в движимости, и какое он право на то и другое для пользы общенародной иметь может?» В конкурсе приняло участие сто шестьдесят авторов не только из России, но и из-за границы, свободно изложивших свои взгляды самых различных оттенков и направлений от решительной защиты крепостничества до его полного отрицания. И всё же гласно вопрос об отмене крепостного права впервые прозвучал в Экономическом обществе, которое и на самом деле, а не только по названию, было Вольным.

С 1766 года стали издаваться периодические «Труды Вольного экономического общества», а годом раньше вышло в свет первое статистико-географическое исследование России: «Экономические вопросы, касающиеся до земледелия по разности провинций». Издания Общества не были мёртвой академической схоластикой, давая ценные практические рекомендации для развития промышленности, торговли и сельского хозяйства, особенно животноводства, усовершенствования сельскохозяйственных орудий, прогрессу в пчеловодстве, шелководстве, производстве сахара, полотна, внедрения наиболее рациональных способов хозяйствования. Григорий Орлов дважды — на второй и третий срок — избирался президентом и до конца своих дней оставался членом Вольного экономического общества.

31 октября 1765 года последовал Высочайший рескрипт, в котором Екатерина писала: «Мы оное приемлем в особое наше покровительство… жалуем Обществу 6000 рублей на покупку пристойного дома, как для собрания вашего, так и для учреждения в нём экономической библиотеки».

Труды Вольного экономического общества выходили до 1915 года, составив свод в 280 томов, а на момент закрытия, последовавшего в 1919 году, его библиотека насчитывала более двухсот тысяч книг, газет и журналов. Общество учредило и собственные награды. Первая Золотая медаль, стоимостью в 250 золотых рублей, была присуждена привёзшему наибольшее количество российской пшеницы для продажи за границу, вторая — за устройство запасных хлебных житниц на случай неурожая.

«Мать Отечества»

14 декабря 1766 года был опубликован Манифест о выборах депутатов от всех свободных сословий России для выработки нового свода законов. Для этого были предусмотрены выборы депутатов в Комиссию об уложении из всех районов государства.

Комиссии об уложении, более известные как Уложенные комиссии, существовали в России с 1700 до 1754 год. За это время собиралось шесть Уложенных Комиссий, работавших над одним и тем же — созданием свода законов. Однако ни одна их этих комиссий дела до конца не довела. И тогда Екатерина решила ещё раз собрать Комиссию об уложении, чтобы всё же составить новый свод законов, который отвечал бы требованиям времени. Свод законов должны были создавать депутаты, избранные всеми народами и сословиями России, кроме крепостных крестьян, интересы которых обязаны были представлять их владельцы. Все пять братьев Орловых были избраны депутатами от тех уездов, где находились их имения. Григорий Орлов представлял дворян Копорского уезда Петербургской губернии.

Пока шли выборы, Екатерина и её фаворит отправились в путешествие по Волге. 2 мая их галеры вышли из Твери и пошли вниз по реке через Ярославль, Кострому, Нижний Новгород, Чебоксары, Казань и Симбирск, после чего путешественники пересели в экипажи и поехали в Москву.

Во время путешествия по Волге Григорий Орлов сопровождал Екатерину при осмотре заводов и фабрик, монастырей и церквей, мастерских и соляных варниц. В Нижнем Новгороде он познакомил императрицу с замечательным механиком-самоучкой Иваном Петровичем Кулибиным.

В дороге Екатерина и Орлов размышляли над тем, какие законы могли бы улучшить положение дел в России. Именно в эти дни императрица начала интенсивно разрабатывать свой знаменитый «Наказ» — философско-юридический трактат, который она чуть позже представила депутатам Уложенной Комиссии, а Орлов переводил для «Наказа» одну из глав романа француза Мармонтеля «Белизарий».

И Екатерину и Орлова поразила пестрота отношений, народов, языков, обычаев, костюмов, которые они встречали на каждом шагу. Екатерина на каждой из остановок принимала челобитные, выслушивала жалобы, решала различные дела и тяжбы, беседуя с губернаторами и с крестьянами, с попами и

купцами, с русскими и инородцами, а только в одной Казани проживало более двух десятков разных народностей.

Из Казани она писала Вольтеру: «Эти законы, о которых так много было речей, собственно говоря, ещё не сочинены, и кто может отвечать за их доброкачественность? Конечно, не мы, а потомство будет в состоянии решить этот вопрос. Представьте, что они должны служить для Азии и для Европы, и какое различие в климате, людях, обычаях и самих понятиях!.. Можно легко найти общие правила, но подробности? И какие подробности? Это почти всё равно, что создать целый мир, соединить части, оградить и прочее».

22 июня, уже находясь в Москве, Екатерина сообщила сенаторам, что за время путешествия она получила шестьсот челобитных и почти все они содержали жалобы крестьян на помещиков и споры между иноверными народами о землях.

30 июля 1767 года в Успенском соборе состоялось торжественное открытие заседаний Уложенной Комиссии. В конце церемонии Екатерина вручила генерал-прокурору князю Александру Алексеевичу Вяземскому завершённый ею накануне «Наказ», состоявший из 212 глав и 655 статей, большей частью построенных на трудах французских философов-просветителей.

На следующий день 420 депутатов собрались в Грановитой палате, чтобы тайным голосованием избрать маршала Комиссии. Подсчитав голоса, Вяземский объявил, что маршалом избран Григорий Орлов, но фаворит отказался от столь высокой чести «за множеством дел, возложенных на него Её Императорским Величеством», и маршалом был избран костромской депутат генерал Александр Ильич Бибиков.

А потом Орлов оказался одним из трёх чтецов, которые по очереди читали «Наказ» депутатам.

Депутаты с прилежанием, вниманием и восхищением слушали сие сочинение, а вслед за тем, находясь под сильным впечатлением от его содержания, на следующем заседании, 9 августа, решили поднести императрице новый титул.

Поступило несколько предложений, но принята была редакция Григория Орлова: «Екатерина Великая, Премудрая, Мать Отечества».

12 августа одиннадцать депутатов и маршал Бибиков поднесли Екатерине новый титул, но она поручила от своего имени вице-канцлеру, князю Александру Михайловичу Голицыну сказать так: «О званиях же, кои вы желаете, чтоб я от вас приняла, на сие ответствую: 1) на «Великая» — о моих делах оставляю времени и потомкам беспристрастно судить, 2) «Премудрая» — никак себя таковою назвать не могу, ибо один Бог премудр, и 3)

«Матери Отечества» — любить Богом вручённых мне подданных я за долг звания моего почитаю, быть любимою от них есть моё желание».

Так откорректировала Екатерина верноподданные излияния господ депутатов и своего любимца.

А после окончания аудиенции сказала:

— Надобно господам депутатам обсуждать и составлять законы, а не заниматься моей анатомией.

После того как верноподданническая инициатива Орлова и прочих восторженных её поклонников получила достаточно вежливый, но решительный афронт, Григорий Григорьевич лишь однажды высказал своё мнение и оказался среди депутатов, выступавших на заседаниях Уложенной Комиссии. Это случилось 20 августа, когда был зачитан Наказ от черносошных крестьян Каргопольского уезда Архангельской губернии (черносошными крестьянами назывались государственные крестьяне, остававшиеся на Русском Севере. Они жили на казённых землях, подчинялись государственным органам и были лично свободными). Выслушав рассказ их депутата, поведавшего о бедах и нуждах крестьян, испрашивающих облегчения своей участи, Орлов, вопреки мнению большинства депутатов, выступил в поддержку каргопольцев.

14 декабря 1767 года состоялось последнее заседание Уложенной Комиссии в Москве, после чего были объявлены каникулы, и следующее заседание было открыто 18 февраля 1768 года в Санкт-Петербурге.

1768 год запомнился в России эпидемией оспы. Эта болезнь было в то время не менее страшной, чем чума или холера: сотни тысяч людей гибли от неё и не меньшее число выживших навсегда оставалось обезображенными глубокой рябью на коже лица. Карантины, даже самые строгие, практически не давали эффекта. Так продолжалось до тех пор, пока двадцатилетний английский врач Эдуард Дженнер не нашёл надёжного средства от этого ужасного недуга.

В 1768 году он привил восьмилетнему мальчику коровью, а через полтора месяца и человеческую оспу, и мальчик остался здоров.

Этот метод, несмотря на его простоту и надёжность, медленно распространялся в Англии и не лучше — в континентальной Европе. А уж в России о нём и знали-то совсем не многие. Но Екатерина, постоянно следившая за всем, что происходило в Европе, была знакома и с открытием доктора Дженнера, и с успехами его тогда ещё совсем немногочисленных

последователей. Наиболее удачливым из них оказался соотечественник Дженнера военный врач Томас Димсдаль. Он был не только одним из лучших, но и одним из первых ревнителей оспопрививания, и выбор Екатерины пал на него. Англичанин приехал в Петербург вместе со своим взрослым сыном Нафанаилом — помощником отца и свидетелем его врачебных успехов.

12 октября 1768 года Томас Димсдаль привил оспу сначала Екатерине, а вслед за нею и четырнадцатилетнему Павлу Петровичу. Одновременно оспа была привита и Григорию Орлову, не желавшему отстать от своей августейшей покровительницы.

Для всех троих операция прошла успешно, а Григорий Григорьевич, слегка бравируя, уже на следующее утро отправился на заранее условленную медвежью охоту, несмотря на лёгкое недомогание.

13 февраля 1769 года Томас и Нафанаил Димсдали получили титул российских баронов. А сам Томас, кроме того, стал лейб-медиком, действительным статским советником и был удостоен пожизненной пенсии в 500 фунтов стерлингов в год. Пример Екатерины, Павла и Орлова произвёл потрясающий эффект, оспопрививание стало великосветской модой, а у новоявленных баронов не стало отбоя от сотен знатных и богатых пациентов.

Когда депутаты Уложенной Комиссии поздравили Екатерину с благополучным исходом оспопрививания, она сказала: «Мой предмет был спасти от смерти многочисленных моих верноподданных, кои, не знав пользы сего способа, оного страшася, оставались в опасности. Я сим исполнила часть долга звания моего… Вы можете уверены быть, что ныне и паче (ещё больше) усугублять буду мои старания и попечения о благополучии всех моих верноподданных вообще и каждого особо».

Эта красивая поза содержала немало рисовки и была скорее полуправдой, предназначенной для внутреннего, отечественного употребления. Правду же Екатерина предпочла рассказать человеку не столь доверчивому, как депутаты Уложенной Комиссии. В письме к Фридриху II она писала: «Меня приучали с детства питать ужас к оспе. Мне стоило больших трудов уменьшить эту боязнь в более зрелом возрасте; в малейшем нездоровье, постигавшем меня, уже видела эту болезнь. В течение весны и прошедшего лета, когда оспа производила большие опустошения, я переезжала из дома в дом и удалилась из города на целых пять месяцев, не желая подвергать опасности ни сына, ни себя. Я была так поражена положением, исполненным такой трусости, что считала слабостью не суметь выйти из него. Мне

посоветовали привить оспу моему сыну. Но, сказала я, с каким лицом сделаю я это, если не начну с себя самой, и как ввести прививание оспы, если я не подам к тому примера. Я принялась за изучение этого предмета, твёрдо решившись взяться за средство менее опасное. Последующее размышление заставило меня решиться наконец. Всякий благоразумный человек, видя перед собою две опасные дороги, избирает ту из них, которая менее опасна. Было бы трусостью оставаться всю жизнь в действительной опасности со многими миллионами людей, или же предпочесть меньшую опасность, продолжавшуюся короткое время, и тем спасти много народу. Я думала, что выбрала самое верное; миг прошёл, и я в безопасности».

В связи с оспопрививанием возник и ещё один сюжет, касающийся личной жизни Екатерины и Григория Орлова. Дело было в том, что оспу императрице привили от больного пятилетнего мальчика, по документам значившегося, как Александр Данилович Марков. Иногда его фамилию писали и «Маркок». После удачно завершившейся операции он Указом Екатерины 24 ноября 1768 года был возведён в дворянство с фамилией Оспинный. 14 декабря 1768 года Екатерина писала к графу Ивану Григорьевичу Чернышову: «Моя же ныне есть забава тот самый мальчик, от которого мне привита оспа; непокойный купидон Галактион с товарищами не входят с ним в сравнение и все признают, что не видали повесы, подобной Александру Данилову сыну Оспину: резов до бешенства, умён и хитёр не по летам, смел до неслыханной дерзости; никогда не кроток, ни в ответах, ни в выдумках, ему же шестой год, и мал как клоп. Брат Ваш, граф Захар Григорьевич, граф Григорий Григорьевич (Орлов) и сам Кирила Григорьевич (Разумовский) часа по три, так как и мы все, по земле с ним катаемся и смеёмся до устали… Если хотите знать, кому он принадлежит, то знайте, что, по словам Вашего брата, он со временем предназначен занять должности Бецкого; больше о том у меня не спрашивайте. Галактион Иванович велел спросить, скоро ли будет слоник, который Вы ему обещались из Китая прислать».

Екатерина, возведя мальчика во дворянство, определила на его имя капитал в 3000 рублей, «который до его совершеннолетия вносится в банк для приращения процентами». Затем мальчика поместили в Пажеский корпус, из которого он был выпущен в офицеры, но заболел и, не достигнув тридцати лет, был выведен в отставку секунд-майором с пенсией в 300 рублей в год.

Относительно причин, по которым Оспинный впал в немилость у императрицы, достоверных сведений нет.

Что же касается «Галактиона Ивановича», то и его, как и

Оспинного, считали сыном Орлова и Екатерины II, утверждая, что оба они в детстве жили в доме Василия Шкурина. Об этом в письме к графу Суффолку — статс-секретарю Англии по иностранным делам, сообщал 28 июня 1772 года английский посланник в Петербурге сэр Роберт Гуннинг: «Отношения (Г. Г. Орлова) к императрице серьёзны, и плодом их служат трое живых детей; они находятся в доме и под надзором одного человека, бывшего её камердинером в то время, как она была Великой Княжной, но несколько времени тому назад возвышенного до звания камергера с приказанием, однако, не являться ко двору. Зовут его Шкуриным. Она иногда видится с детьми, хотя и не часто» (третьим сыном был Бобринской, также живший в семье Шкурина).

Не все историки согласны с вышеизложенной версией семейного положения Екатерины и её фаворита. Совершенно бесспорно признается их сыном Алексей Григорьевич Бобринской. Что же касается Оспинного и Галактиона Ивановича, то существует и точка зрения, что эти мальчики были воспитанниками Екатерины, но не её родными детьми. В авторитетном издании — «Русском Биографическом Словаре» утверждается, что у Орлова по его смерти осталось четверо детей: 1) Софья Григорьевна Алексеева, вышедшая замуж за Ф. Ф. Буксгевдена; 2) сын Галактион, умерший в молодости; 3) сын — Оспинный; 4) дочь Елизавета, вышедшая замуж за Ф. И. Клингера.

Гельбиг добавляет, что Галактиона молодым офицером отправили в Англию, где он вскоре скончался от излишеств. Он же утверждает, что замужем за Ф. Ф. Буксгевденом была Наталья Алексеевна Алексеева. Он же сообщает и о двух других случаях, когда внезапно обнаруживались внебрачные дочери Орлова, но хотя их не связывали с Екатериной, императрица щедро и охотно помогала и им. На практике же воспитанниками в семьях российской знати были чаще всего либо дети бедных родственников, либо внебрачные дети. И всё же автор не берёт на себя смелость решать этот вопрос однозначно.

До сих пор мы знакомились с некоторыми аспектами внутренней политики Екатерины II, теперь же коротко познакомимся и с наиболее важными моментами политики внешней, чтобы картина российской государственной жизни была многосторонней и по возможности полной.

Как и в решении проблем внутренней политики, руководящей «персоной» в вопросах политики внешней была сама Екатерина. Первый самостоятельный шаг на этом поприще она сделала немедленно по восшествии на престол: послала письмо Фридриху

II, уведомив, что Россия останется верна миру с Пруссией, который незадолго перед этим подписал Пётр III. Причём письмо Фридриху Екатерина отправила, не сообщив об этом ни одному из русских сановников. Нейтрализовав Пруссию, Екатерина тут же прибрала к рукам Курляндию, герцогом которой был сын польского короля Августа III — принц Карл. По приказу Екатерины в Митаву вошли русские войска, и в начале января 1763 года туда торжественно въехал семидесятидвухлетний герцог Эрнст Бирон со своим старшим сорокалетним сыном Петром, а весной оттуда отбыл польский принц Карл. С Курляндией вопрос был решён. На очереди оказалась Польша.

Во время коронационных торжеств Екатерина послала из Москвы в Польшу большую денежную субсидию, приложив к ней и орден Андрея Первозванного своему старому другу и любовнику Станиславу-Августу Понятовскому, который рассматривался ею как надёжный союзник и беспрекословный проводник русских интересов в Речи Посполитой.

В январе 1763 года тяжело заболел польский король Август III, и в предвидении его возможной кончины Екатерина и Фридрих II обменялись письмами по поводу будущего Польши. То же самое делали австрийцы и французы, противопоставляя австро-французскую коалицию русско-прусской и намереваясь посадить на польский трон своего кандидата.

Август III умер 5 октября 1763 года, а уже в начале 1764 года между Россией и Пруссией был заключён военный союз, русские войска вступили в Польшу, и сторонникам Понятовского были выделены огромные денежные субсидии.

7 сентября 1764 года Понятовский был избран королём. Впоследствии Екатерина так объясняла мотивы поддержки ею Понятовского: «Россия выбрала его в кандидаты на польский престол, потому что из всех искателей он имел наименее прав, а следовательно наиболее должен был чувствовать благодарность к России».

Однако не только король решал судьбу своего королевства: в Польше нашлось множество патриотов, которые отважились выступить против Понятовского и русских войск, чтобы сделать свою родину свободной и независимой. Это были польские аристократы братья Адам и Михаил Красиньские, Юзеф Пулаский, львовский архиепископ Сераковский и другие. 29 февраля 1768 года они создали Конфедерацию, которая стала называться «Барской» по имени города Бар в Подолии (ныне это Винницкая область Украины). Бар был расположен неподалёку от турецкой границы, равно как и города Каменец, Балта, Дубоссары, ныне входящие в состав Украины и Молдавии, а тогда

образовывавшие южную приграничную полосу польских владений.

Своими союзниками Барские конфедераты считали кого угодно, лишь бы это были враги России. И потому особое место в их планах занимала Турция как наиболее традиционный и последовательный противник России, хотя один из современников резонно заметил: «Изгнать русских при помощи турок, значит — зажечь дом для того, чтобы избавиться от мышей». И всё же Турция решилась на войну с Россией, чтобы помешать усилению России в Польше, а кроме того, иметь границу не с Россией — сильной и агрессивной, а с Речью Посполитой — гораздо более слабой, раздираемой вечными распрями.

Русско-турецкая война началась 25 сентября 1768 года, после того как в Константинополе был арестован российский посол Григорий Григорьевич Обрезков. Однако случилось это не сразу, а после того, как началось восстание Барских конфедератов и Понятовский 26 марта обратился к Екатерине с просьбой о помощи. На подавление восстания весной 1768 года двинулся крупный контингент русских войск под командованием генералов Николая Фёдоровича Апраксина, Михаила Николаевича Кречетникова и Александра Александровича Прозоровского.

13 июня Кречетников занял Бердичев, дотла разграбив богатейший католический монастырь Босых Кармелитов, взятый после трёхнедельной осады. В конце июня отряд Апраксина взял Бар, а затем Прозоровский двинулся на Львов и у местечка Броды нанёс конфедератам сильное поражение, после чего дивизии Апраксина и Прозоровского вошли в Великую Польшу и овладели Краковом.

После того как русские казаки заняли Балту и Дубоссары, где погибло множество турок, татар и молдаван, султан сначала потребовал убрать российские войска от границы, потом — из Подолии, а затем уже и из всей Польши.

Эти условия для России были неприемлемы и потому отвергнуты. Тогда 25 сентября 1768 года Турция объявила России войну.

К 1769 году на театр военных действий было двинуто 150 тысяч войск. 1-я армия генерал-аншефа князя Александра Михайловича Голицына осадила турецкую крепость Хотин на южном берегу Днестра, а 2-я армия генерал-аншефа графа Петра Александровича Румянцева встала в междуречье Днепра и Дона.

18 апреля 1768 года был образован Совет при Высочайшем дворе, который сначала имел вид чрезвычайного собрания, и таких собраний за девять месяцев до 22 января 1769 года было

проведено десять. Затем Совет стал собираться два раза каждую неделю — в 10 часов утра, в понедельник и четверг. Первоначально в Совет вошли: Кирилл Григорьевич Разумовский, Александр Михайлович Голицын, Никита Иванович Панин, Михаил Николаевич Волконский, Захар Григорьевич Чернышов, Пётр Иванович Панин, Григорий Григорьевич Орлов, Александр Алексеевич Вяземский, затем состав его менялся, но принцип оставался прежним — в нём присутствовало восемь важнейших сановников империи и руководила Советом сама Екатерина. В Совете свободно обсуждались разнообразные варианты, подходы и даже концепции различных проблем, и одной из них была сложная проблема возбуждения среди православных славян, греков и румын идеи освобождения от многовекового османского ига. Именно Орлов более всех развивал эту тему и был решительным сторонником избавления единоверцев от турецкого гнёта.

Он считал, что главной силой, способной помочь славянам и грекам, должен быть российский флот, и именно по его инициативе в июле 1769 года из Кронштадта в Средиземное море ушла эскадра адмирала Григория Андреевича Спиридова, а следом за нею двинулась вторая эскадра под командованием контр-адмирала Джона Элфинстона. Общее командование флотом осуществлял Алексей Григорьевич Орлов, наименованный «Генералиссимусом и генерал-адмиралом всего Российского флота в Средиземном море». Под его началом находилось 97 кораблей, из них 20 линейных, 24 фрегата и более 50 судов с десантом, а также транспортные и вспомогательные корабли. Флот должен был отвлечь турецкие войска с Дунайского театра, помочь единоверцам-славянам и грекам в их борьбе с османским владычеством и нарушить морские коммуникации противника в Средиземном море.

10 апреля 1770 года русский десант под командованием бригадира Ивана Абрамовича Ганнибала — сына знаменитого «арапа Петра Великого» Абрама Ганнибала — взял крепость Наварин, а 24-26 июня произошло знаменитое морское сражение в Чесменской бухте. Оно окончилось полным уничтожением турецкого флота: из 73 кораблей уцелело лишь шесть. Погибло и десять тысяч матросов и офицеров. Русские же потеряли одиннадцать человек. В результате одержанной победы русский флот стал полным хозяином на театре военных действий.

В честь победы Алексей Орлов получил титул Орлова-Чесменского, в Царском Селе была воздвигнута «Чесменская колонна», в Петербурге построен Чесменский дворец и выбита медаль с портретом победителя.

Весть о победе над турецким флотом только успела дойти до Петербурга, как в двух сухопутных сражениях — при реке Ларге 7 июля и при Кагуле 21 июля — Румянцев наголову разбил турецкую армию, а летом 1771 года войска Василия Михайловича Долгорукова ворвались в Крым, за что Долгоруков получил титул Крымского.

Победы русской армии и флота в войне с Турцией укрепили и позиции России в Польше, где всё ещё продолжалась война с конфедератами. И вдруг военные действия и против турок и против поляков осложнились совершенно неожиданной и страшной бедой — с Дунайского театра в Закарпатье, в Подолию и, наконец, в Киев пришла моровая язва — чума.

В октябре 1770 года начальником карантинной линии от Львова до Пинска был назначен генерал-майор Александр Васильевич Суворов, но и это не помогло — в декабре чума появилась и в Москве.

В России, поражавшейся эпидемиями чумы с XIV века, никогда не предпринимались столь строгие меры, как в этот раз. В Совете при Высочайшем дворе постоянно обсуждались карантинные, гигиенические и другие антиэпидемические меры, но должного эффекта это не давало, главным образом из-за того, что в борьбе с чумой не было последовательности: стоило эпидемии хоть немного пойти на спад, как действия против неё почти прекращались. В начале сентября 1771 года смертность в Москве достигла тысячи человек в день. Дворяне давно уже покинули город, уехав в свои подмосковные деревни, а 14 сентября оставил столицу и престарелый московский главнокомандующий, граф и фельдмаршал Пётр Семёнович Салтыков, прячась от чумы в своей усадьбе Марфино. На следующий день в Москве начался бунт. Причиной было то, что в город из-за боязни чумы перестали подвозить продовольствие, были закрыты все мануфактуры и фабрики, так как скученность рабочих вела к заражению, перестали выплачивать заработную плату, что ещё более усилило голод и нищету. Поводом же к началу бунта послужило то, что архиепископ Амвросий запретил собираться у чудотворной иконы Боголюбской Богоматери у Варварских ворот, прикладываться к ней и собирать деньги в церковную кружку. Это вызвало негодование многих тысяч москвичей.

В восемь вечера 15 сентября ударили в набат, и толпы простолюдинов с кольями, топорами, дубинами сбежались к Ильинским и Варварским воротам, а затем ворвались в Кремль, отыскивая Амвросия, который успел бежать в Донской монастырь.

На следующий день толпы бунтарей ворвались в Донской монастырь, нашли там архиепископа и зверски его убили. После этого мятежники снова пошли к Кремлю, но все его ворота были заперты, а когда толпа попыталась пойти на штурм, её отбили пушечным огнём и кавалерийской атакой, которой командовал сенатор, генерал-поручик Пётр Дмитриевич Еропкин.

Тотчас же на помощь московским воинским командам из Петербурга форсированным маршем двинулись все четыре полка Лейб-гвардии под общим командованием Григория Орлова. Орлов въехал в Москву 26 сентября и расположился с огромной свитой в Головкинском — бывшем Лефортовском — дворце. Однако через несколько дней дворец был подожжён злоумышленниками, но это не вызвало у Орлова ни злобы, ни страха. Возглавляя Генеральную следственную комиссию, он приводил город в спокойствие не репрессиями, а умиротворением. Орлов увеличил число больниц, за работу в больницах было велено крепостным, согласившимся на это, давать вольную. Выздоровевших при выходе из больницы снабжали бесплатным питанием и одеждой. На Таганке открыли сиротский приют. Было сожжено более трёх тысяч заражённых ветхих домов, а шесть тысяч подвергнуто дезинфекции.

Смертной казни были преданы лишь четверо непосредственных убийц архиепископа Амвросия, а более ста семидесяти наиболее злостных смутьянов были биты кнутом, сечены плетьми и розгами и затем отправлены либо на галеры, либо на казённую работу. Следует заметить, что судьи действовали небезоглядно, оправдав более ста других привлечённых к суду.

Пробыв в Москве около трёх недель и решительно изменив ситуацию в лучшую сторону, Орлов в середине ноября выехал в Петербург, возвратившись как триумфатор, потому что всем было известно, что он не просто был послан в Москву, но вызвался поехать по собственной инициативе.

Об этом же свидетельствовала и надпись на мраморной доске, прикреплённой к Триумфальным воротам у Царского Села, выстроенным в честь возвращения спасителя Москвы.

За время отсутствия Орлова в Петербурге там произошли серьёзные изменения — в Совете решительную победу одержала партия Никиты Панина — сторонника заключения скорого мира с Турцией.

В начале 1772 года было решено открыть переговоры и во главе русской делегации был поставлен Григорий Орлов — первый полномочный посол. Вторым послом был определён Алексей Михайлович Обрезков, опытный дипломат, долгие годы

служивший русским послом в Константинополе. Местом встречи назначили городок Фокшаны на границе Молдавии и Валахии (ныне на территории Румынии).

Первому послу перед отправлением на Конгресс было подарено несколько парадных кафтанов, один из которых, усыпанный бриллиантами, стоил миллион рублей. Свита Орлова напоминала царский двор, ибо в её штате были и маршал, и камергеры, и пажи, а кучеров, поваров, лакеев и слуг было более трёхсот.

25 апреля огромный посольский поезд выехал из Петербурга и уже 14 мая был в Яссах. Однако турецкие послы Осман-Эффенди и Язенджи-Заже прибыли в Фокшаны лишь 24 июля, сопровождаемые дружественными им послами Австрии и Пруссии. В начавшихся переговорах Орлов не проявил дипломатических талантов, идя напролом и не встречая со стороны турок никаких уступок. 18 августа он прервал переговоры и уехал в Яссы, где стоял штаб армии Румянцева. 3 сентября Орлов получил из Петербурга рескрипт императрицы, что, находясь в армии, он должен поступить под команду генерал-фельдмаршала Румянцева, а переговоры продолжить, если они возобновятся. Орлов стал ожидать дальнейшего развития событий, не подозревая, что неудача в Фокшанах — ничто по сравнению с катастрофой, уже постигшей его в Петербурге.

Новые увлечения, новые заботы

3 августа 1772 года прусский посланник в Петербурге граф Сольмс писал своему королю Фридриху II, очень охочему до всяких интимных сообщений: «Не могу более воз держаться и не сообщить Вашему Величеству об интересном событии, которое только что случилось при этом дворе. Отсутствие графа Орлова обнаружило весьма естественное, но тем не менее неожиданное обстоятельство: Её Величество нашла возможным обойтись без него, изменить свои чувства к нему и перенести своё расположение на другой предмет. Конногвардейский поручик Васильчиков, случайно отправленный с небольшим отрядом в Царское Село для несения караулов, привлёк внимание своей государыни... При переезде двора из Царского Села в Петергоф. Её Величество в первый раз показала ему знак своего расположения, подарив золотую табакерку за исправное содержание караулов. Этому случаю не придали никакого значения, однако частые посещения Васильчиковым Петергофа, заботливость, с которою она спешила отличить его от других, более спокойное и весёлое расположение её духа со времени удаления Орлова, неудовольствие родных и друзей последнего, наконец, множество других мелких обстоятельств уже открыли глаза царедворцам. Хотя до сих пор всё держится в тайне, но никто из приближённых не сомневается, что Васильчиков находится уже в полной милости у императрицы; в этом убедились особенно с того дня, когда он был пожалован камер-юнкером...

Некоторая холодность Орлова к императрице за последние годы, поспешность, с которою он в последний раз уехал от неё, оскорбившая её лично, наконец, обнаружение многих измен — всё это вместе взятое привело императрицу к тому, чтобы смотреть на Орлова, как на недостойного её милостей».

Орлов был изрядным повесой и сердцеедом ещё и до того, как сблизился с Екатериной. Статус фаворита мало что изменил в его отношениях с женщинами. Уже в 1765 году, за семь лет до разрыва с Екатериной, французский посланник в России Беранже писал из Петербурга герцогу Праслину: «Этот русский открыто нарушает законы любви по отношению к императрице; у него в городе есть любовницы, которые не только не навлекают на себя гнев императрицы за свою угодливость Орлову, но по-видимому, пользуются её расположением. Сенатор Муравьев, накрывший с ним свою жену, едва не сделал скандала, прося развода. Царица

умиротворила его, подарив земли в Ливонии».

Эти и многочисленные иные похождения фаворита переполнили чащу терпения Екатерины, и она решилась на разрыв.

Выбор ею Васильчикова случайным не был: его «подставил» сорокатрёхлетней императрице Никита Панин, умный и тонкий интриган, к тому же весьма недовольный деятельностью Орлова на переговорах, поскольку и он, как глава Коллегии иностранных дел, нёс ответственность за их исход.

Александр Семёнович Васильчиков был родовит, но небогат. Молодой офицер показался Панину подходящей кандидатурой, ибо был хорош собой, любезен, скромен и отменно воспитан. Панин и братья Чернышовы, сговорившись друг с другом, представили Васильчикова скучающей в одиночестве Екатерине.

Орлов уехал на Конгресс в Фокшаны 25 апреля, а уже через одиннадцать дней, 5 мая в «Камер-Фурьерском Журнале» впервые появилось имя Васильчикова, который тотчас же с соизволения Екатерины занял апартаменты Григория Орлова и тут же стал камергером и кавалером ордена Александра Невского.

Однако, прежде чем поселиться в покоях фаворита, молодой и робкий конногвардеец был подвергнут многократному испытанию на служебное соответствие в выполнении прямых обязанностей таланта императрицы.

Вот что писал об этой непростой и весьма ответственной процедуре уже известный нам Тургенев:

«В царствование Великой посылали обыкновенно к Анне Степановне на пробу избираемого в фавориты Её Величества. По осмотре предназначенного в высокий сан наложника, матушке-государыне лейб-медиком Роджерсоном, и по удостоверению представленного годным на службу относительно здоровья, препровождали завербованного к Анне Степановне Протасовой на трёхнощное испытание.

Когда наречённый удовлетворял вполне требования Протасовой, она доносила всемилостивейший государыне о благонадёжности испытанного, и тогда первое свидание было назначено по заведённому этикету двора или по уставу высочайше для посвящения в сан наложника конфирмованному. Перекусихина Марья Саввишна и камердинер Захар Константинович были обязаны в тот день обедать вместе с избранным. В 10 часов вечера, когда императрица была уже в постели, Перекусихина вводила новобранца в опочивальню благочестивейшей, одетого в китайский шлафрок, с книгою в руках и оставляла его для чтения в креслах подле ложа помазанницы. На другой день Перекусихина выводила из

опочивальни посвящённого и передавала его Захару Константиновичу, который вёл новопоставленного наложника в приготовленные для него чертоги; здесь докладывал Захар уже раболепно фавориту, что Всемилостивейшая Государыня высочайше соизволила назначить его при высочайшей особе своей флигель-адъютантом, подносил ему мундир флигель-адъютантский, шляпу с бриллиантовым аграфом и 100 000 рублей карманных денег. До выхода ещё государыни — зимою в Эрмитаж, а летом — в Царском Селе, в сад, прогуляться с новым флигель-адъютантом, которому она давала руку вести её, передняя зала у нового фаворита наполнялась первейшими государственными сановниками, вельможами, царедворцами, для принесения ему усерднейшего поздравления с получением высочайшей милости. Высокопреосвященнейший пастырь митрополит приезжал обыкновенно к фавориту на другой день посвящения его, и благословлял его святою иконою!»

Впоследствии процедура усложнялась, и после Потёмкина фаворитов проверяла не только «пробир-фрейлина» Протасова, но и графиня Брюс, и Перекусихина, и Уточкина. В случае же с Васильчиковым обошлись, кажется, не столь сложным испытанием. После этого его наставником по дворцовым делам стал князь Барятинский — один из убийц Петра III. Барятинский был посвящён в интригу с самого начала и успешно сыграл роль добровольного сводника.

Роман с Васильчиковым только начался, как в Яссы от одного из братьев Орловых пришло известие о случившейся в Петербурге перемене. Григорий Григорьевич немедленно бросил всё и помчался в Зимний дворец. Он скакал день и ночь, надеясь скорым появлением изменить положение в свою пользу. Но его надеждам не суждено было осуществиться: за много вёрст до Петербурга его встретил царский фельдъегерь и передал личное послание императрицы, которая категорически потребовала «избирать для временного пребывания Ваш замок Гатчину». Орлов повиновался беспрекословно, тем более что в рескрипте указывалась и причина — «Вам нужно выдержать карантин». Он ехал с территории, где всё ещё свирепствовала чума. И потому у него не было резона не подчиниться приказу царицы.

Гатчина, подаренная Григорию Орлову Екатериной в первые же недели её правления, за восемь лет сказочно преобразилась. Выдающийся зодчий Антонио Ринальди построил новый огромный дворец и разбил вокруг великолепный английский парк, занимавший площадь более шестисот десятин. Многочисленные острова на реке Ижоре соединялись ажурными

мостами. На берегах реки и в парке были разбросаны изящные павильоны и террасы, флигеля и гроты.

Здесь, в обстановке изысканной роскоши, Орлов время от времени принимал придворных, приезжавших к нему с одним и тем же — предложением императрицы об отставке с сохранением пожизненной пенсии в сто пятьдесят тысяч рублей в год, при условии, что он не станет жить в Петербурге, а поселится вдали от двора. Его посредником в переговорах с Екатериной стал старший из братьев Орловых — Иван. В конце концов сошлись на том, что кроме пенсии Орлов получил единовременное пособие в сто тысяч рублей на покупку дома, разрешение жить в любом из подмосковных дворцов, ему было подарено ещё десять тысяч крестьян, огромный серебряный сервиз французской работы и пока ещё недостроенный Мраморный дворец на Неве у Троицкой пристани. Наконец, 4 октября 1772 года Екатерина подписала высочайший рескрипт об утверждении Орлова в княжеском достоинстве. Имеет смысл напомнить, что ещё 21 июля 1763 года австрийский император Франц возвёл Орлова в княжеское достоинство Римской Империи, но Екатерина, получив грамоту, не вручила её фавориту из политических соображений. Достигнув всего, чего добивался, Орлов продолжал тревожить Екатерину письмами, посылая к ней к тому же и своих братьев, и вроде бы никуда не собирался уезжать из Гатчины.

Но вдруг, накануне Рождества, вечером 23 декабря 1772 года князь Григорий Григорьевич Орлов неожиданно пожаловал в Петербург.

Он остановился у брата Ивана и уже на следующий день был принят Екатериной, после чего появлялся во дворце ежедневно. Но хотя Орлов был весел, непринуждён, любезен, обходителен и дружелюбен со всеми, включая Васильчикова, бросалось в глаза, что Екатерина старалась не беседовать с ним и даже не замечать его. И всё же многие были уверены, что звезда Орлова взойдёт снова: во всяком случае иностранные послы поспешили нанести ему визиты, и он отвечал им тем же. Замечено было, что старые друзья Орлова вошли в фавор и получили именно в эти дни придворные назначения, чины и ордена. И снова, совершенно неожиданно, в начале января 1773 года Орлов уехал в Ревель, где намерен был провести всю зиму, но появился в Петербурге уже через два месяца, а в мае на его имя поступил Высочайший Указ, в коем говорилось: «наше желание есть, чтоб Вы ныне вступили паки в отправление дел наших, Вам порученных».

Орлов возвратился ко всем своим обязанностям, кроме одной — самой главной и самой важной, — и всё же казалось, что фортуна снова повернулась к нему лицом.

29 сентября 1773 года в Петербурге торжественно отмечалось совершеннолетие Павла Петровича, ему накануне исполнилось девятнадцать лет, и одновременно праздновалась его свадьба с восемнадцатилетней Гессен-Дармштадтской принцессой Вильгельминой, ставшей в России великой княгиней Натальей Алексеевной. Невеста не была первой любовью Павла, хотя следует признать, что серьёзных увлечений у него ещё не было, и, вообще, долгое время в делах амурных он был достаточно воздержан и скромен. И лишь когда он из подростка превратился в юношу, его ухаживания за фрейлинами и смазливыми дворцовыми служанками стали беспокоить Екатерину и заставили подумать о том, чтобы женить возмужавшего сына.

Екатерина стала подыскивать невесту сыну ещё в 1771 году. После долгих поисков решено было остановиться на Вильгельмине и потому, что она была хороша собой, умна и обходительна, и потому, что наследник прусского престола Фридрих-Вильгельм был женат на её сестре Фредерике. Вместе с тем Вильгельмина была холодна, честолюбива и настойчива в достижении цели.

В апреле 1773 года Екатерина пригласила Дармштадтскую герцогиню Генриетту-Каролину — мать Вильгельмины приехать в Петербург с тремя дочерьми, чтобы познакомиться с будущими родственниками. И мать, и дочери были бедны, и потому Екатерина выслала для предстоящего путешествия 80 тысяч гульденов и, кроме того, отправила в Любек три корабля. На одном из них — корвете «Быстрый» капитаном был один из ближайших друзей цесаревича девятнадцатилетний капитан-лейтенант граф Андрей Кириллович Разумовский — любимый сын гетмана Разумовского.

Несмотря на свой возраст, он был искушён в жизни и уже многое успел сделать и пережить. Обладая блестящими способностями, Андрей в семнадцать лет окончил Страсбургский университет, тотчас поступил во флот, отправившись вскоре в Архипелаг с эскадрой адмирала Свиридова. Он участвовал в Чесменском бою, после чего был назначен командиром фрегата «Екатерина». Возвратившись в Петербург, Разумовский стал камер-юнкером и попал в ближайшее окружение Павла. Встреча невесты цесаревича была одним из первых серьёзных поручений молодого придворного — красивого, статного, вкрадчивого и самоуверенного, без труда кружившего головы многим светским барышням.

Ещё до начала морского перехода Андрей Разумовский сумел покорить невесту цесаревича, который ему безгранично верил и

считал вернейшим своим товарищем. Впрочем, кажется, и Андрей искренне влюбился в Вильгельмину.

Однако принцессу, её мать и сестёр пригласили не на «Быстрый», а на один из других кораблей, и, разумеется, сделано это было не случайно.

В пути от Любека к Ревелю, где заканчивалось морское путешествие и откуда Гессен-Дармштадтское семейство должно было далее следовать в Петербург сухим путём, их встретил камергер барон Черкасов. К несчастью для Андрея Разумовского, его корабль не оправдал названия и на несколько суток отстал от двух других кораблей. Черкасов, узнав о подозрениях придворных относительно Вильгельмины и Разумовского, поспешил с отъездом, не дожидаясь, пока «Быстрый» придёт в Ревель.

15 июня, неподалёку от Гатчины, герцогский поезд встретил Григорий Орлов и пригласил дорогих гостей к себе в поместье отдохнуть с дороги и пообедать, сказав, что у него в доме их ждут несколько дам.

В Гатчине их действительно ждали: это была сама Екатерина и её ближайшая подруга, наперсница и хранительница тайн — сестра фельдмаршала Румянцева графиня Прасковья Александровна Брюс. Из Гатчины все они поехали в Царское Село, встретив по дороге цесаревича и его воспитателя Панина. Пересев в восьмиместный фаэтон, компания наконец прибыла в отведённые для гостей апартаменты.

Павел влюбился в Вильгельмину с первого взгляда, и через три дня Екатерина официально попросила её руки для своего сына у герцогини Генриетты.

15 августа произошло миропомазание принцессы Вильгельмины, принявшей православное имя Наталья Алексеевна, а на следующий день произошло и её обручение с Павлом Петровичем. Через полтора месяца состоялась и свадьба, продолжавшаяся с необычайной пышностью две недели.

И всё же, несмотря на блеск великого празднества, в первый же день свадьбы, 29 сентября 1773 года, многие стали предрекать новой семье несчастье, ибо именно в этот день в Петербурге впервые распространился слух о появлении в Оренбургских степях мятежных шаек Пугачёва, назвавшего себя Петром III. Каково было слышать всё это цесаревичу Павлу Петровичу!

Оставив на время Петербург, перенесёмся на бунташный Яик и совершим путешествие не только в пространстве, но и во времени, оказавшись в самом конце 1772 года на Яике, в шестидесяти вёрстах от Яицкого городка (точнее, Верхнего Яицкого городка, так как был ещё и Нижний Яицкий городок.

Теперь первый из них носит название Уральск, а второй — Гурьев).

Там, в одинокой хижине на Таловом Умёте — глухом постоялом дворе, хозяином которого был наивный и простодушный пехотный солдат Степан Оболяев, носивший прозвище Ерёмина Курица, некий появившийся в его избе странник объявил, что он — не кто иной, как император Пётр Фёдорович.

Как только об этом стало известно в Петербурге, в Военной коллегии идентифицировали персону самозванца с беглым донским казаком Емельяном Ивановичем Пугачёвым.

Оказалось, что он был уроженцем Зимовейской станицы на Дону, той самой, где полтора столетия назад родился и Степан Разин. В документах не сохранилась точная дата его рождения, считали, что к моменту своего самозванства было ему около тридцати лет. С восемнадцати лет служил он в армии, приняв участие в Семилетней войне и в Русско-турецкой. За «отличную проворность и храбрость» в 1770 году был Пугачёв произведён в хорунжие — первый офицерский чин в казачьих войсках, но вскоре из-за болезни отпущен домой. Однако в разных местах Южной России дважды попадал под арест и бежал к раскольникам — за Волгу, на реку Иргиз. Оттуда он ушёл на Яик и, добравшись до Талового Умёта, наконец объявил себя чудесно спасшимся от смерти императором Петром III. Пугачёв решился на это, встречая повсюду, где он побывал, горячее стремление солдат, казаков, раскольников, крестьян — всех, кого называли «чёрным, подъяремным людом», — к переменам, которые хотя бы немного улучшили их беспросветную жизнь.

Сначала в тайну «Петра Фёдоровича» были посвящены немногие, потом слух о нём распространился по всему Яику.

17 сентября 1773 года на хуторе казака Михаила Толкачева первые восемьдесят казаков, татар и башкир принесли присягу на верность Петру Фёдоровичу, и он повёл их к Яицкому городку. Крестьянская война началась.

По дороге в плен к восставшим попал сержант Дмитрий Кальминский, объезжавший форпосты с приказом арестовать самозванца. Казаки хотели повесить Кальминского, но Пугачёв простил его и назначил писарем. Так на службе у самозванца в первый же день Крестьянской войны оказался первый дворянин.

В последующем ещё несколько дворян оказались в лагере Пугачёва, но, как правило, их переход к самозванцу не был добровольным и объяснялся опасениями за свою жизнь.

Так случилось и с подпоручиком Михаилом Александровичем Шванвичем, с отцом которого — Александром Мартыновичем

Шванвичем мы познакомились, рассказывая о братьях Орловых, в самом начале их бурной и скандальной карьеры.

Получив хорошее домашнее образование, молодой Шванвич в 1770-1771 годах с Ингерманландским карабинерным полком участвовал в войне с турками, отличился под Нагоештами, после чего попал в ординарцы к генералу Григорию Александровичу Потёмкину — будущему фавориту Екатерины II, светлейшему князю и генерал-фельдмаршалу.

В сентябре 1773 года Шванвича с ротой гренадер отправили в Симбирск для приёма и отвода рекрутов. Но на пути в Симбирск, когда рота была в Муроме, её командир поручик Карташов получил приказ «с крайним поспешанием идти в Казань». Затем маршрут следования изменили ещё раз, приказав двигаться к Оренбургу — центру пугачёвского бунта.

В сентябре пугачёвцы взяли полдюжины небольших крепостей, а в начале октября блокировали Оренбург. На помощь осаждённым вышел карательный отряд генерала Кара в 3500 человек при десяти пушках, но в трёхдневном бою 7-9 ноября под деревней Юзеево был разбит восставшими. В этом районе оказалась и рота поручика Карташова.

Рота сдалась без боя. Карташова и ещё одного офицера пугачёвцы казнили тут же, а сдавшихся на их милость поручика Волженского и подпоручика Шванвича доставили вместе со всеми солдатами в село Берду, где сам Пугачёв, узнав, что и Волженский, и Шванвич любимы солдатами, велел первому из них быть атаманом, а второму — есаулом и «быть над гренадерами, так как и прежде, командирами».

Пугачёв побеседовал со Шванвичем и, выяснив, что тот знает немецкий и французский языки, приказал новоиспечённому есаулу заведовать в его канцелярии иностранной перепиской.

Шванвич участвовал в бунте почти до самого конца. Вместе с Пугачёвым он принимал участие в полугодовой осаде Оренбурга, под стенами которого сосредоточилось до 25 тысяч мятежников при 86 пушках. А вокруг Оренбурга — в Казанской губернии, в Западной Сибири, Западном Казахстане и в Башкирии действовали крупные отряды сторонников Пугачёва.

В декабре 1773 года на подавление восстания был двинут отряд генерал-аншефа Александра Ивановича Бибикова, назначенного главнокомандующим по борьбе с мятежом. Отряд был численностью в 6500 солдат и офицеров при 30 орудиях. Бибиков разбил отряды повстанцев под Самарой, Кунгуром, Бузулуком и двинулся к Оренбургу.

В это трудное для Пугачёва время Шванвич, в противоположность другим офицерам-дворянам, оказавшимся в

рядах повстанцев, сохранил верность самозванцу.

В феврале 1774 года Шванвич из есаулов был произведён в атаманы и командиры солдатского полка вместо Волженского, казнённого пугачёвцами за подготовку «изменнического действа»: Волженский и ещё один бывший офицер, Остренев, решили заклепать пушки бунтовщиков и тем самым вывести их из строя. Их разоблачили и приговорили к повешению. После казни Волженского и Остренева Шванвич командовал всеми солдатами, согласившимися служить Пугачёву и, таким образом, оказался в одном ряду с другими пугачёвскими атаманами и полковниками. Закончил же он свою карьеру в армии Пугачёва секретарём Военной Коллегии — высшем органе руководства повстанческим войском. В марте 1774 года отряды Пугачёва были разбиты под крепостью Татищевой и, узнав об этом, Шванвич бежал в Оренбург и сдался на милость губернатора Рейнсдорпа.

По иронии судьбы, Рейнсдорп учился в Академической гимназии у деда Шванвича и был хорошо им аттестован. Рейнсдорп, не вдаваясь в подробности о службе Шванвича у Пугачёва, снова привёл его к присяге и отправил служить в отряд князя Николая Михайловича Голицына. Однако князь, выяснив обстоятельства, велел посадить Шванвича в тюрьму. 17 мая на допросе в Оренбурге Шванвич заявил, что служил Пугачёву «из страху, боясь смерти, а уйти не посмел, ибо, если бы поймали, то повесили».

...Пугачёвские войска были разгромлены летом 1774 года, когда против повстанцев было послано двадцать пехотных и кавалерийских полков, казачьи части и отряды добровольцев-дворян. Общее руководство войсками осуществлял генерал-аншеф, граф Пётр Иванович Панин, один из лучших полководцев российской армии. А 2 сентября в Царицын в расположение Панина прибыл генерал-поручик Александр Васильевич Суворов. С этого времени разгром пугачёвского восстания вступил в свою последнюю стадию.

Пугачёв был захвачен группой своих приближённых, недавних соратников и единомышленников, и 15 сентября доставлен в Яицкий городок. Суворов приложил невероятные усилия, чтобы заполучить «злодея Емельку» в свои руки и лично сопровождал его, посаженного в железную клетку, в Симбирск, а потом и в Москву для допросов и следствия.

Екатерина строжайше запретила применять при допросах Пугачёва и его сподвижников пытки, что и было исполнено.

Тем не менее Пугачёв и пятеро его ближайших сообщников 10 января 1775 года были казнены на Болотной площади в Москве, а остальные подверглись жестоким телесным наказаниям

и ссылке в тюрьмы и на каторгу.

Царь без титула и короны

А как складывалась жизнь Екатерины Второй и её семьи с той поры, когда в Петербург пришли тревожные слухи о «мужицком возмущении и казацком воровстве»?

В конце ноября 1773 года в Царском Селе праздновалось тезоименитство (день Ангела, именины) Екатерины. Продолжавшаяся война с Турцией и начавшаяся пугачёвщина требовали обратить особое внимание на армию и флот, и потому множество офицеров и генералов получили производство в очередные чины, были награждены поместьями, деньгами и орденами. Однако, сколь ни были приятно волнительны все эти награждения и перемещения, не они оказались в центре внимания и пересудов гостей императрицы. Первое место, безусловно, заняла новость об отставке Васильчикова и появлении на его месте тридцатичетырёхлетнего кавалерийского генерал-поручика Григория Александровича Потёмкина.

Старые придворные и генералы делились воспоминаниями об отце Потёмкина, о его дядьках и со стороны отца и со стороны матери, а люди из учёного сословия припоминали, что, как будто в Московском университете или же гимназии при нём когда-то видели они и самого Григория Александровича. Постепенно картина его жизни прояснилась.

Григорий Александрович Потёмкин родился 13 сентября 1739 года в селе Чижове, близ Смоленска.

Отец его — отставной шестидесятипятилетний подполковник Александр Васильевич Потёмкин, первым браком женат был на своей сверстнице. Однажды поехал он из Смоленской губернии в Тульскую, в Алексинский уезд, сельцо Маншино, и там увидел бездетную красавицу-вдову Дарью Васильевну Скуратову, старше которой был он на тридцать лет. Утаив, что женат, объявив себя вдовцом, Потёмкин повенчался с Дарьей Васильевной и остался жить в Маншино. Вскоре молодая жена оказалась в положении и вдруг узнала, что её муж двоеженец. Дарья Васильевна добилась того, что Потёмкин увёз её в своё смоленское имение и познакомил с законной женой. Та, будучи женщиной доброй, милосердной, довольно старой и к тому же за долгие годы изрядно намучившейся со своим мужем, по собственной воле ушла в монастырь и тем самым утвердила брак Дарьи Васильевны с Потёмкиным.

Этот брак, весьма поздний для Александра Васильевича Потёмкина, оказался чрезвычайно плодоносным: у него и Дарьи

Васильевны кроме сына Григория появилось ещё и пять дочерей — Мария, Пелагея, Марфа, Дарья и Надежда.

Дарья Васильевна была прекрасна собой и умна и передала эти качества сыну. Однако Григорий, став взрослым, поссорился с матерью из-за того, что Дарья Васильевна осуждала его разврат с собственными племянницами — всеми, как на подбор, писаными красавицами, — которых у него было пять. Дело дошло до того, что он перестал переписываться с матерью, а получая от неё письма, бросал их в огонь, не распечатав. Но это будет гораздо позже, а в детстве был он добр, весел, красив и необычайно легко схватывал всё, о чём ему говорили. Александр Васильевич Потёмкин умер в 1746 году, когда Грише исполнилось семь лет. Дарья Васильевна, ещё раз овдовев, забрала с собою пятерых дочерей и переехала в Москву, где уже два года её Гриша жил в доме своего двоюродного дяди Кисловского.

Гришу отдали сначала в немецкую школу Литке, а потом, с открытием Университетской гимназии, перевели туда. В 1757 году Потёмкин оказался среди двенадцати лучших учеников, посланных в Петербург, где все они были представлены императрице Елизавете Петровне.

Двор, его роскошь, совсем иные, чем в Москве, нравы разбудили в душе молодого человека то, что уже давно там дремало: честолюбие, стремление к богатству, почестям и славе. Вернувшись в Москву, Потёмкин стал другим: он начал говорить товарищам, что ему всё равно, где и как служить, лишь бы только стать первым, а будет ли он генералом или архиереем — значения не имеет.

По-видимому, уже в Петербурге Потёмкин решил серьёзно переменить ход своей жизни. Следует заметить, что в мае 1755 года он был записан в Конную гвардию и с этого времени считался в домашнем отпуске для пополнения знаний.

Возвратившись в Москву, Григорий захандрил, перестал ходить в гимназию и через три года был исключён «за леность и нехождение в классы» одновременно со своим однокашником и приятелем Николаем Новиковым — будущим великим русским просветителем.

К этому времени в Конногвардейском полку, дислоцированном в Петербурге, он был уже произведён в каптенармусы, а когда приехал туда, оставив Москву, то тут же получил чин вице-вахмистра и назначение в ординарцы к дяде цесаревича Петра Фёдоровича — принцу Георгу Голштинскому. Не прошло и года, как Потёмкин стал вахмистром. Первые два года его жизни в Петербурге мало известны. Настоящая карьера Потёмкина начинается с лета 1762 года — со времени его участия

в дворцовом перевороте, о чём уже говорилось в этой книге.

Среди тридцати шести наиболее активных сторонников переворота, награждённых Екатериной, Потёмкин значится последним, хотя он получил 10 тысяч рублей, 400 душ крестьян, чин поручика, серебряный сервиз и придворное звание камер-юнкера. По большому счёту, участие в перевороте на первых порах мало что дало молодому офицеру. В связи с восшествием на престол Екатерины II был он послан в Стокгольм с заданием передать письмо об этом шведскому королю Густаву III. Отношения между Россией и Швецией были в это время довольно натянутыми, и это обстоятельство делало миссию Потёмкина не очень простой.

Когда Потёмкин прибыл в королевский Дроттигемский дворец, его повели через анфиладу зал. В одной из них шведский вельможа, сопровождавший Григория Александровича, обратил его внимание на развешанные на стенах русские знамёна. «Посмотрите, сколько знаков славы и чести наши предки отняли у ваших», — сказал швед. «А наши предки отняли у ваших, — ответил Потёмкин, — ещё больше городов, коими владеют и поныне».

Кажется, этот ответ, ставший почти сразу же известным и в Петербурге, был наибольшей удачей в служебной деятельности Потёмкина в это время, потому что по возвращении в Петербург дела Григория Александровича пошли из рук вон плохо. Екатерина, остро нуждавшаяся в молодых, энергичных и образованных помощниках, направила несколько десятков офицеров в гражданскую администрацию, сохраняя за ними их военные чины и оклады. Среди этих офицеров оказался и Потёмкин, ставший обер-секретарем Святейшего Синода. Казалось, что Фортуна сама предложила выбор Григорию Александровичу: генерал или архиерей? — потому что, пожелай он принять сан, едва ли ему отказали в этом.

И Потёмкин, часто принимавший решения по настроению, капризу или прихоти, едва не стал монахом. Однажды, пребывая в сугубой меланхолии, он решил постричься. К тому же произошла у него немалая неприятность — заболел левый глаз, а лекарь оказался негодным — был он простым фельдшером, обслуживавшим Академию художеств, и приложил больному такую примочку, что молодой красавец окривел.

Это несчастье вконец сокрушило Потёмкина, и он ушёл в Александро-Невский монастырь, надел рясу, отпустил бороду и стал готовиться к пострижению. Об этом узнала Екатерина и пожаловала в монастырь. Говорили, что она, встретившись с Потёмкиным, сказала: «Тебе, Григорий, не архиереем быть. Их у

меня довольно, а ты у меня один таков, и ждёт тебя иная стезя».

Потёмкин сбрил бороду, снял рясу, снова надел офицерский мундир и, отбросив меланхолию, появился, как ни в чём не бывало, во дворце. В 1768 году он пожалован в камергеры, но с самого начала войны с Турцией ушёл волонтёром в армию Румянцева и пять лет был почти беспрерывно в боях. Он стал признанным кавалерийским военачальником, участвуя в сражениях при Хотине, Фокшанах, Браилове, под Журжой, при Рябой Могиле, Ларге и Кагуле, в других походах и кампаниях. Он получил ордена Анны и Георгия 3-го класса и тридцати трёх лет стал генерал» поручиком.

В январе 1774 года Екатерина вызвала его в Петербург, а в феврале он получил чин генерал-адъютанта. Последнее обстоятельство было более чем красноречивым: это означало, что в «случай» пришёл новый фаворит и, значит, песенка и Орлова и Васильчикова — спета. Во дворце появился сильный, дерзкий, могучий и телом и душой, умный и волевой царедворец, генерал и администратор, который сразу же вошёл во все важнейшие государственные дела, необычайно быстро продвигаясь по служебной лестнице.

Не успел Потёмкин стать генерал-адьютантом, как тут же был пожалован подполковником Преображенского полка, а следует заметить, что, как правило, в этом звании оказывались фельдмаршалы, ибо традиционно его полковником был сам царь или царица. Что мог противопоставить «Великому Циклопу», как тут же стали называть при дворе одноглазого Потёмкина, кроткий и застенчивый Васильчиков?

Уже известный нам Гельбиг писал: «Воспитание и добрая воля лишь в слабой степени и на короткое время возмещают недостаток природных талантов. С трудом удержал Васильчиков милость императрицы не полные два года...

Когда Васильчиков был в последний раз у императрицы, он вовсе не мог даже предчувствовать того, что ожидало его через несколько минут. Екатерина расточала ему самые льстивые доказательства милости, не давая решительно ничего заметить. Едва только простодушный избранник возвратился в свои комнаты, как получил высочайшее повеление отправиться в Москву. Он повиновался без малейшего противоречия... Если бы Васильчиков, при его красивой наружности, обладал большим умом и смелостью, то Потёмкин не занял бы его место так легко. Между тем Васильчиков прославился именно тем, что ни один из любимцев Екатерины не мог у него оспорить — он был самый бескорыстный, самый любезный и самый скромный. Он многим помогал и никому не вредил. Он мало заботился о личной выгоде

и в день отъезда в Москву был в том же чине, какой императрица пожаловала ему в первый день своей милости. Васильчиков получил за время менее двух лет, что он состоял в любимцах, деньгами и подарками 100 тысяч рублей, 7 тысяч крестьян, приносивших 35 тысяч рублей ежегодного дохода, на 60 тысяч рублей бриллиантов, серебряный сервиз в 50 тысяч рублей, пожизненную пенсию в двадцать тысяч и великолепный, роскошно меблированный дом в Петербурге, который императрица потом купила у Васильчикова за 100 тысяч рублей и подарила в 1778 году другому фавориту — Ивану Николаевичу Римскому-Корсакову. Вскоре по удалении от двора Васильчиков женился и был очень счастлив».

Придворные недоумевали, почему столь быстро и столь внезапно произошла такая странная и неожиданная перемена?

Дело было не только в любовном влечении, Екатерина угадала в Потёмкине человека, на которого можно положиться в любом трудном и опасном деле, когда потребуется твёрдая воля, неукротимая энергия и абсолютная преданность делу.

Отставка Васильчикова лишь неосведомлённым в любовных и государственных делах Екатерины могла показаться внезапной. На самом же деле Екатерина почти с самого начала этой связи тяготилась ею, о чём чистосердечно призналась новому предмету своей страсти, тогда ещё потенциальному фавориту Григорию Александровичу Потёмкину.

В письме к нему она откровенно исповедалась в своих прежних прегрешениях, открывшись, что мужа своего она не любила, а Сергея Васильевича Салтыкова приняла по необходимости продолжить династию, на чём настояла Елизавета Петровна. Совсем по-иному обстояло дело с Понятовским. «Сей был любезен и любим, — писала Екатерина, — от 1755 до 1761 года по тригодишной отлучке, то есть от 1758 и старательства князя Гр. Гр. (то есть Орлова), которого паки добрые люди заставили приметить, переменили образ мысли».

Далее Екатерина призналась, что она любила Орлова и что не её вина в том, что между ними произошёл разрыв. «Сей бы век остался, есть ли б сам не скучал, я сие узнала... и, узнав уже доверки иметь не могу, мысль, которая жестоко меня мучила и заставила сделать из дешперации (то есть от отчаяния) выбор коя какой...»

Вот этот-то сделанный ею «выбор коя какой» — не более того — и оказался Васильчиковым.

Во время пребывания Васильчикова в фаворе, писала Екатерина, «и даже до нынешнего месяца я более грустила нежели сказать могу, и никогда более как тогда, когда другие

люди бывают довольные и всякие приласканья во мне слёзы принуждала, так что я думаю, что от рождения своего я столько не плакала, как сии полтора года; сначала я думала, что привыкну, но что далее, то — хуже, ибо с другой стороны (то есть со стороны Васильчикова) месяцы по три дуться стали и признаться надобно, что никогда довольнее не была как когда осердится и в покое оставит, а ласка его мне плакать принуждала».

И, наконец, пришло избавление от капризного, обидчивого и давно уже немилого Васильчикова. Потом приехал некто Богатырь (то есть Григорий Александрович Потёмкин, ибо, обращаясь к нему в этом письме Екатерина написала: «господин Богатырь»). «Сей Богатырь по заслугам своим и по всегдашней ласке прелестен был так, что услыша о его приезде, уже говорить стали, что ему тут поселиться, а того не знали, что мы письмецом сюда призвали неприметно его, однако же с таким внутренним намерением, чтоб не вовсе слепо по приезде его поступать, но разбирать, если в нём склонность, о которой мне Брюсша сказывала, что давно многие подозревали, то есть та, которую я желаю, чтобы он имел».

И в заключение этого чистосердечного признания Екатерина писала: «Ну, Господин Богатырь, после сей исповеди могу ли я надеяться получить отпущение грехов своих; изволь видеть, что не пятнадцать (при дворе, перечисляя любовников императрицы, «знающие» люди чаще всего говорили о пятнадцати её бывших талантах), но третья доля из них.

Первого — поневоле (то есть Салтыкова) да четвёртого (то есть Васильчикова) из дешперации, я думала на счёт легкомыслия поставить никак не можно, о трёх прочих, если точно разберёшь, Бог видит, что не от распутства, к которому никакой склонности не имею, и если бы я в участь получила смолоду мужа, которого бы любить могла, я бы вечно к нему не переменилась; беда та, что сердце моё не хочет быть ни на час охотно без любви. Сказывают такие пороки людские покрыть стараются, будто сие происходит от добросердечия, но статься может, что подобная диспозиция сердца более есть порок, нежели добродетель, но напрасно я к тебе сие пишу, ибо после того возлюбишь или не захочешь в армию ехать, боясь, чтобы я тебя позабыла, но право не думаю, чтоб такую глупость сделала, а если хочешь на век меня к себе привязать, то покажи мне столько ж дружбы, как и любви, а наипаче люби и говори правду».

Вместе с тем Екатерина в другом письме предостерегала Потёмкина от недоброжелательства к братьям Орловым, которых она искренне почитала своими друзьями и всегдашними

сторонниками: «Только одно прошу не делать — не вредить и не стараться вредить князю Орлову в моих мыслях, ибо сие почту за неблагодарность с твоей стороны: нет человека, которого он более мне хвалил, и более любил, и в прежнее время, и ныне до самого приезда твоего, как тебя. А если он свои пороки имеет, то не тебе, не мне их расценить и расславить. Он тебя любит, и мне они друзья, и я с ними не расстанусь. Вот тебе — нравоученье — умён будешь — примешь. Не умно же будет противоречить сему, для того, что сущая правда».

Потёмкин отлично всё понял и в считанные месяцы сделал головокружительную карьеру.

10 июля 1774 года в связи с заключением очень выгодного для России Кючук-Кайнарджийского мира «за споспешествование к оному добрыми советами» Потёмкин был возведён в графское достоинство, в октябре пожалован чином генерал-аншефа, а в ноябре стал кавалером ордена Андрея Первозванного. В эти же месяцы он получил «За храбрость и неутомимые труды» шпагу, усыпанную алмазами, а «в знак Монаршего благоволения» ещё и украшенный бриллиантами портрет Екатерины для ношения на груди.

С мая 1774 года Потёмкин был введён в члены Совета и оставался в его составе до смерти. Но не административные успехи и не придворная карьера определяли его положение при дворе. В 1774 году он был в глазах Екатерины «незакатным Солнцем», превратив её в счастливую, любимую и любящую женщину, совершенно потерявшую из-за него голову.

Выдающийся русский историк Натан Яковлевич Эйдельман, опубликовавший 419 записок и писем Екатерины к Потёмкину, отметил, что она так называла своего фаворита: «Милёнкой», «Душинка», «Голубчик», «Сердце моё», «Красавиц мой», «Сударушка милая», «Высокоогневой и превосходительной...», «Милуша», «Гришенок», «Батя», «Батинка», «Сударка», «Душа милая», «Милой дружочик», «Князюшка», «Гришатка», «Миленькая милюшинка», «Князинка батюшка», «Яур, москов, казак, волк, птица», «Душа моя, душа моя», «Душенок мой», «Друг милой и бесценный», «Мой дорогой друг и супруг», «Мамурка», «Генерал», «Шалун», «Мшиоша милая Гришифишичка», «Милая милуша, дарагия сладкия губки, жизнь, радость, веселье, сударушка, голубушка, мой золотой фазан», «Мой дорогой и горячо любимый друг», «Душа моя милая, безценная и безпримерная», и даже «Мама».

Особняком стоят многочисленные обращения, в которых Потёмкин назван Екатериной «мужем» и «супругом».

Один из лучших знатоков этого периода историк Барсков

считал, что письма, а также рассказы осведомлённых современников «дают повод решительно утверждать, что Потёмкин был обвенчан с Екатериной. Уже один слух о том, что они были обвенчаны, создавал для Потёмкина исключительное положение, особенно в первое время его «случая», в нём действительно видели «владыку», как называет его в письмах сама Екатерина, и оказывали царские почести при его поездках в подчинённые ему области или на театр военных действий. Как ни велико расстояние от брачного венца до царской короны, но по тем временам так же велико было расстояние, отделявшее случайного любовника царицы от её мужа, которого она явно считала первым лицом в государстве после себя. Всем дальнейшим фаворитам она ставила в обязанность «поклоны» Потёмкину в письмах и, по её собственному примеру, почтительное с ним обращение при дворе. Это был царь, только без титула и короны».

О браке Екатерины с Потёмкиным существует по меньшей мере три рассказа. Племянница и любовница Потёмкина графиня Александра Васильевна Браницкая, урождённая Энгельгардт, передала князю Михаилу Семёновичу Воронцову, что запись об этом браке хранилась в особой шкатулке, которую затем вместе с документом бросил в море по пути из Одессы в Крым граф Александр Григорьевич Строганов, получивший строгий наказ сделать это от своей матери — урождённой графини Браницкой.

По словам князя Голицына, Екатерина и Потёмкин венчались у Самсония, что на Выборгской стороне, поздно вечером. Её духовник был уже там в готовности, а сопровождала императрицу одна лишь камер-фрау Перекусихина. Венцы держали граф Самойлов — племянник Потёмкина и Чертков.

Наконец, внук Екатерины и Орлова, граф Бобринской, говорил, что брачная запись положена была в гроб его деда графа Самойлова, а вторая брачная запись, полученная Перекусихиной, должна была храниться у князя Волконского и у Чертковых. По слухам, венчание происходило осенью 1774 или в середине января 1775 года перед отъездом двора в Москву. Лето 1775 года новобрачные проводили в Коломенском и в Царицыно. Казалось, что их отношения безоблачны, как их счастье, и прочны, как их любовь, но время показало, что это совсем не так.

Летом 1775 года, когда недавно обвенчавшиеся Екатерина и Потёмкин находились в Москве, в их распоряжение был передан дом князей Голицыных, что у Пречистенских ворот. С начала июля Москва жила ожиданием приезда победителя турок графа и фельдмаршала Петра Александровича Румянцева. Однако

Румянцев от триумфального въезда в город отказался и приехал к императрице к вечеру 8 июля в придворной карете, но без эскорта и без сопровождения, имея возле себя одного лишь дежурного офицера — тридцатисемилетнего полковника Петра Васильевича Завадовского, которого он взял с собою для ведения записей.

Екатерина встретила Румянцева на крыльце голицынского дома и, обняв, расцеловала его. В эти же минуты она заметила и Завадовского, могучего, статного, очень красивого мужчину, который стоял, окаменев, ибо был поражён сердечностью встречи и простотой государыни, одетой в русский сарафан, очень ей шедший.

Заметив ласковый и заинтересованный взгляд императрицы, брошенный ею на Завадовского, фельдмаршал тут же представил красавца Екатерине, лестно о нём отозвавшись, как о человеке прекрасно образованном, трудолюбивом, честном и храбром.

Екатерина мгновенно пожаловала новому знакомцу бриллиантовый перстень с выгравированным по золоту собственным её именем и тут же назначила его своим кабинет-секретарём, в обязанности которого прежде всего входили ежедневные доклады.

10 июля начались необычайно пышные празднества по случаю первой годовщины заключения Кючук-Кайнарджийского мира с Турцией, мало чем уступавшие коронационным торжествам: так же звенели колокола и гремели пушки, рекой лилось вино и ломились от яств столы, но в парадном шествии в Кремле Румянцев шёл первым, а Екатерина и Павел с Натальей Алексеевной шли следом за ним — главным героем нынешних торжеств.

Румянцеву к его титулу было добавлено прозвище Задунайский, поднесены осыпанные алмазами фельдмаршальский жезл и шпага, крест и звезда ордена Андрея Первозванного, золотая медаль с его изображением и золотой лавровый венок. Были подарены пять тысяч душ, сто тысяч рублей, серебряный сервиз и картины для убранства дома. Царские почести были оказаны и матери фельдмаршала семидесятисемилетней графине Марии Андреевне Румянцевой, в девичестве графине Матвеевой — героине петровского и екатерининского царствований. Она была посажена за стол с их Императорскими Высочествами, а сам фельдмаршал сидел за столом Екатерины. Старые придворные помнили историю двадцатилетней Матвеевой с Петром Великим, и в этом приёме находили подтверждение тому, что Пётр Румянцев — сын первого российского императора.

Дождь наград пролился на многих сподвижников победителя.

Не был обойдён и Завадовский, получивший сразу два чина — генерал-майора и генерал-адьютанта.

Екатерина пробыла в Москве до 7 декабря 1775 года, часто встречаясь с Румянцевым и ежедневно общаясь со своим новым кабинет-секретарём, который ведал её личной канцелярией, доходами и расходами и в силу этого становился одним из самых приближённых к императрице людей, посвящённых во многие её дела и секреты.

По возвращении из Москвы в Петербург Завадовский стал не менее влиятельным царедворцем, чем Потёмкин. Сановники высших классов стали искать у него протекции, набивались в друзья, демонстрируя Завадовскому нерасположение к их вчерашнему кумиру — Потёмкину.

Потёмкину же осталась роль обиженного и незаслуженно отвергнутого её искреннего друга и почитателя, и в апреле 1776 года он попросился ехать в Новгородскую губернию для инспектирования войск. А поскольку он был вице-президентом Военной коллегии, такая просьба был небезосновательной. И всё же Потёмкин, вероятно, надеялся, что получит отказ. Однако последовало немедленное согласие, и Потёмкину, гордому, независимому и самолюбивому, не оставалось ничего другого, как столь же немедленно уехать.

Не успел он скрыться из глаз, как Завадовский переехал во дворец, а вскоре и занял потёмкинские апартаменты.

Кончина и свадьбы

Как раз в апреле 1776 года в царской семье произошло важное событие — великая княгиня Наталья Алексеевна должна была рожать первенца. Роды оказались не просто тяжёлыми, но более чем драматичными: после пятидневных беспрерывных мучений, 15 апреля, двадцатилетняя женщина скончалась. Погиб и ребёнок.

Екатерина почти всё время была при невестке, хотя давно уже резко переменила о ней мнение, считая её женщиной неприятной, неблагоразумной, расточительной и безалаберной. К тому же императрица знала о любовной связи невестки с Андреем Разумовским, которому Павел — по доверчивости и душевной простоте — разрешил поселиться в одном дворце с ним и Натальей Алексеевной.

Екатерина уведомила об этом и Павла, но Наталья Алексеевна сумела уверить мужа, что свекровь ненавидит её и распускает намеренно ложные слухи только для того, чтобы их поссорить.

А вот что писал об этом любовном треугольнике уже знакомый нам Тургенев: «Кто знал, то есть видал хотя издалека блаженной и вечно незабвенной памяти императора Павла, для того весьма будет понятно и вероятно, что дармштадтская принцесса не могла без отвращения смотреть на укоризненное лицеобразие его императорского высочества, вседражайшего супруга своего! Ни описать, ни изобразить уродливости Павла невозможно! Каково же было положение Великой княгини в минуты, когда он, пользуясь правом супруга, в восторге блаженства сладострастия обмирал!

Наталья Алексеевна была хитрая, тонкого, проницательного ума, вспыльчивого, настойчивого нрава женщина. Великая княгиня умела обманывать супруга и царедворцев, которые в хитростях и кознях бесу не уступят; но Екатерина скоро проникла в хитрость и не ошиблась в догадках своих!».

В заграничных журналах появились сообщения, что Наталья Алексеевна была неправильно сложена и из-за этого не смогла благополучно разрешиться от бремени.

Однако против такого утверждения решительно выступил русский посланник при Германском сейме барон Ассебург. За три года до того он вёл переговоры о браке Павла и Натальи Алексеевны и прежде чем состоялась помолвка, собрал подробные, хорошо проверенные сведения о состоянии здоровья

невесты. Все врачи и придворные герцога Дармштадтского уверили барона в прекрасном здоровье Наталии Алексеевны. А то, что она была хорошо сложена, не требовало никаких доказательств — довольно было только хотя бы раз взглянуть на неё.

Не только среди досужих журналистов распространялись различные домыслы по поводу неудачных родов и смерти невестки Екатерины. Дипломаты и государственные деятели тоже толковали о случившемся. Злые языки говорили, что её смерть была подстроена, чтобы избавиться от опасной претендентки на русский трон.

Великая княгиня, как утверждали её недоброхоты, не только вступила в любовную переписку и связь с графом Андреем Кирилловичем Разумовским, но даже задумывала совершить вместе с ним государственный переворот. Князь Вальдек — канцлер Австрийской империи — хорошо осведомлённый в династийных немецких делах, говорил родственнику Екатерины принцу Ангальт-Бернбургскому: «Если эта (то есть Наталья Алексеевна) не устроила переворота, то никто его не сделает».

Английский посланник Джемс Гаррис писал о Наталье Алексеевне канцлеру Англии графу Суффолку, что вскоре после брака цесаревича с принцессой Гессен-Дармштадтской она легко нашла секрет управлять им, а сама, в свою очередь, находилась под влиянием своего любовника Андрея Разумовского. «Эта молодая принцесса, — писал Гаррис, — была горда и решительна, и если бы смерть не остановила её, в течение её жизни наверное возникла бы борьба между свекровью и невесткой».

Екатерина, как только Наталья Алексеевна скончалась, немедленно обыскала её кабинет, нашла там письма Разумовского и забрала их себе.

Павел очень любил жену и бесконечно страдал из-за её смерти, едва не лишившись рассудка.

То ли для того, чтобы положить конец его переживаниям, то ли по иной причине, Екатерина велела прислать безутешному сыну связку писем, найденную в тайном ящике письменного стола покойной. Прочитав письма, Павел совершенно ясно осознал, что между Разумовским и Натальей Алексеевной существовала прочная любовная связь и что отцом ребёнка, из-за которого она умерла, вполне мог быть не он, а Разумовский.

Утверждают, что именно с этого момента Павел пришёл в то состояние душевного расстройства, которое сопутствовало ему всю жизнь. Пережив невероятное душевное потрясение, Павел на второй день после смерти Натальи Алексеевны принял решение жениться на Вюртембергской принцессе Софии-Доротее, а ещё

через два дня фельдмаршалу Румянцеву был отправлен рескрипт императрицы, содержавший приказ немедленно приехать из Глухова в Петербург, так как ему надлежит стать участником в «верном, нужном и приятном деле, о коем инако не желает объявить ему, как при свидании с ним».

Завадовский приложил к рескрипту записку, в которой, не раскрывая сути дела, писал: «Храни Бог от поездки отговариваться. Весьма неугодно будет Государыне и Великому Князю».

Больной Румянцев, кряхтя и стеная, собрался в дорогу и направился в Петербург. Там он узнал, что ему вместе с Павлом предстоит поездка в Берлин, где их будет ждать невеста цесаревича. Павел, Румянцев, брат Фридриха II принц Генрих и сопровождавшие их царедворцы уехали в Берлин.

Место свидания было выбрано не случайно: Берлин с давних пор был для Павла городом мечты, ибо там жил его кумир — Фридрих Великий, который к тому же становился его родственником, так как будущая тёща Павла доводилась прусскому королю племянницей, а невеста — внучатой племянницей.

Павел и его свита двигались через Ригу и Кёнигсберг и 10 июля торжественно въехали в Берлин. При встрече с Фридрихом Павел произнёс торжественную речь, сказав, что он удостоился «видеть величайшего героя, удивление нашего века и удивление потомства».

Встретившись в тот же день с невестой, Павел так описал своё первое впечатление в письме к Екатерине: «Я нашёл невесту свою такову, какову только желать мысленно себе мог: недурна собою, велика, стройна, незастенчива, отвечает умно и расторопно, и уже известен я, что ли она сделала действо в сердце моём, то не без чувства и она с своей стороны осталась... Дайте мне благословение своё и будьте уверены, что все поступки жизни моей обращены заслужить милость вашу ко мне».

Вюртембергская принцесса София-Доротея-Августа-Луиза — таково было полное имя Марии Фёдоровны до крещения по православному обряду — была знатна, но очень бедна и, в частности и от этого, получила поверхностное домашнее образование, «женское» в самом уничижительном смысле этого слова.

В одной из её ученических тетрадей сохранилось переписанное ею французское стихотворение «философия женщин», являющееся своеобразным кредо будущей российской императрицы: «Нехорошо, по многим причинам, чтобы женщина приобрела слишком обширные познания. Воспитывать в добрых

нравах детей, вести хозяйство, иметь наблюдение за прислугой, блюсти в расходах бережливость — вот в чём должно состоять её учение и философия». Этот принцип Мария Фёдоровна исповедовала всю свою жизнь.

Екатерина была довольна итогом поездки сына в Берлин, в частности и потому, что он сумел, как она думала, расположить к себе Фридриха Великого. Однако «Старый Фриц», как звали короля его подданные, разглядел в молодом человеке то, чего не видел в нём никто: написав Екатерине восторженное письмо о новом родственнике, Фридрих для себя записал следующее: «Он показался гордым, высокомерным и резким, что заставило... опасаться, чтобы ему не было трудно удержаться на престоле, на котором будучи призван управлять народом грубым и диким, избалованным к тому же мягким управлением нескольких императриц, он может подвергнуться участи, одинаковой с участью его несчастного отца».

Павел уехал из Берлина, переполненный чувствами восхищения перед королём и его армией, которая произвела на цесаревича исключительно сильное впечатление, став вечным образцом для подражания. Оставив Пруссию, Павел до конца своих дней хранил в уме и сердце преклонение перед прусскими государственной и военной системами, пытаясь перенять всё, что можно, для укоренения этих институтов в России. Но так как Россия не могла стать второй Пруссией, то усилия Павла были направлены на то, чтобы придать империи и армии хотя бы внешнее сходство с полюбившейся ему державой.

Павел вернулся в Царское Село 14 августа, а 31 августа туда же приехала и София-Доротея.

Екатерина была совершенно счастлива своей новой невесткой.

К тому же шестнадцатилетняя девушка безоглядно влюбилась в своего суженого. За несколько дней до свадьбы она писала Павлу: «Я не могу лечь, мой дорогой и обожаемый князь, не сказавши вам ещё раз, что я до безумия люблю и обожаю вас... Богу известно, каким счастьем представляется для меня вскоре принадлежать вам; вся моя жизнь будет служить вам доказательством моих нежных чувств; да, дорогой, обожаемый, драгоценнейший князь, вся моя жизнь будет служить лишь для того, чтобы явить вам доказательства той нежной привязанности и любви, которые моё сердце будет питать к вам».

А после того как 15 сентября Петербургский архиепископ Платон, перед тем преподававший Софии-Доротее православный закон, обручил её с цесаревичем, назвав впервые новым именем и титулом: «Великая княжна Мария Фёдоровна», благодарная

невеста прислала жениху по своему собственному почину такую записку: «Клянусь этой бумагой всю жизнь любить и обожать вас и постоянно быть нежно привязанной к вам; ничто в мире не заставит меня измениться по отношению к вам. Таковы чувства вашего на веки нежного и вернейшего друга и невесты». И впервые в жизни подписалась: «Мария Фёдоровна».

26 сентября 1776 года состоялось венчание и свадьба Павла и Марии Фёдоровны.

Цесаревич был счастлив не менее жены и в день свадьбы отправил ей такую записочку: «Всякое проявление твоей дружбы, мой милый друг, крайне драгоценно для меня, и клянусь тебе, что с каждым днём всё более люблю тебя. Да благословит Бог наш союз, так же, как Он создал его. П.»

...И Бог благословил этот союз: уже в апреле 1777 года Мария Фёдоровна сообщила мужу, что она ждёт ребёнка.

Её первенцем, которого великая княгиня ожидала в конце года, стал будущий император Александр I.

В то время как покинувший Петербург Потёмкин находился неподалёку от столицы, окончательно потерявший надежду на возвращение в прежнее своё положение Григорий Орлов уезжал то в Гатчину, то в Ревель, то в Москву. Говорили, что он порою ведёт себя странно, обнаруживая явные признаки помешательства, и одним из доказательств этого считали совершенно неожиданную женитьбу на собственной двоюродной сестре девятнадцатилетней Екатерине Николаевне Зиновьевой. Она была дочерью родного брата его матери генерал-майора Николая Ивановича Зиновьева, служившего Санкт-Петербургским обер-комендантом. Зиновьева по справедливости считалась одной из самых красивых женщин России, была добра и нежна и отличалась, кроме того, высочайшей нравственностью. Она обвенчалась со своим сорокатрёхлетним кузеном в июне 1777 года, но так как брак столь близких родственников считался кровосмесительным, то недруги Орлова решили расторгнуть их супружеский союз и выступили в Совете с предложением признать брак недействительным, а их обоих заточить в монастырь. Только Кирилл Разумовский не согласился с этим. «Лежачего не бьют, — сказал он. — Ещё недавно все мы почитали бы за счастье побывать у Орлова на свадьбе, а теперь не стыдно ли нам нападать на него?»

И всё же Совет не внял Разумовскому и постановил: «брак расторгнуть, а виновных постричь в монастырь».

Когда же решение Совета было передано на подпись Екатерине, она сказала: «Рука моя отказывается подписать

подобную бумагу против человека, которому я столь много обязана».

Не остановившись на этом, Екатерина произвела молодую жену Орлова в статс-дамы и прислала ей орден Святой Екатерины. Императрица осыпала княгиню Орлову подарками, среди которых был золотой туалетный столик необычайной работы и баснословной цены.

Видя благоволение Екатерины к молодым, царедворцы прекратили козни, и на некоторое время князь и княгиня Орловы обрели полное счастье.

Вскоре после свадьбы они уехали в Швейцарию.

...Забегая вперёд для того, чтобы закончить сюжетную линию Григория Орлова, поведаем, что, возвратившись на следующий год в Петербург, молодые поселились в том самом «Штегельменовом доме», где почти двадцать лет назад начался роман великой княгини Екатерины с гвардейским капитаном Орловым. Теперь сорокачетырёхлетний Светлейший князь и генерал-аншеф, получивший за годы своего «случая» миллионы рублей и тысячи крепостных, стал жить совсем по-другому: стол его не отличался излишествами, на одежде не было ни золота, ни алмазов и даже выезд не бросался в глаза.

Он жил в тихой радости, оставив двор, немало времени уделяя чтению и заботам о своих многочисленных имениях. Сохранилось несколько писем Орлова в разные губернии, где были у него крепостные, в которых их господин просил губернаторов внимательно и доброжелательно относиться к просьбам его крестьян, если они обратятся в губернское присутствие.

Однако вскоре безоблачному счастью Орлова подошёл конец — Екатерина Николаевна заболела чахоткой, и, чтобы спасти её, нужно было выехать в Европу на лечение.

Орловы объехали лучших врачей Германии, Голландии, Бельгии и в конце концов остановились в Лозанне.

Проезжая через Ганновер, Орлов встретился с талантливым учеником выдающегося врача, естествоиспытателя и поэта Альберта Галлера Иоганном-Георгом Циммерманом. Орлов был очарован познаниями и нравом Циммермана и произвёл такое же впечатление на учёного. Циммерман писал об Орлове Екатерине, с которой переписывался последние семь лет своей жизни: «Не успел я провести с Орловым и четверти часа, как уже сердце моё было ему предано. Его откровенность, дружелюбие, простосердечие, проницательность, сила и кротость заставили меня забыть о существовавшем между нами различии. Я уже был его другом, прежде, чем он оставил Ганновер, а в Эмсе, где

пробыл я у него с утра до вечера четыре недели, он сделался моим. Я видел, как этот великий человек плакал, обнимая меня, когда я сказал ему, что не могу, по его желанию, препроводить с ним жизнь мою».

А плакал Орлов в горестном предчувствии ожидавшего его одиночества. И предчувствие вскоре оправдалось: 16 июня 1782 года Екатерина Николаевна умерла.

Она была похоронена в соборе швейцарского городи Лозанны, а муж её от горя сошёл с ума и умер 13 апрели 1783 года, прожив после того всего десять месяцев.

...Хорошо известны стихи Пушкина о Кутузове:

он был одним из стаи славной
Екатерининских орлов...

Однако мало кто знает, что эти стихи навеяны были Пушкину стариком Державиным, написавшим:

Орёл из стаи той высокой,
Котора в воздухе плыла,
Впреди Минервы светлоокой,
Когда она с Олимпа шла.

Всяк, кто был современником Державина, отлично знал, что Минервой называли Екатерину Великую и столь же несомненно, что плывущим впереди неё орлом был пёр вый из этой стаи — Орлов Григорий Григорьевич.

И снова возвратимся к году 1776-му, когда Потёмкин был отодвинут в сторону Завадовским, но не сдался и стал искать способы и средства вернуть былое расположение Екатерины в полной мере. Прежде всего он решил во что бы то ни стало убрать Завадовского из апартаментов императрицы, даже если в этих комнатах окажется не он сам, а кто угодно другой, но именно им, Потёмкиным, поставленный на освободившееся место.

Таким человеком оказался георгиевский кавалер, герой-кавалерист, тридцатилетний красавец-серб Семён Гаврилович Зорич. Потёмкин взял его к себе в адъютанты и почти сразу же представил к назначению командиром Лейб-гусарского эскадрона

и Лейб-казачьих команд с одновременным производством в подполковники. Так как лейб-гусары и лейб-казаки были личной охраной императрицы, то назначению Зорича на должность их командира должно было предшествовать личное представление Екатерине.

26 мая 1777 года Потёмкин устроил аудиенцию императрицы с потенциальным фаворитом — смуглым, изящным, кареглазым, затянутым в голубой гусарский мундир и сразу же понял, что его выбор сделан верно: Екатерина дала понять это при первом свидании с Зоричем. Ещё более убедился в этом Потёмкин после того, как Завадовскому был предоставлен шестимесячный отпуск, а Зорич, став полковником, флигель-адъютантом и шефом Лейб-гусарского эскадрона, поселился в апартаментах фаворитов, пройдя предварительную апробацию у доктора Роджерсона, графини Брюс и двух других пробир-фрейлин (далее, по мере появления новых фаворитов, мы не станем повторяться, ибо каждый из них проходил через те же самые ворота).

Четыре месяца спустя, в сентябре 1777 года, Зорич был уже генерал-майором и кавалером четырёх иностранных орденов. Он стал и обладателем нескольких богатых поместий и большого местечка в Могилёвской губернии Шилова, купленного ему Екатериной за 450 тысяч рублей у князя Чарторижского.

Эти поместья и Шклов перешли к России в результате первого раздела Речи Посполитой, совершённого русскими, пруссаками и австрийцами в 1772 году.

Зорич стал одним из богатейших вельмож и землевладельцев, однако ни земли, ни чины, ни ордена, ни богатства не могли дать ему того, чего недоставало этому фавориту, — ума. Ибо только недостатком ума можно объяснить то, что красавец-гусар сделал попытку свалить своего патрона и благодетеля — Потёмкина. Но, как говорится, не по себе выбрал древо, и его интрига, как мы узнаем позже, закончилась для него конфузней.

Внуки подрастают

Чуть раньше мы уже говорили, что Бог благословил союз молодых супругов, вскоре даровав ребёнка. Это случилось 12 декабря 1777 года. Первенца назвали Александром, и такое имя выбрала новорождённому его бабка — Екатерина. В письме к барону Гримму она сообщала, что мальчик назван так в честь святого Александра Невского и добавляла: «Хочу думать, что имя предмета имеет влияние на предмет, а наше имя знаменито».

Дача, построенная для мальчика на берегу Невы, называлась Пеллой так же, как город, где родился Александр Македонский. И в другом письме к Гримму Екатерина уже признавала, что, возможно, её внук будет подобен Александру Македонскому. «Итак, — писала Екатерина, — моему Александру не придётся выбирать. Его собственные дарования направят его на стезю того или другого».

Для того чтобы всё это не осталось благими пожеланиями, Екатерина сразу же отобрала мальчика у родителей и начала воспитывать его по собственному разумению — из опасения, что отец и мать Александра повторят ошибки в воспитании, допущенные Елизаветой Петровной по отношению к Павлу.

Новорождённого, забрав у врачей, тут же передали под опеку опытной и хорошей матери — генеральши Софьи Ивановны Бенкендорф. (Это её внук, Александр Христофорович Бенкендорф прославится в русской истории и как герой Отечественной войны 1812 года, и как первый шеф Корпуса жандармов).

Александра, в отличие от его отца, стали с первых же дней жизни воспитывать в спартанской обстановке: он спал на кожаном матраце, на тонкой подстилке, покрытой лёгким английским покрывалом. Температура в его комнате не превышала 14-15 градусов, когда он спал, кормилица и слуги говорили громко, и даже на бастионах Адмиралтейства продолжали стрелять пушки. Какой контраст представляло всё это с первыми днями его отца, которого держали зимой и летом в обитой мехом колыбели, в спальне круглосуточно горел камин, а слуги не смели даже шептаться! Очевидно, поэтому Александр рос крепким, спокойным, весёлым и здоровым ребёнком.

Через полтора года, 27 апреля 1779 года, Мария Фёдоровна родила второго сына, которого назвали Константином. И это имя было выбрано не случайно: в нём таилась надежда в ближайшем будущем окончательно сокрушить империю Османов и покорить Константинополь.

С этого времени Александр и Константин воспитывались и жили вместе до двадцати лет с лишним, почти никогда не разлучаясь.

7 сентября 1780 года, когда Александру ещё не было трёх лет, Екатерина сообщала Гримму: «Тут есть уже воля и нрав и слышатся беспрестанно вопросы: «К чему?», «Почему?», «Зачем?» Мальчику хочется всё узнавать основательно, и Бог весть, чего-чего он не знает».

А ещё через девять месяцев, 24 мая 1781 года, Екатерина писала ему же: «Надо сказать, что оба мальчишки растут и отменно развиваются... Один Бог знает, чего только старший из них не делает. Он складывает слова из букв, рисует, пишет, копает землю, фехтует, ездит верхом, из одной игрушки делает двадцать; у него чрезвычайное воображение, и нет конца его вопросам».

И наконец, 24 мая 1783 года, она сообщала Гримму: «Если бы Вы видели, как Александр копает землю, сеет горох, сажает капусту, ходит за плугом, боронует, потом весь в поту идёт мыться в ручье, после чего берёт сеть и с помощью Константина принимается за ловлю рыбы...»

Когда Александру не было ещё и шести лет, Софья Ивановна Бенкендорф внезапно умерла, и мальчиков передали в руки главного воспитателя, генерал-аншефа Николая Ивановича Салтыкова, а кавалером-воспитателем при обоих братьях стал генерал-поручик Александр Яковлевич Протасов.

Салтыков, прежде чем стал воспитателем великих князей, десять лет был в том же качестве при их отце-цесаревиче Павле и благодаря своему уму, осторожности и хитрости, а также честностью и добронравием добился расположения и у Павла и у Екатерины, всегда стараясь смягчать их отношения и примирять друг с другом.

Александр характером был схож с матерью — великой княгиней Марией Фёдоровной, женщиной умной, выдержанной, спокойной.

Что же касается Константина, то во многом он был полной противоположностью своему старшему брату.

У Константина уже в раннем детстве проявились многие качества отца: он был вспыльчив, упрям, жесток. Когда однажды один из наставников — Лагарп — пожаловался на нежелание Константина выполнять любые, даже самые простые задания, тот в припадке бешенства укусил Лагарпу руку. В другой раз, когда другой его воспитатель — Остен-Сакен — заставлял своего питомца читать, Константин дерзко ответил:

— Не хочу читать, и не хочу потому именно, что вижу, как

вы, постоянно читая, глупеете день ото дня.

Новые звёздочки на дворцовом небосклоне

В декабре 1777 года Екатерине шёл сорок восьмой год, и по меркам того времени она была уже далеко не молодой женщиной. И как раз в это время при дворе начала созревать ещё одна интрига — новоявленный фаворит императрицы, не отметивший ещё первой годовщины своего «случая», Семён Гаврилович Зорич, решился учинить афронт несокрушимому сопернику Григорию Александровичу Потёмкину.

Пребывая вместе с ним и Екатериной в Царском Селе, он затеял ссору и даже вызвал Потёмкина на дуэль, но поехал не на место поединка, а за границу, куда его мгновенно отправила Екатерина. А по возвращении осенью 1778 года ему велено было постоянно проживать в Шклове.

Зорич поселился в старом замке польских графов Ходкевичей, отделав его с необычайной пышностью и устроив в своём доме беспрерывный праздник. Балы сменялись маскарадами, пиры — охотой, над замком чуть ли не каждую ночь горели огни фейерверков, по три-четыре раза в неделю устраивались спектакли, а в парке и садах крутились карусели, устраивались катания на тройках, народные гулянья и непрерывные приёмы гостей.

Дважды Зорича навестила Екатерина, когда весной 1780 года приезжала в Могилёв, и была встречена бывшим фаворитом с необычайной торжественностью и роскошью.

Для того чтобы завершить и эту сюжетную линию и более к Зоричу не возвращаться, скажем, что его дальнейшая жизнь сложилась не лучшим образом. Зорич был азартным карточным игроком, причём имел нелестную репутацию шулера. К его грандиозным проигрышам вскоре примешалась и афера с изготовлением фальшивых ассигнаций, которые печатали гости Зорича — польские графы Аннибал и Марк Зановичи. Расследование скандальной истории было поручено Потёмкину. Он приехал в Шклов, арестовал обоих сиятельных братьев, а Зорича уволил в отставку.

Лишь после смерти Екатерины сменивший её на троне Павел в январе 1797 года вернул Зорича в армию, но уже в сентябре за растрату казённых денег его снова уволили, на сей раз окончательно.

На месте отставленного Зорича появился ещё один избранник — двадцатичетырёхлетний кирасирский капитан Иван

Николаевич Римский-Корсаков. Он оказался первым в конкурсе претендентов на должность фаворита, победив ещё двух офицеров — немца Бергмана и побочного сына графа Воронцова — Ронцова. (У русских аристократов существовал обычай давать своим внебрачным, но признаваемым ими сыновьям так называемые усечённые фамилии, в которых отсутствовал первый слог родовой фамилии. Так, сын князя Трубецкого носил фамилию Бецкой — о нём упоминалось здесь, как о мнимом отце Екатерины II. Сын князя Репнина назывался Пнин, Воронцова — Ронцов, Елагина — Агин, Голицына — Лицын. Румянцева — Умянцов).

Все трое соискателей милостей императрицы были представлены Екатерине Потёмкиным, и она остановила свой выбор на Корсакове.

Гельбиг рассказывает, что Екатерина вышла в приёмную, когда там уже ждали её назначенные к аудиенции и Бергман, и Ронцов, и Корсаков. Каждый из них стоял с букетом цветов, она милостиво беседовала сначала с Бергманом, потом с Ронцовым и, наконец, с Корсаковым. Необыкновенная красота и изящество последнего сделали его единственным претендентом на её сердце.

Екатерина улыбнулась всем, но с букетом цветов к Потёмкину отправила Римского-Корсакова. Потёмкин всё понял, и выбор был им утверждён. Потрясённая красотой нового фаворита, Екатерина писала барону Гримму, считавшему этот новый альянс её обычной прихотью: «Прихоть? Знаете ли Вы, что это выражение совершенно не подходит в данном случае, когда говорят о Пирре, царе Эпирском (таким было прозвище Корсакова), об этом предмете соблазна всех художников и отчаяния всех скульпторов. Восхищение, энтузиазм, а не прихоть возбуждают подобные образцовые творения природы! Произведения рук человеческих падают и разбиваются, как идолы, перед этим перлом создания Творца, образом и подобием Великого (то есть Бога)! Никогда Пирр не делал ни одного неблагородного или неграциозного жеста или движения. Он ослепителен, как Солнце, и, как оно, разливает свой блеск вокруг себя. Но всё это в общем не изнеженность, а, напротив, мужество, и он таков, каким бы Вы хотели, чтобы он был. Одним словом, это — Пирр, царь Эпирский. Всё в нём гармонично, нет ничего выделяющегося. Это — совокупность всего, что ни на есть драгоценного и прекрасного в природе; искусство — ничто в сравнении с ним; манерность от него за тысячу вёрст».

Через день после победы в конкурсе фаворитов в Царском Селе появился новый флигель-адъютант, вскоре ставший

прапорщиком кавалергардов, что соответствовало генерал-майору по армии, затем — камергером и вскоре — генерал-адъютантом. Обладая удивительно красивой внешностью, Иван Николаевич имел к тому же прекрасный голос и очень хорошо играл на скрипке. Однако Екатерине всего этого оказалось недостаточно, ибо кроме приятного голоса и великолепной внешности она ценила ещё и хороший ум и довольно прочное постоянство, а этого-то как раз у Римского-Корсакова не было. Как-то, разговаривая с одним из братьев Орловых, Екатерина сказала, что Иван Николаевич поёт, как соловей. На что Орлов возразил ей:

— Это правда, но ведь соловьи поют только до Петрова дня.

И тонкое замечание Орлова оказалось пророческим — век фаворита оказался равным двум годам: он был отставлен от двора в октябре 1779 года.

Что же касается ума и образованности Корсакова, то лучше всего об этом свидетельствует такой случай: когда Екатерина подарила Корсакову особняк на Дворцовой набережной, купленный ею у Васильчикова, то новый хозяин решил завести у себя хорошую библиотеку, подражая просвещённым аристократам и императрице. Выбрав для библиотеки большой зал, Корсаков пригласил известного книготорговца и велел ему привезти книги.

— Извольте же дать мне список тех книг, кои вы желаете, чтобы я привёз вам, — сказал книготорговец.

Фаворит ответил:

— Об этом я не забочусь — это ваше дело. Скажу только, что внизу должны стоять большие книги, а чем выше, тем они должны быть меньше, точно так, как у государыни.

При таком уме Корсаков рискнул интриговать против Потёмкина, но «Циклоп» буквально в одночасье прихлопнул его, убив к тому же сразу двух зайцев.

Постоянным врагом и соперником Потёмкина был фельдмаршал Румянцев, чья сестра, графиня Брюс, являлась, как мы знаем, самой доверенной конфиденткой Екатерины. Неосторожный и влюбчивый Корсаков начал волочиться за графиней, о чём тотчас же донесли Потёмкину, и тому не стоило труда создать ситуацию, пагубную для обоих. Как только Екатерина узнала об этой связи, она тут же отправила неверную подругу в Москву, а Корсакова оставила в Петербурге из-за болезни, которая, кстати сказать, была мнимой.

Не прошло и месяца, как в Петербурге появились только что приехавшие из Парижа сорокашестилетний граф Строганов и его юная жена Екатерина Петровна, урождённая княжна Трубецкая. Корсаков тут же увлёкся молодой и красивой женщиной и вскоре

уехал из Петербурга в Москву, понимая, что терпение императрицы не беспредельно.

Следом за ним, к удивлению многих, направилась в Москву и графиня Строганова, где у её обманутого мужа был роскошный дом, который великодушный супруг подарил ей. А кроме того, граф предоставил ей богатую подмосковную усадьбу Братцево и пожизненное денежное содержание. Когда же — через двадцать лет после всего случившегося — император Павел сослал Корсакова в Саратов, графиня Екатерина Петровна поехала за ним и туда.

По свидетельству князя Долгорукова, Екатерина Петровна была «женщина характера высокого и отменно любезная. Беседа её имела что-то особо заманчивое, одарена прелестями природы, умна, мила, приятна. Любила театр, искусство, поэзию, художество... Была очень живого характера».

Так что двадцатипятилетнему Ивану Николаевичу было на что менять пятидесятилетнюю императрицу, да и у супругов Строгановых разница в возрасте была столь же значительной.

И потому, надо полагать, ни Римский-Корсаков, ни Строганова не сожалели о содеянном, тем более что Екатерина оставила своему бывшему фавориту и дом на Дворцовой набережной, и множество драгоценностей, оцениваемых в 400 тысяч рублей. Гельбиг считал полученные Корсаковым суммы ещё большими, простирая их размер до 720 тысяч рублей.

Завершая этот сюжет, добавим, что невенчанная жена его умерла около 1815 года, оставив ему сына и двух дочерей. Сам же Иван Николаевич скончался 16 февраля 1831 года семидесяти семи лет.

А теперь снова возвратимся в осень 1779 года, когда Екатерина, уязвлённая двоекратной изменой «царя Эпирского» выставила его из Петербурга. Кажется, самолюбивая, восторженная и в сердечных отношениях привязчивая, Екатерина на сей раз переживала измену молодого красавца-артиста намного легче, чем это происходило раньше.

Не успел Римский-Корсаков уехать из Петербурга, как возле Екатерины уже появился новый претендент на звание фаворита — двадцатидвухлетний конногвардеец Александр Дмитриевич Ланской.

Ланской с первого взгляда понравился Екатерине, но она решила не спешить и на первый случай ограничиться лишь оказанием молодому офицеру очевидных знаков внимания и милости: Ланской стал флигель-адъютантом и получил на обзаведение десять тысяч рублей. Появление нового флигель-адъютанта, через некоторое время ставшего и действительным

камергером, конечно же не осталось незамеченным.

Английский посланник, лорд Мальмсбюри считал необходимым даже сообщить о нём своему правительству. «Ланской красив, молод и, кажется, уживчив», — писал дипломат.

В это самое время разные придворные доброхоты, почуяв, что вот-вот взойдёт новое светило, стали наперебой говорить Ланскому обратиться за советом к Потёмкину. Молодой флигель-адъютант послушался и обрёл в Потёмкине своего заступника и друга. Для того чтобы получше узнать Ланского, Потёмкин сделал Александра Дмитриевича одним из своих адъютантов и около полугода руководил его придворным образованием, одновременно изучая будущего фаворита.

Потёмкин открыл в своём воспитаннике массу прекрасных качеств и весной следующего года мог с лёгким сердцем рекомендовать Ланского императрице. На Святой неделе 1780 года Ланской вновь предстал перед Екатериной, был обласкан ею, удостоен чина полковника и в тот же вечер поселён в давно пустующих апартаментах бывших фаворитов.

При дворе сразу же стали интересоваться всем относящимся к новому постояльцу в заветных комнатах, ибо мало что было известно и о самом счастливчике, и о его родителях.

Вскоре все уже досконально знали, что Александр Дмитриевич Ланской родился 8 марта 1758 года в не очень знатной и не очень богатой семье, имевшей поместья в Тульском уезде.

Стало известно, что отец фаворита, Дмитрий Артемьевич, в 1772 году получил чин бригадира и служил в Полоцке комендантом. Дмитрий Артемьевич имел шестерых детей — двух сыновей и четырёх дочерей: старшему сыну Александру и выпал жребий стать самым любимым фаворитом Екатерины, которой в день его рождения было уже двадцать восемь лет. Второго сына назвали Яковом, а сестёр — Варварой, Анной, Елизаветой и Евдокией. Все они благодаря «случаю» своего старшего брата породнились со знатнейшими фамилиями России, а их дети и внуки сделали блестящие служебные карьеры и матримониальные успехи.

Следует заметить, что сам Александр Дмитриевич почти ничего не делал для их преуспевания, виной тому была императрица, вскоре полюбившая Ланского больше, чем кого-либо прежде, и проливавшая эту любовь и на его родственников.

По отзывам современников, Ланской не вступал ни в какие интриги, старался никому не вредить и потому с самого начала отрешился от государственных дел, справедливо полагая, что политика заставит его, независимо от того, хочет он этого или не

хочет, наживать себе врагов.

Даже когда ему доводилось встречаться с коронованными особами, приезжавшими в Петербург — а это были австрийский кронпринц Иосиф, прусский кронпринц Фридрих-Вильгельм, шведский король Густав III, — Ланской вёл себя очень сдержанно, не позволяя никому из них надеяться на его содействие или же противодействие кому или чему-либо.

Единственной всепоглощающей страстью Ланского была Екатерина и, может быть, он сам был средостением любви и нежности в её сердце, в её душе и самых сокровенных её помыслах. Он желал царствовать там единолично и делал всё, чтобы добиться этого. Он хотел не просто нравиться своей повелительнице, но со временем добиться того, чтобы она ни на миг не могла даже помыслить о его замене кем-либо другим.

Одним из средств Ланской считал добрые отношения со всеми членами императорской фамилии. Он был хорош и с Екатериной, и с Павлом, и с Марией Фёдоровной, и с их детьми. «Случай» Ланского был одним из самых продолжительных в жизни Екатерины. Он оставался фаворитом более четырёх лет — с весны 1780 до лета 1784 года.

За это время произошло немало весьма важных событий. В 1780 году Россия объявила «вооружённый нейтралитет», направленный против Англии в защиту только что образовавшихся Североамериканских Соединённых Штатов, что сильно обострило и ухудшило русско-английские отношения, соответственно сблизив Россию с противниками Англии.

В эти же годы Екатерина энергично проводила в жизнь так называемый «Греческий прожект», инициатором которого был Потёмкин. Суть «Греческого прожекта» состояла в изгнании турок из Европы и создании в восточной части Балканского полуострова и земель вокруг Эгейского моря Греческой империи, главой которой должен был стать внук Екатерины — Константин. Дунайские княжества, находившиеся под властью османов — Молдавия и Валахия, должны были слиться в буферном христианском государстве — Дакия, а западная часть Балкан переходила под власть союзной России Австрии.

В связи с этим главным противником России становилась Османская империя, решительно поддерживаемая Англией.

Первым шагом в осуществлении задуманного проекта была окончательная ликвидация последыша Золотой Орды — Крымского ханства. Ещё в ходе Русско-турецкой войны 1768-1774 годов Россия 1 ноября 1772 года заключила договор с крымским ханом Сахиб-Гиреем о переходе Крыма под протекторат России и о его полной независимости от турецких султанов. Однако часть

крымских вельмож по-прежнему тяготела к Стамбулу, надеясь на возврат старых порядков.

Не желая до поры до времени решать крымский вопрос силой, Потёмкин в 1779 году организовал переселение из Крыма почти всех христиан — преимущественно армян и греков, которые составляли основную массу ремесленников и торговцев, что сильно подорвало экономику ханства.

В Крым была послана дивизия генерал-поручика Суворова, а офицером, на которого возлагались поручения политического и дипломатического свойства, оказался полковник Михаил Илларионович Кутузов — командир полка в дивизии Суворова. Именно он и возглавлял операцию по переселению христиан из Крыма на земли Новороссии. Он же принял активное участие в организации дворцового переворота в Бахчисарае, когда на смену турецкому ставленнику был посажен угодный Екатерине Шагин-Гирей. Чтобы увековечить русское присутствие в Крыму, Екатерина 8 апреля 1783 года подписала Манифест о присоединении Крымского ханства к России.

В октябре 1783 года русские войска вошли в Крым и заняли все важные пункты полуострова. В результате этого сбылось то, о чём Потёмкин писал Екатерине в начале года: «Крым положением своим разрывает наши границы. Тут ясно видно, для чего хан нынешний (то есть Шагин-Гирей) туркам неприятен: для того, что он не допустит их чрез Крым входить к нам, так сказать, в сердце. Положите же теперь, что Крым наш и что нет уже сей бородавки на носу: вот вдруг положение границ прекрасное… Доверенность жителей Новороссийской губернии будет тогда несумнительна, мореплавание по Чёрному морю свободное».

И вот, в апреле 1783 года Потёмкин исправил положение дел, присоединив Крым — древнюю Тавриду — к России. А 28 июня того же года принял присягу крымчан на верность России, приурочив её ко дню восшествия Екатерины на престол. За это он был возведён в княжеское достоинство с присовокуплением к титулу «Светлости», а через год стал и генерал-фельдмаршалом.

Другим важнейшим внешнеполитическим событием этого же времени было подписание дружественного договора России с грузинским царством Картли-Кахети, состоявшееся 24 июля 1783 года в селе Георгиевское на Ставропольщине. Этим договором царь Картли-Кахети Ираклий II, происходивший из династии Багратионов, признавал покровительство России, отказывался от самостоятельной внешней политики и обязался служить своими войсками России. За это Екатерина гарантировала Ираклию II целостность и неприкосновенность его владений, автономию во внутренних делах и равенство грузинского дворянства,

духовенства и купечества с российскими сословиями.

Во всех этих благополучно завершённых начинаниях Ланской всегда был надёжным помощником и добрым советчиком Екатерины. Он много читал, старался вникать в существо важнейших дел, превращаясь на глазах императрицы из молодого красавчика-щёголя в серьёзного и ответственного государственного деятеля, душою и телом до конца преданного своей повелительнице. Можно утверждать, что Ланской был самым любимым фаворитом Екатерины, хотя ей не было свойственно двоедушие в любовных делах и она руководствовалась в интимных отношениях прежде всего сильным и искренним чувством.

Если бы не ранняя, внезапная смерть, то, возможно, он оставался бы фаворитом до конца жизни Екатерины. Из-за своей молодости и доброго, покладистого нрава он был даже соучастником игр и забав Александра и Константина. Так, 1 июля 1783 года Екатерина писала Гримму: «У Александра удивительная сила и гибкость. Однажды генерал Ланской принёс ему кольчугу, которую я едва могу поднять рукою; он схватил её и принялся с нею бегать так скоро и свободно, что насилу можно было его поймать».

Так и представляется идиллическая семейная сцена — смеющаяся пятидесятичетырёхлетняя бабушка, всё ещё полная огня и сил, двадцатипятилетний красавец-генерал и шустрый шестилетний мальчишка, ловко увертывающийся от своих преследователей.

Ланскому же читала Екатерина и свой замечательный труд, посвящённый внукам — «Бабушку Азбуку», — оригинальное и высокоталантливое педагогическое сочинение, наполненное картинками, историями, сказками и нравоучениями. «У меня только две цели, — говорила об «Азбуке» Екатерина, — одна — раскрыть ум для внешних впечатлений, другая — возвысить душу, образуя сердце».

Впоследствии эта «Азбука», несколько видоизменённая, стала учебником в первых классах различных учебных заведений России.

Чтоб ещё более нравиться Екатерине, Ланской все четыре года своего фавора много читал, понимая, что он может быть интересен своей возлюбленной, если кроме обожания будет в состоянии подняться до её интеллектуального уровня. И, надо сказать, это ему удалось.

Когда в июне 1784 года Ланской серьёзно и опасно заболел — потом говорили, что он подорвал своё здоровье от чрезмерного злоупотребления возбуждающими снадобьями, — Екатерина ни

на час не покидала страдальца, почти перестала есть, оставила все дела и ухаживала за двадцатишестилетним любимцем не просто как образцовая сиделка, но как мать, смертельно боящаяся потерять единственного, бесконечно любимого сына.

Екатерина так описывала болезнь и смерть Ланского: «Злокачественная горячка в соединении с жабой, свела его в могилу в пять суток».

До последнего дня не допускала Екатерина мысли, что её любимец может умереть, и потому не обращалась к лучшему придворному медику доктору Вейкгардту, которого сумели опорочить его ловкие коллеги.

Когда же учёный немец только заглянул в горло больному и увидел сильнейшее воспаление и отёк гортани, он сказал, что Ланской умрёт в тот же вечер и спасти его невозможно. Диагноз оказался настолько же беспощадным, насколько и верным.

Когда вечером 25 июня 1784 года Ланской умер, Екатерина совершенно потеряла былое несокрушимое самообладание, рыдала и причитала, как русская деревенская баба и затем впала в прежестокую меланхолию. Она уединилась, никого не хотела видеть, даже отказалась от встреч с Александром и Константином. Единственным человеком, для которого она делала исключение, была сестра Ланского Елизавета — очень на него похожая.

Дело дошло до того, что Екатерина сильно заболела сама и не могла и часа провести без рыдания, без того, чтобы не захлебнуться слезами. Только 5 сентября Екатерина приехала из Царского Села в Петербург, а ещё через четыре дня впервые вышла к обедне. Она наконец взяла себя в руки и распоряжалась делами должным образом и с полным пониманием. И всё же первое появление на людях, в церкви, далось ей с большим трудом. Вернувшись со службы в свои апартаменты, Екатерина почувствовала такой упадок сил, что оказалась близка к обмороку.

Со смертью Ланского связана и ещё одна история, подобная тем, которые время от времени происходят и в наши дни, подтверждая, что люди не становятся лучше и раньше они были такими же.

Умирая, Ланской попросил, чтобы его похоронили в одном из романтических уголков Царскосельского парка, желая и после смерти быть поближе к Екатерине, проводившей там весною и летом большую часть свободного времени. Его просьба была исполнена, и гроб с телом покойного опустили в землю Царскосельского парка, поставив над могилой мраморную урну.

Как вдруг однажды потрясённые служители обнаружили

могилу разрытой, а рядом увидели изуродованное и осквернённое тело покойного. Негодяи оставили и позорные пасквили, оскорбляющие память Ланского.

После этого его похоронили в церкви близлежащего городка Софии, где стояли гвардейские части, а потом построили и специальную небольшую капеллу-мавзолей.

Екатерина всю жизнь благоволила к брату и сёстрам покойного любимца, распространяя милости и на его двоюродных братьев и сестёр. Особенно любила она Елизавету Дмитриевну. Да и Ланской любил её сильнее других, успев завещать Елизавете Дмитриевне, в замужестве Кушелевой, дом и прекрасную картинную галерею. Единственный родной брат Ланского, Яков Дмитриевич, умер вскоре после Александра Дмитриевича в чине полковника гвардии, а другие сёстры удачно вышли замуж за статских и военных генералов.

Потрясённая до глубины души смертью своего любимца, поражённая кощунственной историей, произошедшей с его прахом, Екатерина почти целый год пребывала в состоянии холодной апатии, отрешившись от радостей жизни, пребывая в несвойственной ей меланхолии и тоске. Но натура со временем взяла своё, и благодаря стараниям её друзей и подруг, а более всего незаменимого и неутомимого Потёмкина, ей был представлен блестящий молодой офицер Александр Петрович Ермолов.

Как это бывало и прежде, Ермолов оказался не единственным претендентом на сердце императрицы. Прежде чем он попал в «случай», ему пришлось провести нелёгкую борьбу с другими соперниками. Наиболее серьёзным его конкурентом оказался князь Павел Михайлович Дашков, сын Екатерины Романовны Дашковой. Ему исполнилось тогда 22 года, он был хорош собой, получил прекрасное образование, окончив Эдинбургский университет в Шотландии со степенью магистра искусств.

Пока Дашков учился в Эдинбурге, ему шли чины по военной службе, и потому, возвратившись в Россию, он стал капитан-поручиком гвардии и в этом чине оказался адъютантом Потёмкина. В 1783 году он стал полковником, через два года вернулся в свите светлейшего в Петербург и был представлен императрице на соискание чина флигель-адъютанта. Говорили, что молодой князь понравился Екатерине, но назначение Дашкова флигель-адъютантом не состоялось из-за его скандальной скоропалительной женитьбы на купеческой дочке, девице Алферьевой, которую княгиня Дашкова не желала видеть до конца своих дней.

Зато взошла звезда ровесника Дашкова, тоже адъютанта Потёмкина, Александра Петровича Ермолова. Потёмкин специально устроил праздник, чтобы познакомить Ермолова с императрицей. Праздник удался на славу — адъютант светлейшего стал флигель-адъютантом императрицы и вскоре переехал в давно уже пустующие покои фаворитов.

Ермолов оставил о себе хорошую память. Он помогал всем, кому только мог, если был убеждён, что перед ним — достойный человек. Императрица могла полагаться на его рекомендации, ибо он был умён, умел правильно оценивать людей и никогда не ходатайствовал за тех, кого лично не знал или же знал с плохой стороны. Кроме того, он был необычайно правдив и искренен, и это-то и погубило его.

Причиной тому был следующий эпизод.

После покорения Крыма хан Сабин-Гирей должен был получать от Потёмкина крупные суммы, оговорённые государственным договором, но светлейший задерживал эти выплаты и несколько лет ничего не платил хану. Тогда Гирей обратился за помощью к Ермолову, тот обо всём рассказал Екатерине, а императрица вскоре же высказала своё неудовольствие Потёмкину. Светлейшему не составило труда вычислить изменника, и он поставил вопрос ребром: «Или я, или он». Екатерина, поколебавшись, склонилась, как и прежде, на сторону идола, и в июне 1786 года попросила передать Ермолову, что она разрешает ему уехать на три года за границу.

Александр Петрович немедленно покинул Петергоф, где произошло всё это, и с рекомендательными письмами секретаря императрицы Александра Андреевича Безбородко уехал в Германию и Италию. Везде, где он появлялся, Ермолов вёл себя необычайно скромно, чем поражал и российских резидентов в итальянских и германских государствах, и граждан этих государств. Столь же скромно вёл он себя и возвратившись в Россию. Ермолов переехал из Петербурга в Москву, где его ожидал тёплый и радушный приём, ибо у бывшего фаворита и здесь не оказалось врагов или завистников.

За время фавора, продолжавшегося год и четыре месяца, Ермолов получил два поместья, стоившие 400 тысяч рублей, а также 450 тысяч наличными в виде единовременных выплат, пенсии и жалованья. Утратив благосклонность Екатерины, Ермолов уехал в Австрию, где купил богатое и прибыльное поместье Фросдорф, неподалёку от столицы империи, и превратил его затем в одну из самых привлекательных загородных усадеб, расположенных около Вены. Возвратившись ненадолго из-за границы, Александр Петрович женился на княжне

Елизавете Михайловне Голицыной и стал впоследствии отцом трёх сыновей — Петра, Михаила и Фёдора, ничем, впрочем, не отличившихся. Да и сам он тоже более не желал привлекать к себе ничьего внимания, так как решил навсегда оставить Россию и поселиться во Фросдорфе. Там он и умер в 1836 году восьмидесяти двух лет от роду.

Преемником Ермолова на стезе фаворитизма стал двадцативосьмилетний капитан гвардии Александр Матвеевич Дмитриев-Мамонов — дальний родственник Потёмкина. Благодаря последнему обстоятельству Дмитриев-Мамонов и был назначен в 1786 году адъютантом светлейшего, имея скромный чин поручика гвардии. Не желая повторения ситуации, произошедшей с Ермоловым, и стремясь иметь возле императрицы человека, на которого, как ему казалось, он мог вполне положиться, Потёмкин и познакомил Мамонова с Екатериной. В августе 1786 года Мамонов был представлен Екатерине и вскоре назначен флигель-адъютантом. Современники отмечали, что Дмитриев-Мамонов был единственным из фаворитов, которого нельзя было причислить к разряду красавцев. Он был высок ростом, крепок физически, имел скуластое лицо, чуть раскосые, «калмыковатые» глаза, которые светились умом и лукавством. В отличие от многих прочих был он хорошо образован, и беседы с ним доставляли императрице немалое удовольствие. Через месяц стал он уже прапорщиком кавалергардов и генерал-майором по армии. Первые почести не вскружили голову новому фавориту — он проявлял сдержанность, такт и сразу же завоевал репутацию умного и осторожного человека. Отмечали и его прекрасное образование — Дмитриев-Мамонов хорошо говорил на немецком и английском языках, а французский знал в совершенстве. Кроме того, Александр Матвеевич заявил себя и как недурной стихотворец и драматург, что особенно импонировало Екатерине. Благодаря всем этим качествам, а также и тому, что Мамонов непрестанно учился, много читал и пытался серьёзно вникать в государственные дела, особенно в дела внешнеполитические, он стал вскоре незаменимым советчиком императрицы, и когда в начале 1787 года Екатерина собралась в путешествие на юг — в Новороссию и Крым, — Мамонов в течение всего этого вояжа ни на минуту не оставлял её.

По России…

Об этом путешествии необходимо рассказать подробнее. Подготовкой к нему множество людей и ведомств стали заниматься за два с половиной года до того, как оно началось.

Во всяком случае, уже в октябре 1784 года Потёмкин приказал начинать подготовку к приёму императрицы: надо было заранее позаботиться о сборе лошадей на станциях, строительстве путевых дворцов, подготовке квартир для размещения свиты в разных городах и тому подобное. Десятки тысяч людей стали ремонтировать дороги, строить гавани и причалы, а многим городам: Кременчугу, Екатеринославу, Херсону, Николаеву — следовало придать блеск больших, давно обжитых городов. На Днепре строилась целая флотилия речных судов, на которых императрица должна была плыть вниз, к Чёрному морю.

В губерниях, расположенных ближе к столицам и оказавшихся на маршруте задуманного путешествия, тоже велись приготовления к встрече Екатерины, но Потёмкин затмил всех.

Путешествие началось по санному пути и было прервано на три месяца в Киеве в ожидании, когда на Днепре сойдёт лёд и можно будет продолжать путь на галерах. Ещё по дороге в Киев повсюду — и в каретах, и на почтовых станциях, и в путевых дворцах, выстроенных в губернских городах, и во дворцах местной знати, царила непринуждённая атмосфера, неотличимая от нравов Эрмитажа и Царского Села. Казалось, что Екатерина и множество придворных отправились в середине зимы на относительно непродолжительную весёлую прогулку для развлечений, светских бесед, легкомысленных забав и болтовни. Анекдоты сменялись занимательными рассказами по истории, географии, земледелию, статистике, изящной словесности и философии. На стоянках писали шарады и бурима, вечерами устраивали любительские спектакли, именуемые тогда «живыми картинами».

Особенно преуспевали в этих затеях французский посланник в Петербурге, поэт и историк граф Луи-Филипп Сегюр д'Огассо и австрийский посланник, граф Людовик Кобенцель. Вкупе с Екатериной и хорошо образованным Дмитриевым-Мамоновым они составляли ядро того утончённого и высокоинтеллектуального общества, которое медленно, с многодневными остановками, продвигалось на юго-запад.

И всё же невозможно было отрешиться от большой политики и волей-неволей и Екатерина, и Мамонов, и другие ближайшие её

сотрудники, должны были обсуждать и «восточный вопрос», и политику Пруссии, и плачевное, взрывоопасное положение Франции, стоявшей на пороге революции. Причём Мамонов очень часто оказывался на высоте положения, с каждым днём завоёвывая всё больший авторитет и у императрицы и у иностранных вояжёров, прочивших фавориту блестящую дипломатическую карьеру.

Переезжая из одной губернии в другую, постоянно сопровождаемые толпами восторженных россиян, бесконечными торжественными въездами, триумфальными арками, фейерверками, иллюминациями, артиллерийскими салютами, военными парадами, звоном колоколов, пышными процессиями духовенства, повсюду встречаемые верноподданническими речами, экзотически разнаряженными в национальные одежды депутациями коренных и малых народов, Екатерина и её спутники приходили в восторг от всего увиденного и услышанного, воочию убеждаясь в значительном прогрессе, проделанном Россией за четверть века последнего царствования.

В Киеве, отпраздновав день рождения Екатерины, огромная флотилия из восьмидесяти судов 22 апреля двинулась вниз по Днепру. Вот как описывал это Сегюр: «Впереди шли семь нарядных галер огромной величины... Комнаты, устроенные на палубах, блистали золотом и шелками. Каждый из нас имел комнату и ещё нарядный, роскошный кабинет с покойными диванами, с чудесною кроватью под штофною занавесью и с письменным столом красного дерева. На каждой из галер была своя музыка. Множество лодок и шлюпок носились впереди и вокруг этой эскадры, которая, казалось, создана была волшебством.

Мы подвигались медленно, часто останавливались и, пользуясь остановками, садились на лёгкие суда и катались вдоль берега вокруг зеленеющих островков, где собравшееся население кликами приветствовало императрицу. По берегам появлялись толпы любопытных, которые беспрестанно менялись и стекались со всех сторон, чтобы видеть торжественный поезд и поднести в дар императрице произведения различных местностей. Порою на береговых равнинах маневрировали лёгкие отряды казаков. Города, деревни, усадьбы, а иногда простые хижины, так были изукрашены цветами, расписаны декорациями и триумфальными воротами, что вид их обманывал взор и они представлялись какими-то дивными городами, волшебно созданными замками, великолепными садами. Снег стаял, земля покрылась яркой зеленью, луга запестрели цветами, солнечные лучи оживляли и украшали все предметы. Гармонические звуки музыки с наших

галер, различные наряды побережных зрителей разнообразили эту роскошную и живую картину. Когда мы подъезжали к большим городам, то перед нами на определённых местах выравнивались строем превосходные полки, блиставшие красивым оружием и богатым нарядом. Противоположность их щегольского вида с наружностью румянцевских солдат (армия Румянцева располагалась на Украине, территория которой уже была пройдена эскадрой Екатерины) доказывала нам, что мы оставляем области этого знаменитого мужа и вступаем в места, которые судьба подчинила власти Потёмкина.

Стихи, весна, природа и искусство, казалось, соединились для торжества этого могучего любимца».

Через Канев, где состоялась встреча Екатерины с польским королём Станиславом Августом Понятовским, с которым она не виделась тридцать лет, императрица затем проследовала в село Кайдаки, в коем ожидал её австрийский император Иосиф II, скрывавшийся под именем графа Фалькенштейна. Он сначала приехал в Херсон, осмотрел там арсенал, казармы, верфи и склады и затем выехал навстречу Екатерине. После дружеского свидания в Кайдаках Иосиф II вместе со всеми доплыл до Херсона, где состоялось нечто вроде конгресса, в котором приняли участие Иосиф II и Екатерина, а также посланники Франции и Англии.

Затем, через Перекоп и Степной Крым путешественники проследовали в столицу Гиреев — Бахчисарай, а оттуда — в Севастополь.

Ещё в 1784 году военно-морской порт и крепость, созданные при участии Потёмкина, Суворова и Ушакова, были названы Севастополем, что в переводе с греческого означало «Величественный город», или «Город Славы».

Когда Екатерина и её спутники увидели Севастополь и его гавань, они были более всего поражены многочисленными линейными кораблями и фрегатами, стоявшими в бухте и готовыми в случае необходимости за двое суток оказаться на рейде Константинополя.

Проехав после посещения Севастополя по другим городам Крыма, Екатерина возвратилась в Петербург. И тут, в первые же недели по возвращении, ей был вручён ультиматум султана с требованием возвратить Турции Крым и признать Ираклия II вассалом султана.

13 августа 1787 года Турция объявила войну России, а 12 сентября Манифест о войне с Турцией подписала Екатерина.

Потёмкина не было с нею рядом, он находился на юге, при армии, и Мамонов как мог поддерживал императрицу, но всё же

— далеко было ему до светлейшего. Война началась тем, что 1 октября Суворов разбил под Кинбурном турецкий десант, но на том очевидные успехи русских войск закончились.

В январе 1788 года войну туркам объявила и Австрия, пославшая на помощь Потёмкину экспедиционный корпус принца Кобургского. В июне Потёмкин и австрийцы осадили Хотин, а в начале июля и Очаков, но военные действия шли довольно вяло.

Воспользовавшись тем, что главные силы русской армии оказались вовлечёнными в войну с турками, их северный союзник — шведский король Густав III начал 21 июня военные действия, двинув против девятнадцатитысячной армии генерал-аншефа Мусина-Пушкина тридцать восемь тысяч своих солдат и офицеров.

А в это время сибарит Мамонов безмятежно купался в удовольствиях и успехах. После возвращения из путешествия милости посыпались на него как из рога изобилия: он стал шефом Санкт-Петербургского полка, а с 4 мая 1788 года, будучи генерал-поручиком, пожалован был в генерал-адъютанты.

25 мая того же года Иосиф II, сохранивший о Мамонове за время путешествия наилучшие впечатления, возвёл фаворита в графское достоинство Священной Римской империи. Затем Екатерина наградила его орденом Александра Невского, усыпанным бриллиантами, стоимостью в 30 тысяч рублей. Доходы его с поместий, жалованье и содержание составляли не менее 300 тысяч рублей в год. Одни только бриллиантовые генерал-адъютантские аксельбанты Мамонова стоили не менее пятидесяти тысяч рублей.

И в дипломатической карьере фаворита наметился очевидный взлёт — Екатерина готовила его к должности вице-канцлера. Однако всё разрушил его величество случай. Тридцатилетний баловень Фортуны перестал пылать чувствами к шестидесятилетней самодержице, в конце концов променяв её на юную прелестницу фрейлину княжну Дарью Фёдоровну Щербатову.

Екатерина не сразу узнала о случившемся, хотя ей показались подозрительными частые недомогания её любимца, когда он неделями не показывался в алькове императрицы. Наконец, весьма осторожно, но совершенно однозначно обманутой самодержице сообщили о коварном изменнике, поправшем и любовь её и служебный долг, ибо пост фаворита уже давно почитался одной из важнейших государственных должностей.

Мамонов почувствовал, что Екатерина всё знает, и, предвосхищая вызов для объяснения, однажды утром нарядился в красный бархатный кафтан, который особенно был ему к лицу,

надел все ордена и бриллианты и явился к Екатерине. По его виду Екатерина поняла, что предстоит объяснение, и, не дожидаясь этого, сама завела разговор о неожиданном для неё охлаждении. Мамонов сначала, как делал это и раньше, сослался на болезнь, а потом заявил, что он недостоин её, но о любви своей к фрейлине — не сказал.

После того как они расстались, уязвлённая Екатерина села к столу и написала Мамонову: «Пусть совершается воля судьбы. Я могу предложить вам блестящий исход, золотой мостик для почётного отступления. Что вы скажете о женитьбе на дочери графа Брюса? Ей, правда, только 14-й год, но она совсем сформирована, я это знаю. Первейшая партия в империи: богата, родовита, хороша собой. Решайте немедленно. Жду ответа».

Через полчаса она получила ответ Мамонова, написанный им, из соседней комнаты: «Дальше таиться нельзя. Должен признаться во всём. Судите и милуйте. На графине Брюсовой жениться не могу. Простите. Более году люблю без памяти княжну Щербатову. Вот будет полгода, как дал слово жениться. Надеюсь, поймёте и выкажете милосердие и сострадание. Несчастный, но вам преданный до смерти. А.»

Роман Мамонова стоил Александру Матвеевичу утраты его положения фаворита, но не более того, ибо после состоявшегося объяснения и признания в любви к Щербатовой Екатерина купила молодым несколько деревень более чем с двумя тысячами крестьян, подарила невесте драгоценности и сама обручила их.

Дарья Фёдоровна и Александр Матвеевич, держась за руки, встали на колени перед своей благодетельницей и искренне заплакали. Поднимая их с колен и обнимая обоих, вместе с ними плакала и Екатерина. Потом императрица разрешила им обвенчаться в дворцовой церкви и сама присутствовала при венчании.

Когда Екатерина отставила Дмитриева-Мамонова, вместе с ним и его женой покинула двор и фрейлина Мария Васильевна Шкурина, дочь уже знакомого нам Василия Григорьевича Шкурина, за то, что всячески содействовала роману Мамонова со Щербатовой. Шкурину исключили из списка фрейлин, выдали ей на приданое 12 тысяч рублей, и она вместе с Мамоновыми уехала в Москву. Но приданое Шкуриной не пригодилось: она так и не вышла замуж, а постриглась под именем Павлин и жила по разным монастырям первопрестольной, пока не умерла в 1824 году инокиней Алексеевской женской обители. Погребли же её в Новодевичьем монастыре.

Свято место пусто не бывает

Что же касается Екатерины, то и на сей раз оправдалась поговорка, что свято место пусто не бывает, так как политические конкуренты — сторонники и враги Потёмкина тут же стали подыскивать матушке-государыне нового фаворита. Каждая из сторон всеми способами пыталась познакомить Екатерину со своими кандидатами. Среди них были отставной секунд-майор Преображенского полка Казаринов, барон Менгден, будущий знаменитый военачальник и выдающийся храбрец Михаил Андреевич Милорадович — все молодые красавцы, за каждым из которых стояли самые влиятельные придворные — Потёмкин, Безбородко, Нарышкин, Воронцовы и Завадовский.

Однако судьбе было угодно улыбнуться ещё одному своему баловню — двадцатидвухлетнему секунд-ротмистру Конной гвардии Платону Александровичу Зубову — ставленнику фельдмаршала князя Николая Ивановича Салтыкова, главного воспитателя внуков Екатерины. Зубов, конечно же, был отменно красив и, кроме того, был на тринадцать лет младше сына Екатерины Павла.

Все предыдущие фавориты Екатерины, появившиеся после отбытия Потёмкина из Петербурга, оказывались возле неё с благословения и согласия светлейшего князя. А вот Платон Александрович — волею судьбы последний её фаворит — был введён в будуар государыни недоброжелателями светлейшего, находившегося в это время на Дунае.

О «партии» Зубова хорошо осведомлённый в придворных делах ближайший сотрудник Потёмкина полковник Михаил Гарневский писал: «Николай Иванович Салтыков был и есть Зубовым протектор, следовательно, и полковнику Зубову наставник, Зубов-отец — друг князя Александра Алексеевича Вяземского, а Анна Никитична Нарышкина предводительствует теперь Зубовым и посему играет тут первую и знатную роль. Вот новая перемена со своею лигою, которые однако же все до сих пор при воспоминании имени его Светлости неведомо чего трусят и беспрестанно внушают Зубову иметь к его Светлости достодолжное почтение, что и господину Зубову (отцу) твердили».

В тот же вечер, когда Дмитриев-Мамонов получил отставку, к Анне Никитичне Нарышкиной явился Зубов и там встретился, конечно же не случайно, с заехавшей к ней, как будто ненароком, Екатериной. Здесь-то она и сделала окончательный выбор,

отправив нового фаворита сначала к Роджерсону, а затем к «пробир-фрейлине» Протасовой. Вечером, 20 июня 1789 года, после того, как Екатерина получила заверения и Роджерсона и Протасовой в здоровье и мужских достоинствах претендента, она, будто бы нечаянно и совершенно случайно, встретилась с Зубовым в Царскосельском парке и отвела его в Мавританскую баню, представлявшую собой точную копию бани турецкого султана, где окончательно и убедилась в справедливости данного ей заключения.

Придворные из партии Потёмкина удивились появлению Зубова в роли фаворита, называя его мотыльком-подёнкой и эфемеридой, но вскоре поняли, что ошиблись. В тот момент, когда Мамонов, нанеся прощальный визит Екатерине, спускался вниз по парадной лестнице Зимнего дворца, навстречу ему шёл Зубов.

— Что нового? — спросил Зубов, поклонившись.

— Да ничего, кроме того, что вы поднимаетесь, а я опускаюсь, — ответил бывший фаворит.

Дальнейшая судьба Александра Матвеевича Мамонова сложилась не очень счастливо.

На другой день после того, как распрощался он с Екатериной, молодые уехали в Москву. Однако семейная жизнь его не была удачной. Объяснялось это вздорным характером Дмитриева-Мамонова, его несдержанностью и вспыльчивостью. Екатерина однажды сказала о нём: «Он не может быть счастлив: разница — ходить с ним в саду и видеться на четверть часа, или жить вместе». Жизни вместе со Щербатовой у него не получилось, хотя он и не расставался с нею до её смерти. Она умерла совсем молодой в 1801 году. Мамонов пережил её всего на два года, скончавшись тоже весьма рано — сорока пяти лет.

А теперь вернёмся во дворец, к новому фавориту — Платону Александровичу Зубову. На следующий день после того как побывал он в Мавританской бане, ротмистр Платон Александрович Зубов стал полковником гвардии и флигель-адъютантом, а ещё через сутки обнаружил в ящике своего письменного стола сто тысяч рублей золотом и двадцать пять тысяч — ассигнациями.

Вечером был он приглашён Екатериной играть с нею в карты и представлен ею узкому кругу самых близких друзей. Когда игра закончилась, Екатерина, взяв под руку нового флигель-адъютанта, направилась к дверям своей спальни. А на следующее утро почти все первые лица империи собрались в приёмной Зубова. Здесь были Салтыков и Морков, Нарышкин и Вяземский,

старик Мелиссино и Архаров, Самойлов и Безбородко — князья, графы и генералы. Зубов заставил их ждать более часа и, наконец, появился с надменной, но ласковой улыбкой.

Пока молодой красавчик морил своих подобострастных и знатных визитёров за дверью, у царедворцев было достаточно времени обменяться друг с другом сведениями о Платоне Александровиче и его родственниках.

Знающие люди, а в приёмной в таковых недостатка не было, утверждали, что отец новоявленного фаворита, Александр Николаевич, управлял имениями фельдмаршала Салтыкова, что он на два года старше императрицы, и был вице-губернатором в одной из центральных губерний. У Александра Николаевича Зубова было кроме Платона ещё три сына и три дочери. Полагали, что отца теперь непременно переведут в Петербург, что вскоре и случилось, когда Зубов-старший стал обер-прокурором Первого департамента Сената, ведавшего важнейшими вопросами государственного управления. Новый обер-прокурор сразу же заявил себя человеком хотя и умным, но злым, недобросовестным и большим охотником до взяток. Однако протекция сына делала его недосягаемым для контроля и ответственности.

Когда Зубов-отец появился в Петербурге, здесь уже находились и все его сыновья, бывшие с юности под покровительством фельдмаршала Салтыкова и все до одного служившие в Конной гвардии. Николай был подполковником, в своё время отличившись под командованием Суворова в сражении при Рымнике, Дмитрий — секунд-ротмистром в гвардейской кавалерии, что соответствовало чину капитана в пехоте и артиллерии, а самый младший, Валериан, подпоручиком. Да и Платон Александрович до своего «случая» служил, как и Дмитрий, секунд-ротмистром Конной гвардии и именно в этом чине был представлен Екатерине после того, как оказался командиром отряда охраны в Царском Селе.

Вскоре появились и его жена и дочери. Все Зубовы были представлены императрице. И каждого из них она приняла с радушием и лаской. Но с особенным расположением и сердечностью был встречен ею самый младший из братьев — семнадцатилетний Валериан, юноша не только красивый, но и обладающий многими иными достоинствами — смелостью, открытостью, весёлостью, в котором детская непосредственность соседствовала с живым умом и настойчивым стремлением быть во всём первым и непременно добиваться успеха.

Платон Зубов тут же заметил, сколь отрадное впечатление произвёл младший брат на шестидесятилетнюю императрицу и, опасаясь успеха Валериана, добился его отправки в действующую

армию, к Потёмкину. В конце сентября 1789 года восемнадцатилетний Валериан Зубов, совершив головокружительный взлёт из подпоручика в подполковники, уехал к светлейшему с рекомендательным письмом Екатерины. Валериан и сам хотел ехать к Потёмкину и, более того, просил об этом по совету Платона Александровича императрицу, не зная, что причиной его отправки была ревность брата.

Последний бал Потёмкина

Когда юный подполковник появился в Яссах, в ставке светлейшего, тот уже доподлинно знал обо всём случившемся в Петербурге. Ситуация ничуть не волновала Потёмкина, ибо он, как и многие его сторонники — опытнейшие сановники и царедворцы, был уверен, что зажёгшаяся звёздочка нового любимца не сможет соперничать по своему свету и блеску с немеркнущим светилом светлейшего князя Тавриды. И хотя Потёмкин перестал быть единственным фаворитом императрицы уже двенадцать лет назад, никто из последующих наперсников Екатерины не мог сравниться с ним ни по силе влияния на императрицу, ни по реальными плодам деятельности на благо России. Где были ныне Завадовский, Зорич, Корсаков, Ермолов, Мамонов, оказавшиеся жалкими пигмеями, в своих безуспешных попытках соперничать с «Великим Циклопом»?

Потому и не ждал никто, как и сам Потёмкин, что юноша флигель-адъютант Платон Зубов, проведший всего несколько ночей с престарелой императрицей, сможет вытеснить из её сердца венчанного мужа, которому отдавались царские почести, где бы он ни появлялся. И потому Потёмкин, получив сообщение, что впервые возле Екатерины появился не его ставленник, а креатура враждебного ему Салтыкова, решил, что и на сей раз всё обойдётся.

Приезд Валериана Зубова не заставил Потёмкина изменить своё отношение к произошедшему, и он ничуть не опасался, что брат фаворита, находясь рядом, в его Ставке, сможет повредить ему во мнении императрицы, оказываясь вольным или невольным свидетелем отнюдь небезобидных утех, длинной чередой разворачивавшихся в покоях ясского дворца. И хотя вскоре после приезда Валериана Потёмкин понял, что влияние Платона Зубова на императрицу растёт чрезвычайно быстро, он, хорошо осознавая это, всё же не спешил в Петербург.

Во многом виной тому был новый роман с женой его двоюродного брата, двадцатишестилетней красавицей Прасковьей Андреевной Потёмкиной, урождённой Закревской. Она появилась в военном лагере весной 1789 года и сразу же взяла в плен победоносного пятидесятилетнего полководца.

Сохранились письма Потёмкина Прасковье Андреевне, написанные на цветных листах почтовой бумаги с золотым обрезом. Вот всего лишь два из них: «Жизнь моя, душа общая со мною! Как мне изъяснить словами свою к тебе любовь, когда меня

влечёт непонятная к тебе сила... Нет минуты, чтобы ты, моя небесная красота, выходила у меня из мысли; сердце моё чувствует, как ты в нём присутствуешь. Приезжай же, сударушка, поранее, о, мой друг, утеха моя и сокровище бесценное ты; ты — дар Божий для меня. Целую от души ручки и ножки твои прекрасные, моя радость! Моя любовь не безумною пылкостью означается, как то буйное пьянство, но исполнена непрерывным нежнейшим чувствованием. Из твоих прелестей неописанных состоит мой екстазис, в котором я вижу тебя живо перед собой».

А вот другое письмо: «Ты смирно обитала в моём сердце, а теперь наскуча теснотою, кажется, выпрыгнуть хочешь. Я это знаю потому, что во всю ночь билось сердце, нежели ты в нём не качалась, как на качелях, то, конечно, хочешь улететь вон. Да нет! Я — за тобою и, держась крепко, не отстану, а ещё к тому прикреплю тебя цепью твёрдой и ненарушимой моей привязанности...»

Прасковья Андреевна, конечно же, поверила князю. И как было не поверить, получая такие письма, а кроме того, и иные подтверждения в любви. Но князь и тут оказался непостоянным.

Весь 1789 год был переполнен амурными утехами и беспрерывными победами князя Таврического над прелестнейшими дамами России, Польши, Молдавии, актрисами из разных европейских стран, приезжавшими в ставку светлейшего в Яссы очень часто не без определённого умысла. Потёмкин занимал в Яссах самый большой и роскошный дворец князей Кантакузинов — знатнейшего рода в Молдавии и Валахии. Здесь трижды в неделю происходили роскошнейшие балы и празднества.

Во время этих беспрерывных торжеств происходили и важные политические события. Весной 1789 года армия Румянцева была передана князю Репнину, а затем слита с армией Потёмкина. Разумеется, главнокомандующим был назначен светлейший. Он поставил своей целью овладеть Бендерами и почти все войска двинул к стенам этой крепости. Осада Бендер шла вяло, Потёмкин на форсировал военные действия, пока в сентябре Суворов не разбил девяностотысячную турецкую армию при Рымнике, за что и получил графский титул «Рымникского». После этого Потёмкин взял и Бендеры.

В осаде Бендер рядом с ним был и Валериан Зубов. Точнее было бы сказать «при капитуляции Бендер», поскольку крепость сдалась, как только русские войска окружили её, ещё не приступив к осадным действиям. Однако, как бы то ни было, крепость пала, и при отсутствии других успехов следовало обратить внимание на этот.

Валериан, честно и ревностно служивший и в ясском дворце и на берегах Днестра, под Бендерами, был послан Потёмкиным в Петербург с радостным извещением о победе. 14 ноября 1789 года он примчался в столицу, и Екатерина пожаловала гонца чином полковника и званием флигель-адъютанта. Сверх того было дано ему десять тысяч рублей, золотая табакерка с вензелем и перстень с алмазом. Всю зиму молодой полковник и флигель-адъютант провёл в Петербурге, вызывая новый прилив ревности своего старшего брата. И 29 марта 1790 года снова уехал в Яссы с ещё одним рекомендательным письмом императрицы к главнокомандующему.

Возвратившись к Потёмкину, Валериан Александрович увидел, что и дворец был тот же, и люди те же, только предмет страсти Григория Александровича в очередной раз переменился. Теперь это была двадцатитрёхлетняя гречанка совершенно сказочной красоты — знаменитая София Витт, впоследствии графиня Потоцкая-Шексны. Она прославилась тем, что смотреть на неё сбегались толпы и варшавян и парижан, когда она проезжала в открытой коляске по улицам этих городов, а её поклонниками — не всегда добивавшимися взаимности, — были и австрийский император Иосиф II, и прусский король Фридрих-Вильгельм III, и двоюродный брат Людовика XVI — герцог Верженн — первый министр Франции, и наследник шведского трона — Карл-Юхан, бывший маршал Франции Бернадотт, и даже, когда была она уже дамой не первой молодости, её поклонником стал внук Екатерины Александр.

А в начале 90-х годов у Софии Витт от Потёмкина родилась дочь. Однако это случилось чуть позже, а когда Валериан Зубов приехал в Яссы, ему рассказали, с чего начался роман светлейшего, только что познакомившегося с первой красавицей Европы. Потёмкин предложил ей в подарок необычайно дорогую и красивую кашемировую шаль, но «богоравная гречанка», как называли Софию её современники, отказалась от подарка, сказав, что такую дорогую шаль она принять не может. Тогда Потёмкин на следующем празднике устроил для двухсот приглашённых дам беспроигрышную лотерею, в которой разыгрывалось две сотни кашемировых шалей, и все, кто принимал в игре участие, получили по одной из них. Получила свою шаль и мадам Витт, но зато совесть её была чиста — она не разорила князя на подарок, казавшийся ей дорогим. Она также хорошо поняла, с кем именно на сей раз имеет дело.

После мадам Витт настала очередь не менее очаровательной, но ещё более молодой княжны Долгоруковой. В день её именин Потёмкин, устроив ещё один праздник, посадил княжну рядом с

собой и велел подать к десерту хрустальные чаши, наполненные бриллиантами. Из этих чаш каждая дама могла зачерпнуть для себя ложку бриллиантов. Когда именинница удивилась такой роскоши, Потёмкин ответил: «Ведь я праздную ваши именины, чему же вы удивляетесь? » А когда вдруг оказалось, что у княжны нет подходящих бальных туфелек, которые обычно она выписывала из Парижа, Потёмкин тотчас же послал туда нарочного, и тот, загоняя лошадей, скакал дни и ночи и всё-таки доставил башмачки в срок.

Потёмкин, превратив свою жизнь в беспрерывный праздник, всё же успевал следить и за ходом военных действий, и за положением дел в Петербурге. Он знал и о том, что партия Зубова пытается похоронить его «Греческий прожект». Но, прекрасно осведомлённый о всех интригах двора, знал и то, что именно теперь, конечно же по повелению Екатерины, возле одиннадцатилетнего Константина появилось особенно много прирождённых греков. И в ученье стали много времени уделять истории Греции и её языку. Для бежавших от турок греков был в Петербурге открыт греческий Кадетский корпус, а в печати всё сильнее звучала эллинская тема.

По всему было видно, что Екатерина оставалась верной идее восстановить православную империю Палеологов и соединить Второй Рим с Римом Третьим, как стали называть Москву русские монахи-книжники после падения Константинополя в 1453 году, когда турки-османы взяли его и превратили в свою столицу. В Москве возникла теория, что Константинополь — Второй Рим передал своё вселенское государственное и религиозное значение Москве — Третьему Риму. Женитьба Великого Московского князя Ивана III на наследнице византийских императоров Зое Палеолог, принёсшей в приданое герб Византии — двуглавого орла, была ещё одним доказательством преемственности прав Москвы на византийский трон. Потёмкин, сражавшийся с турками на Днестре, на Кубани, в Крыму, на Средиземном и Черном морях, видел своей конечной стратегической целью сокрушение Османской империи и овладение Константинополем. На воротах взятых у турок городов Потёмкин велел писать по-гречески «Путь на Византию», а на имя великого князя Константина некоторые наивные просители-греки писали: «Греческому императору Константину Третьему», так как Константин Второй Палеолог погиб при штурме Константинополя в мае 1453 года. «Греческий прожект» Потёмкина, несмотря на его кажущуюся фантастичность, обретал реальные черты и собирал вокруг себя всё большее число православных патриотов не только в России, но и на Балканах, где миллионы единоверных славян вот уже

триста лет жили под гнетом иноверцев и иноземцев. Да и вокруг светлейшего князя оказалось множество людей, которые понимали величие и судьбоносность его «Прожекта» и готовы были пожертвовать жизнью ради претворения этого великого замысла в жизнь. И не последним из них был великий Суворов.

В то время когда Суворов одерживал одну победу за другой, не упуская из вида стратегическую цель войны — сокрушение Порты и освобождение Балкан, Потёмкин всё более превращался в законченного сластолюбца, чьи прихоти и капризы давно уже не знали предела.

А меж тем война продолжалась. В конце августа 1790 года молодой Черноморский флот под командованием Фёдора Фёдоровича Ушакова разбил неподалёку от острова Тендра большую турецкую эскадру. В ноябре 1790 года русские войска осадили сильнейшую крепость Измаил, и Потёмкин, поколебавшись, 25 ноября всё же склонился к штурму. Суворов прибыл под Измаил 1 декабря. В пять часов утра 11 декабря начался штурм. В тот же день Измаил, имевший сорокатысячный гарнизон, 265 орудий, несокрушимые бастионы и первоклассные укрепления, был взят тридцатитысячной армией Суворова.

Командир одной из девяти колонн — генерал-майор Михаил Илларионович Кутузов писал жене 12 декабря: «Век не увижу такого дела. Волосы дыбом становятся... Живых офицеров почти не осталось».

В штурме Измаила принимал участие и Валериан Зубов. Командуя отрядом, он атаковал турецкую батарею, пробился к Килийским воротам и штыковым ударом опрокинул противника. И вновь Потёмкин послал его в Петербург с извещением о победе, за что Зубов получил чин бригадира и орден Георгия 4-го класса. В конце февраля 1791 года в Петербург приехал Потёмкин, а через три дня после него — и Суворов. Потёмкин был встречен в Петербурге с прежними почестями. Его поселили в Зимнем дворце, Екатерина подарила Григорию Александровичу фельдмаршальский мундир, украшенный по шитью алмазами и драгоценными камнями, стоимостью в 200 тысяч рублей и ещё — дворец, ранее уже однажды принадлежавший ему, названный по его титулу «Таврическим», но проданный им в казну, и прилегающий к дворцу большой парк.

И вот здесь, мешая хандру и меланхолию с деятельным участием в отделке дворца, Потёмкин задумал учинить такой праздник, который затмил бы и его собственные самые пышные пиры и приёмы. Подготовка к празднику началась ранней весной. Десятки художников и декораторов работали в залах, готовя

нечто дотоле невиданное. Множество молодых кавалеров и дам являлись во дворец на репетиции задуманных князем «живых картин».

На площади перед дворцом были построены качели и карусели, рядами стояли лавки, забитые разными вещами — платками, шалями, юбками, кофтами, ботинками и сапогами, штанами и рубахами, шляпами и шапками, которые безвозмездно должны были раздавать простолюдинам, собравшимся на площади задолго до начала праздника. Здесь же для них были поставлены и столы с напитками и яствами.

9 мая 1791 года три тысячи приглашённых господ и дам явились в Таврический дворец. Все они нарядились в маскарадные костюмы. Сам светлейший князь был одет в алый кафтан и епанчу из чёрных кружев. На его шляпе было так много бриллиантов, что он, не вынеся их тяжести, отдал шляпу одному из адъютантов, и тот носил её за Потёмкиным весь праздник. На хорах большой залы стояли триста певцов и музыкантов. Зала освещалась шестьюдесятью огромными люстрами и пятью тысячами разноцветных лампад, сделанных в виде лилий, роз, тюльпанов, гирляндами оплетавших колонны зала. Анфилады покоев были обиты драгоценными штофными материями и обоями и украшены великолепными живописными полотнами, мраморными статуями и вазами.

Особенно пышно были украшены комнаты, предназначенные для карточной игры Екатерины и великой княгини Марии Фёдоровны. Стены здесь были обиты гобеленами, а на мраморных столах перед зеркалами рядами стояли диковинные вещи из золота, серебра и драгоценных камней.

Из большого зала гости могли пройти в Зимний сад, площадь которого была в шесть раз больше императорского. Посетителей встречали цветущие и благоухающие померанцевые деревья, обвитые розами и жасмином, редчайшие экзотические деревья и кустарники, море ярчайших цветов и нежнейшая зелень лужаек, на которых стояли сверкающие стеклянные шары-аквариумы с плавающими внутри разноцветными рыбками. Гости видели и прекрасные мраморные статуи, и беседки, и фонтаны, а в центре сада стоял храм Екатерины, на жертвеннике которого перед её статуей были выбиты слова: «Матери отечества и моей благодетельнице».

Невидимые глазу курильницы с благовониями издавали непередаваемые ароматы, перемешивающиеся с запахами цветов, а над головами гостей, в ветвях деревьев неумолчно пели десятки соловьёв, канареек, дроздов и иных певчих птиц.

Таврический сад под открытым небом представлял собою как

бы продолжение Зимнего сада — он был изукрашен столь же искусно, но на прудах стояли лодки и гондолы, а из множества беседок, построенных на искусственно насыпанных холмах, открывались изумительной красоты виды дворца и парка.

Екатерина приехала в семь часов вечера со всею императорскою фамилией, и, как только она появилась, её провели в большую залу, где начался балет, в котором участвовали двадцать четыре пары юных аристократов и аристократок самой очаровательной наружности. В их числе были внуки императрицы и Александр и Константин, принц Вюртембергский и их жёны. Потом был ещё один спектакль, поставленный в боковой зале, намеренно продолжавшийся так долго, чтобы сам праздник проходил в сумерках: гостей надо было поразить световыми эффектами.

Когда и этот спектакль кончился, зажглась вся иллюминация, и Екатерину повели по залам дворца, по Зимнему саду и парку. Только во дворце одновременно зажглось сто сорок тысяч лампад и двадцать тысяч свечей, а в саду вспыхнуло многое множество разноцветных гирлянд, фонариков и огней. Когда во дворце начался бал, в парк были впущены все, кто хотел. Народ веселился по соседству с господами, оказавшись сопричастным этому великому празднику.

Описывать застолье, по роскоши подобное тому, о чём уже было здесь сказано, едва ли имеет смысл. Во всяком случае, достоверно известно, что устройство праздника обошлось светлейшему в полмиллиона золотых рублей.

Когда Екатерина, вопреки обычаю, пробывшая на празднике до утра, первой из всех оставила дворец, сердечно поблагодарив хозяина, Потёмкин упал перед нею на колени и заплакал.

...Потом говорили, что Потёмкин плакал от того, что чувствовал приближение смерти.

После этого грандиозного праздника светлейший князь пробыл в Петербурге ещё два с лишним месяца.

23 июля, накануне отъезда, он отужинал в компании Платона Зубова и других гостей, которых новый фаворит позвал на проводы Потёмкина. Ужин проходил в Царском Селе. Среди гостей был и банкир Екатерины барон Сутерленд.

24 июля 1791 года, простившись с Екатериной, в шестом часу утра, Потёмкин уехал из Царского Села в Галац, где оставленный им командующий армией князь Репнин подписал предварительные условия мира с Турцией. Репнин намеренно не стал ждать Потёмкина, чтобы поставить под протоколом не его, а своё имя. Потёмкин узнал об этом в дороге и расстроился пуще

прежнего. 1 августа он прибыл к армии, а через три дня произошло событие, ещё более омрачившее его: не успел он приехать в Галац, как тут же скончался родной брат великой княгини Марии Фёдоровны герцог Карл Вюртембергский — один из любимых его генералов.

Когда генерала хоронили, Потёмкин был возле гроба и стоял при отпевании в церкви до конца. По обыкновению, все расступились перед ним, когда отпевание кончилось, и князь первым вышел из церкви. Однако он был столь сильно удручён и задумчив, что, сойдя с паперти, вместо собственной кареты подошёл к погребальному катафалку. Он тут же в страхе отступил, но твёрдо уверовал, что это не простая случайность, а предзнаменование.

В этот же вечер он почувствовал озноб и жар и слёг в постель, но докторов к себе не допускал, пока ему не стало совсем уж плохо. Только тогда приказал везти себя в Яссы, где находились лучшие врачи его армии. Там болезнь то ненамного отпускала его, то снова усиливалась. 27 сентября, за три дня до своего дня рождения, Потёмкин причастился, ожидая скорую смерть, но судьбе было угодно ниспослать больному ещё несколько мучительных дней. И даже в эти последние дни он категорически отказывался от каких-либо лекарств и только подолгу молился.

30 сентября ему исполнилось пятьдесят два года, а ещё через пять дней велел он везти себя в новый город — Николаев, взяв с собою любимую племянницу, графиню Браницкую, и неизменного Попова. В дороге стало ему совсем плохо. В ночь на 6 октября 1791 года больного вынесли из кареты, постелили возле дороги, прямо в степи, ковёр и положили его под открытым небом, с иконой Богородицы в руках.

Он тихо умер, и, когда конвойный казак положил на глаза покойному медные пятаки, никто из сопровождавших Потёмкина не поверил, что он мёртв. Графиня Браницкая, закричав, бросилась ему на грудь и старалась дыханием согреть его похолодевшие губы...

...«Банкир Зудерланд (Сутерленд), обедавший с князем Потёмкиным в день отъезда, умер в Петербурге, в тот же день, в тот же час, чувствуя такую же тоску, как князь Потёмкин чувствовал, умирая среди степи, ехавши из Ясс в Николаев... как все утверждают, ему был дан Зубовым медленно умерщвляющий яд», — писал всеведущий Тургенев.

Смерть Потёмкина произвела на Екатерину страшное впечатление. Узнав об этом, императрица писала Гримму: «Мой ученик, мой друг, можно сказать, мой идол, князь Потёмкин-

Таврический умер в Молдавии... Вы не можете представить, как я огорчена. Это был человек высокого ума, редкого разума и превосходного сердца; цели его всегда были направлены к великому. Он был человеколюбив, очень сведущ и крайне любезен. В голове его непрерывно возникали новые мысли; какой он был мастер острить, как умел сказать словцо кстати. В эту войну он выказал поразительные военные дарования: везде была ему удача; и на суше и на море. Им никто не управлял, но сам он удивительно умел управлять другими. Одним словом, он был государственный человек: умел дать хороший совет, умел его и выполнить. Его привязанность и усердие ко мне доходили до страсти; он всегда сердился и бранил меня, если по его мнению дело было сделано не так, как следовало. С летами, благодаря опытности, он исправился от многих своих недостатков. Когда он приезжал сюда три месяца тому назад, я говорила генералу Зубову, что меня пугает эта перемена и что в нём незаметно более прежних его недостатков, и вот, к несчастью, мои опасения оказались пророчеством. Но в нём были качества, встречающиеся крайне редко и отличающие его между всеми другими людьми: у него был смелый ум, смелая душа, смелое сердце. Благодаря этому, мы всегда понимали друг друга и не обращали внимания на тех, кто меньше нас смыслил. По моему мнению, Потёмкин был великий человек, который не выполнил и половины того, что был в состоянии сделать».

Кому быть наследником?

После смерти Потёмкина влияние Зубова при дворе усилилось, как никогда ранее, и он стал, безусловно, первым вельможей империи. Этому способствовало прежде всего то, что он начал претендовать на особую роль в семье Екатерины, разделяя её недоброжелательство к Павлу и его жене и всячески подыгрывая в сугубых её симпатиях к любимцу Александру.

А как раз в это время Александр из ребёнка превращался в юношу, и Екатерина уделяла массу времени и сил для того, чтобы сделать из старшего внука достойного наследника российского престола.

Екатерина сама написала для Александра и Константина несколько книг и подобрала прекрасный ансамбль учителей и педагогов, способных дать великим князьям разнообразные научные познания, а также воспитать в них нравственность и чувство гражданской ответственности.

К пятнадцати годам Александр превратился в крепкого, сильного, стройного и красивого юношу. Он был со всеми ласков, приветлив, очарователен в обращении с девицами и дамами, ровен и дружествен в отношениях с мужчинами. Вместе с тем в отношениях с людьми была ему свойственна осторожность, скрытность и какая-то двойственность, выработавшиеся в нём из-за вечного антагонизма между Павлом и Екатериной. А ведь жизнь юноши проходила при дворах — и у родителей, и у бабушки.

А теперь — о Павле, Марии Фёдоровне и их сыновьях.

Павел и Мария Фёдоровна имели два собственных двора: у цесаревича это была Гатчина, расположенная в двадцати четырёх вёрстах от Царского Села, у великой княгини — Павловск, находившийся совсем рядом с Царским Селом.

Кроме того, Павел и его жена имели дворец на Каменном острове в Петербурге, и отведённые им апартаменты в Зимнем и Царскосельском дворцах. Августейшие дети не были обделены императрицей ни деньгами, ни подобающим их сану почётом.

В Павловске тихо шелестели шелка и бархат нарядов придворных дам и строго чернели сюртуки лейб-медиков Марии Фёдоровны, которая с 1777 года пребывала в состоянии перманентной беременности: за двадцать один год она родила десять детей — четырёх мальчиков и шесть девочек, и в связи с этим акушеры, гинекологи, педиатры, терапевты были в Павловске почти в таком же числе, что и камер-юнкеры и

камергеры.

Гатчина же была маленьким военным лагерем. Ещё ребёнком Павел получил из рук матери звание генерал-адмирала Российского флота, и тогда же в Гатчине был расквартирован морской батальон, а вслед за тем на глади гатчинских прудов забелели паруса небольших кораблей и заплескались вёсла галер. Начались учебные плаванья и особенно милые сердцу цесаревича «морские» парады. Прошло ещё несколько лет, и Павел стал шефом Кирасирского полка — отборной тяжёлой кавалерии. Из-за этого в Гатчине появился эскадрон кирасир, а со временем в резиденции цесаревича разместилась целая армия, состоящая из шести батальонов пехоты, егерской роты, четырёх полков кавалерии — драгунского, гусарского, казачьего и жандармского, а также из двух рот артиллерии — пешей и конной.

Правда, вся эта игрушечная армия состояла из 2000 солдат и матросов, 250 унтер-офицеров и 130 обер- и штаб-офицеров, что равнялось полному штату одного полка настоящей армии.

Главным занятием гатчинского войска, одетого в тёмно-зелёные мундиры прусского образца и живущего по уставам армии Фридриха II, были строевые учения, смотры, разводы и парады. И, попадая в Гатчину, сильно напоминавшую Берлин будками, шлагбаумами, кордегардиями и гауптвахтами, Александр и Константин из великих князей превращались во взводных командиров в разных полках армии своего отца.

Забегая чуть вперёд, скажем, что с 1795 года братья должны были приезжать в Гатчину по четыре раза в неделю к шести утра и находиться там до часа дня, занимаясь экзерцицией, учениями и манёврами. Проходя артиллерийскую практику, Александр оглох на левое ухо, и поправить его глухоту не смогли уже до конца дней.

Следует признать, что и Александр и Константин, очень боясь отцовского гнева за нерасторопность или нечёткость в собственных действиях, всё же полюбили общий строй Гатчины, её дух, её камуфляж. До конца дней они пронесли неувядающую любовь к блеску парадов и показательных манёвров, к чётким механическим передвижениям многотысячных колонн, которые по единому мановению руки мгновенно перестраиваются в каре, меняют фронт, образуя причудливые квадраты и линии.

Так, меж Царским Селом и Гатчиной завершилось детство Александра и Константина.

Когда же Александру пошёл пятнадцатый год, Екатерина решила, что пора подумать и о его женитьбе. Поисками невесты занялся посланник при мелких германских дворах граф Николай

Петрович Румянцев, сын фельдмаршала Румянцева-Задунайского, будущий министр иностранных дел, основатель известного московского музея и библиотеки, носивших его имя.

Екатерина обратила внимание Румянцева на внучек Баденского маркграфа Карла-Фридриха — дочерей наследного баденского принца Карла-Людвига. Семья Карла-Людвига и его высоконравственной и добродетельной супруги Амалии славилась тем, что все четыре их дочери воспитаны были самым лучшим образом, отличались хорошим нравом, красотой и здоровьем.

Румянцеву следовало особенно внимательно присмотреться к двум старшим принцессам — одиннадцатилетней Луизе-Августе и девятилетней Фредерике-Доротее. В случае, если, по мнению Румянцева, девочки окажутся достойными стать великими княжнами Российского императорского дома, следовало, собрав все необходимые сведения, добиться согласия родителей на поездку сестёр в Петербург.

Румянцев сразу же очаровался старшей — Луизой-Августой. Сопровождавший его в поездке в Карлсруэ граф Евграф Комаровский писал о ней: «Я ничего не видывал прелестнее и воздушнее её талии, ловкости и приятности в обращении».

Юному Александру, после того как сёстры 31 октября 1792 года прибыли в Петербург, оставалось лишь остановить выбор на одной из них. И его избранницей оказалась старшая — Луиза, а младшая, пробыв в Петербурге до августа 1793 года, уехала обратно в Карлсруэ.

После того как выбор был сделан, события носили обычный порядок: невесту образовали в православии, крестили по греческому образцу, нарекли русским именем — на сей раз Елизаветой Алексеевной, обручили с Александром Павловичем, объявив их женихом и невестой, и затем в конце октября 1793 года сыграли свадьбу.

После свадьбы Александр и Елизавета окунулись в жизнь, наполненную праздниками и нескончаемыми удовольствиями. У них появился свой двор, свой штат, а вместе с этим начались сплетни, интриги и борьба сразу же образовавшихся при «молодом дворе» враждебных друг другу партий. Не обошлось и без скандалов, самым громким из которых стало настойчивое ухаживание за юной женой Александра Платона Зубова.

Влюбившись в Елизавету, а может быть, лишь сделав вид, что влюблён, Платон Александрович не встретил ответного чувства, и оттого впал в меланхолию. По целым дням валялся он на диване, заставляя играть для себя на флейте. Сладострастные и печальные звуки ещё более ввергали его в грусть и томление.

15 ноября 1795 года Александр писал своему другу, графу Виктору Павловичу Кочубею: «Вот уже год и несколько месяцев граф Зубов влюблён в мою жену. Посудите, в каком затруднительном положении находится моя жена, которая воистину ведёт себя, как ангел».

А она и действительно вела себя, как ангел, однажды написав своей матери об Александре: «Счастье моей жизни в его руках, если он перестанет меня любить, то я буду несчастной навсегда. Я перенесу всё, всё, но только не это». Однако, если внук императрицы не сразу разобрался в происходившем, то его бабушка мгновенно всё оценила и решительно отвратила намечавшийся роман. Платон быстро пришёл в чувство и вернулся от пятнадцатилетней великой княгини к шестидесятичетырёхлетней императрице.

Свадьба многое переменила в жизни Александра. Он перестал учиться, признавая из учителей лишь Лагарпа — первого из всех его воспитателей и наставников, который продолжал сохранять над ним всю силу своего прежнего влияния. Переменив порядок жизни, Александр из прежних привязанностей сохранил лишь одну — к плац-парадам, разводам, фрунту.

Его главный воспитатель, генерал Протасов писал о первых месяцах после женитьбы своего воспитанника: «Он прилепился к детским мелочам, а паче военным, подражая брату, шалил непрестанно с прислужниками в своём кабинете весьма непристойно. Причина сему — ранняя женитьба и что уверили Его Высочество, что можно уже располагать самому собою... Вот как, к сожалению, окончился 16-й год и наступил 17-й».

Между тем, очарованная своим старшим внуком, Екатерина не хотела замечать и малейших его недостатков и именно после свадьбы твёрдо решила сделать Александра наследником престола, в обход сына-цесаревича.

Ещё в 1780 году, когда Александру не было и трёх лет и, следовательно, его достоинства не могли быть определены хоть сколько-нибудь убедительно, Екатерина, независимо от чувств к старшему внуку, пришла к выводу, что его отец не может после её смерти занять российский престол. После одной из бесед с Павлом Екатерина заметила: «Вижу, в какие руки попадёт империя после моей смерти. Из нас сделают провинцию, зависящую от Пруссии. Жаль, если бы моя смерть, подобно смерти императрицы Елизаветы, сопровождалась изменением всей системы русской политики».

С тех пор мысль о лишении Павла права наследования престола не оставляла Екатерину, причём всё чаще она стала

задумываться над тем, чтобы ещё при своей жизни объявить цесаревичем Александра. 14 августа 1792 года, Екатерина писала Гримму: «Сперва мы женим Александра, а там со временем и коронуем его». Платон Зубов, всячески пытавшийся вредить Павлу во мнении Екатерины, более прочих поддерживал императрицу в намерении венчать на царство Александра в обход Павла. Такая позиция Зубова объяснялась прежде всего тем, что он опасался прихода к власти Павла, ибо ничего хорошего для него лично это не сулило, и кандидатура Александра для Зубова была намного предпочтительней.

Через три недели после свадьбы Александра Екатерина начала подготовку к осуществлению второй части своего плана. 18 октября 1793 года она привлекла к делу Лагарпа, желая, чтобы он должным образом повлиял на Александра, но так как императрица говорила обиняками, Лагарп сделал вид, что не понял, о чём идёт речь.

Последствия не заставили себя ждать: в январе 1795 года Лагарп был отставлен от службы и, получив чин полковника, десять тысяч рублей на дорогу и пожизненную ежегодную пенсию в две тысячи рублей, весной уехал из России.

Перед отъездом он открыл секрет Александру и убеждал его отказаться от трона, во-первых, потому что это безнравственно, и, во-вторых, потому что Павел мечтает о короне, а Александр как раз не хочет ни императорской власти, ни связанных с нею почестей, а думает лишь об одном — избавиться от всего этого и жить честным человеком.

21 февраля 1796 года Александр подтвердил своё намерение в письме к Лагарпу. Он писал, что не изменит решения отказаться от своего звания, ибо «оно с каждым днём становится для меня всё более невыносимым по всему тому, что делается вокруг меня. Непостижимо, что происходит: все грабят, почти не встречаешь честного человека, это ужасно»... И заканчивал он это письмо так: «Я же, хотя и военный, жажду мира и спокойствия и охотно уступлю своё звание за ферму подле Вашей, или по крайней мере в окрестностях. Жена разделяет мои чувства, и я в восхищении, что она держится моих правил».

Эти же намерения — отказаться от своего сана и уйти из дворца, сменив его на сельскую хижину, девятнадцатилетний Александр поверял не только Лагарпу, но и своим друзьям — Виктору Павловичу Кочубею и князю Адаму Чарторижскому, с которым особенно сблизился после отъезда любимого наставника. Встречаясь с князем Адамом, Александр утверждал, что наследственность престола — нелепость и несправедливость, ибо народ должен вручать верховную власть самому способному

из своих сыновей, а не тому, кого поставил над обществом слепой случай рождения.

Когда же стало ясно, что Екатерина не оставляет надежд предоставить престол ему, минуя Павла, Александр заявил, что сумеет уклониться от такой несправедливости, даже если ему и Елизавете Алексеевне придётся спасаться в Америке, где он надеялся стать свободным и счастливым.

Таким образом, Александр с юности определённо не хотел наследовать престол и на протяжении всей дальнейшей жизни неоднократно предлагал корону то Константину, то Николаю.

Тем временем звезда Платона Зубова разгоралась всё ярче, и многие уже не без оснований сравнивали его и с Ланским и с Потёмкиным — такова была сила его влияния на Екатерину и очевидные её милости к изнеженному, капризному, чванливому и корыстному таланту.

Статс-секретарь императрицы Григорий Васильевич Козицкий почти ничего не предпринимал без ведома Зубова, другой её статс-секретарь, выдающийся поэт Гавриил Романович Державин, почитал за счастье побывать в спальне Платона Александровича только для того, чтобы спросить: «Каково почивать изволили, Ваше Превосходительство?»

Уже в первые годы своего фавора, став генералом и графом, Зубов добился титулов и для своего отца и всех трёх братьев — Дмитрия, Николая и Валериана, получив денег, драгоценностей, недвижимости и собственности не менее чем на три миллиона рублей.

В 1793 году Зубову из рук австрийского императора Иосифа II был дан титул Светлейшего князя Священной Римской империи, он стал командующим артиллерией русской армии, генерал-губернатором Новороссии и кавалером множества иностранных и всех российских орденов, кроме военного ордена Георгия, который давался за подвиги на поле боя. Укрепляя своё положение в администрации, Зубов пригласил к себе одного из ближайших помощников Потёмкина Адриана Моисеевича Грибовского, который вскоре сосредоточил в своих руках многие нити государственного управления. Разумеется, не все попустительствовали Зубову. Его открытыми недоброжелателями были, например, Суворов и русский посол в Англии граф Семён Романович Воронцов. И даже когда любимая дочь Суворова, фрейлина Наталья Александровна, в 1795 году вышла за брата Платона — Николая, то отношения Суворова с Николаем стали вполне родственными, но взаимоотношения с фаворитом никак не улучшились.

В то время как на лужайках и в павильонах Царского Села порхали купидоны, посылая стрелы в сердца прекрасных кавалеров и дам, бригадир Валериан Зубов вновь сражался под ядрами и пулями, которые летели ему навстречу из пушек и ружей польских инсургентов и французских якобинцев.

В 1792 году он отправился сначала в Польшу, а затем в армию союзников, воюющую против революционной Франции. На территории Германии Валериан встретил ехавшую в Петербург невесту Александра Луизу-Августу, был ей представлен, очаровался прелестной принцессой и написал об этом Платону. Платон же не преминул показать его письмо Екатерине, отчего императрица ещё больше расположилась и к Валериану, и к будущей невестке, так как Валериана она считала тонким знатоком и высококвалифицированным ценителем женской красоты, а главное, его мнение полностью совпадало с её собственным. После того как, побывав в боях с якобинцами, Валериан вернулся в Петербург, 27 января он вместе с братьями и отцом был возведён в графское достоинство, получил орден Александра Невского и вскоре в очередной раз отбыл в Польшу.

Осенью 1794 года судьба впервые отвернулась от одного из своих баловней — на берегу Буга артиллерийским ядром Валериану Зубову оторвало левую ногу.

Как только в Петербург пришло о том известие, Екатерина тут же послала своему любимцу удобную английскую коляску для скорого и удобного возвращения в Петербург, сто тысяч рублей на дорожные расходы, орден Андрея Первозванного и чин генерал-майора в придачу. Валериан ехал с таким обозом и столь многолюдным сопровождением, что на каждой станции ожидали его сто десять лошадей, высланных по приказу императрицы. И на этом пути ждали Зубова и ласковые, заботливые письма, которыми его благодетельница хотела скрасить молодому генералу боль и горечь случившегося с ним несчастья.

Екатерина, увидев его без ноги, заплакала и, не имея возможности поправить увечье, сделала, что могла, вновь прибегнув к испытанному методу, — порадовав пострадавшего богатыми подарками. Она презентовала Валериану бывший дом Густава Бирона, дала ещё двадцать тысяч рублей золотом и назначила ежегодную пенсию в тринадцать тысяч рублей. Кроме того, ему было пожаловано ещё триста тысяч рублей на погашение всех долгов. Такие суммы Екатерина просто так не дарила: сто тысяч рублей были обычной традиционной «дачей» новому фавориту, а здесь, вместе с дорожными расходами, Валериан получил четыреста тысяч, что тотчас же, как только он

получил всё это, и впоследствии у некоторых историков породило вопрос: «А не был ли и Валериан любовником Екатерины?»

Последний год

Меж тем произошло несколько событий, отсрочивших осуществление идеи, столь занимавшей шестидесятисемилетнюю Екатерину.

Женив Александра, любвеобильная бабушка решила осчастливить браком и недоросля Константина, проводившего досуг в нелепейших забавах: то он ловил крысу и, почти удавив, забивал её, полудохлую, в ствол небольшой пушки, а потом стрелял в кого угодно; то ловил в окрестностях Царского Села молодых баб или девок и приставал к ним, а если не получал желаемого, кусал или щипал их.

Екатерина решила покончить со всем этим, подобрав ему подходящую жену. Одну из первых невест подыскал для Константина граф Андрей Кириллович Разумовский — русский посланник в Вене, с которым мы познакомились в связи со смертью первой жены Павла Петровича. Незадолго перед тем был он посланником в Неаполе и стал там одним из любовников крайне развратной и жестокой королевы Каролины-Марии. Желая отплатить за старую любовь, Разумовский стал сватать одну из дочерей Каролины за Константина, но этому решительно воспрепятствовала Екатерина. Её политические симпатии были не на стороне Бурбонов, к дому которых принадлежала королева Неаполя, а на стороне родственных ей самой немецких владетельных домов.

Десять невест из разных королевских и герцогских семей — преимущественно немецких, — одна за другой приезжали в Петербург, но ни одна из них не удовлетворила вкусов и запросов Екатерины, хотя Константин двух-трёх из них готов был облагодетельствовать. Несостоявшиеся невесты, получив богатые подарки, покидали Северную Пальмиру, пока не появилась одиннадцатая претендентка, на которой Константин и остановил свой выбор — младшая из трёх Саксен-Кобургских принцесс, пятнадцатилетняя Юлиана-Генриэтта-Ульрика, родившаяся 23 сентября 1781 года, — маленькая брюнетка, находчивая и умная, с чувством достоинства и, вместе с тем, с покладистым характером.

24 октября 1795 года Константин сделал предложение матери невесты, а на следующий день состоялась помолвка. 7 ноября герцогиня и две её дочери уехали из Петербурга, буквально осыпанные дождём бриллиантов и получив, кроме того, сто восемьдесят тысяч рублей.

По отъезде матери и сестёр Юлиана была передана под надзор статс-дамы, баронессы Шарлотты Карловны Ливен, и стала жить с сёстрами Константина, обучаясь русскому языку и основам православия. 2 февраля принцесса приняла православие и стала называться великою княгинею Анною Фёдоровной, а на следующий день состоялось её обручение с Константином.

Через две недели состоялось и венчание. Около девяти тысяч солдат и офицеров было выстроено на Дворцовой площади и на прилегающих к ней улицах, услаждая взор жениха и тестя невесты — Павла Петровича. При венчании над головой жениха венец держал Иван Иванович Шувалов, а над невестою — Платон Зубов. Молодым был отведён Мраморный дворец, вокруг которого две недели продолжалось народное гулянье, а по всему городу кипел и разливался праздник.

С появлением новой семьи появился и ещё один двор, а при нём и новые люди, новые партии и новые интриги. В штат нового «молодого двора» вошло шестнадцать придворных во главе с гофмаршалом князем Борисом Голицыным.

И всё же можно утверждать, что кроме двора императрицы, наследника и двух великих князей существовал и пятый двор — светлейшего князя, генерал-аншефа Платона Александровича Зубова.

Один из его биографов писал: «Зубов в последние семь лет царствования Екатерины был повсеместно признанною бездарностью. В течение семи лет он достиг той вершины могущества, на которую Потёмкин, при всей своей удачливости, при всей благосклонности счастья, восходил почти двадцать лет; ордена, чины, титулы и все прочие отличия, пожалованные Зубову Екатериною, были заслужены Суворовым сорокадвухлетнею службою, составившею славу России. Слепое счастие осыпало Зубова теми самыми наградами, за которыми истинные герои века Екатерины ходили в дальнейшие, чужие страны; ему же все отличия доставались тем легче и скорее, чем ближе ко двору, чем безотлучнее он пребывал в столице. Позолотив струны лиры Державина, Зубов был им воспет не менее восторженно, как незадолго перед тем Потёмкин; портреты красавца в воинских доспехах украсили стены дворцовых чертогов наряду с великими полководцами, и Платон Александрович Зубов, по удачному выражению Массона, «почитал себя великим потому только, что стоял во весь рост, в то время, когда всё ползало у его ног».

Люди, не зависевшие от временщика, не искавшие его милостей, могли непредвзято оценивать и самого Платона Александровича, и его окружение. К числу таких объективных и

независимых свидетелей относится один из воспитателей Александра и Константина, швейцарец Карл Массон, земляк Лагарпа, о котором только что было упомянуто, оставивший «записки и воспоминания о России». Массон писал о Платоне Зубове: «Каждое утро многочисленные толпы льстецов осаждали его двери, наполняли прихожие и приёмные. Старые генералы и вельможи не стеснялись ласкать ничтожнейших его лакеев. Видали часто, как эти лакеи толчками разгоняли генералов и офицеров, коих толпа, теснясь у дверей, мешала их запереть. Развалясь в креслах, в самом непристойном неглиже, засунув мизинец в нос, с глазами бесцельно устремлёнными в потолок, этот молодой человек, с лицом холодным и надутым, едва удостаивал обращать внимание на окружающих его. Он забавлялся дурачествами своей обезьяны, которая скакала по головам подлых льстецов, или разговаривал со своим шутом; а в это время старцы, под начальством которых он служил в сержантах: Долгорукие, Голицыны, Салтыковы, и всё, что было великого и малодушного, ожидали, чтобы он низвёл свои взоры, чтобы опять приникнуть к его стопам».

Единственное, чего фавориту не хватало и о чём он мог пока ещё только мечтать, — это звание фельдмаршала, позволившее ему занять пост президента Военной коллегии, на котором пребывал его стародавний благодетель Салтыков. То, что Салтыков в этом случае должен был потерять свой пост, нимало не смущало Платона Александровича.

Для этого он решил развить и в новых условиях довести до конца «Греческий прожект» Потёмкина: освободить от турок Балканы, восстановить Византийскую империю под властью Константина Павловича.

Только исполнение этого плана Платон Зубов, развивавший идеи Екатерины, полагал повести иным путём, нежели автор идеи — Потёмкин. По его проекту нужно было занять важнейшие пункты от Персии до Тибета, чтобы получить прямое сообщение с Индией. Затем, оставив там гарнизоны, пойти к Анатолии — азиатской части Турции — и, захватив Анапу, пресечь сношения с Константинополем.

Во главе этого предприятия, по мысли Зубова, должен был стоять его родственник Суворов, а с моря Константинополь надлежало подвергнуть морской блокаде. При этом он не учёл главного: время этого проекта ушло вместе с его первым и подлинным создателем.

И всё же проект начал осуществляться. Поход начался после того, как весной 1795 года персидские войска Ага Мохаммед-хана вторглись в Карабах, Азербайджан и Грузию. Осенью они

захватили и разграбили Тифлис, и русские войска получили возможность двинуться на Кавказ, используя соответствующие положения Георгиевского трактата, 2-я статья которого предусматривала ответственность России за целостность владений Ираклия II. В феврале 1796 года тринадцатитысячный русский экспедиционный корпус, возглавляемый Валерианом Зубовым, накануне получившим звание генерал-адъютанта, двинулся на Кавказ.

18 апреля сосредоточившиеся в Кизляре русские войска пошли через Дагестан в азербайджанские провинции Персии и 10 мая взяли Дербент. По иронии судьбы, ключи от города вручил Валериану Зубову стодвадцатилетний старик, который в 1722 году, когда ему было сорок шесть лет, вручал такие же ключи Петру Великому, впервые овладевшему крепостью. За взятие Дербента Валериан Зубов получил звание генерал-аншефа и орден Георгия 2-го класса, и Екатерина стала всерьёз считать его лучшим генералом в Европе, отодвигая на второй план и Бонапарта и Суворова.

15 июня войска Валериана Зубова без боя вошли в Баку и двинулись к слиянию Куры и Аракса, имея целью дальнейшее продвижение вглубь Персии. Фантастический проект Платона Зубова неожиданно начал осуществляться.

В то время как генерал-аншеф Валериан Зубов подходил к Баку, в Петербурге дела шли своим чередом. 25 июня 1796 года произошло важное событие в семье Павла — Мария Фёдоровна родила третьего сына, нареченного Николаем. Это был будущий император Николай I. Екатерина писала Гримму: «Мамаша родила огромнейшего мальчика. Голос у него — бас, и кричит он удивительно; длиною он аршин без двух вершков (62 см), а руки немного поменьше моих. В жизнь мою в первый раз вижу такого рыцаря».

А 13 августа того же 1796 года в Петербург прибыл регент шведского престола герцог Карл Зюндерманландский со своим семнадцатилетним племянником — королём Швеции Густавом IV Вазой. Они приехали для смотрин и возможного сватовства тринадцатилетней великой княжны Александры Павловны за короля Швеции.

Перед тем Екатерина немалыми подкупами, неприкрытыми угрозами и даже откровенной демонстрацией силы расстроила предыдущую помолвку Густава IV с герцогиней Мекленбургской и буквально заставила юного короля стать соискателем руки её внучки. Жених и его дядя были приняты с превеликим почётом и пышностью. Не только императрица, но и первые вельможи

государства — Безбородко, Остерман, Строганов — давали в их честь один бал за другим. Шведы были очарованы и невестой и приёмом, и официально попросили руки Александры Павловны у её родителей и бабушки.

На 10 сентября была назначена помолвка, и, когда весь двор, все сановники и генералы первых четырёх классов, все иностранные резиденты приехали во дворец и вошли в тронный зал, к ним вышла Екатерина в короне и мантии, при всех государственных регалиях и села на трон. Рядом встала трепещущая и взволнованная прелестная невеста.

Долго ждали они жениха, но тот почему-то не появлялся. Тогда в его апартаменты Екатерина послала Зубова и графа Моркова. Но и они вернулись почти через час без жениха. Оказалось, что Густав категорически потребовал перехода Александры Павловны в протестантство, в противном же случае объявлял своё сватовство недействительным и от помолвки и свадьбы отказывался. При этом известии с Екатериной приключился апоплексический удар, и она упала с трона. Заболела и несчастная невеста, считая себя опозоренной.

Вскоре Екатерина отошла, прекрасно осознавая, что удар может повториться и тогда возможна и смерть, и потому она возвратилась к делу о передаче трона своему старшему внуку Александру. 16 сентября она впервые прямо, откровенно и без обиняков высказала своё желание Александру, передав ему все документы, необходимые для объявления его наследником престола.

Как ни секретно происходило всё это, но уже не только при дворе, но и в Петербурге стали говорить о готовящейся «коронной перемене», называя даже дату официального всенародного объявления Высочайшего Манифеста: либо 24 ноября 1796 года — день тезоименитства Екатерины, либо 1 января 1797-го.

Получив пакет документов и внимательно прочитав их, Александр позвал своего верного «дядьку» Протасова и посоветовался, как надлежит поступить. Прямой и честный Протасов ответил:

— Надобно обо всём доложить Его Императорскому Высочеству, батюшке Вашему.

Александр попросил Протасова помочь ему в этом, и «дядька» тут же согласился.

На следующий же день, 17 сентября, Александр и Константин присягнули на верность Павлу, дав ему слово сохранить сам факт присяги в тайне, а ещё через неделю Александр письменно заверил Екатерину, что во всём согласен с нею, проявив, таким образом, совершеннейшее двуличие. Вечером 4 ноября Екатерина

собрала у себя маленькое изысканное общество. Она была весела и попеняла своему шуту Льву Нарышкину на то, что он боится разговоров о смерти. Сама же стала в шутливом тоне рассказывать о недавней кончине короля Сардинии.

Проводив гостей, императрица, тяжело ступая из-за того, что в последние дни ноги её сильно распухли, ушла к себе в опочивальню. А утром следующего дня, 5 ноября 1796 года, встав с постели совершенно больной, с трудом дошла до клозета и скрылась за дверью, за которой стоял привезённый Суворовым из взятой им Варшавы трон польских королей. Национальная святыня Польши была обезображена и опоганена: сиденье трона превратили по распоряжению Екатерины в стульчак, а под пропиленное в центре сиденья отверстие поставили ведро.

...Когда камердинер Захар Константинович решился позвать Зубова, чтобы тот вошёл в клозет, было уже поздно: императрица лежала на полу, потеряв сознание. Её настиг ещё один апоплексический удар.

Она умерла не приходя в сознание утром 6 ноября в три четверти десятого.

Заканчивая, я приведу эпитафию, написанную самой Екатериной в один из часов досуга: «Здесь лежит Екатерина Вторая, родившаяся в Штеттине 21 апреля 1729 года. Она прибыла в Россию в 1744 году, чтобы выдти замуж за Петра III. Четырнадцати лет от роду она возымела тройное намерение — понравиться своему мужу, Елизавете и народу. Она ничего не забывала, чтобы успеть в этом. В течение 18 лет скуки и уединения она поневоле прочла много книг. Вступив на Российский престол, она желала добра и старалась доставить своим подданным счастие, свободу и собственность. Она легко прощала и не питала ни к кому ненависти. Пощадливая, обходительная, от природы веселонравная, с душою республиканскою и с добрым сердцем, она имела друзей. Работа ей легко давалась, она любила искусства и быть на людях».

Сколь бы противоречивой Екатерина ни казалась даже из этой книги, автор согласен с тем, что сказала о себе эта Великая в полном смысле слова Женщина и Императрица.

Коротко об авторе

Вольдемар Николаевич Балязин родился в 1931 году в городе Уссурийске. Начал публиковаться в 1950 году. В 1959 году в Калининграде вышла его первая книга «Памятники славы».

В 1963 году он окончил аспирантуру на историческом факультете Московского университета и через год стал заведующим кафедрой истории в Магаданском пединституте.

Сегодня его перу принадлежит более сорока исторических романов и повестей, научно-популярных и публицистических книг и более трёхсот статей по отечественной и Всеобщей истории.

В 2000 году он был избран действительным членом Академии педагогических и социальных наук.

В этой книге, посвящённой восьми правительницам России, собраны повести о жизни и государственной деятельности великих княгинь, цариц и императриц, занимавших троны Древнего Киева, Москвы и Санкт-Петербурга в VIII-XVIII столетиях. Это повести: «Преподобная Ольга, Великая княгиня Киевская», «Елена Глинская, мать Ивана Грозного», «Тяжкий жребий премудрой Софьи Алексеевны», «Екатерина, первая императрица», «Императрица Анна Ивановна», «Императрикс Елисавет», «Екатерина Великая».

История жизни Анны Леопольдовны, время правления которой длилось всего один год, вошла в повесть о Елизавете. А вот повесть о Екатерине II — самая объёмная. Это объясняется тем, что её значение в истории России было совершенно исключительным, а период её правления превышал треть века.

Немало места в этих повестях автор отводит любовным сценам, рассказывая о фаворитизме как о некоем политическом феномене, присущем, впрочем, не только российскому царскому двору, но и всем монархическим дворам мира.

15 августа 2001 года в связи с 230-летием со дня рождения Вальтера Скотта — создателя жанра исторического романа, газета «Вечерняя Москва» провела экспресс-опрос общественных деятелей, учёных, филологов, писателей и актёров. Они должны были ответить на вопрос: «А кто, по-вашему, лучше всех написал бы о нашей истории?» Следовало назвать и лучших исторических романистов прежних лет, и лучших современных мастеров этого жанра.

Опрошенные назвали Карамзина, Владимира Соловьёва, Мережковского, Алданова, Пикуля. Из ныне здравствующих

исторических романистов были названы: Солженицын, Акунин, Евтушенко, Войнович, Хруцкий, Поляков, Давыдов и Фазиль Искандер. Был назван и Вольдемар Балязин — автор этой книги, а также сорока других книг, посвящённых нашей истории.